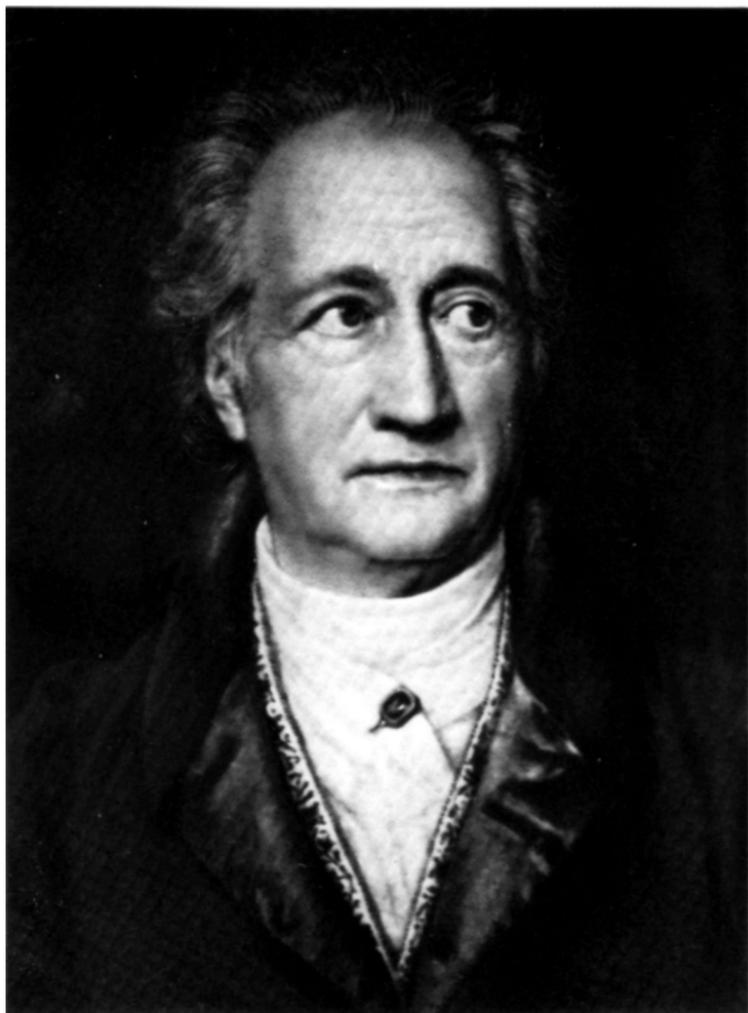


Иоганн Петер  
ЭККЕРМАН



РАЗГОВОРЫ  
С  
ГЕТЕ



Goethe



Эккерман.  
С рисунка Йозефа Шмеллера. 1827



Рабочая комната Гете

Комната Юоны в доме Гете





Фауст и Мефистофель.  
С литографии Эжена Делакруа. 1826



Отнятие от груди.  
Корреджо



Оттилия фон Гете.  
С рисунка Генриха Мюллера



Август фон Гете.  
С портрета маслом  
Эренготта Грюнлера. 1828

Цельтер.  
С портрета маслом  
Карла Бегаса. 1827



Герб Цельтера. С рисунка Гете





Добрый муж и  
добрая жена.  
Адриан ван Остаде

Пейзаж Клода Лоррена



Великая герцогиня  
Луиза, жена  
Карла-Августа.  
С портрета маслом  
Фридриха Тишбейна



Великий герцог Карл-Август.  
С портрета Генриха Кольбе





Гипсовые медальоны Давида д'Анже



Гете. С портрета маслом Джорджа Доу. 1819



Внук Гете Вольфганг.  
С рисунка Йозефа Шмеллера



Внук Гете Вальтер.  
С рисунка Йозефа Шмеллера



Кудрэ.  
С рисунка Генриха Мейера

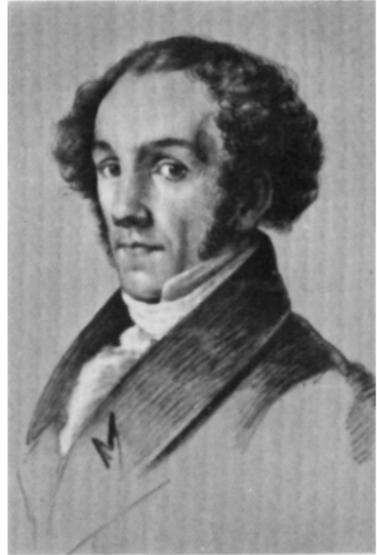


Внучка Гете Альма.  
С портрета маслом  
Луизы Зейдлер

Мейер.  
С рисунка  
Йозефа Шмеллера



Фредерик Сорэ.  
С рисунка  
Йозефа Шмеллера. 1824





Старый театр в Веймаре. 1779—1825



Вид дома Гете  
со стороны сада



Новый театр в Веймаре. 1825—1907



Рабочая  
комната Гете  
в садовом доме



Великая герцогиня  
Мария Павловна.  
С портрета неизвестного  
художника



Ример.  
С рисунка  
Йозефа Шмеллера



Гипсовые медальоны Давида д'Анже



Тезей находит оружие своего отца.  
Медаль Генриха Брандта

---

Иоганн Петер Эккерман

РАЗГОВОРЫ  
С  
ГЕТЕ  
В ПОСЛЕДНИЕ  
ГОДЫ  
ЕГО ЖИЗНИ

Перевод с немецкого  
Наталии Ман



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1986

ББК 84.4Г  
Э 38

JOHANN PETER ECKERMANN  
GESPRÄCHE MIT GOETHE  
IN DEN LETZTEN JAHREN SEINES LEBENS

Вступительная статья

Н. Н. ВИЛЬМОНТА

Комментарии и указатель

А. А. АНИКСТА

Оформление художника

А. РЕМЕННИКА

Э  $\frac{4703000000-367}{028 (01)-86}$  КБ-16-30-86

© Издательство «Художественная литература»,  
1981 г.

---

## О КНИГЕ «РАЗГОВОРЫ С ГЕТЕ» И ЕЕ АВТОРЕ

### 1

Гете был стар.

Десятого июня 1823 года, когда Иоганн Петер Эккерман впервые переступил порог уже тогда всемирно знаменитого дома на Фрауэнплане, домовладельцу, его высокопревосходительству действительному тайному советнику и министру великого герцогства Саксен-Веймарского и Эйзенахского, господину Иоганну Вольфгангу фон Гете было без малого семьдесят четыре года: до 28 августа, дня рождения великого поэта и мыслителя, оставалось чуть более двух с половиною месяцев.

Знаменательный день их первой встречи возымел для обеих сторон непредвидимо важные последствия. Здесь неприметное движение начинающего литератора, выходца из самих темных и немощных слоев народа, скрестилось с триумфальным шествием немецкого национально-всемирного гения — «любимца богов», как называли Гете друзья и недруги, как он и сам себя с горечью назвал в тогда еще не написанной «Мариенбадской элегии»:

А мной — весь мир, я сам собой утрачен,  
Богов любимцем был я с детских лет,  
Мне был ларец Пандоры предназначен,  
Где много благ, стократно больше бед!  
Я счастлив был, с прекрасной обрученный,  
Отвергнут ею — гибну, обреченный.

*(Перевод В. Левика)*

О том, какое жалкое детство, какая нищенская юность выпала на долю Эккерману, каких трудов стоило ему, сыну неуспешного коробейника, бывшему пастушонку, солдату-егерю, добровольно принявшему участие в освободительных войнах против

Наполеона, и, позднее, военному писарю, самоучкой на двадцать пятом году жизни подготовиться к поступлению в предпоследний класс гимназии, а там, с помощью добрых людей, и в Геттингенский университет, — обо всем этом читатель узнает из краткого автобиографического очерка, предпосланного Эккерманом его «Разговорам с Гете». В 1821 году Эккерман напечатал сборник лирических стихотворений, как-никак принесший ему сто пятьдесят талеров. Это дало ему возможность предпринять путешествие в саксонские герцогства и — через Лейпциг, Мерзебург, Дрезден — добраться до Веймара в тайной надежде повстречаться с Гете, — ведь и он, Эккерман, «стал теперь тоже поэтом»...

Но Эккерману не повезло: Гете был в отъезде. А впрочем, будь оп даже и в Веймаре, их встреча едва ли бы состоялась. Домочадцы всячески ограждали покой великого человека. Наплыв молодых людей, мнящих себя поэтами, был и впрямь непомерно велик. Каждая почта поставляла множество рукописей и сборников «начинающих». Обычно им направлялось стандартное уведомление, написанное рукою секретаря, в котором высказывалась благодарность от имени «его превосходительства господина фон Гете» за любезно присланные ему плоды их усердного служения музам. Таким вежливым, на деле ничего не значившим, уведомлением был почтен и Эккерман, когда он заглянул в дом без хозяина на Фрауэнплапе.

Однако эта неудача не смутила и не обезоружила тихого, но упорно добивавшегося своей цели молодого литератора. В 1823 году он послал своему кумиру рукопись совсем другого содержания под удачно выбранным заглавием «Заметки о поэзии с ссылками на пример Гете». Она не могла не привлечь к себе внимания веймарского громовержца. Автор этого сочинения — с точно взвешенным расчетом, но с расчетом любящего — и говорил о нем именно то, что хотел бы слышать Гете от немецкой критики и что не терпелось Эккерману высказать своему учителю жизни — в зависимости и вне зависимости от поставленной себе цели: добиться признания и участия Гете.

Не надо преувеличивать удельный вес Эккермановых «Заметок о поэзии». Рядом с тем, что говорил Шиллер о «Вильгельме Мейстере» (в переписке с Гете), рядом с блестящей статьей 1795 года Фридриха Шлегеля о том же «Мейстере» или с великолепным разбором «Римских элегий», написанным его братом Августом Вильгельмом (замечательным переводчиком Шекспира), рядом с тонким эстетическим трактатом Вильгельма фон Гумбольдта о «Германе и Доротее» или с глубокими суждениями философа Шеллинга о Гете, его личности и творчестве, — «Заметки о поэзии» Эккермана, конечно, меркнут. Но ведь я противопоставил первому критико-теоретическому опыту геттингенского студента самые громкие имена немецкой нации — прием, едва ли позволенный. И все

же, ничуть не впадая в преувеличения, нельзя не признать несомненных достоинств этой ранней работы начинающего критика. Как бы там ни было, но не заурядные стихи, некогда присланные Эккерманом, а этот сборник литературных размышлений предпринял дальнейшую судьбу его автора.

Гете внимательно прочел поступившую рукопись! Гете звал Эккермана в Веймар!

Положение звезд на немецком литературном небосклоне благоприятствовало сближению Гете с его горячим почитателем: Гете был обременен работой. Много незавершенных рукописей лежало на столе и на полках до странности малой рабочей комнаты писателя — жалкой келейки по сравнению с парадной анфиладой его respectable дома. Но великий поэт и мыслитель любил работать в простой до убогости обстановке.

Да, многое так и останется фрагментами. Но не «Поэзия и правда», ее четвертая, завершающая, часть. Но не вторая, окончательная, редакция «Годов странствий Вильгельма Мейстера». И уж никак не «второй Фауст» — «главное дело», как называл Гете свою работу над второй частью трагедии. Их надо закончить, чего бы это ни стоило! А как его отвлекло от этих неотложных задач редактирование последнего (он знал, что последнего) прижизненного издания его сочинений. Нет, уж пусть потрудятся над ним другие! «Лишь общий надзор за собою оставляю». Но одному Римеру с этим не справиться. Необходим еще и второй самоотверженный помощник.

Тут-то Гете и попали в руки «Заметки о поэзии» геттингенского студиязуса. «Дельная книжечка! Он знает и любит мою суть. И он не из этих христианско-немецких энтузиастов (то есть младшего поколения романтиков) и не из болтунов-либералов. Но, похоже, и не из перебежчиков в королевско-прусское цензурное управление (а были и такие — недавний его секретарь Джон, к примеру). Среди молодежи мало кто так здорово и самостоятельно во всем разбирается. Надо его вызвать. А там посмотрим».

Читатель сам ознакомится с записью Эккермана, помеченной 10 июня 1823 года, — первым его опытом передавать изустную речь Гете. Но то лестное, что сказал о нем и его книжечке Гете, Эккерман скромно изложил своими, достаточно сдержанными словами: «...потом он одобрительно отозвался о ясности изложения, о последовательности развития мысли и добавил, что все в ней (то есть в книге. — *Н. В.*) хорошо продумано и зиждется на добротном фундаменте». И Гете не ограничился одним лишь этим одобрительным отзывом. Он тут же возвестил, что еще сегодня пошлет с верховой почтой письмо к своему издателю Котта, а завтра отправит вслед письму и его рукопись с почтовым дилижансом. «Она не нуждается в рекомендации, ибо сама за себя говорит... Я хочу по-

скорее увидеть ее напечатанной». Услышав от Эккермана, что он думает остановиться в Иене, Гете сказал: «Ну вот и хорошо!.. Мы будем соседями и сможем друг к другу наведываться или обмениваться письмами, если возникнет надобность».

Полная победа! Эккерман был «безмерно счастлив», ибо в каждом слове Гете сквозило благоволение. И к тому же письмо Гете к книгопродавцу! Это спасение. Ведь деньги совсем на исходе. Злая нужда стучится к нему в оконце — хоть и нет у него никакого оконца, да и крыши над головой. И вдруг все изменилось с неожиданностью арабской сказки! «Мы распрощались как друзья»,— сказано все в той же записи.

Эта мгновенно установившаяся близость дала себя знать уже на следующее утро. Гете попросил Эккермана зайти к нему собственноручной запиской (что уже само по себе было немалым отличием). Полубог вышел к нему навстречу по-домашнему, в легком белом фланелевом халате, держа в руках два увесистых комплекта «Франкфуртского ученого вестника» за 1772 и 1773 годы. Гете сотрудничал тогда в этом журнале, помещая в нем рецензии по самым различным вопросам, им, однако, не подписанные. «Но вы достаточно знаете мой слог, мой образ мыслей и, конечно же, отыщите их среди прочих... Мне нужно знать, стоит ли включать их в следующее собрание моих сочинений. Я о них судить не берусь. Но вы, молодые, сразу поймете, представляют ли они интерес для вас и в какой мере они могут быть полезны литературе в нынешнем ее состоянии».

Получив полное на то согласие Эккермана, Гете добавил: «И еще мне бы хотелось, чтобы вы пробыли в Иене не несколько дней или недель, а обосновались там на все лето, покуда я, к осени, не ворочусь из Мариенбада». Эккерман с великой готовностью согласился и на это.

Так началось тесное сотрудничество Эккермана с первым поэтом Германии, не окончившееся и с его смертью...

## 2

Почему Эккерман пришелся так по душе великому поэту и мыслителю? Подкупающей внешностью природа его не наделила. Да и молод был Эккерман только как литератор. В 1823 году ему исполнился тридцать один год, а выглядел он и того старше. Лицо, испещренное сетью преждевременных морщин — следами житейских забот, постоянных лишений и непомерных усилий набраться недостающих знаний; водянисто-голубые узкие глаза, не то усталые, не то мечтательные, и этот слишком тонкий, с горбинкою, нос, похожий на клювик ястребка, не то чтобы длинный, но востренький. На впалые щеки, не знавшие румянца, спадали жидкие пряди

прямых светло-русых волос — прическа «длинная, до плеч», вошедшая в моду среди тогдашней молодежи. Ее ввели романтики в подражание юношам немецкого средневековья, а у них переняли и «эти шалые единомышленники Занда», всадившего-таки свой кинжал в самое сердце господину фон Коцебу, плодовитому драмателю, доверительно сообщавшему о настроениях немецких буршей прямо в Петербург императору Александру: «Ужасно! Ужасно и омерзительно!»

Гете не терпел этой прически в старонемецком вкусе и даже позднее уговаривал Эккермана завивать свои лохмы, как то делал он сам (ipse) вот уже пятьдесят лет. Но на сей раз безропотный Эккерман проявил непонятное упорство — остался-таки при своей дурацкой фризуре! «Как-никак, а он все-таки проникся моей сутью! Это видно и по его книжечке...» И пишет он не о давних творениях поэта («Кто только их не хвалил!»), а о «Диване» и «Избирательном родстве». Публика и присяжные критиканы находят их непонятными, даже безнравственными: «Ах, ах! уж эти мне добрые немцы!» А этот новоявленный критик все понял как должно.

И как смело, как продуманно Эккерман нападает на рецензию Шиллера «Эгмонт. Трагедия Гете», написанную в 1789 году (за шесть лет до начала тесной дружбы двух великих немецких поэтов)! Воздав должное бесподобному мастерству, с каким Гете воссоздает атмосферу эпохи, в которой протекает действие драмы, а также замечательным образом представителей самых разнородных сословий, профессий и национальностей, Шиллер тем решительнее осуждал ее концепцию и самый образ заглавного героя. Эгмонт, каким его создал Гете, молод, холост и властен свободно располагать своим сердцем — в отличие от «исторического» Эгмонта, «нежного супруга и многодетного любящего отца». Лишив своего героя жены и детей, — так рассуждал Шиллер, — поэт разрушил «всю последовательность его поведения», всю оправданность «злополучного нежелания Эгмонта» бежать из Брюсселя, от гибели, которую готовил ему герцог Альба, выполняя волю короля Филиппа. «Исторический» Эгмонт знал, что в день и в час, когда он покинет пределы Нидерландов, отпадут все доходы, причитавшиеся ему как наместнику двух богатых нидерландских провинций, и сверх того будут конфискованы все его земли, все его имущество, что означало бы полное разорение его семьи. Слишком «нежный и благородный», как сказано Шиллером, он не может потребовать столь тяжкой жертвы от жены и детей. Потому-то он, жертвуя собой, и остается в Брюсселе.

Молодой, бессемейный Эгмонт Гете не знает этой тревожной заботы о близких — его отказ покинуть Брюссель объясняется автором трагедии «одной лишь легкомысленной его самонадеянностью», а это «не может не принизить нашего уважения к его уму».

Но как ни благородно, ни «трогательно» решение «исторического Эгмонта» не покидать Нидерландов ради благоденствия семьи, в его основе, бесспорно, лежала твердая надежда, если не на оправдательный вердикт судебного процесса, то на королевское помилование. Эгмонт не верит в предстоящую казнь даже на эшафоте. Лишь убедившись в том, что спасительного гонца, что пощады не будет, он опускается на колени и, шепча печальные слова «Pater noster», склоняет голову на плаху...

Смерть исторического Эгмонта, как она ни незаконна и ни несправедлива, лишена всякой героики.

Шиллер в своей рецензии отнюдь не оспаривает права драматического писателя на отступление от исторической истины. Он и сам неоднократно пользовался этим правом. Но он находит, что Гете, отступив от таковой и тем самым лишив зрителя «трогательного образа отца и любящего супруга», ослабил свою пьесу.

Усматривал Шиллер и другую «ошибку», допущенную Гете: стилистическое несоответствие героико-патетического финала трагедии с непринужденным, сугубо реалистическим языком, звучащим во всех прочих сценах его пьесы. Этот язык, эта мастерски отработанная житейски-обиходная проза замолкает в последней сцене «Эгмонта». Ей на смену приходит «опера», как выразился Шиллер: распаивается стена (задник декорации узилища), и перед нами предстает богиня свободы, принявшая обличие Клерхен, которая венчает Эгмонта лавровым венком победителя. Все это — только сон, по мысли Гете. Но, проснувшись, Эгмонт еще ощущает весомую тяжесть врученного ему венка. Ободренный этим чудным сновидением, он бесстрашно идет на казнь и произносит с тюремного порога свой знаменитый монолог, в котором призывает сограждан к восстанию, к беспощадной борьбе с испанскими поработителями.

На эти-то два возражения Шиллера Эккерман и обрушивает свои критические перуны со всею яростью литературного неопита. Он прямо начинает с утверждения, что «трогательность» не может быть ни целью, ни движущей пружиной трагедии. «Если бы Гете, — так пишет Эккерман, — создал своего героя таким, каким хотел его видеть Шиллер, то есть без его легкомыслия, исполненным всевозможными добродетелями супругом и отцом то ли девяти, то ли даже одиннадцати детей — кто бы выдержал его насильственную смерть и слезы его близких?.. Кто находит прекрасной абсолютную, беспросветную трагичность, тот не имеет ни малейшего представления ни о природе трагического, ни о поэзии». Эти дерзкие слова молодой литератор бросает прямо в лицо Шиллеру, большому поэту, гордости его нации. Но как раз они-то, надо думать,

и позабавили и понравились Гете, вспомнившему, наткнувшись на эти строки, о «божественной наглости» своей собственной юности.

Эккерман в страстной полемике с Шиллером смело утверждал, что истинно художественная, истинно поэтическая трагедия не может быть только трогательной. По его убеждению, Гете никогда не ставил себе целью «подавлять, доводить до отчаяния» своих читателей или зрителей. Подобно Шекспиру, и он «печется только о целом — наши слезы ему не надобны». Эккерман справедливо приписывает совсем особое значение концу трагического героя, его гибели. Она-то «главным образом и определяет впечатление от целого». Трагедия, по Эккерману, нуждается в противовесе трагическому началу: «Эгмонт уходит из улыбавшейся ему жизни, он — *счастливый Эгмонт*, полный сил и молодости. Ему тяжело покинуть этот мир». Весь этот тяжкий груз его переживаний может нас только растрогать и опечалить. А потому «надо как можно больше нагрузить другую чашу весов, чтобы она перевесила первую». И Гете о том позаботился! Всем, что только «могло смягчить скорбный час навечной разлуки Эгмонта с землею, некогда представлявшейся ему раем», автор одаривает своего героя: и страстным обожанием Фердинанда (побочного сына Альбы), и символическим видением Клерхен, и благодатным сном, и святой мечтой об освобождении Нидерландов от испанского ига.

Эгмонт, каким его создал Гете, при всей цельности его натуры — человек противоречивейших влечений. Баловень судьбы, прославленный победитель в битвах под Сен-Кентеном и Гравелином, он ценит свое положение знатного вельможи, испанского гранда и кавалера ордена Золотого руна. Все это ему и привычнее, и дороже скромного звания гражданина Федерации нидерландских республик. Но, несмотря на свою — очень криводушную! — «верность» испанской короне, Эгмонт любит свой народ, пусть по-своему, но любит. Даже в своей Клерхен он ценит превыше всего «девочку из народа», ее плебейскую чистоту и бескорытность. *Словные интересы* связывают Эгмонта с мадридским двором, но *национальное его сознание* влечет его к родному народу, к простому народу. Если бы испанские власти не видели в нем «возможного вождя» восставшего народа и не бросили его в узилище, Эгмонт так бы и жил с «двумя душами» в своей груди, корыстно служа испанскому королю и бессильно сочувствуя мятежному народу.

Да, гетевский Эгмонт (здесь подобно «историческому»!) не жил и не думал жить для народа. Но тюрьма, но жестокость испанских властей, но нарастающий гул народного мятежа переносят героя в совсем новое «историческое состояние». Словные интересы, высокое положение знатного феодала — все это отступило в безвозвратную даль. И вот под влиянием предвидимых событий и

ожившего в нем некогда смутного, но теперь сполна осознанного влечения быть заодно с народом Эгмонт — еще так недавно всего лишь блестящий рыцарь, всего лишь бравый кавалерийский генерал — как лунатик поднимается на неслыханную высоту, становится «героем свободы», героем народного восстания. В предсмертный час у Эгмонта хватило душевной широты на то, чтобы попятить до конца, во что преобразится его смерть на фоне революционного предгрозя.

Нет, бравый Эккерман был прав: Шиллер напрасно упрекал поэта за то, что он прибег в последней сцене к возвышенно-патетическому стилю. Жизнь, которой живет его герой в час его заклания, — это уже не жизнь большого барина и блестящего кавалера, это другая, не только ему (может быть, меньше всего ему!) принадлежащая жизнь борца за народ, против испанской тирании. Романтическая приподнятость стиля тут уместна, тем более поддерживаемая бессмертной музыкой Бетховена (которая Шиллеру была неизвестна). Здесь мы вступаем в сферу сверхобычной «высокой действительности», доступной только Искусству: «За родину сражайтесь! Радостно отдайте вы жизнь за то, что вам всего дороже, — за волю, за свободу! В чем вам пример сегодня подаю!»

«Заметки о поэзии» Эккермана еще во многом незрелы, порою даже наивны, но нередко поражают нас верностью его суждений. Его критико-теоретическая книжечка давала все основания видеть в нем будущего недюжинного критика. Он не стал им. Почему? Но об этом — ниже. А пока задержимся на одном, едва ли не важнейшем, эпизоде в биографии старого Гете, чуть не кончившемся катастрофой — смертью поэта, а значит, и невозможностью возникновения не знающей себе равной книги Эккермана.

### 3

Читатель помнит, что 10 июня 1823 года Гете, бодрый и оживленный, предложил Эккерману дожидаться его возвращения из Мариенбада. Казалось, старик начисто позабыл, что в начале все того же года им был перенесен тяжелый инфаркт миокарда, осложнившийся мучительными почечными коликами. Ни врачи, ни пациенты не надеялись на благополучный исход болезни: «Проделывайте свои фокусы, вы все-таки меня не спасете». Но, вопреки мрачным предвиденьям, Гете выздоравливает, вскорости чувствует себя куда лучше, чем до заболевания; его силы восстанавливаются, пробуждается фантазия, желание работать. «А там, в Мариенбаде, целебный источник, даст бог, смое последние следы недомогания». По примеру прошлых лет, он думает поселиться по-

близости от госпожи фон Левцов и ее трех прелестных дочек: будет поддерживать со всеми тремя дружески-шутливые отношения; да и с их матушкой, которую он знает уже давно, когда и ей было всего девятнадцать лет, как теперь Ульрике, ее старшей дочери.

И вот уже он в «вожделенном богемском раю», встречается со старыми и новыми друзьями и все больше прилепляется душой к очаровательной девушке. Стройная, хрупкая полубарышня-полуребенок с голубыми глазами и с лицом скорее задумчивым, чем веселым, она еще год назад училась в страсбургском пансионе для благородных девиц.

Уже само слово «Страсбург» настраивало на любовно-лирический лад. Вспоминалась «везенгеймская идиллия» — его молодое увлечение Фридерикой Брион, дочерью сельского пастора. Ах! все это кончилось горестным разрывом. И по его вине. Но милый облик Фридерики «во всей ее ласковой прелести» позднее продолжал жить в образе Гретхен из первой («субъективной») части его «Фауста». И там же, в Страсбурге, жила и умерла Лили Шёнеман, в замужестве баронесса Тюркгейм, на которой он чуть было не женился. Как раз на прошлой неделе он диктовал относящийся к ней отрывок, предназначавшийся для заключительной части «Поэзии и правды». В нем говорилось, как он — когда их помолвка уже расстроилась — часами бродил октябрьской ночью 1775 года вокруг ее дома в надежде увидеть ее тень, проплывающую по опущенным занавескам. Вот она подходит к клавишину. «Что влечет меня неудержимо...» — выводит ее чистый девичий голос. То была песня, сочиненная в лучшую пору их любви. Голос замолк. Лили беспокойно зашагала по комнате, видимо, думая о нем. Сердце Гете утешенно забило. Нет, во Франкфурте он больше не может оставаться! 7 ноября 1775 года Гете прибыл в Веймар, невзрачную столицу молодого герцога Карла-Августа.

Всплыл из мглы далекого прошлого и образ Лотты Буфф, в замужестве Кестнер. Да и могло ли быть иначе? Наследники лейпцигского книгопродавца Вейганда, напечатавшего в 1774 году его юношеский роман, обратились к автору с почтительной просьбой предпослать подобающее случаю предисловие новому переизданию «Страданий юного Вертера», каковым «фирма Вейганд» отмечала в 1824 году пятидесятилетие со дня обнародования этой книги, повсемирно прославившей имя молодого немецкого сочинителя. «Так былые переживания переплетаются с новыми, и минувшее вселяет веру в лучшее будущее», — пишет Гете из Мариенбада другу-музыканту Цельтеру, предавая странному забвению, что все вспомнутые им сердечные увлечения неизменно кончались разрывом...

Гете в эту свою побывку на светском богемском курорте, по собственному признанию, «постоянно находился в каком-то болезненном возбуждении». Рядом с невинным общением с Ульрикой он

поддерживал «параллельный роман» с прекрасной полькой, прославленной пианисткой и композитором Марией Шимановской. Ее виртуозный «Ле мурмур» («Шепот») исполнялся на всех эстрадах Европы. Ее талантом восхищались Керубини и Россини; а позднее Шуман, никогда ее не слышавший, отзывался о ее «парящих на голубых крыльях прелюдах» как о «гениальном предвосхищении Шопена». Восторгался ее игрой и Гете, а также ее миндалевидными темными глазами, равно как и «живым и гибким умом».

И все же сердце Гете принадлежало Ульрике. Он ежедневно встречался с нею у целебного источника, а также на светских раутах и курортных балах, которые он нередко открывал полонезом, ведя за руку одну из блистательнейших дам интернационального бомонда. Обычно Гете жил в Мариенбаде под общей кровлей с семейством Левецов в аристократическом пансионе господина фон Брёзике. Но на сей раз Гете поселился в пансионе насупротив, так как его покои у Брёзике оккупировал герцог (после Венского конгресса — великий герцог) Карл-Август, чем Гете был весьма доволен, имея на то достаточно вескую причину.

Жить без Ульрики Гете стало уже немыслимо, а единственным способом удержать ее при себе было законное супружество. Но согласится ли фрау фон Левецов выдать свою дочь за семидесятичетырехлетнего старика? Гете решительно поднялся в покои Карла-Августа и посвятил его в свои матримониальные надежды. «Alter, immer noch Mädchen!» («Старина, и все-то девчонки!») — так откликнулся герцог на признания своего бывшего строгого ментора. Но глаза поэта полыхали такой не по возрасту юношеской страстью, что Карл-Август сдался: согласился быть его сватом и в тот же день нанес визит матери Ульрики.

Такой пропозиции госпожа фон Левецов никак не ждала. Ее смущал не столько возраст жениха (такие браки заключались в большом свете), сколько предвидимое ею бурное недовольство сына Гете и невестки Оттилии. Но августейший сват поспешил успокоить материнское сердце. Он обещал подарить «молодоженам» прекрасный дом напротив его великогерцогского дворца и назначить Ульрике весьма значительную пенсию, коль скоро она овдовеет. Такие предложения не отвергаются — тем более, когда твои дочери почти бесприданницы. Согласие было дано. Но под условием годичной отсрочки свадьбы. «Через год! Почему только через год? Это ужасно!» — так Гете принял «доклад» Карла-Августа о его переговорах с «эвентуальной тещей».

Но уже по Мариенбаду пронесся ошеломляющий слух о состоявшейся помолвке. Чтобы пресечь преждевременные толки, семейство Левецов срочно переселилось в Карлсбад, а Гете — в близлежащий Эгер. Но не прошло и недели, как он ринулся влед за Ульрикой. Слухи о помолвке докатились, однако, и до Карлсбада.

Было решено переждать день рождения поэта, не разрезаясь. Наступило 28 августа. Поздравления, подарки, общее веселье, а вечером иллюминация и шумные ракеты, взлетавшие под купол звездного августовского неба. Госпожа фон Левецов и тут проявила свой осмотровый такт: подаренный Гете хрустальный бокал был украшен инициалами всех трех сестер, а не одной Ульрики.

В начале сентября Левецовы отбыли в Вену («Последний прощальный поцелуй» — записано в дневнике писателя), а несколько дней спустя пустился в обратный путь и Гете. Еще он тешил себя надеждой на то, что счастье осуществимо. Но стихи, слагавшиеся в дороге, сплошь проникнуты чувством утраты. Строфу за строфой он сочинял в карете свою «Мариенбадскую элегию», одно из прекраснейших его творений. Стройные строфы «Элегии» дышат неподдельной страстью. Они впрямь созданы несчастным любовником «над бездной», где «жизнь и смерть в борении жестоком». Поэт предпослал стихотворению эпиграф из своего «Тассо»:

Там, где немеет в муках человек,  
Мне дал господь поведать, как я стражду.

Веймар. Семейные дразги, до того Гете неизвестные. Несдержанное поведение сына. Заплаканные глаза Оттилии. Август имеет бестактность заговорить о наследстве. Гете ни словом не обмолвился о щедрых обещаниях Карла-Августа, что могло бы всех утихомирить...

И вдруг в последних числах октября — нечаянная радость: приезд Шимановской в Веймар. После единственного публичного ее концерта — торжественный вечер в доме на Фрауэнплане. Произносятся речи. Все заверяют приезжую знаменитость, что никогда ее не забудут. Но тут берет слово Гете (мы знаем его речь по записи канцлера Мюллера): «Я не признаю воспоминаний в вашем понимании этого слова. По мне, они ничего не значат. Все великое, прекрасное, примечательное — о нем мы не вспоминаем, оно мгновенно овладевает нами и, навечно сливаясь с нашей сутью, порождает в нас лучшее «Я» и, постоянно обновляясь, продолжает жить в наших душах. Нет такого прошлого, о котором стоило бы печалиться. Существует лишь вечно-новое, образующееся из разросшихся элементов былого. Достойная тоска по иному должна стремиться к созданию чего-то лучшего». И, обернувшись к Шимановской, — растроганным голосом: «Разве все мы не испытали этого на себе? Не почувствовали, как мы, благодаря этому благородному, любви достойному существу, помолодели душой, стали лучше, восприимчивее? Нет... сколько б она ни рвалась нас покинуть, я всегда удержу ее в моем сердце».

Пятого ноября, в день своего отъезда, Шимановская с неизменно сопровождавшей ее сестрою (у них уж так повелось) обе-

дали у Гете. Хозяин старался быть веселым, но это ему плохо удавалось. Шимановской еще предстояло отдать прощальный визит великой герцогине Марии Павловне. Она была во всем черном, в ожерелье из крупных агатов, чередовавшихся с черным жемчугом (двор носил траур по случаю чьей-то «августейшей кончины»). И этот траурный цвет обострял горечь разлуки. По знаку Августа поднявшись из-за стола, гости беспорядочно сновали по парадной анфиладе и не сразу заметили, как Шимановская исчезла.

И тут вырвалось наружу все, чем было переполнено старое сердце поэта: «Верните мне ее, верните! Прошу вас!» Было решено перехватить беглянку при ее выходе из дворца. Но Шимановская потому и ушла *à la française* (не прощаясь), что сама решила еще вернуться. «Вы поддержали мою веру в себя, — сказала она при прощании. — Я стала лучше, получив ваше одобрение, выросла в собственных глазах». Гете молча обнял ее. Слезы обильно потекли по его лицу, еще покрытому мариенбадским загаром. Кони нетерпеливо перебирали звонкими копытами. Ливрейный лакей широко распахнул и захлопнул дверцу придворной кареты. Шимановская продолжила свое триумфальное турне по всем большим и малым столицам Европы. В 1831 году ее не стало.

Крепкий, но изрядно подточенный годами организм поэта не выдержал этой нахлыни встреч и разлук, надежд и семейных неурядиц. Болезнь возобновилась. Гете слег в постель, не принимал пищи, никого не хотел видеть. Встревоженные друзья послали за бывшим слугой поэта, Паулем Гетце (ставшим к тому времени инспектором дорог великого герцогства). «Да, ваше превосходительство, жить по-польски нам уже не годится», — назидательно проворчал он на правах бывшего наперсника. Примчался на перекладных из Берлина друг Цельтер. Вот что занес Цельтер в свой дневник об этой встрече:

«Никто не встретил меня у входа. Только чье-то женское лицо мелькнуло в кухонном оконце. Появляется Штадельман (молодой слуга хозяина. — *Н. В.*) и безнадежно поводит плечами. Продолжаю стоять на улице: входит или не входит в эту ибитель Смерти? «Как твой господин?» Грустный вздох. «Где Оттилия?» — «Уехала в Дессау». — «А ее сестра, фрейлейн Ульрика?» — «Занемогла, лежит в постели». Спускается Август: «Отец болен, очень болен!» — «Он умер!» — «Нет, не умер. Но очень плох». Вхожу. Знакомые статуи скорбно глядят на меня. Подымаюсь по лестнице. Удобные ступени уходят из-под ног. Что ждет меня? Что суждено мне увидеть? Не по возрасту пылкого безумца, в чьем теле неистовствует любовь со всеми ее страданиями и бедами? Ну, коли так, он у меня еще выживет!»

Цельтер входит к больному. Тот молча протягивает ему «Элегию» (как бы вместо истории болезни): «Читай вслух!» Цельтера чтение с листа незнакомых стихов не смутило. Он читает «Мариенбадскую элегию» — один раз, потом во второй и в третий раз. «Читаешь ты хорошо, старина», — говорит Гете. Два лечащих врача все это слышат из смежной рабочей комнаты: чудят-де старики! Но вот поди же! Пациент после этого диковинного психотерапевтического сеанса чувствует себя бодрее. Впервые после долгого поста принимает пищу. А спустя неделю Цельтер едет восвояси в гордом убеждении, что на сей раз ему удалось «вырвать из когтей смерти возлюбленного друга».

Что это было, что значили этот всех испугавший приступ полного изнеможения и почти мгновенное его преодоление? В жизни Гете душевные кризисы нередко приводили к нарушению деятельности всего его организма на малые или более длительные сроки. Эта же патологическая аномалия повторилась и осенью 1823 года. В «Западно-восточном диване» имеется одно стихотворение, проливающее некоторый свет на эту загадку.

Все, — ты сказал мне, — поглотили годы:  
Веселый опыт чувственной природы,  
О милом память, о любовном вздоре,  
О днях, когда в безоблачном просторе  
Витал твой дух. Ни в чем, ни в чем отрады!  
Не радуют ни слава, ни награды,  
Нет радости от собственного дела,  
И жажда дерзновений оскудела.  
Так что ж осталось, если все пропало?  
«Любовь и Мысль! А разве это мало?»

*(Перевод В. Левика)*

Душевный кризис, перенесенный Гете в глубокой старости, был так болезненен именно потому, что на вопрос: «Так что ж осталось, если все пропало?» — он уже не мог ответить: «Любовь и Мысль». С последним поцелуем Ульрики фон Левецов и самым последним Марии Шимановской отпала теперь и любовь. Это он почувствовал. Во всяком случае, «любовь в обличи женской юности и красоты», как выражался Гете. Это горькое чувство прощания с «земной любовью» знакомо многим, переступившим порог неумолимой старости, — но в столь же несравнимо большей степени — поэту, сознающему, какого бесценного источника вдохновения он лишился! Но Мысль, но необъятный, прекрасный мир, они остались при нем.

«А разве это мало?»

Нет, и этого хватит с лихвою на многое! Встреча с Цельтером и троекратно прочитанная им «Элегия» убедили Гете, что поэтические силы в нем не иссякли, что всегда благоволившая ему судьба

и собственная воля еще позволят ему завершить незаконченное, и прежде всего «второго Фауста», — стоит только приналечь! Теперь-то только и начнется настоящая рабочая страда!

Помолвка с Ульрикой фон Левецов расстроилась. И мать и дочь тому не удивились. Ульрика умерла, чуть не дожив до кануна XX века. Замуж она так и не вышла.

4

Только теперь наступила для Гете настоящая старость, уже неизбывная. Изменился весь внешний уклад его жизни. Он уже не ездил более в отдаленные курорты. Никогда не посещал ни Мариенбада, ни Карлсбада. Очень редко бывал он и в близлежащих Иене, Тифурте, Бельведере, Дорнбурге. Но свой последний день рождения, прожитый на нашей земле, — 28 августа 1831 года, — он все же провел в Ильменау, спасаясь от наплыва посетителей; вечером зашел в лесную сторожку, где на стене мансарды была им записана карандашом «Ночная песня странника» («Горные вершины спят во тьме ночной...»). Гете прочитал ее про себя, и слезы потекли по его старческим щекам. «Да! Отдохнешь и ты», — произнес он растроганным голосом. Потом с минуту помолчал, посмотрел в окно на темнеющий лес и сказал спутнику (Эккерману): «А теперь поедем!»

Его постоянной резиденцией стал дом на Фрауэнплане, его прижизненный музей, архив его обширного литературного наследства. Круг людей, окружавших Гете, все сужался. Старые друзья поумирали: в 1828 году скончался и Карл-Август, а два года спустя умер в Риме и сын поэта, непутевый Август. Но Гете продолжал работать в полную силу — «Вперед через могилы!».

Зато безмерно умножились контакты великого поэта и мыслителя со всеми точками на нашей планете. Откуда только не стекались к нему ценные подарки и любопытные посетители: из Франции, Англии, Италии, из Австрии и Богемии (то есть Чехии), из Польши, скандинавских стран и заокеанских Штатов, обретших независимость в пору ранней юности поэта. Навещали Веймар и соотечественники великой герцогини, сестры двух русских императоров, Александра и Николая. Побывал у Гете и Жуковский, много рассказывавший ему о Пушкине, почему старый поэт и подарил великому русскому собрату свое перо, сопроводив его ласковым четверостишием. Посидел на коленях Гете и малолетний Алексей Константинович Толстой, привезенный в Веймар его дядей и опекуном. Позднее он щедро отдалился за это двумя прекрасными переводами — «Коринфской невестой» и «Богом и баядерой».

Гете вполне сознавал, что его дом стал центром мировой культуры. Его обслуживали теперь шесть секретарей; некоторые из них, вполне усвоив обиходный слог и почерк писателя, сплошь и рядом изготовляли «собственноручные письма Гете» (такое умение требовалось от первоклассных секретарей в XVIII веке, но в канцелярии Гете оно оставалось в силе и в первую треть XIX). Изменился и весь стиль домоводства на Фрауэнплане. Званные обеды и ужины у Гете блистали богатой сервировкой, славились изысканными блюдами и отменным вином из отцовских, точнее, еще дедовских погребов. В более торжественных случаях мужчинам полагалось являться во фраках и при регалиях, а дамам в вечерних туалетах. Этому этикету волей-неволей подчинился и Эккерман, что поглощало немалую долю его скудных доходов.

После первой встречи с Гете, столь осчастливившей Эккермана, казалось, что жизнь его устроена. Его «Заметки о поэзии» вышли в солидном издательстве Котта. Гете привлек его к работе над новым изданием своих сочинений, обретя в нем неутомимого помощника и постоянного собеседника. «Разговоры с Гете», задуманные и начатые уже тогда, обещали стать замечательным произведением. Они и стали таковым. Можно сказать, что эта книга научила немцев не только почитать Гете как универсального гения, но и полюбить в нем человека. Однако все это свершилось позднее, в основном уже не при жизни Эккермана.

Иоганн Петер Эккерман был не только «баловнем судьбы», по праву приобщившимся как человек и литератор к бессмертной славе «величайшего немца», но и типичным немецким неудачником. Всю жизнь он пробедствовал. Быть одним из оплачиваемых секретарей Гете он не хотел — из плебейской гордости, надо думать; да и не хлебная то была бы должность. Свое более чем скромное существование Эккерман поддерживал уроками, в том числе и молодым англичанам и американцам, хотевшим «читать Гете в подлиннике», и это был малый и неустойчивый заработок, а «денежные подарки», которые он принимал от Гете, были не так часты и не так щедры, чтобы это могло существенно изменить его бедственное положение.

Между тем Эккерман задолго до встречи с Гете дал слово некой Ханхен Бертрам обвенчаться с нею, как только его дела поправятся. Но они не могли поправиться, поскольку Эккерман безропотно следовал советам и пожеланиям своего кумира. Так, Эккерману было предложено одним популярным английским трехмесячником поставлять в каждый номер обзор текущей немецкой литературы (обещанный ему гонорар был прямо-таки баснословен, по тогдашним немецким представлениям). Но Гете настойчиво отговаривал Эккермана «клонуть на приманку островитян»: «О ком только не придется ему тогда писать! Не лучше ли сосредоточить

все свои силы на сочинении, в основу которого положены наши разговоры?» Гете придавал большое значение мемуарам Эккермана, особенно после того, как тот ознакомил его с некоторыми образцами своих записей. Но стоило только все тому же английскому трехмесячнику предложить Эккерману печатать главу за главой все, что было им записано, как Гете восстал и против этого. Надо-де повременить, следует обнародовать «Разговоры» только после его смерти. Будут новые беседы. Такая книга требует продуманной композиции. О том, на какое жалкое существование обрекал Эккермана его запрет, Гете, видимо, даже не подумал.

Горько и досадно читать переписку Эккермана с его невестой. Ханхен не переставала удивляться: как это Гете, который, со слов жениха, так благоволил к нему, ничего не может для него сделать? Эккерман всячески выгораживал своего благодетеля от обвинений в эгоизме, напоминал, что только по его настоянию ему, Эккерману, была присуждена Иенским университетом степень доктора, и т. д. Но докторская степень была бездоходна, а гононар, полученный Эккерманом за редактирование юбилейного сборника по случаю пятидесятилетнего состояния Гете на веймарской службе, оказался смехотворно ничтожным. Эккерман обнадеживал бедную Ханхен обещанной ему должностью помощника хранителя государственной библиотеки, как только таковая станет вакантной, но она все не освобождалась. Ханхен подыскивала для жениха скромные должности в Ганновере или в Блакеле. Но Эккерман уклонялся от всех ее предложений: его главный ресурс — «Разговоры с Гете», которые его обогатят всенепременно, а завершить их возможно только в Веймаре, вблизи от великого друга.

Так продолжалась эта тягостная переписка двух помолвленных — семь лет с начала приезда Эккермана в Веймар, а всего со дня помолвки одиннадцать лет, — роман, возможный разве лишь в нищенствовавшей тогда Германии. Только в 1830 году, на обратном пути из Италии, Эккерман собрался с духом направить Гете своего рода ультиматум, в котором ставил в известность своего высокого покровителя, что его дальнейшее пребывание в Веймаре станет невозможным, если он не будет обеспечен постоянным верным заработком. О том, что он собирается жениться, Эккерман не обмолвился и в этом письме...

Гете тотчас же поспешил ему ответить. Он звал его в Веймар, обещая неотлагательно удовлетворить его пожелание. Возможность потерять Эккермана его взволновала. Ведь Гете не раз говорил ему и при нем в кругу своих близких, что без Эккермана, без его деятельного, восторженного сочувствия, ему никогда не удастся окончить «второго Фауста» — как в свое время не удалось бы завершить «Годы учения Вильгельма Мейстера» без постоянного общения с Шиллером. По настоянию Гете, обращенному к великой

герцогине, Эккерман был назначен вторым воспитателем наследного принца Карла-Александра в помощь женевцу Сорэ. К тому же Мария Павловна обещала ему должность хранителя своей личной библиотеки, как только занятия с принцем окончатся. Жалованье, положенное новому воспитателю, было очень невелико, но все же давало Эккерману возможность обвенчаться с его невестой. В 1831 году Иоганна Бертрам, после одиннадцати годов ожидания, стала госпожой Эккерман. Был ли их брак счастливым, неизвестно; одно достоверно: он был краток. В 1834 году Ханхен умерла родами, разрешившись младенцем мужского пола. Пережив великого собеседника Эккермана, она так и не дождалась обнародования «Разговоров с Гете», на которые ее муж возлагал все свои надежды, ожидая большого литературного и не меньшего материального успеха.

Смерть Гете освободила Эккермана от запрета публиковать мемуары о великом поэте, мыслителе и человеке. Но он еще долго не мог приступить к их изданию. Гете возложил в своем завещании на Эккермана и Римера обнародование его обширного литературного наследства в десяти томах, первый из которых содержал вторую часть «Фауста». Оплачивался этот кропотливый, самоотверженный труд достаточно скудно, и притом не по сдаче подготовленных томов, а по их распродаже, длившейся годами.

Только в 1835 году Эккерман справился с этим хоть и почетным, но крайне невыгодным заданием и мог приступить к переговорам с издателями о напечатании «Разговоров». В 1836 году они поступили на книжный рынок, изданные в двух томах книгопродавцем Брокгаузом.

Радужные надежды Эккермана, однако, и тут не оправдались: ожидаемого успеха его мемуары поначалу не имели. Их упорно замалчивали, и, что хуже всего, они туго расходились. Над вторым снисходительно подшучивали, видя в нем отсталого глашатая уже изжившей себя «эпохи Гете» — иначе: «эстетической эпохи», как назвал ее Гейне в своем блестящем эссе «Романтическая школа», вышедшем в 1837 году.

Гейне не обрушил своих критических сарказмов на самого Гете, которого по-прежнему почитал первым поэтом Германии, но тем язвительнее отзывался о «гетеанцах», то есть о малых последователях великого поэта. Они-де «смотрели на искусство как на вторую действительность и ставили таковую столь высоко, что все, чем бы ни жили люди, — их дела, их мораль, их верования, — казалось, происходит где-то вдали, в жалкой низине повседневности». Эта характеристика явно не относилась к Гете, никогда не перестававшему думать о будущем своего народа, о лучшем устройстве всего человечества — чему свидетельством социальные идеи, высказанные им в «Годах странствий Вильгельма Мейсте-

ра», и тем более предсмертный монолог Фауста, мечтающего увидеть «народ свободный на земле свободной».

Но Гете довелось услышать о себе и куда более резкие отзывы своих недругов еще при жизни. «Этот человек обладал огромной тормозящей силой, — писал буржуазный радикал Людвиг Бёрне в своем «Письме из Парижа» от 20 ноября 1830 года, — с тех пор как я стал чувствовать, я его ненавижу, с тех пор как научился думать, знаю за что...» «Гете рифмованный холоп, как Гегель нерифмованный». Таков был политический удар, нанесенный великому поэту «слева».

Удары политические и вместе с тем церковно-религиозные справа ему предшествовали: еще в 1812 году Фридрих Шлегель (некогда безоговорочный почитатель Гете и чуть ли не республиканец, теперь же убежденный католик и подручный Меттерниха) утверждал в одной из своих венских лекций, что «убеждениям Гете всегда недоставало твердой духовной позиции». Но это им было сказано походя и не главенствовало в данной им характеристике жизни и творчества великого писателя. Другое дело — вышедшая в 1822 году книга молодого пастора Пусткухена, учинившего форменный разгром и поэзии, и самой личности Гете. В глазах агрессивного двадцативосьмилетнего богослова великий поэт и мыслитель был человеком, чуждым всякой веры и каких-либо моральных воззрений: «Даровитый, виртуозно владевший формой сочинитель, он угодливо улавливал переменчивые настроения публики, благодаря чему неизменно оставался модным поэтом, выразителем нашего безбожного времени», а никак не «исконной сути немецкого народа». Уже по тому, какими злобными эпиграммами Гете осыпал этого «Ферсита в клобуке», можно судить, как больно он был уязвлен его пасквильной «поповской стряпней».

Этот «удар справа» имел свое продолжение, не столько богословско-морализующее, сколько политическое. В 1828 году Вольфганг Менцель обнародовал свою тенденциозную «Историю немецкой литературы». В ней ему удалось совместить свои реакционнейшие воззрения с устремлениями младших поколений немцев, осознавших — кто смутно, кто более четко — необходимость непосредственного участия в общем течении жизни, ибо без личного вмешательства каждого ничего не изменится в отсталой, раздробленной на множество самоправных государств Германии. Менцель (на свой аршин реакционного романтика) тоже помышлял о практике, политике и воспитании народа. Но сколь далеки были его мечты от революционного преобразования отечества, нетрудно усмотреть уже из задач, которые он возлагал на немецкую литературу. Она-де должна проникнуть в исконную духовную статью немецкого народа, его национальную самобытность, уяснить себе таящуюся в немцах приверженность к «чудесному» и воспевать ее. А эта-то

вера в «чудесное, идеальное» утрачена новейшей немецкой литературой, и прежде всего Гете, ее «корифеем, идиолом, исчадием нашего времени». Под «чудесным началом, таящимся в немецком народе», Менцель заодно понимал и «чудесное предназначение Германии», разделяя эту мечту с многими представителями немецкого бюргерства, грезившими о «величии и бранных подвигах» немецкого народа.

К сторонникам внедрения именно такого рода «национального сознания» в души немецкого народа обращены гневные строки Гете, которыми он откликнулся в 1814 году на шовинистический угар, охвативший значительную часть немецкого общества:

Будь проклят, кто, поддавшись лжи,  
Поправ священный стыд,  
Что корсиканец совершил,  
Как немец совершит!

*(Перевод Мариетты Шагинян)*

До какой только вульгарной брани не договаривался Менцель, этот «истинный германец»! Он сравнивал Гете с «пробкой всегда плывущей на поверхности потока» преходящих вкусов публики, и утверждал, что он то и дело менял свои роли, подобно профессиональному актеру, что все его герои «любопытные Дон-Жуаны, только что сентиментальные», а сам Гете «не более, как тщеславный модник». «Все, что им создано, написано лишь для показа своей виртуозности, и «Фауст» достойно венчает его «поэзию эгоизма».

Представители литературной группы «Молодая Германия» и тем более левые гегельянцы резко отмежевались от непристойных выпадов Менцеля против великого поэта. Но легенда об «олимпийском равнодушии» Гете получила прочное распространение среди мелкотравчатой немецкой «радикальной» буржуазии и полунинтелигенции. В последнем письме, написанном поэтом за несколько дней до его кончины (оно адресовано Вильгельму фон Гумбольдту), Гете сообщает о завершении второй части «Фауста». Ему, конечно, хотелось бы послать свой многолетний труд многим друзьям, «рассеянными по всему миру». «Но, — так заключает он свое предсмертное письмо, — право же, наши дни так нелепы и сумбурны, и мне часто приходится убеждаться, что мои честные давнишние усилия над построением этого здания плохо вознаграждаются и лежат на берегу как обломки погибших кораблей, засыпаемые гравием времени».

Гете надеялся, что записи Эккермана помогут его соотечественникам понять его деятельность, оценить его личность. Так оно и сбылось позднее. Но современные ему поколения немцев вполне усвоили, так сказать, «искусство тугого уха» под влиянием таких

вот идеологов «в клубках и без клубков», как говаривал Гете. Эккерман, как «душеприказчик» Гете, испытал на себе все последствия такого состояния умов: насмешки, материальные невзгоды, презрительно-фамильярное «похлопывание по плечу». Книгопродавец Брокгауз, которому Эккерман предоставил право осуществлять французское и английское издания «Разговоров с Гете», не спешил воспользоваться этим правом. Дело дошло до суда, из которого Брокгауз вышел победителем, хотя морально и осужденным судебными властями.

Верный Эккерман дополнил свои «Разговоры» третьим томом, так сказать, «остатными колосьями его бесед с полубогом». Вышел он в издательстве того же Брокгауза в революционный 1848 год, еще менее благоприятствовавший объективной оценке его труда.

Двадцать восьмого августа 1849 года в Веймаре было официально отпраздновано столетие со дня рождения Гете. Казенные речи, великогерцогские флаги, сплошь иллюминированный город. Только в одном доме чернело окно неосвещенной комнаты — в жилище Эккермана. Притаился ли он в своей одинокой келье или незаметно ушел из города, осталось невыясненным. Умер Эккерман в 1854 году, позабытый прославитель и верный помощник Гете, вынесший на своих слабых плечах отступничество немцев от своего величайшего национально-всемирного гения.

В последний год жизни Эккермана стал заметно пробуждаться возобновившийся интерес к жизни и творчеству Гете — отчасти под впечатлением двух одновременно вышедших в Лондоне переводов «Разговоров с Гете». Эккермана они уже не успели обогатить. Вслед за тем вышли его мемуары и по-французски. Но легенда об «олимпийском равнодушии» поэта к «текущей немецкой действительности» продолжала держаться долго, очень долго. Достаточно вспомнить, что в 1931 году Матильда Людендорф (вдова бесславного генерала) обнародовала клеветническую книгу, в которой обвиняла «величайшего немца», как называли Гете Маркс и Энгельс, в причастности к начисто вымышленному ею «убийству» Шиллера. В 1935 году этот бред вконец свихнувшейся старухи вышел сорок третьим изданием.

Спросим себя: доставили ли истинную радость Эккерману его «Разговоры с Гете»? Во время работы над ними — бесспорно, во время выхода из печати первых двух томов его мемуаров — тоже. Не могли не обрадовать его и восторженные отзывы верных друзей дома на Фрауэнплане: Римера, канцлера фон Мюллера, Оттилии и ее сыновей, внуков Гете. Никто из них, столь близко знавших Гете, его повадки, его образ мыслей, его изустную речь, не усомнился в объективности изложения, в изумительном портрет-

ном сходстве героя книги с гениальным оригиналом. «Да, это душа! Так он говорил! Таким он был в жизни!» — говорили его внуки.

Верно: «Таким он был в жизни». Созданный Эккерманом Гете — живой Гете. Всем присутствовавшим на семейном чтении казалось, что они слышат «его словообороты, его голос!» Эккерман носил его в своем любящем сердце: то сидящим, то неспешно прохаживающимся по нарядным помещениям нижнего этажа либо в своей невзрачной рабочей комнате; вспоминал его на фоне скромной тюрингенской природы или роскошных садов, окружавших Дорнбургский замок, куда Гете скрылся от пышных похорон великого герцога Карла-Августа. Изображал его за обеденным столом или на людной ассамблее, а также беседующим с Гегелем, с Августом Шлегелем, с Александром фон Гумбольдтом или играющим с бесцеремонно карабкающимися по нему двумя внучатами; во время прогулки в карете, в садовом домике, где он внес в свой дневник 1829 года: «Еще раз обдумал и поставил на верную колею «второго Фауста». Этот калейдоскоп мелькающих образов давал Эккерману счастливую возможность записывать не только слова, произнесенные Гете, но и воссоздавать обстановку и поводы, их порождавшие. К тому же Эккерман обладал редким даром наводить Гете на разговоры, нужные ему для полноты духовного портрета великого человека.

Эккерман не преувеличивал, утверждая, что главной его заслугой является умение воспринимать и художественно изобразить личность его великого собеседника. Никто из ближайшего окружения Гете не сомневался в объективности и верности записей Эккермана. Только позднейшим текстологам удалось, изрядно попотев, уловить некоторые неточности в датировках. Смутило их и то, что иные пространные монологи Гете занесены в черновики всего двумя-тремя строчками, развитие же скупо представленной темы, — очевидно, «вольное творчество» Эккермана. По мне, эти критические придирки служат не к принижению, а к возвеличиванию автора мемуаров. Кратких пометок Эккерману, видимо, вполне доставало, чтобы по ним восстановить все, что говорил Гете, если не дословно, то по сути верно, его словами и оборотами. Кстати, Гете не раз говаривал, что стоит ему потолковать с человеком минут десять, чтобы заставить его мысленно говорить с ним часами. Эккерман не следовал этому примеру, но, случалось, иногда позволяя себе подправлять небрежно оброненное слово или предложение.

В обдуманной композиции, в артистическом доведении высказываний великого человека до свойственной ему классической ясности и заключается высокое мастерство, художественное совершенство «Разговоров с Гете», благодаря чему они стали книгой,

вот уже более полутора столетия лет обязательной для каждого образованного человека.

Вскоре после смерти Эккермана стали вновь и вновь переиздаваться его «Разговоры» и в Германии, и за ее рубежами. Их достоинства никем уже не отрицались. Но по-прежнему оспаривалось авторство мемуариста. Сочли величайшей похвалой признать его запись посмертным произведением самого Гете. Так высказались некогда столь популярный Фридрих Гундольф, да и новейший биограф поэта, Рихард Фриденвальд. Сдается, они предали забвению слова Гете, утверждающего, что «материал», «ядро произведения» составляет действительность, но творит из него искусство писатель. Слов нет, материал, поставившийся Гете для «Разговоров», сам по себе необозримо богат и гениален, но книгу, читающуюся как роман, сотворил из этого ценнейшего материала никто как Эккерман.

Некоторые гетеведы отмечали робкий, искательный тон общения Эккермана с Гете. Но кто не робел, приближаясь к такому титану духа? «Если я всматриваюсь в то, как протекал мой духовный рост, — так писал Гегель поэту в 1825 году, в зените своей славы, — я вижу Вас всюду в него вплетенным, и мне хочется назвать себя Вашим сыном... Ваши творения, Ваш несокрушимый реализм... были сигнальными огнями на моем пути». Удивляешься другому: как смело Эккерман оспаривал иные положения из Гетева трактата о цвете. «Еретик!» — крикнул ему в сердцах веймарский громовержец. Дружбы это не нарушило. Другое дело, что во всем, что говорил Эккерман о Гете, неизменно звучало — отнюдь не искательность, конечно, а восторженное обожание.

Говорили также, что Эккерман жертвовал собою ради Гете. Это верно: он не стал совершенствовать свое небольшое поэтическое дарование, не писал больше сторонних критических статей, а работал, по просьбе Гете, над «Разговорами», хотя и обнаруживал недюжинные способности критика уже в своих ранних «Заметках о поэзии». Это им ощущалось, да и было, конечно, жертвой, если не судить о ней «sub specie aeternitatis»<sup>1</sup>. Однако с этой в его случае единственно верной точки зрения, все жертвы Эккермана с лихвою окупались его высокой причастностью к нетленной славе Гете.

## 5

Но обратимся к содержанию «Разговоров с Гете». Как его передать, чтобы не плыть без компаса по безбрежным просторам его мышления? Здесь не обойтись без краткого систематизирован-

---

<sup>1</sup> С точки зрения вечности (лат.).

ного изложения воззрений Гете. Единство необозримо, обширному материалу «Разговоров» сообщает сама могучая личность великого поэта и мыслителя, прекрасно воссозданная мемуаристом, и *gründendes Moment* («движущее начало») его сильной мысли, по-разному преломлявшейся применительно к многообразным предметам, занимавшим его внимание.

Это «движущее начало» мысли нашло свое наиболее полное выражение в центральном понятии мировоззрения Гете — в понятии плодотворности, продуктивности. Можно, конечно, искать и найти точку его соприкосновения с идеей «практического разума» Канта или с «философией деятельности» Фихте. Но гетевское понятие продуктивности не укладывается в Кантово учение о безусловном нравственном долге. Уже потому, что под «долгом», в отличие от названных философов, Гете понимал не абстрактно-моральную директивную инстанцию («категорический императив»), а безотчетно-разумную отзывчивость на великие и малые потребности дня. В плодотворности, в практической применимости он видел не только критерий ценности всякого знания, но и самый источник его возникновения.

Человек *продуктивный* и человек *гениальный* для Гете почти синонимы; гениальность в его глазах лишь превосходная степень всякой продуктивности. «Что такое гений, как не продуктивная сила, совершающая *деяния*, достойные бога и природы и именно поэтому оставляющие глубокий след и наделенные долговечностью», не перестающие быть «импульсом деяний далеких потомков». Гениальность, по убеждению Гете (в глубоком отличии от терминологии Кантовой эстетики), свойственна не только поэтам, музыкантам и художникам: «Да, да, дорогой мой, — существует и продуктивен, кто пишет стихи или драмы, — существует и продуктивность деяний, и во многих случаях она стоит превыше всего».

С понятием продуктивности для Гете неразрывно связана и проблема бессмертия. Бессмертие не дано, а *задано* человеку: чем продуктивнее человек, тем он бессмертнее. «Я не сомневаюсь в продолжении нашего существования (после смерти. — *Н. В.*)... Но не все мы бессмертны в равной мере, и тот, кто хочет проявлять себя и в грядущем как великая энтелехия (неделимая сущность. — *Н. В.*), должен быть ею уже теперь». Бессмертие — это способность прошлого *плодотворно* действовать в настоящем. История человечества интересовала Гете, лишь поскольку ею создавались реальные ценности, способные и сейчас содействовать «нашему высшему развитию». В отличие от ранних немецких романтиков, Гете всегда предпочитал современность «исторической ве-тоши». Он не уставал интересоваться всем, что на его глазах изменяло облик земли и человечества, — короче говоря, современным

*прогрессом* в самом широком смысле слова. В книге Эккермана мы видим Гете, с увлечением толкующего о предполагавшемся прорытии Суэцкого и Панамского каналов, а также канала, который должен был бы соединить Рейн с Дунаем. Для того чтобы увидеть осуществленными эти три проекта, право же, «стоило бы еще протянуть каких-нибудь пять — десять лет». В другой раз мы застаем Гете за чтением отчетов английского парламента или же радикального французского журнала «Le globe». Техника и политика для Гете — области, достаточно тесно друг с другом связанные. Как истинный материалист (каковым Гете был все же далеко не во всем), он даже усматривает примат *техники*, производительных сил над политикой. «У меня нет опасения, что Германия не объединится, — говорит он Эккерману, — наши шоссе и будущие железные дороги уж сделают свое дело».

Гете больше всего возмущало, когда его называли «другом существующего порядка». Ведь это «почти всегда означает быть другом всего устаревшего и дурного». «Нет такого прошедшего, о котором бы стоило печалиться, — сказал он в другой раз в беседе с канцлером Мюллером. — Существует лишь вечно-новое, образующееся из разросшихся элементов былого. Достойная тоска по иному должна быть продуктивна, должна стремиться к созиданию чего-то лучшего».

Мы знаем, что столь передовые взгляды у Гете уживались с его неприязнью к революциям, к насильственным переворотам. Он равно ненавидел как тех, кто совершает революцию, так и тех, кто ее провоцирует своим поведением. «Революции совершенно невозможны, — так говорил он, — если правительства всегда справедливы и всегда начеку, если они своевременными улучшениями предупреждают недовольство, а не артачатся до тех пор, пока не-обходимое не будет вырвано натиском снизу».

Но верил ли Гете, с его трезвым, практическим умом, в «высокогуманную» утопию — в надклассовое государство, в его всегда «настороженно-продуктивную» мудрость? Едва ли, — как ни симпатична была ему идея «революции без революции», «революции сверху».

«Если бы можно было сделать человечество совершенным, — рассуждает Гете, — то можно было бы создать совершенный порядок. Мир идет к своей цели не так-то быстро, как мы думаем и как бы мы того хотели. Всюду возникают и противоборствуют некие демоны торможения, так что хотя все и движется вперед, но крайне медленно».

В этих горьких раздумьях, бесспорно, содержится доля истины — истины, почерпнутой из зорких наблюдений за ходом политической жизни конца XVIII — начала XIX века. И в самом деле. Разве Французская революция не привела к обнищанию

рабочих, к длительному упадку французской промышленности, упадку, которому не слишком помогло учреждение «благотворительных мануфактур» и «общественных работ»? Разве протестующие «петиции рабочих» каждый раз не натывались на полное равнодушие буржуазных муниципалитетов — несмотря на лозунг «свобода, равенство, братство», суливший благоденствие народу? Разве «освободительные войны» против Наполеона не укрепили немецкую реакцию? Поистине человечество приближалось к искомой цели «крайне медленно», и «беспрерывные потрясения» были неизбежны! А социальный строй Бабефа или Сен-Симона? Сколь бы ни был он «справедлив» и заманчив — разве он был реален, осуществим?

А посему: только ли реакционен выдвинутый Гете идеал государственной деятельности, который он сам называл «истинным либерализмом»? Ведь «истинный либерал», как разъясняет Гете, это тот, кто «старается всеми имеющимися в его распоряжении средствами осуществить максимум добра, но остерегается искоренять огнем и мечом недостатки, подчас неизбежные... В этом всегда несовершенном мире он довольствуется тем количеством добра, которое в нем наличествует, пока не наступят обстоятельства, благоприятствующие достижению лучшего».

В этом рассуждении теснейшим образом сплелась глубоко верная мысль об объективных факторах истории («обстоятельствах» в самом широком значении этого понятия) все с той же наивной, а по сути реакционно-филистерской верой в мудрость воображаемого надклассового государства, в возможность «революции сверху» — тогда как «революция сверху» мыслима лишь *после* «революции снизу», поставившей у кормила государства правительство, инициативно осуществляющее писанный и неписанный наказ того класса, волю которого оно призвано выполнять.

Каждая из двух тенденций, представленных в приведенном рассуждении Гете, получила дальнейшее развитие в противоречивом мировоззрении поэта. Вера в мудрость государственной власти, хотел он того или не хотел, обернулась в прямую апологетику существующего порядка. Правда, Гете прекрасно понимал, что правительства Австрии или Пруссии — это не та мудрая верховная власть, о которой он мечтал. Имеется запись врача Кизера, полная многозначительных недомолвок. Она относится к декабрю 1813 года, когда решался вопрос, каким путем идти Германии после низложения власти Наполеона: «В шесть часов я пошел к Гете. Нашел его в одиночестве, странно возбужденным. Я оставался у него два часа и так и не понял его до конца. В чрезвычайно конфиденциальной форме он поведал мне свои великие планы и настаивал на моем участии в их осуществлении. Я прямо испугался его. Никогда я не видел Гете в таком возбуждении,

ярости, гнев. Его глаза горели. Ему не хватало слов. Лицо его как-то вспухло». Кизер не дерзнул передать ни содержание, ни даже тему бурного словоизвержения Гете; но по тому, что в этой записи сказано и нарочито недосказано, не так уж трудно заключить, что речь здесь шла о каком-то захвате власти ведущими умами Германии, о попытке установить управление государством передовыми идеологами, «истинными либералами», способными повести немецкий народ навстречу лучшему будущему. Неосуществимая затея, но до чего же характерная для Прометей-Гете!

В период, когда создавались «Разговоры» Эккермана, Гете давно отшел от подобных замыслов, и его беспеченная «вера в благотворность государственной власти» нередко толкала поэта-мыслителя на такие глубоко реакционные высказывания, как признание Священного союза во главе с князем Меттернихом «величайшим благодеянием» для человечества, или на такие откровения, как: «Пускай сапожник сидит за колодкой, крестьянин идет за плугом, а правитель управляет». «Пускай человек имеет столько свободы, чтобы вести здоровый образ жизни и заниматься своим ремеслом, и этого достаточно; а такой свободы может всякий добиться». «Оппозиционная деятельность всегда упирается в отрицание, а отрицание — это ничто». Как будто создание условий, при которых каждый может «вести здоровый образ жизни и заниматься своим делом», не предполагает «отрицания» существующего порядка и общественного уклада, не предполагает долгой, упорной борьбы...

Эккерман дословно записывает все эти ретроградные сентенции великого человека, но он в достаточной мере объективен, чтобы не умалчивать и о совсем других высказываниях Гете — его признании *благотворности* революций, коль скоро они устраняют «неустранимые препятствия» на пути народов к разумно-счастливому будущему, ибо «новой правде ничего не может повредить больше, чем старые заблуждения». Немецкая Реформация и Французская революция 1789 года в глазах Гете были «богоугодны».

Так в Гете противоречиво сочетались неверие в способность человечества к совершенствованию, опасение, что наступят времена, «когда человечество перестанет радовать творца и бог должен будет все снова разрушить, чтобы обновить творение» (тема «Вечного Жида»), с безграничной верой в *торжество* человеческого разума и в то, что во «всеобщем счастье потонут невзгоды отдельного лица» (тема «Фауста»). Мы знаем, что из двух этих замыслов, владевших фантазией поэта, завершен был только второй; «Вечный Жид» так и остался кратким фрагментом. И это, конечно, не случайно. Но мы ошибемся, если будем думать, что поэт никогда мысленно не возвращался к глубоким сомнениям в возможности

счастливого исхода истории человечества. Он нередко возвращался к идее «второго распятия Христа», понимая под Христом «начало добра». Но эти тяжкие раздумья и сообщали воинствующую силу его оптимизму!

Несвободны от глубоких противоречий и воззрения Гете на естествознание, религию, философию. Годы, когда писались «Разговоры» Эккермана, не отмечены теми глубоко оригинальными открытиями, с которыми связана слава Гете-естественника. Открытие межчелюстной кости у человека, метаморфоза растений и животных, теория цветов — все это было создано задолго до встречи с Эккерманом. Работа над завершением «Фауста» и «Годов страстей Вильгельма Мейстера» не позволяла Гете всецело отдаваться науке. Но и в эти годы он продолжает следить за всеми новейшими открытиями в области геологии, минералогии, метеорологии, ботаники, зоологии и, наконец, физики и химии, поскольку новые химические и физические открытия имели прямое отношение к его учению о цвете (мы имеем в виду открытие галоидных элементов йода и брома и явления «поляризации света»).

Поразительно разнообразие исследований и наблюдений поэта-ученого! Но Эккерман не ограничивается одной лишь констатацией научного универсализма Гете. Ему удалось, как того и хотел его собеседник, обрисовать особенность «исследовательского метода» Гете, его стремление идти «от целого», от синтетической связи фактов к обрисованию функций отдельных элементов «целого», его составных частей. По убеждению Гете, всякий закон природы, всякое явление («феномен») «распространяется не только на ту область наблюдения, где он был обнаружен, а должен непременно встретиться и в других областях природы». «Тот же закон, который вызывает синеву небес, мы обнаруживаем в нижней части пламени горящей свечи, в горящем спирте и в освещенном дыме над трубами деревни, за которой высятся темные горы».

Трудно переоценить значение *синтетического метода* Гете, объединившего самые различные отрасли естествознания, от геологии, минералогии, палеонтологии до метеорологии и морфологии животных и растений. Достаточно сказать, что под знаком *синтетического метода* шло и идет развитие теоретической физики и астрономии второй половины XIX и XX века, основанных на констатации «морфологических соответствий» между макро- и микрофизикой, структурами галактических вселенных и атома, механизмами электромагнитных и оптических, термических и химических процессов.

Гете так щедро одарил науку плодотворными обобщениями и открытиями, придерживаясь своего — синтетического — метода, что не приходится удивляться тому, что он видел в нем единственно правомерное направление исследовательской мысли, явно

недооценивая *аналитическую сторону* познания и не сознавая в должной мере, что сопряженный с синтетическим методом аналитический эксперимент — необходимый дополнительный источник диалектики познания: «вздернутая на дыбы экспериментом», природа, по убеждению Гете, «никогда не выдаст своей тайны».

Это свое заблуждение Гете поддерживал доводами, заимствованными у великих немецких идеалистов, опираясь на их противопоставление рассудка — разуму; с ними он понимал под *рассудком* способность аналитического расчленения живого целого. Напротив, термином *разум* Гете обозначал способность человека постигать целостность явлений, сопряженность единичного с множественностью проявлений бесконечной и безначальной природы.

Выяснение вопроса об отношении Гете к немецкому идеализму не входит в нашу задачу. Это — особая глава, которую я здесь не стану освещать подробнее, тем более что Эккерман не был подходящим собеседником, способным раскрыть это отношение в его истинном значении, что, впрочем, Гете в ту пору было скорее даже на руку, поскольку он тогда мысленно устремлялся в совсем иные (отнюдь не чисто философские) сферы.

Но некоторых «соображений по поводу» нам все же не избежать: Гете был первым выдающимся *критиком немецкого идеализма*, — утверждение, еще ждущее компетентного исследования. Попытку Ганса Георга Гадамера провозгласить Гете философским претечей Ницше и той критики, которой этот философ подвергал наследие великих немецких идеалистов, необходимо решительно отвергнуть. Не можем мы также согласиться и с теми, кто ставит знак идейного равенства между «Фаустом» и Гегелевой «Феноменологией духа». При всем величии Гегеля как мыслителя и диалектика он все же был прямым отрицателем гетевской идеи всемирно-исторического развития. То, в чем видит Гегель *завершение* динамического процесса всех свершений и всего мышления, понимаемого метафизически (не субъективно-человечески), по сути, *упраздняет процессуальный характер такового*; ибо в этом «завершении», по мысли автора «Феноменологии духа», все «начала и концы» должны метафизически совпадать друг с другом; ничто из однажды свершившегося не должно здесь утратиться, как ничто из воспоследовавшего не могло отсутствовать уже в его начале. «Сдается, — так пишет Гегель, — что мировому духу ныне удалось стряхнуть с себя всю чуждую ему предметную сущность и наконец-то познать себя как абсолютную духовность... Борьба конечного самосознания с абсолютным, каковое представлялось конечному самосознанию вне его существующим, тем самым прекращается. Вся мировая история и, в частности, история философии, олицетворявшие эту борьбу, ныне оказались у цели, где абсолютное самосознание перестало быть чуждым. К этой точке подошла

современность, и на этом иссякла череда новых духовных формаций».

В Гегелевой системе такое ограничение себя неизбежным «по сути — настоящим», такой всемирно-исторический *застой* заступил место не знающего покоя *движения*. Вся философия Гегеля (по крайней мере, в аспекте его понимания роли государства) преобразилась в философию застоя. Эта обнажившаяся тенденция Гегелевой философии тесно соприкасается с теориями историков французской Реставрации; ведь и они провозглашали конечность *процессуального характера* истории, прекращение классовой борьбы, поскольку (как они полагали) отныне на арене истории остался «всего лишь один класс — третье сословие», которому «не с кем» больше бороться. Эта историческая концепция означала решительный «шаг назад» по сравнению хотя бы с учением такого мыслителя, как Шарль Луазо — le Parisien (Парижанин), еще в XVII веке говорившего о «третьем сословии» — как о «конгломерате самых разных сословий» и причислявшего крупную буржуазию к привилегированным слоям феодально-монархической Франции.

Что общего имеет это идеализированное Гегелем обретение вожделенного покоя «мировым духом» с положенной в основу «Фауста» *философией обретенного пути* к высокой цели гармонического общественного устройства? Под динамическим процессом, как явствует из сказанного, Гете понимал созидание вечно-нового и лучшего. Любое государственное устройство, любой общественный уклад не мыслились им как нечто «законченное», «навсегда установившееся». «Время никогда не стоит, жизнь постоянно развивается, человеческие взаимоотношения меняются каждые пятьдесят лет, — говорил Гете Эккерману. — Учреждение, которое в 1800 году казалось совершенным, в 1850 году может оказаться пагубным».

Но возвратимся к скромному систематизированию избыточного духовного богатства Гете, отраженного достаточно внятно на страницах книги Эккермана. Всегда относившийся несколько беспечно к терминовому языку философов, Гете часто вкладывал в понятия, принятые в определенной философской школе, смысл, далеко не адекватный смыслу того или иного философского термина. Уже понятия «рассудок» и «разум» у Гете неоднозначны кантовскому употреблению этих терминов. Кант, к примеру, никогда бы не отнес минералогию, имеющую дело с «мертвой» («неорганической») природой, к области знания, всецело подчиненного «рассудку»; морфологию же «живого» органического мира — к компетенции «разума».

Еще меньше соприкасается с философским мировоззрением Канта гетевская трактовка гносеологической проблемы *познавае-*

мости и непознаваемости мира. Учение Канта о непознаваемости «вещей в себе» принижало достоинство разума во имя вящего торжества веры, которая, опираясь на чисто субъективные доводы «практического» нравственного сознания, декларирует метафизическое бытие бога, души и бессмертия. Гете, в принципиальном отличии от «кенигсбергского мудреца», прибегал к формуле агностицизма с совсем другой целью: он стремился оградить познание природы от покушений как со стороны мистицизма церковников, так и со стороны скороспелого («априорного») рационализма. «Я хочу вам кое-что сказать, — поучает Гете Эккермана, возвращаясь с прогулки в экипаже по окрестностям Веймара. — В природе имеется доступное и недоступное, — это следует различать, понять и уважать, хотя очень трудно усмотреть, где начинается другое. Тот, кто этого не знает, иногда мучается всю жизнь, стремясь постичь непостижимое, и при этом ничуть не приближается к истине. Тот же, кто это знает, — остается в пределах постигаемого; исследуя эту сферу во всех направлениях... он может кое-что отвоевать и у непостижимого, хотя ему придется в конце концов признать, что здесь многое может быть понято лишь до известной границы и что природа всегда таит в себе нечто проблематическое, не поддающееся разгадке силами человеческого разума».

Какая философская небрежность в изложении этих глубоких мыслей! «В природе имеется доступное и недоступное»; и ниже: «...природа всегда таит в себе нечто... не поддающееся разгадке силами человеческого разума», — это ли не чистейший агностицизм? Но всерьез ли он утверждает, ежели «очень трудно усмотреть, где кончается одно (постижимое) и где начинается другое (непостижимое), и если можно кое-что отвоевать и у непостижимого»? Что общего имеют эти рассуждения с агностицизмом Канта, строго противопоставляющим познаваемость «явлений» непознаваемости «вощи в себе»? И разве Гете в той же беседе не говорил: «Я вывожу из этого (из отклонений от основного закона его теории ветров. — *Н. В.*), что здесь наличествуют сопутствующие обстоятельства, которые еще не вполне выяснены». Что в свете этих могучих антитез может еще значить теза о несостоятельности усилий «постичь непостижимое», как не протест против бесплодного фантазирования (мистического или априорно-рационалистического) вокруг проблем, неразрешимых в силу невыясненности «сопутствующих обстоятельств»? Но, все с той же теоретической беспечностью, Гете подчас ронял такие банальные ходовые максимы агностицизма, как: «разум человека и разум божества — это различные вещи», или: «нехорошо... прикасаться к божественным тайнам». Все это не всерьез, конечно! Но нельзя приписывать истинную силу познания только божественному разуму, не прослав агностиком.

В том-то, однако, и беда, что Гете был вполне равнодушен к

тому, кем слыть в «философском мире». Не без вызова заявлял он, что искусство и наука вполне довольствуются «здравым смыслом, не справляясь с учениями философов». «Я стараюсь не придавать решающего значения идеям, в основе которых отсутствует чувственное восприятие», — говорил он в развитие этой мысли (в беседе с Фальком). Но читатель ошибется, если на основании такого заявления сочтет Гете убежденным эмпириком. Вразрез, а по сути, в диалектическом единомыслии со сказанным, Гете утверждает, что «без высокого дара (воображения. — *Н. В.*) нельзя себе представить истинно великого естествоиспытателя». Не солидаризуется ли он тем самым с философским интуитивизмом Шеллинга, с его учением об «интеллектуальном воззрении», при котором переход от «интеллигибельного бытия» к «бытию эмпирическому», собственно, невозможен?

Нисколько! Резко противопоставляя свой метод познания шеллинговскому «панлогизму», Гете поясняет: «Я говорю, конечно, не о такой силе воображения, которая действует наугад и создает всякого рода несуществующие вещи; я разумею силу воображения, не покидающую реальной почвы действительности и с масштабом действительности и ранее познанного подходящую к вещам чаемым и предполагаемым». Иными словами, здесь речь идет об «обширном и спокойном уме» ученого, о его таланте устанавливать, не стоит ли «чаемое в противоречии с другими, уже раскрытыми законами». Только и всего! И если Гете тем не менее нет-нет да и прибегает к формулам агностицизма и подчеркивает свою солидарность с Кантом, то это отчасти объясняется его «старческой терпимостью», а также тем, что «его Кант» — не исторический Кант, а Кант, им же переосмысленный.

В вопросах религии терпимость Гете носила, пожалуй, наиболее внешний, «дипломатический» характер. Так, Гете в беседе с Эккерманом говорит, что на вопрос, соответствует ли его натуре преклонение перед Христом, он (подобно Фаусту) ответил бы: «Конечно! Я склоняюсь перед ним как перед божественным откровением, высшим принципом нравственности». Церковники могли бы откликнуться на это признание словами Маргариты:

Почти что в этих выраженьях  
И наш священник говорит.  
Все это так. Но я в сомненьях <sup>1</sup>.

И словно специально для того, чтобы усилить благочестивые сомнения церковников в тождестве вероучения церкви с «вероучением» Гете, он тут же добавляет: «Но если меня спросят, соответствует ли моей натуре преклонение перед солнцем, я также ска-

---

<sup>1</sup> Здесь и далее отрывки из «Фауста» даны в переводе Б. Пастернака.

жу: конечно! Ибо это тоже откровение высшего начала, и притом самое мощное из всего, что дано воспринимать нам, детям земли. Я чту в нем свет и зиждущую силу божества, благодаря которой мы живем и действуем, и вместе с нами все растения и животные». Словом:

Ты прав как будто поначалу,  
А присмотреться — свет Христов  
Тебя затронул очень мало.

Дабы разом покончить со всякой церковностью, Гете заключает свое признание «крепко и добротню»: «Если же меня спросят, склонен ли я преклонить колена перед костью большого пальца апостола Петра или Павла, то я скажу: пощадите меня и избавьте от этих нелепостей... В постановлениях церкви очень много вздору. Но церковь хочет господствовать и держать в своих руках ограниченную толпу... Богатое высшее духовенство ничего так не боится, как просвещения масс. Очень долгое время оно не подпускало их даже к Библии... И в самом деле, что подумал бы бедный член христианской общины о царственном великолепии богатого епископа, прочти он в Евангелии о бедности и нужде Христа, скромно ходившего пешком со своими учениками, тогда как князь-епископ разъезжает в карете, запряженной шестерней!»

Более чем пятьдесят лет Гете усердно занимался историей церкви, но не столько ее догматами, сколько ее политической ролью. Если он тем не менее прибегает к религиозной терминологии, то она в его устах носила вполне метафорический характер: так «боговдохновенны», по его утверждению, Рафаэль, Моцарт, Шекспир — «носители высшей духовной продуктивности». Впрочем, Гете нередко выпадал из роли искусного дипломата и вгонял в дрожь и в страх своих благочестивых собеседников. «В одиннадцать часов я снова посетил Гете, — пишет в своем дневнике Сульпиций Буассерэ. — Опять ударился в богохульства... От его сарказмов мне начинало казаться, что я на Брокене» (на шабаше ведьм).

Более всего раздражало Гете наметившееся еще при его жизни слияние философии немецкого идеализма с догматической религией. Эта черта все отчетливее проступала в системах Гегеля, Шеллинга (особенно ярко в последнем его произведении — в «Философии мифологии и откровения»), а также у Фихте, некогда задумавшего свою систему как «философию свободы», под конец же своей жизни утверждавшего, что человек только однажды проявляет свободу воли — при выборе между богом и дьяволом. Выбрав богоугодный путь, он теряет свою поглощенность свободным нравственным познанием, ибо творит только волю господню.

«Вдохновение», «боговдохновенность» — одно из центральных понятий гетевской эстетики. «Нужно, — говорил он Эккерману, настаивая на *врожденности дарования* (без чего знание и даже изображение «недостаточны»), — чтобы природа нас правильно соотдала, чтобы хорошие замыслы представляли перед нами, как истые дети божий, и кричали нам: «Вот мы!» По убеждению Гете, художник всегда носит в самом себе «антиципацию» (смысловое предвосхищение) мира, — даже в пору, когда он еще не обладает житейским опытом. «Я написал «Гецца фон Берлихингена» двадцатидвухлетним юнцом и спустя десять лет был изумлен правдивостью своего изображения. Ничего подобного я, само собой, не имел случая ни пережить, ни видеть, а посему понимание разнообразных состояний человека я мог постигнуть разве лишь в силу антиципации». В силу же антиципации он проник в ранние годы и в «мрачное разочарование в жизни Фауста или в любовное томление Гретхен». Но дело здесь даже не в юности, а в том, что всякое творчество немислимо без способности *предвосхищать*, антиципировать. Вот почему музыка — «колыбельное имя всякого искусства». «Музыка, — поучал он своего фамулуса, — нечто целиком врожденное, нутряное, не нуждающееся... ни в каком опыте, извлеченном из жизни». Она — сплошь предвосхищение, антиципация — как в силу своей техники, своего *материала*, где каждый звук «предвосхищает» свое место в звуковом ряду, собственно еще не созданном (или же не воссоздаваемом исполнителем), так и в силу своей конечной *удовлетворенности* одним лишь «*предвосхищением смысла*» (не «смыслом» еще — то есть самоотчетом сознания). Все более обостряя свою мысль о врожденности художественного дара, Гете чеканит свой афоризм: «В искусстве и поэзии личность — это все».

В дальнейшем мы увидим, что эти мысли об искусстве, на первый взгляд свидетельствующие об убежденности Гете в абсолютной обусловленности искусства «личностью художника», его «прирожденным даром», на самом деле лишь исходный тезис усмотренной Гете диалектической *антиномии искусства*, тезис, уравновешенный далеко идущим антитезисом, утверждающим громадное значение традиции, общественных условий, усвоенного мастерства — словом, всяческих «воздействий извне», не одолев и не усвоив которые художник никогда не поднимется до истинных высот искусства. Ведь даже пятилетний Моцарт, на которого ссылается Гете, отстаивая свой тезис о «прирожденности художественного дара», был не только «чудом, не поддающимся дальнейшему объяснению», но и гениальным *учеником* своего музыканта-отца.

Однако, прежде чем вникнуть в антитезис гетевской «антиномии искусства», напомним читателю, как близка была мысль о «предвосхищении опыта художником» и русскому мыслителю — Белинскому.

Кто из читавших «Дневник писателя» Достоевского не помнит восторженного приема «Бедных людей» Некрасовым и Григоровичем, их прихода в ночной час к молодому автору и вслед за тем состоявшейся встречи Достоевского с Белинским? «Да вы понимаете ли сами-то, что это вы такое написали! — не переставал вскрикивать Белинский. — Вы только *непосредственным чутьем* (курсив мой. — *Н. В.*), как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали! Да ведь этот ваш несчастный чиновник — ведь он до того заслужился... что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности... А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, — да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарственности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтоб ощупать можно было, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возведена как художнику, досталась как дар; цените же ваш дар и оставайтесь верным, и будете великим писателем!»

Нельзя было точнее передать первую тезу гетевской *антиномии искусства*, чем это сделал Белинский, — вплоть до требования «верности» художника самому себе и своему дарованию, — хотя великий русский критик скорей всего даже и не знал высказываний Гете касательно «антиципации мира» художником.

Сам Гете наиболее отчетливо сформулировал свою антиномию искусства в предисловии к «Поэзии и правде». Напомним читателю эту формулировку. Для того чтобы написать автобиографию, от писателя, по мнению Гете, требуется «нечто почти невозможное, а именно, чтобы индивидуум знал *себя* и *свой век*: *себя*, поскольку он при всех обстоятельствах *остается одним и тем же* (здесь и ниже курсив мой. — *Н. В.*), а век — как нечто вольно или невольно увлекающее за собой всякого, как нечто определяющее и образующее тебя. Всякий родившийся десятью годами раньше или позже был бы, можно сказать, *совершенно другим человеком* по своему развитию и влиянию на окружающих».

Что же, по Гете, означает здесь «оставаться одним и тем же»? Только то, что *главным* в художественном произведении, тем, что составляет его идейное единство и что ему сообщает художествен-

ную гармонию, является не единство фабулы и не стилистическая однородность изобразительных средств, а самобытное отношение автора к предмету, к действительности. Что бы ни изображал писатель — испепеляющую ли страсть Вертера, стремление ли к личному совершенствованию Мейстера, наивность ли Маргариты или дерзания Фауста, — мы ищем в его творчестве, собственно, только чувства и мысли *самого* художника, его *личность*, его способность осветить жизнь с новой стороны, увидеть ее в другом ракурсе, внезапно ему открывшемся под влиянием «вдохновения», к безотчетному подчинению, которому предрасположен художник, его впечатлительный организм — «демоническое начало» его души. Это «демоническое начало», то есть *прирожденный*, никакими усилиями воли или труда не приобретаемый дар, и открывает художнику мир в его многообразных проявлениях — не таким, каким бы он *хотел* его видеть, а в истинном, *объективном* его значении.

Такой взгляд Гете на природу художественности, выраженный в его афоризме: «В искусстве и поэзии личность — это все», — не только не исключал, а, напротив, предполагал неустанную работу над «самосовершенствованием таланта», над овладением всесторонними знаниями. «Талант рождается не для того, чтобы быть брошенным на собственное попечение», — поясняет Гете. Одни лишь «дураки воображают, что утратят свой дар, если обретут знания» — если станут учиться у старых мастеров и у лучших своих современников, работавших и работающих в той же художественной области и в смежных областях искусства. Поэт, по убеждению Гете, должен учиться не только у других поэтов, но и у живописца, актер — не только у других актеров, но и у скульптора, и все они без различия — у самой природы и у великих ученых, открывших и открывающих ее законы. «Все великое просвещает, если только умеешь постичь его как следует».

Способность «антиципировать мир» неотделима от таланта художника. Но если «область любви, ненависти, надежды, отчаяния и тому подобных страстей и душевных состояний заранее известны художнику», то «не может быть природного знания того, каков порядок судопроизводства или как происходит заседание в парламенте, как совершается обряд коронования; чтобы не исказить картины таких сторон жизни, писатель вынужден сам ознакомиться с ними или прибегнуть к показаниям очевидцев... Все, что у меня, — мое! А взял ли я это из жизни или из книги, безразлично. Вопрос лишь в том, хорошо ли у меня получилось?».

Но дело, конечно, не только в этом, и даже не в том, что «дар антиципации», по замечанию Гете, «ограничен», а в глубоко оригинальной трактовке поэтом-мыслителем самого понятия личности. *Личность*, по Гете, — вразрез с обычным ее пониманием, — не «в обособленности»; напротив, она — нечто *собираемое по самой*

*своей природе*, средоточие, в котором скрещиваются самые различные исторические силы и культурные традиции. «По сути, все мы коллективные существа, что бы мы о себе ни воображали. В самом деле, как незначительно то, что мы могли бы назвать доподлинно своей собственностью!.. Но этого не понимают очень многие добрые люди и полжизни бродят ощупью во мраке, грезя об оригинальности. Я знавал живописцев, которые хвастались тем, что... в своих произведениях всем обязаны исключительно собственному гению. Дурачье! Как будто это возможно! И как будто внешний мир на каждом шагу не внедряется в них и не формирует их по-своему, несмотря даже на собственную глупость!.. Правда, за мою долгую жизнь мне удалось задумать и осуществить кое-что, чем я считаю себя вправе гордиться; но, говоря по чести, мне самому принадлежит здесь лишь способность и склонность видеть и слышать, различать и выбирать, оживлять собственным духом то, что я увидел и услышал, и с некоторой сноровкой передавать это другим».

Что же в таком аспекте означает еще «оставаться одним и тем же»? Речь здесь, как видно, идет о достаточно «подвижной стабильности» художественного «я» — подобно тому как Гете говорит о *«подвижных законах»* природы. Но и этим не исчерпывается «коллективный характер» личности и таланта! Художник неотделим от культурно-исторического развития своей нации. Сын бедного портного, не получивший ни университетского, ни даже среднего образования, но рожденный в мировом центре, в Париже, а не в каком-нибудь захолустном немецком городке, Беранже создает вопреки своему «жалкому жизненному пути... песни, полные такой художественной зрелости, грации, остроумия и тончайшей иронии... написанные таким мастерским языком, что они возбуждают восхищение не только во Франции, но и во всей образованной Европе»... Какие плоды могло бы принести «то же самое дерево, вырасти оно... в Иене или в Веймаре»? «Возьмите Бернса. Что сделало его великим? — продолжает развивать свою мысль Гете. — Не то ли, что старые песни его предков были живы в устах народа, что он слышал их еще в колыбели, а потому, опираясь на их живую основу, мог пойти дальше?» И, во-вторых, не потому ли он велик, что его собственные песни «тотчас же находили восприимчивые уши в народе, что... ими встречали и приветствовали его в кабачке веселые товарищи»? Не то в Германии. «Кто скажет, что песни Бюргера или Фосса (и самого Гете, прибавим мы. — *Н. В.*) хуже и менее народные лучших из песен Беранже? Но многие ли из них вошли в жизнь так, чтобы мы могли их услышать от самого народа? Они написаны и напечатаны и теперь стоят в библиотеках — таков удел всех немецких поэтов».

Принято изумляться трагедиям древних греков. «...Мы скорее

должны были бы изумляться той эпохе и нации, — замечает Гете, — нежели отдельным авторам». В книге Эккермана «Разговоры с Гете» мы встретили немало таких же, однородных по смыслу, высказываний поэта. Повторяем: что же в таком случае представляет собой, по мысли Гете, искусство? По всему, что нами здесь приводилось, — прежде всего высокую способность выражать чаяния «коллективного существа» — общества, своего народа; иногда — вразрез с распространенной идеологией, ежели она затемняет смысл еще не осознанных народом чаяний.

Искусство не изображает «общего» («всю действительность») — это вне его возможности; о «всей действительности» можно разве *судить* или попытаться охватить ее познающей мыслью. Так, Фауст хочет обнять своим пытливым умом «вселенной внутреннюю связь». Область искусства — частное, единичное. Но ведь и общее — в реальном мире — существует и проявляет себя *в качестве общего* лишь через частное и единичное. Для того чтобы художник дал нам почувствовать общее, смысл общего (действительного мира), он должен сообщить единичному такую конкретность, такую наглядность и полноту жизни, чтобы в каждой частности чувствовалось соприсутствие силы жизни, порождающей единичное, иными словами — *освязаемость общего*, равнозначную его познанию. «А для этого нужен талант, нужно творчество поэта».

Все это образцы гетевской диалектики, его динамически-целостного, *конкретного мышления*. Книга Эккермана богата такими образцами. Но в этой же книге мы встречаемся и с не сведенными в двуединый синтез противоречивыми суждениями, с антиномиями, где между двумя противоположными положениями — зияние, пропасть, прорытая непреодоленными и для Гете непреодолимыми сомнениями, — в сферах политического мышления, отчасти и гносеологического. Мы вкратце уже ознакомились с ними. Как мыслитель Гете так и не мог их полностью изжить, но порою преодолевал их как художник.

Томас Манн рассказывает в своей повести «Лотта в Веймаре», как часто смущала собеседников Гете двойственность его суждений. Это — следы сомнений, неспособности остановить свой выбор на одном из выдвинутых положений, неспособности «снять» их в высшем синтезе. Но, подчиняясь логике замысла, *конкретной* (в отличие от абстрактной) его *идеи*, Гете нередко находил должное решение. Дело в том, что в художественном произведении, как и в практической жизни — социальном, историческом бытии человечества, ценность и подлинное значение идеи опознаются прежде всего по силе ее воздействия, по ее плодотворности. Иными словами, идея здесь не только «высказывается», но *и живет* — подобно тому как она живет в человеческом обществе. Здесь как бы тоже «теория проверяется практикой», ее значением для героя и всего

хода действия, степенью ее участия в судьбе героя и его окружения. Это ярче всего, пожалуй, видно именно на примере «Фауста». В нем все разноречия, все антиномии отвлеченно-логического мышления растворялись в слепящем классическом свете всеобъемлющего творческого замысла, и это высшее откровение «великой старой немецкой поэзии», как говорил В. И. Ленин, стало благороднейшим достоянием европейских народов и всей мировой литературы.

Воззрения Гете на проблемы истории и культуры, его мощная диалектика — всего лишь ступень бесконечной лестницы, по которой человеческая мысль поднялась к материалистическому пониманию истории, — правда, высоко поднимавшаяся над философским уровнем воззрений современников великого поэта. Но здесь, во всемирно-исторической трагедии Гете, в его «Фаусте», эта ступень стала символом нашей общей тоски по высшей форме исторического бытия, общественного миропорядка. Поэзия и правда, деяние и мысль, их бесконечная цель, «здесь — в достижении», стала непреложным фактом нового сознания человека и человечества.

Этим-то нам, людям, строящим коммунистическое общество, и дорого творчество Гете и дорога могучая его личность, вставшая перед нами во весь свой рост в бесподобной книге Эккермана.

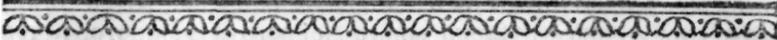
*Н. Вильмонт*



РАЗГОВОРЫ  
С  
ГЕТЕ  
В ПОСЛЕДНИЕ  
ГОДЫ  
ЕГО  
ЖИЗНИ



GESPRÄCHE MIT GOETHE  
IN DEN LETZTEN JAHREN SEINES LEBENS



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Сие собрание бесед и разговоров с Гете возникло уже в силу моей врожденной потребности запечатлеть на бумаге наиболее важное и цепное из того, что мне довелось пережить, и таким образом закреплять это в памяти.

К тому же я всегда жаждал поучения, как в первые дни моего знакомства с великим человеком, так и позднее, когда я прожил подле него долгие годы. Жадно впитывая смысл его слов, я записывал их, чтобы и в будущем не утратить своего достояния.

Однако теперь, думая об изобилии и полноте его высказываний, которые на протяжении девяти лет дарили меня счастьем, и глядя на то небольшое, что мне удалось сохранить, я кажусь себе ребенком, старающимся удержать в ладонях весенний ливень, тогда как живительная влага протекает у него меж пальцев.

Но поскольку говорят, что каждая книга имеет свою судьбу, — слова эти равно относятся к ее возникновению и к выходу в свет, то они, конечно, действительны и по отношению к настоящей книге. Случалось, что месяцы проходили под знаком неблагоприятных созвездий и недомоганья; дела, а также забота о хлебе насущном не позволяли мне записать хотя бы строчку, но затем положение созвездий изменялось, хорошее самочувствие, досуг и охота писать, объединившись, давали мне возможность хотя бы на шаг продвинуться вперед. И еще: разве в долгой совместной жизни не наступает иной раз пора известного равнодушия, да и есть ли на свете человек, умеющий всегда ценить настоящее так, как оно того заслуживает?

Обо всем этом я упоминаю, стремясь оправдать многие существенные пробелы, которые обнаружит читатель, еже-

ли ему угодно будет сличить даты записей. Из-за таких пробелов мною упущено много доброго и важного, в том числе целый ряд благосклонных отзывов Гете о его друзьях в разных концах света, а также отзывов о произведениях того или иного современного немецкого писателя, другие же подобные отзывы тщательно мною записаны. Но, возвращаясь к однажды сказанному, — каждой книге, когда она еще только возникает, уготована своя судьба.

Вообще же то, что в этих тетрадях мне удалось сделать своим достоянием и что является лучшим украшением моей жизни, я с великой благодарностью приписываю воле провидения, лелея надежду, что и человечество с благодарностью отнесется к моим записям.

Я полагаю, что эти беседы о жизни, искусстве и науке не только проливают свет на различные явления и содержат в себе много неоценимых поучений, но, в качестве непосредственных житейских зарисовок, как бы завершают образ Гете, сложившийся у каждого из нас на основании многообразных его творений.

В то же время я не надеюсь, что мне удалось исчерпывающе обрисовать внутренний облик Гете. Дух и мысль этого необыкновенного человека по праву можно сравнить с многогранным алмазом, который, в какую сторону его ни поверни, отливает иным цветом. И если в различных обстоятельствах и в отношениях с различными людьми он никогда не был одним и тем же, то и я, думается, вправе со всею скромностью сказать здесь: таков *мой* Гете.

Но слово «мой» говорит не о том, каким он мне являлся, а скорей о том, в какой мере я был способен воспринять и воссоздать его образ. В подобных случаях мы имеем дело с принципом зеркального отражения и, перевоплощаясь в другой индивидуум, часто упускаем что-либо из ему присущего и невольно привносим нечто чуждое. Портреты Гете работы *Рауха*, *Доу*, *Штилера* и *Давида* в высшей степени правдивы, и все же на каждом лежит отпечаток индивидуальности их создателя. И если таковы телесные воспроизведения, то что же сказать о воспроизведении неосознаемого, едва уловимого человеческого духа? Но как бы там ни было, я надеюсь, что те, кому, благодаря мощному духовному воздействию Гете или личному общению с ним, пристало судить об этой книге, отдадут должное моим усилиям держаться как можно ближе к правде.

Вслед за этим предварением, которое главным образом касается понимания моих записей, остается сказать еще несколько слов собственно об их содержании.

То, что мы зовем *непреложной истиной*, пусть применительно к единичному объекту, не может быть чем-то мелким, узким, ограниченным. Истина, даже будучи предельно простой, объемлет многое, и говорить о ней так же трудно, как о проявлениях закона природы, равно распространяющегося вглубь и вширь. От нее не отделаешься ни речью, ни красноречием, ни словом, ни прекословием, все это, вместе взятое, в лучшем случае приближает нас к истинной цели, но еще не означает, что мы достигли ее.

Дабы не быть голословным, скажу, что отдельные высказывания Гете о поэзии иной раз носят несколько односторонний, а иной раз и явно противоречивый характер. То он придает первостепенное значение материалу, который поставляет поэту внешний мир, то усматривает центр тяжести во внутреннем мире поэта; один раз утверждает, что главное — это тема, другой — ее разработка; то он главным объявляет совершенство формы, то вдруг, полностью пренебрегая ею, — лишь дух произведения.

Однако все эти высказывания и все опровержения таковых — лишь разные стороны истины, в целокупности они характеризуют ее существо и ближе подводят нас к ней; посему я, как в данном случае, так и в некоторых других, остерегался сглаживать такие *мнимые противоречия*, обусловленные самыми различными поводами, а также неодинаковым душевным состоянием в те или иные годы, даже в те или иные часы. Я надеюсь при этом на проницательность и широкий кругозор просвещенного читателя, который не позволит частностям сбить себя с толку, но сумеет правильно распределить и объединить их, всегда имея перед глазами целое.

Возможно также, что читатель споткнется о многое, на первый взгляд кажущееся незначительным. Однако, заглянув поглубже, он неминуемо заметит, что такие мелочи часто бывают предвестниками чего-то куда более значительного, иногда служат обоснованием последующего или добавляют какую-нибудь черточку к описанию характера, а посему они, будучи своего рода необходимостью, заслуживают если не канонизации, то хотя бы снисхождения.

Итак, напутствуя добрым словом эту давно взлелеянную книгу при выходе ее в свет, я желаю ей порадовать читателя, а также пробудить в нем и пошире распространить благое и вечное.

Веймар,  
31 октября 1835 г.

## ВВЕДЕНИЕ

*Автор сообщает о себе, своем происхождении и о том, как произошло его знакомство с Гете.*

В Винзене-на-Луге, городке, расположенном между Люнебургом и Гамбургом, там, где болота граничат со степью, я родился в начале девяностых годов в убогой хижине, — иначе, пожалуй, не назовешь домишко, в котором была одна лишь комната с печью, а лестницы и вовсе не было, если не считать приставной лесенки возле входной двери, по которой мы лазили на сеновал.

Я был последним ребенком от второго брака и помню своих родителей уже очень немолодыми людьми, с ними я и рос, довольно одиноко. У моего отца было еще два сына от первой жены, один из них, матрос, после долгих морских странствий угодил в плен где-то в дальних краях и пропал без вести, другой же, неоднократно ходивший в Гренландию как китолов и охотник за тюленями, благополучно вернулся в Гамбург и жил там в сравнительном достатке. Были у меня и две старшие единокровные сестры, но когда мне исполнилось двенадцать лет, обе пошли в услужение и жили то в нашем городке, то в Гамбурге.

Главным источником существования всей семьи была корова, она не только ежедневно давала нам молоко, но мы еще всякий год выкармливали теленка и даже время от времени умудрялись продавать немного молока. Вдобавок мы владели акром земли, и урожай с него на весь год обеспечивал нас необходимыми овощами. Зерно же для выпечки хлеба и муку для стряпни нам приходилось покупать.

Моя мать была отличная мастерица, она не только искусно пряла шерсть, но и шила шапочки для наших горожанок, которыми ее клиентки всегда оставались довольны. Оба эти ремесла приносили ей небольшой, но верный доход.

Отец мой, занимаясь мелкой торговлей вразнос, часто отлучался из дому и пешком бродил по окрестностям. Летом он странствовал из деревни в деревню с лубяным коробом на спине, полным лент, ниток и шелка. В этих же деревнях он скупал шерстяные чулки и домотканую материю из коричневой овечьей шерсти и льняных ниток, которую потом сбывал на другой стороне Эльбы, в Фирланде, куда перебирался со своим коробом. Зимой он торговал необработанными гусиными перьями и небеленым по-

лотном, на пароходе отправляя этот товар, скупленный в равнинных деревнях, в Гамбург. Но барыш его во всех случаях был, видимо, ничтожен, ибо мы всегда жили в бедности.

Что касается *моих* детских занятий, то они тоже определялись временем года. Ранней весной, когда, после разлива Эльбы, спадали полые воды, я каждый день отправлялся к плотинам или холмам собирать прибившийся туда тростник, — он годился на подстилку для коровы. Когда же на наших обширных лугах прорастала первая травка, я вместе с другими мальчишками с раннего утра до наступления ночи пас коров. Летом я работал на огороде и, как, впрочем, и весь год, таскал для плиты хворост из небольшого леска, в каком-нибудь часе ходьбы от нашей хибарки. Во время жатвы я неделями бродил по полям, собирая колосья, а когда осенние ветры начинали сотрясать деревья, усердно подбирал желуди и осьминами продавал их более зажиточным горожанам — на прокорм гусей. Подросши, я стал сопровождать отца в его странствиях из деревни в деревню, помогая ему тащить короб. Это время — одно из лучших воспоминаний моего отрочества.

В таких вот условиях и занятиях, лишь время от времени посещая школу и выучившись читать и писать с грехом пополам, я дожил до четырнадцати лет, и никто не станет отрицать, что с тех пор до близких и доверительных отношений с *Гете* мне нужно было сделать огромный, почти невероятный шаг. Я понятия не имел, что в мире существует поэзия, существуют изящные искусства, а значит, к счастью, не мог испытывать хотя бы и смутной тоски по ним.

Говорят, животных вразумляют их собственные органы чувств, о человеке, думается мне, можно сказать, что относительно тех высоких задатков, которые в нем дремлют, его нередко вразумляет случайность. Нечто подобное произошло со мной, и случайность эта, сама по себе мало значительная, навек запомнилась мне, ибо дала иное, новое направление всей моей жизни.

Однажды вечером при зажженной лампе я сидел за столом вместе с отцом и матерью. Отец только что воротился из Гамбурга и рассказывал нам о своих торговых делах. Будучи завзятым курильщиком, он привез с собою паке́т табаку, который лежал передо мною на столе, на его этикетке была изображена лошадь. Эта картинка показалась мне прекрасной, а так как под рукой у меня было перо, чернила и клочок бумаги, то мною овладело неудер-

жимое желание срисовать ее. Отец продолжал свой рассказ о Гамбурге, я же, не замечаемый родителями, углубился в срисовывание лошади. Покончив с этим, я решил, что моя копия точно соответствует оригиналу, и ощутил прилив доселе неведомого счастья. Я показал свою работу родителям, они пришли в восторг и стали наперебой хвалить меня. Ночь я провел в радостном возбуждении, почти без сна, непрерывно думая о нарисованной мною лошади и нетерпеливо дожидаясь утра, чтобы заново на нее полюбоваться.

С этого дня потребность чувственного воспроизведения, во мне пробудившаяся, уже не оставляла меня. Но так как в нашей глухомани мне не от кого было ждать помощи, то я был положительно счастлив, когда наш сосед, гончар, дал мне несколько тетрадей с контурными рисунками, которые служили ему образцами при росписи тарелок и мисок.

Я тщательнейшим образом перерисовал их пером, заполнив целых две тетради, которые вскоре стали ходить по рукам и дошли до главной персоны нашего городка — старейшины *Мейера*. Он позвал меня к себе, щедро одарил и от души меня расхваливал. Далее он осведомился, хочу ли я стать художником, в таком случае он отправит меня, — конечно, после подтверждения, — к искусному мастеру в Гамбург. Я ответил, что очень хочу, мне надо только обсудить все это с родителями.

Однако мать и отец, крестьяне и вдобавок жители захолустья, где люди главным образом занимались земледелием и скотоводством, под словом «художник» понимали человека, который красит дома и двери. Они воспротивились моему намерению, заботливо доказывая, что это не только грязное, но и опасное ремесло, можно-де запросто сломать себе ноги и шею, что уже не раз случалось в Гамбурге, где есть дома высотой в семь этажей. Поскольку мои собственные понятия о художниках вряд ли возвышались над их понятиями, то у меня живо пропала охота к этому ремеслу, и я начисто позабыл о предложении великодушного старейшины.

Но наши именитые горожане, однажды меня заметив, уже не забывали обо мне и пеклись о моем развитии. Так мне была дана возможность брать частные уроки. Вместе с немногочисленными детьми из видных семейств я учил французский язык, а некоторое время даже латынь и музыку; меня снабжали хорошим платьем, и достойный суперинтендент Паризиус не считал зазорным приглашать меня к своему столу.

С этих пор я полюбил ученье, тщился подольше использовать обстоятельства, мне благоприятствовавшие, и родители мои не возражали против того, что я конфирмовался лишь на шестнадцатом году.

Но вот уже ребром встал вопрос: кем я стану? Если бы все могло идти в согласии с моими желаниями, то при моей склонности к наукам меня следовало бы отдать в гимназию. Но об этом и мечтать не приходилось,— у родителей не только не было средств для того, чтобы учить меня, но трудное наше положение властно приказывало мне добиваться возможности обеспечить не только себя, но и в какой-то мере прийти на помощь моим бедным старикам.

Эта возможность представилась мне сразу после конфирмации: один из судейских чиновников предложил мне служить у него и наряду с обязанностями писца выполнять еще разные мелкие поручения, на что я, конечно, с радостью согласился. За последние полтора года усердного посещения школы я очень понаторел как в чистописании, так и в разного рода сочинениях, что дало мне основание считать себя достаточно подготовленным для предложенной мне должности. Заодно с вышеупомянутыми занятиями я вел кое-какие мелкие адвокатские дела и, случалось, в общепринятой форме составлял жалобы и записывал судебные решения; продолжалась эта работа два года, то есть до 1810 года, когда ганновское судебное ведомство в Винзене-на-Луге было расформировано, так как Ганновский округ вошел в состав департамента Нижней Эльбы, последний же принадлежал к Французской империи.

Я получил должность в дирекции прямых налогов в Люнебурге, а когда в следующем году она, в свою очередь, была упразднена, стал служить в подпрефектуре Ильцена. Там я проработал до конца 1812 года, когда префект, господин фон Дюринг, счел возможным выдвинуть меня на пост секретаря мэрии в Бевензене, где я оставался до весны 1813 года. Этой весной приближение казаков пробудило в нас надежды на освобождение от французского владычества.

Я вышел в отставку и уехал на родину с единственным намерением тотчас же примкнуть к защитникам отечества, которые там и здесь уже начали негласно формировать свои отряды. Мне это удалось, и к концу лета, вступив добровольцем в Кильмансеггский егерский корпус, я с винтовкой и ранцем за плечами выступил вместе с ротой капитана Кнопа в зимний поход 1813/14 года через Меклен-

бург и Голштинию на Гамбург, где засел маршал Даву. Засим мы форсировали Рейн, чтобы сразиться с генералом Мэзоном, и лето провели, то наступая, то отступая, в плодородной Фландрии и Брабанте.

Здесь перед прославленными полотнами нидерландцев мне открылся новый мир; целые дни проводил я в церквах и музеях. Собственно говоря, это были первые картины, которые я увидел, и теперь только понял, что значит быть художником: я смотрел всеми признанные работы учеников и готов был рыдать оттого, что мне этот путь заказан. Но решение пришло тут же, на месте; в Турне я свел знакомство с неким молодым художником, раздобыл грифель, лист бумаги для рисования самого большого формата и тотчас же уселся перед одной из картин, намереваясь ее скопировать. Страсть подменила собою недостаток упражнения и отсутствие руководства, я благополучно справился с контурами фигур. И уже начал слева направо растушевывать рисунок, когда приказ о выступлении прервал это радостное занятие. Я торопливо пометил буквами чередование света и тени на незавершенной части рисунка, в надежде, что со временем, урвав часок-другой, сумею закончить эту работу. Затем скатал лист и сунул его в котелок, который вместе с винтовкой висел у меня за спиной во время длинного перехода от Турне до Гаммельна.

В Гаммельне осенью 1814 года егерский корпус был расформирован. Я уехал на родину. Отец мой скончался, мать жила вместе с моей старшей сестрой, которая тем временем вышла замуж и в приданое получила родительский дом. Я тотчас же вновь занялся рисованием. Прежде всего закончил картину, привезенную из Брабанта, а так как иных образцов у меня здесь не было, я обратился к маленьким гравюрам на меди Рамберга и стал в увеличенных масштабах воспроизводить их грифелем, но быстро почувствовал отсутствие необходимых знаний и упражнений; я так же мало смыслил в анатомии человека, как и животных, не имел ни малейшего понятия о том, как следует изображать различные породы деревьев и различные почвы, отчего и затрачивал невероятные усилия, прежде чем достигнуть хотя бы приблизительного сходства.

Итак, мне очень скоро уяснилось, что если я хочу стать художником, то начинать надо по-другому и что дальше брести ощупью — значит понапрасну растративать силы. Отыскать умелого мастера и начать все сначала — вот было мое решение.

Ни о каком другом мастере, кроме *Рамберга* из Ганновера, я, конечно, не помышлял. К тому же мне думалось, что устроиться в этом городе я смогу легче, чем в другом, ибо там в полном благополучии проживал друг моей юности, чья преданная дружба и неоднократные приглашения сулили мне поддержку.

Сказано — сделано, я связал свой узелок и в середине зимы 1815 года в полном одиночестве вышел в заснеженную степь и после нескольких дней пешего хождения добрался до Ганновера.

Конечно, я не замедлил явиться к Рамбергу и посвятить его в свои мечты и намерения. Просмотрев листы, мною принесенные, он, видимо, не усомнился в моих способностях, однако заметил, что для занятий искусством надо иметь средства на прожитие, ибо преодоление технических трудностей требует долгого времени, рассчитывать же, что искусство вскорости принесет необходимые средства к жизни — не приходится. Тем не менее он выразил полную готовность мне содействовать, из целой груды своих рисунков отобрал несколько листков с изображением частей человеческого тела и дал их мне с собой для копирования.

Итак, я жил у своего друга и рисовал с Рамберговых оригиналов. Я делал успехи, ибо листы, которые он мне давал, раз от раза становились сложнее. Всю анатомию человеческого тела воспроизвел я в своих копиях, упорно повторяя наиболее трудное — руки и ноги. Так прошло несколько счастливых месяцев. Но наступил май, и я начал прихварывать, а в июне уже не мог водить грифелем, до такой степени у меня дрожали руки.

Мы обратились за помощью к умелому врачу. Он нашел мое состояние опасным и объявил, что после длительного военного похода кожа у меня не пропускает выделений, весь жар перекинулся на внутренние органы, и если бы я не спохватился еще недели две, то гибель моя была бы неминуема. Он прописал мне теплые ванны и прочие средства для восстановления деятельности кожи. Вскоре и правда наступило известное улучшение, однако о продолжении занятий рисунком даже думать не приходилось.

Между тем я пользовался заботливейшим уходом и вниманием своего друга, никогда ни намеком, ни словом он не обмолвился о том, что я его обременяю или могу обременить в будущем. Но я-то все время об этом думал, и если не исключено, что давняя, тщательно таимая забота

ускорила вспышку дремавшей во мне болезни, то мысль о расходах, предстоявших мне в связи с моим выздоровлением, и вовсе не давала мне покоя.

В эту пору внутренних и внешних неурядиц мне вдруг представилась возможность устроиться на службу в одну из комиссий военного ведомства, занимавшуюся обмундированием ганноверской армии, и ничего нет удивительного, что, теснимый обстоятельствами, я с радостью воспользовался этой возможностью, поставив крест на карьере художника.

Я быстро поправлялся, ко мне вернулось хорошее самочувствие и давно уже позабытая веселость. Меня радовало, что теперь я смогу хоть до некоторой степени отблагодарить своего друга за великодушие. Новизна обязанностей, к которым я относился с сугубым рвением, занимала мой ум. Начальники представлялись мне людьми благороднейшего образа мыслей, а с коллегами, — некоторые из них проделали весь поход в составе того же корпуса что и я, — у меня вскоре завязались самые дружественные отношения.

Упрочив свое положение, я получше огляделся в Ганновере, — там было много интересного, и в часы досуга я без усталости бродил по очаровательным его окрестностям. Я подружился с одним из учеников Рамберга, многообещающим молодым художником, и он сделался постоянным спутником моих странствий. Поскольку я из-за нездоровья и других обстоятельств вынужден был отказаться от практических занятий искусством, для меня большим утешением стали наши ежедневные беседы о том, что было дорого нам обоим. Я принимал участие в его композиционных замыслах, ибо он частенько показывал мне наброски, которые мы вместе обсуждали. По его рекомендации я прочитал весьма полезные для меня книги: Винкельмана, Менгса, но так как мне не довелось видеть произведений, о которых говорили эти авторы, то большой пользы я из этого чтения не извлек.

Мой друг, родившийся и выросший в резиденции, значительно превосходил меня образованностью, кроме того, он хорошо разбирался в изящной словесности, чего я отнюдь не мог сказать о себе. В ту пору героем дня был *Теодор Кёрнер*; он принес мне сборник его стихотворений «*Лира и меч*», которые, разумеется, поразили меня и привели в восхищение.

Много я наслушался разговоров о художественном воздействии стихотворения, но мне всегда наиболее важным

представлялось воздействие его *содержания*. Сам того не сознавая, я сделал этот вывод, прочитав книжечку «*Лира и меч*». Тот глубокий и мощный отклик, который она нашла в моей душе, прежде всего объясняется тем, что и я, подобно Кёрнеру, вынашивал в своем сердце ненависть к нашим долголетним угнетателям, что и я участвовал в освободительной войне и тоже прошел через все трудности форсированных маршей, ночных биваков, сторожевых охранений и боев, при этом думая о том же, о чем думал он, и то же самое чувствуя.

Надо сказать, что значительное произведение искусства обычно глубоко меня волновало, пробуждая и во мне творческие силы; не иначе было, разумеется, и со стихотворениями Теодора Кёрнера. Мне вспомнилось, что в детстве, а также и позднее, я сам время от времени писал маленькие стихотворения, о которых тотчас же забывал, ибо, во-первых, не ценил такого рода мелочи, без труда появлявшиеся на свет, а во-вторых, потому, что для оценки поэтического таланта надобна известная зрелость ума. Теперь же поэтический дар Теодора Кёрнера показался мне столь славным и достойным подражания, что я ощутил неодолимую потребность испытать и себя на этом поприще.

Возвращение наших войск из Франции дало мне желанный повод. В моей памяти все еще жили те несказанные трудности, которые выпадают на долю солдата в полевых условиях, тогда как беспечный бюргер, живя у себя дома, зачастую не претерпевает даже малейших неудобств. Мне подумалось, что это положение следует отобразить в стихах и, пробудив умы наших соотечественников, тем самым обеспечить горячую встречу возвращающимся войскам.

Я отпечатал за свой счет несколько сот экземпляров стихотворения и распространил его по городу. Впечатление, им произведенное, превзошло все мои ожидания. Оно принесло с собою множество весьма приятных знакомств. Мне радостно было слышать, что люди разделяют мои чувства и воззрения, меня поощряли к продолжению поэтических опытов, уверяли, что талант, мною выказанный, заслуживает дальнейшего развития. Стихотворение появилось в газетах, его перепечатали в других городах, и вдобавок мне еще была суждена радость услышать его переложением на музыку одним из любимейших тогда композиторов, хотя из-за своей длины и риторической манеры изложения оно мало напоминало песню.

С тех пор и недели не проходило, чтобы я, к вящей своей радости, не написал нового стихотворения. Мне шел двадцать четвертый год, и целый мир чувств, стремлений и воли к добру кипел во мне, но, увы, пи духовной культуры, ни знаний у меня не было. Мне советовали заняться изучением наших великих писателей, в первую очередь *Шиллера* и *Клопштока*. Я обзавелся их творениями, читал, восхищался, но они мало способствовали моему развитию; пути этих гениев, чего я тогда и не подозревал, пролегли далеко в стороне от пути, по которому влекла меня моя природа.

В это время я впервые услышал имя *Гете*, и впервые мне в руки попался томик его стихов. Я читал его песни, читал и перечитывал, испытывая такое счастье, о котором словами не скажешь. Мне чудилось, что я лишь сейчас пробуждаюсь к жизни, лишь сейчас начинаю осознавать ее; в этих песнях словно бы отражался мой собственный, доселе мне неведомый внутренний мир. И нигде-то я не наткнулся на чужеродное или выпященное, на что бы недостало моего бесхитростного человеческого мышления и восприятия. Нигде не встречались мне имена чужеземных или устарелых божеств, которые не вызвали бы во мне ничего, кроме растерянности. Нет, повсюду здесь билось человеческое сердце, со всеми его томлениями, с его счастьем и горестями, немецкая суть представляла передо мной ясная, как день за окном, как подлинная действительность, просветленная искусством.

Недели, месяцы жил я этими песнями. Затем мне удалось достать «Вильгельма Мейстера», немного позднее — жизнеописание Гете, затем — его драматические произведения. «Фауста», который поначалу оттолкнул меня безднами человеческой природы и порока, а затем стал больше и больше притягивать своей могучей и таинственной сутью, я читал все праздничные дни напролет. Восхищение и любовь непрестанно росли во мне, я, можно сказать, жил творениями Гете, только о нем думал и говорил.

Польза, которую мы извлекаем из произведений великого писателя, многообразна, но главное — это то, что через них мы познаем не только свой внутренний мир, но отчетливее видим и все многообразие мира внешнего. Так воздействовали на меня произведения Гете. И еще они научили меня лучше наблюдать и воспринимать чувственные объекты и характеры; благодаря им я мало-помалу пришел к пониманию единства и глубочайшей гармонии индивида с самим собою, а это, в свою очередь, подвело

меня к раскрытию тайны великого многообразия как природных, так и художественных явлений.

После того как я до некоторой степени освоился с произведениями Гете и заодно снова испытал себя в поэтическом искусстве, я обратился к величайшим из иноземных, а также древних поэтов и в наилучших переводах прочитал не только самые выдающиеся пьесы Шекспира, но также Софокла и Гомера.

Увы, я очень скоро заметил, что в этих высоких творениях я усваиваю только общечеловеческое, — для понимания исключительного, как в отношении языка, так и в отношении истории, необходимы были научные знания и та образованность, которая обычно приобретается в школах и университетах.

Вдобавок самые разные люди уже намекали мне, что я тщетно растрачиваю силы в собственных поэтических опытах, ибо без так называемого классического образования поэт никогда не приобретет достаточной сноровки в выразительном использовании родного языка, да и вообще не сумеет создать ничего выдающегося в смысле духа и содержания.

Поскольку в это время я еще зачитывался биографиями многих славных мужей, стремясь узнать, какие дороги просвещения они избрали, чтобы достигнуть известных высот, и всякий раз убеждался, что эти дороги вели через школы и университеты, то я, несмотря на уже зрелый возраст и весьма неблагоприятные обстоятельства, принял решение вступить на тот же путь.

Я поспешил обратиться к некоему учителю ганновской гимназии, превосходному филологу, и стал брать у него частные уроки латинского, а также греческого языка; этим занятиям я отдавал весь досуг, который мне оставляла служба, занимавшая у меня не менее шести часов в день.

Так я трудился целый год и делал успехи; но при моем неукротимом стремлении вперед мне казалось, что я продвигаюсь слишком медленно и что надо, видимо, прибегнуть к другим средствам. Мне следует поступить в гимназию, решил я, и четыре-пять часов в день пребывать в стихии учения, тогда мои успехи будут куда значительнее и цели я достигну несравненно быстрее.

В этом мнении меня еще подкрепляли советы сведущих людей. Я так и сделал, тем паче что легко получил на то дозволение начальства, поскольку часы занятий в гимназии не совпадали с моими служебными часами.

Я подал прошение о приеме и однажды воскресным ут-

ром, в сопровождении моего учителя, отправился к почтенному директору гимназии, чтобы сдать необходимый экзамен. Он экзаменовал меня со всей возможной снисходительностью, но ум мой не был подготовлен к традиционным школьным вопросам, к тому же, несмотря на все мое усердие, у меня отсутствовал необходимый навык, и экзамен я сдал хуже, чем мог бы. Однако, выслушав заверения моего учителя, что я-де знаю больше, чем можно предположить по моим ответам, и учитывая мое из ряда вон выходящее рвение, он направил меня в *седьмой* класс.

Не стоит говорить, что я, почти уже двадцатипятилетний человек, состоявший на королевской службе, несколько комично выглядел среди зеленых юнцов, к тому же на первых порах положение гимназиста мне и самому представлялось несколько нелепым и странным, и лишь великая жажда просвещения дала мне силы всем этим пренебречь и все вынести. Вообще-то мне жаловаться не приходилось. Учителя меня уважали, соученики постарше и поспособнее всегда были готовы прийти мне на помощь, и даже самые отчаянные головорезы не решались надо мною издеваться.

В общем, я был счастлив уже оттого, что желания мои сбылись, и неумоимо продвигался по новому для меня пути. Вставши в *пять* часов утра, я сразу садился за уроки. К *восьми* шел в гимназию, где оставался до *десяти*. Откуда спешил в присутствие и там до часу дня занимался служебными делами. Далее, почти бегом домой — на спех проглотить обед и сразу после часу опять за парту. Уроки длились до *четырех*, а с четырех до *семи* я уже вновь находился в присутствии; вечер же тратил на приготовление уроков и прочие учебные занятия.

Такую жизнь я вел в течение нескольких месяцев, но силы мои от непрерывного напряжения стали иссякать; лишний раз подтвердилась старая истина: нельзя быть слугою двух господ. Недостаток свежего воздуха и движения, равно как вечная нехватка времени на то, чтобы спокойно есть, пить и спать, — мало-помалу довели меня до болезненного состояния, я впал в какую-то апатию, душевную и физическую, и наконец понял, что стою перед необходимостью отказаться либо от учения в гимназии, либо от должности. Последнего, не имея других средств к существованию, я сделать не мог, значит, надо было расстаться с учением, и в начале весны 1817 года я вышел из гимназии. Видно, мне было предназначено судьбою *испытывать себя в различных сферах деятельности*, и потому

я несколько не сожалел, что некоторое время посвятил научным занятиям.

За эти месяцы мне ведь удалось сделать немалый шаг вперед, а так как я по-прежнему мечтал об университете, то вновь стал брать частные уроки, с охотой и любовью, как прежде.

После тяжелой зимы для меня наступила тем более радостная весна, а за нею и лето. Я много бывал за городом, и природа в этом году, больше чем когда-либо, трогала мою душу; я написал множество стихотворений, причем перед моим внутренним взором, как некий недосыгаемо высокий образец, все время стояли юношеские песни *Гете*.

С наступлением зимы я всерьез начал думать о том, как изыскать возможность хотя бы в течение одного года посещать университет. В латыни я настолько продвинулся, что мне удалось размером подлинника перевести кое-что из наиболее дорогих мне од Горация, пасторалей Вергилия и Овидиевых «Метаморфоз». Я также без особого труда читал речи Цицерона и «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря. Разумеется, это не давало мне права считать себя достаточно подготовленным для академических занятий, но я надеялся многое сделать за год и затем, уже в университете, пополнить недостающие знания.

Мне удалось снискать расположение многих видных жителей резиденции, они обещали мне содействие, но при условии, что я наконец решусь посвятить себя изучению какой-нибудь «хлебной профессии». Это, однако, было чуждо моей натуре, к тому же я пребывал в твердом убеждении, что человек должен культивировать в себе лишь то, к чему непрестанно устремлен его дух. Итак, я не поколебался в своем убеждении, и вышеупомянутые лица отказали мне в помощи, сохранив за мной лишь право пользоваться бесплатным столом.

Теперь мне оставалось осуществлять свой план лишь собственными силами и, внутренне собравшись, создать на литературной ниве что-либо более или менее значительное.

«Вина» Мюллера и «Праматерь» Грильпарцера были в то время злобой дня и привлекали к себе живое внимание публики. Моя любовь ко всему естественному отвращала меня от этих надуманных произведений, но еще больше претили мне проникающие их идеи рока, ибо я считал, что таковые безнравственно влияют на народ. Я решил выступить против этих пьес и доказать, что судьба человека определяется его характером. Но спорить с упомянутыми авторами мне хотелось не словами, а делом;

я намеревался создать произведение, в котором говорилось бы о том, что человек сеет в настоящем семена, которые всходят и приносят плоды в будущем; хорошие плоды или злые — это уж зависит от того, что он посеял. Поскольку я не был знаком со всемирной историей, мне оставалось только придумать сюжет, а также действующих лиц. Едва ли не целый год вынашивал я свое будущее творение, мысленно во всех подробностях разрабатывая отдельные сцены и акты, наконец зимой 1820 года, потратив на это месяц-другой, в ранние утренние часы целиком записал его. При этом я испытывал величайшее счастье, видя, как все легко и естественно ложится на бумагу. Однако, в противоположность обоим вышеупомянутым писателям, я слишком близко держался житейского, подмостки никогда не вставали у меня перед глазами. Поэтому-то из-под моего пера вышло скорее неторопливое описание жизненных положений, нежели напряженное, быстро развивающееся действие, — описание, ритмизированное и поэтическое лишь в тех случаях, где того требовали поступки и положения действующих лиц. Второстепенные персонажи отвоёвывали себе излишне много места, и вся пьеса непомерно разрослась.

Я стал читать ее близким друзьям и знакомым, но не встретил того понимания, на которое рассчитывал. Мне говорили, что некоторые сцены уместны разве что в комедии, упрекали в недостаточной осведомленности, так как я, мол, мало читал. Понадеявшись на лучший прием, я сначала втихомолку обижался, но постепенно пришел к убеждению, что мои друзья не так уж не правы и пьеса эта, в целом хорошо продуманная, с правильно обрисованными характерами, изложенная легко и непосредственно, то есть так, как она во мне сложилась, стояла на много ступеней ниже происходивших в ней событий, а потому едва ли была достойна опубликования.

Если принять во внимание мое происхождение и мою необразованность, то в этом нет ничего удивительного. Я решил переделать свое произведение, приспособив его для театра, но сначала приобрести еще некоторые знания, дабы работать на более высоком уровне. Стремление к университетскому образованию, которое должно было восполнить все, чего мне не доставало, а также помочь мне добиться жизни более благополучной, отныне превратилось в доподлинную страсть. Я надумал издать свои стихотворения, полагая, что это поможет мне осуществить намеченный план. Но так как литературного имени у меня не было

и я не мог рассчитывать на щедрый гонорар издателя, то подумал, что для меня, в моем нелегком положении, выгоднее будет подписка.

Друзья взяли на себя заботу о таковой, и она пошла довольно бойко. Я сообщил по начальству о своем намерении поступить в Геттингенский университет и подал прошение об отставке. Убедившись в полнейшей серьезности моих намерений, а также в том, что я от этих намерений не отступлюсь, вышестоящие особы решили меня поощрить. По представлению моего непосредственного начальника полковника *фон Бергера*, военная канцелярия дала мне просимую отставку, да еще оставила мне из моего жалованья по сто пятьдесят талеров в год в виде *двухгодичного* пособия для учения.

Я был счастлив. Наконец-то сбылись мои долголетние мечты. Поторопив печатанье и рассылку стихотворений, я, за вычетом всех издержек, получил еще сто пятьдесят талеров чистой прибыли. В мае я уехал в Геттинген, оставив здесь дорогую моему сердцу возлюбленную.

Первая моя попытка поступить в университет потерпела неудачу из-за того, что я наотрез отказался избрать пресловутую «хлебную профессию». Однако, наученный горьким опытом и памятуя о несказанно трудной борьбе, которую мне пришлось выдержать как с ближайшим окружением, так и с моими влиятельными покровителями, я, набравшись благоразумия, решил подчиниться взглядам сильных мира сего и заявил, что все-таки избираю себе «хлебную профессию», а именно — юриспруденцию.

Мои всеильные меценаты, так же как и все те, кто небезразлично относился к моему житейскому благополучию, не понимая неодолимой силы моих духовных влечений, сочли это весьма разумным. Отныне упреков как не бывало, повсюду я встречал дружелюбие, предупредительность и желание споспешествовать моим целям. Дабы укрепить меня в благих намерениях, мне говорили, что занятия юриспруденцией дадут недюжинную пищу моему уму и духу, только благодаря им я сумею глубоко заглянуть как в деловую, так и в общественную жизнь. Вдобавок изучение юридических наук оставит мне довольно свободного времени для так называемых «высших интересов». И мне тут же стали называть имена прославленных мужей, которые, изучая юриспруденцию, одновременно приобрели незаурядные познания в других областях.

Однако ни я, ни мои друзья не подумали о том, что упомянутые мужи пришли в университет не только осна-

щенные основательными школьными знаниями, но и пробыли в нем куда дольше, чем то позволяла мне немилосердная нужда.

Но хватит об этом; обманывая других, я обманулся и сам, постепенно уверив себя, будто возможно всерьез изучать право и в то же самое время неуклонно идти к собственной цели.

Итак, одержимый безумной идеей овладеть тем, чем я не хотел ни владеть, ни пользоваться в дальнейшем, я тотчас же по поступлении в университет принял за изучение юриспруденции. Наука эта отнюдь меня не отвращала, напротив, не будь моя голова полна иных намерений и устремлений, я бы охотно предался ей. Но так я оказался в положении девушки, которая придумывает разные возражения против предлагаемого ей брака лишь потому, что сердце ее, к несчастью, уже отдано тайному возлюбленному.

Сидя на лекциях об институциях и пандектах, я, случалось, забывал о них, мысленно разрабатывая отдельные драматические сцены и целые акты. Тщетно силился я сосредоточить свое внимание на лекции — меня все время отвлекали посторонние мысли. Я не мог думать ни о чем, кроме искусства и поэзии, да еще о столь необходимом мне общем развитии, из-за которого я годами с такою страстью рвался в университет.

В первый год приблизиться к заветной цели мне очень помог *Геерен*. Его лекции по истории и этнографии послужили мне отличным фундаментом для дальнейшего изучения этих наук, а ясность и основательность изложения принесли недюжинную пользу и во многих других отношениях. Я с радостью шел на каждую его лекцию и неизменно уходил с нее проникнутый глубоким уважением и любовью к этому превосходному человеку.

С начала второго академического года у меня достало благоразумия полностью устраниваться от занятий правовыми науками, слишком значительными и сложными, чтобы заниматься ими между делом, и потому ставшими непреодолимым препятствием для главных моих устремлений. Я обратился к филологии. И если в первый год я многим был обязан *Геерену*, то теперь для меня его место заступил *Диссен*. И не потому только, что его лекции явились искомой и вожделенной пищей для занятий тем, что так сильно меня интересовало, не потому, что всякий день я продвигался вперед, что многое уяснялось мне и в его словах я находил предпосылки для собственных моих ра-

бот в будущем, но прежде всего потому, что мне было дано счастье лично знать этого незаурядного человека, который руководил мною, подкреплял и ободрял меня.

Вдобавок ежедневные встречи с многими талантливыми студентами, непрестанное обсуждение высоких материй во время совместных прогулок, иной раз затягивавшееся до глубокой ночи, было для меня положительно бесценно и наилучшим образом способствовало моему развитию.

Между тем материальные мои ресурсы подходили к концу. Взамен я, правда, в течение полутора лет ежедневно обогащался новыми сокровищами знаний. Однако дальнейшее накопление таких без практического применения было чуждо моей натуре и не соответствовало моим житейским возможностям, посему мною овладело страстное желание написать что-то и литературным трудом обеспечить себе известную свободу действий, равно как и возможность дальнейшего учения.

Мне приходила на ум моя драма; я все еще не утратил к ней интереса, но считал необходимым сделать ее весомее как по форме, так и по содержанию; думал я и о том, чтобы в последовательном изложении завершить мысли касательно принципиальных основ поэзии, являвшиеся своего рода протестом против господствовавших тогда взглядов на это искусство.

Посему осенью 1822 года я оставил университет и поселился в сельской местности близ Ганновера. Прежде всего я взялся за те теоретические статьи, которые, как я надеялся, могли помочь молодым талантам не только в создании поэтических произведений, но и в критической их оценке; эти статьи я объединил под общим заголовком «*Заметки о поэзии*».

В мае 1823 года я закончил эту работу. В моем положении вопросом о хорошем издателе дело не исчерпывалось, мне важно было получить хороший гонорар. Итак, я быстро принял решение и послал свою рукопись *Гете*, прося его замолвить за меня словечко господину *Комта*.

Гете теперь и всегда был тем, на кого я смотрел как на вечную путеводную звезду, его высказывания полностью гармонировали с моим образом мыслей и с каждым днем расширяли мое мировоззрение, его высокое искусство в обработке самых различных тем я все время стремился обосновать, и, конечно же, я подражал ему; мое почтение и беззаветная любовь к великому человеку превратились едва ли не в подлинную страсть.

Вскоре после приезда в Геттинген я послал ему книжечку стихов, приложив к ней краткий рассказ о своей жизни и пути, по которому я шел, чтобы получить образование, после чего мне было суждено счастье не только получить от него письмо, но еще и услышать от приезжих из Веймара, что у Гете составилось хорошее мнение обо мне и он даже намерен упомянуть о моей книжке на страницах журнала «Об искусстве и древности»<sup>1</sup>.

В тогдашнем моем положении это была для меня в полном смысле благая весть, она и дала мне смелость вновь послать ему только что законченную рукопись.

Желание побыть с Гете хотя бы несколько кратких мгновений возобладало во мне над всеми прочими желаниями, и в конце мая я, чтобы его осуществить, пешком отправился в Веймар через Геттинген и долину Верры.

В пути, временами достаточно трудном из-за нестерпимой жары, меня утешало чувство, что добрые силы руководят мною и что это странствие возымеет благие и важные последствия для всей моей дальнейшей жизни.



*Веймар, вторник, 10 июня 1823 г.*

Уже несколько дней, как я сюда приехал, но лишь сегодня впервые посетил *Гете*. Принят я был весьма радушно, впечатление же, которое Гете на меня произвел, было таково, что этот день я причисляю к счастливейшим в моей жизни.

Еще вчера, когда я письменно испрашивал дозволения к нему явиться, он ответил, что готов меня принять нынче в полдень. Итак, в назначенный час я подошел к его дому, где меня уже дожидался слуга, чтобы проводить наверх.

---

<sup>1</sup> На последующих страницах книги этот журнал будет часто именоваться «Искусство и древность», поскольку порою Гете сам называл его так (*ред.*).

Внутренность дома производила самое отрадное впечатление; никакой пышности, все удивительно просто и благородно; слепки с античных статуй, стоящие на лестнице, напоминали о пристрастии хозяина дома к пластическим искусствам и греческой древности. Внизу несколько женщин, видимо, хлопотавших по хозяйству, сновали из комнаты в комнату. Доверчиво глядя большими глазами, ко мне подошел красивый мальчик, один из сыновей Оттилии.

Немного осмотревшись, я поднялся вместе с очень разговорчивым слугой на второй этаж. Он отворил дверь в комнату, перед порогом которой я должен был переступить надпись «*Salve*» — добрый знак гостеприимства. Через эту комнату он провел меня в другую, несколько более просторную, где и попросил подождать, пока он доложит обо мне своему хозяину. Воздух здесь был прохладный и освежающий, на полу лежал ковер, красное канапе и такие же стулья придавали комнате веселый и радостный вид, в углу стоял рояль, на стенах висели рисунки и картины разного содержания и разной величины.

В открытую дверь видна была еще одна комната, также увешанная многочисленными картинами, через нее и направился слуга докладывать обо мне.

Я недолго ждал, откуда вышел *Гете* в синем сюртуке и в туфлях. Какой величественный облик! Я был поражен. Но он тотчас же рассеял мое смущение несколькими ласковыми и приветливыми словами. Мы сели на софу. В счастливом замешательстве от его вида, от его близости, я почти ничего не мог сказать.

Он сразу заговорил о моей рукописи.

— Я сейчас словно бы вернулся от вас, все утро я читал вашу работу, она не нуждается в рекомендациях, ибо говорит сама за себя. — Потом он одобрительно отозвался о ясности изложения, о последовательности развития мысли и добавил, что все это хорошо продумано и зиждется на добротном фундаменте.

— Я хочу поскорее увидеть ее напечатанной и еще сегодня пошлю письмо *Котта* с верховой почтой, а завтра отправлю рукопись с почтовым дилижансом.

Я поблагодарил его словами и взглядом.

Потом мы заговорили о моей дальнейшей поездке. Я сказал, что моя цель — Рейнская область, там я хочу пожить в каком-нибудь спокойном уголке и поработать над чем-нибудь новым. Но сначала я хотел бы поехать в *Иену* и дожидаться ответа господина фон Котта.

Гете спросил, есть ли у меня знакомые в Иене, я ответил, что надеюсь представиться господину *фон Кнебелю*, в ответ он пообещал снабдить меня письмом и тем обеспечить мне наилучший прием.

— Ну, вот и хорошо, — сказал он еще, — если вы останетесь в Иене, то мы будем близко, сможем друг к другу наведаться или написать, если возникнет надобность.

Мы долго сидели вместе в настроении покойном и дружелюбном. Я касался его колен, глядя на него, забывал обо всем, что хотел сказать, не мог вдосталь на него насмотреться. Лицо смуглое, энергическое, в морщинах, и каждая морщина исполнена выразительности. И столько в нем было благородной доброты и твердости, спокойствия и величия! Он говорил неторопливо и четко, такую представляешь себе речь престарелого монарха. Я чувствовал, что он покоится в себе самом, превыше всех людских славословий и порицаний. Неопишимо хорошо было мне подле него; на меня низошло успокоение, какое нисходит на человека, у которого после долгих трудов и упований наконец-то сбылось заветное желание.

Коснувшись в разговоре моего письма, он сказал, что я прав, утверждая: если кто умеет ясно разобраться в *одном*, значит, он и во многом другом разберется.

— Не знаю уж, как все это получается, — вдруг добавил он, — недавно я писал в Берлин, где у меня много добрых друзей, и почему-то вспомнил о вас.

При этом он тихо и ласково усмехнулся. Затем перечислил, что еще мне следует посмотреть в Веймаре, и сказал, что попросит господина секретаря Крейтера меня сопровождать. Но прежде всего я должен воспользоваться случаем и посетить театр. Далее он спросил, где я остановился, добавил, что хочет еще раз меня повидать и пошлет за мною, когда у него выберется часок-другой.

Мы распрощались как друзья. Я был безмерно счастлив, ибо в каждом его слове сквозило благоволение и я чувствовал, что пришелся ему по душе.

*Среда, 11 июня 1823 г.*

Утром я получил собственноручную записку Гете о приглашении прийти к нему. И опять с добрый час у него пробыл. Сегодня он был скор и решителен, как юноша, и показался мне совсем другим, чем вчера.

Он вышел ко мне с двумя толстыми книгами в руках.

— Жаль, — сказал он, — что вы не намерены задержаться здесь, нам следовало бы получше узнать друг друга. Я хочу почаще видеть вас и говорить с вами. Но поскольку Общее необозримо велико, я сразу же подумал о Частном, оно, как Tertium<sup>1</sup>, послужит нам точкой соприкосновения. В этих двух томах «Франкфуртского учебного вестника» за 1772/73 год вы найдете почти все мои маленькие рецензии той поры. Они не подписаны, но вы достаточно знаете мой слог, мой образ мыслей и, конечно же, отыщете их среди прочих. Мне хочется, чтобы вы поближе ознакомились с этими юношескими работами и сказали мне, что вы о них думаете. Мне нужно знать, стоит ли включать их в следующее собрание моих сочинений. От меня они теперь уже слишком далеки, и я о них судить не берусь. Но вы, молодые, сразу поймете, представляют ли они интерес для вас и в какой мере могут быть полезны литературе в нынешнем ее состоянии. Я распорядился сделать с них списки, которые передам вам позднее, для сравнения с оригиналом. Внимательно просматривая эти рецензии, вы очень скоро выясните, не надо ли там и сям что-то немного сократить или подправить, не изменяя характера целого.

Я отвечал, что с большой охотой возьмусь за эту работу и что единственное, чего я хочу, — сделать ее в соответствии с его пожеланием.

— Немного освоившись с нею, — отвечал он, — вы убедитесь, что этот труд вам вполне по плечу, и дело пойдет само собою.

Далее он сообщил мне, что дней через восемь собирается отбыть в Мариенбад и очень хочет, чтобы я до тех пор остался в Веймаре и мы могли бы видеться, беседовать и ближе узнать друг друга.

— И еще мне бы хотелось, — добавил он, — чтобы вы побыли в *Иене* не несколько дней или недель, а обосновались бы там на все лето, покуда я, к осени, не ворочусь из Мариенбада. Я вчера уже написал туда относительно квартиры для вас и прочего устройства; мне хочется, чтобы вам было приятно и удобно в *Иене*. Там вы найдете самые разнообразные источники и пособия для дальнейших занятий и вдобавок образованное, гостеприимное общество, не говоря уж о прекрасных окрестностях, по которым вы сможете сделать не менее пятидесяти самых

---

<sup>1</sup> Третье (лат.).

разнообразных прогулок, очень приятных и располагающих к тихим размышлениям. У вас будет довольно досуга написать для себя кое-что новое, а заодно оказать и мне некоторое содействие.

Я ничего не мог возразить на столь благожелательное предложение и с радостью принял его. Когда я стал прощаться, Гете был еще ласковее со мной и на послезавтра назначил мне час для продолжения беседы.

*Понедельник, 16 июня 1823 г.*

За эти дни я несколько раз посетил Гете. Сегодня мы преимущественно говорили о делах. Кроме того, я сказал несколько слов касательно франкфуртских рецензий, назвав их отзвуками его академической поры; ему, видимо, пришлось по душе это выражение, и он наметил для меня точку зрения, с которой их следует рассматривать.

Затем он вручил мне первые одиннадцать тетрадей «Искусства и древности», чтобы я, наряду с франкфуртскими рецензиями, взял их с собой в Иену в качестве второй работы.

— Мне было бы очень желательно, — сказал он, — чтобы вы хорошенько изучили эти тетради и не только составили общий указатель содержания, но отметили бы, что в них нельзя считать завершенным, тогда я бы сразу увидел, какие нити мне следует подхватить, чтобы прять дальше. Это будет для меня большим облегчением, да и вы не останетесь внакладе, ибо, работая над литературным произведением, зорче вглядываешься в него, воспринимаешь его острее, чем когда читаешь просто так, для души.

Я не мог не согласиться с его словами и сказал, что охотно возьму на себя и этот труд.

*Четверг, 19 июня 1823 г.*

Собственно, я уже сегодня хотел быть в *Иене*, но Гете вчера настойчиво попросил меня остаться до воскресенья и поехать с почтовым дилижансом. Еще вчера он дал мне рекомендательные письма и среди них одно к семейству *Фроман*.

— Этот круг придется вам по вкусу, — сказал он, — я провел у них немало приятнейших вечеров. *Жан Поль*, *Тик*, *Шлегели* и еще многие именитые немцы с охотой

посещали дом Фроманов, который и теперь еще остается местом встреч ученых, артистов и прочих уважаемых людей. Через неделю-другую напишите мне в Мариенбад, чтобы я знал, как вам понравилось в Иене. Кстати, я сказал сыну, чтобы он хоть разок навестил вас там за время моего отсутствия.

Я испытывал живейшую благодарность к Гете за его заботу обо мне и радовался, по всему видя, что он причисляет меня к своим близким и хочет, чтобы так же ко мне относились и другие.

В субботу 21 июня я простился с Гете и на следующий день уехал в *Иену*, где и поселился в загородном домике у простых и славных людей. В семействах господ фон Кнебеля и Фромана, благодаря рекомендации Гете, меня ждала радушная встреча и весьма поучительное общение. Взятые с собой работы продвигались успешно, кроме того, вскоре мне была суждена радость — я получил письмо от господина *фон Котта*, в котором он не только выражал согласие на издание моей рукописи, ему пересланной, но обеспечивал мне солидный гонорар да еще печатание в Иене под собственным моим наблюдением.

Суммы, им назначенной, мне должно было хватить не меньше чем на год, и я сразу же ощутил живейшую потребность создать что-нибудь новое и тем самым утвердить на будущее свое положение как литератора. Я полагал, что критико-теоретические работы после «*Заметок о поэзии*» для меня раз и навсегда остались позади. В этих статьях я силился уяснить себе основные и высшие законы поэзии и теперь всем существом жаждал на практике проверить таковые. В голове моей кишели планы больших и малых стихотворений, а также всевозможных драматических сюжетов; все дело лишь в том, думалось мне, чтобы правильно установить очередность и спокойно, с удовольствием взяться за работу.

Долго жить в *Иене* я был не очень-то расположен, — здесь царили тишина и однообразие, а я тосковал по большому городу, где бы имелся не только хороший театр, но и бурлила бы разнообразная жизнь, из которой я мог бы почерпнуть многое, способствующее моему быстрейшему внутреннему развитию. В таком городе я надеялся жить совсем неприметно, в любую минуту имея возможность уединиться для созидательного труда.

Тем временем, выполняя желание Гете, я уже успел вчерне закончить указатель содержания первых четырех

выпусков журнала «Об искусстве и древности» и поспешил послать его в Мариенбад вместе с письмом, в котором я откровенно высказывал свои желания и намерения. Вскоре я получил следующий ответ:

«Указатель содержания, своевременно мною полученный, полностью соответствует моим желаниям и целям. Порадуйте же меня, по моем возвращении, еще и отредактированными *«Франкфуртскими рецензиями»*, и я сумею выразить Вам свою глубокую признательность, которую вынашиваю уже теперь, сочувственно размышляя о Ваших взглядах, обстоятельствах, желаниях, целях и планах, дабы, воротясь домой, хорошенько потолковать с Вами о том, что может послужить Вам ко благу. Сегодня я ничего больше не скажу. Расставание с Мариенбадом заставляет о многом думать и многое делать, несмотря на боль, которую чувствуешь оттого, что так недолго пробыл в обществе дорогих тебе людей.

Надеюсь заставить Вас погруженным в размеренный труд, из коего единственно проистекает как познание мира, так и жизненный опыт. Будьте здоровы, заранее радуюсь более длительному и тесному общению с Вами.

*Гете.*

*Мариенбад, 14 августа 1823 г.».*

Эти строки меня не только ошастливили, но и на время принесли мне успокоение. Я решил ничего не предпринимать самовольно и целиком положиться на его советы и пожелания. За это время я написал несколько маленьких стихотворений, закончил редактирование «Франкфуртских рецензий» и высказал свое мнение о последних в небольшой статье, предназначавшейся для Гете. Я с нетерпением ожидал его возвращения из Мариенбада, тем более что печатание моих «Заметок о поэзии» подходило к концу и я во что бы то ни стало хотел еще этой осенью дать себе небольшую передышку и хотя бы две-три недели провести на берегах Рейна.

*Иена, понедельник, 15 сентября 1823 г.*

Гете благополучно прибыл из Мариенбада, но, поскольку его здешнее загородное жилье не слишком удобно, решил пробыть в Иене лишь несколько дней. Он здо-

ров и бодр, ему ничего не стоит совершить многочасовую прогулку пешком, и смотреть на него теперь поистине большое счастье.

После взаимных радостных приветствий Гете тотчас же заговорил о моих делах.

— Скажу вам без обиняков, — начал он, — мне бы очень хотелось, чтобы эту зиму вы провели у меня в Веймаре. — То были его первые слова, и он тут же перешел непосредственно к делу. — С поэзией и критикой у вас все обстоит превосходно, эти способности, как видно, заложены в вас самой природой. Таково ваше призвание, и его вы должны держать, ибо в недалеком будущем оно обеспечит вам достаточные средства к жизни. Существует, однако, еще многое, пусть прямо не относящееся к области поэзии и критики, но что вы должны тем не менее усвоить. Важно еще не потерять слишком много времени и побыстрее со всем этим управиться. Прожив зиму в Веймаре, вы уже к пасхе узнаете так много, что только диву дадитесь. У вас будут самые лучшие источники и пособия, ибо всем этим я располагаю. Тогда вы почувствуете твердую почву под ногами, а значит, обретете спокойствие и уверенность в себе.

Предложение Гете обрадовало меня, и я сказал, что готов всецело подчиниться его воле и его желаниям.

— О квартире поблизости от меня, — продолжал Гете, — я позабочусь сам. В эту зиму каждая минута должна быть для вас наполнена содержанием. В Веймаре еще сосредоточено много хорошего и значительного, малопомалу вы войдете в избранное общество, ничуть не уступающее избранному обществу больших городов. Да и мой дом посещают многие выдающиеся люди, постепенно вы с ними со всеми перезнакомитесь, и это общение станет для вас поучительным и полезным.

Гете назвал мне ряд прославленных мужей и кратко охарактеризовал деяния каждого из них.

— Где еще, — продолжал он, — на таком маленьком клочке земли найдете вы столько доброго! К тому же у нас еще имеется тщательно составленная библиотека и театр, который ни в чем не уступит лучшим театрам других немецких городов. Посему я повторяю: останьтесь у нас, и не на одну только зиму, пусть Веймар станет вашим постоянным местом жительства. Из него пути и дороги ведут во все концы света. В летнее время вы будете путешествовать и постепенно увидите все, что захотите видеть.

Я здесь живу пятьдесят лет, и где только я не побывал за эти годы. Но в Веймар я всегда возвращаюсь с охотою.

Я был счастлив снова сидеть подле Гете, снова слушать его, сознавая, что я предан ему душою и телом. Если у меня есть *ты*, если *ты* пребудешь со мною и впредь, думал я, то все остальное приложится, и повторил, что готов сделать все, что он считает хоть в какой-то мере полезным для меня в моем особом положении.

*Иена, четверг, 18 сентября 1823 г.*

Вчера утром, перед отъездом Гете в Веймар, мне снова суждено было счастье побыть с ним часок. Он завел разговор весьма многозначачий, для меня положительно бесценный и благотворно воздействовавший на всю мою жизнь. Всем молодым поэтам Германии следует знать его, он и для них не останется бесполезным.

Начался разговор с того, что он спросил, писал ли я стихи этим летом. Я ответил, что несколько стихотворений я написал, но работал над ними без подлинной радости.

— Остерегайтесь, — сказал он в ответ, — больших работ. Это беда лучших наших поэтов, наиболее одаренных и наиболее трудоспособных. Я страдал от того же самого и знаю, во что мне это обошлось. Сколько было сделано зазря! Если бы я создал все, что был способен создать, для моего собрания сочинений недостало бы и ста томов.

Настоящее предьявляет свои права. Все мысли и чувства, что ежедневно теснятся в поэте, хотят и должны быть высказаны. Но, буде ты замыслил большое произведение, рядом с ним уже ничего не прорастет, оно отгоняет все твои мысли, да и сам ты оказываешься надолго отторгнут от всех приятностей жизни. Какое напряжение, какая затрата душевных сил потребны на то, чтобы упорядочить, закруглить большое Целое, какую надо иметь энергию, какую спокойную прочность житейского положения, чтобы наконец слитно и завершено высказать то, что было тобою задумано. Если ты ошибся в главном — все твои усилия оказываются тщетны, если в твоём обширном и многообразном творении ты не везде сумел совладать с материалом, — значит, в Целом кое-где окажутся прорехи и критики станут бранить тебя, и тогда поэту вместо наград и радостей за весь его труд, за все его самопожертвование достанутся только изнеможение и горечь. Но когда поэт всякий день вбирает в себя настоящее и насвежо воссоздает то, что открывает-

ся ему, это бесспорное благо, и даже если что-то ему и не удастся, ничего еще не потеряно.

Возьмем *Августа Хагена* из Кенигсберга — великолепный талант; читали ли вы его «*Ольфрида и Лизену*»? Там есть такие места, что лучше некуда. Жизнь на Балтийском море, весь местный колорит — какое мастерское воссоздание! Но это лишь прекрасные куски, целое никого не радует. А сколько сил, сколько трудов положено на эту поэму! В ней он почти исчерпал себя. Теперь он написал трагедию! — Сказав это, Гете улыбнулся и на мгновение умолк.

Я позволил себе вставить слово и заметил, что, насколько мне помнится, в «Искусстве и древности» он советует Хагену братья лишь за *малые* сюжеты.

— Вы совершенно правы,— сказал Гете,— но кто слушается нас, стариков? Каждый считает: уж мне-то лучше знать, и одни гибнут, а другие долго блуждают в потемках. Впрочем, сейчас нет времени для блужданий, это был наш удел, удел стариков, но что толку было бы от наших поисков и блужданий, если бы вы, молодежь, захотели пойти теми же путями? Так с места не сдвинешься. Нам, старым людям, заблуждения в упрек не ставят, ибо дороги для нас не были проторены, с тех же, что явились на свет позднее, спрос другой, им заново искать и блуждать не положено, а положено прислушиваться к советам старших и идти вперед по верному пути. И тут уж мало просто шагать к цели, каждый шаг должен стать целью и при этом еще шагом вперед.

Вдумайтесь в эти слова и прикиньте, какие из них пойдут вам на пользу. По правде говоря, я за вас не боюсь, но, может быть, мои советы помогут вам быстрее выбраться из периода, уже не отвечающего вашему нынешнему самосознанию. Работайте до поры до времени только над небольшими вещами, быстро воплощайте то, чем дарит вас настоящая минута, и, как правило, вам всегда удастся создать что-то хорошее, и каждый день будет приносить вам радость. Поначалу давайте ваши стихи в журналы и газеты, но никогда не приспосабливайтесь к чужим требованиям и считайтесь лишь с собственным вкусом.

Мир так велик и так богат, так разнообразна жизнь, что поводов для стихотворства у вас всегда будет предостаточно. Но это непременно должны быть стихотворения «на случай», иными словами, повод и материал для них должна поставлять сама жизнь. Единичный случай приоб-

ретает всеобщий интерес и поэтичность именно потому, что о нем заговорил *поэт*. Все мои стихотворения — стихотворения «на случай», они навеяны жизнью и в ней же коренятся. Стихотворения, взятые, что называется, с потолка, я в грош не ставлю.

Смешно говорить, что действительная жизнь лишена поэтического интереса; в том и сказывается талант поэта, что позволяет ему и в обыденном подметить интересное. Побудительные причины, необходимые акценты, сюжетное ядро поэту дает жизнь, но только он сам может из всего этого сотворить прекрасное, одухотворенное целое. Вы ведь знаете *Фюрнштейна*, так называемого «певца природы», он написал стихотворение о хмелеводстве — прелестнее трудно себе представить. Недавно я ему посоветовал написать песни ремесленников, прежде всего песнь ткачей, и убежден, что он отлично справится с этой задачей, так как провел среди них всю свою юность, досконально знает их быт и, конечно же, сумеет подчинить себе материал. В том-то и заключается преимущество маленьких вещей, что ты можешь, более того — должен выбрать материал, который хорошо знаешь и с которым, безусловно, справишься. С большим поэтическим произведением дело обстоит по-другому, в нем ничего нельзя опустить, все, что скрепляет целое, все, что вплетается в замысел, должно быть воспроизведено, и притом с предельной правдивостью. Но в юности вещи познаются односторонне, а большое произведение требует многосторонности — тут-то автор и терпит крушение.

Я сказал Гете, что собирался написать поэму о временах года и вплести в ее сюжет занятия и увеселения разных сословий.

— Вот оно самое, — заметил он, — многое, возможно, и удастся вам, но кое-что, еще недостаточно продуманное, недостаточно узнанное, скорей всего не получится. Рыбак, например, может выйти удачно, а охотник нет. Но если в целом что-то не удалось, это значит, что как целое оно неудачно, и как бы хороши ни были отдельные куски, выходит, что совершенства вы не достигли. Попробуйте, однако, представить себе в воображении каждый кусок, из тех, что вам по плечу, как нечто самостоятельное, и вы, несомненно, создадите превосходное стихотворение.

Прежде всего, мне хочется предостеречь вас от *собственных* громоздких вымыслов: они будут требовать от вас определенного взгляда на вещи, а в молодости этот взгляд редко бывает зрелым. Далее: действующие лица с

их воззрениями вдруг начинают жить своей, не зависящей от автора жизнью и похищают у него внутреннее богатство его дальнейших произведений. И, наконец: сколько времени тратится на то, чтобы упорядочить и связать разрозненные части, а этого никто не ставит нам в заслугу, даже если мы неплохо справились со своей работой.

С *наличествующим* сюжетом все обстоит куда проще. Здесь факты и характеры уже даны, поэту остается лишь одухотворить целое. К тому же он не растрчивает свое внутреннее богатство, ибо личного вкладывает не так уж много; времени и сил у него тоже уходит куда меньше, он ведь осуществляет лишь оформление материала. Более того, я советую обращаться к сюжетам, ранее обработанным. Сколько изображено Ифигений, и все они разные, потому что каждый видит и творит по-другому, по-своему.

До поры до времени оставьте все попечения о крупных вещах. Вы долго шли трудной дорогой, пора вам вкусить радостей жизни, и здесь наилучшее средство — работа над мелкими сюжетами.

Во время разговора мы ходили взад и вперед по комнате; я мог только поддакивать, ибо всем своим существом чувствовал его правоту. С каждым шагом у меня все легче становилось на душе, так как, должен признаться, обширные и многообразные замыслы, все еще недостающие мне уяснившиеся, тяжким бременем давили на мои плечи. Сейчас я отбросил их, — пусть себе отдохнут, покуда я снова радостно не возьмусь за тот или иной сюжет и, постепенно познавая мир, хотя бы частично не овладею материалом.

Я понимаю: слова Гете делают меня на несколько лет старше и умнее, и всем сердцем чувствую, какое это счастье встретиться с настоящим мастером. Неизмерима польза от этой встречи.

Чему только я не научусь от него этой зимою, как обогатит меня общение с ним, даже в часы, когда он не будет говорить ни о чем значительном! Он сам, его близость формируют мой дух, даже когда он ни слова не произносит,

*Веймар, четверг, 2 октября 1823 г.*

В теплый, погожий день приехал я вчера из Иены в Веймар. В знак приветствия Гете тотчас же прислал мне абонемент в театр. Я использовал остаток дня на то, чтобы обосноваться на новом месте, тем паче что в доме

Гете вечером царило большое оживление, — навестить его из Франкфурта прибыл французский посол граф *Рейнхард*, а из Берлина прусский государственный советник *Шульц*.

Но сегодня с утра я уже отправился к Гете. Он радовался моему приезду, был удивительно добр и приветлив. Когда я собрался уходить, он задержал меня, чтобы познакомиться с советником Шульцем. Он провел меня в соседнюю комнату, где его гость рассматривал разные произведения искусства, отрекомендовал меня и ушел, доставив нас друг другу.

— Как хорошо, — тотчас же заговорил Шульц, — что вы решили остаться в Веймаре и помочь Гете в редактировании его еще не изданных сочинений. Он сказал мне, что ждет немалой пользы от вашего сотрудничества и поэтому надеется довершить кое-что из еще не законченного нового.

Я отвечал, что у меня одна цель в жизни — быть полезным немецкой литературе; надеюсь, что *здесь* моя помощь окажется действенной, я готов надолго поступиться своими собственными литературными замыслами и намерениями. Не говоря уж о том, добавил я, что деловое общение с Гете не может благотворнейшим образом не сказаться на дальнейшем моем формировании, я думаю с помощью такого общения в ближайшие годы достигнуть известной зрелости и тогда значительно лучше выполнить то, что сейчас мне, конечно, еще не по плечу.

— Разумеется, — отвечал Шульц, — воздействие личности такого исключительного человека и художника, как Гете, неоценимо. Я тоже приехал сюда, чтобы приобщиться величию его духа и в нем почерпнуть свежие силы.

Засим он поинтересовался, как идет печатание моей книги, о которой Гете писал ему еще прошлым летом. Я сказал, что через несколько дней, вероятно, получу из Иены первые экземпляры и, конечно же, не замедлю преподнести ему один из них или переслать в Берлин, если он к тому времени уедет.

Потом мы расстались, обменявшись дружеским рукопожатием.

*Вторник, 14 октября 1823 г.*

Сегодня я впервые был приглашен к Гете на торжественное вечернее чаепитие. Придя первым, я был поражен ярко освещенной анфиладой, так как в этот вечер все две-

ри стояли настезь. В одной из последних комнат я увидел Гете, который весело и бодро пошел мне навстречу. Черный фрак и звезда очень его красили. Несколько минут мы еще были одни и прошли в так называемую «комнату с плафоном», где меня больше всего привлекала висевшая над красным диваном «Альдобрандинская свадьба». Зеленые занавески, обычно ее закрывавшие, были отодвинуты, и картина предстала передо мною в полном освещении; я радовался, что могу спокойно ею любоваться.

— Да, — проговорил Гете, — у старых мастеров были не только грандиозные замыслы, они умели воплощать их. У нас же, людей новейшего времени, замыслы тоже грандиозны, но нам редко удается воплотить их так свежо и сочно, как нам бы хотелось.

Тут вошли *Ример* и *Мейер*, вслед за ними канцлер *фон Мюллер* и другие почтенные господа и дамы из придворных кругов. Появился также сын Гете и госпожа фон Гете, с которой я впервые сегодня познакомился. Гости постепенно заполняли комнаты, повсюду царил оживление. Среди присутствующих было несколько красивых молодых иностранцев, с которыми Гете беседовал по-французски.

Общество мне понравилось, все держались свободно и непринужденно, одни стояли, другие сидели, смеялись, шутили, разговаривали, кто с кем хотел. Мы оживленно беседовали и с молодым Гете о «*Портрете*» Хувальда, на днях дававшемся в театре. Наши мнения об этой пьесе сошлись, и я порадовался, что молодой Гете так остроумно, с таким жаром ее разбирает.

Сам Гете был на редкость гостеприимен и любезен. Он подходил то к одному, то к другому и больше слушал, чем говорил сам, предоставляя говорить своим гостям. Госпожа фон Гете так и льнула к нему, ласкаясь, обнимала и целовала его. На днях я сказал ему, что театр доставляет мне огромное удовольствие, я наслаждаюсь, когда смотрю спектакль, но при этом не вдаюсь в раздумья о нем. Он меня одобрил, заметив, что такое восприятие, видимо, отвечает моему нынешнему душевному состоянию.

Потом он подошел ко мне с госпожой фон Гете и сказал:

— Вот моя невестка, вы уже знакомы?

Мы сказали, что только сейчас познакомились.

— Он такой же театрал, как и ты, Оттилия, — доба-

вил Гете, когда мы улынулись, признав эту обоюдную слабость. — Моя дочь, — продолжал он, — не пропускает ни одного спектакля.

— Когда даются хорошие занимательные пьесы, — сказал я, — ходить в театр одно удовольствие, но плохая пьеса только испытывает наше терпение.

— Тут есть своя положительная сторона, — возразил Гете, — уйти неудобно, и мы принуждены слушать и смотреть плохую драму. В нас разгорается ненависть к плохому, а это позволяет нам лучше вникнуть в хорошее. Чтение — дело другое. Можно отбросить книгу, если она тебе не нравится, а в театре уж изволь досидеть до конца.

Я согласился с ним и подумал, что старик всегда скажет что-нибудь хорошее.

Мы разошлись в разные стороны, смешавшись с остальными, громко и оживленно разговаривавшими вокруг нас и в других комнатах. Гете направился к дамам, я присоединился к Римеру и Мейеру, которые рассказывали нам об Италии.

Немного позднее советник *Шмидт* сел за рояль и исполнил несколько фортепьянных пьес Бетховена; присутствующие с глубоким волнением ему внимали. Затем одна весьма остроумная дама рассказала много интересного о Бетховене. Так время подошло к десяти часам, и кончился необычайно приятный для меня вечер.

*Воскресенье, 19 октября 1823 г.*

Сегодня я впервые обедал у Гете. Кроме него, за столом были только госпожа фон Гете, фрейлейн Ульрика и маленький Вальтер, так что чувствовали мы себя совсем привольно. Гете вел себя как истинный отец семейства, — раскладывал кушанья, с необыкновенной ловкостью разрезал жареную птицу и успевал всем подливать вина. Мы весело болтали о театре, о молодых англичанах и прочих событиях последних дней. Очень оживлена и разговорчива была на сей раз фрейлейн Ульрика. Гете, напротив, больше молчал и лишь время от времени вставлял какую-нибудь примечательную реплику. И еще заглядывал в газеты и прочитывал нам отдельные места, главным образом касавшиеся успехов греческих повстанцев.

Далее разговор зашел о том, что мне следовало бы учиться английскому языку. Гете очень на этом настаи-

вал, прежде всего ради лорда Байрона, удивительной личности, никогда ранее не встречавшейся и вряд ли могущей встретиться в будущем. Мы перебрали всех здешних учителей, но оказалось, что ни у одного из них нет безупречного произношения, почему мне и порекомендовали обратиться к кому-нибудь из молодых англичан.

После обеда Гете продемонстрировал мне несколько опытов из своего учения о цвете. Но эта область была мне настолько чужда, что я ровно ничего не понял ни в самом феномене, ни в объяснениях Гете. И все-таки я надеялся, что будущее предоставит мне довольно досуга, а может быть, и случай вникнуть и в эту науку.

*Вторник, 21 октября 1823 г.*

Вечером был у Гете. Мы говорили о «Пандоре». Я спросил, можно ли считать эту поэму законченной, или же у нее существует продолжение. Он сказал, что больше у него ни слова не написано, потому что первая часть так разрослась, что вторая показалась ему уже излишней. А поскольку написанное можно, собственно, рассматривать как целое, то он на этом и успокоился.

Я сказал, что лишь постепенно, с трудом пробивался к пониманию этого сложнейшего произведения и читал его так часто, что, можно сказать, выучил наизусть. Гете улыбнулся и сказал:

— Охотно верю, там все как бы накрепко *заклинено*.

Я признался ему, что меня не совсем приятно поразил *Шубарт*, которому вздумалось утверждать, что в «Пандоре» объединено все, о чем по отдельности говорится в «Вертере», «Вильгельме Мейстере», «Фаусте» и в «Избирательном средстве»; ведь такая его концепция делает всю поэму более непостижимой и непомерно трудной.

— Шубарт, — отвечал Гете, — иной раз копает слишком глубоко, но при этом он хорошо знает свое дело и судит достаточно метко.

Мы заговорили об *Уланде*.

— Когда литературные произведения, — сказал Гете, — сильно воздействуют на публику, я всегда думаю, что это неспроста. Раз Уланд пользуется такой популярностью, то должны же у него быть недюжинные достоинства. Сам я о его стихотворениях судить не берусь. Я с наилучшими намерениями взял в руки его томик, но сразу же наткнулся на множество таких слабых, унылых стихов, что дальше мне читать уже не хотелось.

Когда же я заинтересовался его балладами, то понял, что это истинный талант и что слава его небезосновательна.

Я спросил Гете, какого рода стихосложение он считает предпочтительным для немецкой трагедии.

— В Германии, — отвечал он, — на этот счет трудно прийти к единодушию. Каждый пишет, как ему вздумается и как это, по его мнению, соответствует теме. Наиболее достойным стихом был бы, пожалуй, шестистопный ямб, но для немецкого языка он слишком длинен; не располагая достаточным количеством постоянных эпитетов, мы обходимся пятистопником. Это тем более относится к англичанам из-за обилия односложных слов в их языке.

Потом Гете показал мне несколько гравюр на меди; заговорив в этой связи о старонемецком зодчестве, он пообещал показать мне еще множество гравюр такого рода.

— В творениях старонемецкого зодчества, — сказал он, — нам в полном цветении открывается из ряда вон выходящее состояние человеческого духа. Тот, кто вдруг увидит это цветение, может только ахнуть, но тот, кому дано заглянуть в потайную, внутреннюю жизнь растения, увидеть движение соков и постепенное развитие цветка, будет смотреть на это зодчество иными глазами — он поймет, что видит перед собой. Я позабочусь о том, чтобы за эту зиму вы до известной степени вникли в эту важнейшую область искусства. И когда вы летом поедете на Рейн, вы сумеете полнее и глубже воспринять Страсбургский и Кельнский соборы.

Обрадованный этими словами, я ощутил живейшую благодарность.

*Суббота, 25 октября 1823 г.*

В сумерках я пробыл с полчаса у Гете. Он сидел в деревянном кресле за своим рабочим столом. Я застал его в настроении удивительно умиротворенном. Казалось, он преисполнен неземного покоя, вернее, мыслей о сладостном счастье, некогда низошедшем на него и вновь, во всей своей полноте, витающем перед ним. Он велел Штадельману поставить мне стул рядом с его креслом.

Мы заговорили о театре, в ту зиму очень меня интересовавшем. В последний раз я смотрел «Земную ночь» *Раупаха* и сейчас сказал, что, по-моему, эта пьеса появилась на подмостках не такой, какую она сложилась в уме автора, теперь в ней идея превалирует над жизнью, ли-

рика над драмой и та нить, которую автор тклет и тянет через пять актов, вполне уложилась бы в два или три. Гете, со своей стороны, заметил, что идея пьесы вращается вокруг аристократии и демократии, а это лишено общечеловеческого интереса.

Далее я похвально отозвался о виденных мною пьесах Коцебу «Родственники» и «Примирение». Мне нравилось, что автор сумел свежим глазом взглянуть на обыденную жизнь, разглядеть ее интересные стороны и к тому же сочно и правдиво ее изобразить. Гете со мной согласился.

— То, что просуществовало уже двадцать лет и продолжает пользоваться симпатиями публики, конечно, чего-нибудь да стоит. Пока Коцебу держался своего круга и не претупал своих возможностей, его пьесы, как правило, были удачны. С ним произошло то же, что с Ходовицким; и тому вполне удавались сцены из бюргерской жизни, но когда он пытался изображать греческих или римских героев, из этого ровно ничего не получалось.

Гете назвал еще несколько удачных вещей Коцебу, в первую очередь выделив пьесу «Два Клингсберга».

— Не приходится отрицать, — добавил он, — что Коцебу хорошо знал жизнь и смотрел на нее открытыми глазами. Современные трагики отнюдь не глупы и не лишены известных поэтических способностей, но они обойдены даром легкого, живого изображения и стремятся к тому, что превосходит их силы, почему я бы и назвал их *форсированными* талантами.

— Сомневаюсь, — сказал я, — чтобы эти поэты могли написать пьесу в прозе. Мне думается, что это будет пробным камнем для их способностей.

Гете и тут со мной согласился и заметил, что стих сам по себе усиливает поэтичность, более того, пробуждает ее.

Затем мы еще немного поговорили о предстоящих работах, а именно, о его «Поездке в Швейцарию через Франкфурт и Штутгарт». Эти три тетради хранились у него, и он намеревался прислать их мне, чтобы я прочитал отдельные записи и внес бы свои предложения, как сделать из них нечто целое.

— Вы увидите, — сказал он, — что я все записывал как бог на душу положит, под впечатлением момента, нимало не заботясь о плане и художественной завершенности, словом, эти записи *вылились, как вода из ведра*.

Мне очень понравилось такое сравнение, метко характеризующее нечто совершенно бесплановое.

Сегодня утром я получил от Гете приглашение на вечерний чай и концерт. Слуга показал мне список лиц, которых ему поручено было пригласить, и я убедился, что общество соберется весьма многолюдное и блестящее. Он еще сказал, приехала-де молодая полька, которая будет что-то играть на рояле. Я с радостью принял приглашение.

Немного позднее принесли театральную афишу: сегодня давались «Шахматы». Я не знал этой пьесы, но моя квартирная хозяйка так превозносила ее достоинства, что меня охватило жгучее желание пойти в театр. Вдобавок я с утра чувствовал себя неважно и подумал, что в такой день веселая комедия устроит меня больше, нежели блестящее общество.

Под вечер, за час до начала спектакля, я зашел к Гете. В доме уже царило необычное оживление; проходя мимо, я слышал, как в большой комнате настраивают рояль, подготавливая его к концерту.

Гете я застал одного в его комнате, он уже надел парадный костюм и, видимо, был доволен моим появлением.

— Давайте побудем здесь, — сказал он, — и побеседуем до прихода других гостей.

«Никуда уже ты не уйдешь», — подумал я. Конечно, очень приятно побыть вдвоем с Гете, но когда явятся многочисленные и незнакомые господа и дамы, ты волей-неволей будешь чувствовать себя не в своей тарелке.

Гете и я ходили взад и вперед по комнате. Прошло совсем немного времени, как мы уже заговорили о театре, и я, воспользовавшись случаем, повторил, что театр для меня неиссякаемый источник наслаждения, тем паче что раньше-то я почти ничего не видел и теперь едва ли не все спектакли производят на меня сильное и непосредственное впечатление.

— Да, — присовокупил я, — театр так меня захватил, что сегодня я терзаюсь сомнениями и нерешительностью, хотя мне и предстоит столь прекрасный вечер в вашем доме.

— Знаете что? — вдруг сказал Гете, он остановился и смотрел на меня пристально и ласково. — Идите в театр! Не стесняйтесь! Если сегодня веселая пьеса вам больше по душе, больше соответствует вашему настроению, то

идите непременно! У меня будет музыка, и такие вечера повторятся еще не раз.

— Хорошо, — ответил я, — я пойду, сегодня мне, пожалуй, лучше будет посмеяться.

— Что ж, — сказал Гете, — в таком случае оставайтесь у меня до шести, мы еще успеем перекинуться несколькими словами.

Штадельман принес две восковые свечи и поставил их на письменный стол. Гете предложил мне сесть к ним поближе, он-де хочет, чтобы я кое-что прочитал. И что же он положил передо мною? Свое последнее, любимейшее стихотворение, свою «*Мариенбадскую элегию*».

Здесь я должен немного вернуться назад и сказать несколько слов о ее содержании. Сразу же по возвращении Гете с этого курорта в Веймаре распространилась молва, что там он свел знакомство с некоей молодой женщиной, одинаково прелестной душой и телом, и почувствовал к ней страстное влечение. Стоило ему услышать ее голос в аллее, ведущей к источнику, как он хватал свою шляпу и спешил туда. Он не упускал ни единой возможности быть с нею и прожил там счастливые дни. Трудно давалась ему разлука, и в страстной тоске он написал дивно-прекрасные стихи, которые сберегает как святыню и хранит в тайне.

Я поверил в эту легенду, ибо она полностью гармонировала не только с его телесной крепостью, но с созидательной силой его духа и несокрушимой молодостью сердца. Давно жаждал я прочитать «*Мариенбадскую элегию*», но, разумеется, не решался просить его об этом. Теперь, когда она лежала передо мной, мне оставалось лишь славить прекрасное мгновение.

Эти стихи он собственноручно переписал латинскими буквами на толстую веленевую бумагу, шелковым шнурком скрепив ее с переплетом из красного сафьяна, так что даже внешний вид рукописи свидетельствовал о том, сколь она ему дорога.

С великой радостью читал я «*Элегию*», в каждой строке находя подтверждение широко распространившейся молве. Но уже из первой строфы было ясно, что знакомство произошло не в этот раз, а лишь *возобновилось*. Стихи все время вращались вокруг собственной оси, чтобы снова вернуться к исходной точке. Конец, странно оборванный, производил необычное, душераздирающее впечатление.

Когда я кончил читать, Гете снова подошел ко мне.

— Ну как, — спросил он, — правда, ведь я показал вам неплохую вещь? И через несколько дней надеюсь услышать о ней ваш мудрый отзыв. — Мне было приятно, что Гете таким оборотом речи отклонил не в меру поспешное суждение, ибо впечатление было слишком новым, слишком мимолетным и ничего подобающего я об этих стихах сейчас сказать не мог.

Гете пообещал в спокойную минуту еще раз дать мне прочитать свою «Элегию». Но мне уже пора было идти в театр, и я простился, обменявшись с ним сердечным рукопожатием.

Возможно, «*Шахматы*» были хорошей и хорошо сыгранной пьесой, но я почти не видел и не слышал ее, мысли мои стремились к Гете.

После театра я проходил мимо его дома, во всех окнах сияли огни, до меня донеслись звуки рояля, и я пожалел, что не остался там.

Назавтра мне рассказали, что молодая полька, мадам *Шимановская*, в честь которой был устроен сей торжественный вечер, виртуозно исполняла фортепианные пьесы и привела в восторг все общество. Узнал я также, что Гете нынешним летом познакомился с нею в Мариенбаде и теперь она приехала повидать его.

В середине дня Гете прислал мне небольшую рукопись: «Этюды» Цаупера. Я же послал ему несколько стихотворений, написанных мною летом в Иене, о которых уже говорил ему.

*Среда, 29 октября 1823 г.*

Сегодня вечером, в час, когда зажигают фонари, я пошел к Гете и застал его оживленным, в приподнятом расположении духа; глаза у него сверкали, отражая огни свечей, он весь был преисполнен радости и молодой силы.

Он сразу же заговорил о стихах, которые я послал ему вчера, расхаживая вместе со мною взад и вперед по комнате.

— Я понял, почему вы сказали мне в Иене, что хотите написать стихи о временах года. Теперь я советую вам это сделать, и сразу же начните с зимы. У вас зоркий, приметливый глаз.

Но я хочу сказать вам еще несколько слов о стихах. Вы уже стоите на той точке, с которой должен начаться прорыв к наиболее высокому и трудному в искусстве,

к постижению индивидуального. И вы должны собраться с силами, чтобы этот прорыв осуществить, дабы вырваться из тенет идеи; у вас есть талант, вы во многом преуспели, пришла *пора* это сделать. На днях вы побывали в Тифурте, вот я и хочу в связи с этим дать вам одно задание. Хорошо бы вам еще три-четыре раза туда съездить. Вглядывайтесь в Тифурт, покуда не подметите характерных его сторон и не соберете воедино все мотивы, но при этом не жалейте усилий, тщательно все изучайте и постарайтесь отобразить в стихах, Тифурт того стоит. Я бы сам давно это сделал, да мне нельзя, я был свидетелем и участником тамошних важных перемен, близко со многим соприкасался, и разные частности слишком тесно обступят меня. Вы же появитесь там как чужой, попросите кастеляна рассказать вам о прошлом, а сами увидите лишь современное, бросающееся в глаза, примечательное.

Я сказал, что постараюсь именно так и поступить, хотя должен признаться, что задача мне задана не из легких, так как все это мне достаточно чуждо.

— Я знаю, — сказал Гете, — что вам будет трудно, но восприятие и воссоздание частного и составляет сущность искусства.

И еще: покуда мы придерживаемся общего, каждый может под нас подделаться; частное подделать невозможно, а почему? Да потому, что другим не довелось пережить того же.

И не надо бояться, что частное индивидуальное не найдет отклика. В любом характере, как бы отличен он ни был от других, в любом подлежащем воссозданию объекте, от камня и до человека, есть нечто общее, ибо все повторяется и нет на свете ничего, что существовало бы лишь *однажды*.

— На этой ступени индивидуального воссоздания, — продолжал Гете, — начинается то, что мы называем *творчеством*.

Не все было ясно мне в его словах, но от вопросов я воздержался. Возможно, думал я, он подразумевает сплав идеального с реальным в искусстве. Соединение того, что существует вне нас, с тем, что от рождения нам присуще. Но не исключено также, что он толкует о чем-то совсем другом. А Гете продолжал:

— И обязательно ставьте дату под каждым стихотворением. — Я вопросительно взглянул на него, неужели это так важно? — Тогда, — добавил Гете, — оно будет еще

и записью вашего душевного состояния в ту пору. А это немало значит. Я долгие годы вел такой дневник и знаю, как это важно.

Меж тем подошло время идти в театр, и я простился с Гете.

— Итак, вы отправляетесь в Финляндию, — шутя крикнул он мне вслед. Дело в том, что сегодня давали «*Иоганна из Финляндии*», сочинение госпожи фон Вейсентурн.

В этой пьесе не было недостатка в эффектных положениях, но она до того была перегружена трогательностью и тенденциозностью, что в целом произвела на меня не слишком приятное впечатление. Правда, последний акт мне очень понравился и примирил меня со всеми остальными.

Эта пьеса навела меня на такие размышления: действующие лица, лишь посредственно обрисованные автором, на театре неизбежно выигрывают, так как живые люди — актеры превращают их в живые существа и придают им соответствующую индивидуальность. И напротив, действующие лица, мастерски изображенные крупными писателями, так сказать, уже явившиеся на свет с яркой индивидуальностью, часто теряют от сценического воплощения, ибо актеры, как правило, не вполне соответствуют изображаемым лицам и лишь немногие из них способны полностью поступиться собственной индивидуальностью. Если актер не вполне сходствует со своим героем или не обладает даром отречения от себя самого, то возникает некая помесь и характер действующего лица утрачивает свою чистоту. Потому-то в пьесе действительно большого писателя до зрителя лишь отдельные образы доходят такими, какими их задумал автор.

*Понедельник, 3 ноября 1823 г.*

Часов около пяти я отправился к Гете. Когда я поднялся наверх, из большой комнаты до меня донеслись громкие, веселые голоса и смех. Слуга сказал мне, что к обеду была приглашена молодая дама из Польши и все общество еще не встало из-за стола. Я хотел было уйти, но он заявил, что ему приказано доложить обо мне и что его господин будет доволен моим приходом, так как час уже поздний. Я не стал возражать и подождал несколько минут, пока ко мне не вышел Гете в наилучшем располо-

жении духа; мы вместе прошли в его комнату. Мой приход был, видимо, приятен ему. Он тотчас же велел принести бутылку вина, налил мне и себе тоже.

— Покуда я не забыл, — сказал он, отыскивая что-то на столе, — вот вам билет на концерт. Мадам Шимановская дает завтра вечером концерт в зале ратуши, грех было бы его пропустить.

Я отвечал, что не повторю глупости, которую сделал на днях.

— Она, наверно, очень хорошо играла, — добавил я.

— Превосходно! — отвечал Гете.

— Не хуже *Хуммеля*? — спросил я.

— Подумайте о том, что она не только отличная виртуозка, но и красивая женщина, а тогда все кажется еще лучше; так или иначе, но техника у нее поразительна!

— И силы достаточно?

— Да, — отвечал Гете, — то-то и замечательно в ней, обычно женщины такой силой не обладают.

— Я почитаю себя счастливым оттого, что все-таки услышу ее, — сказал я.

Вошел секретарь *Крейтер* с докладом о библиотечных делах. Когда он удалился, Гете похвалил его за редкую деловитость и положительность.

Тут я заговорил о его «Поездке в Швейцарию через Франкфурт и Штутгарт», совершенной в 1779 году. Рукопись эту в трех тетрадах он несколько дней назад передал мне, и я уже успел основательно ее изучить. Я упомянул о том, как много он вместе с *Мейером* размышлял в ту пору о *предметах*, достойных изобразительного искусства.

— Да, — сказал Гете, — ничего не может быть важнее предмета, содержания, и что стоило бы все искусствоведение без него. Талант растрочен попусту, если содержание ничтожно. Именно потому, что у новейших художников отсутствует достойное содержание, хромает и все новейшее искусство. Это наша общая беда. Признаться, я и сам не раз поддавался недоброму духу времени. Лишь немногие художники, — продолжал он, — отдают себе отчет в том, что могло бы способствовать их умиротворению. Так, например, они не задумываясь изображают моего «*Рыбака*», хотя живописать в нем нечего. В этой балладе выражено только ощущение воды, ее прелесть, что летом манит нас искупаться, больше там ничего нет, ну при чем тут, спрашивается, живопись!

Далее я сказал, что мне радостно было читать в описании путешествия об интересе, с каким он относился ко всему окружающему, как живо все воспринимал: строение и местоположение гор, горные породы, почву, реки, облака, воздух, ветер и погоду. А потом, когда речь пошла о городах, — их возникновение и последовательное развитие: их зодчество, живопись, театр, городское устройство и управление, ремесла, экономику, строительство дорог, а также расы, образ жизни, характерные черты людей; и затем обращение к политике, военным действиям, сотням прочих предметов и обстоятельств.

Гете отвечал:

— Но вы не найдете там ни слова о музыке, ибо она тогда не входила в круг моих интересов. Пускаясь в путешествие, каждый должен знать, что он хочет увидеть и что до него касается.

Тут вошел господин *канцлер*. Немного поговорив с Гете, он обратился ко мне и весьма благосклонно, к тому же с большим пониманием, высказался об одной моей статейке, которую прочитал на днях. Вскоре он снова ушел в комнату к дамам, откуда слышались звуки рояля.

После его ухода Гете сказал о нем несколько добрых слов и добавил:

— Все эти превосходные люди, с которыми вы вступили во взаимно приятное общение, и есть то, что я называю родиной, к родине же всегда стремишься вернуться.

Я отвечал, что уже начинаю ощущать благотворное воздействие здешнего моего пребывания, мало-помалу выбираюсь из плена прежних моих идеальных теоретических воззрений и все больше ценю пребывание в настоящем.

— Куда ж бы это годилось, если бы вы не сумели его оценить. Но будьте последовательны и всегда держитесь настоящего. Любое настроение, более того, любой миг бесконечно дорог, ибо он — посланец вечности.

Наступило недолгое молчание, потом я заговорил о *Тифурте*, о том, как его следует воссоздать в стихотворении. Это многообразная тема, сказал я, и придать ей слитную форму очень нелегко. Проще всего было бы разработать ее в прозе.

— Для этого, — заметил Гете, — она недостаточно значительна. Так называемая дидактически-описательная форма была бы здесь, может быть, уместна, но целиком

подходящей ее тоже не назовешь. Самое лучшее, если бы вы эту тему разработали в десяти или двенадцати маленьких стихотворениях, рифмованных, конечно, но в разнообразных стихотворных размерах и формах, как того требуют различные стороны и аспекты, дающие возможность обрисовать и осветить целое.

Этот совет представился мне весьма целесообразным.

— Да и что вам мешает воспользоваться еще и драматической формой и ввести, к примеру, разговор с садовником? Прибегнув к такому раздроблению, вы облегчите себе труд и оттените разные характерные черты. Многообъемлющее целое всегда дается труднее, и редко кто умеет сделать его вполне законченным.

*Понедельник, 10 ноября 1823 г.*

Гете уже несколько дней чувствует себя плохо. В нем, видимо, засела злейшая простуда. Он часто кашляет, к тому же громко и сильно, и кашель, видимо, болезненный, так как он хватается рукой за грудь, там, где сердце.

Сегодня вечером перед театром я пробыл у него с полчаса. Он сидел в кресле с подложенной под спину подушкой. Похоже, что ему было трудно говорить.

После того как мы все-таки немного побеседовали, Гете предложил мне прочитать стихотворение, которым он намеревался открыть очередной выпуск «Искусства и древности». Не поднимаясь с кресла, он указал мне, где оно лежит. Я взял свечу, сел несколько поодаль от него у письменного стола и стал читать.

Станным и причудливым было оно. С первого раза я даже не совсем его понял, и все-таки оно глубоко меня захватило и взволновало. В нем шла речь о *парии*, и сделано все стихотворение было в виде трилогии. Голос поэта здесь словно бы доносился из какого-то неведомого мира, а изображено все было так, что мне долго не удавалось одухотворить эти образы. К тому же близость Гете не позволяла мне как должно углубиться в чтение. То я слышал его кашель, то как он вздыхает, я, казалось, раздвоился, одна моя половина читала, другая была захвачена его присутствием. Посему мне приходилось читать и перечитывать стихотворение, чтобы хоть отчасти с ним освоиться. И чем больше я в него вникал, тем значительнее оно мне представлялось, я начинал понимать,

на сколь высокую степень искусства вознесена автором эта маленькая трилогия.

Потом мы перебросились с ним несколькими словами касательно сюжета и его разработки, и некоторые его замечания многое мне разъяснили.

— Конечно, — сказал он, — сюжет разработан здесь очень сжато, и надо хорошенько вчитаться, чтобы до конца его постигнуть. Мне самому он представляется дамасским клинком, выкованным из стальной проволоки. Но я *сорок* лет носил его в себе, так что у него достало времени очиститься от всего чуждого.

— На публику оно произведет большое впечатление, — сказал я.

— Ох, уж эта публика! — вздохнул Гете.

— Может быть, стихотворение следовало бы пояснить, как поясняют картину, рассказывая о предшествующих моментах и тем самым как бы вдыхая жизнь в момент, на ней изображенный?

— Я этого не считаю, — ответил он. — Картины — дело другое, стихи же состоят из слов, и одно слово может за просто уничтожить другое.

Гете, подумалось мне, очень точно указал на риф, наткнувшись на который терпят крушение толкователи стихов. Но невольно напрашивается вопрос: неужто нельзя обойти этот риф и, с помощью слов, все же облегчить понимание того или иного стихотворения, без малейшего ущерба для его хрупкой внутренней жизни?

Когда я собрался уходить, он попросил меня взять с собою листы «Искусства и древности», чтобы еще поразмыслить над «Парией». Он дал мне также «*Восточные розы*» *Рюккерта*, поэта, очень ему нравившегося, на которого он к тому же возлагал большие надежды.

*Среда, 12 ноября 1823 г.*

Под вечер я отправился навестить Гете, но еще внизу узнал, что у него сейчас сидит прусский министр *фон Гумбольдт*. Это меня порадовало, так как я был уверен, что приезд старого друга благотворно на нем отзовется и придаст ему бодрости.

Оттуда я пошел в театр, где, при переполненном зале, давали отлично сыгранную комедию «Сестры из Праги», которая шла под неумолчный смех.

Несколько дней назад, когда я, воспользовавшись хорошей погодой, пошел прогуляться по Эрфуртской дороге, ко мне присоединился пожилой господин, которого я по внешнему виду принял за состоятельного бюргера. Не успели мы обменяться несколькими словами, как разговор уже зашел о Гете. Я спросил, знает ли он Гете лично.

— Знаю ли я его! — не без самодовольства воскликнул мой спутник. — Да я около двух лет служил у него камердинером! — И он стал на все лады превозносить своего прежнего господина.

Я попросил его рассказать что-нибудь из времен молодости Гете, на что он с радостью согласился.

— Когда я к нему поступил, ему было лет двадцать семь, — сказал он, — и был он такой быстрый, изящный и худой, хоть на руках его носи.

Я спросил, бывал ли Гете очень весел в ту пору своего пребывания в Веймаре.

— Разумеется, — отвечал тот, — с веселыми он был весел, но сверх меры — никогда. Напротив, он вдруг становился серьезен. И всегда-то он работал, всегда что-нибудь изучал, искусство и наука постоянно занимали первостепенное место в его жизни. По вечерам герцог часто посещал его, и они засиживались до глубокой ночи, разговаривая об ученых предметах, так что ему иной раз становилось невмоготу, и он только и думал: когда же герцог наконец уйдет! А изучение природы, — неожиданно добавил он, — и тогда уже было для Гете самым главным делом. Как-то раз он позвонил среди ночи, я вошел к нему в спальню и увидел, что он перекатил свою железную кровать на колесиках от дальней стены к самому окну, лежит и смотрит на небо.

«Ты ничего не заметил на небе?» — спрашивает он, и когда я сказал, что нет, говорит: «Тогда сбегай к караульному и спроси, не заметил ли он чего-нибудь». Я побежал, но караульный тоже ничего не заметил, о чем я и доложил своему господину, который лежал в той же позе и упорно смотрел на небо. «Послушай, — сказал он мне, — в эти минуты дело обстоит очень скверно, где-то либо уже происходит землетрясение, либо оно скоро начнется». Он велел мне сесть к нему на кровать и показал, из каких признаков он это вывел.

— Какая же тогда была погода? — спросил я славно-го старика.

— Очень было облачно, — ответил он, — но ничто не шелохнулось, и духота была страшная.

Я поинтересовался, поверил ли он Гете в ту ночь.

— Да, — отвечал старик, — я поверил ему на слово, ведь то, что он предсказывал, всегда сбывалось. На-завтра, — продолжал он, — мой господин рассказал о своих наблюдениях при дворе, причем одна дама шепнула своей соседке: «Слушай! Ведь он бредит!» Но герцог и другие мужчины верили в Гете, а затем выяснилось, что он все видел правильно. Недели через две или три до нас дошла весть, что в ту ночь чуть ли не половина Мессины была разрушена землетрясением.

*Пятница, 14 ноября 1823 г.*

Под вечер я получил от Гете приглашение его на-вестить. Гумбольдт сейчас во дворце, и он, Гете, тем более будет рад видеть меня. Я застал его, как и несколько дней назад, в кресле. Он дружелюбно протянул мне руку и с божественной кротостью проговорил несколько слов. Сбоку от него стоял большой экран, который прикрывал печку и заодно затенял свечи, горевшие на дальнем конце стола. Господин канцлер вошел и присоединился к нам. Мы оба сели поближе к Гете и заговорили о сущих пустяках, чтобы он мог слушать, не утруждая себя разговором. Вскоре пришел еще и врач, надворный советник *Ребейн*, объявивший, что пульс у Гете, как он выразился, «весьма легкомысленный и бойкий», мы, конечно, обрадовались, а сам Гете отпустил по этому поводу какую-то шутку.

— Если бы только прошла боль в сердце! — сокру-шенно вздохнул он.

Ребейн предложил поставить шпанскую мушку. Мы стали говорить о целительном действии этого средства, и Гете дал свое согласие. Ребейн перевел разговор на Мариенбад, и в Гете, видимо, пробудились приятные вос-поминания. Тут все стали строить планы поездки туда будущим летом, кто-то заметил, что и великий герцог не преминет посетить этот курорт, короче говоря, все это, вместе взятое, привело Гете в наилучшее расположение духа. Потом речь зашла о мадам Шимановской и о ее пре-бывании в Веймаре, где все мужчины добивались ее благосклонности,

Когда Ребейн ушел, канцлер углубился в чтение индийских стихов, Гете же еще немного поговорил со мною о своей «Мариенбадской элегии».

В восемь часов канцлер откланялся. Я тоже хотел уйти, но Гете попросил меня еще остаться. Я снова сел. Разговор сразу же зашел о театре, так как завтра должны были давать «*Валленштейна*». Это послужило поводом для другого разговора — о *Шиллере*.

— Странно как-то у меня получается с Шиллером, — сказал я, — многие сцены из его драм я читаю с истинной любовью и восхищением, но вдруг натываюсь на прегрешение против самой сущности природы и дальше читать уже не могу. Даже с «*Валленштейном*» у меня происходит то же самое. Мне все кажется, что философия Шиллера шла во вред его поэзии, ибо она принудила его идею поставить над природой, более того — в угоду идее уничтожить природу. Все им задуманное должно было быть осуществлено, все равно в соответствии с природой или наперекор ей.

— Грустно, — сказал Гете, — что такой необыкновенно одаренный человек терзал себя философическими измышлениями, для него совершенно бесполезными. *Гумбольдт* привез мне письма, которые писал ему Шиллер в недобрую пору своих умозрительных рассуждений. Из них видно, как он бился тогда, силясь сентиментальную поэзию полностью отъединить от наивной, но, так и не найдя почвы для этого рода поэзии, испытывал несказанное смятение. Как будто, — с улыбкой присовокупил Гете, — сентиментальная поэзия может хоть как-то существовать без той наивной почвы, из которой она, в свою очередь, прорастает.

— Не мог Шиллер, — продолжал он, — творить до какой-то степени бессознательно или же руководясь инстинктом, ему было необходимо размышлять обо всем, что бы он ни делал, отсюда и то, что он, не в силах молчать о своих поэтических намерениях, говорил о них всем и каждому, так, например, он сцену за сценой рассказал мне все свои позднейшие произведения.

Моему же характеру, напротив, чужда была такая сообщительность касательно поэтических замыслов, я даже с Шиллером не делился ими, а молча их вынашивал, и, как правило, никто ничего не знал, покуда я не завершал очередное произведение. Когда я показал Шиллеру «*Германа и Доротею*», он был очень удивлен, так как я и словом не обмолвился, что собираюсь писать эту поэму.

Но мне очень интересно, что вы завтра скажете о «Валленштейне»! Перед вами предстанут могучие образы, и вся драма произведет на вас такое впечатление, о котором вы сейчас, вероятно, даже не подозреваете.

*Суббота, 15 ноября 1823 г.*

Вечером был в театре и впервые смотрел «Валленштейна». Гете не преувеличил: впечатление было огромно, оно перебудоражило мне душу. Актеры, в большинстве еще помнившие время, когда Шиллер и Гете работали с ними, создали целую галерею выдающихся образов, я же, читая пьесу, не сумел в своем воображении достаточно эти образы индивидуализировать. Поэтому спектакль сильнейшим образом на меня подействовал, и я даже ночью не мог от него отделаться.

*Воскресенье, 16 ноября 1823 г.*

Вечером у Гете. Он все еще сидел в своем кресле и выглядел несколько слабым. Первый его вопрос был о «Валленштейне». Я отдал ему полный отчет в том впечатлении, которое произвела на меня эта драма со сцены. Он слушал с явной радостью.

Госпожа фон Гете ввела в комнату господина Сорэ, и тот просидел здесь около часа; по поручению великого герцога он принес золотые медали, которые Гете рассматривал и обсуждал, что, видимо, служило ему приятным развлечением.

Потом госпожа фон Гете и господин Сорэ отправились во дворец, а я опять остался с ним наедине.

Памятуя о своем обещании в подходящую минуту снова показать мне «Мариенбадскую элегию», Гете встал с кресла, поставил свечу на письменный стол и положил передо мною стихи. Я был счастлив, увидев их. Гете уже опять спокойно сидел в кресле, предоставив мне возможность углубиться в чтение.

Почитав несколько минут, я хотел что-то ему сказать, но мне показалось, что он заснул. Итак, я воспользовался благосклонным мгновением и стал еще и еще раз перечитывать «Элегию», испытывая при этом редкостное наслаждение. Юный жар любви, умягченный нравственной высотой духа, такую я ощутил основу этого стихотворения. Вообще-то чувства, здесь выраженные, показа-

лись мне сильнее, чем в других стихотворениях Гете, и я приписал это влиянию *Байрона*, чего не отрицал и сам Гете.

— Эти стихи — порождение беспредельной страсти, — добавил он, — когда я был охвачен ею, мне казалось, что никакие блага мира не возместят мне ее утраты, а теперь я ни за что на свете не хотел бы снова угодить в эти тенета.

Стихотворение я написал тотчас же после отъезда из Мариенбада, пока ни чувства мои, ни воспоминания о пережитом еще не остыли. В восемь часов утра на первой же станции я написал первую строфу, а дальше стихотворствовал уже в карете и по памяти записывал на каждой станции, так что к вечеру все было готово и запечатлено на бумаге. Отсюда — известная непосредственность стихотворения; оно словно бы отлито из одного куска, и это, надо думать, пошло на пользу целому.

— И в то же время, — заметил я, — вся статья его настолько своеобразна, что оно не напоминает ни одного вашего другого стихотворения.

— Это, наверно, потому, — сказал Гете, — что я сделал ставку на настоящее, точь-в-точь как ставят на карту большую сумму денег, и постарался, хоть и без преувеличений, насколько возможно, его возвысить.

Это высказывание показалось мне весьма существенным, ибо оно, проливая свет на поэтические приемы Гете, в какой-то мере объясняло его пресловутую многосторонность.

Меж тем пробило девять часов. Гете попросил меня позвать его слугу Штадельмана, что я и поспешил исполнить.

Штадельман должен был поставить Гете прописанную Гебейном шпанскую мушку на грудь, возле сердца. Я тем временем стоял у окна и слышал, как за моей спиной Гете жаловался Штадельману, что его болезнь никак не проходит, напротив, принимает затяжной характер. Когда процедура была окончена, я еще на несколько минут подсел к нему. Теперь он и мне пожаловался, что не спал несколько ночей и что у него вовсе отсутствует аппетит.

— Зима идет своим чередом, — сказал он, — а я ничего не могу делать, не сводятся у меня концы с концами, дух мой обессилел.

Я старался его успокоить, просил не думать так много о своих работах, ведь это состояние, даст бог, скоро пройдет.

— Ах, — отвечал он, — не считайте меня нетерпеливым, я часто испытывал такие состояния, они научили меня страдать и терпеть.

Он сидел в шлафроке из белой фланели, ноги его и колени были укутаны шерстяным одеялом.

— Я даже и в постель не лягу, — сказал он, — а так всю ночь и просижу в кресле, потому что как следует уснуть мне все равно не удастся.

Стало уже поздно, он протянул мне милую свою руку, и я ушел.

Внизу, когда я вошел к Штадельману, чтобы взять свой плащ, я застал его в подавленном настроении. Он сказал, что испугался за своего господина, — раз уж Гете жалуется — это дурной знак. И ноги у него вдруг стали совсем худые, а до сих пор были несколько отечными. Завтра он с самого утра пойдет к врачу и расскажет ему об этих симптомах. Я старался его успокоить, но тщетно.

*Понедельник, 17 ноября 1823 г.*

Когда я сегодня вечером пришел в театр, многие бросились мне навстречу, с тревогой осведомляясь о здоровье Гете. Слухи о его болезни быстро распространились по городу и, по-моему, несколько ее преувеличили. Кое-кто говорил, что у него отек груди. Я весь вечер был расстроен.

*Среда, 19 ноября 1823 г.*

Вчера целый день провел в тревоге. К Гете никого, кроме семейных, не допускали.

Сегодня вечером я пошел к нему и был принят. Он все еще сидел в кресле и выглядел так же, как в воскресенье, когда я уходил, но настроение у него значительно улучшилось.

Говорили мы главным образом о *Паупере* и о много-различных воздействиях изучения литературы древних.

*Пятница, 21 ноября 1823 г.*

Гете прислал за мной. К великой своей радости, я увидел, что он вновь расхаживает по комнате. Он протянул мне маленькую книжку: «Газеллы» графа фон Платена, и сказал:

— Я хотел сказать о них несколько слов в «Искусстве и древности», стихи того заслуживают. Но здоровье не позволяет мне это сделать. Посмотрите, не удастся ли вам вникнуть в эти стихи и кое-что из них извлечь.

Я сказал, что попытаю свои силы.

— В «Газеллах» интересно то, — продолжал Гете, — что они требуют исключительной полноты содержания. Постоянно повторяющаяся одинаковая рифма нуждается в запасе однородных мыслей: поэтому газеллы не каждому удаются, но эти вам понравятся.

Тут вошел врач, и я поспешил уйти.

*Понедельник, 24 ноября 1823 г.*

В субботу и воскресенье я изучал стихи фон Платена. Сегодня утром написал отзыв о них и послал его Гете, так как узнал, что он уже несколько дней никого не принимает — врач запретил ему разговаривать.

Под вечер он, однако, прислал за мной. Войдя к нему, я увидел, что рядом с его креслом поставлен стул. Гете, сегодня на диво добрый и приветливый, протянул мне руку. И сразу же заговорил о моей маленькой рецензии.

— Я очень ей порадовался, — объявил он, — у вас отличные способности. И еще я хотел сказать: если вам и в других городах будут предлагать литературное сотрудничество, отклоняйте эти предложения или хотя бы сообщите мне о них. Поскольку вы уже связаны со мной, я бы не хотел, чтобы вы работали с другими.

Я отвечал, что ни о каком другом сотрудничестве не помышляю и тем паче не стремлюсь расширять свои связи.

Ему это было приятно, и он сказал, что этой зимой мы еще не одну интересную работу сделаем вместе.

Затем мы снова заговорили о «Газеллах». Гете порадовался как завершенности этих стихов, так и тому, что наша новейшая литература все же приносит хорошие плоды.

— Я собираюсь даже порекомендовать вам наших талантливых современников в качестве предмета особого внимания и изучения. Мне хочется, чтобы вы хорошенько ознакомились со всем, что есть значительного в нашей литературе, и указывали бы мне на наиболее примечательное; тогда мы сможем поговорить об этом на страницах «Искусства и древности» и воздать должное всему доброму, благородному и талантливому. В моем преклонном возрас-

те, при великом множестве различных обязанностей, у меня, без посторонней помощи, руки так до этого и не дойдут.

Я обещал взять на себя эту работу, радуясь, что Гете ближе к сердцу принимал нынешних наших писателей и поэтов, чем я мог предполагать.

Через несколько дней, согласно уговору, он прислал мне новые литературные журналы. Я почти целую неделю не ходил к нему, да он меня и не звал. Говорили, что *Цельтер*, его друг, приехал его проведать.

*Понедельник, 1 декабря 1823 г.*

Сегодня я был зван к Гете обедать. Когда я вошел, у него сидел *Цельтер*. Оба они сделали несколько шагов мне навстречу, и мы обменялись рукопожатиями.

— Вот и мой друг *Цельтер*, — сказал Гете. — Это — полезное знакомство; я собираюсь наконец-то отправить вас в Берлин, и там он будет заботливо вас опекать.

— В Берлине, надо полагать, очень интересно и хо-рошо.

— Да, — рассмеялся *Цельтер*, — там чему только не научишься и от чего только не отучишься.

Мы сели, завязался непринужденный разговор. Я спросил о *Шубарте*.

— *Шубарт* навещает меня не реже, чем раз в неделю, — отвечал *Цельтер*. — Он женился, но должности не имеет, так как испортил себе отношения с берлинскими филологами.

*Цельтер*, в свою очередь, осведомился, знаю ли я *Иммермана*. Я сказал, что часто слышу это имя, но до сих пор так и не читал его.

— Я познакомился с ним в *Мюнстере*, — заметил *Цельтер*, — весьма многообещающий молодой человек, хотелось бы только, чтоб служба оставляла ему больше времени для занятий искусством.

Гете тоже похвально отозвался о его способностях.

— Посмотрим, впрочем, как он будет развиваться дальше, сумеет ли очистить свой вкус, а в отношении формы принять за образец лучшее из того, что у нас имеется. В его оригинальных устремлениях немало хорошего, но они же могут и вовсе сбить его с толку.

Тут вприпрыжку вбежал маленький *Вальтер* и засыпал вопросами *Цельтера* и своего дедушку.

— Как только ты появляешься, дух беспокойства, — сказал Гете, — прерывается любой разговор. — Впрочем, он любил мальчика и неумоимо исполнял любое его желание.

Затем вошли госпожа фон Гете и фрейлейн Ульрика, а также молодой Гете в мундире и при шпаге; он собирался во дворец. За столом фрейлейн Ульрика и Цельтер, оба весело настроенные, премило друг друга поддразнивали. Присутствие Цельтера отрадно действовало на меня. Удачливый, здоровый человек, он предавался настоящей минуте и за словом никогда в карман не лез. При этом он был исполнен добродушия, какой-то уютности и без малейшего стеснения выпаливал все, что приходило ему на ум, иной раз даже шутки достаточно соленые. Такая духовная свобода заражала остальных, и всякое стеснение очень скоро при нем отпадало. Втайне я ощутил желание некоторое время пожить подле него, уверенный, что мне это пойдет на пользу.

Вскоре после обеда Цельтер ушел. На вечер он был зван к великой княгине.

*Четверг, 4 декабря 1823 г.*

Сегодня утром секретарь *Крейтер* принес мне приглашение на обед к Гете. И кстати передал: Гете, мол, было бы приятно, если бы я преподнес Цельтеру экземпляр моих «Заметок о поэзии». Я снес книжку в гостиницу. Цельтер дал мне взамен стихи Иммермана.

— Я бы охотно подарил вам этот экземпляр, — сказал он, — но, как видите, автор надписал его для меня, он дорог мне как память, и я не вправе с ним расстаться.

Перед обедом мы с Цельтером совершили прогулку по парку Обервеймара. Останавливаясь то там, то здесь, он вспоминал былые времена и много рассказывал мне о Шиллере, Виланде и Гердере, с которыми был очень дружен, и эту дружбу почитал величайшим счастьем своей жизни.

Он также много говорил о композиторстве, декламируя некоторые песни Гете.

— Собираясь положить стихотворение на музыку, — сказал он, — я прежде всего стремлюсь поглубже вникнуть в его смысл и живо уяснить себе, о чем там идет речь. Я читаю его вслух, покуда не выучу наизусть, потом продолжаю декламировать, и тогда мелодия приходит сама собою.

Ветер и дождь заставили нас повернуть обратно раньше, чем нам того хотелось. Я проводил его до дома Гете, и он пошел наверх, к госпоже фон Гете, чтобы до обеда кое-что пропеть с нею. Я явился точно к двум часам. Цельтер уже сидел у Гете и рассматривал гравированные на меди виды Италии. Вошла госпожа фон Гете, и мы отправились к столу. Фрейлейн Ульрика сегодня отсутствовала, так же как и молодой Гете, который зашел только поздороваться и снова уехал во дворец.

Застольная беседа была сегодня на редкость разнообразной. Цельтер и Гете рассказывали забавные анекдоты, характеризующие их общего берлинского друга *Фридриха Августа Вольфа*. Много говорилось о «Нибелунгах», о лорде Байроне и его предположительном приезде в Веймар — тема, заставившая приметно оживиться госпожу фон Гете. Далее предметом веселого обсуждения стал праздник святого Рохуса в Бингене, причем Цельтер предался воспоминаниям о двух красивых девушках, благосклонность которых так запечатлелась в его памяти, что он и сейчас еще радовался ей. Потом пришел черед застольной песни Гете «*Солдатское счастье*». Цельтер был неисчерпаем в анекдотах о раненых солдатах и юных красотках; его анекдоты должны были доказать правдивость этого стихотворения. Сам Гете заметил, что за такими реалиями ему далеко ходить не пришлось, на все это он достаточно насмотрелся в Веймаре. Однако фрау фон Гете задорно ему противоречила, не желая соглашаться, что женщины могут быть такими, какими они описаны в этом «противном» стихотворении.

Итак, обед и сегодня прошел весьма занимательно.

После, когда мы остались одни, Гете спросил меня о Цельтере.

— Ну, как он вам понравился?

Я сказал несколько слов о благотворном воздействии Цельтера на всех его окружающих.

— При первом знакомстве, — добавил Гете, — он может показаться резким, грубоватым даже. Но это чисто внешнее. Я мало знаю таких *деликатных* людей, как Цельтер. При этом не следует забывать, что он больше столетия прожил в Берлине, где, насколько я мог заметить, народ дерзкий и отчаянный, на учтивом обхождении там далеко не уедешь; в Берлине, чтобы продержаться на поверхности, надо быть зубастым и уметь постоять за себя.



Вторник, 27 января 1824 г.

Гете говорил со мной о продолжении своего жизнеописания, которым он в настоящее время занят, и заметил, что более поздняя эпоха его жизни не может быть воссоздана так подробно, как юношеская пора в *«Поэзии и правде»*.

— К описанию позднейших лет я, собственно, должен отнести как к летописи, — сказал Гете, — тут уж речь идет не столько о моей жизни, сколько о моей деятельности. Наиболее значительной порой индивида является пора развития, в моем случае завершившаяся объемистыми томами *«Поэзии и правды»*. Позднее начинается конфликт с окружающим миром, который интересен лишь в том случае, если приносит какие-то плоды.

И, наконец, что такое жизнь немецкого ученого? Если для меня в ней и могло быть что-нибудь хорошее, то об этом не принято говорить, а то, о чем можно говорить, — не стоит труда. Да и где они, эти слушатели, которым хотелось бы рассказывать?

Когда я оглядываюсь на свою прежнюю жизнь, на средние свои годы, и теперь, в старости, думаю, как мало осталось тех, что были молоды вместе со мной, — у меня невольно напрашивается сравнение с летним пребыванием на водах. Не успеешь приехать, как завязываются знакомства, дружба с теми, кто уже довольно долго прожил там и в ближайшее время собирается уехать. Разлука болезненна. Приходится привыкать ко второму поколению, с которым ты живешь вместе немалый срок, испытывая к нему искреннюю привязанность. Но и эти уезжают, оставляя нас в одиночестве, третье поколение прибывает уже перед самым нашим отъездом, и нам до него никакого дела нет.

Меня всегда называли баловнем судьбы. Я и не собираюсь брюзжать по поводу своей участи или сетовать на жизнь. Но, по существу, вся она — усилия и тяжкий труд, и я смело могу сказать, что за семьдесят пять лет не было у меня месяца, прожитого в свое удовольствие. Вечно я ворочал камень, который так в не лег на место. В моей летописи будет разъяснено, что я имею в виду, говоря

это. Слишком много требований предъявлялось к моей деятельности, как извне, так и изнутри.

Истинным счастьем для меня было мое поэтическое мышление и творчество. Но как же мешало ему, как его ограничивало и стесняло мое общественное положение. Если бы я мог ускользнуть от суеты деловой и светской жизни и больше жить в уединении, я был бы счастлив и, как поэт, стал бы значительно плодовитее. А так вскоре после «Геца» и «Вертера» на мне сбылись слова некоего мудреца, сказавшего: «Если ты сделал что-то доброе для человечества, оно уж сумеет позаботиться, чтобы ты не сделал этого вторично».

Слава, высокое положение в обществе — все это хорошо. Однако, несмотря на всю свою славу и почести, я ограничился тем, что из боязни кого-нибудь ранить молчал, выслушивая чужие мнения. Но судьба сыграла бы со мной и вовсе злую шутку, если бы не было у меня того преимущества, что я знаю мысли других, а они моих не знают.

*Воскресенье, 15 февраля 1824 г.*

Сегодня в предобеденное время Гете пригласил меня прокатиться с ним в экипаже. Он завтракал, когда я вошел к нему, и, видимо, пребывал в наилучшем расположении духа.

— У меня только что был приятный гость, — сказал он мне, — весьма многообещающий молодой человек, некий *Мейер* из *Вестфалии*. Он пишет стихи, которым, несомненно, предстоит большое будущее. В свои восемнадцать лет он невероятно многого достиг. А я рад, — смеясь, добавил Гете, — что мне уже не восемнадцать. В мои восемнадцать лет Германии тоже едва минуло восемнадцать, и многое еще можно было сделать. Теперь требования стали непомерно велики и все дороги отрезаны.

Сама Германия едва ли не во всех областях достигла столь многого, что это почти необозримо, а нам еще предлагается быть греками и латинянами, англичанами и французами! Вдобавок некоторые безумцы указуют на восток, ну как тут не растеряться молодому человеку!

В утешение я показал ему мою колоссальную Юнону, как символ того, что ему следует придерживаться греков и в них искать успокоения. Мейер — превосходный юноша! Если он поостережется и не станет разбрасываться — из него будет толк.

Но, как сказано, я благодарю провиденье за то, что в это насквозь искусственное время я уже не молод. Я бы не знал, как мне здесь жить. Но даже если бы я вздумал бежать в Америку, я бы явился слишком поздно, уже и там все было бы залито светом.

*Воскресенье, 22 февраля 1824 г.*

Обед с Гете и его сыном, который рассказывал разные веселые истории о своих студенческих годах в Гейдельберге. В каникулы он нередко отправлялся с компанией приятелей на берега Рейна и до сих пор хранит добрую память о некоем трактирщике, у которого как-то раз ночевал вместе с десятью другими студентами. Этот трактирщик бесплатно поил их вином, только для того, чтобы получить удовольствие от своей так называемой «коммерции».

После обеда Гете показывал нам раскрашенные рисунки итальянских пейзажей, главным образом пейзажей *северной* Италии и Лаго-Маджоре. В водах озера отражались Борромейские острова, на берегу сохли рыбацьи баркасы и снасти; Гете заметил, что это озеро из его «Годов странствий». К северо-западу, в направлении Монте-Роза, высилось ограничивающее озеро предгорье, которое сразу после заката выглядело мрачным сине-черным массивом.

Я сказал, что в меня, уроженца равнины, мрачная торжественность гор вселяет жуть и что я не испытываю ни малейшего желания странствовать по таким вот ущельям.

— Вполне закономерное чувство, — сказал Гете, — ведь, собственно говоря, человеку по душе лишь то, где и для чего он родился. Если высокая цель не гонит тебя на чужбину, ты всего счастливее дома. Швейцария поначалу произвела на меня столь огромное впечатление, что я был сбит с толку и встревожен; только через много лет, во второй раз туда приехав и рассматривая горы уже с чисто минералогической точки зрения, я сумел спокойно воспринять их.

Засим мы приступили к разглядыванию целой серии гравюр на меди, по рисункам новейших художников из одной французской галереи. Выдумки, едва ли не во всех, было так мало, что из сорока штук мы одобрительно отнесли лишь к пяти: одна изображала девушку, диктующую любовное письмо, другая женщину в *maison à vendre*<sup>1</sup>, который никто не желает покупать, дальше шла

---

<sup>1</sup> Продающийся дом (*фр.*).

рыбная ловля, музыканты перед иконой богородицы. Неплохо был еще и ландшафт в манере Пуссена, о котором Гете выразился следующим образом:

— Такие художники составили себе общее понятие о ландшафтах Пуссена и продолжают работать, пользуясь этим понятием. Их картины не назовешь ни плохими, ни хорошими. Они не плохи, ибо в каждой проглядывает мастерски сделанный образец. Но хорошими их признать нельзя, потому что художникам, как правило, недостает незаурядной индивидуальности Пуссена. Не иначе обстоит дело и с поэтами, многие из них, конечно, оказались бы несостоятельными, если бы усвоили величавую манеру Шекспира.

Под конец мы долго рассматривали и обсуждали выполненную Раухом модель статуи Гете, предназначенной для Франкфурта.

*Вторник, 24 февраля 1824 г.*

Нынче в час дня у Гете. Он показал мне продиктованную им рукопись для первой тетради пятого выпуска журнала «*Об искусстве и древности*». Я обнаружил его добавление к моему отзыву о немецком «*Парии*», в котором он говорит как о французской трагедии, так и о собственной лирической трилогии, тем самым как бы замыкая круг этой темы.

— Очень хорошо, — сказал Гете, — что вы при этой okazji ознакомились с жизнью и особенностями Индии, ведь в конце концов от всех приобретенных знаний в памяти у нас остается только то, что мы применили на практике.

Я признал его правоту, сказав, что убедился в этом еще в университете; мне запомнились лишь те предметы, которым я, в силу своей предрасположенности, мог потом найти практическое применение, и напротив, все, что мне впоследствии оказалось ненужным, я начисто позабыл. Геерен читал нам древнюю и новую историю, но из его лекций я уже ни слова не помню. Если же мне теперь понадобилось бы изучить определенный отрезок истории, скажем, на предмет создания драмы, то эти знания навек остались бы при мне.

— Во всех университетах на свете, — сказал Гете, — учат слишком многому, и главное — многому ненужному. Кроме того, некоторые профессора вдаются в свою науку глубже, чем то требуется студентам. В прежние времена химию и ботанику читали как дополнение к фармаколо-

гии, и для медиков этого было предостаточно. Теперь и химия и ботаника стали необозримыми науками, каждая требует всей человеческой жизни, а с будущих врачей спрашивают знания этих наук! Но из этого все равно ничего выйти не может, одно заставляет либо пренебречь другим, либо вовсе его позабыть. Тот, кто поумнее, отклоняет все требования, рассеивающие его внимание, ограничивается изучением одной какой-нибудь отрасли и становится настоящим знатоком своего дела.

После этого разговора Гете показал мне свою коротенькую критическую статью о Байроновом «*Каине*», которую я прочитал с величайшим интересом.

— Вот видите, — сказал Гете, — как свободный ум Байрона, постигший всю несостоятельность церковных догм, с помощью этой пьесы силится сбросить с себя путы навязанного ему вероучения. Англиканское духовенство, уж конечно, не поблагодарит его за это. По правде говоря, я буду удивлен, если он не возьмется обработать соседствующие библейские сюжеты и упустит такую тему, как гибель Содома и Гоморры.

После сих литературных наблюдений Гете привлек мое внимание к пластическому искусству, положив передо мной камень, украшенный античной резьбой, о котором еще накануне с восхищением говорил мне. Я пришел в восторг от наивной прелести изображения. Мужчина снимает с плеча тяжелый сосуд, чтобы напоить мальчика. Но тому неудобно, никак он до него не дотянется, влага словно застыла; вцепившись обеими ручонками в края сосуда, он поднял глаза на взрослого, словно прося его еще немного наклонить амфору.

— Ну как вам это нравится? — спросил Гете. — Мы, люди новейшего времени, конечно, чувствуем всю красоту этого естественного, наивно-чистого мотива, вдобавок нам известно и понятно, как его выполнить, однако мы этого не делаем, рассудок преобладает в нас, и, следовательно, отсутствует восхитительная прелесть простоты.

Затем мы стали рассматривать медаль Брандта из Берлина, на которой был изображен юный Тезей, нашедший под камнем оружие своего отца. В позе, воссозданной достаточно умело, не чувствовалось, однако, должно-го напряжения мышц при отваливании тяжелого камня. Неудачно было и то, что юноша, одной рукою подымая камень, в другой уже держит оружие; хотя на самом деле он должен был бы сначала отодвинуть камень в сторону, а потом взять оружие.

— А теперь,— сказал Гете,— я покажу вам другую гемму; на ней тот же сюжет выполнен античным художником.

Он велел Штадельману принести ящик, в котором лежало несколько сот слепков с античных гемм, по случаю купленных им в Риме во время итальянского путешествия. И я увидел тот же самый сюжет, разработанный древнегреческим художником, и до чего же — по-другому! Юноша, напрягши все тело, уперся в камень; эта тяжесть ему посильна, мы видим, что он уже справился с нею и приподнял камень настолько, что вот-вот отвалит его в сторону. Всю мощь своего тела юный герой устремил на преодоление тяжелой массы, только глаза его опущены долу — он смотрит на лежащее перед ним оружие отца.

Мы радовались и, конечно же, восхищались великой правдивостью такой трактовки.

— Мейер любит говорить, — смеясь, перебил себя Гете, — *«если бы думать было полегче!»* Беда в том, — весело продолжал он, — что думаньем думанью не поможешь. Надо, чтобы человек был от природы таким, каким он и должен быть, и добрые мысли предстояли нам, словно вольные дети божии: «Здесь мы!»

*Среда, 25 февраля 1824 г.*

Гете показал мне сегодня два странных, диковинных стихотворения, оба высоконравственные по своим устремлениям, но в отдельных партиях безудержно натуралистические и откровенные, такие в свете обычно признаются непристойными, почему он и держит их в тайне, не помышляя о публикации.

— Если бы ум и просвещенность, — сказал он, — стали всеобщим достоянием, поэту жилось бы легче. Он мог бы всегда оставаться правдивым, не страшась высказывать лучшие свои мысли и чувства. А так приходится считаться с определенным уровнем понимания. Поэту нельзя забывать, что его творения попадут в руки самых разных людей, потому он старается не обидеть добропорядочное большинство чрезмерной откровенностью. К тому же и время — штука удивительная. Оно — тиран, и тиран капризный; взглянув на то, что ты говорил и делал, оно каждое столетие строит другую мину. То, что было дозволено говорить древним грекам, нам говорить уже не пристало; то, к примеру, что было по вкусу закаленным современникам Шекспира, англичанин тысяча восемьсот двадца-

того года уже вынести не в состоянии, отчего в наше время и возникает настоятельная потребность в издании «*Family-Shakespeare*»<sup>1</sup>.

— Многие еще зависят от формы, — вставил я. — Одно из этих двух стихотворений, по самому своему тону и по размеру, которым пользовались древние, меньше коробит читателя. Отдельные мотивы, возможно, и слишком смелы, но в общей их обработке так много достоинства и величия, что кажется, будто ты перенесся в эпоху несокрушимых героев Эллады и слушаешь древнегреческого поэта. Другое стихотворение, в тоне и манере Ариосто, куда коварнее. В нем современным языком говорится о современном приключении, и поскольку оно, без какого бы то ни было покрова, вторгается в нашу действительность, отдельные вольности в нем кажутся более дерзкими.

— Вы правы, — согласился Гете, — различным поэтическим формам свойственно таинственное воздействие. Если бы мои «Римские элегии» переложить в размер и тональность Байронова «Дон-Жуана», все мною сказанное выглядело бы совершенно непристойным.

Тут принесли французские газеты. Закончившийся поход французов в Испанию под водительством герцога Ангулемского вызвал живой интерес Гете.

— Этот шаг Бурбонов представляется мне, безусловно, похвальным, — сказал он, — лишь завоевав армию, они сумеют завоевать свой трон. И эта цель достигнута. Солдат возвращается домой верным своему королю, ибо из собственных побед, равно как из поражений испанцев, страдавших от многоначалия, уразумел, насколько же лучше повиноваться одному, чем многим. Армия подтвердила свою былую славу, доказав, что доблесть ее в ней самой и что побеждать она может и без Наполеона.

Гете обратился мыслью к давним историческим событиям и стал распространяться о прусской армии времен Семилетней войны, которую Фридрих Великий приучил к постоянным победам и тем самым так ее избаловал, что позднее, из непомерной самонадеянности, она часто терпела поражения. Он помнил мельчайшие подробности, и мне оставалось только удивиться его великолепной памяти.

— Мне очень повезло, — продолжал он, — что я родился в то время, когда пришла пора величайших мировых событий, продолжавшихся в течение всей моей долгой жизни, так что я был живым свидетелем Семилетней вой-

---

<sup>1</sup> Здесь: «Шекспир для семейного чтения» (англ.).

ны, далее отпадения Америки от Англии, затем Французской революции и, наконец, всей наполеоновской эпопеи вплоть до крушения в гибели ее героя, а также многих и многих последующих событий. Потому я пришел к совсем другим выводам и убеждениям, чем могут прийти родившиеся позднее, которым приходится усваивать эти великие события по книгам, им не понятным.

Кто знает, что принесут нам ближайшие годы, но боюсь, что в скором времени мы мира и покоя не дождемся. Человечеству не дано себя ограничивать. Великие мира сего не могут поступиться злоупотреблением властью, масса в ожидании постепенных улучшений не желает довольствоваться умеренным благополучием. Если бы *человечество* можно было сделать совершенным, то можно было бы помыслить и о совершенном правопорядке, а так оно обречено на вечное шатание из стороны в сторону,— одна его часть будет страдать, другая в это же время благоденствовать, эгоизм и зависть, два демона зла, никогда не прекратят своей игры, и борьба партий будет нескончаема.

Самое разумное, чтобы каждый занимался своим ремеслом, тем, для чего он рожден, чему он учился, и не мешал бы другим делать то, что им надлежит. Пусть сапожник сидит за своей колодкой, крестьянин ходит за плугом, а правитель умело правит народом. Это ведь тоже ремесло, которому надо учиться и за которое нельзя братья тому, кто этого делать не умеет.

Гете снова заговорил о французских газетах.

— Либералы, — сказал он, — пусть ораторствуют; если то, что они говорят, разумно, их охотно слушают, но роялистам, в чьих руках находится исполнительная власть, ораторство не к лицу, они должны действовать. Пусть посылают армии в поход, пусть обезглавливают и вешают, им это пристало, но затевать борьбу мнений в газетах и оправдывать свои мероприятия — это не для них. Если бы публика состояла — сплошь из королей, тогда им можно было бы и поговорить.

— В своей жизни и работе, — продолжал Гете, — я всегда утверждал себя как роялист. Другим предоставлял чесать языки, а сам поступал так, как считал правильным. Я умел обозреть поле своей деятельности и твердо знал, чего я хочу. Ежели я один совершал ошибку, то мог ее исправить, но будь эта ошибка совершена вместе со мною еще несколькими, она была бы неисправима, ибо у разных людей — разные мнения.

За столом Гете был в отличнейшем расположении духа. Он показал мне альбом госпожи фон Шпигель, в который написал прекрасные стихи. Место, оставленное для этих стихов, уже два года пустовало, и он радовался, что наконец выполнил давнее свое обещание. Прочитав его стихи, посвященные госпоже фон Шпигель, я стал листать альбом и натолкнулся на множество славных имен. Следующую же страницу украшало стихотворение Тидге, выдержанное в духе и тоне его «Урании».

— В приступе отчаянной смелости, — сказал Гете, — я хотел было приписать к нему несколько строф, но теперь рад, что отказался от этого намерения, поскольку мои несдержанные высказывания уже не раз отталкивали от меня хороших людей и портили впечатление от лучшего из того, что я создал.

— Между тем, — продолжал Гете, — я немало натерпелся из-за *его* «Урании». Одно время, кроме «Урании», ничего не пели, ничего не декламировали. Куда ни придешь — на столе лежит «Урания». «Урания» и бессмертие — вот была единственная тема разговоров. Я отнюдь не хочу лишать себя счастливой веры в бессмертие, более того, готов вслед за Лоренцо Медичи сказать: всякий, кто не верит в *будущую* жизнь, мертв и для *этой*. Но подобные трудно постижимые понятия не могут быть объектом каждодневных размышлений и разлагающих разум спекуляций. И еще: пусть тот, кто верит в загробную жизнь, будет счастлив в тиши, но воображать о себе невесту что у него нет оснований. Кстати, «Урания» Тидге помогла мне заметить, что люди набожные, точно так же как и дворяне, образуют своего рода аристократию. Я встречал дураков, которые чванились тем, что заодно с Тидге верят в бессмертие, ко всему же мне приходилось смиряться с тем, что эти особы надменно допрашивали меня, как я отношусь к бессмертию. Я повергал их в гнев, говоря: мне приятно думать, что, когда эта наша жизнь кончится, нас осчастливит следующая; только я буду молиться, чтобы на том свете мне не встретился никто из тех, кто на этом в него веровал, ибо тут-то и начнутся мои муки! Набожные дамы окружают меня со словами: ну, что, разве мы этого не предсказывали? Разве это уже не произошло? А тогда и в загробной жизни скуке конца не будет.

— С идеями бессмертия, — продолжал Гете, — могут носиться разве что благородные сословия, и в первую очередь женщины, которым нечего делать. Деятельный человек, озабоченный тем, чтобы уже в земной юдоли что-то

представлять собой, и потому ежедневно стремящийся к своей цели, работающий, борющийся, нисколько не интересуясь будущей жизнью, старается уже в этой быть трудолюбивым и полезным. Далее: попечение о бессмертии нужно еще тем, кому не очень-то повезло здесь, на земле, и я готов побиться об заклад: если бы у славного нашего Тидге радостнее сложилась жизнь, то и мысли у него не были бы так безрадостны.

*Четверг, 26 февраля 1824 г.*

Обед у Гете. После того как все поели и со стола была убрана посуда, Штадельман, по его приказанию, притащил громадные папки с гравюрами на меди. Папки были слегка запылены, и так как под рукой не оказалось мягких тряпок, Гете, осердясь, разобрал своего слугу:

— Последний раз говорю тебе, если ты сегодня же не купишь пыльных тряпок, которые нам так часто бывают нужны, то завтра я сам пойду за ними. А ты ведь знаешь, что я свое слово держу!

Штадельман удалился.

— Как-то раз у меня был похожий случай с актером Беккером, — оборотясь ко мне, задорно продолжал Гете, — который ни за что не хотел играть одного из рейтаров в «Валленштейне». Я велел ему передать, что если он откажется от роли, то я ее сыграю сам. Это подействовало. Актеры знали меня и знали, что я в таких делах шуток не терплю и что у меня достанет сумасбродства сдержать свое слово.

— Вы и вправду сыграли бы эту роль? — поинтересовался я.

— Да, — отвечал Гете, — и отбарабанил бы ее без запинки, так как знал ее лучше, чем он.

Засим мы открыли папки и перешли к рассмотрению гравюр и рисунков. Гете всегда очень бережно ко мне относится в такого рода занятиях, и я чувствую, что он намерен помочь мне подняться на более высокую ступень в созерцании и восприятии пластического искусства. Он знакомит меня лишь с произведениями в своем роде совершенными, при этом очень понятно рассказывая о замыслах и достоинствах художника, дабы я мог одновременно вникнуть в образ мыслей наиболее выдающихся мастеров.

— Так формируется то, что мы называем вкусом. Вкус не может сформироваться на посредственном, а только

на избранном и самом лучшем. Лучшее я и показываю вам; если вы утвердитесь в его понимании, у вас будет мерило и для всего остального, которое вы научитесь ценить, не переоценивая. Вдобавок я знакомлю вас с лучшими произведениями всех жанров, дабы вам стало ясно, что ни один из них не заслуживает пренебрежительного отношения и, напротив, каждый дарит нас радостью, если большой талант достигает в нем своей вершины. Вот, например, эта картина французского художника необыкновенно изящна и потому может быть названа образцом в своем жанре.

Гете протянул мне лист, и я стал с восхищением его рассматривать. В очаровательной комнате летнего дворца, окна и распахнутые двери которой выходят в сад, расположилась весьма приятная группа. Красивая женщина лет тридцати сидит, держа в руках раскрытую нотную тетрадь, — видимо, она только что кончила петь. Рядом с нею, несколько глубже, откинувшись на спинку дивана, девушка лет пятнадцати. Подальше, у открытого окна, стоит третья, молодая женщина с лютней, пальцы ее все еще касаются струн. В эту самую минуту в комнату вошел юноша, взоры женщин обращены на него, он, очевидно, прервал их музыкальные занятия и, склонившись в легком поклоне, словно бы просит у них прощения; женщины благосклонно ему внимают.

— Картина, думается мне, — сказал Гете, — не менее галантна, чем пьесы Кальдерона. Вот вы и увидели прекраснейшее произведение этого жанра. Ну, а об этом что вы скажете?

И он протянул мне несколько гравюр прославленного анималиста *Рооса*. Овцы во всевозможных позах и положениях. Тупость, написанная на мордах, безобразно косматая шкура — все здесь было воспроизведено с абсолютной верностью природе.

— Мне всегда делается страшно, когда я смотрю на этих животных, — сказал Гете. — Их тупой, невидящий взгляд, пасти, разинутые в зевоте, сонливая неподвижность действуют на меня заразительно; кажется, что ты сам вот-вот превратишься в животное, более того, что животным был и художник. Но все равно удивительным остается, что он сумел так вжиться в эти создания, так прочувствовать их, что мы сквозь внешнюю оболочку ясно видим всю их сущность. Тут сам собою напрашивается вывод, что может создать большой художник, если он не изменяет теме, соответствующей его дарованию.

— Но этот художник, вероятно, с не меньшей правдивостью рисовал собак, кошек и хищных зверей, — заметил я. — И уж конечно, людей, принимая во внимание его исключительную способность вживаться в чужие характеры и повадки.

— Нет, — ответил Гете, — все это оставалось вне его кругозора, зато он без устали приумножал поголовье смиренных травоядных животных, то есть овец, коз, коров и так далее. Такова была подлинная сфера его таланта, из которой он ни разу в жизни не вышел. И правильно сделал! Участливая внимательность к существованию этих тварей была его врожденным свойством, он легко усвоил знание психологии животных и потому так зорко подмечал их обличье. Другие существа, видимо, были ему не столь ясны, и к воспроизведению их на бумаге у него не было ни влечения, ни истинного призвания.

Множество аналогий пробудило в моей душе это высказывание Гете. Так, например, недавно он говорил мне, что истинный поэт обладает врожденным знанием жизни и для ее изображения ему не требуется ни большого опыта, ни эмпирической оснастки. «Я написал «Геца фон Берлихингена», — сказал он, — двадцатидвухлетним молодым человеком и десять лет спустя сам был удивлен: до чего же правдиво все это изображено. Ничего подобного я, как известно, не видел и не испытал, следовательно, знанием многообразных душевных состояний человека я овладел путем антиципации.

Вообще-то говоря, я радовался, воспроизводя свой внутренний мир, лишь покуда не знал внешнего. Позднее же, когда я убедился, что действительность и на самом деле такова, какую я себе ее мысленно представлял, она мне опротивела и я уже не чувствовал ни малейшего желания отображать ее. Я бы даже сказал: дождись я поры, когда мир по-настоящему открылся мне, я бы воссоздавал его карикатурно.

— Человеческим характерам, — сказал он в другой раз, — присуще некое особое свойство, некая последовательность, в силу которой та или другая основная черта характера как бы порождает множество вторичных. Это подтверждается опытом, но случается, что у какого-то индивида это знание врожденное. Не буду ломать себе голову, воссоединились ли во мне врожденное знание и опыт; одно мне известно: если я поговорю с кем-нибудь четверть часа, то уже знаю, что он будет говорить добрых два.

О Байроне, например, Гете сказал, что мир для него прозрачен и он воссоздает его благодаря антиципации. Тут я слегка усомнился: удалось ли бы, например, Байрону изобразить низменную животную натуру; по-моему, его индивидуальность слишком сильна, чтобы он мог с любовью предаться воссозданию таковой. Гете с этим согласился, добавив, что антиципация простирается лишь на объекты, родственные таланту поэта, и мы с ним пришли к заключению, что в зависимости от ограниченности или широты антиципации и талант должен быть признан более или менее многообъемлющим.

— Утверждая, что художнику от рождения дано познать мир, — ответил я, — вы, ваше превосходительство, видимо, подразумеваете мир внутренний, а не эмпирический мир явлений и установившихся нравов. И для того, чтобы художнику удалось правдиво все это отобразить, разве он не должен глубоко познать действительность?

— Разумеется, вы правы, — отвечал Гете. — Сфера любви, ненависти, надежд, отчаяния и как там еще зовутся страсти и душевные волнения, — это прирожденное знание художника, потому-то ему и удается воссоздать их. Но не может быть прирожденного знания того, как вершится суд, как протекает заседание в парламенте или коронация императора, и дабы не погрешить против правды, автор должен усвоить это либо путем собственного опыта, либо путем преемственности. Так в «Фаусте», благодаря антиципации я мог воссоздать мрачную разочарованность моего героя и любовные страдания Гретхен, но чтобы сказать, например:

К тому ж ущербный месяц сквозь туман  
Льет тусклый свет с утрюмым видом скряги <sup>1</sup>, —

мне уже понадобилось наблюдение над природой.

— Да, но в «Фаусте» нет ни единой строчки, не носящей явственных следов тщательнейшего изучения человечества и жизни, и ничто нигде не говорит о том, что вы это просто получили в дар, помимо собственного богатейшего опыта.

— Все может быть, — отвечал Гете, — но если бы я, благодаря антиципации, уже не носил в себе этот мир, то я, зрячий, остался бы слепым и все проникновенье, весь жизненный опыт были бы мертвыми и тщетными усилия-

---

<sup>1</sup> Перевод Б. Пастернака.

ми. Существует свет, многоцветье окружает нас, но не будь света и красок в собственном нашем глазу, мы бы не увидели их и во сне,

*Суббота, 28 февраля 1824 г.*

— Есть такие основательные люди, которые ничего не умеют делать с ходу, самая их природа требует спокойного, глубокого проникновения в каждый очередной предмет, — сказал Гете. — Такие таланты, случается, раздражают нас, ибо из них редко можно вытянуть то, что мы хотим иметь сию минуту, но все же к наивысшему приходят именно таким путем.

Я завел разговор о *Рамберге*.

— Ну, это художник совсем другого типа, — сказал Гете, — очень радостное дарование и к тому же импровизатор, не знающий себе равных. Как-то в Дрездене он упросил меня дать ему тему. Я сказал — вот вам тема: Агамемнон возвратился из Трои на родину; он сходит с колесницы и собирается переступить порог своего дома, но вдруг ему становится жутко. Нельзя отрицать, что сюжет этот, весьма и весьма не простой, от другого художника потребовал бы долгих размышлений. Но едва я сформулировал свое пожелание, как Рамберг уже начал рисовать, и мне осталось только удивляться, до чего верно он схватил предложенную тему. Скажу откровенно, мне бы хотелось иметь кое-какие рисунки, сделанные его рукой.

Мы заговорили о разных художниках, которые легкомысленно относятся к своим произведениям, а потом, попав в плен «манеры», и вовсе губят свое искусство.

— Манера, — продолжал Гете, — мнит себя устоявшейся, и художник не наслаждается своим трудом, тогда как подлинно большой талант высшим счастьем почитает осуществление. *Роос* без усталости вырисовывает волосы и шерсть своих коз и овец, и по этой бесконечной детализации понимаешь, что во время работы он испытывал чистейшее блаженство и не думал о том, чтобы поскорее ее закончить.

Талантам помельче искусства как такового недостаточно. Во время работы у них перед глазами — барыш, который им, как они надеются, должно принести готовое произведение. А при столь меркантильных целях ничего подлинно значительного создать нельзя.

Воскресенье, 29 февраля 1824 г.

В полдень я отправился к Гете, который приглашал меня поехать с ним кататься до обеда. Когда я вошел, он сидел за завтраком, я сел напротив и заговорил о работе, которая занимала нас обоих, ибо касалась нового издания его произведений. Я считал очень желательным, чтобы в это новое собрание вошли не только «*Боги, герои и Виланд*», но также и «*Письма пастора*».

— Собственно говоря, я теперь уже не могу судить об этих своих юношеских произведениях, — сказал Гете. — Судите вы, молодые. Но и бранить их я не хочу. Конечно, я тогда еще мало что смыслил и бессознательно рвался вперед, но чувство правды у меня было и была волшебная палочка, она показывала мне, где зарыто золото.

Я заметил, что так, наверно, всегда бывает с весьма одаренным человеком, иначе, от рождения оказавшись в пестрой путанице мира, он не сумеет отыскать истину, так же как не сумеет избежать заблуждений.

Меж тем подали лошадей, и мы поехали на Иенскую дорогу. О чем только мы не говорили... Наконец, Гете упомянул о новых французских газетах.

— Конституция во Франции, — сказал он, — где в народе так много порочных элементов, зиждется на совсем ином фундаменте, нежели конституция в Англии. Во Франции подкупом можно добиться чего угодно, да что там говорить, вся Французская революция держалась на подкупе.

Затем Гете сообщил мне известие о смерти *Евгения Наполеона* (герцога Лейхтенбергского), полученное сего дня утром и, видимо, очень его огорчившее.

— Это был крупный человек, — сказал он, — такие люди встречаются все реже и реже, вот человечество стало беднее еще на одну незаурядную личность. Я был знаком с ним, прошлым летом мы еще встречались в Мариенбаде. Видный мужчина лет сорока двух, но выглядел старше, да и не удивительно, если вспомнить, сколько ему довелось вынести и что в его жизни *один* поход сменялся другим, *одно* значительное событие громоздилось на другое. В Мариенбаде он много говорил со мною об одном своем замысле, а именно — соединить каналом Рейн и Дунай. Исполинское предприятие, в особенности если учесть тамошний рельеф местности. Но тому, кто служил под началом Наполеона и вместе с ним потрясал мир, все кажется возможным. Аналогичный план вынашивал Карл

Великий; по его приказу были даже начаты работы, но вскоре они приостановились: песчаная почва осыпалась с обеих сторон и заваливала прорытое русло.

*Понедельник, 22 марта 1824 г.*

Перед обедом ездил с Гете в его сад. Местоположение этого сада по ту сторону Ильма, неподалеку от парка, на западном склоне холмов, поистине прелестно. Защищенный от северного и восточного ветров и, напротив, открытый теплым и живительным потокам воздуха с юга и с запада, он, в особенности осенью и весной, является приятнейшим уголком, какой только можно себе представить.

Город, расположенный в северо-западном направлении и так близко, что до него можно добраться за несколько минут, отсюда не виден; сколько ни вглядывайся — ни здания, ни башенного шпиля, ничего, что напоминало бы о его близости. Густые кроны высоких деревьев полностью закрывают вид с этой стороны. Купы этих деревьев тянутся к северу, образуя так называемую «звезду», едва ли не до самой проезжей дороги, что идет вдоль сада.

В сторону запада и юго-запада открывается вид на обширную лужайку, за нею в небольшом отдалении, мягко извиваясь, течет Ильм. На другом его, тоже холмистом, берегу, на склонах и вершине, поросших ольхой, ясенями, топодем и березой, листва которых переливается разнообразными оттенками, радуя глаз, зеленеет обширный парк, где-то в прекрасной дали на юге и на западе закрывающий горизонт.

Этот вид на парк за лужайкой создает впечатление, особенно летом, словно перед тобою лес, тянущийся на многие мили. Кажется, вот сейчас на лужайку выйдет олень или выбежит серна. Ты словно бы погружен в умиротворяющую тишину природы, нарушаемую разве что одинокими трелями черного дрозда или прерывистым пением лесного.

Но от грез полной отрешенности нас время от времени пробуждает бой башенных часов, крик павлина где-то в глубине парка, а не то звуки барабана и горна, доносящиеся из казарм. Но они нисколько не раздражают, они — уютное напоминание о близости родного города, от которого тебя, казалось, отделяют многие мили.

Правда, в иные часы или дни эти луга и луговые дороги никак не назовешь пустынными. Местные жители спешат в Веймар на рынок или на работу, потом они воз-

вращаются домой, вдоль извивов Ильма неторопливо бредут гуляющие, в погожие дни Обервеймар — излюбленная цель их прогулок. Сенокос тоже вносит радостное оживление в эти места. Чуть подалее виднеются стада овец и могучих швейцарских коров из ближней экономики.

Но сегодня здесь не было и следа радующих душу летних картин. Луга еще едва-едва зеленели, да и то отдельными клочками, деревья в парке стояли какие-то бурые, хотя кое-где уже набухли почки, но шелканье зяблика и слышавшееся то там, то сям заливиное пенье дроздов уже возвещали весну.

Воздух был по-летнему ласков, с юго-запада веял мягкий ветерок. По ясному небу изредка тянулись темные грозовые тучки; где-то в самой вышине таяли перистые облака. Пристально вглядываясь в них, мы обнаружили, что кучевые облака нижнего слоя, в свою очередь, тают, из чего Гете заключил, что барометр стал подниматься.

Он много говорил о подъеме и падении стрелки барометра, называя этот процесс «утверждением и отрицанием влажности». Говорил также о вдохах и выдохах земли, определяемых извечными законами, о возможном потопе в случае непрерывного увеличения влажности. И далее: о том, что каждая местность имеет свою атмосферу, но, несмотря на это, показания барометров в Европе почти одинаковы. Природа несоразмерна, и при столь значительных исключениях из правил очень трудно установить закономерность.

Я слушал его поучения, прохаживаясь вместе с ним по широкой песчаной дорожке в саду. Потом мы подошли к дому, и он приказал слуге отпереть дверь, чтобы немного погода показать мне дом изнутри. Побеленные наружные стены были сплошь увиты шпалерными розами, которые подымались до самой крыши. Я обошел вокруг дома и был безмерно удивлен, увидев на ветках розовых кустов множество различных гнезд, сохранившихся с прошлого лета и теперь, из-за отсутствия листвы, открытых взору. Преобладали здесь гнезда коноплянок и малиновок, которые, как известно, вьют их и у самой земли, и на довольно большой высоте.

Затем Гете ввел меня в дом, в котором я так и не успел побывать прошедшим летом. Внизу была только одна комната, пригодная для жилья, где на стенах висели несколько карт и гравюр, а также портрет Гете в натуральную величину; *Мейер* написал его масляными красками вскоре после возвращения обоих друзей из Италии.

Гете изображен на нем в расцвете лет, загорелый и, я бы сказал, плотноватый. Выражение его несколько неподвижного лица очень серьезно. Кажется, что видишь человека, душа которого отягощена бременем грядущих свершений.

Мы поднялись по лестнице наверх. Там было три комнаты и еще каморка, все очень маленькие и не слишком удобные. Гете сказал, что в былые годы любил жить здесь и работать в полном спокойствии.

В комнатах было довольно прохладно, и нас снова потянуло на теплый воздух. Расхаживая под лучами полуденного солнца по главной аллее сада, мы заговорили о новейшей литературе, о Шеллинге и, среди прочего, о новых пьесах Платена.

Но скоро наше внимание было отвлечено окружающей природой. На царских кудрях и лилиях уже виднелись большие бутоны, только что вышедшие из земли мальвы зеленели по обе стороны аллеи.

Верхняя часть сада, на склоне холма, представляет собою поляну, на которой вразброс стоят плодовые деревья. Дорожки оттуда вьются вверх, как бы опоясывают вершину и снова устремляются вниз; это возбудило во мне желание осмотреть местность сверху. Гете быстро поднимался по одной из них, я шел позади и радовался тому, как он бодр.

На холме, подле живой изгороди, мы увидели павлинью самку, — видимо, она забрела сюда из герцогского парка. Гете сказал мне, что летом он приманивает и приручает павлинов, рассыпая в саду их излюбленный корм.

Спускаясь с другой стороны по змеившейся дорожке, я заметил обсаженный кустами камень, на котором была высечена строка прославленного стихотворения:

Любящий тут вспоминал в тиши о деве любимой<sup>1</sup>, —

и мне почудилось, что я стою перед памятником античных времен.

Неподалеку от него находилась рощица низкорослых деревьев: дубов, елей, берез и буков. Под елями я нашел пушок и несколько перьев хищной птицы; я показал это Гете, и он заметил, что такие находки здесь нередки, из чего я заключил, что совы, которых немало в этих местах, избрали ели в его саду своим гнездовьем.

---

<sup>1</sup> Перевод Д. Усова.

Обойдя рожицу, мы снова вышли на главную аллею, вблизи от дома. Здесь дубы, ели, березы и буки, росшие вперемешку, образовывали полукруг, ветви же их, сплетаясь, создавали внутри него некое подобие грота, где мы и уселись на маленьких стульях, расставленных вокруг круглого стола. Солнце так припекало, что даже скудная тень еще безлистных деревьев казалась благодеянием.

— Летом, в сильную жару, — сказал Гете, — я не знаю лучшего прибежища. Эти деревья я своими руками посадил сорок лет назад, радовался, глядя, как они подрастают, и вот уже давно наслаждаюсь прохладой в их тени. Сквозь листву этих дубов и буков не проникает даже палящее солнце; я люблю сидеть здесь в теплые летние дни после обеда, когда на лугах и в парке царит такая тишина, что древние сказали бы о ней: *«Пан уснул»*.

Но тут мы услышали, как в городе пробило два, и поехали обратно.

*Вторник, 30 марта, 1824 г.*

Вечером у Гете. Мы были одни, много говорили за бутылкой вина. Говорили о французском театре, противопоставляя его немецкому.

— Трудно приучить немецкую публику, — сказал Гете, — непредвзято судить о театре, как судят о нем в Италии и во Франции. И мешает этому главным образом то, что на нашей сцене играют что ни попадя. Там, где вчера мы смотрели *«Гамлета»*, сегодня мы смотрим *«Штаберле»*, там, где завтра нам предстоит восхищаться *«Волшебной флейтой»*, послезавтра мы будем смеяться над остротами *«Нового Счастливого»*. Публику это сбивает с толку, различные жанры у нее перемешиваются, ей трудно научиться правильно оценивать и понимать происходящее на сцене. Вдобавок у каждого зрителя свои требования, свои вкусы, они-то и заставляют его снова спешить туда, где он однажды удовлетворил их. Сорвав сегодня с дерева винные ягоды, завтра он захочет снова сорвать их и состроит весьма кислую мину, буде за ночь на дереве вырастут сливы. А тот, кто охоч до терновника, напорется на шипы.

Шиллер носился с отличной мыслью построить театр только для трагедии, и еще: каждую неделю давать спектакль для одних мужчин. Но такая затея могла быть осуществлена разве что в столице, у нас для этого не было достаточных возможностей.

Потом разговор зашел о пьесах *Иффланда* и *Коцебу*; Гете, в некоторых отношениях, очень высоко ценил их.

— Именно потому, что никто не умеет четко различать жанры, произведения этих двоих постоянно и несправедливо порицались, — сказал Гете. — Но нам придется долго ждать, прежде чем снова появятся два столь талантливых и популярных автора.

Я похвалил Иффландовых «*Холостяков*»; этот спектакль очень понравился мне.

— «Холостяки», без сомнения, лучшая пьеса Иффланда, — заметил Гете, — и единственная, где он, поступившись житейской прозой, возвышается до идеального.

Засим он рассказал мне о пьесе, которую они с Шиллером задумали как продолжение «*Холостяков*», но так и не написали. Гете, сцену за сценой, воссоздал ее передо мной; она оказалась весьма оригинальной, веселой, и я с удовольствием ее выслушал.

Далее он заговорил о новых пьесах Платена.

— В них ясно чувствуется влияние Кальдерона. Они, бесспорно, остроумны, в известном смысле даже совершенны, но удельный вес их недостаточен, нет в них необходимой значительности содержания. В душе читателя они не возбуждают глубокого интереса, не заставляют мысль возвращаться к ним, в лучшем случае они легко и мимолетно нас затрагивают. Эти пьесы напоминают пробку, которая не погружается в воду, а лишь плавает по ее поверхности.

Немцу же нужна известная серьезность, известное величие мысли, богатство и полнота внутренней жизни, вот почему все так высоко ставят Шиллера. Я ни минуты не сомневаюсь в изрядных качествах Платена, но, однако, проявить их ему не удастся, вероятно, из-за неправильного понимания природы искусства. Он хорошо образован, умен, остроумен, умеет делать свои произведения завершенными, но всего этого для нас, немцев, недостаточно.

Да и вообще публика ценит не столько мастерство и одаренность писателя, сколько свойства его личности. Наполеон говорил о Корнеле: «*S'il vivait je le ferais Prince!*»<sup>1</sup> И не читал его. Расина он, правда, читал, но ни словом о нем не обмолвился. Лафонтена французы чтут так высоко не за его поэтические заслуги, а за величие духа, явствующее из его произведений.

Разговор перешел на «Избирательное сродство», и

---

<sup>1</sup> Если бы он был жив, я бы сделал его принцем! (фр.)

Гете рассказал о некоем англичанине, бывшем здесь проездом, который твердо решил развестись с женой по возвращении в Лондон. Гете потешался над таким чудачеством и упомянул о нескольких супружеских парах, которые и после развода не нашли в себе сил расстаться.

— Покойный Рейнхард из Дрездена, — сказал Гете, — частенько удивлялся, почему в отношении брака я придерживаюсь столь строгих принципов, тогда как вообще взгляды у меня довольно свободные.

Эти слова Гете до глубины души поразили меня, ибо из них явствовало, что он, собственно, хотел сказать в своем романе, который так часто превратно истолковывался.

Затем разговор перешел на *Тика* и его позицию по отношению к Гете.

— Я очень к нему расположен, — сказал Гете, — да и он, в общем-то, питает ко мне добрые чувства, но в них есть что-то, чего не должно было бы быть. Я в этом не виноват и он тоже, на то имеются причины совсем иного характера.

Когда Шлегели пошли в гору, я оказался для них личностью слишком значительной, и, чтобы уравновесить силы, они стали оглядываться в поисках таланта, который можно было бы мне противопоставить. И нашли *Тика*, а для того, чтобы в глазах читающей публики он выглядел достаточно внушительно, им пришлось изобразить его крупнее, чем он был на самом деле. Это испортило наши отношения, ибо *Тик*, сам того до конца не сознавая, оказался передо мною в несколько ложном положении.

*Тик* подлинный и большой талант, кому же и признавать его исключительные заслуги, если не мне. Но когда его хотят возвысить над самим собою и поставить вровень со мной, это неправильный ход. Я не стесняюсь так говорить, меня ведь это не касается, не я себя сделал. То же самое получилось бы, вздумай я сравнить себя с Шекспиром, — он ведь тоже себя не сделал, тем не менее он существо высшего порядка, на него я смотрю снизу вверх и бесконечно его почитаю.

Гете был в этот вечер более обыкновенного энергичен, весел и оживлен. Он принес отдельные листы напечатанных стихотворений и читал мне оттуда. Слушать его было наслаждением совсем особого рода, ибо не только своеобразная мощь и свежесть его стихов взбудоражили все мои чувства, но Гете, читая их, явился мне с новой, потрясшей меня и доселе неведомой стороны. Какое разнообразие ин-

тонаций, какая сила в голосе! Сколько выразительности, сколько жизни в его крупном, изборожденном морщинами лице! И какие глаза!

Среда, 14 апреля 1824 г.

В час дня ездил с Гете кататься. Говорили о стиле разных писателей.

— Немцам, — сказал он, — изрядно мешает спекулятивная философия. Она делает их стиль отвлеченным, не-реальным, расплывчатым и неопределенным. Чем теснее их связь с той или иной философской школой — тем хуже они пишут. Лучше других у нас пишут люди светские и деловые, чьи интересы сосредоточены в практической сфере. Так, например, стиль Шиллера всего прекраснее и действительнее, когда он не философствует, в этом я лишний раз убедился еще сегодня по его письмам, которыми в данное время занимаюсь.

Кстати сказать, среди немецких *женщин* встречаются удивительно одаренные создания, они отлично пишут и своим стилем превосходят многих из наших признанных писателей.

*Англичане*, будучи прирожденными ораторами и вдобавок людьми практического склада, как правило, все пишут хорошо.

*Французы* верны своему национальному характеру и в манере письма. Они люди общительные, не забывают о публике, к которой обращаются, и прилагают немало усилий, чтобы писать ясно и убедительно, а также грациозно, ибо это нравится читателям.

Вообще же стиль писателя — точный слепок его внутреннего мира. Тот, кто хочет обладать *ясным* стилем, должен прежде всего позаботиться, чтобы ясность царила в его душе, если же ты избираешь *величественный* стиль, то величие должно быть присуще твоей натуре.

Потом Гете заговорил о своих противниках, заметив вскользь, что этот род не вымирает.

— Имя им легион, но до известной степени классифицировать их все-таки возможно.

Назову сначала *противников по глупости*; это те, что меня не понимали, не знали меня, но распекали на все лады. Число их достаточно внушительно, и всю мою жизнь они изрядно докучали мне, но простим им это, они ведь не ведали, что творят.

Вторую группу, и тоже немалую, образуют *завистники*. Эти не признают за мной права на счастье и высокое положение в обществе, которого я добился своим талантом. Они силятся подточить мою славу и охотно прикончили бы меня. Но если бы я вдруг стал бедным и несчастным, они бы прекратили травлю.

Далее идут те, а их тоже немало, что стали моими противниками из-за *собственных неудач*. Среди них есть талантливые люди, но они не могут примириться с тем, что я их затмеваю.

В-четвертых, я упомяну о моих противниках, *имеющих основания* быть таковыми. Поскольку я человек и не лишен человеческих слабостей и заблуждений, то, разумеется, и мои писания от них не свободны. Но так как я очень серьезно относился к своему становлению и неуклонно работал над усовершенствованием своей натуры, а следовательно, постоянно стремился вперед, нередко случалось, что меня корили за ошибки, которые я уже давно в себе поборол. И так, этим добрым людям не удавалось меня ранить, они стреляли по мне, когда я уже был на много миль впереди них. Да и вообще законченное произведение, как правило, уже не волновало меня; больше я им не занимался и думал о чем-то новом.

И, наконец, множество людей являются моими противниками из-за различия *в образе мыслей и в воззрениях*. Говорят, что на дереве не найдешь двух одинаковых листьев, также и среди тысяч людей едва ли найдутся двое, вполне друг с другом гармонирующих по своему образу мыслей. Если исходить из этой предпосылки, то мне следовало бы удивляться не большому числу противников, а скорее множеству друзей и последователей. Мое время разошлось со мною, оно целиком подчинило себя субъективизму, и я со своими объективными устремлениями, конечно, остался внакладе и к тому же еще в полном одиночестве.

Шиллер в этом смысле имел передо мною большие преимущества. Один благожелательный генерал как-то раз довольно прозрачно намекнул, что мне следовало бы поучиться у Шиллера. Я стал обстоятельно разяснять ему заслуги Шиллера, мне-то они были известны лучше, чем ему. А вообще я продолжал спокойно ИДТИ СВОИМ путем, нимало не заботясь об успехе и, по мере сил, стараясь не замечать своих противников.

Мы поехали обратно, и обед прошел весьма оживленно и весело. Госпожа фон Гете много рассказывала о Бер-

лине, откуда она недавно возвратилась, с особой симпатией отзываясь о герцогине Кумберландской, выказывавшей ей свое дружеское расположение. Гете, в свою очередь, тепло вспоминал герцогиню, которая, еще совсем юной принцессой, довольно долго жила у его матери.

Вечером в доме Гете меня ждало редкостное музыкальное наслаждение. Под управлением Эбервейна несколько превосходных певцов исполнили отрывки из «Мессии» Генделя. К ним присоединились графиня Каролина фон Эглофштейн, фрейлейн Фрориеп, а также госпожа фон Погвиш и госпожа фон Гете, тем самым как бы идя навстречу давнишнему желанию Гете.

Гете, сидя в некотором отдалении, весь обратился в слух; восхищенный этим великолепным творением, он прожил сегодня действительно счастливый вечер.

*Понедельник, 19 апреля 1824 г.*

Проездом из Берлина в южную Францию здесь находится сейчас крупнейший филолог нашего времени *Фридрих Август Вольф*. Сегодня Гете дал в его честь обед, на котором из веймарских друзей, не считая меня, присутствовали: генерал-суперинтендент Рёр, канцлер фон Мюллер, главный архитектор Кудрэ, профессор Ример и надворный советник Ребейн. За обедом царило всеобщее веселье. Вольф потешал собравшихся остроумными выдумками, Гете, пребывавший в отличнейшем расположении духа, во всем ему перечил.

— С Вольфом мне всегда приходится разыгрывать роль Мефистофеля, — сказал он мне позднее. — Иначе из него не добудешь его душевных сокровищ.

Остроумные застольные шутки — беглое порождение минуты — невозможно было удержать в памяти. Вольф был неподражаем в метких, разящих оборотах и репликах, и все же мне казалось, что Гете его превосходит.

Время за столом летело как на крыльях, мы опомнились, когда уже пробило шесть. Я отправился с молодым Гете в театр слушать «Волшебную флейту». Немного позднее я заметил Вольфа в ложе с великим герцогом Карлом-Августом.

Вольф пробыл в Веймаре до 25-го и отбыл в южную Францию. Здоровье его внушало Гете серьезнейшие и нескрываемые опасения.

Гете упрекал меня за то, что я так и не посетил одно видное веймарское семейство.

— Этой зимой, — сказал он, — вы могли провести там немало приятнейших вечеров и, кстати, познакомились бы со многими интересными гостями из других краев; один бог знает, из-за какого каприза вы пренебрегли этой возможностью.

— При моей легко возбудимой натуре, — отвечал я, — и склонности всем на свете интересоваться, да еще вникать в чужие душевные и житейские обстоятельства, для меня ничего не может быть тягостнее и губительнее чрезмерного обилия новых впечатлений. Я не воспитан для светской жизни и не могу преуспеть в ней. Вырос я в таких условиях, что мне кажется, будто я начал жить лишь совсем недавно, с тех пор как оказался вблизи от вас. Теперь все ново для меня. Каждое посещение театра, каждая беседа с вами — целая эпоха моей внутренней жизни. То, мимо чего равнодушно проходят люди более образованные, люди, привычные к иному образу жизни, на меня производит неизгладимое впечатление. А так как жажда знаний одолевает меня, то моя душа все воспринимает с непомерной энергией, стремясь как можно больше в себя впитать. При таком умонастроении мне всю зиму было более чем достаточно общения с вами и театра, расширять же круг своих знакомств и интересов для меня было бы просто губительно.

— Ну и чудак вы, — сказал Гете, смеясь, — впрочем, поступайте как знаете, я оставляю вас в покое.

— Помимо всего прочего, — продолжал я, — я обычно являюсь в общество со своими симпатиями и антипатиями, с потребностью любить и желанием, чтобы меня любили. Я невольно ищу человека, соответствующего моей натуре, такому я готов предаться целиком, забыв обо всех остальных.

— Скажем прямо, — заметил Гете, — эти черты говорят о малообщительном характере; но что значила бы воспитанность и просвещение, если бы мы не старались обороть свои врожденные склонности. Требовать, чтобы люди с тобой гармонировали, — непростительная глупость. Я ее никогда не совершал. На человека я всегда смотрел как на самоуправное существо, которое я хотел узнать, изучить во всем его своеобразии, отнюдь при этом не рассчитывая на то, что он проникнется ко мне симпатией. Я научился

общаться с любым человеком; только таким образом и можно приобрести знание многообразных людских характеров и к тому же известную жизненную сноровку. Как раз противоположные нам натуры заставляют нас собраться для общения с ними, а это затрагивает в нас самые разные стороны, развивает и совершенствует их, так что в результате мы с любым человеком находим точки соприкосновения. Советую и вам поступать так же. У вас для этого больше задатков, чем вы полагаете, но этого еще недостаточно, — вам необходимо выйти на более широкую дорогу, сколько бы вы этому ни противились.

Я запомнил добрые его слова и решил по мере возможности следовать им.

Под вечер Гете велел звать меня на прогулку в экипаже. Путь наш лежал через Обервеймар по холмам, с которых к западу открывался вид на парк. Плодовые деревья стояли в цвету, березы уже оделись листвою, луга расстилались сплошным зеленым ковром, на который полосами ложились лучи заходящего солнца. Мы отыскивали взором наиболее живописные группы деревьев и не могли вдосталь на них наглядеться. Потом мы пришли к заключению, что цветущие белым деревья писать не следует, поскольку они не создают картины, так же как не следует на переднем плане писать березы, ибо бледная их листва не уравнивает белых стволов, картина, таким образом, не членится на крупные партии, которые выхватывала бы мощная игра светотени.

— Рюисдаль, — сказал Гете, — поэтому никогда не писал на переднем плане берез, одетых листвою, а только их стволы — обломки стволов, без листвы. Такой ствол прекрасно выглядит на переднем плане, могучий и светлый, он превосходно выделяется на более темном фоне.

Слегка коснувшись других тем, мы заговорили о ложной тенденции художников, которые тщатся религию превратить в искусство, тогда как их религией должно было бы быть искусство.

— Религия, — сказал Гете, — стоит в таком же соотношении с искусством, как и всякий другой жизненный интерес. Ее следует рассматривать лишь как материал, равноправный со всем другим материалом, который жизнь поставляет искусству. К тому же вера и неверие никак не могут служить органами восприятия произведения искусства, для этого, пожалуй, более пригодны иные человеческие силы и способности. Однако искусство должно творить для тех органов, которыми мы его воспринимаем:

если это не так, оно не достигает цели и проходит мимо нас, нисколько нас не затронув. Религиозный мотив может, конечно, стать объектом искусства, но лишь в том случае, если в нем соприсутствует общечеловеческое. Поэтому-то на богоматерь с младенцем, воссозданную великое множество раз, мы всегда смотрим с охотой и удовольствием.

Тем временем мы обогнули небольшой лесок неподалеку от Тифурта, повернули обратно к Веймару и поехали навстречу заходящему солнцу. Гете весь ушел в размышления, затем прочитал строку из древнего поэта:

И при закате своем это все то же светило.

— Когда человеку семьдесят пять, — вдруг весело и жизнерадостно продолжил он, — он не может временами не думать о смерти. Меня эта мысль оставляет вполне спокойным, ибо я убежден, что дух наш неистребим; он продолжает творить от вечности к вечности. Он сходствует с солнцем, которое заходит лишь для нашего земного взора, на самом же деле никогда не заходит, непрерывно продолжая светить.

Между тем солнце село за Эттерсбергом, из леса потянуло прохладой, мы поспешили в Веймар, и экипаж остановился у его дома. Гете попросил меня еще ненадолго подняться к нему, что я и сделал. Он был сегодня еще добрее и благожелательнее, чем обычно. Он заговорил о своем учении о цвете, о своих ожесточенных противниках и еще сказал, что уверен: кое-что им все-таки сделано в этой науке.

— Для того чтобы составить эпоху в истории, — заметил он по этому поводу, — необходимы, как известно, два условия: первое — иметь недюжинный ум и второе — получить великое наследство. *Наполеон* унаследовал Французскую революцию, *Фридрих Великий* — Силезскую войну, *Лютер* — поповское мракобесие, а мне в наследство досталась ошибка в учении Ньютона. Нынешнее поколение, правда, и понятия не имеет о том, что я сделал в этой области, но будущие времена должны будут признать, что наследство мне досталось неплохое.

Сегодня утром Гете прислал мне кипу рукописей, касающихся театра. Кроме всего прочего, там имелись заметки, содержащие правила и наставления, по которым он работал с *Вольфом* и *Грюнером*, стремясь сделать их первоклассными актерами. Мне эти отдельные замечания показались чрезвычайно интересными и для молодых ак-

теров весьма и весьма поучительными, почему я и решил, собрав их воедино, составить своего рода театральный катехизис. Гете одобрил мое намерение, и мы подробно его обсудили. По этому поводу были вспомнаны некоторые выдающиеся актеры, вышедшие, так сказать, из его школы, и я, между прочим, спросил о госпоже фон Гейгендорф.

— Возможно, что я и имел на нее известное влияние, — отвечал Гете, — но вообще-то своей ученицей я ее назвать не могу. Она словно бы родилась на подмостках и, отлично владея актерской техникой, чувствовала себя не менее уверенно, чем утка в воде. В моих наставлениях она не нуждалась, инстинктивно делая все как нужно.

Потом мы еще говорили о тех годах, когда он руководил театром, и о том, как бесконечно много времени это отняло у его писательской деятельности.

— Конечно, — сказал Гете, — я мог бы за этот период написать несколько дельных вещей, но, хорошенько подумав, я не испытываю сожалений. Свои труды и поступки я всегда рассматривал символически, и, по существу, мне довольно безразлично, обжигал я горшки или миски.

*Четверг, 6 мая 1824 г.*

Прошлым летом, приехав в Веймар, как уже говорилось, я не намеревался здесь остаться, а хотел только познакомиться с Гете и уехать на Рейн, чтобы, сыскав подходящий уголок, на долгое время там остаться.

Однако к Веймару меня приковала исключительная благосклонность Гете, вдобавок мои отношения с ним постепенно приобретали еще и практический характер, ибо он все глубже втягивал меня в свои интересы и поручал мне множество немаловажных работ по подготовке полного собрания своих сочинений.

В течение этой зимы я, среди прочего, из целого вороха разрозненных листов подобрал несколько разделов «Кротких ксений», отредактировал том новых стихов, вышеупомянутый театральный катехизис, а также наброски, статьи о дилетантизме в различных искусствах.

Между тем давнишнее намерение увидеть Рейн все еще было живо в моем сердце, и, чтобы избавить меня от болезненной занозы несбывшегося желания, Гете сам посоветовал мне провести несколько летних месяцев в прирейнских краях.

Но тут же он решительно высказал желание, чтобы я возвратился в Веймар. Он говорил, что нельзя порывать едва установившиеся отношения и что в жизни все, чему суждено дозреть, должно иметь продолжение. При этом он недвусмысленно дал мне понять, что я и *Ример* избраны им не только для действительного участия в подготовке собрания его сочинений, но и для того, чтобы мы вдвоем эту работу продолжили, буде он, принимая во внимание его преклонный возраст, покинет этот мир.

Сегодня утром он показывал мне большие связки писем, которые велел разложить в так называемой «комнате бюстов».

— Это все письма, — сказал он, — которые, начиная с тысяча семьсот восьмидесятого года, я получал от наиболее выдающихся людей Германии, — настоящая сокровищница идей и мыслей; за вами я сохраняю право в будущем опубликовать их. Я велю сделать шкаф, в котором они будут храниться заодно с прочим моим литературным наследством. Все это вы должны увидеть систематизированным и приведенным в полный порядок еще до вашего отъезда. Так я буду чувствовать себя спокойнее, к тому же у меня одной заботой станет меньше.

Засим он сказал мне, что летом снова собирается посетить Мариенбад, но уехать сможет не раньше конца июля, и доверчиво объяснил, что именно его здесь задерживает. Он высказал желание, чтобы я возвратился еще до его отъезда, ему-де надо будет еще о многом переговорить со мной.

Итак, спустя некоторое время я посетил своих близких в Ганновере, июнь и июль провел на Рейне, и там, в первую очередь во Франкфурте, Гейдельберге и Бонне, заключил весьма приятные для меня знакомства среди друзей Гете.

*Вторник, 10 августа 1824 г.*

Вот уже неделя, как я вернулся из своего путешествия на Рейн. Гете выказал неподдельную радость по случаю моего возвращения, я же, со своей стороны, был просто счастлив, что опять сижу у него. Ему нужно было о многом поговорить со мною и многое мне рассказать, так что первое время я все дни проводил с ним. Он отказался от прежнего своего намерения — ехать в Мариенбад, решил этим летом никуда не уезжать.

— Ну, поскольку вы вернулись, — сказал он, — август обещает быть для меня приятным.

На днях он передал мне первые наброски продолжения «Поэзии и правды» — исписанную тетрадь в четвертушку листа и толщиной не более чем в палец. Кое-что уже завершено, остальное — только наброски. Однако разделение на пять книг уже сделано и листки со схематизированными записями сложены так, что если внимательно в них вчитаться, то содержание целого становится обозримым.

Уже завершённое представляется мне столь прекрасным, а содержание даже схематически намеченного до такой степени значительным, что это заставляет меня всем сердцем скорбеть о задержке этого поучительного труда, сулящего читателю великое наслаждение. Всеми способами, думал я, надо подвигнуть Гете на продолжение и окончание такового.

В самом замысле этого творения есть многое от романа. Любовь, обольстительная и страстная, радостная при своем возникновении, потом переходящая в идиллию и трагически закончившаяся молчаливым и обоюдным отречением, красной нитью проходит по всем четырем книгам, объединяя их в некое гармоническое целое. Обаятельная сущность Лили, воссозданная во всех мельчайших подробностях, завораживает любого читателя не меньше, чем самого героя этого романа, скованного своим чувством к ней до такой степени, что лишь повторное бегство дарует ему освобождение.

Изображенная здесь эпоха жизни поэта насквозь пронизана романтикой, а может быть, делается романтической по мере становления характера главного героя. Но совсем особое значение она приобретает потому, что является предварением веймарской эпохи, определившей всю его дальнейшую жизнь. А посему именно этот период жизни Гете и вызывает у нас жгучий интерес и потребность видеть его в наиболее детальном изложении.

Для того чтобы заново пробудить в Гете любовь к этой, уже годами заброшенной работе, я не только затеял с ним разговор о ней, но сегодня же послал ему следующие заметки, дабы он сразу увидел, что уже завершено, а что еще требует доработки или композиционной перестановки.

## ПЕРВАЯ КНИГА

Эта книга, которую, согласно первоначальному плану, следует считать законченной, является своего рода вступлением, ибо в ней высказано настойчивое стремление уча-

ствовать в делах человечества, осуществлением коего, благодаря переезду в Веймар, и завершается целая эпоха жизни. Но, дабы она еще органичнее слилась с целым, мне представляется желательным, чтобы отношения с Лили, проходящие через четыре последующие книги, завязались еще в этой и были бы продолжены до переезда в Оффенбах. Таким образом, думается мне, первая книга стала бы объемистее, значительнее и не дала бы чрезмерно разбухнуть второй.

## ВТОРАЯ КНИГА

Идиллической жизнью в Оффенбахе открывается вторая книга. Она повествует о любовном счастье, покуда оно не начинает приобретать сомнительный, серьезный, даже трагический характер. Здесь вполне уместно рассмотрение весьма серьезных вопросов, обещанное ранее в связи с разговором о *Штиллинге*; таким образом даже из намеченных в немногих словах замыслов можно извлечь немало важного и поучительного.

## ТРЕТЬЯ КНИГА

Третью книгу, которая содержит в себе план продолжения «Фауста» и т. п., я бы назвал эпизодической, однако в ней говорится о предполагаемой *попытке расстаться с Лили*, и это связывает ее с остальными книгами.

Сомнения, уместен ли здесь план «Фауста», или предпочтительнее было бы его сюда не вставлять, могут быть разрешены только после прочтения уже готовых отрывков, когда выяснится, можно ли вообще надеяться на продолжение «Фауста» или нет.

## ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА

Третью книгу завершает разрыв с Лили. Посему четвертая весьма кстати начинается с приезда Штольбергов и Гаугвица, что определяет первую поездку в Швейцарию, а заодно и первое бегство от Лили. Подробная схема этой четвертой книги сулит много интересного и возбуждает в нас жажду детальнейшей разработки намеченного. То и дело прорывающаяся наружу неукротимая страсть к

Лили согревает и эту книгу жаром юношеской любви, который отбрасывает необычный, волшебный и трепетный свет на душевное состояние путешественника.

## ПЯТАЯ КНИГА

Эта прекрасная книга тоже почти что закончена. Продолжение и конец, коснувшись и даже чуть приоткрыв неисповедимую волю провидения, можно считать завершенными, здесь нужно разве что небольшое *введение*, которое, кстати сказать, вкратце уже набросано. Нуждается же оно в более подробной разработке, хотя бы уже потому, что в нем впервые заходит речь о веймарских связях, которым также впервые предстоит возбудить интерес читателя.

*Понедельник, 16 августа 1824 г.*

Общение с Гете в эти дни было весьма содержательным, но, увы, я был так занят всякого рода делами, что не выбрал времени записать даже наиболее значительные из множества его высказываний.

В свой дневник я занес лишь следующие мелочи, вдобавок еще позабыв, в какой связи и по какому поводу они возникли.

«Люди — это плавающие горшки, которые стучаются друг об друга».

«По утрам мы всего умнее, но и всего озабоченнее, ибо забота тоже ум, только что пассивный. Глупцы ее не ведают».

«Не надо тащить за собою в старость ошибки юности; у старости свои пороки».

«Придворная жизнь — как оркестр, где каждый должен соблюдать положенные ему такты и выдерживать паузы».

«Придворные пропали бы с тоски, если бы не умели заполнять свое время разными церемониями».

«Не стоит советовать властелину отступить хотя бы в самом маловажном деле».

«Кто хочет обучить актера, должен запастись бесконечным терпением».

Вечером у Гете. Мы говорили о *Клопштоке* и *Гердере*; я с удовольствием слушал, как он разъяснял мне заслуги сих мужей.

— Наша литература, — сказал он, — без этих могучих предшественников не могла бы стать тем, чем она стала. Выступив на литературном поприще, они опередили свое время и как бы увлекли его за собой. Но нынче уже время опередило их, и те двое, что были так необходимы, так значительны, перестали быть *посредниками* между старым и новым поколениями. Молодой человек, который в наши дни захотел бы почерпнуть свою культуру из Клопштока и Гердера, оказался бы весьма отсталым.

Потом мы говорили о «Мессии» Клопштока и его одах, обсуждая их достоинства и недостатки, и оба согласились с тем, что у Клопштока не было ни предрасположения, ни способностей для восприятия и художественного воссоздания чувственного мира, а следовательно, он был лишен существеннейших качеств эпического и драматического поэта, а вернее, поэта вообще.

— Мне вспоминается ода, — сказал Гете, — в которой он заставляет немецкую музу состязаться в беге с британской. Вы только вообразите себе эту картину — две девицы бегут, высоко вскидывая ноги и вздымая пыль; тут поневоле подумаешь, что наш добрый Клопшток ничего этого не видел и не умел чувственно себе представить, иначе такая неудача не могла бы его постигнуть.

Я спросил Гете, как он в юные годы относился к Клопштоку и высоко ли ценил его в то время.

— Я его почитал с присущим мне уважением к старшим, вроде как пожилого дядюшку. Благоговел перед всем, что бы он ни делал, и мне даже в голову не приходило размышлять об этом и отыскивать в его творениях какие-либо недостатки. Я принимал все хорошее, что в них было, а в общем, шел своим собственным путем.

Засим мы возвратились к Гердеру, и я спросил Гете, какое из его произведений он считает лучшим.

— Несомненно, его «Идеи к философии истории человечества», — отвечал Гете. — Со временем он ударился в негативизм и тут уж никому больше не доставлял радости.

— При всей значимости Гердера я не могу примириться с тем, что он так слабо разбирался в некоторых явлениях. К примеру, не прощаю ему, что при тогдашнем состоянии немецкой литературы он вернул рукопись «Геца

фон Берлихингена» испещренной язвительными замечаниями, ни словом при этом не обмолвившись о ее достоинствах. Видимо, каких-то органов восприятия ему все-таки недоставало.

— Да, в этом смысле с Гердером бывало нелегко, и даже если бы дух Гердера сейчас здесь присутствовал, он бы нас не понял, — с живостью добавил Гете.

— А вот на *Мерка*, я не нарадуюсь, ведь это он подвинул вас напечатать «Геца», — сказал я.

— Мерк, конечно, был удивительный и очень незаурядный человек, — ответил Гете. — «Напечатай-ка эту штуку, — сказал он. — Ей, конечно, грош цена, но ты ее все-таки напечатай!» Он не хотел, чтобы я переработал «Геца», и был прав. Вышло бы по-другому, но не лучше.

*Среда, 24 ноября 1824 г.*

Зашел к Гете вечером перед театром и застал его бодрым и благополучным. Он спросил о находящихся сейчас в Веймаре молодых англичанах, я же сказал, что собираюсь читать с господином *Дулэном* немецкий перевод Плутарха. Упоминание этого имени навело разговор на римскую и греческую историю, и Гете высказался по этому поводу следующим образом:

— Римская история нам, собственно говоря, уже не ко времени. Мы сделались настолько гуманны, что триумфы Цезаря не могут не претить нам. Малоутешительна и греческая история. Когда народ ополчается на внешнего врага, он, правда, велик и блистателен, но раздробление государства и вечная междоусобица, то, что грек обращает оружие против грека, от этого кажутся еще невыносимее. Тем паче что история наших дней, бесспорно, величественна и очень значительна. Битвы при Лейпциге и Ватерлоо так грандиозны, что затмевают и Марафонскую, и многие другие. Да и герои наши не уступают греческим героям: французских маршалов, а также Блюхера и Веллингтона вполне можно поставить в один ряд с ними.

Разговор перешел на новейшую французскую литературу на растущий день ото дня интерес французов к произведениям немецких писателей.

— Французы правильно поступили, начав изучать и переводить немцев, — сказал Гете. — Они ограничены в форме, ограничены в темах, а значит, им необходимо искать это вовне. Пусть нам, немцам, ставят в упрек известную бесформенность, зато мы превосходим их содержатель-

ностью. Пьесы Коцебу и Иффланда так богаты разнообразными сюжетами, что французы будут ощипывать их, покуда от тех перышка не останется. Но дороже всего им наш философский идеализм, ибо все идеальное пригодно для революционных целей.

— Французы, — продолжал он, — сильны и разумом, и духом, но у них нет фундамента и нет самоуважения. То, что выгодно для их стороны, то и хорошо. Они и хвалят нас не потому, что признают наши заслуги, а потому, что многие наши взгляды им на руку.

Затем мы еще немного поговорили о собственной нашей литературе и о том, что мешает становлению некоторых молодых поэтов.

— Основной недостаток этих молодых поэтов, — сказал Гете, — незначительность их субъективизма, в объективном же они не умеют отыскивать материал и в лучшем случае берутся за тот, который близок им, близок их субъективному восприятию. Увы, и думать не приходится о том, чтобы они обращались к материалу из-за него самого, из-за того, что он как нельзя лучше подходит для поэтического произведения, хотя субъективно для них и неприемлем. Но как я уже сказал: если бы они посерьезнее к себе относились, то, обогатившись знаниями и жизненным опытом, могли бы создать много хорошего; в первую очередь это, конечно, относится к нашим молодым лирикам.

*Пятница, 3 декабря 1824 г.*

На днях я получил от одного английского журнала письменное предложение, и притом на весьма выгодных условиях, ежемесячно давать им отчеты о новейших произведениях немецкой литературы. Я был очень склонен принять это предложение, но подумал, что надо бы сначала сообщить о нем Гете.

Итак, вечером, в час, когда зажигаются фонари, я отправился к нему. Он сидел при спущенных жалюзи за большим обеденным столом; две свечи горели на нем, освещая лицо Гете и стоявший перед ним колоссальный бюст, в созерцание которого он был погружен.

— Ну-с, кто это, по-вашему? — приветливо со мной поздоровавшись, спросил Гете и указал на бюст.

— Думается, что поэт и к тому же итальянец, — ответил я.

— Это Данте, — сказал Гете, — работа неплохая, а голова даже очень хороша, но, смотря на нее, не испыты-

ваешь радости. Данте здесь согбен годами, брюзглив, черты лица обмякшие и опущенные, словно он только что явился из ада. У меня есть медаль, сделанная при его жизни, насколько же он лучше выглядит на ней. — Гете встал и принес медаль. — Посмотрите, — сказал он, — какая сила в линии носа, как решительно вздернута верхняя губа, стремительный подбородок прекрасен в своем слиянии с челюстными костями! Виски, скулы и лоб в этом колоссальном бюсте остались почти такими же, как на медали, остальные черты — как-то по-стариковски одрябли. Но я не хочу хулить эту новую скульптуру, в целом, безусловно, заслуживающую одобрения.

Засим Гете осведомился, как я провел эти дни, о чем думал и чем занимался. Я тотчас же сказал ему о предложении, мне сделанном: на весьма выгодных условиях писать для английского журнала ежемесячные обзоры новых произведений немецкой изящной словесности, а также, что я склонен это предложение принять.

Лицо Гете, до сих пор приветливое и дружелюбное, после моих слов вдруг сделалось сердитым, каждая его черта свидетельствовала о том, что он осуждает мое намерение.

— Лучше бы ваши друзья, — сказал он, — оставили вас в покое. Зачем вам заниматься тем, что лежит вне круга ваших интересов и противоречит вашим природным наклонностям? У нас в обращении имеется золото, серебро и ассигнации, и то, и другое, и третье имеет свою ценность, свой курс, но для того, чтобы эту ценность определить, необходимо знать курс. То же самое и с литературой. Вы умеете оценивать металлы, но не ассигнации, к этому вы не приспособлены, а значит, ваша критика будет несправедливой и вы все это дело загубите. Если же вы захотите быть справедливым и каждое произведение оцените по достоинству, вам придется сначала хорошо узнать нашу среднюю литературу, что, разумеется, будет вам стоить больших трудов. Вы должны будете вернуться вспять и ознакомиться с тем, что хотели сделать и сделали Шлегели; кроме того, вы обязаны будете читать всех новейших авторов, Франца Горна, Гофмана, Клорена и так далее — всех, всех. Вдобавок вам придется просматривать газеты, как утренние, так и вечерние, дабы немедленно узнавать о появлении какой-нибудь новинки, и вы тем самым испортите себе лучшие часы и дни. И еще: новые книги, о которых вам захочется сказать поподробнее, вам ведь придется уже не просматривать, а прочитывать, более того — изу-

чать. Сомневаюсь, чтобы это вам пришлось по вкусу! И, наконец, если вы плохой сочтете плохим, вам нельзя будет даже заявить об этом во всеуслышанье, не вступая в войну со всем человечеством.

Нет, вам следует отклонить это предложение, оно не в вашем духе. Да и вообще, старайтесь не разбрасываться, копите свои силы. Если бы я догадался об этом тридцать лет назад, я и вел бы себя по-другому. Сколько мы с Шиллером попусту растратили времени, занимаясь «Орами» и «Альманахом муз»! На днях я просматривал нашу переписку, все это ожило в моей памяти, и я уже не могу без досады вспоминать наши тогдашние затеи; поношений мы за них наслушались вдоволь, нам они никаких плодов не принесли. Талантливый человек воображает, что может сделать решительно все, что делают другие, но, к сожалению, это не так, и со временем он сожалеет о своих *faux-frais*<sup>1</sup>. Много ли толку от того, что на ночь мы накручиваем волосы на папильотки? У нас в волосах обрывки бумаги — вот и все, а к вечеру волосы уже опять прямые.

— Вам важно одно, — продолжал он, — сколотить себе капитал, который никогда не иссякнет. Этого вы добьетесь, продолжая изучение английского языка и литературы. Не пренебрегайте счастливой возможностью, ежечасно являющейся вам в лице молодых англичан. В юности вам не удавалось заняться древними языками, посему ищите себе опору в литературе такой славной нации, как англичане. К тому же и собственная наша литература своим существованием в значительной степени обязана литературе английской. Наши романы, наши трагедии, разве они не восходят к Голдсмиту, Филдингу и Шекспиру? А разве в Германии, даже в наши дни, вы найдете титанов литературы, которых можно было бы поставить в один ряд с лордом Байроном, Муром или Вальтером Скоттом? Итак, говорю вам еще раз: постарайтесь утвердиться в знании английского, сберечь силы для настоящей работы, отставьте все ненужное, беспоследственное, вам не подобающее.

Я был счастлив, что Гете так разговорился, душа моя успокоилась, и я решил во всем и всегда следовать его советам.

Доложили о приходе канцлера фон Мюллера, который присоединился к нам. Опять разговор завертелся вокруг стоящего перед нами бюста Данте, вокруг его жизни и его творений. Всех нас поражал темный их смысл, непонятный

---

<sup>1</sup> Лишние расходы (*фр.*).

даже итальянцам, иноземцам же тем паче невозможно было проникнуть в глубины этого мрака.

— Вам, — вдруг ласково обратился ко мне Гете, — ваш духовник должен был бы раз и навсегда запретить изучение этого поэта.

Далее Гете заметил, что сложная рифмовка едва ли не в первую очередь способствует затрудненному пониманию Данте. Вообще же он говорил о нем с благоговением, причем меня поразило, что он не довольствовался словом *«талант»* и вместо такового употреблял *«природа»*, чем, видимо, хотел выразить нечто более всеобъемлющее, пророчески-суровое, шире и глубже охватывающее мир.

*Четверг, 9 декабря 1824 г.*

Под вечер пошел к Гете. Он дружелюбно протянул мне руку, приветствуя меня похвалой моему стихотворению к юбилею Шелгорна. Я поспешил сообщить ему, что отклонил предложение англичан.

— Слава богу, — сказал он, — теперь вы снова свободны и спокойны. Но я должен предостеречь вас еще от одной опасности. Придут композиторы и будут требовать от вас либретто для оперы; но вы и тут оставайтесь стойким — не соглашайтесь, ибо это бесполезная трата времени.

Затем Гете рассказал, что отправил в Бонн автору *«Парии»* через Ниса фон Эзенбека театральную программу, из коей поэт усмотрит, что его пьеса дается в Веймаре.

— Жизнь коротка, — добавил он, — надо стараться доставлять друг другу приятное.

Перед ним лежали берлинские газеты, он сообщил о страшном наводнении в Петербурге и передал мне газету, чтобы я сам прочитал эту заметку. Он сказал несколько слов о неудачном местоположении Петербурга и посмеялся, вспомнив слова Руссо, что-де землетрясение не предотвратишь, построив город вблизи огнедышащего вулкана.

— Природа идет своим путем, — добавил он, — и то, что нам представляется исключением, на самом деле — правило.

Разговор перешел на бури, бушевавшие едва ли не у всех берегов, и на прочие грозные явления природы, о которых сообщали газеты; я спросил Гете, не знает ли он, какая связь существует между ними.

— Этого никто не знает, — отвечал Гете, — мы даже не догадываемся о столь таинственных явлениях, так как же нам говорить о них.

Тут слуга доложил о главном архитекторе Кудрэ, а также о профессоре Римере. Они вошли, и беседа тотчас же вернулась к петербургскому наводнению. Кудрэ набросал план Петербурга, и нам уяснился как характер тамошней местности, так и постоянная угроза городу со стороны Невы.



*Понедельник, 10 января 1825 г.*

Гете, питавший живой интерес к англичанам, просил меня постепенно представить ему всех молодых людей из Англии, сейчас пребывавших в Веймаре. Сегодня в пять он назначил мне прийти с английским военным инженером, господином Х., о котором я заранее рассказал ему много хорошего. Итак, мы явились, и слуга провел нас в тепло натопленную комнату, где Гете имел обыкновение сидеть в послеобеденные и вечерние часы. Три свечи горели на столе, но Гете в комнате не было, до нас донесся его голос из зала за стеной.

Господин Х. оглядывал комнату, внимание его, кроме картин и большой карты гор на стенах, было привлечено полками с множеством папок на них. Я сказал, что в этих папках хранятся собственноручные рисунки прославленных мастеров, а также гравюры с лучших полотен всевозможных школ, которые Гете собирал в продолжение всей своей жизни и время от времени любит просматривать.

После нескольких минут ожидания вошел Гете и приветливо с нами поздоровался.

— Я позволяю себе говорить с вами по-немецки, — обратился он к господину Х., — так как слышал, что вы уже достаточно изучили этот язык.

Последний ответил ему какой-то любезностью, и Гете попросил нас сесть.

Господин Х., видимо, произвел на Гете благоприятное впечатление, так как его из ряда вон выходящее дружелюбие и ласковая мягкость проявились по отношению к молодому иностранцу во всей своей полноте.

— Вы правильно поступили, приехав к нам, — сказал он, — здесь вы легко и быстро освоитесь не только с языком, но также со стихией, которая его породила, и увезете с собой в Англию представление о нашей почве, климате, образе жизни, обычаях, общественных отношениях и государственном устройстве.

— Интерес к немецкому языку, — отвечал господин Х., — в Англии нынче очень велик и с каждым днем охватывает все более широкие круги, так что сейчас едва ли сыщется молодой англичанин из хорошей семьи, который бы не изучал немецкий язык.

— Мы, немцы, — все так же дружелюбно сказал Гете, — в этом смысле на полстолетия опередили ваших соотечественников. Я уже пятьдесят лет занимаюсь английским языком и английской литературой, так что мне хорошо известны ваши писатели, равно как жизнь и порядки вашей страны. Окажись я в Англии, я не был бы там чужеземцем.

Как я уже сказал, ваши молодые люди поступают правильно, изучая немецкий язык, и не потому только, что наша литература этого заслуживает; теперь уже никто не станет отрицать, что тот, кто хорошо знает немецкий, может обойтись без других языков. О французском я не говорю, это язык обиходный и прежде всего необходимый в путешествиях, его все понимают, и он в большинстве стран подменяет собою дельного переводчика. Что касается греческого, латыни, итальянского и испанского, то мы имеем возможность читать лучшие произведения этих народов в таких превосходных немецких переводах, что у нас не возникает необходимости, если, конечно, не задаешься какими-то специальными целями, в кропотливом изучении всех этих языков. В натуре немцев заложено уважение к чужеземной культуре и умение приспособляться к различным ее особенностям. Именно это свойство, заодно с удивительной гибкостью немецкого языка, и делает наши переводы столь точными и совершенными.

Вполне очевидно, что хороший перевод значит очень много. Фридрих Великий не знал латыни, но читал любимого своего Цицерона во французском переводе с не меньшим увлечением, чем мы читаем его в подлиннике.

Засим, свернув разговор на театр, Гете спросил господина Х., частый ли он посетитель театральных представлений.

— Я бываю в театре каждый вечер, — отвечал тот, — и считаю, что это очень и очень способствует пониманию языка.

— Примечательно, что слуховое восприятие и способность понимать предшествуют способности говорить, так что человек быстро научается пониманию, но выразить все понятое не в состоянии.

— Я ежедневно убеждаюсь в правильности этого замечания, — отвечал господин Х., — ибо отлично понимаю все, что говорится вокруг, и все, что я читаю, более того, чувствую, если кто-нибудь неправильно говорит по-немецки, но стоит мне заговорить самому, и я начинаю запинаться, не умея выразить свою мысль. Легкая беседа при дворе, шутовская болтовня с дамами, разговор во время танцев — это я уже постиг. Но когда я хочу высказать свое мнение о чем-то более высоком, когда хочу сострить или сделать оригинальное замечание, язык у меня словно прилипает к гортани и я не в силах даже рта раскрыть.

— Утешайтесь тем, — ответил ему Гете, — что выразить нечто необычное нам иной раз не удастся даже на родном языке.

Затем он спросил господина Х., что тот читал из немецкой литературы.

— Я прочитал «Эгмонта», — сказал англичанин, — и эта пьеса доставила мне такое наслаждение, что я трижды к ней возвращался. То же самое я могу сказать и о «Торквато Тассо». Сейчас я читаю «Фауста», но он мне, пожалуй, еще трудноват.

При этих словах Гете рассмеялся.

— Право, я не советовал бы вам уже теперь браться за «Фауста». Это вещь сумасшедшая, она выходит за рамки привычного восприятия. Но поскольку вы, не спросив меня, уже стали ее читать, посмотрим, что из этого получится. Фауст такая необычная личность, что лишь немногие могут проникнуться его чувствами. Да и Мефистофеля не так-то просто раскусить, он насквозь пронизан иронией и в общем-то является живым воплощением определенного миропознания. Но посмотрим, в каком свете он перед вами предстанет. Что касается Тассо, то его душевный мир ближе обычным человеческим чувствам, да и отточенность формы здесь облегчает понимание.

— И все же, — возразил господин Х., — в Германии

«Тассо» считают трудным, кое-кто даже выразил удивление, узнав, что я его читаю.

— Главное при чтении «Тассо», — сказал Гете, — это чувствовать себя взрослым и в какой-то мере знать нравы избранного общества. Молодой человек из хорошей семьи, одаренный умом и известной чуткостью, к тому же просвещенный, пусть даже поверхностно, благодаря общению со значительными людьми из высших сословий, «Тассо» трудным не сочтет.

Разговор перешел на «Эгмонта», и Гете по этому поводу сказал следующее:

— Я написал «Эгмонта» в тысяча семьсот семьдесят пятом году, следовательно, пятьдесят лет назад. Я во всем придерживался истории и стремился ко всей возможной правдивости. Десять лет спустя, находясь в Риме, я прочитал в газетах, что революционные сцены, воссозданные в «Эгмонте», до последней подробности повторились в Нидерландах. Из этого я заключил, что мир по сути своей остается неизменным и что мое изображение действительности не лишено жизненной правды.

Среди всех этих разговоров подошло время отправляться в театр, мы поднялись, и Гете доброжелательно отпустил нас.

По пути домой я спросил господина Х., как ему понравился Гете.

— Мне еще не встречался человек, — отвечал тот, — в котором обходительная мягкость в такой мере сочеталась бы с прирожденным величием. Он во всем велик, как бы он ни держался и как бы ни был снисходителен.

*Вторник, 18 января 1825 г.*

Сегодня в пять часов отправился к Гете, которого не видел уже несколько дней, и провел с ним прекрасный вечер. Я его застал в кабинете, где он сумерничал, беседуя с сыном и надворным советником Ребейном, своим врачом. Я подсел к их столу. Некоторое время мы еще проговорили в полутьме, потом внесли свечи, и я обрадовался, что Гете так хорошо выглядит и так бодр.

С обычной своей участливостью он спросил, что нового встретилось мне в эти дни. Я рассказал о своем знакомстве с некоей поэтессой и воздал должное ее оригинальному таланту; Гете, знавший кое-что из ее произведений, присоединился к моим похвалам.

— Одно из ее стихотворений, в котором она описывает природу своих родных краев, носит весьма самобытный характер. Талант ее направлен на внешнее, но у нее достаточно и хороших внутренних качеств. Много в ней, правда, заслуживает порицания, но пусть себе идет тем путем, по которому ее влечет талант, мы ее с него сбивать не станем.

Разговор перешел на поэтесс вообще, и надворный советник Ребейн заметил, что поэтический талант у женщин ему нередко представляется духовным половым влечением.

— Нет, вы только послушайте, — смеясь и глядя на меня, сказал Гете, — «*духовное половое влечение!*» — вот как выражаются врачи.

— Не знаю, так ли я выразился, — продолжал тот, — но в какой-то мере это правильно. Обычно эти создания не знают счастья в любви и ищут ему замены в духовном. Если бы они вовремя вышли замуж и народили детей, они бы и не помышляли о поэзии.

— Не буду вникать, — сказал Гете, — насколько вы правы в данном случае, но я знавал немало женщин, одаренных в других областях искусства, и с замужеством все это кончалось. Некоторые девушки прекрасно рисовали, но, став женщинами, матерями, уже не брали в руки карандаша и занимались только своими детьми.

— Я считаю, — с живостью продолжал он, — пусть наши поэтессы творят и пишут, сколько их душе угодно, лишь бы наши мужчины не писали, как дамы! Вот это уж мне не по вкусу! Почитайте наши журналы, наши альманахи, до чего же это слабо и с каждым днем становится еще слабее! Если сейчас перепечатать главу из *Челлини* в «Утреннем листке», она бы все затмила!

— Но покамест оставим эти разговоры, — весело продолжал он, — и порадуемся нашей славной девушке из Галле, которая по-мужски умно вводит нас в сербскую жизнь. Ее стихи превосходны! Некоторые из них можно поставить в ряд с Песнью Песней, а это кое-что значит. Я написал статью об этих стихах и уже напечатал ее.

С этими словами он протянул мне четыре первых, уже чистых, листа «Об искусстве и древности» с напечатанной статьей.

— Я кратко охарактеризовал отдельные стихотворения в соответствии с основным их содержанием, и думается, вы оцените прелесть этих мотивов. Ребейн ведь тоже не чужд поэзии, во всяком случае, того, что касается ее содержания

и материала, может быть, и ему доставит некоторое удовольствие, если вы вслух прочтаете это место.

Я стал медленно читать. Краткое содержание стихотворений было здесь обозначено так исчерпывающе, так взволнованно, что при каждом слове целое вставало перед моими глазами. Но всего обворожительнее показались мне следующие:

1

Скромность сербской девушки; она никогда не поднимает своих прекрасных ресниц.

2

Разлад в душе любящего: он шафер и должен подвести свою любимую к жениху.

3

Тревожась о любимом, девушка отказывается петь, чтобы не казаться веселой.

4

Сетования по поводу новых обычаев: юноша сватает вдову, старик — девушку.

5

Сетование юноши: мать предоставляет дочери слишком много свободы.

6

Доверительно-веселый разговор девушки с конем, который выдает ей чувства и намерения своего господина.

7

Девушка не хочет идти за нелюбимого.

8

Прекрасная трактирщица; среди посетителей нет ее возлюбленного.

Отыскал и с нежностью будит любимую.

Какое ремесло у суженого?

Из-за болтливости проворонила любовь.

Суженый вернулся с чужбины, днем к ней приглядывается, ночью вторгается к ней.

Я сказал, что эти обнаженные мотивы позволили мне все так живо вообразить, словно я целиком прочитал стихотворения, и посему я уже и не стремлюсь читать их.

— Вы совершенно правы, — сказал Гете. — Так оно и есть, но из этого вы можете заключить, сколь в поэзии важно содержание, чего никто понять не хочет, тем паче наши женщины. Какое прекрасное стихотворение, восклицают они, но думают при этом только о чувствах, о словах, о стихе. О том же, что подлинная сила стихотворения заложена в ситуации, в содержании, — им и в голову не приходит. Потому-то и выпекаются тысячи стихотворений, в которых содержание равно нулю, и только некоторая взволнованность да звонкий стих имитируют подлинную жизнь. Вообще говоря, дилетанты, и прежде всего женщины, имеют весьма слабое понятие о поэзии. В большинстве случаев они думают: только бы управиться с техникой, за сутью дело не станет и мастерство у нас в кармане, — но, увы, они заблуждаются.

Пришел профессор Ример; надворный советник Ребейн откланялся. Ример подсел к нам. Разговор о сербских любовных стихах продолжался. Ример сразу понял, о чем речь, и заметил, что по вышеупомянутому краткому содержанию не только можно писать стихи, но что эти мотивы, независимо от их существования в сербской поэзии, уже были использованы немцами. Он при этом прочитал несколько своих стихотворений, мне же, еще во время чте-

ния, пришли на ум некоторые стихотворения Гете, что я и высказал.

— Мир остается таким, каким был, — заметил Гете, — события повторяются, один народ живет, любит и чувствует, как другой: так почему бы одному поэту и не писать, как другому? Теми же остаются и жизненные положения: так почему бы им не оставаться теми же и в стихах?

— Как раз эта однородность жизни и чувств, — вставил Ример, — и позволяет нам постигать поэзию других наций. В противном случае мы бы не понимали, о чем идет речь в стихах чужеземных поэтов.

— Потому-то я всегда удивляюсь тем ученым, — вмешался я, — которые считают, что путь поэтического творчества пролегает не от жизни к поэзии, а от книги к книге. Вечно они твердят: это он почерпнул отсюда, а вот это — оттуда! Ежели у Шекспира они обнаруживают мотивы, уже встречавшиеся у древних, значит, он таковые позаимствовал из античной литературы! Так, например, мы иногда читаем у Шекспира славословия родителям, имеющим красивую дочь, и юноше, который введет ее хозяйкою в свой дом. А поскольку этот мотив встречается и у Гомера, то вывод готов — Шекспир поживился им у Гомера! Странно! Зачем тут далеко ходить, как будто мы не встречаем подобного на каждом шагу, не испытываем таких чувств и не говорим о них.

— О да, — согласился Гете, — это просто смешно!

— Плохо, что и лорд Байрон повел себя не умнее, он расчленил вашего «Фауста», уверяя, что вот это взято отсюда, а то отсюда.

— Я, признаться, — сказал Гете, — даже и не читал большинства произведений, о которых говорит лорд Байрон, и уж тем более о них не думал, когда писал «Фауста». Но лорд Байрон велик лишь в своем поэтическом творчестве, а когда пускается в размышления — сущий ребенок. Он и себя-то не умеет отстоять против неразумных нападок своих соотечественников; ему следовало бы хорошенько отчитать их. Что я написал — то мое, вот что он должен был бы сказать им, а откуда я это взял, из жизни или из книги, никого не касается, важно — что я хорошо управился с материалом! Вальтер Скотт заимствовал одну сцену из моего «Эгмонта», на что имел полное право, а так как обошелся он с ней очень умно, то заслуживает только похвалы. В одном из своих романов он почти что повторил характер моей Миньоны; но было ли это сделано так уж умно — осталось под вопросом! «Преображен-

ный урод» лорда Байрона — продолженный Мефистофель, и это хорошо! Пожелай он для оригинальности дальше отойти от уже существовавшего образа, вышло бы хуже. Мой Мефистофель поет песню, взятую мною из Шекспира, ну и что за беда? Зачем мне было ломать себе голову, выдумывая новую, если Шекспирова оказалась как нельзя более подходящей и говорилось в ней именно то, что мне было нужно. Если в экспозиции моего «*Фауста*» есть кое-что общее с *Книгой Иова*, то это опять-таки не беда, и меня за это надо скорее похвалить, чем порицать.

Гете был в отличнейшем расположении духа. Он велел принести бутылку вина и налил мне и Римеру; сам он пил «Мариенбадскую воду». Сегодня вечером он, видимо, собирался просмотреть вместе с Римером продолжение своей автобиографии и внести отдельные стилистические поправки.

— Хорошо бы, Эккерман остался с нами и тоже послушал, — сказал Гете, что меня очень обрадовало, и положил перед Римером рукопись, которую тот начал читать с 1795 года.

Нынешним летом я уже имел счастье читать, перечитывать и обдумывать эти еще не напечатанные страницы его жизни вплоть до новейшего времени. Но слушать их в присутствии Гете было ни с чем не сравнимым наслаждением. Ример с чрезвычайной настороженностью относился к языку как таковому, и я невольно восхищался тонкостью его восприятия и богатством речевых оборотов. Для Гете же всякий раз оживала описываемая пора, он весь уходил в прошлое и при упоминании отдельных лиц и событий дополнял то, что стояло в рукописи, подробнейшим устным рассказом. Это был незабываемый вечер! Кого только мы не помянули из великих наших современников, а к *Шиллеру*, неразрывно связанному с эпохой 1795—1800 годов, разговор возвращался непрестанно. Театр был поприщем их совместной деятельности, к тому же и значительнейшие из произведений Гете приходятся на это время. Тогда был закончен «Вильгельм Мейстер», сразу после него была задумана и завершена поэма «Герман и Доротея», для «Ор» был сделан перевод Челлини, для Шиллерова «Альманаха муз» совместно создавались «Ксении», так что встречались они ежедневно. Обо всем этом было говорено сегодня, и это же дало Гете повод для интереснейших высказываний.

— «Герман и Доротея», — сказал он между прочим, — едва ли не единственное из моих больших стихотворений,

которое и доныне доставляет мне радость; я не могу писать его без сердечного волнения. Но всего больше я люблю его в латинском переводе, по-моему, на этом языке оно звучит благороднее, в силу самой своей формы как бы возвращаясь к первоисточнику.

Потом речь снова зашла о «Вильгельме Мейстере».

— Шиллер порицал м е н я , — сказал Г е т е , — за то, что я вплепел туда трагический мотив, который будто бы диссоциирует с романом. Но он был неправ, как мы все это знаем. В его письмах ко мне высказаны интереснейшие соображения по поводу «Вильгельма Мейстера». Кстати сказать, это произведение принадлежит к самым непредсказуемым, у меня самого, пожалуй, нет ключа к нему. Искать в нем центр тяжести бессмысленно, да и не стоит этим заниматься. Мне думается, что богатая, разнообразная жизнь, проходящая перед нашим взором, чего-то стоит сама по себе, даже без очевидной тенденции, которая может вместиться и в отвлеченное понятие. Но если уж кому-то припадёт охота до нее докопаться, то я бы посоветовал обратить внимание на слова Фридриха, которые он в конце говорит нашему герою: «Ты похож на Саула, сына Киса. Вышел он искать ослиц своего отца, а нашел царство». Этим и следует руководствоваться. Ведь в конце концов этот роман говорит лишь о том, что человек, несмотря на все свои ошибки и заблуждения, добирается до желанной цели, ежели его ведет рука провидения.

Разговор наш перекинулся на достаточно высокую культуру средних сословий, за последние пятьдесят лет распространившуюся в Германии, причем Гете объяснял это влиянием не столько Лессинга, сколько Гердера и Виланда.

— Лессинг, — сказало н , — был высочайший интеллект, и многому от него научиться мог лишь равновеликий. Для половинчатых умов он был опасен. — Он назвал некоего журналиста, который в своем развитии опирался главным образом на Лессинга и в конце прошлого столетия играл известную роль, впрочем, не слишком благовидную, ибо значительно уступал своему великому предшественнику.

— Виланду, — продолжало н , — вся верхняя Германия обязана своим чувством стиля. Немцы многому от него научились, а уменье должным образом выражать свои мысли — дело немаловажное.

При упоминании о «Ксениях» Гете на все лады хвалил Шиллера, его «Ксени» он считал разящими и меткими, свои же — вялыми и бледными.

— Шиллерово собрание насекомых, — сказал он, — я всякий раз читаю с восхищением. Благое влияние, оказанное этими «Ксениями» на немецкую литературу, трудно переоценить.

Во время этого разговора он называл множество лиц, против коих были направлены «Ксении», но в моей памяти их имена не сохранились.

Когда чтение рукописи, то и дело прерываемое интереснейшими высказываниями Гете и его отдельными репликами, завершилось концом 1800 года и мы еще обсудили ее, Гете отодвинул в сторону все бумаги и велел на конце большого стола, за которым мы сидели, сервировать легкий ужин. Мы с удовольствием закусили, но сам он ни к чему не притронулся, — впрочем, я никогда не видел, чтобы он ел по вечерам. Он сидел с нами, снимал нагар со свечей и потчевал нас еще и духовной пищей — прекрасными своими речами. Воспоминания о Шиллере так захватили его, что во вторую половину вечера только о нем и велся разговор.

Пример вспоминал его внешний облик. Его телосложение, его походку, когда он шел по улице: каждое его движение, говорил он, было исполнено гордости, только глаза светились кротостью.

— Да, — подтвердил Гете, — все в нем было горделиво и величественно, но в глазах выражалась кротость. И талант его был таким же, как его телесная стать. Он отважно брался за высокие сюжеты, исследовал их, вертел так и эдак, вглядывался в них то с одной, то с другой стороны, причем на любой из своих сюжетов смотрел как бы извне, постепенное развитие изнутри было ему чуждо. Талант его отличало непостоянство. Посему он никогда ни на чем не мог окончательно остановиться. Роль он, случалось, изменял уже перед самой репетицией.

И так как он всегда смело брался за дело, то сложные мотивировки не были его сильной стороной. Сколько я с ним намаялся из-за «Телля», — он непременно хотел, чтобы Геслер сорвал с дерева яблоко, которое отец должен был сбить выстрелом с головы ребенка. Мне это претило, и я уговаривал его мотивировать такую жестокость хотя бы тем, что мальчик похваляется отцом перед ландфогтом, уверяя, что тот за сто шагов может сострелить яблоко с дерева. Шиллер сначала упрямялся, но потом сдался на мои просьбы и представления и сделал так, как я ему советовал.

Я же, напротив, грешил обилием мотивировок, что де-

лало мои пьесы недостаточно сценичными. Моя «Евгения» — это целая цепь мотивировок, почему она и не может иметь успеха на театре.

Талант Шиллера был поистине театральным талантом. Каждая новая его пьеса была шагом вперед, каждую отличала все большая завершенность. Но, удивительное дело, еще со времен «Разбойников» на его талант налип какой-то привкус жестокости, от которого он не отделался даже в лучшие свои времена. Я, например, хорошо помню, как он настаивал, чтобы в «Эгмонте», когда Эгмону в тюрьме читают приговор, из задней кулисы появился Альба в плаще и маске, дабы насладиться впечатлением, которое на того произведет смертный приговор. Это должно было свидетельствовать о ненасытной жажде мести и злорадстве герцога. Я на это, конечно же, не пошел, и Альба в тюрьме так и не появился. Шиллер был великий человек, но чудак.

Всякую неделю он являлся мне другим, еще более умудренным. При каждой встрече мне оставалось только удивиться еще большей его начитанности, учености, большей зрелости суждений. Письма Шиллера — лучшая память, мне о нем оставшаяся, и в то же время едва ли не лучшее из всего им написанного. Последнее его письмо я как святыню храню в своей сокровищнице. — Гете встал и принес это письмо.

— Вот, взгляните на него и прочитайте, — сказал он, протягивая мне письмо.

Написанное смелым, размашистым почерком, оно было прекрасно. В нем Шиллер высказывал свое мнение относительно примечаний Гете к «Племяннику Рамо», произведению, характерному для французской литературы той поры, которое он в рукописи получил от Гете. Я прочитал это письмо Римеру.

— Вы видите, — сказал Гете, — как собранно, как метко его суждение, и на почерке несколько не сказывается слабость. Замечательный человек, и ушел он от нас в полном расцвете сил. Это письмо от двадцать четвертого апреля тысяча восемьсот пятого. Скончался Шиллер девятого мая.

Мы по очереди рассматривали письмо, восхищались ясностью языка и прекрасным почерком. Гете в исполненных любви словах воздал дань памяти своего друга, но время уже близилось к одиннадцати, и мы откланялись.

— Если бы я, как некогда, стоял во главе театра, — сказал Гете, — я бы поставил Байронова «Венецианского дожа». Конечно, эта вещь слишком длинна и ее надо было бы сократить, но не резать, не кромсать, а, тщательно обдумав содержание каждого явления, изложить его покороче. Таким образом, пьеса сжалась бы сама собой, не потерпев урона от привнесенных изменений, и, безусловно, выиграла бы в смысле силы воздействия, не утратив существенных своих достоинств.

Это высказывание Гете мгновенно уяснило мне, как в подобных случаях следует поступать в театре, но, разумеется, осуществление такой задачи может взять на себя человек не только умный, но поэтически одаренный и хорошо разбирающийся в театральном деле.

Мы продолжали разговор о лорде Байроне, и я вспомнил, что в своих беседах с Медвином он уверяет, что нет ничего более трудного и неблагоприятного, чем писать для театра.

— Все зависит от того, — заметил Гете, — сумеет ли писатель найти тот путь, по которому пошли интересы публики и ее вкус. Ежели направленность писательского таланта совпадет с направленностью публики, то все в порядке. Этот путь нащупал Хувальд в своем «*Портрете*» — отсюда и его повсеместный успех. Лорду Байрону не так повезло, ибо его вкус расходится со вкусом публики. Здесь дело отнюдь не в том, подлинно ли велик поэт, ибо благосклонностью публики пользуется скорее тот, чья личность не слишком возвышается над общим уровнем.

В продолжение всего разговора о лорде Байроне Гете восхищался незаурядностью его таланта.

— То, что я называю первопрозрением, — сказал он, — в такой степени не встречалось мне ни у кого на свете. Маниера, в которой он развязывает драматический узел, всегда нова и всегда превосходит наши ожидания.

— То же самое поражает меня у Шекспира, — вставил я, — прежде всего в Фальстафе, который окончательно запутался в своей лжи; я каждый раз задаюсь вопросом, что бы я заставил его сделать, как вызволил бы его из злополучных тенет, но Шекспир, разумеется, намного изобретательнее меня. А то, что вы говорите это же о лорде Байроне, вероятно, наивысшая из похвал, которая может выпасть на его долю. Впрочем, — добавил я, — поэт, оди-

наково знающий и начало и конец, куда как превосходит увлеченного читателя.

Гете со мной согласился и даже посмеялся над лордом Байроном: он-де, никогда в жизни никому и ничему не подчинявшийся и никаких законов не признававший, в конце концов подпал под власть глупейшего закона о *трех единствах*.

— В сути этого закона, — сказал Гете, — он так же мало разбирался, как и все остальные. *Суть* же его — единство впечатления, и пресловутые три единства хороши лишь постольку, поскольку они способствуют достижению этого эффекта. Если они ему препятствуют, то в высшей степени неразумно рассматривать их как закон и как закону им подчиняться. Даже греки, придумавшие эти правила, не всегда им следовали. В «Фаэтоне» Еврипида и в других пьесах место действия меняется, из чего следует, что достойное воплощение замысла было им важнее слепого преклонения перед законом, который сам по себе немногочислен. Шекспир невесть как далеко отходит от единства места и времени, но все его пьесы создают единство впечатления больше, чем какие-либо другие, и посему даже греки признали бы их безупречными. Французские писатели стремились всего строже следовать закону трех единств, но они погрешали против единства впечатления, ибо драматическое положение разрешали не драматически, а повествовательно.

Я подумал о «*Врагах*» Хувальда; в них автор многое себе напортил, сляясь сохранить единство места; в первом акте он разрушил единство впечатления, да и вообще в угоду нелепой причуде пожертвовал тем воздействием, которое могло бы иметь эта пьеса, за что его, уж конечно, никто не поблагодарит. И тут же мне пришел на ум «Гец фон Берлихинген», пьеса невообразимо далеко отошедшая от единства времени и места; действие ее развивается в настоящем, можно сказать, на глазах у зрителей, и потому она драматичнее всех пьес на свете, и нигде в ней не нарушено единство впечатления. И еще я подумал, что единство времени и места лишь тогда естественно и лишь тогда соответствует духу древних греков, когда событие так мало объемно, что может в отведенное ему время во всех подробностях развиться в присутствии зрителя, но какие же основания имеются у автора ограничивать *одним* местом большое, в разных местах происходящее действие, тем паче в наши дни, когда сцены приспособлены для быстрой перемены декораций.

Гете продолжал говорить о Байроне.

— Его натуре, постоянно стремящейся к безграничному у, — заметил он, — пошли на пользу те ограничения, на которые он обрек себя соблюдением трех единств. Если бы он сумел так же ограничить себя и в области нравственного! То, что он не сумел этого сделать, его сгубило, смело можно сказать, что он погиб из-за необузданности своих чувств.

Он сам себя не понимал и жил сегодняшним днем, не отдавая себе отчета в том, что делает. Себе он позволял все, что вздумается, другим же ничего не прощал и таким образом сам себе портил жизнь и восстанавливал против себя весь мир. Своими «English Bards and Scotch Reviewers»<sup>1</sup> он с места в карьер оскорбил наиболее выдающихся литераторов. Потом, просто чтобы просуществовать, вынужден был сделать шаг назад. Но в последующих своих произведениях снова занял позицию непримиримую и высокомерную; даже государство и церковь он не обошел своими нападками. Эти дерзкие выходки принудили его уехать из Англии, а со временем заставили бы покинуть и Европу. Ему везде было тесно; несмотря на беспредельную личную свободу, он чувствовал себя угнетенным, мир казался ему тюрьмой. Его бегство в Грецию не было добровольно принятым решением — на это подвиг его разлад со всем миром.

Не только отречение от всего традиционного, патристического убило в нем выдающегося человека, но его революционный дух и ум, постоянно возбужденный, не позволили ему должным образом развить свой талант. К тому же вечная оппозиция и порицание приносили величайший вред всем его прекрасным произведениям. И не потому только, что уязвленное чувство автора сообщалось читателю, но и потому, что постоянное недовольство порождает отрицание, отрицание же ни к чему не ведет. Если дурное я называю дурным, много ли мне от этого пользы? Но если дурным назвать хорошее, это уже вредоносно. Тот, кто хочет благотворно воздействовать на людей, не должен браниться и болеть о чужих пороках, а всегда творить добро. Дело не в том, чтобы разрушать, а в том, чтобы созидать то, что дарит человечеству чистую радость.

Я впитывал прекрасные эти слова и радовался бесценному изречению.

---

<sup>1</sup> «Английские барды и шотландские обозреватели» (англ.).

— К лорду Байрону, — продолжал он, — надо подходить как к человеку, к англичанину и великому таланту. Лучшие его качества следует приписать человеку, худшие тому, что он был англичанином и пэром Англии; талант же его ни с чем не соизмерим.

Англичанам вообще чужд самоанализ. Рассеянная жизнь и партийный дух не позволяют им спокойно развиваться и совершенствовать себя. Но они непревзойденные практики.

Лорд Байрон тоже не удосуживался поразмыслить над собой, потому, вероятно, и его рефлексии мало чего стоят, что доказывает хотя бы такой девиз: «*Много денег и никакой власти над тобой!*» — ибо большое богатство парализует любую власть.

Но зато все, что бы он ни создавал, у него получалось, и смело можно сказать, что вдохновение у него подменяло собою рефлексию. Он постоянно ощущал потребность творить, и все, что он творил, все, что исходило от его сердца, было великолепно. Он создавал свои произведения, как женщины рожают прекрасных детей, бездумно и бессознательно.

Байрон — великий талант, и талант *прирожденный*. Ни у кого поэтическая сила не проявлялась так мощно. В восприятии окружающего, в ясном видении прошедшего он не менее велик, чем Шекспир. Но как личность Шекспир его превосходит. И Байрон, конечно, это чувствовал, потому он мало говорит о Шекспире, хотя знает наизусть целые куски из него. Он бы охотно от него отсекся, так как Шекспирово жизнелюбие стоит ему поперек дороги и ничего он не может этому жизнелюбию противопоставить. *Попа* он не порицает, ибо его нечего бояться. Напротив, много говорит о нем и всячески его чтит, слишком хорошо зная, что Поп рядом с ним ничто.

Тема «Байрон», видимо, была для Гете неисчерпаемой. Отвлекаясь на минуту-другую какими-то сторонними замечаниями, он снова вернулся к ней.

— Высокое положение, пэра Англии отрицательно сказывалось на Байроне; внешний мир теснит гениально одаренного человека, тем более столь высокородного и богатого. Золотая середина куда полезнее, наверно, потому все большие художники и поэты происходят из средних сословий. Байроново тяготение к беспредельному было бы безопаснее при менее высоком происхождении и меньшем богатстве. А так, властный воплотить в жизнь любой свой порыв, он вечно впутывался в неприятные истории. Да и

как могло человеку столь высокопоставленному льстить или внушать почтение высокое положение другого? Он говорил все, что думал и чувствовал, и отсюда возникал его неразрешимый конфликт с человечеством.

— Нельзя не удивляться, — продолжал Гете, — что большую часть своей жизни этот знатный и богатый англичанин отдал похищениям и дуэлям. Лорд Байрон сам рассказывает, что его отец похитил трех женщин. Ну так будь же хоть ты разумным!

Он, собственно, всегда жил как бог на душу положит, и этот образ жизни вынуждал его постоянно быть начеку, иными словами — стрелять из пистолета. Каждую минуту он мог ждать вызова на дуэль.

Жить один он не мог. А посему, несмотря на все свои чудачества, к подбору компании относился достаточно небрежно. Так, например, однажды вечером он прочитал своим благородным приятелям великолепное стихотворение на смерть генерала Мура, но те в нем ровнехонько ничего не поняли. Нимало не обидевшись, он сунул в карман свое творение. Как поэт он был истинным агнцем. Другой на его месте послал бы их к черту!

*Среда, 20 апреля 1825 г.*

Сегодня вечером Гете показал мне письмо одного студента, в котором тот просит сообщить ему план второй части «Фауста», он-де намеревается, со своей стороны, довести до конца это произведение. Деловито, простоудушно и откровенно он излагает свои желания и надежды, а под конец без всякого стеснения заявляет, что хотя новейшие литературные устремления и немногого стоят, но в его лице новая литература вскоре достигнет расцвета.

Доведись мне встретить молодого человека, вознамерившегося продолжить завоевания Наполеона, или молодого дилетанта-зодчего, который вздумал бы достраивать Кельнский собор, я не счел бы их безумнее или смешнее этого юного любителя поэзии, столь ослепленного своей особой, что он решил, будто достаточно одного только желания, чтобы завершить «Фауста».

Я даже думаю, что проще достроить Кельнский собор, нежели продолжить «Фауста» в духе Гете! В первом случае на помощь могут прийти математические расчеты, — собор зримо высится перед нами, до него можно дотронуться рукой. Но с какими мерками прикажете подойти к невидимому творению духа, неотрывному от индивидуальности

сти его творца, к творению, где все поставлено в зависимость от арегси<sup>1</sup> и где материалом служит собственная долгая жизнь, а выполнение требует изощреннейшего мастерства?

Тот, кому такая попытка представляется легкой или хотя бы возможной, несомненно, человек бесталанный, ибо понятия не имеет о высоком и трудном, и я берусь утверждать, что если бы Гете сам завершил «Фауста», оставив разве что пробел в несколько стихов, то этот молодой человек и его не сумел бы должным образом восполнить.

Не буду доискиваться, почему наша современная молодежь вообразила, что ей от природы дано то, чего до сих пор люди добивались лишь долготелним трудом и опытом, но одно, думается, я вправе сказать: ныне столь часто проявляющиеся в Германии тенденции дерзко перескакивать через все ступени постепенного развития вряд ли оставляют нам надежду на появление новых мастерских произведений.

— Беда в том, — сказал Гете, — что в государстве никто не хочет жить и радоваться жизни — все хотят управлять, а в искусстве не наслаждаться уже созданным, но непременно творить новое.

К тому же никто не думает, что поэтическое произведение может споспешествовать ему на его жизненном пути, а, напротив, стремится во что бы то ни стало повторить уже сделанное.

И еще одно: теперь не существует более серьезного отношения к общему, желания сделать что-либо для общего блага, всеми владеет одна забота: как обратить на себя внимание, как добиться видного места в жизни. Эта ложная тенденция проявляется в любой области, все как будто сговорились подражать новейшим виртуозам, которые выбирают для исполнения не те пьесы, что доставят публике чистое музыкальное наслаждение, но те, в которых можно выставить напоказ свою блестящую технику. Везде и всюду индивидуум старается поразить толпу своим собственным великолепием. И нигде мы не встречаем честного стремления отступить на задний план во имя общего цела.

Вот и получается, что люди, сами того не сознавая, работают плохо, небрежно. Мальчики уже пишут стихи, продолжают их писать, став юношами, в уверенности, что теперь-то умеют это делать, и потом, уже зрелыми людьми

---

<sup>1</sup> Краткое изложение, суждение, мнение (*фр.*).

ми, приходят к пониманию прекрасного и с ужасом оглядываются на годы, погибшие в зряшных, никому не нужных усилиях.

А многим и вовсе не дается познание совершенного, равно как и познание собственной несостоятельности, и эти люди до конца своих дней создают какое-то полукусство.

Разумеется, если бы каждому можно было своевременно втолковать, сколько в мире прекрасных и совершенных творений и какими качествами нужно обладать для создания того, что может хоть отчасти выдержать сравнение с ними, то из сотен нынешних стихотворствующих юнцов едва ли бы хоть один почувствовал в себе довольно упорства, мужества и таланта, чтобы спокойно и планомерно приблизиться к подобному мастерству.

Многие молодые художники никогда бы не взяли в руки кисти, если бы вовремя узнали и поняли, что создал такой мастер, как *Рафаэль*.

Разговор свернул на ложные тенденции вообще, и Гете продолжал:

— Так, например, мое стремление к практическим занятиям изобразительным искусством было ложной тенденцией, ибо не было у меня к ним врожденного предрасположения и развить его в себе я, конечно, не мог. Растрезоженная восприимчивость к пейзажу, правда, была мне свойственна, отчего мои первые попытки в этой области и казались обнадеживающими. Поездка в Италию прекратила сладостные занятия пейзажем. Мне открылись широкие перспективы, но это убило мою приверженность. Итак, художественный талант уже не мог развиваться ни технически, ни эстетически, а следовательно, растворился в небытии и все мои старания.

— Справедливо говорят, — продолжал Гете, — что всего желательнее и предпочтительнее, чтобы людские силы развивались сообща. Но человек не рожден для такого развития, идти вперед должна каждая особь в отдельности, но стараясь при этом составить себе представление о совокупности всех людских усилий.

Я подумал о «Вильгельме Мейстере», где тоже говорится, что только совокупность людей и составляет человека и что мы заслуживаем уважения лишь постольку, поскольку умеем ценить других.

И еще мне вспомнились «Годы странствий», где Ярно без устали призывает заниматься лишь *одним* ремеслом, утверждая, что сейчас наступило время односторонности и

счастливым можно называть лишь *того*, кто сам это понял и разъясняет другим.

Но тут возникает вопрос, какое же это должно быть ремесло, чтобы, с одной стороны, не переступить его границ, с другой — не ограничиться слишком малым.

Тот, кому надлежит наблюдать за *различными* видами деятельности, судить о них и руководить ими, должен стараться, по мере возможности, глубоко вникнуть в таковые. Так для владетельного князя или будущего государственного деятеля обязательно самое разностороннее образование, ибо разносторонность — неотъемлемая составная часть его ремесла.

Точно так же и поэт должен стремиться к многообразному познанию, ведь материал поэта — целый мир, и, чтобы облечь его в слова, ему необходимо в нем разобраться.

Но вот желания стать живописцем у поэта быть не должно, его дело воссоздавать мир словом, предоставив актеру являть нам мир в своих перевоплощениях.

*Проникновение* в жизнь необходимо отличать от *жизнейской деятельности*, и еще необходимо помнить, что любое искусство, поскольку речь идет об его осуществлении, это нечто великое и очень трудное, и всю свою жизнь надо положить на то, чтобы дойти в нем до подлинного мастерства.

Гете, всегда стремясь к многостороннему проникновению, сумел в жизни все свести к *одному*. В одном-единственном искусстве он неустанно растил и лелеял свое мастерство — в искусстве писать на *родном языке*. То, что материал, который шел ему на потребу, был многосторонним, — уже другой вопрос.

И еще следует отличать *подготовку* к деятельности от деятельности как таковой.

Подготовка прежде всего предполагает, что поэт всеми способами упражняет свой взгляд для восприятия предметов внешнего мира. Хотя Гете и называет ложной тенденцией свои практические занятия изобразительным искусством, они тем не менее пошли ему на пользу, так как подготавливали его к поэтическому творчеству.

— Предметностью моей поэзии, — сказал он, — я прежде всего обязан наблюдательности, постоянному упражнению глаза и, конечно же, знаниями, которые я благодаря этому приобрел.

Не следует, однако, чрезмерно расширять границы своей подготовки.

— В первую очередь этому соблазну поддаются естест-

воиспытатели, — сказал Гете, — ибо для наблюдений над природой и вправду нужна гармоническая разносторонняя подготовка.

Впрочем, поскольку речь идет о знаниях, неотъемлемых от той или иной специальности, надо всячески остерегаться ограниченности и односторонности.

Поэт, который хочет писать для театра, должен обладать знанием сцены, дабы учитывать средства, имеющиеся в его распоряжении, да и вообще знать, чем следует воспользоваться, а чем лучше пренебречь. Композитор, пишущий оперы, тоже должен иметь представление о поэзии и плохое отличать от хорошего, иначе он попусту расточит свое искусство.

— Карл Мария фон Вебер, — сказал Гете, — не должен был писать музыку к «Еврианте», а должен был сразу понять, что это никудышный сюжет и ничего из него сделать нельзя. Собственно говоря, такое понимание — необходимая предпосылка композиторского искусства.

Равно и живописец обязан различать, какие предметы подлежат изображению, а какие нет, потому что того требует его искусство.

— Вообще же, — продолжал он, — величайшее искусство и заключается в том, чтобы себя изолировать и ограничивать.

Так вот все время, покуда я жил вблизи от него, он старался уберечь меня от окольных дорог и все мое внимание направлял на поэзию.

Стоило мне захотеть несколько ближе ознакомиться с естественными науками, как он мне уже советовал до поры до времени это оставить и целиком посвятить себя стихотворству. Если я говорил, что хочу прочесть ту или иную книгу, которая, по его мнению, не могла способствовать продвижению по моему нынешнему пути, как он уже говорил, что никакой практической пользы она мне принести не может, а посему и читать ее не стоит.

— Я растратил уймв времени, — сказал он однажды, — на то, что не имело никакого отношения к моему подлинному призванию. Когда я думаю, что сделал Лопе де Вега, число моих поэтических произведений представляется мне ничтожно малым. Я должен был придерживаться только своего ремесла.

— Если бы я меньше занимался камнями, — заметил он в другой раз, — и умел бы лучше распорядиться своим временем, у меня теперь были бы великолепнейшие бриллиантовые украшения.

Он безмерно ценит своего друга *Мейера* за то, что тот всецело посвятил свою жизнь изучению искусства и, несомненно, приобрел в нем исключительные познания.

— Я тоже рано стал этим заниматься, — сказал Гете, — и едва ли не половину жизни потратил на изучение и созерцание произведений искусства, но кое в чем мне все же далеко до Мейера. Поэтому я остерегаюсь сразу показывать ему новую картину, а сначала стараюсь проверить, насколько я сам сумею в ней разобраться. Когда мне кажется, что ее достоинства и недостатки мне ясны, я призываю Мейера, который намного превосходит меня в зоркости и неожиданно открывает в ней совсем новые аспекты. Итак, я всякий раз заново учусь, что значит быть крупнейшим знатоком в какой-либо *одной* области и что для этого нужно. В *Мейере* словно бы скопился тысячелетний опыт понимания искусства.

Но тут поневоле напрашивается вопрос, почему Гете, страстно убежденный, что человек должен заниматься только одним делом, шел в жизни столь многообразными путями. Как это получилось?

Ответ, думается мне, может быть только один. Если бы Гете явился на свет в нынешнее время, когда поэтические и научные устремления его нации возведены, и главным образом благодаря ему, на ту высоту, на которой они сейчас находятся, у него, конечно, не было бы оснований пробовать себя то на одном, то на другом поприще и он ограничился бы единственным и главным своим призванием.

И не потому только, что это было присуще его природе, старался он вникнуть в самые различные области и уяснить себе положение вещей в этом мире, — тогдашнее время настоятельно требовало отчета во всем, что ему открывалось.

Едва появившись на свет, он уже получил в наследство: *заблуждение* и *незрелость*, дабы ему весь век трудиться, расправляясь с ними то там, то здесь.

Если бы Ньютону теорию Гете не счел великим заблуждением, опасным и вредным для ума человеческого, разве же ему пришлось бы в голову создать свое учение о цвете и целые годы труда посвятить этой побочной для него отрасли знания? Конечно, нет! Только правдолюбие, восставшее против заблуждения, подвигло его чистым светом озарить и этот сумрак.

Почти то же самое можно сказать и об его учении о метаморфозах, в котором мы теперь усматриваем образец

научной разработки темы, но и ею Гете, конечно, не стал бы заниматься, если бы видел своих современников на пути к этой цели.

Даже к его многосторонним поэтическим устремлениям могут быть отнесены те же слова! Ибо под вопросом остается, взялся ли бы Гете когда-нибудь за писание романа, если бы его нация уже имела своего «Вильгельма Мейстера». Не исключено, что в таком случае он посвятил бы себя только драматической поэзии.

Невозможно даже вообразить, что бы создал и совершил Гете, сосредоточившись на чем-нибудь одном. Но, с другой стороны, окинув взглядом все его творчество, ни один разумный человек не мог бы пожелать, чтобы осталось несозданным то, к чему предназначило Гете провидение.

*Четверг, 12 мая 1825 г.*

Гете с большим воодушевлением говорил о *Менандре*.

— Кроме Софокла, — сказал он, — я не знаю никого, кто был бы так дорог мне. Менандр весь пронизан чистотою, благородством, величием и радостью жизни, прелесть его поэзии недосыгаема. Жаль, конечно, что нам осталось так мало его творений, но и это малое — бесценно, и люди одаренные многому могут от него научиться.

— Все ведь сводится к тому, — продолжал он, — чтобы тот, у кого мы хотим учиться, соответствовал нашей натуре. Так, например, Кальдерон, хотя он поистине велик и я не могу не восхищаться им, на меня никогда влияния не оказывал ни в хорошем, ни в плохом. Но для Шиллера он был бы опасен, так как сбил бы его с толку, и я считаю за счастье, что Кальдерон лишь после его смерти привлек к себе всеобщее внимание в Германии. Кальдерон неизмеримо велик в литературной и театральной технике, Шиллер же значительно превосходил его серьезностью и значительностью своих устремлений, и было бы прискорбно, если бы он поступился хоть частью этих достоинств, не достигнув высот Кальдерона в других отношениях.

Разговор перешел на Мольера.

— Мольер, — сказал Гете, — так велик, что, перечитывая его, всякий раз только диву даешься. Он единственный в своем роде, его пьесы граничат с трагическим и полностью захватывают тебя, ему никто не осмеливается подражать. «Скупой», где порок лишает сына всякого уважения к отцу, — произведение не только великое, но и в высочайшем смысле трагическое. Когда же в немецком перело-

жении сын становится просто родственником, оно теряет всю свою силу и значительность. У нас не решаются показать порок в истинном его обличии, но что же тогда остается от пьесы и что, по сути, трагичнее непереносимого?

Я всякий год читаю несколько пьес Мольера, так же как время от времени рассматриваю гравюры по картинам великих итальянских мастеров. Мы, маленькие люди, не в силах долго хранить в себе величие подобных творений и потому обязаны иногда возвращаться к ним, дабы освежить впечатление.

Мы вечно слышим разговоры об оригинальности, но что это, собственно, такое? Мир начинает воздействовать на нас, как только мы родились, и это воздействие продолжается до нашего конца. Так что же мы можем назвать своим собственным, кроме силы, энергии, воли? Начни я перечислять, чем я обязан великим предшественникам и современникам, то от меня, право, мало что останется.

Но при этом отнюдь не безразлично, в какую эпоху нашей жизни влияет на нас та или иная крупная личность.

То, что Лессинг, Винкельман и Кант были старше меня и влияние первых двух сказывалось на мне в юности, а влияние последнего в старости, имело для меня первостепенное значение.

Не менее важным я полагаю и то, что Шиллер, куда более молодой, встретился мне в расцвете своих дарований и стремлений, когда я уже несколько устал от жизни, а также, что братья Гумбольдты и Шлегели на моих глазах начали свою деятельность. Для меня отсюда воспоследовали неисчислимы преимущества.

После того как Гете поведал нам о том, как влияли на него крупные личности, разговор переметнулся на то влияние, которое он оказывал на других, и я упомянул о *Бюргере*. Мне всегда было странно, что творчество этого бесспорно самобытного поэта не носило никаких следов влияния Гете.

— Талант Бюргера, — сказал Гете, — пожалуй, сродни моему, однако древо его нравственной культуры коренилось совсем в другой почве и развивалось в другом направлении. А каждый ведь идет дальше по тому пути, на который он вступил с самого начала. Человек, на тридцатом году жизни написавший такое стихотворение, как «*Фрау Шниц*», шел, надо думать, по дороге, несколько расходящейся с моей. Вдобавок он привлек на свою сторону довольно многочисленную публику, которую полностью удовлетворяла его поэзия, а потому у него не было причин ин-

тересоваться свойствами соперника, все это он уже оставил позади.

— Везде и всюду, — продолжал Гете, — учатся у тех, кого любят. Среди подрастающих молодых талантов есть такие, что хорошо ко мне относятся, но среди своих современников я таких что-то не припоминаю и затрудняюсь назвать хоть одного значительного человека, которому я пришелся бы по душе. Уже моего «Вертера» они так разносили, что если бы я захотел изъять все изруганные ими места, то от книги бы и строчки не осталось. Но никакие разносы мне вреда не причинили, ибо субъективные суждения, пусть даже выдающихся людей, уравнились признанием масс. Кстати сказать, тому, кто не рассчитывает на миллион читателей, лучше бы и вовсе не писать.

Публика вот уже двадцать лет спорит, кто выше: Шиллер или я; а ведь надо бы им радоваться, что есть у них два парня, о которых стоит спорить.

*Суббота, 11 июня 1825 г.*

Сегодня за обедом Гете оживленно обсуждал книгу майора Пэрри о лорде Байроне. Он безусловно хвалил ее, говоря, что Пэрри рассказал о Байроне несравненно полнее, а о его замыслах отчетливее, чем это когда-либо делалось до него.

— Майор Пэрри, — продолжал Гете, — сам, видимо, человек значительный и с большой душой, раз ему удалось так чисто воспринять и так превосходно воссоздать образ своего друга. Одна сентенция в его книге мне особенно понравилась и поразила меня своей меткостью. Право же, она не посрамила бы древнего грека, даже самого Плутарха. «Благородному лорду, — говорит Пэрри, — недоставало тех достоинств, что украшают среднее сословие, он не мог их приобрести в силу своего рождения, воспитания и образа жизни. Между тем все его хулители, принадлежащие именно к этому сословию, с сожалением говорят об отсутствии у него тех качеств, которые они, с полным на то основанием, ценят в себе. Этим бравым людям и в голову не приходит, что лорд Байрон, при своем высоком положении, отличался доблестями, о которых они даже представления себе составить не могут».

— Ну-с, как вам это нравится? — спросил Гете. — Такое ведь не каждый день услышишь.

— Я рад, — сказал я, — что наконец-то публично сказано слово, которое раз и навсегда заткнет рот всем мел-

ким хулителям и ничтожествам, пытающимся очернить и ниспровергнуть человека, высоко вознесенного над ними.

Далее мы заговорили о всемирно-исторических сюжетах и о том, может ли, и в какой мере, история одного народа благоприятствовать поэту больше, чем история другого.

— Поэту следует выхватить частное, — сказал Гете, — и если это частное имеет здоровую основу — отобразить в нем общее. Английская история превосходно поддается поэтическому отображению, ибо она, по самой своей сути, дельная и здоровая, а значит, в ней довольно общего, то есть повторяющегося. Французская история, напротив, для поэтического воспроизведения непригодна, ибо она характеризует эпоху, которая более не повторится. Потому и литература французского народа, которая зиждется на этой эпохе, стоит совершенно обособленно и со временем неминуемо устареет.

— Нынешняя эпоха французской литературы, — несколько позднее сказал Гете, — не поддается оценке. Влияние немцев вызывает в ней изрядное брожение, но что из этого выйдет, будет ясно лишь лет через двадцать.

Это замечание навело нас на разговор об эстетиках, которые тщатся определить суть поэзии и поэта путем абстрактной дефиниции, но ни к какому результату пока что не приходят.

— Что тут определять, — сказал Гете, — поэта делает живое ощущение действительности и способность его выразить.

*Среда, 15 октября 1825 г.*

В этот вечер я застал Гете в особо приподнятом настроении и с новой радостью услышал из его уст множество значительных замечаний. Мы говорили о состоянии новейшей литературы, причем Гете высказал следующее:

— Недостаток характера у отдельных теоретиков и писателей — вот главный источник зла в нашей новейшей литературе.

Нам на беду, этот недостаток всего сильнее сказывается в критике, которая либо выдает ложное за истинное, либо убогими истинами лишает нас того большого в важного, что было бы нам весьма полезно.

До сих пор человечество верило в героический дух Лукреции, Муция Сцеволы, и эта вера согревала и воодушевляла его. Но теперь появилась историческая критика, которая утверждает, что этих людей никогда и на свете не

было, что они не более как фикция, легенда, порожденная высоким патриотизмом римлян. А на что, спрашивается, нам такая убогая правда! Если уж у римлян достало ума их придумать, то надо бы и нам иметь его настолько, чтобы им верить.

Так, до сих пор меня неизменно радовал исторический факт, относящийся к тринадцатому столетию, когда император Фридрих Второй, воюя с папой, оставил северную Германию не защищенной от нападения врагов. Азиатские орды и вправду вторглись туда и прорвались до самой Силезии, но герцог Лигницкий вселил в них ужас, одержав решительную победу. Азиаты повернули было на Моравию, но были разбиты графом Штернбергом. Оба эти героя, спасители немецкой нации, можно сказать, жили во мне. Но тут является историческая критика с утверждением, что они напрасно принесли себя в жертву, что азиатское войско, уже отозванное, все равно бы обратилось вспять. Тем самым сведено к нулю, зачеркнуто великое событие нашей отечественной истории, отчего просто тошно становится.

Высказавшись таким образом об исторических критиках, Гете заговорил об исследователях и литераторах другого пошиба.

— Никогда бы я не познал людской мелкости, никогда бы не понял, как мало интересуют людей подлинно великие цели, если бы не подошел к ним с моими естественно-историческими методами исследования. Тут-то мне и открылось, что для большинства наука является лишь средством к существованию и они готовы обожествлять даже собственное заблуждение, если оно кормит их.

Не лучше обстоит дело и с изящной словесностью. И в этой области высокие цели, любовь к правде, к своему делу, желание способствовать более широкому его распространению — явления очень и очень редкие. Один холит и нежит другого потому, что тот, в свою очередь, холит и нежит его, все подлинно великое им отвратительно, они охотно жили бы его со свету, лишь бы выдвинуться самим. Такова масса, отдельные выдающиеся личности немногим лучше.

\*\*\*при его большом таланте и всеобъемлющей учености мог бы *много* значить для нации. Но, увы, бесхарактерность лишила нацию его благотворного влияния, а его самого — всеобщего уважения.

Нам необходим такой человек, как Лессинг. Ибо его величие — в характере, в выдержке! Умных и образован-

ных людей предостаточно, но подобный характер вряд ли еще найдется!

На свете много умных и знающих людей, но они, к сожалению, еще и суетны; стремясь, чтобы близорукая масса прославляла их, они забывают о стыде и совести, ничего святого для них более не существует.

Посему я считаю, что мадам де Жанлис была совершенно права, возмущившись дерзким свободомыслием Вольтера. По существу-то его произведения, несмотря на все их остроумие, никак не послужили человечеству — на них ничего построить нельзя. Более того, они могли нанести ему величайший вред, сбивая людей с толку и лишая их необходимого душевного равновесия.

Да и что нам, собственно, открыто и как далеко мы метим со всем своим остроумием?

Человек рожден не решать мировые проблемы, а разве что понять, как к ним подступиться, и впредь держаться в границах постижимого.

Измерить свершения вселенной ему непосильно, стремиться внести разумное начало в мироздание, при его ограниченном кругозоре, — попытка с негодными средствами. Разум человека и разум божества — несопоставимы.

Признав за человеком свободу, мы посягаем на божественное всеведение; поскольку божеству ведомо, *как* я поступлю, я уже не волен поступить иначе.

Мои слова лишь знак того, как мало нам открыто, и еще что негоже нам касаться божественных тайн.

Высокие же максимы мы вправе высказывать лишь постольку, поскольку они идут на пользу человечеству. Все остальное мы должны держать про себя, пусть оно только ласковым светом, как скрытое облаками солнце, освещает наши поступки.

*Воскресенье, 25 декабря 1825 г.*

Сегодня вечером, в шесть часов, я отправился к Гете, которого застал в одиночестве, и прожил возле него несколько прекрасных часов.

— Дух мой, — сказал он, — все это время был обременен. Столько доброго и тут и там делалось для меня, что из-за бесчисленных выражений благодарности мне некогда было жить. Предложения различных привилегий, касающихся издания моих сочинений, одно за другим поступали ко мне от различных дворов, а так как каждый двор нахо-

дится в своем, особом положении, то любое из них требовало особого ответа. Затем на меня еще посыпались предложения бесчисленных книгопродавцев, на которые тоже надо было отвечать, предварительно все обдумав и взвесив. Далее, в связи с моим юбилеем мне прислали тысячи добрых пожеланий, и я до сих пор еще не управился с благодарственными ответами. Тут ведь не отделаешься пустыми или общими словами, хочется каждому сказать что-то добавляющее и приятное. Но теперь я уже мало-помалу освобождаюсь, и вкус к интересным беседам вновь оживает во мне.

Я хочу рассказать вам об одном недавнем своем наблюдении.

Все, что мы делаем, имеет свои последствия, но это отнюдь не значит, что разумное и справедливое приводит к хорошим последствиям, а неразумное к дурным, часто бывает и наоборот.

Совсем недавно, во время переговоров с книгопродавцами, я совершил ошибку, о которой очень сожалел. Но теперь обстоятельства так изменились, что мне было бы не миновать ошибки куда более серьезной, если бы я не совершил первой. В жизни такое часто случается, и потому люди многоопытные и светские, которым это известно, за любое дело берутся смело и самоуверенно.

Я постарался запомнить это новое для меня наблюдение, и мы заговорили о некоторых его вещах, прежде всего об элегии «Алексис и Дора».

— Что касается этого стихотворения, — сказал Гете, — то многие порицали меня за сильный и страстный конец его, заявляя, что элегия должна кончаться спокойно и мягко, без этой яростной вспышки ревности, но я, конечно, не был согласен с ними. Ревность здесь так неразрывно слита с целым, что без нее стихотворение многое бы утратило. Я сам знавал молодого человека, который страстно любил девушку и без труда добился благосклонности, но однажды воскликнул: почему я знаю, что и другой не преуспеет у нее так же быстро!

Я полностью согласился с Гете и заговорил о своеобразии этой элегии, где на малом пространстве в немногих чертах все так точно воссоздано, что, кажется, воочию видишь обстановку дома и самую жизнь людей, его обитающих.

— Изображение так правдиво, — заметил я, — что кажется, будто вы все это списали с натуры.

— Я очень рад, что вы так восприняли мою элегию, — отвечал Гете. — Мало есть людей, чью фантазию волнует

правда окружающей жизни, обычно они предпочитают гре- зить о неведомых странах и героических приключениях; конечно, они не имеют о них ни малейшего понятия, одна- ко воображение рисует им самые причудливые картины.

Но есть, с другой стороны, и убежденнейшие привер- женцы реальности, которые, поскольку чувство поэзии у них отсутствует, предъявляют к ней очень уж мелочные требования. Так, например, некоторые читатели моей эле- гии настаивали, чтобы я снабдил Алексиса слугой, который носит за ним узелок. Им и в голову не пришло, что таким образом будет разрушена вся поэтическая идиличность окружающего.

С «Алексиса и Доры» разговор перешел на «Вильгель- ма Мейстера».

— Странные есть крити ки, — продолжал Ге те, — этот роман они хулили за то, что герой слишком часто вращает- ся в дурном обществе. Но поскольку это так называемое дурное общество я рассматривал как сосуд, в который я вливал все то, что хотел сказать о хорошем, мне удалось создать поэтическое целое и притом достаточно многообраз- ное. А если бы я вздумал охарактеризовать хорошее обще- ство через хорошее же общество, никто бы не смог прочи- тать эту книгу.

В основе ничтожных, на первый взгляд, мелочей в «Вильгельме Мейстере» всегда лежит нечто более высокое, надо только иметь достаточно зоркости, знания людей да известной широты кругозора, чтобы в малом разглядеть большое. А с других предостаточно и той жизни, что лежит на поверхности.

Засим Гете показал мне в высшей степени интересный английский альбом с гравюрами из всех произведений Шекспира. На каждой странице — другая пьеса в шести картинках с подписями-цитатами, так что перед глазами встает и ее основная мысль, и главные сюжетные положен- ния. Все бессмертные трагедии и комедии словно карна- вальное шествие прошли передо мной.

— Страшно становится, когда смотришь эти картин- ки и, — сказал Ге те, — тут только начинаешь понимать, как бесконечно богат и велик Шекспир! Нет, кажется, ничего в человеческой жизни, о чем бы он умолчал, чего бы не воссоздал! И с какой легкостью и свободой!

Трудно говорить о Шекспире, все разговоры оказываются несостоятельными. В «Вильгельме Мейстере» я по- пытался было его пощупать, но ничего путного так и не сказал. Шекспир не театральный писатель, о сцене он ни-

когда не думал, она слишком тесна для его великого духа; впрочем, тесен для него и весь видимый мир.

Он слишком богат, слишком могуч. Человек, по натуре сам склонный к созиданию, может читать в год разве что одну его пьесу, иначе он погиб. Я правильно поступил, написав «Геца фон Берлихингена» и «Эгмонта», только так мне удалось сбросить с плеч бремя, которым он был для меня, и Байрон поступал правильно, не слишком преклоняясь перед ним, — он шел своей дорогой. Сколько талантливых немцев сгубил Шекспир, и Кальдерон тоже.

— Шекспир, — продолжал Гете, — в серебряных чашах подает нам золотые яблоки. Изучая его творения, и мы наконец получаем серебряные чаши, но кладем в них одну картошку.

Я рассмеялся, восхищенный этим бесподобным сравнением.

Затем Гете прочитал мне письмо Цельтера о постановке «Макбета» в Берлине. Музыка к этому спектаклю никак не соответствовала могучему духу и характеру трагедии, по поводу чего Цельтер пускался в пространные рассуждения. Благодаря чтению Гете письмо вновь обрело полную жизнь, он часто делал паузы, чтобы вместе со мною порадоваться мягкости отдельных замечаний своего друга.

— «Макбет», — сказал Гете, — представляется мне лучшей театральной пьесой Шекспира, в ней, как ни в одной другой, учтены все требования сцены. Но если вы хотите познать его свободный дух, прочитайте «Троила и Крессида», где он, на свой лад, перекроил «Илиаду».

После этого мы опять заговорили о Байроне, о том, как недостает ему простосердечной веселости Шекспира, и еще что его постоянное настойчивое отрицание подвергалось осуждению, собственно говоря, справедливому.

— Если бы Байрону представился случай, — продолжал Гете, — весь свой оппозиционный пыл растратить в парламенте, не стесняясь самых крепких выражений, он как поэт предстал бы перед нами отмытым от скверны. Но так как произносить речи в парламенте ему не доводилось, то все недоброе чувства, которые он питал к своей нации, он вынужден был держать про себя и освободиться от них мог одним только способом — высказать их в поэтически переработанном виде. Посему большинство «отрицающих» произведений Байрона я бы назвал «непроизнесенными парламентскими речами»; думается, это было бы вполне подходящим определением.

В связи с этим разговором мы вспомнили об одном из новейших немецких писателей, который в сравнительно краткий срок составил себе громкие имя, хотя негативное направление его творчества, в свою очередь, заслуживало порицания.

— Нельзя не признать за ним и многих блистательных качеств, — сказал Гете, — но ему недостает — *любви*. Он не любит ни своих читателей, ни собратьев-поэтов, ни, наконец, самого себя, отчего к нему наилучшим образом применимы слова апостола: «Если бы я говорил человеческими и ангельскими языками, а *любви* бы не имел, то я был бы как медь звенящая и кимвал бряцающий». Как раз на этих днях я читал стихи Платена и не мог не порадоваться его щедрому таланту. Но, как я уже говорил, ему недостает *любви*, и потому он никогда не будет воздействовать на читающую публику так, как это ему подобает. Он внушит ей страх и делается кумиром тех, кто тоже хотел бы все отрицать, но, увы, не одарен его способностями.



*Воскресенье вечером, 29 января 1826 г.*

Первый немецкий импровизатор, доктор Вольф из Гамбурга, несколько дней находится в Веймаре и уже успел публично продемонстрировать свой редкостный талант. В пятницу он дал блестящий вечер, на котором, помимо многочисленных слушателей, присутствовал весь веймарский двор. Гете тогда же пригласил его к себе на следующий день.

Вчера вечером я говорил с доктором Вольфом, уже после того, как днем он импровизировал для Гете. Он считал себя счастливым и сказал, что этот час станет эпохой в его жизни, ибо Гете в немногих словах указал ему новый путь и даже его необдумительные замечания попали в самую точку.

Сегодня вечером, когда я посетил Гете, разговор тотчас же зашел о Вольфе.

— Доктора Вольфа осчастливил благожелательный совет вашего превосходительства, — сказала я.

— Я откровенно говорил с ним, — ответил Гете, — и если мои слова произвели на него впечатление и его взволновали, это добрый знак. Он, бесспорно, человек большого таланта, но страдает общей болезнью нашего времени — субъективизмом, от нее-то мне и хотелось бы его вылечить. Желая испытать его, я назначил ему тему: «Опишите свое возвращение в Гамбург». Он сразу же, нисколько не готовясь, заговорил благозвучными стихами. Я не мог не восхищаться им, но не мог и хвалить его. Он изобразил для меня не возвращение в Гамбург, но чувства сына к родителям, к родным и друзьям, его стихи могли с тем же успехом относиться к возвращению не в Гамбург, а в Мерзебург или в Иену. А ведь Гамбург прекрасный, необычный город, и какое же широкое поле для описания всевозможных частных представилось бы ему, если бы он сумел и отважился бы как должно приступить к теме.

Я заметил, что в этой субъективной направленности виновата сама публика, ибо любой разговор о чувствах приводит ее в трепет.

— Возможно, — согласился Гете, — но если бы ей преподнесли нечто лучшее, она трепетала бы не меньше. Я убежден: если бы столь одаренному импровизатору, как Вольф, удалось правдиво изобразить жизнь больших городов, Рима, например, или Неаполя, Вены, Гамбурга, Лондона, наконец, к тому же с такой живостью, что публике бы казалось, будто она все видит собственными глазами, — все были бы в восторге и упоении. Ежели он сумеет добиться объективности, его талант не увянет, а добиться ее он может, так как отнюдь не лишен фантазии. Ему только нельзя медлить с этим решением, надо набраться мужества и поскорее его принять.

— Боюсь, — сказал я, — что это труднее, чем кажется, ведь тут нужно полное преобразование строя мыслей. Если даже он с этим справится, в его творчестве неминуемо наступит перерыв — ибо лишь путем долгих упражнений он может освоить объективное и сделать его как бы своей второй натурой.

— Разумеется, это невероятный переход, — сказал Гете, — но Вольф все же должен осмелеть и быстро его совершить. Это как с купаньем — холодная вода внушает тебе

страх, но если ты без промедленья в нее окунешься — стихия покорена.

— Тот, кто хочет научиться петь, — продолжал Гете, — должен помнить, что звуки, которые сама природа заложила в его глотку, дадутся ему легко и естественно, с теми же, которыми природа его обделила, он поначалу изрядно помучается. Но ничего не поделаешь, все звуки должны быть подвластны певцу. То же относится и к поэту. Покуда он выражает лишь свои скудные субъективные ощущения, он еще не поэт; поэтом он станет, когда подчинит себе весь мир и сумеет его выразить. Тогда он неисчерпаем, он вечно обновляется, субъективная же его натура, с ее маленьким внутренним миром, быстро выразит себя и в конце концов растворится в манерном.

Теперь постоянно говорят о необходимости изучения древних, но что это, собственно, значит, кроме одного: равняясь на подлинную жизнь и стремись выразить ее, ведь именно так поступали в древности.

Гете поднялся и зашагал взад и вперед по комнате, я же, как он это любил, остался сидеть на своем месте у стола. Несколько мгновений он постоял у печки, потом, словно что-то обдумав, подошел ко мне и, приложив палец к губам, сказал следующее:

— Сейчас я вам кое-что открою, и подтверждение этому вы не раз встретите в жизни. Все реакционные, подпавшие разложению эпохи — субъективны, и, напротив, эпохи прогресса устремлены к объективному. Мы живем в реакционное время, ибо оно субъективно. И убеждает нас в этом не только поэзия, но и живопись и еще многое другое. Здоровое начало из внутреннего мира всегда тянется к миру, объективно существующему, что вы можете проследить на примере великих эпох, идущих навстречу обновлению, их природа неизменно тяготеет к объективности.

Последние слова Гете послужили поводом для интереснейшей беседы, причем он чаще всего возвращался мыслью к великим временам XV и XVI веков.

Далее мы говорили о театре, о слабости и сентиментальной унылости последних пьес.

— Меня сейчас в первую очередь утешает и ободряет Мольер, — сказал я. — Я перевел его «Скупого» и занялся теперь «Лекарем, поневоле». Какой же он великий и чистый человек!

— Да, — согласился со мною Гете, — чистый человек, лучше, пожалуй, о нем и не скажешь, нет в нем ни кривды,

ни жеманства. И как же он велик! Он властвовал над своим временем, тогда как наши Иффланд и Коцебу позволили времени взять власть над ними и запутались в его тенетах. Мольер карал людей, рисуя их без всяких прикрас.

— Чего бы я только не дал, — сказал я, — чтобы посмотреть в театре вещи Мольера такими, какими он их создал. Но публике, насколько я успел ее узнать, они покажутся слишком солеными и натуралистическими. Не думается ли вам, что эта чрезмерная тонкость чувств берет свое начало в так называемой «идеальной литературе» некоторых писателей?

— Нет, — отвечал Гете, — в ней виновата публика. Ну, что, спрашивается, делать там нашим юным девицам? Им место не в театре, а в монастыре, театр существует для мужчин и женщин, знающих жизнь. Когда писал Мольер, девицы жили по монастырям, и он, конечно же, не принимал их в расчет.

Теперь девиц уже из театра не выживешь, и у нас так и будут давать слабые пьесы, весьма для них подходящие, поэтому наберитесь благоразумия и поступайте как я, то есть попросту не ходите в театр.

Подлинный интерес к театру я испытывал только тогда, когда мог практически на него воздействовать. Я радовался, что мне удалось поднять его на более высокую ступень, и во время представлений интересовался не столько пьесами, сколько тем, справляются или не справляются со своей задачей актеры. Я отмечал все, что мне казалось заслуживающим порицания, и на завтра отсылал записку режиссеру, твердо зная, что на следующем же представлении эти ошибки будут устранены. Теперь, когда я уже не участвую в практической работе театра, у меня нет ни малейшей охоты туда ходить. Мне ведь пришлось бы терпеть неудовлетворительное, не имея возможности его исправить, а это не в моем характере.

То же самое и с чтением пьес. Молодые немецкие авторы то и дело шлют мне свои трагедии, а что мне прикажете с ними делать? Я всегда читал немецкие пьесы, только чтобы знать, стоит ли их ставить на театре; в остальном они мне были неинтересны. А в нынешнем моем положении зачем мне творения этих молодых людей? Для себя я никакой пользы не извлекаю, читая, как *не надо писать*, а молодым трагикам не могу помочь в деле, которое уже сделано. Если бы вместо готовых и напечатанных вещей они бы присылали мне *планы* задуманных произведений, я, по крайней мере, мог бы сказать: ниши это или не

пиши, пиши так или по-другому — тут хоть был бы какой-то смысл, какая-то польза.

Вся беда в том, что поэтическая культура получила в Германии не в меру широкое распространение и никто уже не пишет плохих стихов. Молодые поэты, засыпая меня своими произведениями, не хуже своих предшественников, и, зная, как этих предшественников прославляют, они не могут взять в толк, почему же их никто не прославляет. И все же им ничем нельзя помочь, потому что у нас имеются сотни подобных талантов, а излишнее поощрять не следует, когда нужно еще сделать столько полезного. Будь у нас один поэт, возвышающийся над всеми, это было бы прекрасно, ибо только великий может послужить человечеству.

*Четверг, 16 февраля 1826 г.*

Сегодня вечером, в семь часов, я отправился к Гете и застал его одного в рабочей комнате. Я сел подле него за стол и сообщил ему новость: вчера в гостинице я видел герцога *Веллингтона*, который останавливался здесь проездом в Петербург.

— Ну, и каков он? — оживившись, спросил Гете. — Расскажите мне о нем. Похож он на свой портрет?

— Да, — отвечал я, — но только лучше, необычнее! Стоит хоть раз взглянуть ему в лицо, и от портретов ничего не остается. Достаточно однажды его увидеть, чтобы никогда уже не забыть, — такое он производит впечатление. Глаза у него карие, они так и блестят радостью жизни, взгляд их производит незабываемое впечатление. Рот — красноречив, даже когда губы сомкнуты. Он выглядит как человек, который много мыслил, прожил большую, очень большую жизнь и теперь со спокойной веселостью относится к миру, ибо ничто больше его не задает. Мне он показался твердым и прочным, как дамасский клинок.

С виду ему лет под шестьдесят, держится он прямо, строен, не очень высок, скорее худощав, чем плотен. Я видел, как он садился в карету, собираясь уезжать. В его манере, когда он проходил сквозь толпу зевак, прикладывать палец к шляпе, почти не склоняя головы, было нечто удивительно благожелательное.

Гете с нескрываемым интересом слушал меня.

— Что ж, вам посчастливилось увидеть еще одного героя, а это что-нибудь да значит.

Мы заговорили о Наполеоне, и я высказал сожаление, что *его* не видел.

— Что и говорить, — сказал Гете, — на него стоило взглянуть. Квинтэссенция человечества!

— И это сказывалось на его наружности? — спросил я.

— Он был квинтэссенцией, — отвечал Гете, — и по нему было видно, что это так, — вот и все.

Я сегодня принес Гете весьма примечательное стихотворение, о котором говорил ему еще несколько дней назад, стихотворение, им самим написанное, но он за давностью лет его уже не помнил. Оно было напечатано в начале 1766 года в «*Zichtbare*», газете, выходившей тогда во Франкфурте; старый слуга Гете привез это стихотворение в Веймар, ко мне же оно попало через его потомков. Не подлежало сомнению, что это было старейшее из всех известных нам стихотворений Гете. Тема его — *сошествие Христа в ад*, причем больше всего меня удивило, как легко давалось юному автору религиозное мышление. По духу своему это стихотворение словно бы вышло из-под пера Клопштока, но написано оно было совсем по-другому: сильнее, свободнее и легче, больше в нем было энергия, совершеннее форма. Удивительный его пыл свидетельствовал о мощной, бурливой юности. Поскольку материала в нем было недостаточно, оно как бы вращалось вокруг собственной оси и потому вышло длиннее, чем следовало бы.

Я положил перед Гете пожелтевший, уже рассыпающийся листок, и он, взглянув на него, вспомнил свое стихотворение.

— Возможно, — сказал он, — что это фрейлейн фон Клеттенберг побудила меня его написать, в заголовке стоит: «*сочинено согласно просьбе*»; не знаю, кто еще из моих друзей мог предложить мне подобную тему. Мне тогда вечно не хватало материала, и я бывал счастлив, когда подворачивалось что-то, что я мог воспеть. На днях я наткнулся на стихотворение той поры, написанное по-английски, в нем я сетовал на недостаток поэтических тем. Нам, немцам, в этом смысле туго приходится, наша праистория тонет во мраке, а позднейшая из-за отсутствия единой династии не представляет общенационального интереса. Клопшток попытал было силы на Германе, но эта тема слишком далека от нас, в ней никто не заинтересован, никто не знает, что она, собственно, такое, а потому его труд ни на кого не произвел впечатления и популярности ему не снискал. То, что я напал на Геца фон Берлихингена, — большая моя удача. Он ведь был плоть от плоти моей, а значит, я многое мог из него сделать.

В «Вертере» и «Фаусте» я опять-таки черпал из внут-

ренного своего мира, удача сопутствовала мне, так как все это было еще достаточно близко. Чертовщиной я позабылся лишь однажды и, радуясь, что таким образом разделался со своим нордическим наследством, поспешил к столу греков. Но знай я тогда так же точно, как знаю теперь, сколь много прекрасного существует уж в течение тысячелетий, я не написал бы ни единой строки и подыскал бы себе какое-нибудь другое занятие.

*В пасхальное воскресенье, 26 марта 1826 г.*

Нынче за обедом Гете пребывал в самом веселом и благодушном настроении; его обрадовал полученный сегодня ценный дар, а именно: листок с собственноручным посвящением ему Байронова «Сарданапала». Он показал его нам, так сказать, «на десерт», настойчиво прося свою сноху возвратить ему письмо Байрона из Генуи.

— Пойми, дитя мое, — говорил он, — у меня теперь собрано все, касающееся наших отношений с Байроном, даже этот удивительный листок сегодня каким-то чудом вернулся ко мне, недостает только генуэзского письма.

Но прелестная почитательница Байрона не желала поступаться своим сокровищем.

— Вы подарили мне его, дорогой отец, — сказала она, — и я ни за что его вам не возвращу. А если вы хотите подобрать все одно к одному, то лучше отдайте мне ваш драгоценный листок, и я буду хранить его вместе с письмом.

Нет, Гете на это не соглашался, шутливые их препирательства продолжались еще некоторое время и наконец растворились в общей оживленной беседе.

После обеда, когда женщины поднялись наверх и мы с Гете остались одни, он принес из своей рабочей комнаты красную папку и, позвав меня к окну, раскрыл ее.

— Смотрите, — сказал он, — здесь у меня собрано все, что имеет касательство к моим отношениям с лордом Байроном. Вот его письмо из Ливорно, вот оттиск его посвящения, это здесь — мое стихотворение, а это то, что я написал о разговорах Медвина, недостает только письма из Генуи, но она не желает его отдавать.

Далее Гете рассказал мне о дружественном приглашении, связанном с лордом Байроном, которое он получил сегодня из Англии и которое очень его порадовало. Ум и сердце его по этому случаю были полны Байроном, он так и сыпал интереснейшими замечаниями о его личности, его творениях и его прекрасном даре.

— Пусть англичане, — заметил он, между прочим, — думают о Байроне все, что им угодно, но нет у них другого поэта, который мог бы сравниться с ним. Он ни на кого не похож и во многом разительнее превосходит всех остальных.

*Понедельник, 15 мая 1826 г.*

Говорил с Гете о Стефане Шютце, о котором он отозвался весьма благосклонно.

— На прошлой неделе, когда мне нездоровилось, я перечитал его *«Веселые часы»*, и, надо сказать, с большим удовольствием. Если бы Шютце жил в Англии, он составил бы целую литературную эпоху. А так, одаренный умением наблюдать и воссоздавать, он не имел случая взглянуть в подлинно значительную жизнь.

*Четверг, 1 июня 1826 г.*

Гете говорил о газете *«Глоб»*.

— Сотрудники ее, — сказал он, — светские люди, разбитные, ясно мыслящие и не ведающие страха. Даже хуля кого-то или что-то, они остаются галантными и обходительными, тогда как немецкие ученые полагают необходимым ненавидеть всех инакомыслящих. *«Глоб»*, думается мне, интереснейшее из современных изданий, и я уже не могу обойтись без него.

*Среда, 26 июля 1826 г.*

В этот вечер я имел счастье, слушать различные высказывания Гете о театре.

Я рассказал ему, что один из моих друзей намерен переделать для сцены *«Two Foscari»*<sup>1</sup> Байрона. Гете усомнился в том, что это ему удастся.

— Дело, конечно, очень соблазнительное, — сказал он. — Если в чтении какая-нибудь вещь производит на нас большое впечатление, мы воображаем, что со сцены она произведет не меньшее и что достигнуть этого можно без особого труда. Но мы роковым образом ошибаемся. Произведение, которое автор создавал не для подмостков, на них не уместится, и, сколько ты над ним ни бейся, в нем все равно останется что-то чуждое, что-то противящееся сцене.

---

<sup>1</sup> *«Двое Фоскари» (англ.)*.

Как я работал над моим «Гецем фон Берлихингеном»! А все-таки подлинно театральной пьесы из него не получилось. Он слишком громоздок, и мне пришлось разделить его на две части — вторая, правда, достаточно театральна и действенна, но первую приходится рассматривать только как экспозицию. Если бы можно было лишь однажды представить первую часть, дабы зритель уяснил себе ход событий, а затем, уже неоднократно, давать вторую — это бы еще куда ни шло. Едва ли не то же самое происходит и с «Валленштейном»; «Пикколомини» уже не играют, а «Смерть Валленштейна» публика смотрит с прежней охотой.

Я спросил, в чем, собственно, заключается театральность пьесы.

— Она должна быть символична, — отвечал Гете. — Иными словами: надо, чтобы любое событие в ней было значительно само по себе и в то же время возвещало бы нечто более важное. Наилучшим образцом в этом смысле является «Тартюф» Мольера. Вспомните первую сцену — какая великолепная экспозиция! С самого начала все в высшей степени значительно и подготавливает нас к новым, еще более значительным, событиям. Превосходна также экспозиция Лессинговой «Минны фон Барнхельм», но экспозиция «Тартюфа» — единственна, лучшей экспозиции в мире не существует.

Мы заговорили о пьесах Кальдерона.

— У Кальдерона, — сказал Гете, — вы видите то же театральное совершенство. Его пьесы абсолютно сценичны, в них нет ни единой черточки, которая, благодаря точному расчету автора, не предусматривала бы определенного сценического воздействия. Кальдерон гений, и к тому же одаренный исключительным разумом.

— Странно то, — заметил я, — что пьесы Шекспира не являются собственно театральными пьесами, хотя он писал их для своего театра.

— Шекспир, — отвечал Гете, — писал так, как ему писалось, а его время и устройство тогдашней сцены никаких требований к нему не предъявляли; как напишет, так и ладно. Если бы он писал для мадридского двора или для театра Людовика Четырнадцатого, он, вероятно, подчинился бы более строгой театральной форме. Но сетовать тут не приходится — то, что Шекспир для нас потерял как поэт театральный, он выиграл как поэт всеобъемлющий. Шекспир — великий психолог, в его пьесах нам открывается все, что происходит в душе человека.

Мы заговорили о том, как трудно хорошо руководить театром.

— Самое трудное, — сказал Гете, — стойко выносить случайное и не позволять этому случайному отвлечь тебя от высоких максим. Под высокими максимами я разумею следующее: умелый подбор хороших трагедий, опер и комедий, которые являются основным репертуаром. К случайному же я отношу: новую пьесу, которая возбудила любопытство публики, гастроль и тому подобное. Нельзя только, чтобы все это сбивало тебя с толку, и желательно всегда возвращаться к основному репертуару. Впрочем, наше время так богато подлинно хорошими пьесами, что настоящему знатоку нетрудно создать отличный репертуар. Трудность, и преобладающая, заключается лишь в том, чтобы поддерживать его на должном уровне.

Когда мы с Шиллером стояли во главе театра, у нас имелось то преимущество, что все лето мы играли в Лаухштедте. Публика там была самая избранная, признававшая лишь первоклассные пьесы, так что мы всякий раз возвращались в Веймар, уже отработав превосходный репертуар, и всю зиму повторяли летние спектакли. К тому же веймарская публика с полным доверием относилась к нашему руководству и всегда была убеждена, даже смотря неважные спектакли, что наш выбор обусловлен самыми лучшими намерениями.

— В девяностых годах, — продолжал Гете, — расцвет моих театральных увлечений остался уже позади, я перестал писать для театра, стремясь целиком предаться эпосу. Но Шиллер вновь пробудил мой угасший было интерес, из любви к нему и его произведениям я стал опять принимать участие в делах театра. В пору «Клавиго» мне бы ничего не стоило написать хоть дюжину драматических произведений, в сюжетах у меня недостатка не было, и работа давалась мне легко. Я мог бы писать по пьесе еженедельно и до сих пор досаую, что не делал этого.

*Среда, 8 ноября 1826 г.*

Гете сегодня опять с восхищением говорил о лорде Байроне.

— Перечитывая Байронова «Deformed Transformed»<sup>1</sup>, — сказал он, — я думал: как же велик его талант. Его черт произошел от моего Мефистофеля, но это не подражанье,

---

<sup>1</sup> «Преображенный урод» (англ.).

все у него оригинально и ново, все сжато, целеустремленно и остроумно. Ни одного пустого места, что называется — яблоку негде упасть, а сколько ума и блестящей выдумки. Единственное препятствие на его пути — это ипохондрия и отрицание, иначе он был бы так же велик, как Шекспир и древние.

Я удивился.

— Можете мне поверить, — сказал Гете, — я заново его изучаю и убеждаюсь в этом все больше и больше.

В одном из прежних наших разговоров Гете сказал: «Лорд Байрон не в меру эмпиричен». Я не совсем понял, что он имеет в виду, но воздержался от вопроса, решив на досуге продумать эти слова. Однако раздумья ни к чему меня не привели, как видно, оставалось дожидаться, куда мое прогрессирующее развитие или просто счастливый случай не откроют мне этой тайны. Таковым стала превосходная постановка «Макбета», увиденная мною в театре. На следующий день я взял в руки томик Байрона, чтобы перечитать его «Беппо». После «Макбета» «Беппо» не произвел на меня особого впечатления, и чем дальше я его читал, тем яснее мне становилось, что, собственно, хотел тогда сказать Гете.

В «Макбете» меня ошеломил самый дух трагедии, грандиозный, могучий и возвышенный, дух, присущий только Шекспиру. То было врожденное свойство глубокой и высокоодаренной натуры, которое вознесло его над человечеством и тем самым сделало великим поэтом. То, что жизнь и жизненный опыт привнесли в это творение, было подчинено поэтическому духу и служило одной лишь цели — дать ему высказаться и надо всем возобладать. Великий поэт властвовал здесь, поднимая и нас до себя, до высоты своих воззрений.

Читая «Беппо», я, напротив, чувствовал преобладание низменного эмпирического мира, который в какой-то степени сообщился и поэту, развернувшему его перед нами. Не высокий и чистый разум великого поэта пробуждал здесь мою мысль, напротив, мне казалось, что постоянное соприкосновение с обыденной жизнью наложило свой отпечаток на образ мыслей творца этой поэмы. Он словно бы и не возвышался над уровнем знатных и остроумных людей; от них его отличало разве что великое умение изображать окружающий мир, почему он и становился как бы органом их речи.

Итак, за чтением «Беппо» мне уяснилось: лорд Байрон не в меру эмпиричен, и дело не в том, что он слишком щед-

ро выводит перед нашим взором подлинную жизнь, а в том, что его высокая поэтическая природа умолкает, более того, вытесняется эмпирическим мышлением.

*Среда, 29 ноября 1826 г.*

Теперь и я прочитал Байроновы «Deformed Transformed» и после обеда заговорил о нем с Гете.

— Правда ведь, — сказал он, — что первые сцены исполнены величия, и к тому же величия поэтического? Остальное, то есть распад и осада Рима, с точки зрения поэзии менее совершенны, но зато в остроумии им не откажешь.

— Да, они в высшей степени остроумны, — сказал я, — но не так уж трудно быть остроумным, если ты ничего не уважаешь.

Гете рассмеялся.

— Это отчасти верно, — сказал он, — нельзя не признать, что поэт говорит больше, чем следует. Он говорит правду, от которой частенько становится не по себе, и тогда думаешь — лучше бы он держал язык за зубами. Есть многое на свете, что поэту надо было скорее скрывать, чем раскрывать, но таков уж характер Байрона, и желать, чтобы он был другим, значило бы посягать на его сущность.

— Да, — сказал я, — он в высшей степени остроумен. Как метко, например, сказано:

The Devil speaks truth much offener than he's deemed,  
He hath an ignorant audience.

— Это, конечно, не менее значительно и смело, чем то, что говорит мой Мефистофель. Но поскольку мы уж упомянули Мефистофеля, — продолжал Гете, — то я, так и быть, вам покажу, что Кудрэ привез мне из Парижа. Ну, что скажете?

И он положил передо мной литографию, изображающую сцену, когда Фауст и Мефистофель, стремясь освободить Гретхен из тюрьмы, ночью на конях проносятся мимо виселицы. Под Фаустром вороной конь, распростершийся в неистовом галопе; он, так же как его всадник, содрогается от страха перед привидениями у виселицы. Они так мчатся, что Фауст едва-едва удерживается в седле; ветер, что хлещет ему навстречу, сорвал с него шляпу, и она как бы летит за ним на ремешке, обвивающем его шею. Его боязливый-вопросающий взгляд обращен на Мефистофеля, с напряженным лицом он вслушивается в его слова. А тот сидит спокойно, словно некое высшее, бесстрастное существо.

Конь под ним не живой, ибо ничего живого он не терпит. Да и не нужны ему никакие кони — одной его воли достаточно, чтобы перенестись с места на место с любой быстротою. А скачет он верхом, так как надо, чтобы его видели скачущим. Он взял первого попавшегося одра на живодерне — кожа да кости. Его светлая шкура как бы фосфоресцирует во мраке ночи. Нет на нем ни узды, ни седла, да и к чему бы, он мчится и так. Неземнородный всадник сидит на нем легко и небрежно, в разговоре повернувшись к Фаусту. Стихии встречного ветра для него не существует, он и его одр ничего не ощущают, ни один волосок на них не шевелится.

Эта остроумная композиция очень пас порадовала.

— Должен сознаться, — сказал Гете, — что я и сам не представлял себе это так наглядно. А вот вам другой лист, интересно, что вы о нем скажете?

Я увидел перед собой буйную сцену попойки в Ауэрбахском погребке, и как раз ее кульминацию: пролитое вино вспыхивает ярким пламенем, и бестияльность пьяниц является нам в самых разных обличиях. Все здесь — страсть и движение, один Мефистофель, как всегда, пребывает в своем насмешливом спокойствии. Он не слышит диких проклятий, криков, не видит ножа, занесенного тем, кто стоит рядом с ним. Присев на краешке стола, он беспечно болтает ногами. Вот он поднял палец, а это значит, что сейчас утихнут и огонь, и страсти.

Чем дольше всматриваешься в этот прекрасный рисунок, тем больше восхищает тебя изобретательный талант художника, который каждую фигуру сделал непохожей на другую и в каждой воплотил иное отношение к происходящему.

— Господин Делакруа, — сказал Гете, — очень одаренный художник, и в «Фаусте» его дар нашел для себя нужную пищу. Французы ставят ему в укор излишнее буйство, но здесь оно вполне уместно. Говорят, он собирается иллюстрировать всего «Фауста», и я уже заранее радуюсь его кухне ведьм и сценам на Брокене. Он, видимо, немало перевидал в жизни, ведь Париж в этом смысле предоставляет человеку самые широкие возможности.

Я заметил, что подобные иллюстрации будут способствовать лучшему пониманию поэмы.

— Несомненно, — согласился Гете, — изошренная фантазия такого большого художника принуждает нас представлять себе те или иные положения так же ярко, как он их себе представляет. И если я признаюсь, что господин Де-

лакруа превзошел меня в видении некоторых мною же созданных сцен, то насколько же его рисунки превзойдут воображение читателя.

*Понедельник, 11 декабря 1826 г.*

Я застал Гете в бодром и возбужденном расположении духа. Не успел я войти, как он радостно объявил мне:

— Сегодня утром *Александр фон Гумбольдт* провел у меня несколько часов. Какой это человек! Я знаю его очень давно и тем не менее всякий раз заново ему удивляюсь. По части научных знаний и живого восприятия жизни ему, можно смело сказать, нету равных. И такой разносторонности я тоже ни у кого не встречал! О чем ни заговори, все ему известно, и он щедро осыпает собеседника духовными дарами. Он как родник, к которому подведены многочисленные трубы, — тебе остается только подставлять сосуды, и уж они наполнятся неиссякаемой, живительной влагой. Он несколько дней пробудет в Веймаре, и я заранее знаю, что после его отъезда мне покажется, будто я за эти дни прожил долгие годы.

*Среда, 13 декабря 1826 г.*

За столом дамы хвалили портрет, сделанный неким молодым художником. «А самое удивительное, — добавляли они, — что он самоучка». Оно и было заметно, в особенности по рукам, написанным неточно, без должного умения.

— Молодой человек, несомненно, талантлив, — сказал Гете, — но за то, что он самоучка, его надо не хвалить, а бранить. Талантливый человек не создан для того, чтобы быть предоставленным лишь самому себе; он обязан обратиться к искусству, к достойным мастерам, а те уж сумеют сделать из него художника. На днях я читал письмо Моцарта некоему барону, который прислал ему свои композиции, в нем сказано примерно следующее: «Вас, дилетантов, нельзя не бранить, ибо с вами обычно происходят две неприятности: либо у вас нет своих мыслей и вы заимствуете чужие; либо они у вас есть, но вы не умеете с ними обходиться». Разве это не божественно? И разве прекрасные слова, отнесенные Моцартом к музыке, не относятся и ко всем другим искусствам?

— Леонардо да Винчи говорит, — продолжал Гете, — «Если ваш сын не понимает, что он должен сильной растушевкой сделать свой рисунок таким рельефным, чтобы его хотелось схватить руками, то, значит, у него нет таланта».

И еще он говорит: «Если ваш сын полностью одолел перспективу и анатомию, то сделайте из него хорошего художника».

— А нынче, — продолжал Гете, — наши молодые художники, расставаясь со своими учителями, едва разбираются и в том, и в другом. Вот какие настали времена! Молодым художникам одинаково не хватает и ума, и чувства! Они пишут мечи, которые не рубят, и стрелы, которые не попадают в цель; иной раз мне начинает казаться, что дух созидания утрачен человечеством.

— А между тем, — вставил я, — великие военные события последних лет, казалось бы, подняли наш дух.

— Они скорее подняли нашу волю, нежели дух, — возразил Гете, — или, если хотите, политический дух, но никак не художественный; напротив, наивности и чувственности в искусстве более не существует. А чего, спрашивается, может добиться художник, не выполняющий двух этих важнейших условий, доставляющих нам радость?

Я сказал, что на этих днях прочитал в его «Итальянском путешествии» описание картины Корреджо, изображающей отлучение от груди. Младенец Христос, сидя на коленях Марии, никак не поймет, что же выбрать — материнскую грудь или протянутую ему грушу.

— Да, — проговорил Гете, — вот это картина! В ней дух, наивность и чувственность — все слилось воедино. Священный образ здесь стал общечеловеческим, символизируя ту жизненную ступень, которой не миновал никто из нас. Такая картина — вечна, ибо она, возвращая нас к самой ранней поре человечества, в то же время вторгается в будущее. А если бы художник написал Христа, призвавшего к себе детей, то эта картина ничего бы никому не сказала, во всяком случае, ничего значительного.

— Вот уже пятьдесят лет, — продолжал Гете, — я присматриваюсь к немецкой живописи, и не только присматриваюсь, одно время я пытался и сам на нее воздействовать, но теперь могу только сказать, что в нынешних обстоятельствах нам ничего хорошего ждать не приходится. Разве что появится великий художник, который вберет в себя все лучшее из нашего времени и тем самым возвысится над прочими. Все средства для этого налицо, дороги проторены. Мы наслаждаемся теперь творениями Фидия, о чем в юности нам и мечтать не приходилось. Нам не достает, как я уже сказал, лишь великого художника, но и он, я надеюсь, придет. Возможно, он уже лежит в колыбели, и вы еще доживете до его славы.

После обеда я рассказал Гете, что сделал открытие, доставившее мне большую радость. А именно: глядя на горящую восковую свечу, я заметил, что прозрачная нижняя часть огонька представляет собою тот же феномен, благодаря которому небо кажется нам синим, поскольку мы видим темноту сквозь освещенную муть.

Я спросил, знаком ли ему этот феномен свечи и включил ли он его в свое учение о цвете.

— Конечно, включил, — отвечал Гете и, взяв с полки том «Учения о цвете», прочитал мне параграфы, в которых все было описано именно так, как я это увидел.

— Я очень доволен, что вам открылся этот феномен без того, чтобы вы читали мое «Учение о цвете», ведь таким образом вы его постигли и теперь можете смело сказать, что владеете им. И вдобавок вы еще усвоили точку зрения, которая даст вам возможность приблизиться и к другим феноменам. Сейчас я покажу вам еще один.

Было около четырех часов пополудни; под серым, затянутым тучами небом начинало смеркаться. Гете зажег свечу и пошел с нею к столу у окна. Он поставил свечу на белый лист бумаги, а рядом с нею палочку так, чтобы огонек свечи отбрасывал от палочки тень в направлении дневного света.

— Ну-с, — проговорил он, — что вы скажете об этой тени?

— Тень синяя, — ответил я.

— Вот вам и опять синева, — сказал он, — ну, а что вы видите с другой стороны палочки, со стороны, обращенной к свече?

— Я вижу тень.

— И какого же она цвета?

— Красновато-желтая, — отвечал я, — но каким образом возникает этот двойной феномен?

— А вы постарайтесь дознаться сами. Это возможно, хотя и очень нелегко. И не заглядывайте в мое «Учение о цвете», покуда не утратите надежды самостоятельно во всем этом разобраться.

Я с радостью ему это пообещал.

— Феномен нижней части огонька, где прозрачная светлота на темном фоне создает синеву, я покажу вам сейчас в увеличенном виде. — Он взял ложку, налил в нее спирту и зажег его. И передо мною снова возникла прозрачная светлота, темнота же сделалась синей. Я поднес

ложку к темному окну, и синева сделалась гуще; повернул ее к свету, она стала бледнеть и почти вовсе исчезла.

Я с живым интересом наблюдал этот феномен.

— Да, — проговорил Гете, — величие природы в ее простоте и еще в том, что величайшие свои явления она неизменно повторяет в малых. Тот закон, который вызывает синеву небес, мы наблюдаем в нижней части огонька свечи, в горящем спирте, равно как и в освещенном дыме, поднимающемся над деревней у подножия темных гор.

— Но какое объяснение дают ученики Ньютона этому простейшему феномену? — спросил я.

— Вам его знать ни к чему, — отвечал Гете. — Оно слишком глупо, а вы даже не представляете себе, как вредно умному человеку вдаваться в глупости. Не думайте о ньютонианцах, довольствуйтесь учением в его чистом виде, и с вас этого будет предостаточно.

— Изучение ложных теорий, — сказал я, — в данном случае, пожалуй, так же неприятно и вредоносно, как усердное штудирование плохой трагедии, которую необходимо усвоить во всех подробностях, чтобы уяснить себе ее полную несостоятельность.

— Да, так оно и есть, — согласился Гете, — и без нужды этим заниматься не стоит. Я чту математику как возвышеннейшую и полезнейшую науку, покуда ее применяют там, где должно, но не терплю, когда ею злоупотребляют, используя ее в тех областях знания, к которым она никакого касательства не имеет, отчего эта благородная наука сразу же становится бессмыслицей. Словно существует лишь то, что поддается математическому доказательству! Какая ерунда! Вдруг кто-нибудь усомнился бы в любви своей девушки, потому что она не могла бы математически таковую доказать! Приданое, возможно, и подлежит математическому доказательству, но не любовь. Математики не открыли метаморфозу растений! Я сделал это без всякой математики, а математикам пришлось принять мое открытие. Для того чтобы постигнуть феномены учения о цвете, достаточно уметь наблюдать и здравого разума, но и то и другое, увы, встречается реже, чем можно было бы предположить.

— Как современные французы и англичане относятся к учению о цвете? — спросил я.

— Каждая из этих наций, — отвечал Гете, — имеет свои преимущества и свои недостатки. Англичане хороши уже тем, что они практики, но они и педанты. Французы умны, по им во всем важна позитивность, а ежели таковая отсутствует, они ее изобретают. Но в учении о цвете они идут по

правильному пути, и один из их крупнейших ученых уже недалек от истины. Он говорит: цвет присущ всему. И как в природе имеются окисляющие вещества, так имеются и красящие. Разумеется, это еще не объясняет многообразных феноменов, но тем не менее в своих рассуждениях он отталкивается от природы и сбрасывает с себя путы математики.

Слуга принес берлинские газеты, и Гете стал их читать. Он и мне дал одну, по театральным новостям я убедился, что и в Оперном и в Королевском театрах там ставятся такие же слабые вещи, как у нас.

— Да иначе и быть не могло, — сказал Гете, — не подлежит сомнению, что из хороших английских, французских и испанских произведений нельзя составить репертуар так, чтобы каждый вечер давать хорошие пьесы. Но разве у народа есть потребность всегда видеть только хорошее? Времена Эсхила, Софокла и Еврипида были совсем иными: высокий дух им сопутствовал, а значит, всегда живо было стремление к наивысшему и наилучшему. Но в наши дурные времена откуда взяться потребности в наилучшем? И откуда взяться органам для восприятия такового?

— К тому же, — продолжал Гете, — люди хотят чего-то нового. Что в Берлине, что в Париже — публика одинакова. В Париже еженедельно пишут и дают на подмостках невероятное множество новых пьес, волей-неволей смотришь пять-шесть никудышных, покуда одна хорошая не вознаграждает тебя за долготерпение.

Поддержать на достойном уровне немецкий театр нынче могут только гастролеры. Если бы я еще возглавлял театр, я бы весь зимний сезон приглашал хороших гастролеров. Тогда бы мы не только постоянно возобновили хорошие пьесы, но и сумели бы направить интерес публики не столько на пьесы, сколько на игру актеров. У нас появилась бы возможность сравнивать, составлять себе суждение, публика стала бы лучше разбираться в театре, а собственных наших актеров пример выдающегося гостя подстегивал бы и понуждал к соревнованию. Как я уже сказал, гастролеры и еще раз гастролеры, — вы себе даже представить не можете, что из этого проистекло бы и для театра, и для публики.

Мне уже видится время, когда толковый человек, которому это дело по плечу, возьмет на себя руководство *четырьмя* театрами и обеспечит их хорошими гастролерами. И я уверен, что ему легче будет управляться с *четырьмя*, нежели с одним-единственным.

*Среда, 27 декабря 1826 г.*

Я и дома прилежно размышлял о феномене синей и желтой тени, и хотя он долго оставался для меня загадкой, но после упорных наблюдений что-то все же приоткрылось мне, и мало-помалу я убедился в том, что постиг его природу.

Сегодня за столом я объявил Гете, что разгадал загадку.

— Вот и отлично, — сказал он, — после обеда вы мне все расскажете.

— Лучше я все напишу, — ответил я. — При устном изложении я, пожалуй, не подыщу правильных слов.

— Напишите вы позднее, — сказал Гете, — а сегодня вы при мне проделаете опыт и устно его объясните, я хочу быть уверен, что вы на правильном пути.

После обеда было еще совсем светло, и когда Гете спросил:

— Можете вы сейчас приступить к эксперименту?

Я отвечал:

— Нет.

— Почему? — осведомился он.

— Пока еще слишком светло, — ответил я. — Мне нужно, чтобы стало смеркаться и огонек свечи отбросил отчетливую тень, и при этом чтобы было еще недостаточно темно и дневной свет освещал бы ее.

— Гм, это, пожалуй, правильно, — сказал Гете.

Наконец начало смеркаться, и я сказал Гете, что теперь пора. Он зажег восковую свечу и дал мне лист белой бумаги и палочку.

— Ну, вот, теперь приступайте к опыту и прокомментируйте его.

Я поставил свечу на стол у окна, положил возле нее лист бумаги, и когда я поместил палочку посредине между полосой дневного света и светом от огонька свечи, феномен предстал перед нами во всей своей красоте. Тень, ложившаяся в направлении свечи, оказалась выраженно желтой, другая, в направлении окна, доподлинно синей.

— Итак, — спросил Гете, — отчего же возникает синяя тень?

— Прежде чем объяснить это, — ответил я, — дозвоьте мне сказать несколько слов об основном законе, из которого я вывожу оба явления. Свет и тьма — это не цвета, это две крайности, меж коих цвета существуют и возникают благодаря модификации того и другого.

— На границах этих двух крайностей возникают оба цвета — желтый и синий. Желтый — на границе света, когда мы смотрим на него сквозь мутную среду, синий — на границе тьмы, когда мы смотрим сквозь прозрачную среду. Вернувшись к нашим феноменам, — продолжал я, — мы видим, что палочка, благодаря мощи огонька, отбрасывает отчетливую тень. Эта тень обернулась бы чернотою мрака, если бы я, закрыв ставни, прекратил доступ дневного света. Но сейчас в открытое окно льется дневной свет, образуя освещенную среду, сквозь которую я и вижу темноту тени; таким образом, согласно основному закону, возникает синева.

Гете рассмеялся.

— Это синева, — сказал он, — ну, а откуда берется желтая тень?

— По-моему, здесь действует закон замутненного света, — отвечал я. — Горящая свеча отбрасывает на белую бумагу свет, уже имеющий чуть приметный оттенок желтизны. Но воздействие дневного света достаточно мощно, чтобы от палочки упала слабая тень в направлении горячей свечи, и эта тень, сколько ее хватает, замутняет свет; таким образом, в соответствии с основным законом, и возникает желтый цвет. Если я ослаблю замутнение, придвинув тень как можно ближе к свече, то мы уже видим светлую желтизну. Если же я усиливаю замутнение, по мере возможности отдалив тень от свечи, желтизна темнеет до красноватого оттенка, более того — до красноты.

Гете опять рассмеялся, и, надо сказать, не без таинственности.

— Ну и что вы скажете, прав я или нет? Вы зорко подметили феномен и хорошо его изложили, — сказал он, — но вы его не объяснили. Вернее: ваше объяснение достаточно толково, даже остроумно, но, увы, неправильно.

— В таком случае помогите мне, — попросил я, — меня ведь разбирает нетерпение.

— Вы все узнаете, — отвечал Гете, — но не сегодня и не этим путем. На днях я покажу вам другой феномен, который сделает для вас очевидным действующий здесь закон. Вы уже близко подошли к нему, но дальше в этом направлении идти некуда. Когда же вы окончательно постигнете новый закон, вам откроется иная сфера и многое для вас уже останется позади. Придите как-нибудь на часок раньше к обеду, хорошо бы в полдень при ясном небе, и я покажу вам четкий феномен, который вам поможет тотчас уяснить себе закон, лежащий в его основе.

— Мне очень приятно, — продолжал он, — что вы заинтересовались цветом; этот интерес станет для вас источником неопишуемых радостей.

Вечером, покинув дом Гете, я никак не мог выбросить из головы мыслей об упомянутом феномене, даже во сне они не давали мне покоя. Но, разумеется, прозрение так и не снизошло на меня, и я ни на шаг не приблизился к разгадке.

— Мои естественноисторические записи, — недавно сказал мне Гете, — все-таки продвигаются помаленьку, хотя и медленно. Я, конечно, уже не надеюсь действительно способствовать науке, но занимаюсь ею из-за разнообразных и приятных личных связей, которые таким образом поддерживаются. Изучение природы — невиннейшее из занятий, тогда как в области эстетики нынче и думать не приходится о подобных связях и о подобной переписке. Вот теперь им приспичило узнать, какой город на Рейне я имел в виду в «Германе и Доротее»! А разве не лучше, чтобы каждый представил себе, какой ему угодно! Нет, подавай им правду, подавай действительную жизнь, вот этим они и губят поэзию.



*Среда, 3 января 1827 г.*

Сегодня за обедом шел разговор о блестящей речи Каннынга в защиту Португалии.

— Многие называют его речь грубой, — сказал Гете, — но эти люди сами не знают, чего хотят. У них просто какой-то зуд отрицать все значительное. И это не оппозиция, а чистейшая фронда. Им надо ненавидеть что-то значительное. Покуда Наполеон властвовал над миром, они ненавидели его, для них он был отличным громоотводом. Когда с ним было покончено, они затеяли фронду против Священного союза, а между тем никогда еще люди не придумывали чего-либо более разумного и благодетельного для

человечества. Теперь настал черед Каннинга. Его речь о Португалии — результат глубоких раздумий. Он прекрасно отдает себе отчет в силе своей власти, в своем высоком положении и прав, говоря то, что чувствует. Но эти санюлоты его понять не в состоянии, то, что нам всем представляется весьма значительным, им кажется грубым. Они не умеют чтить незаурядное, для них оно непереносимо.

*Четверг вечером, 4 января 1827 г.*

Гете очень хвалил стихи Виктора Гюго.

— Это большой талант, — сказал он, — и на него повлияла немецкая литература. Юность поэта, к сожалению, была омрачена педантическими сторонниками классицизма, но теперь за него стоит «Глоб», а следовательно, он выиграл битву. Мне хочется сравнить его с Мандзони. Его дарование объективно, и он, по-моему, ни в чем не уступает господам Ламартину и Делавиню. Внимательно в него вчитываясь, я начинаю понимать, откуда происходит он сам и ему подобные свежие таланты. От *Шатобриана*, бесспорно, обладающего риторически-поэтическим даром. Для того чтобы представить себе, как пишет Виктор Гюго, вам достаточно прочитать его стихотворение о Наполеоне «Les deux îles»<sup>1</sup>.

Гете положил передо мною книгу и встал у печки. Я начал читать.

— Разве его образы не превосходны? — сказал Гете. — А как свободно он трактует тему!

Он снова подошел ко мне.

— Посмотрите вот на это место, я считаю, что оно прекрасно!

И он прочитал несколько строк о грозовой туче, из которой молния, снизу вверх, ударила в горах.

— До чего хорошо! А все потому, что такую картину и правда наблюдаешь в горах, где гроза частенько проходит под тобой и молнии бьют снизу вверх.

— Я уважаю французов за то, что их поэзия всегда зиждется на реальной почве, — сказал я. — Французские стихи можно изложить прозой, и все существенное в них сохранится.

— Потому что французские поэты много знают, — подхватил Гете, — тогда как наши немецкие дурни думают, что, затратив усилия на приобретение знаний, они нанесут

---

<sup>1</sup> «Два острова» (фр.).

ущерб своему таланту, хотя любой талант должен питаться знаниями и только знания дают возможность художнику практически применить свои силы. Но пусть делают, что хотят, им ничем не поможешь, а истинный талант всегда пробьет себе дорогу. Многие молодые люди, из тех, что сейчас подвизаются на поэтическом поприще, лишены истинного дарования. Они возвещают нам только о своей несостоятельности, которую подстегивает к творчеству разве что высокий уровень немецкой литературы.

— Не диво, что французы, — продолжал Гете, — оттолкнувшись от педантизма, перешли к более свободной манере поэтического письма. Дидро и ему подобные даровитые люди пытались еще до революции проторить эту дорогу. Революция, а засим эпоха Наполеона немало споспешествовали их стремлениям. Если годы войны и не давали прорасти интересу к поэзии, иными словами — были враждебны музам, все же в ту пору формировалось множество свободных умов, которые теперь, в мирное время, очнувшись от былых невзгод, проявляют себя как незаурядные таланты.

Я спросил Гете: неужто сторонники классицизма выступили против бесподобного *Беранже*?

— Жанр, в котором пишет Беранже, — отвечал он, — давний, традиционный, к нему все привыкли. Но поскольку кое в чем он держался большей свободы, то партия педантов, конечно, не пощадила и его.

Разговор перешел на живопись и на вредоносное влияние школы подражателей старине.

— Вы не считаете себя знатоком, — сказал Гете, — но я сейчас покажу вам картину, она хоть и написана одним из лучших наших немецких современников, однако вам сразу бросится в глаза, как много он погрешил против первейших законов искусства. Вы увидите, что некоторые детали очень хороши, но целое оттолкнет вас, и вы так и не поймете, для чего все это нужно. Дело здесь не в недостаточном таланте художника, а в том, что ум, который должен руководить талантом, у него помрачен, как у всех художников этой школы, и он, игнорируя великих мастеров, обращается к их несовершенным предшественникам, которых и принимает за образец.

Рафаэль и его современники из ограниченности манеры сумели прорваться к естественности и свободе. А нынешние художники, вместо того чтобы, возблагодарив господа, умело использовать эти преимущества и идти дальше по уже проложенному пути, возвращаются к былой ограни-

ченности. Печальная история, и понять ее невозможно. А так как на этом пути само искусство не может служить им опорой, то они ищут ее в религии и в принадлежности к определенному направлению — иначе они в своей слабости попросту бы погибли.

— В искусстве, — продолжал Гете, — едва ли не главенствующую роль играет преемственность. Когда видишь большого мастера, обнаруживаешь, что он использовал лучшие черты своих предшественников и что именно это сделало его великим. Такой художник, как Рафаэль, из земли не растет. Его искусство зиждилось на античности, на лучших творениях прошлого. Ежели бы он не использовал преимуществ своего времени, о нем не стоило бы и говорить.

Разговор отвлекся в сторону старогерманской поэзии. Я вспомнил о Флеминге.

— Флеминг, — сказал Гете, — талант весьма приятный. Но он увяз в бюргерстве и, пожалуй, несколько прозаичен, сейчас от него толку мало. Странное дело, — продолжал он, — я написал много разнообразных стихотворений, но ни одно из них не могло бы войти в Лютерово собрание псалмов.

Я рассмеялся и отвечал утвердительно, при этом подумав, что в необычном этом высказывании заложено больше, чем кажется на первый взгляд.

*Воскресенье вечером, 14 января 1827 г.*

У Гете я застал музыкальный вечер, которым его решил почтить семейство Эбервейн. Вечере принимали участие и несколько оркестрантов. Среди немногих слушателей были: генерал-суперинтендент Рёр, надворный советник Фогель и две-три дамы. Гете хотел услышать квартет прославленного молодого композитора, каковой и был исполнен в начале концерта. Двенадцатилетний Карл Эбервейн сел за рояль. Гете остался очень доволен его игрой, которая и вправду была превосходна, да и весь квартет заслуживал полного одобрения.

— Удивительно, — сказал Гете, — как далеко увела новейших композиторов высокая современная техника и механика. Их произведения это уже не музыка, они превышают уровень человеческого восприятия и ничего не говорят ни уму, ни сердцу. А как на ваш слух? У меня все это застревает только в ушах.

Я заметил, что и со мной дело обстоит не иначе.

— Но аллегро, — продолжал Гете, — по-своему выразительно. От этого нескончаемого кручения и верчения мне представилась пляска ведьм на Брокене, а значит, возник зрительный образ, сочетающийся с этой непостижимой музыкой.

Во время перерыва, когда мы беседовали и закусывали, Гете обратился к мадам Эбервейн с просьбой исполнить несколько песен. Сначала она спела прекрасную песню Цельтера «*В полночный час*», которая произвела на всех глубокое впечатление.

— Эта песня остается прекрасной, сколько ее ни слушай, — сказал Гете. — В ее мелодии есть что-то вечное и неистребимое.

Затем было исполнено несколько песен из «Рыбачки», положенных на музыку Максом Эбервейном. «*Лесной царь*» пришелся по душе всем без исключения, а после арии «*Ich hab's gesagt der guten Mutter*» слушатели в один голос стали твердить, что музыка здесь так созвучна словам, что иную себе и представить невозможно. Даже Гете был вполне ею удовлетворен.

В заключение сего приятного вечера мадам Эбервейн, по желанию Гете, спела несколько песен из «*Дивана*» на музыку ее супруга. Гете всего больше понравилось место «*Jussufs Reize möcht ich borgen*».

— Здесь Эбервейн, — сказал он мне, — подчас превосходит самого себя. — И еще он захотел послушать песню «*Ach, um deine feuchten Schwingern*», которая тоже всех растрогала и очаровала.

После ухода гостей я еще несколько минут оставался наедине с Гете.

— Сегодня я сделал открытие, — сказал он, — что эти песни из «*Дивана*» ко мне уже не имеют ни малейшего отношения. Все восточное в них и все, что идет от страсти, умерло в моей душе, осталось лежать на дороге, как сброшенная змеею кожа. А вот песня «*В полночный час*» еще не утратила связи со мной, она как бы остается живой частичкой меня и продолжает жить во мне.

Вообще-то нередко случается, что собственные мои произведения делаются мне абсолютно чужими. На днях, читая что-то по-французски, я думал: этот человек хорошо выражает свои мысли, я бы и сам лучше не сказал. А взглядевшись повнимательнее, обнаружил, что это переведенный отрывок из моего произведения.

Завершив «Елену», Гете прошлым летом стал продолжать «Годы странствий». Он часто рассказывал мне о продвижении этой работы.

— Чтобы лучше использовать наличествующий материал, — сказал он мне однажды, — я вовсе порушил первую часть и теперь, смешав старое с новым, сделаю две части. Я был вынужден отдать переписывать напечатанное; места, где мне надо будет вставить новое, помечены мною; когда переписчик доходит до отметки, я диктую дальше, и таким образом работа у меня не останавливается.

В другой раз он сказал:

— Все, что было напечатано из «Годов странствий», уже переписано; места, которые я хочу сделать заново, переделаны синей бумагой, так что я сразу вижу, что еще надо сделать. Сейчас я так продвигаюсь вперед, что синих страничек становится все меньше, это меня радует.

Месяца полтора тому назад я слышал от его секретаря, что он теперь работает над новой новеллой. Посему я воздерживался от вечерних посещений, довольствуясь тем, что раз в неделю видел его за обедом.

Эта новелла была недавно закончена, и сегодня вечером он положил передо мною ее первые страницы.

Я был счастлив и дочитал до того примечательного места, где все стоит вокруг убитого тигра, а сторож приносит известие, что лев улегся вверху, среди руин, и греется на солнце.

Читая, я поражался необычайной четкости, с которой все, вплоть до самой ничтожной частности, представало перед моим взором. Выезд охоты, зарисовка старых замковых руин, ярмарка, полевая дорога к развалинам — все было изображено до того отчетливо, что читатель представлял себе описываемое именно так, как того хотел автор. И в то же время все было сделано с неколебимой уверенностью, обдуманно и властно; невозможно было угадать, во что это выльется в будущем, и видеть больше, чем ты прочитал.

— Ваше превосходительство, — сказал я, — вы, видимо, работали, придерживаясь строго определенной схемы.

— Вы правы, так оно и было, — подтвердил Гете, — я еще тридцать лет тому назад хотел развить этот сюжет, и с тех пор «Новелла» не шла у меня из головы. Но все с ней получилось как-то странно! Первоначально, сразу после «Германа и Доротеи», я задумал разработать эту тему в эпической форме, в гекзаметрах, и тогда же набросал под-

робную схему. Когда я теперь вернулся к той же теме, оказалось, что старая схема куда-то запропастилась, и мне поневоле пришлось разрабатывать новую в строгом соответствии с изменившейся формой, в которую я теперь хотел ее облечь. И вот, после того как работа была уже завершена, вдруг нашлась старая схема, и я рад, что она раньше не попалась мне в руки, это бы только сбilo меня с толку. Сюжет и ход его развития, правда, не претерпели изменений, по в деталях там многое было по-другому,— ведь предназначал-то я ее для эпической обработки в гекзаметрах, а потому для прозы она бы все равно не пригодилась.

Разговор перешел на содержание «Новеллы».

— Какая прекрасная сцена, — сказал я, — когда Гонорио стоит перед герцогиней возле мертвого тигра, к ним подходит горько плачущая женщина с мальчиком и к этой странной группе поспешает еще и герцог со своей охотой. Великолепная картина, мне бы хотелось видеть ее запечатленной на полотне.

— Да, — сказал Гете, — картина была бы хорошая, но, — добавил он после недолгого раздумья, — для живописи это, пожалуй, слишком богатое содержание и фигур многовато, художнику трудно пришлось бы с их группировкой и с распределением светотени. Но вот предшествующий момент, когда Гонорио преклоняет колени перед телом тигра, а герцогиня верхом на лошади остановилась подле него, я, действительно, представлял себе в виде живописного произведения, и оно бы могло получиться.

Я почувствовал правоту Гете и добавил, что этот момент, собственно, и является ядром всей ситуации, как бы раскрывающим ее смысл.

И еще я заметил по поводу прочитанного, что эта новелла коренным образом отличается от других, вошедших в «Годы странствий», ибо все в ней воссоздает внешнее, то есть реальное.

— Вы правы, — отвечал Гете, — внутренняя жизнь здесь почти отсутствует, хотя в других моих вещах ее, пожалуй что, и слишком много.

— Теперь меня разобрало любопытство, — сказал я, — как они совладают со львом; что это произойдет каким-то другим образом, я догадываюсь, но *как* именно, от меня сокрыто.

— Что ж хорошего, если бы вам сразу все было ясно, — сказал Гете, — и сегодня я еще ничего вам не скажу. В четверг вечером я дам вам конец; до тех пор пусть лев греется на солнышке.

Я перевел разговор на вторую часть «Фауста», и прежде всего на «Классическую Вальпургиеву ночь», которая пока что существовала лишь в наброске; Гете недавно сказал мне, что в этом виде он хочет ее напечатать. Я возымел дерзкое намерение ему отсоветовать это, ибо страшился, что однажды напечатанный набросок так наброском и останется. За истекшее время Гете, видимо, все обдумал и сразу же обрадовал меня сообщением, что отказался от мысли его печатать.

— Мне очень приятно это слышать, — сказал я, — теперь у меня появилась надежда, что вы его закончите.

— Я бы это сделал за три месяца, — сказал Гете, — только откуда я возьму покой? Каждый день предъявляет ко мне чрезмерное множество требований; и никак я не могу обособиться, замкнуться. Сегодня утром меня посетил наследник великого герцога, на завтрашний день назначила свой визит великая герцогиня. Мне следовало бы оценивать эти посещения как высокую честь, они украшают мою жизнь, но и претендуют на внутренние мои силы, я должен думать о том, чтобы развлечь высоких особ чем-нибудь новым, достойно занять их.

— И однако же, — сказал я, — прошлой зимою вы завершили «Елену», а отрывали вас не меньше, чем нынешней.

— Конечно, — отвечал Гете, — работа продвигается и должна продвигаться, но мне это нелегко.

— Слава богу, — заметил я, — что у вас составлен такой подробный план.

— План-то у меня есть, но самое трудное впереди. Когда приступаешь к осуществлению, то уж тут — как повезет! «Классическая Вальпургиева ночь» должна быть написана рифмованным стихом, и тем не менее на целом должен лежать отпечаток античности. Найти такую стихотворную форму — дело не простое, а тут еще и диалог!

— Разве он не предусмотрен в вашем плане? — спросил я.

— В нем предусмотрено что, — отвечал Гете, — но не как. Вы попытайтесь-ка представить себе, что только не происходит в эту безумную ночь! Обращение Фауста к Прозерпине, когда он убеждает ее выдать Елену; как он должен с нею говорить, если Прозерпина до слез растрогана его словами! Все это сделать очень трудно. Здесь многое зависит от везения, вернее — от наития и собранности духа.

*Среда, 17 января 1827 г.*

В последнее время Гете чувствовал себя неважно, и мы обедали в его рабочей комнате с окнами, смотрящими в сад. Сегодня стол снова накрыли в так называемой «комнате Урбино», что уже само по себе было добрым знаком. Войдя туда, я застал Гете и его сына. Оба приветствовали меня, как всегда, дружелюбно и сердечно. Гете был явно в превосходнейшем настроении, о чем свидетельствовало его оживленное лицо. В открытую дверь соседней комнаты, так называемой плафонной, я увидел канцлера фон Мюллера, склонившегося над какой-то большой гравюрой; он вскоре вошел к нам, и я с удовольствием пожал руку столь приятному сотрапезнику. В ожидании госпожи фон Гете мы все-таки уселись за стол. Разговор шел о прекрасной гравюре, и Гете сказал мне, что это работа знаменитого парижского художника Жерара, на днях присланная ему в подарок.

— Подите, пока не подали суп, и посмотрите на нее рошенько, — сказал Гете.

Я исполнил его желание, которое, разумеется, совпало с моим, и равно порадовался как этому удивительному творению, так и надписи, которую сделал художник в знак своего уважения, посвящая этот труд Гете. Но долго мне не пришлось наслаждаться, — вошла госпожа фон Гете, и я поспешил занять свое место за столом.

— Правда, ведь это замечательное произведение? — сказал Гете. — Его можно рассматривать дни, недели, постигая все богатство мыслей и совершенство исполнения. Это удовольствие, — добавил он, — еще предстоит вам в ближайшее время.

За столом все были очень оживлены. Канцлер прочитал письмо из Парижа от одного выдающегося государственно-го деятеля, который во время оккупации занимал здесь многотрудный пост посланника и с тех пор сохранил дружественные отношения с Веймаром. В письме говорилось о великом герцоге и о Гете, корреспондент прославлял Веймар, где гений не только счастливо уживался, но и пребывал в доброй дружбе с верховным правителем.

Госпожа фон Гете внесла немало очарования в застольную беседу. Поддразнивая молодого Гете, она заговорила о разных покупках, а тот делал вид, что не знает, о чем идет речь.

— Красивых женщин не следует приучать к излишним тратам, — заметил Гете, — а то они никакого удержу знать

не будут. Наполеон, даже на Эльбе, получал счета от модисток, которые должен был оплачивать. А между тем в таких делах он считал, что лучше меньше, чем больше. Както в Тюильри торговец модными товарами выкладывал перед его супругой дорогие наряды. Когда же Наполеон не выказал ни малейшего поползновения что-то купить, торговец дал ему понять, что он не слишком тороват в отношении своей жены. Наполеон ни слова ему не ответил, но так на него взглянул, что тот незамедлительно собрал свой товар и никогда больше во дворце не показывался.

— Он тогда еще был консулом? — осведомилась госпожа фон Гете.

— Нет, надо думать, уже императором, — отвечал Гете, — иначе его взгляд не был бы столь устрашающим. Но как не посмеяться над торговцем, которого до мозга костей пронзил этот взгляд: он, наверно, уже чувствовал себя обезглавленным или расстрелянным.

Мы были в самом веселом расположении духа, и разговор о Наполеоне продолжался.

— Я хотел бы, — заявил молодой Гете, — иметь все его деяния запечатленными в картинах или гравюрах, которые бы я развесил в большой комнате.

— Она должна была бы быть поистине огромной, — возразил Гете, — но деяния его так огромны, что картины все равно бы в ней не поместились.

Канцлер заговорил об «Истории немцев» Лудена, и мне оставалось только удивляться, как ловко и убедительно сумел молодой Гете объяснить национальными чувствами и взглядами автора нападки прессы на эту книгу в тот год, когда она была издана. Наполеоновские войны, по его словам, впервые позволили нам вникнуть в смысл тех войн, которые вел Юлий Цезарь.

— До сих пор, — заметил он, — книга Цезаря была все-навсего предметом дискуссий разных научно-исторических школ.

С древнегерманских времен разговор перешел на времена готики. Начался он с книжного шкафа в готическом стиле и перекинулся на новую моду: обставлять комнаты в старогерманском или готическом стиле и жить словно бы в окружении былых времен.

— В доме, где так много комнат, — сказал Гете, — что некоторые оставляют пустыми и заходят в них лишь раза три-четыре в год, эдакие причуды возможны, — ну, пусть будет одна готическая комната, мне, например, нравится,

что у мадам Панкук в Париже имеется китайская. Но загромождать стариной жилые помещения, по-моему, неразумно. Это своего рода затянувшийся маскарад, он не может благотворно действовать на живущих в доме, скорее даже идет им во вред, ибо находится в противоречии с сегодняшним днем, в котором нам суждено жить, а поскольку все это лишь пустые затеи, то вред, ими наносимый, еще приумножается. Совсем неплохо в веселый зимний вечер нарядиться турком и отправиться в маскарад, но что, спрашивается, мы с вами подумали бы о человеке, который весь год разгуливает ряженым? Мы бы решили, что он либо сумасшедший, либо скоро им станет, так как предрасположен к сумасшествию.

Мы сочли слова Гете об этом чисто житейском вопросе, безусловно, убедительными, и так как никто из присутствующих ни в коей мере не мог принять их на свой счет, то с удовольствием с ним согласились.

Разговор перешел на театр, и Гете поддразнивал меня тем, что в последний понедельник я ради него решил жертвовать театром.

— Он здесь уже три года, — сказал Гете, обращаясь к сидевшим за столом, — и впервые, в угоду мне, не был на спектакле; я очень высоко оценил такое самопожертвование. Я его пригласил, и он пообещал прийти, но я все-таки сомневался, что он сдержит слово, в особенности, когда уже пробило половину седьмого, а его все не было. Я бы даже был рад, если бы он не явился, ведь тогда бы я мог сказать: вот безумец, театр ему дороже самых лучших друзей и ничто не может его отвратить от этой страсти. Но я ведь возместил вам пропущенный спектакль, верно? Разве плохую я вам показал вещицу?

Говоря это, Гете намекал на свою «Новеллу».

Далее разговор зашел о Шиллеровом «*Фиеско*», которого давали в прошлую субботу.

— Я впервые видел эту пьесу, — сказал я, — и все думал: нельзя ли несколько смягчить очень уж грубые сцены, но потом решил, что ничего тут не сделаешь, не нарушив характера целого.

— Вы правы, тут ничего не получится, — отвечал Гете, — Шиллер часто говорил со мной об этом, он и сам не терпел своих первых драматических произведений и, покуда мы с ним руководили театром, не позволял их ставить. Когда, в свое время, нам туго пришлось с репертуаром, мы очень хотели обратиться к трем его могучим первенцам. Но ничего у нас не вышло, все в них так срослось между со-

бою, что сам Шиллер поставил крест на этом намерении и решил оставить свои пьесы в их первоначальном виде.

— Очень жаль, — заметил я, — хотя, несмотря на все грубости, они мне в тысячу раз милее слабых, расплывчатых, натянутых и неестественных творений некоторых наших новейших трагиков. У Шиллера во всем сказывается грандиозный дух и характер.

— Еще бы, — сказал Гете, — Шиллер, за что бы ни взялся, просто не мог создать ничего, во сто крат не превышающего лучших творений новейших писателей. Даже когда он стриг себе ногти, он был крупнее этих господ.

Столь уничтожающее сравнение заставило нас всех расхохотаться.

— Но я знал людей, — продолжал Гете, — которые никак не могли примириться с юношескими творениями Шиллера. Однажды летом на некоем курорте я шел по узенькой дорожке, ведущей на мельницу. Навстречу мне попался князь \*\*\*, и в это же самое мгновение мы столкнулись с несколькими мулами, навьюченными мешками с мукой; ничего не поделаешь, пришлось, уступая им дорогу, зайти в какой-то домик. Там, в тесной комнатухе, князь — такая уж у него была привычка — немедленно затеял со мной глубокомысленный разговор о божественном и о человеческом, дальше мы перешли на Шиллеровых «Разбойников», и князь изволил высказаться следующим образом: «Если бы я был богом и собирался сотворить мир, но в этот миг мне бы открылось, что Шиллер напишет в нем своих «Разбойников», я бы уж его сотворять не стал».

Мы поневоле расхохотались.

— Не кажется ли вам, — сказал Гете, — что его антипатия зашла, пожалуй, слишком далеко и ее даже трудно себе объяснить.

— Эта антипатия, — вставил я, — однако, не передалась нашей молодежи, и прежде всего студентам. Когда даются зрелые, превосходнейшие вещи Шиллера или других драматических писателей, студентов в театре не видно, но когда идут «Разбойники» или «Фиеско», зал переполнен едва ли не одними студентами.

— Пятьдесят лет назад, — сказал Гете, — было то же самое, но иначе, по-видимому, будет и через пятьдесят лет. Вещь, написанная молодым человеком, всего более по сердцу молодежи. И еще: не следует думать, что человечество так уж ушло вперед в смысле культуры и хорошего вкуса и что для молодежи миновала жестокая и грубая эпоха! Разумеется, человечество в целом идет вперед, но молодежь-

то все начинает сначала, и любой индивидуум должен пройти через все эпохи мировой культуры. Меня это уже не огорчает, я давно написал стишки:

Огнями Ивановой ночи и впрямь  
Оставь детей наслаждаться!  
Всякой метле суждено тупеть,  
А ребятам на свет рождаться.

Достаточно выглянуть в окно — и в метлах, которыми метут улицы, в беготне детей у меня перед глазами символы вечно изнашивающейся и вечно обновляющейся жизни. Поэтому сохраняются и переходят из века в век детские игры и забавы юности, какими бы абсурдными они ни казались пожилым людям; дети остаются детьми, и во все времена они схожи. Вот я и считаю, что не надо запрещать костры в ночь на Иванов день и лишать ребятишек такой большой радости.

В подобных разговорах быстро прошел час обеда. Те, что помоложе, встав из-за стола, поднялись в верхние комнаты, канцлер же остался с Гете.

*Четверг вечером, 18 января 1827 г.*

Сегодня вечером Гете обещал дать мне конец новеллы. В половине седьмого я отправился к нему. Он был один в своей уютной рабочей комнате. Я подсел к его столу, и после того, как мы поговорили о разных событиях последних дней, Гете поднялся и вручил мне вожделенный последний лист.

— Вот, прочитайте-ка конец.

Я стал читать, Гете тем временем расхаживал взад и вперед по комнате, несколько раз останавливаясь у печки. Как обычно, я тихонько читал про себя.

Предыдущий лист заканчивался описанием того, как лев лежит на солнце у подножия векового дуба возле стены, что еще окружают развалины, а внизу идут приготовления к его поимке. Герцог собирается послать за ним охотников, но чужеземец просит пощадить его льва, он-де уверен, что ему удастся и не прибегая к насилию заманить его в железную клетку. «Это сделают, — говорит он, — песни мальчика и сладостные звуки его флейты». Герцог снисходит к его просьбе, приказав принять необходимые меры предосторожности, и вместе со своей свитой возвращается в город. Гонорио с несколькими охотниками занимает ложбину, чтобы, если лев вздумает в нее спуститься, зажечь костер и таким образом отогнать его. Мать и дитя, в сопро-

вождении сторожа замка, поднимаются к развалинам, по другую сторону которых, у стены, разлегся лев.

Их цель — заманить могучего зверя в обширный двор замка. Мать и сторож укрываются в полуразрушенном рыцарском зале, ребенок один, сквозь темный пролом в стене, выходит ко льву. Воцаряется напряженное молчанье; неизвестно, что будет с ребенком, звуки флейты умолкли. Сторож корит себя за то, что не пошел с ним. Мать спокойна.

Наконец снова слышится флейта, все ближе и ближе, ребенок через тот же пролом входит в замковый двор, лев тяжелой поступью идет за ним. Они бредут по двору, потом мальчик усаживается на солнышке, лев мирно опускается на землю подле него и кладет свою тяжелую лапу ему на колени. Колючка вонзилась в нее, ребенок осторожно ее вытаскивает и, сняв с шеи шелковый платочек, перевязывает лапу.

Мать и сторож, наблюдавшие всю сцену сверху, из рыцарского зала, ликуют. Лев укрощен и в безопасности, а ребенок, который укрощал грозного зверя то звуками флейты, то прелестными невинными песенками, в завершение новеллы поет:

Чистый ангел зачастую  
В добрых детях говорит,  
Побеждает волю злую,  
Дело доброе творит.  
Околдуют и привяжут  
Звуки песни неземной,  
И у детских ножек ляжет,  
Зачарован, царь лесной.

Не без растроганности прочитал я эти последние страницы. Но что сказать, я не знал, я был поражен, хотя удовлетворения не испытывал. Развязка показалась мне слишком оторванной от целого, слишком идеальной и лиричной; мне думалось, что хоть некоторые из остальных действующих лиц должны были бы еще раз появиться и тем самым сообщить ей большую широту.

Гете, заметив, что сомнения терзают меня, пожелал восстановить мое душевное равновесие.

— Если бы я еще раз вывел кого-нибудь из действующих лиц, конец стал бы прозаичен. Да и что бы они должны были делать, что говорить, когда все уже позади? Герцог со своей свитой поскакал в город, где нужна его помощь. Гонорио, услышав, что лев там, наверху, в безопасности, пойдет к нему вместе с сопровождающими его охот-

никами, а вскоре и хозяин льва привезет из города железную клетку и водворит в нее царя зверей. Все это достаточно очевидно, а потому говорить об этом не стоит. Иначе, того и гляди, впадешь в прозаизм.

А здесь нужен идеальный, даже лирический конец, ибо после выспренной речи хозяина, которая уже является поэтической прозой, необходим был новый подъем, и я не мог не перейти к лирической поэзии, более того — к песне.

Мне хотелось бы пояснить сравнением развитие этой новеллы; итак, представьте себе проросшее из корня зеленое растение; некоторое время крепкий его стебель выгоняет во все стороны сочные зеленые листья и, наконец, увенчивается цветком. Цветок появился неожиданно-негаданно, но он должен был распуститься, ведь только затем и нужна была эта пышная зеленая листва — иначе не стоило бы затрачивать труды на его выращивание.

При этих словах я облегченно вздохнул, — казалось, нелепа упала с моих глаз, и во мне забрезжило понимание всего совершенства этой удивительной композиции.

Гете продолжал:

— Цель моей новеллы — показать, что неистовое, некротимое чаще покоряется любви и кротости, чем силе; эта мысль, персонифицированная в ребенке и льве, и побудила меня ее написать. Это — идеальное, иными словами — цветок. А зеленая листва реальной экспозиции только для него существует и только благодаря идеальному чего-то стоит. Ибо что такое реальность сама по себе? Правдивое ее воссоздание нас радует, она даже способствует более глубокому осознанию отдельных явлений, но истинную пользу тому вышнему, что заложено в нас, приносит лишь идеальное, лишь то, что порождено душою поэта.

Я живо ощутил всю степень его правоты, так как конец новеллы еще продолжал будоражить мои чувства, и давно не испытанная умиленность постепенно охватывала меня. Какими же чистыми и глубокими, даже в столь преклонном возрасте, остались чувства поэта, если ему удалось создать эту прекрасную вещь! Я не сумел скрыть свои мысли от Гете, так же как и радость по поводу того, что это единственное в своем роде творение уже существует.

— Мне приятно, что вы довольны, — сказал Гете, — да и сам радуюсь — шутка ли, наконец избавиться от замысла, который вынашиваешь в продолжение тридцати лет. Шиллер и Гумбольдт — я им тогда рассказал о нем — не советовали мне разрабатывать этот сюжет, они ведь не могли знать, что заложено в новелле, только самому поэту

ведомо, какие чары он сообщит своему детищу. Вот почему не следует спрашивать совета, когда ты задумал что-то написать. Если бы Шиллер наперед спросил меня, следует ли ему писать «Валленштейна», я наверняка бы сказал: «нет», ибо не мог даже вообразить, что на этот сюжет он напишет такую прекрасную драму. Шиллер был против воплощения моего замысла в гекзаметрах, — а я именно так намеревался воплотить его после «Германа и Доротеи», — он советовал мне восьмистрочные стансы. Но теперь вы сами видите, что для этого сюжета лучше всего подошла проза. Здесь многое зависело от точной зарисовки местности, а рифмованные стихи в этом отношении очень бы меня стеснили. И еще: поначалу вполне реальный, под конец же идеальный характер новеллы всего более соответствовал прозаическому изложению, да и песни теперь прелестно выделяются на прозаическом фоне, тогда как при гекзаметрах или даже восьмистрочных рифмованных стихах они вообще были бы невозможны.

Мы заговорили о других рассказах и новеллах, вошедших в «Годы странствий», отмечая, что каждой присущ свой тон и свой характер.

— Я сейчас объясню вам, откуда это пошло, — сказал Гете. — Я приступил к работе над новеллой, как живописец, который, изображая те или иные предметы, избегает одних красок и старается, чтобы преобладали другие. Так, к примеру, когда он пишет утренний пейзаж, то кладет на палитру много синей краски, но мало желтой. А принимаясь писать вечер, берет побольше желтой, синей же на его палитре почти не видно. Подобным образом поступал и я в своих многообразных писательских работах, и если считается, что им присуще разнообразие, то оно идет именно отсюда.

Меня поразила мудрость этой максимы, и я радовался, что слышу ее от Гете.

Кроме того, меня восхищала, особенно в последней новелле, детальность, с которой был воссоздан пейзаж.

— Я никогда не наблюдал природу как поэт, — сказал Гете. — Но ранние мои занятия пейзажной живописью и позднейшие естественнонаучные исследования заставили меня постоянно и зорко вглядываться в создания природы, так что я мало-помалу изучил ее до мельчайших подробностей, и, когда мне нужно что-то для моих поэтических занятий, все это в моем распоряжении и я почти не погрешаю против правды. Шиллер не обладал таким знанием природы. Все, что есть в его «Телле» типично швейцарско-

го, я рассказал ему, но он был так удивительно одарен, что даже по рассказам умел создавать нечто вполне реальное.

Разговор свелся к Шиллеру, и Гете продолжал его следующим образом:

— Творчество Шиллера, собственно, относится к области идеального, и можно смело сказать, что ни в немецкой, ни в какой-либо другой литературе подобного ему писателя нет. Возможно, в нем есть что-то от лорда Байрона, но тот превосходит его в знании людей и света. Очень жаль, что Шиллер не дожил до лорда Байрона, — интересно, как бы он отзывался о столь родственном ему духе и таланте. Ведь Байрон, кажется, ничего еще не опубликовал при жизни Шиллера?

Я усомнился, но не мог с уверенностью сказать, так это или не так. Посему Гете взял энциклопедический словарь и прочитал вслух статью о Байроне, не преминув вставить несколько беглых замечаний. Выяснилось, что до 1807 года лорд Байрон ничего не печатал, а следовательно, Шиллер и не мог его читать.

— Через все творения Шиллера, — продолжал Гете, — проходит идея свободы, и эта идея всякий раз принимала иные формы, по мере того как Шиллер менялся сам, продвигаясь вперед по пути культуры. В юности его волновала физическая свобода, и он ратовал за нее в своих сочинениях, в более зрелом возрасте — свобода идеальная.

Странная это штука со свободой, — ее не трудно достигнуть тому, кто знает себя и умеет себя ограничивать. А на что, спрашивается, нам избыток свободы, которую мы не можем использовать? Окиньте взглядом эту комнату и соседнюю спальню; обе комнаты невелики, а кажутся еще меньше, потому что до отказа забиты книгами, рукописями, предметами искусства, но с меня этого довольно, я всю зиму в них прожил, почти не заходя в другие. Какой же мне был толк от моего обширного дома и свободы разгуливать из комнаты в комнату, ежели у меня не было в том потребности!

Человеку хватает той свободы, которая позволяет ему вести нормальную жизнь и заниматься своим ремеслом, а это доступно каждому. Не надо еще забывать, что все мы свободны лишь на известных условиях, нами соблюдаемых. Бюргер не менее свободен, чем дворянин, если только он держится в границах, предуказанных господом богом, который назначил ему родиться в этом, а не в другом сословии. Дворянин так же свободен, как владетельный князь;

наблюдая некоторые придворные церемонии, он может чувствовать себя ему равным. Свободными нас делает не то, что мы ничего и никого не считаем выше себя, а, напротив, то, что мы чтим все, что над нами. Ибо такое почитание возвышает нас самих, им мы доказываем, что и в нас заложено нечто высшее, а это и позволяет нам смотреть на себя как на ровню. Во время моих странствий мне доводилось сталкиваться с северонемецкими купцами; бесцеремонно подсаживаясь к моему столу, они считали себя равными мне. Но это было не так, — чтобы со мною сравняться, им следовало ценить меня и должным образом со мной обращаться.

То, что физическая свобода не давала в юности покоя Шиллеру, отчасти объясняется свойствами его духа, но прежде всего муштрой, которой он подвергался в военной школе.

Затем в более зрелом возрасте, когда физической свободы у него было предостаточно, он перекинулся на свободу идеальную, и мне думается, что эта идея убила его. Из-за нее он предъявлял непосильные требования к своей физической природе.

Когда Шиллер переехал в Веймар, великий герцог назначил ему содержание в *тысячу* талеров ежегодно и обещался удвоить эту сумму в случае, если болезнь не позволит ему работать. Последнее Шиллер отклонил и ни разу не воспользовался предоставленной ему возможностью. «У меня есть талант, — говорил он, — и я сумею сам себе помочь». Однако при увеличившейся в последние годы семье ему приходилось существовать ради писать по две пьесы в год, и для того, чтобы это осилить, он понуждал себя к работе в дни и месяцы, когда бывал болен. Талант, полагал он, должен всегда ему повиноваться, в любой час быть к его услугам.

Шиллер никогда много не пил, да и вообще был очень умерен, но в минуты физической слабости пытался подкрепить свои силы ликером или еще каким-нибудь спиртным напитком, что плохо отзывалось на его здоровье и, я бы сказал, даже на его произведениях. Ибо то, что наши умники порицают в них, по-моему, только этим и объясняется. Отдельные места, которые, по их мнению, недостаточно «верны», я бы назвал патологическими, так как Шиллер писал их в дни, когда ему не доставало сил, чтобы найти подлинно убедительные мотивы. Я высоко ставлю категорический императив, знаю, сколько хорошего может от него произойти, но и здесь необходимо знать меру, в про-

тивном случае идея идеальной свободы ни к чему доброму не приведет.

В этих интереснейших его высказываниях, в разговорах о лорде Байроне и прославленных немецких литераторах, которым Шиллер предпочитал Коцебу, говоря, что тот-де хоть продуктивен, быстро прошли вечерние часы, и Гете дал мне с собой «Новеллу», чтобы дома, в тиши, я мог внимательно перечитать ее.

*Воскресенье вечером, 21 января 1827 г.*

Сегодня вечером в половине восьмого я пошел к Гете и пробыл у него часок. Он показал мне новый французский томик стихов некоей мадемуазель Гэ и отозвался о них с большой похвалой.

— Французы, — сказал он, — теперь делают успехи, и к ним стоит присмотреться повнимательнее. Я очень стараюсь составить себе представление о современной французской литературе и, если представится случай, высказаться о ней. Интересно, что у них только-только приходят в действие элементы, которые для нас уже давно — дело прошлого. Правда, средний талант всегда оказывается в плену своего времени и поневоле питается элементами, в нем заложенными. У французов все, включая новейшую набожность, точь-в-точь как у нас, разве что проявляется это несколько галантнее и остроумнее.

— А что вы, ваше превосходительство, скажете о *Беранже* и авторе «Театра Клары Газуль»?

— Эти двое — исключение, — сказал Гете, — это таланты выдающиеся, они опираются на самих себя, не поддаваясь влиянию времени.

— Мне очень приятно это слышать, — сказал я, — ибо у меня о них сложилось приблизительно такое же мнение. Разговор с французской литературы перешел на немецкую.

— Сейчас я вам покажу нечто для вас интересное, — сказал Гете. — Передайте мне один из тех двух томов, что лежат перед вами. *Зольгер* ведь знаком вам, не так ли?

— Конечно, — отвечал я, — и я очень его ценю. У меня имеются его переводы из Софокла, которые, так же как его предисловие к ним, внушили мне глубокое уважение.

— Он ведь умер много лет назад, — сказал Гете, — а теперь издали полное собрание его сочинений и писем. Фи-

лософские исследования, преподнесенные в форме Платоновых диалогов, не очень ему удалось, но письма превосходны. В одном он пишет Тику об «Избирательном средстве», я должен вам прочитать его письмо, так как лучше, пожалуй, нельзя высказаться об этом романе.

Гете прочитал мне великолепный разбор романа, и мы, по пунктам, обсудили таковой, восхищаясь мыслями автора, свидетельствовавшими о широте его воззрений, а также последовательностью его обоснований и выводов. Хотя Зольгер и признает, что события в «Избирательном средстве» определены врожденными свойствами действующих лиц, он все же очень отрицательно относится к характеру Эдуарда.

— Я не упрекаю Зольгера, — сказал Гете, — за то, что он не терпит Эдуарда, я и сам его не терплю, но я должен был сделать его таким, чтобы могли развиваться события романа. Вообще же это тип вполне правдоподобный, в высшем обществе встречается немало людей, у которых своеобразие подменяет собою характер.

Выше других действующих лиц Зольгер ставит *архитектора*, ибо среди всех слабых и запутавшихся он один сохраняет силу и свободу духа. И самое в нем прекрасное, что он не только не запутывается в тенетах заблуждений, как все остальные, такой уж крупной личностью создал его автор, но и *не способен* в них запутаться.

Нам очень понравилось это меткое выражение.

— Как хорошо сказано, — заметил Гете.

— Я всегда считал характер архитектора весьма значительным и достойным уважения, — сказал я, — но что он именно тем и хорош, что *не способен* попасться в сети любви, об этом я, по правде сказать, не подумал.

— Не удивляйтесь, — отвечал Гете, — я и сам об этом не думал, когда его писал. Но Зольгер прав, есть в нем все это. Разбор Зольгера написан еще в тысяча восемьсот девятом году, — продолжал он, — и тогда я бы порадовался, услышав доброе слово об «Избирательном средстве», меня ведь ни в ту пору, ни позднее никто хорошим отзывом не побаловал.

Зольгер, как я вижу по этим письмам, очень любил меня. В одном из них он жалуется, что я даже словечка ему не черкнул, когда он прислал мне свой перевод из Софокла. Бог ты мой! И как это со мной случается! Впрочем, никакого дива тут нет. Я знавал важных господ, которым много чего присылали. У них наперед были заготовлены формуляры и речевые обороты, так вот они и писали сотни одинаковых писем, в которых ничего не было — одни фра-

зы. Я на это был не мастер. Если я не мог сказать в письме чего-либо дельного и подходящего, я предпочитал вовсе не писать его. Поверхностные обороты я считал недостойными себя; так оно и получалось, что превосходный человек, которому я бы охотно написал, оставался без ответа. Вы же сами видите, сколько всего мне шлют со всех концов, и должны признать, что даже для самых кратких ответов не хватило бы человеческой жизни. Но меня огорчает, что так вышло с Зольгером, он был прекрасным человеком и больше, чем многие другие, заслуживал дружеского слова.

Я перевел разговор на новеллу, которую с сугубым вниманием перечитывал дома.

— Все ее начало, — сказал я, — не более как экспозиция, в нем нет ничего, кроме необходимого, но это необходимое — обворожительно, нельзя даже подумать, что здесь оно предлагается читателю, кажется, будто все это существует само по себе и ради самого себя.

— Я рад, что вы так считаете, — сказал Гете, — но одно я еще должен сделать, а именно: по законам хорошей экспозиции нужно, чтобы владельцы зверей появились уже вначале. Когда княгиня и дядюшка князя верхом проезжают мимо балагана, они выходят оттуда и просят осчастливить их посещением.

— Разумеется, вы правы, — сказал я. — Поскольку все остальное намечено в экспозиции, в ней должны появиться люди, к тому же это вполне естественно, — хозяева зверинцев обычно сидят у кассы, и вряд ли они дадут княгине проехать мимо, не попытавшись заманить ее в свое заведение.

— Теперь вы видите, — сказал Гете, — что в таком труде, если он в основном и закончен, частности еще требуют доработки.

Далее Гете рассказал мне о некоем иностранце, который время от времени приходил к нему с сообщением, что он собирается переводить то одно, то другое из его произведений.

— Впрочем, он неплохой человек, — продолжал Гете, — но в литературном отношении дилетант до мозга костей. Он еще и немецкого-то как следует не знает, а уже говорит о переводах, которые собирается сделать, и о портретах, которыми хочет иллюстрировать их. Сущность дилетантизма в том и заключается, что дилетант не понимает трудностей того, за что он берется, и всегда намеревается предпринять то, на что у него неостанет сил.

Четверг вечером, 25 января 1827 г.

Взяв с собою рукопись новеллы и книжку Беранже, я около семи часов отправился к Гете и застал его беседующим с господином Сорэ о новой французской литературе. Я с интересом слушал; речь наконец зашла о том, что новейшие поэты научились у Делиля писать хорошие стихи. Поскольку господин Сорэ, уроженец Женевы, не вполне владел немецким, Гете же довольно свободно изъяснялся по-французски, то беседовали они на французском языке, переходя на немецкий лишь когда я вмешивался в разговор. Я достал из кармана книжку *Беранже* и вручил ее Гете, который хотел заново перечитать его прекрасные песни. Господин Сорэ нашел непохожим портрет, предпосланный стихам. Гете приятно было держать в руках это изящное издание.

— Эти песни, — сказал он, — следует рассматривать как лучшие творения такого жанра, они поистине совершенны, особенно если подумаешь об их переливчатом рефрене, — без него они, пожалуй, чересчур серьезны, чересчур остроумны и эпиграмматичны. *Беранже* всегда напоминает мне Горация и Гафиза, эти оба тоже стояли над своим временем, с веселой насмешкой бичуя упадок нравов. Беранже занял ту же позицию в отношении окружающего его мира. Но так как он выходец из низких слоев общества, то беспутство и пошлость не столь уж ненавистны ему, я бы даже сказал, что он говорит о них не без некоторой симпатии.

Еще многое в этом роде было сказано о Беранже и других современных французах, потом господин Сорэ заспешил во дворец, и мы остались вдвоем с Гете.

На столе лежал запечатанный пакет. Гете накрыл его рукой.

— Знаете, что это? — спросил он. — Это «Елена», я отсылаю ее господину Котта для опубликования.

У меня дух занялся при его словах, все величие этого мига вдруг предстало передо мной. Как только что сошедший со стапелей корабль уходит в море и никому не ведома участь, его ожидающая, так не ведома и участь творения великого мастера, которое выходит в свет, чтобы долгое время воздействовать на людей, определяя их судьбы и испытывая на себе все превратности судьбы.

— До сих пор, — сказал Гете, — я все доделывал разные мелочи и кое-что исправлял. Но надо же когда-нибудь поставить точку; я рад отослать эту рукопись на

почту и с легким сердцем приняться за что-нибудь другое. А она пусть идет навстречу своей судьбе. Меня успокаивает, что так невообразимо высоко поднялась культура в Германии и, следовательно, не приходится опасаться, что это мое детище долго будет непонятым и вообще ни на кого не произведет впечатления.

— В нем ожил весь древний мир, — сказала я.

— Да, — согласился Гете, — филологам надо будет потрудиться над ним.

— Античная часть, — продолжал я, — мне не внушает опасений, она очень детализирована, и каждая деталь разработана так проникновенно, что говорит именно то, что надо сказать. Напротив, вторая, романтическая часть очень трудна, добрая половина мировой истории вошла в нее; столь обильный материал в разработке, конечно же, лишь намечен и предъясвляет читателю непомерные требования.

— Тем не менее, — сказал Гете, — все это прочувствовано, а с подмостков будет и вполне доходчиво. К большому я и не стремился. Лишь бы основной массе зрителей доставило удовольствие *очевидное*, а от посвященных не укроется высший смысл, как это происходит, например, с «Волшебной флейтой» и множеством других вещей.

— Со сцены, — сказал я, — непривычное впечатление произведет то, что пьеса начинается как трагедия и кончается как опера. Но ведь необходимы необычные средства, чтобы играть величие этих персонажей и произносить возвышенные речи и стихи.

— Для первой части, — сказал Гете, — нужны лучшие трагические актеры, далее, в оперной части роли должны исполняться выдающимися певцами и певицами. Роль Елены не может исполняться одной артисткой, ибо вряд ли найдется певица, обладающая еще и большим трагическим дарованием.

— Все в целом, — сказал я, — потребует незаурядной пышности и разнообразия декорации и костюмов; не стану отрицать: я заранее радуюсь, что увижу это на сцене. Если бы только музыку написал действительно большой композитор!

— Да еще такой, — сказал Гете, — кто, наподобие Мейербера, столь долго прожил в Италии, что его немецкая сущность смешалась с сущностью итальянской. Но за композитором, я уверен, дело не станет, а сейчас я радуюсь, что сбыл все это с рук. Меня тешит мысль, что хор не хочет спускаться обратно в преисподнюю и остается

на радостной поверхности земли, чтобы здесь предаться стихиям.

— ...Это новый вид бессмертия, — сказала.

— Ну, а как обстоит с новеллой? — вдруг спросил Гете.

— Я ее принес, — отвечал я. — Прочитав ее еще раз, я нахожу, что вашему превосходительству не следовало бы вносить в нее намеченного изменения. Это так прекрасно, что люди, появившись возле мертвого тигра, на первый взгляд производят чуждое и странное впечатление своим причудливым платьем и необычными манерами и тут же рекомендуют себя владельцами зверей. Если же они промелькнут в экспозиции, это впечатление будет изрядно ослаблено, более того — уничтожено.

— Вы правы, — сказал Гете — надо все оставить, как есть. Вы, несомненно, правы. Вероятно, еще делая первый набросок, я решил раньше времени не выводить их и потому и не вывел. Изменение, которое я хотел сделать, продиктовано рассудком. Но в данном случае мы сталкиваемся с примечательным эстетическим явлением — необходимостью отступить от правил, дабы не впасть в ошибку.

Далее мы заговорили о том, как озаглавить новеллу, придумывали разные названия, — одни были хороши для начала, другие хороши для конца, но подходящего для всей вещи, а значит, наиболее точного, не находилось.

— Знаете что, — сказал Гете, — назовем ее просто *«Новеллой»*, ибо новелла и есть свершившееся неслыханное событие. Вот истинный смысл этого слова, а то, что в Германии имеет хождение под названием «новелла», отнюдь таковой не является, это скорее рассказ, в общем — все, что угодно. В своем первоначальном смысле неслыханного события новелла встречается и в «Избирательном средстве».

— Если вдуматься, — сказал я, — то ведь стихотворение всегда возникает без заглавия и без заглавия остается тем, что оно есть, значит, без такового можно и обойтись.

— Обойтись без него, конечно, можно, — сказал Гете, — древние вообще никак не называли своих стихов. Заглавие вошло в обиход в новейшие времена, и стихи древних получили названия уже много позднее. Но этот обычай обусловлен широким распространением литературы, — давать заглавия произведениям нужно для того, чтобы отличать одно от другого.

— А вот вам и нечто новое, прочитайте, — сказал Гете. С этими словами он дал мне перевод сербского стихотворения, сделанный господином Герхардом.

Я читал с большим удовольствием, ибо стихотворение было прекрасно, а перевод прост и ясен: все так и стояло перед глазами. Называлось это стихотворение «Тюремные ключи». Не буду ничего говорить здесь о развитии сюжета, но конец показался мне оборванным и не совсем удовлетворительным.

— Это-то и хорошо, — заметил Гете, — так оно оставляет занозу в сердце и будоражит фантазию читателя, который должен сам представить себе, что может за сим воспоследовать. Конец оставляет материал для целой трагедии, но такой, каких уже невесть сколько создано. И напротив, то, о чем говорится в стихотворении, истинно ново и прекрасно, я считаю, что поэт поступил мудро, подробно разработав лишь эту часть, остальное же предоставив читателю. Я бы охотно поместил его стихотворение в «Искусстве и древности», да оно слишком длинно. Зато я выпросил у Герхарда три рифмованные песни и помещу их в следующей тетради. Интересно, что вы о них скажете: слушайте!

Сначала Гете прочитал песню о старике, любившем молодую девушку, потом застольную песню женщин и под конец энергическую «Спляши нам, Теодор». Каждую он читал в другом тоне, все с подъемом, но по-разному и так хорошо, что вряд ли кому-нибудь доводилось слышать лучшее чтение.

Мы не могли нахвалиться господином Герхардом; он всякий раз отлично выбирал размеры и рефрены, соответствующие подлиннику, и делал это так легко и умно, что ничего нельзя было ему поставить в упрек.

— Вот видите, — сказал Гете, — как много при таком таланте, как у Герхарда, значит постоянное упражнение в технике. И еще, ему идет на пользу, что он избрал для себя не чисто научную специальность, а дело, которое ежедневно сталкивает его с практической жизнью. Вдобавок он не раз бывал в Англии и в других странах, что, при реалистическом направлении его ума, дало ему немало преимуществ перед нашими учеными молодыми поэтами. Если он и впредь будет придерживаться добрых традиций и сумеет ими ограничиться, он не совершит досадных ошибок. Собственные измышления требуют слишком многого, это трудное дело.

В этой связи Гете высказал несколько наблюдений

над творениями наших молодых поэтов, причем заметил, что едва ли хоть один из них опубликовал хорошую прозу.

— А дело обстоит просто, — сказал он, — чтобы писать прозу, надо иметь что сказать. Тот же, кому сказать нечего, может кропать стихи, в них одно слово порождает другое, и в результате получается нечто, вернее — ничто, которое выглядит так, будто оно все-таки нечто.

*Среда, 31 января 1827 г.*

Обедал у Гете.

— За те дни, что мы не виделись, — сказал он, — я многое прочитал, и прежде всего китайский роман, показавшийся мне весьма примечательным, он и сейчас меня занимает.

— Китайский роман? — переспросил я. — Наверно, это нечто очень чуждое нам.

— В меньшей степени, чем можно было предположить, — сказал Гете. — Люди там мыслят, действуют и чувствуют почти так же, как мы, и вскоре тебе начинает казаться, что и ты из их числа, только что у них все происходящее яснее, чище и нравственнее, чем у нас. Все у них разумно, по-бюргерски, без больших страстей и поэтических взлетов, это сходствует с моим «Германом и Доротеей», а также с английскими романами Ричардсона. Но есть и существенное различие: у китайцев внешняя природа живет бок о бок с человеком. Все время слышно, как плещутся в пруду золотые рыбки, птицы непрестанно щебечут в ветвях деревьев, день неизменно весел и солнечен, ночь всегда ясна. В этом романе много говорится о луне, но луна не видоизменяет ландшафт, от ее сияния ночь так же светла, как день. Внутри домов все изящно и мило, как на китайских картинках. К примеру: «Услышав смех прелестных девушек, я пошел взглянуть на них, они сидели на тростниковых стульях». Вот вам очаровательная ситуация, ведь тростниковые стулья вызывают представление о легкости и миниатюрности. А несметное количество легенд, что сопутствуют рассказу, как бы заменяя собою наши пословицы! О девушке, например, говорится: ножки у нее такие легкие и маленькие, что она может раскачиваться на цветке, не обломив его. А о молодом человеке: он вел себя так примерно и храбро, что на тридцатом году удостоился чести говорить с императором. Дальше рассказывается о влюб-

ленных: долго общаясь друг с другом, они выказали такую воздержанность, что однажды, когда им пришлось ночевать в одной комнате, всю ночь провели в разговорах, но так и не прикоснулись друг к другу. Великое множество подобных легенд, повествующих о нравственном и благопристойном. Но именно благодаря этой суровой умеренности Китайская империя существует уже много тысячелетий и будет существовать и впредь.

— Весьма примечательным контрастом с этим китайским романом, — продолжал Гете, — явились для меня песни Беранже, основу которых почти всегда составляет безнравственность и распутство, они были бы мне просто противны, если бы его огромный талант не сделал их выносимыми, более того — очаровательными. Но скажите сами, разве не удивительно, что сюжет китайского писателя насквозь пропитан нравственными понятиями, а сюжеты нынешнего первого поэта Франции являются прямой ему противоположностью?

— Талант, подобный таланту Беранже, — отвечал я, — не нашел бы для себя пищи в высоконравственных сюжетах.

— Вы правы, — согласился со мною Гете, — именно извращенности нашего времени дают Беранже возможность выказать и развить лучшие стороны своей природы.

— К тому же, — сказал я, — этот китайский роман, вероятно, один из наилучших.

— Нет, это не так, — возразил Гете, — у китайцев тысячи таких романов, и они были у них уже в ту пору, когда наши предки еще жили в лесах.

— Я все больше убеждаюсь, — продолжал он, — что поэзия — достояние человечества и что она всюду и во все времена проявляется в тысячах и тысячах людей. Только одному это удастся несколько лучше, чем другому, и он дольше держится на поверхности, вот и все. Посему господину Маттисону не пристало думать, что он-то и есть поэт, не пристало это и мне, — по-моему, каждый обязан помнить, что нет у него причин неведь что воображать о себе, если ему случилось написать хорошее стихотворение. Однако мы, немцы, боясь высунуть нос за пределы того, что нас окружает, неизбежно впадаем в такую педантическую спесь. Поэтому я охотно вглядываюсь в то, что имеется у других наций, и рекомендую каждому делать то же самое. Национальная литература сейчас мало что значит, на очереди эпоха всемирной литературы, и каждый должен содействовать скорейшему ее наступлению. Но и при полном

признании иноземного нам негоже застревать на чем-нибудь выдающемся и почитать его за образец. Негоже думать, что образец — китайская литература, или сербская, или Кальдерон, или «Нибелунги». Испытывая потребность в образцах, мы, поневоле, возвращаемся к древним грекам, ибо в их творениях воссоздан прекрасный человек. Все остальное мы должны рассматривать чисто исторически, усваивая то положительное, что нам удастся обнаружить.

Я был рад, что мне довелось в такой последовательности услышать его мнение о предмете столь важном. Колокольчики проносившихся мимо саней позвали нас к окну. Мы давно ждали возвращения санного поезда, утром промчавшегося к Бельведеру. Гете между тем продолжал говорить о том, что было для меня так поучительно. Сейчас речь зашла об Александре Мандзони, и Гете передал мне рассказ графа Рейнхарда, который недавно встретил его в Париже, где тот в качестве молодого, но уже прославленного писателя был хорошо принят в обществе, и еще, что ныне он снова живет в принадлежащем ему имении неподалеку от Милана вместе с матерью и своей молодой семьей.

— Мандзони недостает только одного, — продолжал Гете, — понимания, какой он хороший поэт и на какие посему права может претендовать. Он не в меру преклоняется перед историей и в силу этого любит вставлять в свои вещи подробности, из коих явствует, как верно он придерживается даже ничтожных исторических мелочей. Но факты фактами, а вот персонажи его так же мало историчны, как мой Фоант и моя Ифигения. Ни один писатель не знал тех исторических лиц, которые выведены в его произведениях; а ежели бы знал, вряд ли остановил бы на них свой выбор. Писателю должно быть заранее известно, какого впечатления он хочет добиться; считаясь с этим, он и должен создавать свои персонажи. Изобрази я своего Эгмонта таким, каким он запечатлен в истории, то есть отцом целой кучи детей, и его легкомысленное поведение стало бы чистейшим абсурдом. Следовательно, мне пришлось создавать другого Эгмонта, дабы он лучше гармонировал и со своими поступками, и с моими намерениями. И вот этот-то человек, говоря словами Клерхен, и есть *мой* Эгмонт.

Да и на что нужны писатели, не просто же для того, чтобы повторять все записанное историками! Писатель должен идти дальше, создавая, по мере возможности, образы более высокие и совершенные. Все действующие лица Софокла

несут в себе частицу высокой души великого поэта, так же персонажи Шекспира — частицу его души. Так оно и должно быть. Что касается Шекспира, то он идет еще дальше и своих римлян делает англичанами, опять-таки с полным правом, иначе его народ его бы не понял.

— Величие греков, — продолжал Гете, — проявилось и здесь, они придавали меньше значения верности исторических фактов, нежели тому, как их разработал поэт. К счастью, теперь мы имеем «Филоктетов», являющих нам великолепный пример, ибо этот сюжет разрабатывали все три великих трагика, Софокл был последним и сделал это лучше всех. Его творение каким-то чудесным образом полностью дошло до нас, тогда как «Филоктеты» Эсхила и Еврипида были обнаружены лишь в отрывках, по которым, впрочем, вполне можно судить, как разрабатывалась тема. Будь у меня побольше досуга, я бы реставрировал эти отрывки, как в свое время Еврипидова «Фаэтона», и это была бы для меня отнюдь не неприятная и не бесполезная работа.

Задача в данном сюжете была очень проста: вывезти Филоктета вместе с его луком с острова Лемнос. Но описать, как это происходит, было уже делом автора, здесь каждый из них мог показать силу своего воображения, а значит, и превосходства над другими. Вывезти его предстоит Одиссею, но должен ли его узнать Филоктет или не должен и каким образом может Одиссей остаться неузнанным? Отправится ли Одиссей на остров один или с провожатыми и кто будут эти провожатые? У Эсхила провожатый неизвестен, у Еврипида это Диомед, у Софокла — сын Ахилла. Далее: в каких обстоятельствах они найдут Филоктета? Обитаем ли остров, и если обитаем, то жалилась ли там хоть одна живая душа над Филоктетом? И еще сотни подобных вопросов, разрешать которые волен был автор, так же как волен был правильным или неправильным выбором показать, что он мудрее других. В этом все дело. Так следовало бы поступать и современным поэтам, а не интересоваться, обработан ли уже такой-то сюжет или нет, не искать на юге и на севере каких-то неслыханных происшествий, частенько достаточно варварских, которые, сколько ты их ни обрабатывай, так происшествиями и остаются. Правда, для того чтобы мастерской обработкой сделать нечто значительное из простого сюжета, потребны ум и большой талант, а их что-то не видно.

Проезжавшие сани снова повлекли нас к окну. Но и это не был ожидаемый санный поезд из Бельведера. Мы

заговорили о том, о сем, обменялись несколькими шутками, потом я спросил Гете о «Новелле».

— Последние дни я оставил ее в покое, — отвечало он, — но одно я еще хочу вставить в экспозицию. Лев должен зарычать, когда княгиня на своем коне проезжает мимо балагана; я тогда смогу высказать несколько соображений по поводу свирепости этого могоучего зверя.

— Это очень удачная мысль, — сказал я, — ведь таким образом создается экспозиция, которая не только сама по себе хороша и уместна, но и придает большую значимость всему последующему. До сих пор лев, пожалуй, выглядел слишком кротким, не проявляя дикого своего нрава. Теперь его грозный рык по меньшей мере заставит нас почувствовать, сколь он страшен, и когда позднее он кротко последует за флейтой ребенка, это произведет тем большее впечатление.

— Такого рода изменения и исправления, — сказал Гете, — я считаю весьма существенными; незавершенное, благодаря продолжающимся размышлениям, становится завершенным. Но однажды сделанное переделывать заново, развивать дальше, как Вальтер Скотт, например, поступил с моей Миньонной, которую он ко всему еще превратил в глухонемую, мне представляется недостойным и непохвальным.

*Четверг вечером, 1 февраля 1827 г.*

Гете рассказал мне, что сегодня утром его посетил прусский кронпринц в сопровождении великого герцога.

— Принцы Карл и Вильгельм Прусские тоже были с ним, — сказал он, — кронпринц и великий герцог просидели около трех часов, мы о многом успели поговорить, и я составил себе самое выгодное представление об уме, вкусе, знаниях и образе мыслей этого принца.

На столе перед Гете лежал том «Учения о цвете».

— Я ведь задолжал вам ответ касательно феномена цветной тени, — сказал Гете. — Но поскольку он многое предопределяет и находится во взаимосвязи со многими другими явлениями, то я и сегодня не хотел бы дать вам объяснение, оторванное от целого. Мне подумалось, что хорошо было бы вечера, когда мы встречаемся, посвятить совместному чтению «Учения о цвете». Мы будем иметь таким образом неисчерпаемую тему для бесед, вы же, едва заметив, как это произошло, усвоите все учение. Однажды усвоенное, обновляясь в вашем сознании, неизбежно станет продуктивным, и я уже это предвижу, в скором вре-

мени вы почувствуете себя своим человеком в этой науке. А сейчас прочитайте-ка первый раздел.

С этими словами Гете положил передо мной раскрытую книгу. Я был счастлив его доброй заботой обо мне. И прочитал первые параграфы о психологических цветах.

— Запомните, — сказал Гете, — вне нас не существует ничего, что не существовало бы в нас, и цвет, который имеется во внешнем мире, имеется также и в нашем глазу. Поскольку в этой науке первостепенную важность имеет четкое разграничение объективного и субъективного, то я считал правильным начать с цвета, присущего глазу, дабы мы всегда могли различить, существует ли цвет в действительности или же это цвет кажущийся, порожденный нашим зрением. Посему я думаю, что правильно приступил к изложению этой науки, начав его с органа, благодаря которому мы все видим и воспринимаем.

Читая, я дошел до интереснейших параграфов о «затребованном» цвете, где говорится, что глаз испытывает потребность в разнообразии, долгое время не терпит одного цвета и требует для себя другого, причем так настойчиво, что, не найдя такового в окружающем, сам его создает.

Сие навело нас на разговор о великом законе, проходящем через всю жизнь, более того — являющемся основой всей жизни и всех ее радостей.

— Так дело обстоит не только со всеми нашими чувствами, — сказал Гете, — а и с нашей высшей духовной сущностью, но так как глаз является предпочтенным органом чувства, то закон «затребованного разнообразия» всего резче проступает в цвете и на этом примере всего легче осознается. Мы предпочитаем танцы, в которых мажор сменяется минором, тогда как танцы в сплошном мажоре или миноре тотчас нам приедаются.

— И тот же закон, — подхватил я, — видимо, лежит в основе хорошего стиля, почему мы и стараемся избегать звукосочетаний, которые только что слышали. Да и на театре кое-чего можно было бы добиться умелым его применением. Многие пьесы, в первую очередь трагедии, в которых бессменно царит один тон, имеют в себе нечто тягостное, утомительное, а когда во время представления такой пьесы оркестр в антрактах еще исполняет печальную, удручающую музыку, нас мучит тоска, от которой не знаешь, куда деваться.

— Возможно, — сказал Гете, — что веселые сцены, вплетаемые Шекспиром в свои трагедии, как раз и основаны на законе «затребованного разнообразия». Но вот к вы-

сокой греческой трагедии он, видимо, неприменим, там через все целое проходит один основной тон.

— Греческая трагедия, — возразила, — довольно коротка и даже при однообразии тона не становится утомительной. К тому же хор в ней сменяет диалог, а возвышенный ее смысл таков, что не может прискучить, ибо она зиждется на своего рода здоровой реальности, которой всегда свойственна радость.

— Вероятно, вы правы, — сказал Гете, — и стоило бы поразмыслить, в какой мере греческая трагедия подчинена всеобщему закону «затребованного разнообразия». Но вы видите, как все тесно связано между собой, если даже закон учения о цвете толкает нас на исследование греческой трагедии. Не надо только перегибать палку и считать его за основу еще и многого другого. Вернее будет применять его в качестве аналогии или примера.

Потом мы говорили о том, как Гете излагал свое учение о цвете, выводя его из великих празаконов и возводя к ним даже отдельные явления, отчего все становилось конкретным и легко постижимым.

— Возможно, что так оно и было, — сказал Гете, — но сколько бы вы меня за такую методику ни хвалили, она, увы, нуждается в учениках, чуждых житейской суеты и способных проникнуть в самую суть моих воззрений. Многие весьма даровитые люди исходили из моего учения о цвете, но беда в том, что они недолго придерживались правильного пути, и, бывало, не успеешь оглянуться, как уже сворачивали с пего, в погоне за отвлеченной идеей отрываясь от объекта наблюдения. Впрочем, умный человек, пекущийся об истине, мог бы и сейчас еще многое сделать в этой области.

Разговор перешел на профессоров, которые продолжают читать об учении Ньютона, хотя уже открыто нечто более верное.

— Ничего тут нет удивительного, — сказал Гете, — такие люди упорствуют в своих ошибках, поскольку эти ошибки обеспечивают им существование. Иначе им пришлось бы переучиваться, а это дело нелегкое.

— Но как могут их опыты подтверждать истину, — сказал я, — если в корне неверна сама теория?

— Эти опыты ничего и не подтверждают, — сказал Гете, — но для них это несущественно, они тщатся подтвердить не истину, а свое мнение и потому утаивают те опыты, которые позволили бы восторжествовать истине, доказав несостоятельность самой теории.

— И затем, возвращаясь к разговору об учениках, — продолжал он, — кого из них тревожит истина? Они такие же люди, как другие, им достаточно эмпирической болтовни по поводу своего дела. Вот и все. Люди — странные существа: не успеет озеро замерзнуть, как сотни их высыпают на лед и веселятся, катаясь по его гладкой поверхности, но кому придет на ум поинтересоваться, какова его глубина и какие породы рыб плавают подо льдом? Нибур недавно обнаружил древний торговый договор между Римом и Карфагеном, из которого явствует, что все истории Ливия о тогдашнем уровне развития римского народа пустые рассказы, ибо этот договор неопровержимо доказывает, что Рим и в очень раннюю эпоху находился на несравненно более высокой ступени культуры, чем это описано у Ливия. Но если вы полагаете, что сей договор обновит преподавание римской истории, то вы жестоко ошибаетесь. Никогда не забывайте о замерзшем озере; таковы люди, я достаточно изучил их, таковыми они останутся впредь.

— И все же, — сказал я, — я уверен, что вы не сожалеете о том, что создали «Учение о цвете», ведь вы таким образом не только воздвигли нерушимое здание прекрасной науки, но и явили образец научной методы, применимой к исследованиям других аналогичных явлений.

— Я ничуть не сожалею, — отвечал Гете, — хотя вложил в это учение половину трудов своей жизни. Возможно, я написал бы еще с полдюжины трагедий, но любители писать трагедии найдутся и после меня.

Я согласен с вами в том, что мое учение правильно разработано, я к нему подошел с определенной методой, которую применил и в своем учении о звуках, да и «Метаморфозу растений» я построил на аналогичной системе наблюдений и выводов.

С «Метаморфозой растений» все получилось несколько странно, она далась мне, как Гершелю его открытия. Гершель был очень беден и не имел возможности приобрести телескоп, пришлось ему самому мастерить таковой. И в этом, как оказалось, было его счастье, ибо эта самоделка была лучше всех существующих телескопов, и благодаря ей он и пришел к своим великим открытиям. К ботанике меня привел чисто эмпирический путь. Как сейчас помню, что, дойдя до образования полов, я испугался общирности темы и хотел уже поставить крест на дальнейшем изучении вопроса. Но что-то толкнуло меня на попытку собственными силами во всем этом разобраться, — так я

набрел на то, что, безусловно, является общим для всех растений, и в результате открыл закон метаморфозы.

Углубляться в изучение ботаники я не считал нужным, это я предоставил другим, которые во многом и опередили меня. Я же хотел только одного — свести разрозненные явления к единому основному закону.

Минералогия тоже интересовала меня лишь с двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения ее огромной практической полезности; далее, я надеялся в ней обнаружить данные о происхождении прамира; такую надежду мне внушило учение Вернера. Но так как после смерти этого достойнейшего человека в минералогической науке все было перевернуто вверх ногами, то я устранился от публичного участия в ней, втихомолку оставаясь при прежних своих убеждениях.

В «Учении о цвете» мне теперь еще предстоит проследить возникновение радуги, к чему я и приступлю в ближайшее время. Эта задача очень и очень трудная, но я все же надеюсь ее разрешить. Поэтому мне очень приятно вместе с вами еще раз перечитать это учение, ведь ваш интерес к нему снова освежит его в моей памяти.

— Я смело могу сказать, — продолжал Гете, — что пробовав себя в самых разных отраслях естествознания, однако мои опыты всегда были направлены лишь на земное мое окружение, на то, что мы непосредственно воспринимаем чувствами, а поэтому я никогда не занимался астрономией, ибо чувства здесь уже недостаточно, здесь необходимы инструменты, вычисления, механика, а на это уже потребна целая жизнь, астрономия же все-таки не мое прямое дело.

Если мне и удалось кое-чего достигнуть в том, с чем я сталкивался на своем пути, то я должен возблагодарить судьбу за то, что моя жизнь совпала с эпохой, более, чем какая-либо другая, богатой великими открытиями в природе. Ребенком я уже столкнулся с учением Франклина об электричестве, закон которого он только что открыл. И так всю мою жизнь, до сегодняшнего дня, одно великое открытие следовало за другим, что не только привлекло мое внимание к природе, но и впоследствии держало меня в постоянном деятельном напряжении.

Нынче я на тех дорогах, которые я проложил, человечество продвинулось вперед дальше, чем я мог предполагать, я же сам уподобился тому, кто идет навстречу утренней заре и останавливается, пораженный ослепительным сиянием вдрог взшедшего солнца.

Из немцев Гете в этой связи с глубоким уважением назвал имена: *Каруса, д'Альтона и Мейера* из Кёнигсберга.

— Если бы только люди, — продолжал он, — открыв истину, вновь не искажали и не замутняли ее, я был бы доволен; человечество нуждается в позитивном, передающемся из поколения в поколение, но желательно, чтобы это позитивное в то же время было истинным и подлинным. В этом смысле хотелось бы, чтобы в естественных науках наконец доискались истины и твердо бы ее придерживались, не впадая в трансцендентные рассуждения, после того как бесспорное уже найдено. Но людям чуждо спокойствие, не успеешь оглянуться, как все уже снова запуталось.

Сейчас они теребят Пятикнижие Моисея, а уничтожающая критика нигде так не вредна, как в вопросах религии, ибо здесь все зиждется на вере, а тот, кто однажды ее утратил, никогда уже не сможет к ней вернуться.

В поэзии эта уничтожающая критика менее вредоносна. Вольф разрушил наше представление о Гомере, но его поэзии не нанес ни малейшего ущерба; она обладает той же чудодейственной силой, что и герои Валгаллы, которые утром разрубают друг друга на куски, а в обед живые и здоровые усаживаются за стол.

Гете пребывал в прекраснейшем расположении духа, а я был счастлив вновь слышать его речи о столь важных предметах.

— Мы с вами уж постараемся не сбиться с пути, — сказал он, — а другие пусть идут своей дорогой, — это самое разумное.

*Среда, 7 февраля 1827 г.*

Гете сегодня разобрал нескольких *критиков*, которых не удовлетворяет *Лессинг*, ибо они предъявляют к нему неподобающие требования.

— Когда пьесы Лессинга, — сказал он, — сравнивают с произведениями древних и находят их убогими и плохими, ну что тут скажешь? Следовало бы пожалеть незаурядного человека за то, что ему довелось жить в убогие времена, не поставлявшие ему лучших сюжетов, чем те, которые он использовал в своих драмах. Только жалеть можно его за то, что в своей «Минне фон Барнхельм» он занялся дразгами между Саксонией и Пруссией, так как ничего лучшего ему не подвернулось! Даже то, что он вечно полемизи-

ровал и не мог не полемизировать, объясняется недостатками его времени. В «Эмилии Галотти» он направил свои стрелы против владетельных князей, в «Натане» — против попов.

*Пятница, 16 февраля 1827 г.*

Я рассказал Гете, что на днях читал сочинение *Винкельмана* о подражании греческим произведениям искусства, и признался, что мне частенько казалось, будто Винкельман в ту пору еще недостаточно овладел своей темой.

— Это правильно замечено, — согласился со мной Гете, — местами он бредет ощупью, но притом всегда что-то нащупывает. Здесь он подобен Колумбу, который хоть и не открыл еще Новый Свет, но уже смутно предчувствовал его открытие. Читая это произведение, мало чему *научаешься*, но чем-то *становишься*.

*Мейер* пошел значительно дальше и достиг вершины в познании искусства. Его «История искусств» — вечное творение, но оно не стало бы таковым, если бы он с юных лет не изучал Винкельмана и не продолжал бы его пути. Это лишний раз подтверждает, как много значит великий предшественник и как важно уменье подобающим образом обратить себе на пользу его труды.

*Среда, 11 апреля 1827 г.*

Сегодня в час дня я пришел к Гете, который велел звать меня покататься с ним перед обедом. Мы поехали по направлению к Эрфурту. Погода стояла прекрасная, нивы по обе стороны дороги тешили глаз свежей своей зеленью. Чувства и восприятие Гете были сегодня веселы и молоды, как начавшаяся весна, а слова исполнены старческой мудрости.

— Я всегда говорил и не устаю повторять, — начал он, — что мир не мог бы существовать, не будь он так просто устроен. Эту злополучную землю обрабатывают уже тысячелетиями; а силы ее все еще не иссякли. Небольшой дождь, немножко солнца — и каждую весну она вновь зеленеет и будет зеленеть вечно.

Я не нашелся, что ответить на эти слова или что к ним прибавить. Гете не сводил глаз с зеленеющих полей, потом обернулся ко мне и заговорил совсем о другом:

— На днях я читал престранную книгу — «Переписка Якоби с друзьями». Весьма примечательное чтение, вы непременно должны с нею ознакомиться, — не для того, чтобы чему-нибудь научиться, но чтобы узнать тогдашнее состояние культуры и словесности, о котором большинство теперь и понятия не имеет. Люди, принимавшие в ней участие, сплошь интересны и до известной степени значительны. Но там нет и следа единой направленности и общности интересов, каждый живет и действует в одиночку, каждый идет своей дорогой, нимало не интересуясь устремлениями других. Они напомнили мне бильярдные шары, которые попеременно бегут по зеленому сукну, ничего друг о друге не ведая, а соприкоснувшись, только дальше откатываются в разные стороны.

Меня рассмешило это меткое сравнение. Я спросил, кто же корреспонденты Якоби; Гете назвал их и в нескольких словах охарактеризовал каждого.

— Якоби, собственно, был прирожденным дипломатом: стройный, красивый мужчина, с прекрасными манерами, он был бы весьма уместен в качестве посла. Но для того, чтобы быть одновременно поэтом и философом, ему чего-то все-таки не хватало.

Ко мне он относился довольно своеобразно, — любил меня как человека, но не разделял моих устремлений, более того, не одобрял их. Посему и связывала нас только дружба. Напротив, мои отношения с Шиллером складывались так исключительно именно потому, что общие устремления были для нас наилучшим связующим звеном, а в так называемой дружбе мы оба не нуждались.

Я спросил, состоял ли Лессинг в переписке с Якоби.

— Нет, — отвечал Гете, — но Гердери и Виланд состояли.

Гердер не очень-то ценил такие связи; при возвышенности его натуры пустота подобного общения не могла ему не прискучить, а Гаманн ко всему этому кругу относился даже не без высокомерия.

Виланд же в своих письмах, как всегда, жизнерадостен и, видимо, чувствует себя вполне в своей тарелке. Не будучи привержен к какой-либо определенной точке зрения, он был достаточно широк, чтобы откликаться на любую. Его как тростинку колыхал ветер различных мнений, но все же он крепко держался на своем корешке.

Я, со своей стороны, всегда очень хорошо относился к Виланду, особенно в раннюю пору нашего знакомства, когда он, так сказать, принадлежал мне одному. Я побудил его написать маленькие рассказы. Но когда в Веймар при-

ехал Гердер, Виланд мне изменил; Гердер отнял его у меня, поскольку его личности было присуще обаяние почти неотразимое.

Экипаж уже катился в обратном направлении. На востоке сгущались тучи, чреватые дождем.

— Эти тучи, — сказал я, — видимо, идут издалека, и каждую минуту может хлынуть дождь. Неужели возможно, чтобы они разошлись, если поднимется барометр?

— Да, — отвечал Гете, — они тотчас начнут расходиться сверху и распустятся, как пряжа. Я полностью доверяюсь барометру и всегда говорю: если бы барометр поднялся в ночь страшного наводнения в Петербурге, река бы не вышла из берегов.

Мой сын верит, что на погоду влияет луна; возможно, вы тоже верите, и я вам этого в упрек не ставлю, луна слишком крупное небесное тело, чтобы не оказывать решительного воздействия на нашу землю; впрочем, перемена погоды, повышения или понижения барометра не зависят от лунных фаз, это явление теллурическое.

Земля с ее кругом туманностей представляется мне гигантским живым существом, у которого вдох сменяется выдохом. Вдыхая, земля притягивает к себе круг туманностей, он же, приблизившись к ее поверхности, сгущается в тучи и в дождь. Это состояние я называю подтверждением влажности; продлись оно дольше положенного, и земля была бы затоплена. Но этого она допустить не может; она делает выдох и выпускает водные пары вверх, где они, рассеявшись в высших слоях атмосферы, становятся до такой степени разреженными, что не только солнечный свет проникает сквозь них, по и вечный мрак нескончаемой Вселенной оборачивается для нашего взора радостной синевой. Такое состояние атмосферы я прозвал отрицанием влажности. Если в противоположном ее состоянии сверху не только льется вода, но и сырость земли упорно не испаряется и не высыхает, то в данном случае влага не только не низвергается сверху, но и сырость земли улетучивается, так что, продлись это состояние дольше положенного, земле будет грозить опасность иссохнуть и зачахнуть.

Так говорил Гете об этом важнейшем вопросе, а я с напряженным вниманием слушал его.

— Все здесь очень просто, — продолжал он, — вот я и стараюсь придерживаться простого, очевидного, не позволяя единичным отклонениям сбить меня с толку. Барометр стоит высоко, — значит, сушь, восточный ветер; стоит низко — осадки, ветер западный. Но если вдруг при высоком

стоянии барометра и восточном ветре выпадет влажный туман или при западном над нами будет голубое небо — я не огорчаюсь и это не подрывает моей веры в основной закон, я только делаю вывод, что существуют еще силы, участвующие в этом процессе, но в них сразу не разберешься.

Сейчас я скажу то, чем советую вам руководствоваться в дальнейшем. В природе существует доступное и недоступное. Надо научиться это различать, помнить и чтить. Хорошо уже и то, что нам это стало известно, хотя и очень трудно распознать, где кончается одно и начинается другое. Тот, кто этого не знает, всю свою жизнь бьется над недоступным, так и не приближаясь к истине. Тот же, кто знает и притом достаточно умен, чтобы держаться постижимого, всесторонне исследует эту сферу, старается в ней закрепиться и таким путем может даже кое-что отвоевать у непостижимого, хотя в конце концов и должен будет признать, что есть вещи, к которым можно приблизиться лишь относительно, и что природа вечно таит в себе проблематическое, для обоснования коего человеческого разума не хватает.

Под эти его слова мы вернулись в город. Разговор перешел на разные пустяки, но высокие мысли, только что коснувшиеся моего слуха, еще не утратили надо мною силы.

Мы приехали слишком рано, чтобы тотчас же сесть за стол, и Гете еще успел показать мне до обеда пейзаж *Рубенса*, изображающий летний вечер. Слева, на переднем плане, крестьяне возвращаются с полевых работ; в центре картины пастух гонит в деревню отару овец; несколько глубже стоит воз, на который работники еще навивают сено, рядом щиплют траву распряженные лошади; поодаль в лугах и среди кустарника пасутся кобылы со своими жеребятами, и почему-то ясно, что они пригнаны сюда в ночное. Несколько деревень и город замыкают светлый горизонт этой картины, обворожительно воплотившей в себе понятия труда и отдыха.

Вся она в целом была исполнена такой правдивости, до того правдоподобно выступала перед моими глазами любая деталь, что я заметил:

— Рубенс, конечно же, писал этот пейзаж с природы.

— Я уверен, что п е т , — ответил Г е т е , — такие законченные картины в природе не встречаются, эта композиция — плод поэтического воображения художника. Великий Рубенс обладал столь необыкновенной памятью, что всю при-

роду носил, так сказать, в себе, и любая ее подробность постоянно была к его услугам. Отсюда — правдивость целого и отдельных деталей, заставляющая нас думать, что мы видим точнейшую копию природы. Нынче таких пейзажей больше не пишут, на этот лад никто уже не воспринимает и не видит природы, ибо нашим живописцам недостает поэтического чувства.

К тому же молодые художники предоставлены самим себе, нет более в живых тех мастеров, которые могли бы ввести их в тайны искусств. Кое-чему, правда, можно поучиться и у покойных мастеров, но это, как мы видим, приводит скорее к усвоению частных, нежели к проникновению в глубины образа мыслей и образа действий художника.

В комнату вошли госпожа и господин фон Гете, и мы сели за стол. Легкий разговор завертелся вокруг светских новостей: театра, балов, событий при дворе. Но уже вскоре мы коснулись темы более серьезной и оказались вовлеченными в обсуждение религиозных учений в Англии.

— Если бы вы, — сказал Гете, — в течение пятидесяти лет, как я, изучали историю церкви, вы бы поняли, до чего все это тесно между собою связано. Кстати сказать, очень интересно, с каких наставлений магометане начинают воспитание детей. Первооснова религии, которую внушают молодому поколению, — это вера в то, что ничего не может встретиться человеку на жизненном пути, что не было бы предназначено ему всеведущим божеством; тем самым молодежь на всю жизнь вооружена, успокоена и ничего больше не ищет.

Не будем вникать, что в этом учении правильно или ложно, полезно или вредно, но, по правде говоря, что-то от него заложено во всех нас, хотя никто нам подобных идей не внушал. Пуля, на которой не начертано мое имя, не убьет меня, говорит солдат в сражении, да и разве бы он мог сохранить бодрость и присутствие духа, не будь у него этой уверенности? Христианское изречение: «И воробей не слетит с крыши, если не будет на то соизволения господня», — вытекает из того же источника, указуя нам на всевидящее провидение, помимо воли и допущения коего ничего в мире не совершается.

Обучение философии магометане начинают со следующего положения: не может быть высказано ничего, о чем нельзя было бы сказать прямо противоположного. Они упражняют ум своих юношей, ставя перед ними задачу: для любой тезы подыскать антитезу и устно ее обосновать,

что должно служить наилучшим упражнением в гибкости мысли и речи.

Но поскольку каждое положение опровергается противоположным, возникает *сомнение*, и оно-то и есть единственно правильное из этих тез. Но сомнение непрочно, оно подвигает наш ум на более глубокие исследования, на *проверку*, проверка же, если она произведена добросовестно, создает *уверенность*, которая является последней целью и дарует человеку полное спокойствие.

Как видите, это учение закончено в себе, и мы со своими системами не смогли его превзойти, да его и вообще-то превзойти невозможно.

— При ваших словах я невольно думаю о греках, — сказал я, — у них, видимо, была такая же философская система воспитания, насколько можно судить по их трагедиям, сущность которых от начала и до конца покоится на противоречии. Никто из персонажей не говорит чего-либо, о чем другой, не менее резонно, не мог бы сказать прямо противоположного.

— Вы совершенно правы, — сказал Гете, — здесь наличествует и сомнение, пробуждаемое в зрителе или читателе, и лишь в конце рок дарует нам уверенность, кто из действующих лиц был носителем и поборником нравственного начала.

Мы встали из-за стола, и Гете предложил мне пройти с ним в сад, дабы продолжить нашу беседу.

— В Лессинге, — сказал я, — примечательно еще и то, что в своих теоретических трудах, в «*Лаокооне*», например, он никогда сразу не говорит о результате, водит нас по тому же философскому пути мнений, опровержения таковых и сомнения, прежде чем дозволит нам прийти к своего рода уверенности. Из рук этого автора мы не столько получаем широкие воззрения и великие истины, подстрекающие нас к собственным творческим размышлениям, а скорее становимся свидетелями процесса мышления и поисков.

— Это, пожалуй, верно, — сказал Гете. — Лессинг как-то и сам обмолвился, что, если господу угодно будет открыть ему истину, он не примет этот дар, предпочитая сам с трудом ее отыскивать. Философская система магометан — отличный масштаб, он равно приложим и к себе, и к другим для определения, на какой, собственно, ступени духовной добродетели ты стоишь.

Лессингу, в силу его полемического задора, всего милее сфера противоречий и сомнений. Сравнительный анализ —

вот его прямое дело, и здесь ему щедрую помощь оказывает его незаурядный ум. Я человек совсем другого склада, никогда я особенно не размышлял над противоречиями, сомнения стремился преодолеть внутри себя и выступал уже только с достигнутыми результатами.

Я спросил Гете, кого из новейших философов он ставит на первое место.

— *Канта*, — отвечал он, — это не подлежит сомнению. Его учение и доселе продолжает на нас воздействовать, не говоря уж о том, что оно всего глубже проникло в немецкую культуру. Кант и на вас повлиял, хотя вы его не читали. Теперь он вам уже не нужен, ибо то, что он мог вам дать, вы уже имеете. Ежели со временем вы захотите его почитать, я в первую очередь рекомендую «Критику способности суждения», где он превосходно судит о риторике, сносно о поэзии и вполне несостоятельно об изобразительных искусствах.

— Ваше превосходительство были знакомы с Кантом?

— Нет, — отвечал Гете, — Кант меня попросту не замечал, хотя я, в силу своих прирожденных свойств, шел почти таким же путем, как он. «Метаморфозу растений» я написал, ничего еще не зная о Канте, и тем не менее она полностью соответствует духу его учения. Разграничение субъекта и объекта и, далее, убежденность, что любое создание существует само для себя и пробковое дерево растет не затем, чтобы у людей было чем закупоривать бутылки, — вот в чем была наша общность с Кантом, и меня радовало, что мы сошлись в этой точке. Позднее я написал свое учение об эксперименте, которое следует рассматривать как критику субъекта и объекта и одновременно как посредничество между ними.

Шиллер настойчиво советовал мне бросить изучение философии Канта. Он уверял, что Кант ничего не даст мне. Сам же ревностно его изучал, впрочем, я тоже, и не без пользы для себя.

В этих разговорах мы шагали взад и вперед по саду. Меж тем тучи сгустились и стал накрапывать дождь: нам пришлось вернуться в дом, где мы еще некоторое время продолжали нашу беседу.

*Среда, 20 июня 1827 г.*

Стол был накрыт по-семейному на пять человек, в просторных комнатах царил прохлада, благодатная при такой жаре. Я вошел в соседнюю со столовой большую

комнату, застланную ковром ручной работы, где стоял колоссальный бюст Юноны. Не успел я несколько раз пройти из угла в угол, как из своей рабочей комнаты появился Гете; он с обычным радушием приветствовал меня, сел на стул у окна и сразу же ласково со мной заговорил.

— Возьмите себе тоже стульчик, — сказал он, — и садитесь ко мне поближе, мы с вами немножко поболтаем, куда соберутся остальные. Я доволен, что вы познакомились у меня еще и с графом Штернбергом, он уже уехал, и я снова обрел покой и предался привычным своим занятиям.

— Граф показался мне очень значительной личностью, — сказала я, — не говоря уж об его незаурядных познаниях. О чем бы ни заходил разговор, он принимал в нем самое живое участие, причем с ходу высказывал суждения весьма основательные и веские.

— Да, — согласился со мною Гете, — он человек в высшей степени интересный, сфера его влияния и связей в Германии очень широка. Как ботаник он известен всей Европе, своей «*Flora subterranea*»<sup>1</sup>, немало значит он и как минералог. Его история вам известна?

— Нет, — отвечал я, — но мне бы очень хотелось что-нибудь о нем узнать. Я познакомился с ним как с графом, как с представителем большого света, и в то же время разносторонним серьезным ученым, и эту загадку мне бы, конечно, хотелось разгадать.

В ответ Гете рассказал мне, что граф в юности готовился к духовной карьере и годы его учения начались в Риме, позднее, однако, когда Австрия перестала благоприятствовать римской ортодоксии, перебрался в Неаполь. И Гете продолжал свой рассказ — подробный, захватывающий я значительный, рассказ об удивительной жизни, которая могла бы украсить «Годы странствий», но повторять его здесь я не возьмусь. Я внимал ему, счастливый и благодарный, всей душою. Затем разговор перешел на богемские школы и немалые их преимущества, в первую очередь во всем, что касалось глубоко продуманного эстетического воспитания.

Тут вошли господин и госпожа фон Гете вместе с фрайлейн Ульрикой фон Погвиш, и мы сели за стол. Оживленный наш разговор, касавшийся то одного предмета, то другого, частенько возвращался к пиетистам некоторых севе-

---

<sup>1</sup> «Подземной флорой» (лат.).

ронемецких городов. Дело в том, что сектантская обособленность, внося раздор во множество семей, разрушала их. Я рассказал, что однажды едва не потерял близкого друга из-за того, что ему никак не удавалось обратить меня в свою веру.

— Он был убежден, — присовокупил я, — что все человеческие заслуги и добрые дела ничего не значат и только милостью Христовой человек может установить добрые отношения с господом.

— Что-то в этом роде, — вставила госпожа фон Гете, — мне тоже говорила одна моя приятельница, — но я никак в толк не возьму, что понимается под добрыми делами и милостью Христовой.

— Поскольку в наши дни любят судить да рядить решительно обо всем, — сказал Гете, — то и с этими сектами получается ерунда, а как это происходит, я вам сейчас объясню. Учение о добрых деяниях, то есть о том, что человек, творя добро, завещая часть своего достоинства общине и благодворя бедным, искупает свои грехи и призывает на себя благословение господне, — учение католическое. Однако реформаты, из оппозиции, отвергли его и взамен выдвинули теорию о том, что человек должен единственно и всемерно стремиться познать примерную жизнь Христа, дабы сподобиться его милости, что уже само по себе подвигнет его на добрые дела. Так оно было сначала, нынче все перемешалось, перепуталось, и никто уже не знает, откуда что взялось.

Я отметил, скорее мысленно, чем вслух, что религиозные распри покои веков были причиной войн и междоусобиц, более того, что первое убийство было совершено в споре о богопочитании. Сказал же я только, что на днях читал Байронова «Каина» и более всего был восхищен третьим актом и мотивировкой убийства.

— Вас тоже восхищает эта великолепная мотивировка? — переспросил Гете. — Я считаю, что по красоте она не имеет себе равных в мире.

— «Каин», — сказал я, — поначалу ведь был запрещен в Англии, теперь же его читает каждый, и молодые англичане, путешествуя, возят с собою полное собрание сочинений Байрона.

— Это тоже глупо, — сказал Гете, — потому что, по существу, в «Каине» нет ничего, о чем бы им не толковали английские епископы.

Слуга доложил о *канцлере*, который тут же вошел и занял место за столом. Вприпрыжку друг за другом вбежа-

ли также внуки Гете, *Вальтер* и *Вольфганг*. Вольф так и прильнул к канцлеру.

— Принеси господину канцлеру твой альбом и покажи ему принцессу и то, что тебе написал граф Штернберг, — сказал Гете.

Вольф побежал наверх и вскоре воротился с альбомом. Канцлер стал рассматривать портрет принцессы со стихотворной подписью Гете под ним. Затем полистал дальше и, наткнувшись на запись *Цельтера*, вслух прочитал ее:

*Учись повиноваться!*

— Единственное разумное слово в целом альбоме, — смеясь, заметил Гете. — Ничего не скажешь, Цельтер, как всегда, грандиозен в своем здравомыслии! Я сейчас вместе с Римером просматриваю его письма, в них есть места поистине неоценимые. В первую очередь это относится к письмам, которые он писал мне во время своих путешествий. Превосходный зодчий и музыкант, он всегда находит интересные объекты для своих суждений. Стоит ему въехать в какой-нибудь город, и тамошние здания уже говорят ему о том, что есть в них хорошего и каковы их недостатки. Музыкальные кружки незамедлительно втягивают его в свою деятельность, и он, как большой мастер, сразу уясняет себе их положительные и отрицательные стороны. Если бы скорописец записал его разговоры с учениками во время уроков музыки, это было бы нечто единственное в своем роде. Ибо тут Цельтер гениален, велик и сразу же попадает не в бровь, а в глаз.

*Четверг, 5 июля 1827 г.*

Сегодня под вечер возле парка мимо меня проехал Гете, возвращавшийся с прогулки. Он знаком показал, что просит меня к себе. Я сразу же повернул к его дому, где уже дождался хозяина главный архитектор Кудрэ. Как только Гете вышел из экипажа, мы вместе поднялись наверх и сели у круглого стола в так называемой комнате Юоны. Едва мы обменялись несколькими словами, как к нам присоединился *канцлер*. Разговор завертелся вокруг политики дипломатической миссии Веллингтона в Петербурге и возможных ее последствиях, о Каподистрии и все еще не состоявшемся освобождении Греции, об ограничении Константинополем турецких владений и тому подобном. С событий настоящего времени разговор перекинулся на события времен Наполеона, и прежде всего на герцога Энгинского и его легкомысленную ставку на переворот.

Потом беседа коснулась более мирных тем. Все много говорили о могиле Виланда в Османштедте. Господин Кудрэ сказал, что он как раз занят сооружением железной ограды вокруг могилы, и для пущей наглядности тут же набросал на листе бумаги фрагменты узоров решетки.

Когда канцлер и Кудрэ откланялись, Гете попросил меня еще немного побыть с ним.

— Поскольку я живу в тысячелетиях, — сказал он, — то мне всегда странны эти разговоры о статуях и монументах. Стоит мне подумать о памятнике какому-нибудь выдающемуся человеку, и я мысленным взором вижу, как его разносят на куски солдаты грядущих войн. А железные прутики Кудрэ вокруг Виландовой могилы уже сейчас представляются мне подковами, взблескивающими на лошадях будущей кавалерии, и тут я не могу не добавить, что своими глазами видел нечто похожее во Франкфурте. Ко всему еще могила Виланда расположена слишком близко к Ильму. Гека, с ее быстрыми извилами, через какую-нибудь сотню лет размоет берег и достигнет кладбище.

Мы еще, не без юмора, поговорили о страшной бренности всего земного, а затем снова принялись рассматривать рисунок Кудрэ, восхищаясь нежными и четкими штрихами английского карандаша, столь покорного рисовальщику, что мысль его, нимало не ущербленная, представляла перед нашим взором.

Это натолкнуло нас на разговор о карандашных рисунках, и Гете показал мне превосходный рисунок итальянского мастера, изображающий Иисуса мальчиком во храме среди книжников, и еще гравюру на меди, по уже готовой картине, — что помогло нам сделать ряд наблюдений, устанавливающих преимущества рисунка перед гравюрой.

— В ту пору мне повезло, — заметил Гете, — и я купил множество отличных рисунков прославленных мастеров по весьма сходной цене. Такие рисунки значат очень и очень много, не только потому, что открывают нам внутренние, духовные намерения художника, но главным образом потому, что переносят нас в то душевное состояние, в котором художник находился, творя свое произведение. От рисунка — мальчик Иисус во храме, — от каждой его черточки на нас веет великой ясностью и радостной тихой решимостью души художника, и такое же благостное настроение охватывает нас, когда мы его рассматриваем. Вдобавок пластическое искусство имеет то великое пре-

имущество, что самая природа его объективна, оно притягивает нас, но не слишком волнует наши чувства, тогда как стихотворение хотя и производит впечатление более расплывчатое, но пробуждает чувства, — в каждом другие, в зависимости от натуры и восприимчивости слушателя.

— На днях, — сказал я, — я прочитал отличный английский роман «Родерик Рэндом» Смоллета, и он произвел на меня впечатление, подобное впечатлению от хорошего рисунка. Непосредственность изображения, ни малейшей тяги к сентиментализму, жизнь, как она есть, предстает перед нами, иногда отвратительная, мерзкая, но все же радующая своей безусловной реальностью.

— Я слышал много похвал «Родерику Рэндому», — сказал Гете, — и верю тому, что вы о нем говорите, но самому мне его читать не доводилось. Знаете ли вы «Расселаса» Джонсона? Почитайте-ка его на досуге и скажите, как он вам понравится.

Я пообещал это сделать.

— Ведь и у лорда Байрона, — сказал я, — сплошь и рядом встречаются места вполне непосредственные, ограниченные лишь изображением предмета, так же лишь относительно затрагивающие нашу душу, как и рисунок хорошего художника. «Дон-Жуан» больше других вещей изобилует такими местами.

— Да, — согласился со мною Гете, — тут лорд Байрон, бесспорно, велик; иной раз реальная жизнь дана у него так легко, словно бы мимоходом, что это кажется импровизацией. В «Дон-Жуане» я таких мест не припоминаю, но в других его поэмах они запали мне в память, особенно морские сцены, где нет-нет и промелькнет парус; так хорошо это сделано, что кажется, ты сам вдыхаешь морской воздух.

— В «Дон-Жуане», — сказал я, — меня всего более поразило описание Лондона, мне чудилось, что сквозь эти легкие стихи я воочию вижу город. К тому же он, не задумываясь, поэтична какая-то деталь или нет, пускает ее в ход, вплоть до завитых париков в окнах цирюльников и фонарщиков, заправляющих маслом уличные фонари.

— Наши немецкие эстетика, — сказал Гете, — хоть и любят поговорить о предметах поэтических и не поэтических, причем в известной степени они не так уж не правы, однако, по сути дела, *любой* реальный предмет становится поэтическим, если поэт умеет с ним обращаться.

— Как это верно, — воскликнул я, — и как было бы хорошо, если бы такая точка зрения стала общепризнанной

максимой. — Далее мы заговорили о «Двоих Фоскари», и я заметил, что Байрон превосходно изображает женщин.

— Его женщины, — сказал Гете, — очень удачны. Но они ведь единственный сосуд, оставшийся нам, новейшим писателям, который мы можем заполнить своим идеализмом. С мужчинами нам делать нечего. В Ахилле и Одиссее, самом храбром и самом умном, Гомер уже все предвосхитил.

— Вообще же, — продолжал я, — в «Фоскари» из-за постоянных пыток есть что-то отвращающее, и трудно понять, как мог Байрон носить в себе все это мучительство столько времени, сколько ему понадобилось, чтобы написать пьесу.

— Это же была стихия Байрона, — отвечал Гете, — он постоянно занимался самоистязанием, поэтому такие сюжеты и привлекали его, — ведь в его вещах не найдется, пожалуй, ни одного жизнерадостного сюжета. Но я считаю, что изображение Фоскари заслуживает всяческих похвал, не так ли?

— Оно великолепно, — отвечал я, — любое слово сильно, значительно, целеустремленно; впрочем, мне до сих пор еще не попалось у Байрона ни одной вялой строки. Я словно бы вижу, как он выходит из волн морских, освеженный, весь проникнутый первоначальными творческими силами.

— Вы совершенно правы, — сказал Гете, — это так и есть.

— Чем больше я его читаю, — продолжал я, — тем больше преклоняюсь перед величием его дарования и радуюсь, что в «Елене» вы воздвигли ему бессмертный памятник любви.

— Байрон был единственным, кого я по праву мог назвать представителем новейших поэтических времен, — сказал Гете, — ибо он, бесспорно, величайший талант нашего столетия. Вдобавок он не склоняется ни к античности, ни к романтизму, он — воплощение нынешнего времени. Такой поэт и был мне необходим, к тому же для моего замысла как нельзя лучше подошла вечная неудовлетворенность его природы и воинственный нрав, который и довел его до гибели в Миссолонги. Писать трактат о Байроне не сподручно, и я бы никому не посоветовал это делать, но при случае воздавать ему хвалу и указывать на многообразные его заслуги я не премину и в дальнейшем.

Поскольку сейчас была упомянута «Елена», Гете продолжал говорить на эту тему.

— Конец, — сказал он, — был у меня задуман совсем по-другому, я разрабатывал его и так и эдак, одна из работок даже очень удалась мне, но рассказывать я об этом не стану. Затем время принесло мне вести о Байроне, о Миссолонги, и я живо отставил все другое. Но вы, вероятно, заметили, что в «Граурной песне» хор совсем выпадает из роли. Раньше он был сплошь выдержан в античном духе, вернее сказать нигде не изменял своей девичьей сути, здесь же он вдруг становится суровым и мудрым и произносит то, о чем никогда не думал, да и не мог думать.

— Конечно, я это заметил, — сказал я, — но с тех пор, как я увидел пейзаж Рубенса с двойными тенями, с тех пор, как мне открылось понятие фикционализма, такое уже не может сбить меня с толку. Мелкие противоречия никакого значения не имеют, если с их помощью достигнута высшая красота. Песнь должна была быть пропета, а раз на сцене не было другого хора, то ее исполнили девушки.

— Посмотрим, — смеясь, сказал Гете, — что будут говорить об этом немецкие критики. Достанет ли у них свободы и смелости пренебречь таким отступлением от правил. Французам здесь поперек дороги станет рассудочность, им и в голову не придет, что фантазия имеет свои собственные законы, которыми не может и не должен руководствоваться рассудок. Если бы фантазия не создавала непостижимого для рассудка, ей была бы грош цена. Фантазия отличает поэзию от прозы, где может и должен хозяйничать рассудок.

Я радовался этим значительным словам, стараясь получше их запомнить. Но мне пора было домой, время уже подошло к десяти. Мы сидели без свечей, с севера, через Этерсберг, летняя ночь светила нам.

*Понедельник вечером, 9 июля 1827 г.*

Я застал Гете в одиночестве рассматривающим гипсовые слепки с медалей из кабинета Штоша.

— Мне из Берлина любезно прислали для просмотра всю коллекцию, — сказала он, — большинство этих прекрасных медалей я знаю, но здесь они распределены в поучительной последовательности, которую установил Винкельман; кстати сказать, я заглядываю в его описания и справляюсь с ними там, где мною овладевают сомнения.

Мы обменялись еще несколькими словами, когда вошел канцлер и подсел к нам. Он пересказал нам ряд газетных сообщений, в том числе следующее: сторожу какого-то зверинца так захотелось полакомиться львиным мясом, что он убил льва и, отрезав от его туши изрядный кусок, приготовил себе жаркое.

— Странно, — сказал Гете, — что он не предпочел обезьяну, у которой мясо, говорят, куда нежнее.

Мы заговорили об уродстве этих зверей и о том, что они тем противнее, чем больше походят на человека.

— Не понимаю, — сказал канцлер, — как это владетельные особы терпят их возле себя и, вероятно, даже рассматривают как своего рода потеху.

— Владетельных особ, — сказал Гете, — столь часто терзают мерзкие люди, что они поневоле рассматривают этих мерзких тварей как лекарство от неприятных впечатлений. Нам, прочим, конечно, противны ужимки обезьян и крик попугаев, так как здесь мы видим этих зверей и птиц в окружении, для которого они не созданы. Если бы нам случилось ехать на слонах под пальмами, то вполне возможно, что в этой стихии мы сочли бы обезьян и попугаев не только уместными, но и презабавными. Впрочем, как я уже сказал, владетельные князья правы, стремясь мерзкие впечатления отогнать от себя еще большей мерзостью.

— При ваших словах, — сказал я, — мне пришли на ум стихи, которые вы, возможно, и сами уже позабыли:

Коль люди ведут себя как скоты,  
Впусти животных в комнату ты;  
Образуются вмиг безобразники эти, —  
Мы все как-никак Адамовы дети.

Гете рассмеялся.

— Да, это так, — сказал он. — Дикость можно побороть только еще большей дикостью. Я вспоминаю случай из моей молодости, когда среди знати еще встречались люди очень грубые и примитивные. Однажды за столом в избранном обществе и в присутствии женщин некий богатый и знатный господин пустился в такие бестактные и соленые разговоры, что всем сотрапезникам стало не по себе. Словами его унять было невозможно. Тогда другой весьма уважаемый и, как оказалось, решительный господин, сидевший напротив него, прибег к другому средству: он во всеуслышанье издал непристойный звук, все обомлели, не исключая грубияна, который так присмирел, что больше уже и рта не раскрыл. С этой минуты разговор,

к вящему удовольствию собравшихся, принял иной, приятный оборот и все ощутили благодарность к решительному гостю за его неслыханную дерзость, возымевшую столь благотворное действие.

Когда мы уже вдоволь посмеялись над этим анекдотом, канцлер завел разговор о последних столкновениях между партией оппозиции и министерской партией в Париже, причем он почти дословно повторил пылкую речь, с которой отчаянно смелый демократ, защищаясь перед судом, обратился к министрам. Мы и на сей раз подивились замечательной памяти канцлера. Гете и канцлер еще долго обсуждали этот случай, но в первую очередь ограничительный закон о печати; это была неисчерпаемая тема; Гете, как всегда, высказывал умеренно-аристократические взгляды, а его друг, — теперь, как и прежде, — видимо, сочувствовал народу.

— Я ничуть не боюсь за французов, — сказал Гете, — им с такой высоты открывается всемирно-историческая перспектива, что дух этой нации ничто уже подавить не может. Ограничительный же закон будет иметь лишь благие последствия, поскольку ограничения касаются только отдельных лиц и ничего важного не затрагивают. Если оппозицию ничем не ограничивать, она превратится в свою противоположность. Ограничения понуждают ее к хитроумию, а это немаловажно. Напрямки, без обиняков высказывать свое мнение простительно и похвально, только когда ты абсолютно прав. Но партия не бывает абсолютно права именно потому, что она партия, посему ей и подобает говорить обиняками, французы же издавна великие мастера в этом деле. Своему слуге я говорю прямо: «Ганс, сними с меня сапоги!» Ему это понятно. Но ежели я захочу, чтобы друг оказал мне эту услугу, я не вправе так прямо к нему обратиться, а обязан придумать какой-то любезный, приятный ему оборот, который побудил бы его оказать мне просимую услугу. Принуждение окрыляет дух, и поэтому я в какой-то мере даже приветствую ограничение свободы печати. До сих пор французы славились как остроумнейшая из наций; надо, чтобы они и впредь пользовались этой заслуженной славой. Мы, немцы, любим не раздумывая выпаливать свое мнение и до сих пор никак не овладеем косвенной речью.

— Парижские партии, — продолжал Гете, — значили бы еще больше, если бы они были либеральнее, свободнее и снисходительнее друг к другу. Ведь им всемирно-историческая перспектива открывается с большей высоты, чем

англичанам, у которых парламент представляет собой скопище мощных, противостоящих друг другу и взаимно друг друга парализующих сил, так что истинная проницательность отдельных людей с величайшим трудом пробивает эту стену; мы видим это на примере разнообразных пакостей, чинимых столь выдающемуся государственному деятелю, как Кэннинг.

Мы встали, собираясь уходить. Но Гете был до того оживлен, что и стоя мы еще продолжали разговор. Затем он ласково с нами простился, и я пошел проводить канцлера до его дома. Вечер был прекрасный, и всю дорогу мы говорили о Гете, часто вспоминая его изречение, что оппозиция, если ее ничем не ограничивать, нередко переходит в свою противоположность.

*Воскресенье, 15 июля 1827 г.*

Сегодня вечером, после восьми, я пошел к Гете, который, как оказалось, только что вернулся из своего сада.

— Посмотрите-ка, что там лежит, — сказал он, — роман в трех томах, и отгадайте чей? *Мандзони!*

Я стал рассматривать книги в красивых переплетах с авторской надписью Гете.

— Мандзони — писатель прилежный, — сказал я.

— Да, он не сидит сложа руки, — ответил Гете.

— Я не знаю ничего из его произведений, кроме оды Наполеону, которую я на днях с восхищением перечитывал в вашем переводе, — сказал я. — В ней каждая строфа — картина.

— Совершенно верно, — отозвался Гете. — Но ведь и вы не слышали, чтобы о ней говорили в Германии. Ее словно и вовсе не было, а между тем ода Мандзони — лучшее из стихотворений на эту тему.

Гете принялся снова читать английские газеты, которые он отложил, когда я вошел в его комнату. Я же взял в руки Карлейлевы переводы немецких романов, мне попался том с произведениями Музеуса и Фуке. Этот весьма осведомленный в немецкой литературе англичанин всем переведенным им вещам предпосылал краткое сообщение о жизни писателя и свои критические заметки о его творчестве. Я прочитал такое введение к Фуке и с большой радостью отметил, что биография написана живо и в то же время очень основательно, а критическая оценка произведений этого автора — со спокойным, доброжелательным

проникновением в его поэтические заслуги. Остроумный англичанин то сравнивает нашего Фуке с голосом певца, пусть небольшого диапазона, но зато приятным и благозвучным, то, желая и дальше развить свою точку зрения на него, прибегает к сравнениям, заимствованным из церковной иерархии, говоря, что в поэтической церкви Фуке, конечно, не достоин сана епископа или вообще князя церкви и ему приходится довольствоваться саном капеллана, но в этом скромном своем положении он, безусловно, заслуживает похвалы.

Покуда я это читал, Гете удалился в задние комнаты и прислал слугу просить меня к себе; я не замедлил воспользоваться приглашением.

— Посидите еще немножко со мной, — сказал Гете, — и давайте побеседуем. Мне прислали перевод из Софокла, он легко читается, да и вообще, видимо, хорош, но я все-таки хочу сравнить его с переводом Вольтера. А кстати, что вы скажете о Карлейле?

Я рассказал ему, что я прочел о Фуке.

— Да ведь это же премило, — заметил Гете, — хорошо, что и за морем есть толковые люди, которые знают и умеют ценить нас.

— По правде говоря, — продолжал он, — в других областях у нас, немцев, тоже нет недостатка в умных людях. Я прочитал в «Берлинер ярбюхер» рецензию одного историка на Шлоссера, она поистине замечательна. Под ней стоит подпись: *Генрих Лео*, я его имени никогда раньше не слышал, и нам с вами следовало бы о нем разузнать. Он возвысился над французами, а поскольку речь идет об истории, это не так уж мало. Последние чрезмерно цепляются за реальность, идеальное их мозг не вмещает, а нашему немцу это дается без труда. Он высказывает интереснейшие взгляды на сущность индийских каст. Сколько всего говорится об аристократии и демократии, между тем дело обстоит очень просто: в юности, когда у нас ничего нет или же мы не умеем ценить спокойное довольство, мы демократы. Но если за долгую жизнь мы обзавелись собственностью, то хотим ее сохранить, более того, — хотим, чтобы наши дети и внуки спокойно пользовались тем, что мы приобрели. Посему в старости мы все без исключения аристократы, даже если в молодости и придерживались иных взглядов. *Лео* рассуждает об этом очень умно и метко.

Пожалуй, самое слабое место у нас — эстетика, и мы еще долго будем ждать появления такого человека, как Кар-

лейль. Еще хорошо, что теперь, когда установилось тесное общение между французами, англичанами и немцами, нам удастся друг друга поправлять и направлять. Это великая польза мировой литературы, которая со временем будет все очевиднее. Карлейль написал «Жизнь Шиллера», где он судит о нем так, как, пожалуй, не сумел бы судить ни один немец. Зато мы хорошо разобрались в Шекспире, в Байроне и ценим их заслуги, пожалуй, не меньше, чем сами англичане.

*Среда, 18 июля 1827 г.*

— Должен вам сказать, что роман Мандзони превосходит все, что нам известно в этом жанре, — таковы были первые слова Гете за обедом. — Мне остается только добавить, что внутреннее его содержание, то есть все, что идет от души писателя, — бесспорное совершенство, внешнее же, описание места действия и тому подобное, ни на волос не уступает незаурядным достоинствам внутреннего. А это кое-что значит.

Я был изумлен и обрадован, услышав его слова.

— Читая этот роман, — продолжал Гете, — все время испытываешь то растроганность, то восхищение, потом снова от восхищения переходишь к растроганности, и так до самого конца тебя волнуют большие чувства, им вызванные. Думается, лучше нельзя было написать роман. Только в нем нам по-настоящему открылся Мандзони, в драмах ему тесно, в них не вмещается вся сложность его внутренней жизни. Я теперь же хочу прочесть один из лучших романов Вальтера Скотта, скорей всего это будет «Веверлей», о котором я понятия не имею, тогда мне станет понятно, насколько Мандзони выдерживает сравнение с великим английским писателем. Духовная культура Мандзони в данном случае стоит на такой высоте, что вряд ли кто может поспорить с ним; она радует нас, как созревший плод. А ясность в воссоздании деталей сходствует разве что с ясностью итальянского неба.

— Не замечаете ли вы у него известной сентиментальности? — спросил я.

— Ни малейшей, — отвечал Гете. — Он глубоко чувствует, но в его писаниях нет и следа чувствительности; все положения своих героев Мандзони воспринимает мужественно и чисто. Сегодня я ничего больше не скажу, я ведь и первого тома не дочитал, но вскоре вы от меня услышите еще немало.

Сегодня вечером, войдя в комнату Гете, я застал его за чтением романа *Мандзони*.

— Я читаю уже третий том, — сказал он, отодвигая книгу в сторону, — при этом у меня возникает множество новых мыслей. Вы помните, Аристотель говорил, что трагедия хороша, если она пробуждает *страх*. Но это относится не только к трагедии, а и к произведениям другого жанра. Вы ощущаете страх, читая моих *«Бога и баядеру»*, более того: во многих хороших комедиях, когда осложняется интрига, даже в *«Семи девишках в мундирах»*, ибо мы не знаем заранее, чем обернется шутка для прелестных малюток. Природа этого страха двоякая: либо боязнь, либо тревога. Тревогу мы испытываем, сознавая, что беда морального порядка надвигается и угрожает действующим лицам, как, например, в *«Избирательном сродстве»*. Боязнь же охватывает читателя или зрителя, когда действующие лица вот-вот подвергнутся физической опасности, как в *«Галерных рабах»* или в *«Вольном стрелке»*, где сцена в волчьем ущелье вызывает уже не только боязнь, но полную душевную опустошенность во всех, кто ее смотрит.

Мандзони на редкость удачно использует боязнь; он как бы растворяет ее в растроганности и через растроганность подводит своего читателя к восхищению. Боязнь — чувство, которое определяется содержанием, его ни один читатель не избегнет, тогда как восхищение обычно бывает порождено сознанием, что автор отлично справляется с любой ситуацией, но это сознание одаряет радостью только знатока. Что вы скажете о такого рода эстетике? Будь я помоложе, я бы что-нибудь написал, исходя из этой теории, но, разумеется, менее объемистое, чем роман Мандзони.

Мне, право, очень любопытно узнать, что скажут господа из *«Глоб»* о произведении Мандзони, — они достаточно толковые люди, чтобы оценить его достоинства, вдобавок вся тенденция этой вещи льет воду на мельницу либералов, хотя сам Мандзони занял здесь весьма умеренную позицию. Впрочем, французы редко воспринимают литературное произведение с тем сочувственным простосердечием, с каким его воспринимают немцы, они с неохотой усваивают взгляды автора, но зато с легкостью находят даже у лучших писателей то, что им не по вкусу и что автор, по их мнению, должен был бы сделать иначе.

Затем Гете пересказал мне несколько мест из романа, желая показать, сколь остроумно он написан.

— *Четыре* обстоятельства, — продолжал он, — благоприятствовали Мандзони в создании его великолепного произведения. Во-первых, то, что он превосходный историк, — это сообщило роману большую широту и достоверность, выгодно отличающие его от других так называемых романов. Во-вторых, Мандзони пошла на пользу принадлежность к католической церкви, — она сроднила его с целым рядом поэтических мотивов, которые остались бы ему неизвестны, будь он протестантом. В-третьих, к украшению романа послужило и то, что автор немало претерпел от революционных смут, — сам он не был замешан в них, но его друзей они не обошли стороной, а некоторых даже привели к гибели. И, наконец, в-четвертых, благоприятнейшим образом отозвалось на романе и то, что действие его происходит на очаровательных берегах озера Комо, с юных лет запечатлевшихся в душе автора, а следовательно, вдоль и поперек ему знакомых. Последнее обстоятельство, пожалуй, способствовало одному из главных достоинств произведения — удивительно четкой и подробной зарисовке местности.

*Понедельник, 23 июля 1827 г.*

Когда я сегодня вечером, часов около восьми, зашел к Гете, мне сказали, что он еще не вернулся из сада. Посему я отправился ему навстречу и отыскал его в парке. Он сидел на скамье под развесистыми липами вместе со своим внуком Вольфгангом.

Гете, видимо, порадовало мое появление, и он указал мне на место возле себя. Едва мы успели обменяться взаимными приветствиями, как разговор уже снова зашел о *Мандзони*.

— В прошлый раз я вам говорил, — начал Гете, — что в этом романе нашему автору очень помогло то, что он историк, но нынче, читая третий том, я убедился, что историк сыграл злую шутку с поэтом, ибо господин Мандзони вдруг сбросил с себя одежды поэта и на довольно долгое время предстал перед нами нагим историком. И надо же было этому случиться, как раз когда он дошел до описания войны, голода и чумы — напастей поистине роковых, а от обстоятельности, детализирования и сухого, как хроника, изложения ставших невыносимыми. Немецкий переводчик должен постараться избежать этого не-

достатка, основательно сократив описания войны и голода, а от описания чумы оставив разве что одну треть, то есть ровно столько, сколько нужно, чтобы могли действовать персонажи романа. Будь у Мандзони добрый друг и советчик, он помог бы ему с легкостью избежать этой ошибки. Мандзони как историк, конечно, был преисполнен чрезмерного уважения к реалиям. Это обстоятельство доставляет ему немало хлопот и в драмах, но там он выходит из положения, вынося избыточный исторический материал в ремарки. На сей раз он, однако, не сумел воспользоваться таким выходом и не нашел в себе сил запереть свою историческую кладовую. Факт весьма примечательный, ибо едва только начинают действовать персонажи романа, как поэт, во всем своем блеске, снова является нам и принуждает нас к уже привычному восхищению.

Мы встали и направились к дому.

— Сразу даже и не поймешь, — продолжал Гете, — как поэт, подобный Мандзони, умеющий создавать столь удивительные композиции, мог хотя бы на мгновение погрешить против поэзии. На самом же деле все очень просто. Дело в том, что *Мандзони* — прирожденный поэт, каким был и *Шиллер*. Но в наше убогое время поэт в окружающей жизни не находит для себя подходящей природы. Шиллер, чтобы помочь себе в этой беде, обратился к истории и философии, Мандзони только к истории. Шиллеров «Валленштейн» так велик, что вряд ли найдется второе произведение в этом роде равное ему, но вы согласитесь, что именно это могущественное его подспорье — история и философия в отдельных местах становятся поперек дороги его творению и умаляют его чисто поэтическое воздействие. Так вот и Мандзони страдает от избыточного историзма.

— Ваше превосходительство, — сказал я, — вы открываете великие истины, и я счастлив, слушая вас.

— Мандзони, — отвечал Гете, — наводит нас на хорошие мысли.

Он собирался продолжить рассказ о своих наблюдениях, но возле ворот сада нам повстречался канцлер, и разговор прервался. Всегда желанный гость, он присоединился к нам. Мы проводили Гете вверх по маленькой лестнице и через комнату бюстов в овальный зал, где были спущены жалюзи и на столе у окна горели две свечи. Сели за стол. Гете с канцлером заговорили о разных, совсем других делах.

Ездил с Гете в Берку. Мы выехали вскоре после восьми. Утро было прекрасное. Дорога поначалу идет в гору, и так как природа вокруг неинтересная, то Гете заговорил о литературе. Известный немецкий писатель был на днях проездом в Веймаре и принес Гете свой альбом.

— Какой ерундой он наполнен, вы себе и представить не можете, — сказал Гете. — Все поэты пишут так, словно они больны, а мир — сплошной лазарет. Все твердят о страданиях, о земной юдоли в потусторонних радостях; и без того недовольные и мрачные, они вгоняют друг друга в еще больший мрак. Это подлинное злоупотребление поэзией, которая, в сущности, дана нам для того, чтобы сглаживать мелкие житейские невзгоды и примирять человека с его судьбой и с окружающим миром. Но нынешнее поколение страшится любой настоящей силы, и только слабость позволяет ему чувствовать себя уютно и настраивает его на поэтический лад.

— Я придумал неплохое словцо, — продолжал Гете, — чтобы позлить этих господ. Их поэзию я назову *поэзией «лазаретной»* и противопоставлю ей поэзию истинно *тиртейскую*, которая не только воспевает сражения, но дарит человека мужеством для жизненных битв.

Я был полностью согласен с Гете.

В экипаже мое внимание привлекла камышовая кошелка с двумя ручками, стоящая у нас в ногах.

— Я привез ее из Мариенбада, — заметил Гете, — где плетут такие кошелки любого размера, и так к ней привык, что без нее ни в одну поездку не пускаюсь. Вот посмотрите: пустая она складывается и занимает очень мало места, а полная растягивается во все стороны и вмещает больше, чем можно предположить. Она мягкая, гибкая и при этом до того крепкая и прочная, что в ней можно возить любые тяжести.

— Она очень живописна и даже чем-то напоминает античные изделия.

— Совершенно верно, — подтвердил Гете, — так оно и есть. Сходство же здесь заключается не только в предельно разумной целесообразности, но и в изящнейшей простоте формы, так что смело можно сказать — это изделие достигает высшей точки завершенности. Всего больше кошелка мне пригодилась во время моих минералогических экскурсий в Богемских горах. Сейчас в ней наш завтрак. Будь у меня с собой молоток, я бы и сего-

дня нет-нет и отбил бы кусочек, чтобы привезти ее домой полную камней.

Мы уже добрались до вершины, и нам открылся широкий вид на холмы, за которыми лежит Берка. Чуть левее простиралась долина, тянущаяся до самого Хетшбурга, где, по другую сторону Ильма, высилась гора, сейчас обращенная к нам теневой стороною и казавшаяся *синей* в тумане, поднявшемся над рекою. Но когда я взглянул на нее в подзорную трубу, синева заметно поблекла. Я сказал об этом Гете:

— Вот пример того, какую роль, даже при чисто объективном цвете, играет субъект. Слабое зрение усиливает муть, острое же разгоняет ее или, по крайней мере, проясняет.

— Вы правильно это заметили, — сказал Гете, — если смотреть в хорошую подзорную трубу, исчезает синева даже самых отдаленных гор. Уже *Виланд* хорошо это знал и часто говаривал: *«Людей, конечно, можно было бы развлекать, если бы они были способны развлекаться»*.

Веселый смысл этих слов рассмешил нас.

Тем временем мы съехали в небольшую долину, где дорога шла через крытый мост над сухим сейчас руслом, прорытым дождевой водой, что устремлялась к Хетшбургу. Дорожные рабочие укладывали по обеим сторонам моста глыбы, вырубленные из красного песчаника, которые привлекли к себе внимание Гете. Чуть подальше, там, где за мостом дорога начинает подниматься на холм, отдаляющий путника от Верки, Гете велел кучеру остановиться.

— Давайте выйдем из экипажа, — сказал он, — и перекусим на свежем воздухе.

Выйдя, мы осмотрелись кругом. Слуга расстелил салфетку на четырехугольной куче камней, частенько складываемых на обочине шоссе, и принес камышовую кошелку, из нее он извлек свежие булочки, жареных куропаток и соленые огурцы. Гете разрезал куропатку и половину протянул мне. Я ел стоя, вернее, на ходу. Гете присел на камнях. Как бы холодные камни, на которых еще не обсохла ночная роса, не повредили ему, подумал я и тут же высказал свои опасения, но Гете заверил меня, что это пустое. Я успокоился, сочтя его слова доказательством того, каким сильным он себя ощущает. Между тем слуга достал из экипажа еще и бутылку вина и налил нам.

— Наш друг *Шютце*, — сказал Гете, — поступает пра-

вильно, всякую неделю выезжая за город, давайте-ка последуем его примеру, и если такая погода еще продержится, постараемся, чтобы эта прогулка не была последней.

Как же я обрадовался его словам!

Мне суждено было прожить с Гете удивительно счастливый день сначала в Берке, потом в Тонндорфе. Он был на редкость общителен и неистощим в остроумных речах. И о *второй части «Фауста»*, над которой он начал серьезно работать, Гете высказал много мыслей, отчего я тем более сожалею, что записал в свой дневник лишь это вступление.

---

---

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Воскресенье, 15 июня 1828 г.

Едва мы сели за стол, как слуга доложил о господине Зейделе с тирольцами. Певцов провели в садовый павильон, откуда им все было видно через открытые двери, пенье же приятно доносилось с некоторого расстояния. Господин Зейдель сел с нами за стол. Переливчатые песни веселых тирольцев пришлись по душе нам, молодым людям. Фрейлейн Ульрике и мне всего больше понравились «Букет» и «Ты, ты в сердце у меня», мы даже попросили оставить нам текст этой песни. Но Гете отнюдь не был в таком восторге. «Ты спроси у воробья, хороши ли вишни», — произнес он.

Между песнями тирольцы играли свои национальные танцы на чем-то вроде лежачих цитр в сопровождении звонких поперечных флейт.

Молодого Гете вдруг вызывают из-за стола. Вскоре он возвращается. Подходит к тирольцам, отпускает их и снова садится. Разговор идет об «Обероне», о том, что люди съехались со всех сторон послушать эту оперу и к полудню билеты были уже распроданы. Молодой Гете встает из-за стола.

— Дорогой отец, — говорит он, — прости, что мы поднялись раньше времени! Господа и дамы, надо думать, хотят пораньше отправиться в театр.

Гете, видимо, не понимает, к чему эта спешка, ведь всего четыре часа, но тоже встает, а мы разбредаемся по комнатам. Господин Зейдель подходит ко мне и еще

нескольким, стоящим поблизости, лицо у него печальное, и тихо говорит:

— Вы напрасно предвкушаете удовольствие от оперы, сегодня представление не состоится, *умер великий герцог!* Скончался на пути домой из Берлина.

Все потрясены. Появляется Гете, мы делаем вид, что ничего не случилось, и ведем безразличный разговор. Гете отходит со мною к окну, говорит о тирольцах, о театре:

— Я хочу, чтобы вы пошли в мою ложу, у вас еще есть время до шести часов, поднимемся ко мне, посидим и поболтаем немножко.

Молодой Гете хочет отделаться от гостей, остаться с глазу на глаз с отцом, чтобы сообщить ему печальную весть, прежде чем вернется канцлер, от которого он узнал ее. Гете, не понимая странного, беспокойного поведения сына, начинает сердиться.

— Почему бы вам не выпить кофе, — говорит он, — ведь еще только четыре часа!

Между тем гости расходятся, я тоже беру свою шляпу.

— Как, и вы собрались уходить? — воскликнул Гете, удивленно глядя на меня.

— Да, — вмешивается молодой Гете, — у Эккермана есть еще кое-какие дела перед театром.

— К сожалению, это так, — подтверждаю я.

— Ну что ж, идите, — и Гете в недоумении покачал головой, — но я вас не понимаю.

Мы с фрейлейн Ульрикой пошли в верхние комнаты; молодой Гете остался внизу, чтобы сообщить отцу горестную весть.

В тот день я во второй раз видел Гете поздно вечером. Прежде чем войти в его комнату, я услышал, что он вздыхает и вслух говорит сам с собой. Разумеется, он чувствовал, что в его бытии навеки пробита брешь. Он отклонял все утешения, ничего не желая слушать.

— Я надеялся, я хотел уйти *раньше* него, но господь судил иначе, — сказал Гете, — и нам, бедным смертным, остается только нести свой крест и, по мере сил, держаться и не падать духом, покуда в нас теплится жизнь.

Герцогиню-мать весть о смерти застала в ее летней резиденции — Вильгельмстале, молодой двор — в России. Гете вскоре уехал в *Дорнбург*, стремясь избежать тяжелых каждодневных впечатлений и в новой обстановке

деятельным трудом восстановить свои душевные силы. Весьма значительная и близко его затрагивающая книга, вышедшая во Франции, снова подстегнула его к занятиям ботаникой, сельский же его приют, где стоило лишь на несколько шагов отойти от дома, чтобы оказаться среди пышной путаницы вьющихся виноградных лоз и распускающихся цветов, благоприятствовал этим занятиям.

Вместе с его невесткой и внуком я несколько раз навещил его там. Казалось, он был вполне счастлив, говорил о хорошем своем самочувствии и без устали расхваливал великолепное местоположение дворца и садов. И правда, с большой высоты вид из окон открывался прекрасный. Внизу пестрая оживленная долина, где среди лугов течет извилистая Заале. Восточнее, за рекой, гряда лесистых холмов, поверх них взгляд теряется в дали. Кажется, что нигде не сыскать лучшей точки для наблюдения: днем — быстро несущихся туч и ливней, проливающихся вдаль, ночью — звезд, что зажигаются на востоке, и утром — восходящего солнца.

— Здесь мне дарованы дни, столь же прекрасные, как и ночи, — сказал Гете. — Нередко, проснувшись еще до рассвета, я смотрю в открытое окно, любуюсь красотой трех планет, одновременно видимых в этот час, и наслаждаюсь разгорающимся сиянием утренней зари. Почти весь день я провожу на вольном воздухе, вступая в одухотворенные беседы с виноградными лозами, они нашептывают мне интереснейшие мысли, да и вообще я мог бы порассказать вам о них много диковинных историй. Ко всему я начал снова писать стихи, даже неплохие, и мечтаю лишь о том, чтобы мне суждено было еще пожить где бы то ни было так, как я живу сейчас.

*Четверг, 11 сентября 1928 г.*

Сегодня в два часа дня, при великолепной погоде, Гете воротился из Дорнбурга, бодрый и загорелый. Вскоре мы сели за стол, на этот раз в комнате, граничащей с садом, двери в него стояли распахнутыми. Гете рассказывал о лицах, навещавших его, о подарках, им полученных, пересыпая свои рассказы легкими шутками. Но если взглядеться поглубже, нельзя было не заметить в нем известной смятенности, которую всегда испытывает человек, вновь очутившийся в старой обстановке, связанной для него с различными сложными отношениями, требованиями и обязанностями.

Мы успели отведать лишь первых кушаний, как принесли письмецо от герцогини-матери, в котором она выражала свою радость по поводу возвращения Гете, а также извещала, что во вторник доставит себе удовольствие посетить его.

После смерти великого герцога Гете еще не виделся ни с кем из его семейства. Правда, он все время состоял в переписке с герцогиней-матерью, так что они, конечно, успели обменяться мыслями относительно понесенной обоими утраты. Но теперь должна была состояться встреча, которая не могла пройти для них без горестного волнения, а следовательно, уже заранее внушала известную боязнь. Гете также не видел еще молодого двора и не воздал почестей новому государю. Все это только предстояло ему, и если не могло его стеснять как человека светского, то, разумеется, стесняло как гения, стремящегося жить в стихии, с коей он сроднился, и предаваться излюбленным своим занятиям.

Вдобавок на него надвигалась угроза нашествия гостей из всех стран мира. Съезд прославленных естествоиспытателей в Берлине заставил сдвинуться с места многих ученых мужей; те, чей путь лежал через Веймар, уже известили о своем прибытии, их следовало ждать со дня на день. Нарушенный на много недель распорядок жизни, требующий к тому же немалой отдачи душевных сил, конечно же, надолго выбьет его из привычной колеи, а сколько еще всевозможных неприятностей может обрушиться на него в связи с в общем-то приятными ему визитами, — все это призраком встало перед Гете, едва он переступил порог своего дома.

Но было и еще одно обстоятельство, о котором я не могу не упомянуть, усугублявшее грядущие тяготы. К рождеству он обязался, наряду с другими произведениями, сдать в печать «*Годы странствий*» для собрания своих сочинений. Этот роман, прежде умещавшийся в одном томе, Гете начал радикально перерабатывать и старый текст так сплавил с новым, что в нынешнем собрании он должен был выйти уже в *трех* томах. Многое было сделано, но, пожалуй, еще больше предстояло сделать. Рукопись Гете переложил чистыми белыми листами, которые намеревался заполнить. Здесь еще не закончена экспозиция, там необходимо сделать искусный переход, дабы читатель не заметил, что роман весь в заплатках. Тут налицо весьма существенные фрагменты, но одни без начала, другие без конца, — словом, над всеми тремя то-

мами надо было еще работать и работать, чтобы сделать эту прекрасную книгу доходчивой и занимательной.

Прошлой весной Гете давал мне для просмотра эту рукопись, и мы живо ее обсуждали, как устно, так и письменно. Я советовал ему посвятить все лето завершению романа, временно отставив другие работы. Он, в свою очередь, был убежден в необходимости именно так и поступить. Но вскоре скончался великий герцог, для Гете это была невосполнимая утрата; о том, чтобы заниматься композицией, требовавшей спокойствия и веселия духа, не могло быть и речи, — ему приходилось думать, как продержаться, окончательно не обессилев.

Но теперь, осенью, по возвращении из Дорнбурга, когда он снова водворился в своем веймарском доме, мысль об окончании *«Годов странствий»*, — срок между тем оставался уже небольшой, всего несколько месяцев, — не могла не тревожить его, тем паче ввиду предстоящей суеты, которая неминуемо должна была помешать спокойному и чистому проявлению его творческого дара.

Если принять во внимание все вышесказанное, станет понятно, отчего за веселыми шутками Гете во время обеда угадывалось с трудом подавляемое смятение.

Но есть еще и другая причина, заставляющая меня упомянуть о стечении всех этих обстоятельств. Она стоит в связи с весьма примечательным высказыванием Гете, отвечавшим его тогдашнему душевному состоянию и всей его внутренней сути. Сейчас я расскажу об этом.

Профессор *Абекен* из Оснабрюка незадолго до 28 августа прислал мне пакет с просьбой передать таковой Гете в день его рождения. Это-де памятка, касающаяся *Шиллера*, которая, несомненно, его порадует.

Когда за обедом Гете стал рассказывать о всевозможных подарках, присланных ему ко дню рождения в Дорнбург, я спросил, что же находилось в пакете Абекена.

— О, это был замечательный подарок, — сказал он, — доставивший мне большое удовольствие. Одна милейшая дама, у которой Шиллер как-то пил чай, возымела счастливую мысль записать то, что он говорил. Она хорошо все поняла и передала очень точно, так что даже по прошествии столь долгих лет ее запись читается с большим интересом, ибо относит нас к событиям, давно минувшим, наравне с тысячами других, но в данном случае, по счастью, во всей своей живости увековеченным на бумаге.

Шиллер здесь, как и всегда, абсолютно верен своей возвышенной природе. За чайным столом он так же ве-

лик, как был бы велик в государственном совете. Ничто не смущает его; ничто не теснит, ничто не принижает полет его мысли. Великие идеи, живущие в нем, он высказывает напрямик, без оглядки, без околичностей. Да, он был настоящий человек, каким и должно быть! Мы, прочие, всегда подчинены условностям. Люди, вещи, нас окружающие, влияют на нас. Чайной ложечки, если она золотая, довольно, чтобы смутить нас, мы ведь привыкли к серебряным, и так, парализованные тысячью предрассудков, мы бессильны дать волю тому великому, что, быть может, живет в нашей душе. Мы рабы вещей и выглядим ничтожными или важными в зависимости от того, теснят они нас или оставляют нам достаточно простора.

Гете умолк, разговор зашел о другом, я же сохранил в сердце его замечательные слова, так близко меня коснувшиеся и так хорошо выразившие мои чаяния.

*Среда, 1 октября 1828 г.*

Сегодня у Гете к обеду был господин Геннингхаузен из Крефельда, глава большого торгового дома и одновременно любитель естественных наук, в первую очередь минералогии, человек разносторонне образованный не только благодаря своим научным занятиям, но и дальним путешествиям. Он возвращался со съезда естествоиспытателей в Берлине и рассказывал о многом из того, что там обсуждалось, главным образом, конечно, о минералогических проблемах.

Речь шла также о вулканистах и еще о способах, с помощью которых ученые строят различные гипотезы и вырабатывают свои взгляды на природу. В этой связи были упомянуты имена великих естествоиспытателей и даже *Аристотеля*, о нем Гете сказал:

— Аристотель видел природу зорче, чем кто-либо из новейших ученых, но в своих выводах был очень уж скоропалителен. К природе надо подходить почтительно и неторопливо, чтобы чего-нибудь от нее добиться.

Если во время естествоиспытательной работы я и приходил к какому-либо определенному выводу, то не требовал, чтобы природа немедленно его одобрила, а продолжал опытным путем наблюдать за нею, радуясь, ежели она, время от времени, любезно подтверждала мое мнение. Когда же природа мне в этом отказывала, я избирал другой путь, надеясь, что к нему она отнесется менее сурово.

Сегодня за обедом говорил с Гете о Фуке, в частности, о «Состязании певцов в Вартбурге», так как он мне посоветовал прочитать эту вещь. Мы оба пришли к одному выводу; хотя автор всю жизнь занимался изучением древней Германии, но ничего путного из этих занятий так и не извлек.

— В темных древнегерманских временах, — сказал Гете, — мы для себя ничего почерпнуть не можем, равно как в сербских песнях и тому подобных творениях варварской народной поэзии. Мы их читаем, даже не без интереса, но лишь затем, чтобы вскоре о них позабыть и больше уже к ним не притрагиваться. Жизнь человека и так достаточно омрачена его страстями и судьбой, зачем же ему еще потемки варварской старины? Люди испытывают потребность в ясности и веселье. Вот и надо им обращаться к тем эпохам, когда выдающиеся представители искусства и литературы достигали такого гармонического развития, что сами были счастливы и еще могли щедро оделять других сокровищами высочайшей своей культуры.

Если вы хотите составить себе благоприятное представление о Фуке, почитайте его «Ундицу», она действительно прелестна. Конечно, это был превосходный материал, и нельзя даже сказать, что поэт извлек из него все возможное, но тем не менее «Ундина» очень мила и, конечно, придется вам по душе.

— Что-то не везет мне с новейшей немецкой литературой, — сказал я. — К стихам Эгона Эберта я же пришел через Вольтера, впервые прочитав его маленькие стихотворения к разным лицам, а они, несомненно, лучшее из всего им созданного. С Фуке у меня получилось и того хуже. Едва я углубился в «Пертскую красавицу» Вальтера Скотта, — кстати, это был первый роман великого писателя, который я читал, — как мне пришлось отложить его и приняться за «Состязание певцов в Вартбурге».

— Стакими великими иноземцами, — сказал Гете, — наши новейшие писатели, конечно, сравниться не могут. Но хорошо, что вы попеременно знакомитесь с отечественной, и с иностранной литературой, так вы скорее узнаете, у кого почерпнуть более высокое представление о мире, столь необходимое поэту.

Вошла госпожа фон Гете и под села к нам.

— А ведь «Пертская красавица» Вальтера Скотта, —

весело продолжал Гете, — и вправду очень хороша! И как это написано! Как он владеет стилем! Абсолютно четкий план и ни единого штриха, который бы не вел к цели. А детали какovy! И в диалоге, и в описательной части, впрочем, тут одно не уступает другому. Сцены и положения в этом романе напоминают картины *Теньера*. Высокое искусство проникает все целое, отдельные персонажи поражают жизненной правдой, все до мельчайших подробностей разработано автором с такой любовью, что нет здесь ни одной лишней черточка. Вы до какого места до читали?

— До того, где Генри Смит, — отвечал я, — по улицам и переулкам ведет домой прекрасную арфистку, а им навстречу, к величайшей его досаде, попадают шляпочник Праутфут и аптекарь Дуайнинг.

— Да, — проговорил Гете, — это превосходное место. Честный оружейник, который, преодолевая внутреннее сопротивление, не только идет с подозрительной девицей, но еще тащит на руках ее собачонку. Право же, такое не часто встретишь в романах. Это свидетельствует о знании человеческой природы, знании, позволяющем проникнуть в ее глубочайшие тайны.

— На редкость удачным приемом мне кажется и то, что Вальтер Скотт сделал отца своей героини перчаточником, который, торгуя мехами и шкурами, издавна состоит в сношениях с горцами, — сказал я.

— Да, — согласился Гете, — это прекрасная и очень артистичная выдумка. Благодаря ей книга изобилует удобными для автора ситуациями, которые зиждуются на вполне реальной основе и, таким образом, приобретают убедительнейшую правдивость. Вальтера Скотта всегда отличает уверенный, четкий рисунок, обусловленный глубоким знанием реального мира, а такого знания он добился, всю жизнь изучая этот мир, наблюдая за различными явлениями и ежедневно обсуждая важнейшие из них. Но прежде всего, разумеется, своим великим талантом и всеобъемлющим разумом. Вы, наверно, помните статью одного английского критика, который поэтов сравнивает с голосами певцов: один в состоянии взять лишь несколько хорошо звучащих нот, тогда как диапазон другого позволяет ему одинаково легко справляться с любым регистром. Таков и Вальтер Скотт. В «Пертской красавице» вы не найдете ни одного слабого места, ни разу не почувствуете — здесь у автора не достало знаний или таланта. Он в совершенстве владеет всем материалом. Король,

брат короля, кронпринц, князь церкви, дворянство, магистрат, бюргеры и ремесленники, горцы — все они написаны одинаково уверенной рукой и одинаково метко очерчены.

— Англичанам, — сказала госпожа фон Гете, — всего больше нравится Генри Смит, да и сам Вальтер Скотт, видимо, желал, чтобы он стал героем этой книги. По правде говоря, Смит не из числа моих любимцев, *принц* мне милее.

— Принц, — сказал я, — несмотря на всю свою дикость — чем-то симпатичен, и автор изобразил его так же хорошо, как и других.

— Когда он, сидя на лошади, — сказал Гете, — подставляет ногу прелестной арфистке, чтобы притянуть ее к себе и поцеловать, — эта сцена в чисто английском вкусе. Но вы, женщины, такой уж народ, что вам подавай любимого героя! Вы и книги-то читаете, стремясь найти пищу для сердечного волнения, но так, собственно, читать нельзя, не важно, что нравится то или иное *действующее лицо*, важно, чтобы нравилась *книга*.

— Такова уж наша природа, дорогой отец, — сказала госпожа фон Гете и, нагнувшись над столом, пожала ему руку.

— Ну, что ж, — ответил Гете, — смирится с милыми вашими слабостями.

Около него лежал последний номер «Глоб», он стал его просматривать. Я тем временем беседовал с госпожой фон Гете о молодых англичанах, с которыми познакомился в театре.

— Нет, что за люди эти сотрудники «Глоб», — не без горячности воскликнул Гете, — они растут и умнеют с каждым днем, но, главное, они едины духом, и это просто поразительно. В Германии такой журнал попросту невозможен. У нас каждый живет сам по себе, о единодушии и мечтать не приходится. Один держится убеждений своей провинции, другой — своего города или собственной своей персоны, а какой-то общности убеждений нам еще ждать и ждать.

*Вторник, 7 октября 1828 г.*

Сегодня за обедом у Гете собралось веселое общество. Помимо веймарских друзей присутствовало еще несколько естествоиспытателей проездом из Берлина. Я был знаком только с одним из них — господином *Мартиусом* из

*Мюнхена*, который сидел рядом с Гете. Разговоры, шутки касались то одного, то другого предмета. Гете пребывал в отличном настроении и был очень общителен. Разговор шел и о театре, — все оживленно обсуждали «*Моисея*», последнюю оперу Россини. Одни бранили либретто и хвалили музыку, другим не нравилось ни то, ни другое. Гете высказался следующим образом:

— Никак я вас не пойму, дети мои, как вы умудряетесь разделять музыку и либретто и одобрять либо одно, либо другое. Вы сейчас сказали, что либретто никуда не годится, но вы на него не обращаете внимания и наслаждаетесь прекрасной музыкой. Право, это удивительно, как может слух воспринимать прельстительные звуки, когда сильнейшее из наших чувств — зрение мучат нелепые образы.

А что ваш «*Моисей*» нелеп, этого вы отрицать не станете. Как только открывается занавес, зритель видит толпу молящихся. Зрелище неподобающее. Если ты хочешь молиться, стоит в Писании, уйди в свою каморку и запри дверь за собой. Сцена не место для молитвы.

Я бы сделал для вас совсем другого «*Моисея*», да и либретто начал бы по-другому. Прежде всего я бы показал тяжкий подъяремный труд детей Израиля и то, как они страдают от тирании египетских надсмотрщиков, дабы нагляднее стал подвиг Моисея, сумевшего освободить свой народ от позорного ига.

И Гете, к восторженному изумлению гостей, восхищенных потоком его мыслей и неисчерпаемым радостным богатством фантазии, с необыкновенной живостью продолжал сочинять оперу — сцену за сценой, акт за актом остроумно, со всей полнотою жизни и в строгом соответствии с исторической правдой. Все это миновало так скоро, что я удержал в памяти лишь пляску египтян, которой, по мысли Гете, они приветствуют рассеяние тьмы и возвращенный свет.

Разговор перешел с «*Моисея*» на всемирный потоп и вскоре, благодаря остроумцу-естествоиспытателю, принял естественнонаучное направление.

— Говорят, на Арарате найден окаменевший обломок Ноева ковчега, — сказал господин фон Мартиус, — и меня бы, откровенно говоря, не удивило, если бы там нашли еще и черепа первых людей.

Это замечание послужило поводом для разговора о различных расах, черной, красной, желтой и белой, населяющих землю, который завершился вопросом; мыслимо

ли, что все люди произошли от одной четы, то есть от Адама и Евы?

Господин фон Мартиус стоял за библейскую притчу, но как естествоиспытатель старался подкрепить ее тезисом, что природа, творя, заботливо соблюдает экономию.

— Тут уж я должен возразить в а м, — сказал Гете. — Я, напротив, утверждаю, что природа неизменно щедра, более того — расточительна, и она, безусловно, не ограничилась одной несчастной парой, а стала дюжинами, сотнями даже производить людей.

Когда земля достигла определенной точки зрелости, когда сошли воды и суша достаточно зазеленела, настала пора сотворения человека, велением всемогущего господа человек возникал повсюду, где земля могла его прокормить, — сначала, вероятно, на горных высотах. Допускать, что так оно и было, кажется мне разумным, но размышлять, как это случилось, по-моему, бессмысленное занятие, давайте же предоставим его тем, кто, за неимением лучшего, любит ломать себе голову над неразрешимыми проблемами.

— Если меня как естествоиспытателя, — не без лукавства возразил господин фон Мартиус, — и убеждает мнение вашего превосходительства, то как добрый христианин я не могу сразу решиться встать на точку зрения, вряд ли совместимую с речениями Библии.

— В Священном писании, — отвечал Гете, — правда, говорится лишь об *одной* человеческой чете, которую бог создал в шестой день творения. Но те люди, что записали слово божие, вознесенное нам Библией, прежде всего подразумевали свой избранный народ, посему не будем оспаривать честь его происхождения от Адама. Но мы, прочие, равно как негры и лапландцы и те стройные люди, что всех нас превосходят красотой, несомненно, имели других прародителей. Думается, наши уважаемые гости будут согласны с тем, что мы во многих отношениях отличаемся от подлинных детей Адама и что они, хотя бы в денежных делах, значительно нас перегнали.

Все рассмеялись: разговор пошел вразнобой, Гете, спровоцированный господином фон Мартиусом, под видом шутки сказал еще несколько слов, несомненно, идущих из сокровенных глубин его существа.

После обеда слуга доложил о прусском министре, господине фон Иордане, и мы перешли в соседнюю комнату.

Среда, 8 октября 1828 г.

Сегодня Гете ждал к обеду Тика с супругой и дочерьми и графиню Финкенштейн, возвращавшихся домой после путешествия на Рейн. Я столкнулся с ними внизу. Тик очень хорошо выглядел, купанье в Рейне, видно, пошло ему на пользу. Я рассказал, что за истекшее время впервые прочитал роман *Вальтера Скотта*, и о том, какое удовольствие мне доставил его огромный талант.

— Я почему-то сомневаюсь, — заметил Тик, — что этот последний роман, которого я, правда, не знаю, лучшее из написанного Вальтером Скоттом, но вообще-то он такой одаренный писатель, что любая из его вещей, прочитанная впервые, повергает в изумление, а посему безразлично, с какой начнется ваше знакомство с ним.

Вошел профессор *Гёттлинг*, на днях вернувшийся из своего путешествия по Италии. Я очень ему обрадовался и увлек его к окну, надеясь, что он сейчас о многом мне расскажет.

— Рим, — произнес он, — вы должны увидеть Рим, чтобы стать человеком! Какой город! Какая жизнь! Какой мир! Ото всего, что в нас есть мелкого — в Германии не отделаешься. Но стоит нам ступить на улицы Рима, и с нами происходит чудесное превращение — мы чувствуем себя не менее великими, чем то, что нас окружает.

— Почему вы не остались там подольше? — спросил я.

— Кончились деньги, и кончился отпуск, — гласил ответ. — А как странно я себя чувствовал, когда дивная Италия осталась позади, а я уже перевалил через Альпы...

Гете вошел и приветствовал гостей. Поговорив с Тиком и членами его семьи о том, о сем, он взял под руку графиню, чтобы вести ее к столу. Остальные пошли следом и расселись вперемежку. Началась веселая и непринужденная застольная беседа, — правда, о чем, собственно, шла речь, я что-то не припомню.

После обеда доложили о принцах Ольденбургских. Мы все поднялись в комнаты госпожи фон Гете, где фрейлейн Агнеса Тик села за рояль и красивым альтом так проникновенно спела очаровательную песню *«Крадусь в степи, угрюм и дик...»*, что это удивительное и своеобразное исполнение надолго осталось в моей памяти.

Сегодня за обедом, кроме Гете, госпожи фон Гете и меня, никого не было. И разговор, как это часто случается, вдруг стал продолжением недавнего разговора. Кто-то упомянул о «*Моисее*» Россини, и мы стали вспоминать позавчерашнюю блестящую импровизацию Гете, доставившую всем нам превеликое удовольствие.

— То, что в шутливом и веселом расположении духа я наболтал тогда о «*Моисее*», — сказал Гете, — я сегодня уже и не помню, такое ведь делается бессознательно. Знаю одно, опера доставляет мне радость, когда либретто так же хорошо, как и музыка, и они, как говорится, идут нога в ногу. Ежели вы спросите, какая опера мне по душе, я отвечу: «*Водовоз*», в ней либретто так хорошо сделано, что его можно ставить на театре и без музыки, просто как пьесу, которая, конечно же, доставит удовольствие зрителям. Композиторы либо не понимают всей важности добротной основы, либо не могут найти хороших помощников, то есть поэтов, достаточно разбирающихся в этом деле. Не будь в «*Вольном стрелке*» отличного либретто, театрам вряд ли удалось бы обеспечить такой наплыв публики, как сейчас, а посему следовало бы воздать должное и либреттисту, господину *Кинду*.

Разговор об опере продолжался еще некоторое время, потом мы вспомнили профессора *Гёттлинга* и его итальянское путешествие.

— Я не могу поставить в упрек этому славному человеку, — сказал Гете, — непомерный энтузиазм в рассказах об Италии, слишком мне памятно то, что в свое время творилось со мной! По правде говоря, только в Риме я понял, что значит быть человеком. Большого душевного подъема, большого счастья восприятия мне уже позднее испытать не довелось, и такой окрыленной радости тоже. В сравнении с тогдашним моим состоянием я, собственно, никогда уже не был счастлив.

— Но не будем предаваться меланхолическим размышлениям, — помолчав, продолжал Гете, — как ваши дела с «*Пертской красавицей*»? Как она себя ведет? Как далеко вы зашли? Я жду отчета!

— Я медленно продвигаюсь вперед, — отвечал я, — но все-таки уже дошел до сцены, когда Проутфут в доспехах Генри Смита, чьей походке и свисту он подражает, поутру найден горожанами мертвым на улицах Перта; приняв его за Генри Смита, они поднимают тревогу на весь город.

— Да, это очень значительная сцена, пожалуй, одна из лучших в романе, — сказал Гете.

— Всего больше меня поразила, — продолжал я, — способность Вальтера Скотта прояснять самые запутанные положения, которые вдруг сливаются в единый массив, в величественную картину, так что нам начинает казаться, будто мы, подобно всеведущему провидению, откуда-то сверху наблюдаем события, одновременно происходящие в совсем разных местах.

— Артистизм Вальтера Скотта, — сказал Гете, — конечно, незауряден, отчего мы и нам подобные, иными словами, все, кому важно, как сделано то или иное, получаем особое удовольствие от его произведений, более того — извлекаем из них немалую пользу для себя. Я не хочу забегать вперед, но в третьей части вы столкнетесь с удивительнейшим кунштштоком. То, что принц внес в государственный совет мудрое предложение — предоставить восставшим горцам свободу истреблять друг друга, — вы уже читали, равно как и то, что в вербное воскресенье оба враждующих племени должны спуститься в Перт, чтобы в бою не на жизнь, а на смерть — тридцать против тридцати — разрешить свой спор. Вы будете восхищены тем, как Вальтер Скотт подготавливает читателя к тому, что в день боя в одной из партий будет недоставать одного человека и его место — это тоже подготавливается загодя — займет главный герой — Генри Смит! Вы сами убедитесь, как это здорово сделано, и получите большое удовольствие.

Когда вы дочитаете «Пертскую красавицу», сейчас же принимайтесь за «Веверлея»; это вещь совсем иного характера, но, бесспорно, достойная стоять в одном ряду с лучшим, что когда-либо было написано. Здесь, конечно, проглядывает человек, создавший «Пертскую красавицу», но в те года ему еще только предстояло завоевать любовь публики, и потому он был предельно сосредоточен, не позволял себе ни единого штриха, который не был бы отработан до совершенства. «Пертская красавица», напротив, написана куда размашистее, автор, уже уверенный в своем читателе, становится несколько небрежнее. Прочитав «Веверлея», понимаешь, почему Вальтер Скотт и донныне говорит о себе в первую очередь как об авторе этого романа. В нем доказано, на что он был способен, впоследствии он уже не написал ничего лучшего или хотя бы равного этому первому своему роману.

В честь *Тика* сегодня устраивалось чаепитие в комнатах госпожи фон Гете. Все было очень занимательно, к тому же я познакомился с графом и графиней *Медем*. Графиня сказала мне, что днем она видела *Гете* и до сих пор счастлива воспоминанием об этой встрече. Графа больше всего интересовал «*Фауст*» и продолжение такового, о чем мы некоторое время оживленно с ним беседовали.

Мы были обнадежены, что *Тик* сегодня прочтет нам что-нибудь, и не напрасно. Собравшиеся вскоре перешли в дальнюю комнату, и после того, как все расселись широким полукругом на стульях и на софе, *Тик* стал читать «*Клавиго*».

Я не раз читал и перечитывал эту пьесу, но сейчас словно заново слушал ее, и она потрясла меня как никогда. Мне казалось, что ее играют предо мною на сцене, но лучше, чем обычно. Многие действующие лица и положения были глубже прочувствованы, все это вместе производило впечатление спектакля, в котором необыкновенно удачно распределены роли.

Трудно даже сказать, какие места *Тик* читал лучше, где проявляется мужская сила и страсть, спокойно-рассудительные сцены или сцены любовных мук. Тут в его распоряжении словно бы имелись какие-то особые средства. Сцена *Марии* и *Клавиго* все еще звучит у меня в ушах: тяжкое дыханье, дрожащий, запинаящийся голос, прерывистые слова, всхлипыванье — все это я слышу, как сейчас, и вовеки не забуду. Слушатели, не шевелясь, внимали ему. Свечи горели тускло, никто не подумал или не решился снять нагар, боясь прервать очарованье. Из глаз женщин катились слезы — лучшая дань чтецу и автору пьесы.

*Тик* кончил читать и встал, отирая нот со лба, но слушатели, как прикованные, продолжали сидеть на своих местах. Каждый, видимо, еще был во власти чувств, сейчас пробужденных в его душе, и не находил подходящих слов благодарности за доставленное всем высокое наслаждение.

Мало-помалу мы пришли в себя, поднялись, начался оживленный разговор, обмен мнениями. Затем все пошли в соседние комнаты, где на маленьких столиках был сервирован ужин.

Сам *Гете* на этом вечере не присутствовал, но дух и

образ его незримо витал среди нас. Он прислал Тику свои извинения, а обеим его дочерям, Агнесе и Доротее, две брошки со своим портретом, украшенным красными ленточками, которые госпожа фон Гете приколотла им на грудь, точно маленькие ордена.

*Пятница, 10 октября 1828 г.*

Сегодня утром я получил из Лондона от господина Фрезера, издателя «Форин ревью», два экземпляра третьего номера этого журнала и днем вручил один из них Гете.

Я опять застал у него оживленное общество — к обеду были приглашены Тик и графиня, по просьбе Гете и других своих друзей задержавшиеся в Веймаре еще на денек, тогда как остальные утром отбыли в Дрезден.

Главной темой застольной беседы была английская литература, и в частности, Вальтер Скотт. Тик, между прочим, заметил, что десять лет тому назад первый привез в Германию экземпляр «Веверлея».

*Суббота, 11 октября 1828 г.*

В вышеупомянутом номере «Форин ревью» господина Фрезера среди прочих интересных и важных материалов была напечатана весьма достойная статья Карлейля о Гете, которую я проштудировал сегодня утром. К обеду я пошел немного раньше, чтобы поговорить о ней с Гете, до того как все соберутся.

Он, как мне того и хотелось, был еще один, в ожидании гостей, одетый в черный фрак со звездой — костюм, в котором я очень любил его видеть. Сегодня он выглядел более чем когда-либо юношески жизнерадостным, и мы тотчас же заговорили о том, что представляло интерес для нас обоих. Гете сказал мне, что, в свою очередь, просмотрел сегодня статью Карлейля, следовательно, у нас была возможность обменяться несколькими словами относительно похвальных устремлений заморских писателей.

— Радостно видеть, — сказал Гете, — что прежний педантизм шотландцев переродился в основательность и серьезность. Если вспомнить, как эдинбуржцы еще несколько лет назад относились к моим произведениям, и подумать о заслугах Карлейля перед немецкой литературой, то остается лишь удивляться достигнутому прогрессу.

— В Карлейле, — сказал я, — по-моему, всего примечательнее дух и характер, лежащие в основе его деятельности. Он печется о культуре своего народа и в произведениях иностранных писателей, с которыми считает нужным его ознакомить, ищет не столько высокой художественности, сколько нравственной высоты, которую можно из них заимствовать.

— Да, — согласился со мною Гете, — его побуждения заслуживают самых добрых слов. А как серьезно он ко всему относится! Как досконально изучает нас! В нашей литературе он разбирается едва ли не лучше нас самих, — во всяком случае, в изучении английской литературы нам далеко до него.

— Эта статья, — продолжал я, — исполнена страстной настойчивости, из чего можно заключить, что в Англии еще существует немало предрассудков и противоречий, с которыми автор считает необходимым бороться. Похоже, что «Вильгельма Мейстера» недоброжелательные критики и плохие переводчики представили англичанам в достаточно невыгодном свете. Карлейль очень умно полемизирует с ними. Глупым клеветническим утверждениям, что, мол, ни одной истинно порядочной женщине не следует читать «Мейстера», он, не задумываясь, противопоставляет последнюю королеву Пруссии, у которой «Мейстер» был настольной книгой и которая тем не менее по праву слыла одной из наиболее выдающихся женщин своего времени.

Тут вошли гости, и Гете приветствовал их. Потом он снова подарил меня своим вниманием, и я продолжал:

— Разумеется, Карлейль основательно проштудировал «Мейстера», — сказал я, — и, проникшись величием этой книги, хочет, чтобы она получила широкое распространение, чтобы каждый образованный человек извлек из нее пользу и наслаждение.

Гете подвел меня к окну и ответил мне следующее:

— Милое мое дитя, я хочу открыть вам один секрет, благодаря ему вы сейчас многое поймете, да и впредь вам будет полезно это знать. *Мои произведения не могут сделаться популярными*; тот, кто думает иначе или стремится их популяризировать, пребывает в заблуждении. Они написаны не для масс, а разве что для немногих людей, которые ищут приблизительно того же, что ищу я, и делают со мною мои стремления.

Он хотел еще что-то сказать, но тут подошла одна молодая особа, прервала его и постаралась втянуть в раз-

говор. Я присоединился к группе гостей, но вскоре мы все пошли к столу.

О чем говорилось во время обеда, я не припоминаю. Слова Гете запали мне в душу, и ни о чем другом я думать не мог.

Разумеется, проносилось у меня в голове, такой писатель, как он, такой небывало высокий дух, натура бесконечно одаренная, — как ему быть популярным! Популярность может снискать разве что малая его толика! Песенка, которую станут распевать подгулявшие парни и влюбленные девушки, но ведь и она не всем доступна.

Впрочем, если вдуматься — все наивысшее не популярно. Моцарт, например. И Рафаэль тоже. Разве человечеству недостаточно испить один только глоток из великого неиссякаемого источника духовной жизни, чтобы на некоторое время удовлетворить свою жажду возвышенного? Да, мысленно продолжал я, Гете прав! Огромность разносторонних дарований не позволяет ему стать популярным, он пишет для немногих, для тех, кто ищет приблизительно того же, что и он, кто разделяет его стремления. Пишет для натур созерцательных, которые хотят проникнуть в глубины мироздания и человечества, следуя за ним по его пути. Для тех, кто умеют со страстью впивать все проявления жизни и от поэта ждут песни о блаженстве и боли собственного сердца. Он пишет для молодых поэтов, которые хотят научиться, как выражать свои мысли и с какой художественной меркой подходить к тому или иному предмету. Для критиков, чтобы явить им образец тех максимумов, по которым следует составлять свои суждения и даже рецензии писать так интересно, с такой грацией, что читать их истинная радость. Его произведения предназначены для художника, ибо они просвещают его дух и заодно учат, какой предмет имеет художественную ценность, и посему, что следует изображать, а что нет. Они предназначены также для естествоиспытателя, и не потому только, что из них он узнает открытые автором великие законы природы, но главным образом потому, что они его учат методу, с каким зоркий ум должен подходить к природе, дабы она открыла ему свои тайны.

Итак, все, устремленные мыслью к науке или искусству, — желанные гости за обильным столом его творений и деятельностью своей призваны свидетельствовать о том источнике великого света и жизни, из которого они так много почерпнули.

Вот те мысля, что за обедом проносились у меня в голове. И еще я думал о многих славных наших художниках, естествоиспытателях, поэтах и критиках, в значительной мере обязанных Гете своим развитием и становлением. Думал о талантливых итальянцах, французах и англичанах, которые, обратив на него свои взоры, работали и действовали в его духе.

Вокруг меня тем временем шутили, болтали, воздавая должное и отлично приготовленным кушаньям. Я тоже нет-нет и вставлял словечко в общий разговор, правда, несколько рассеянно. Одна из дам обратилась ко мне с каким-то вопросом, но я, видимо, ответил невпопад. Меня стали поддразнивать.

— Нетрогайте Эккермана, — сказал Гете, — он не рассеян разве что в театре.

Все рассмеялись, но меня это не задело. Душа моя сегодня ликовала. Я благословлял судьбу, которая после всевозможных и чрезвычайных испытаний сулила мне счастье удостоиться доверия и жить вблизи от человека, величие которого только что заставило трепетать мою душу и который сейчас сидел передо мной во всем своем блеске и обаянии.

На десерт подали бисквит и прекрасный виноград, присланный издалека, но Гете почему-то не пожелал сказать нам откуда. Он потчевал им гостей и через стол протянул мне спелую гроздь.

— Ешьте на здоровье эти сладости, дорогой мой, — сказал он.

Виноград, полученный из рук Гете, показался особенно вкусным, теперь я уже и телом и душою ощущал его близость.

Разговор зашел о театре, о большом таланте *Вольфа* и о том, сколь много хорошего сделал для театра этот превосходный актер.

— Я, конечно, знаю, — сказал Гете, — что старшее поколение здешних актеров многому от меня научилось, но своим учеником в полном смысле этого слова я могу назвать только *Вольфа*. Как он усвоил мои правила, как умел действовать в моем духе, я сейчас вам расскажу, да я и вообще с удовольствием рассказываю об этом случае.

Однажды я очень злился на *Вольфа* по причине, не касающейся театра. Вечером он должен был играть, а я сидел в своей ложе. «Сейчас надо хорошенько к нему приглядеться, — подумал я, — сегодня я никакой симпатий

к нему не чувствую и ничего ему спускать не намерен». Вольф вышел на сцену, я не сводил с него пытливого взгляда. Но как он играл! До чего уверенно! Сколько мощи было в этой игре! Я, сколько ни хотел, не мог заметить ни единой погрешности против правил, мною преподанных, и решил, что мне надо немедленно с ним примириться.

*Понедельник, 20 октября 1828 г.*

Старший горный советник *Неггерат* из Бонна, возвращающийся с Берлинского съезда естествоиспытателей, был сегодня желанным гостем на обеде у Гете. Разговор шел главным образом о минералогии. Неггерат подробно рассказывал о минералогических изысканиях и залежах в окрестностях Бонна.

После обеда мы перешли в комнату, где стоит колоссальный бюст Юноны. Гете показал гостям длинную бумажную полосу с контурами фриза Фигалийского храма. При внимательном рассмотрении этой полосы невольно напрашивалась мысль, что греки в изображении животных придерживались не столько натуры, сколько одинажды выработанных условностей, а значит, изрядно от нее отставали, и что бараны, жертвенные животные и кони, которых мы видим на греческих барельефах, в большинстве своем окаменелые бесформенные убудки.

— Не буду спорить, — сказал Гете, — но тут в первую очередь надо знать, к какому времени относится такой барельеф и какой художник его создал, тогда мы поймем, что существует множество произведений, в которых греческие художники, изображая животных, не только встали вровень с природой, но и превзошли ее. Англичане, лучшие в мире знатоки лошадей, не могли не признать, что две конские головы античных времен совершенством своим превосходят все ныне существующие породы лошадей. Головы эти относятся к лучшим временам греческого искусства, и если они повергают нас в изумление, то это вовсе не значит, что греческие художники воспроизводили натуру более совершенную, чем нынешняя, а только, что с течением времени и развитием искусства они сами становились совершеннее и к натуре подходили во всеоружии собственного своего величия.

Покуда Гете это говорил, я с одной дамой стоял боком

к столу, рассматривая гравюру, и хотя слова его слышал вполуха, но они глубоко запали мне в душу.

Гости мало-помалу разошлись, мы с Гете, который стоял у печки, остались вдвоем. Я подошел к нему поближе и сказал:

— Ваше превосходительство, вы сейчас говорили, что греки подходили к натуре во всеоружии собственного своего величия, это драгоценные слова, и мне думается, что мы еще не в состоянии достаточно глубоко в них проникнуть.

— Да, мой милый, — отвечал Гете, — к этому все сводится. Надо чем-то *быть*, чтобы что-то *сделать*. Данте мы считаем великим, но за ним стоят целые века культуры. Дом *Ротшильдов* славен своими богатствами, но понадобился срок больший, нежели человеческая жизнь, для их накопления. Все это лежит много глубже, чем принято думать. Наши добрые художники, работающие под старонемецких мастеров, подходят к воспроизведению природы по-человечески расслабленными, артистически беспомощными и полагают, что у них что-то получается. Они стоят *ниже* того, что изображают. А тот, кто хочет создать великое, должен сначала так создать себя самого, чтобы, подобно грекам, быть в состоянии низшую, реально существующую природу поднять на высоту своего духа и сотворить то, что в природе, из-за внутренней слабости или внешнего препятствия, осталось всего-навсего намерением.

*Среда, 22 октября 1828 г.*

Сегодня за обедом зашла речь о *женщинах*, и Гете прибег к весьма изящному обороту.

— Женщины, — сказал он, — это серебряные чаши, которые мы наполняем золотыми яблоками. Мое представление о женщинах почерпнуто не из житейского опыта, оно у меня либо врожденное, либо бог весть каким образом возникло во мне. Поэтому мне и удаются женские характеры, — впрочем, все они лучше тех женщин, которые встречаются нам в действительности.

*Вторник, 18 ноября 1828 г.*

Гете сказал о новом номере «*Эдинбург ревью*»:

— Приятно сознавать, на какой высоте и с каким знанием дела работают нынче английские критики. От их

былого педантизма и следа не осталось, его заменили куда более положительные качества. В предыдущем номере в статье о немецкой литературе имеется, например, следующее высказывание: «Есть поэты, склонные носятся с мыслями, которые другие предпочли бы выкинуть из головы». Ну-с, что вы на это скажете? Сразу становится ясно, до чего мы дошли и как нам следует оценивать многих наших новейших литераторов.

*Вторник, 16 декабря 1828 г.*

Сегодня обедал вдвоем с Гете в его кабинете. Мы говорили о разных литературных делах и обстоятельствах.

— Немцы, — сказал он, — никак не могут избавиться от филистерства. Сейчас они затеяли отчаянную возню и споры вокруг нескольких двустушии, которые напечатаны в собрании сочинений Шиллера и в моем тоже, полагая, что невесть как важно с полной точностью установить, какие же написаны Шиллером, а какие мною. Можно подумать, что от этого что-то зависит или кому-нибудь приносит выгоду, а по-моему, достаточно того, что они существуют.

Друзья, вроде нас с Шиллером, долгие годы тесно связанные общими интересами, постоянно встречавшиеся для взаимного обмена мыслями и мнениями, так сжились друг с другом, что смешно было бы считаться, кому принадлежит та или иная мысль. Многие двустушия мы придумывали вдвоем, иногда идея принадлежала мне, а Шиллер облакал ее в стихи, в другой раз бывало наоборот, или Шиллер придумывал первый стих, а я второй. Ну как тут можно разделять — мое, твое! Право, надо очень уж глубоко увязнуть в филистерстве, чтобы придавать хоть малейшее значение таким вопросам.

— Но ведь это частое явление в литературной жизни и, — сказал я, — кто-то, к примеру, вдруг усомнится в оригинальности произведения того или иного крупнейшего писателя и начинает вынюхивать, откуда тот почерпнул свои сюжеты.

— Смешно, — сказал Гете, — с таким же успехом можно расспрашивать хорошо упитанного человека о быках, овцах и свиньях, которых он съел и которые придали ему силы. Способности даны нам от рождения, но своим

развитием мы обязаны великому множеству воздействий окружающего нас мира, из коего мы присвоиваем себе то, что нам нужно и полезно. Я многим обязан грекам и французам, а перед Шекспиром, Стерном и Голдсмитом — в неоплатном долгу. Но ими не исчерпываются источники моего развития, я мог бы называть таковые до бесконечности, но в этом нет нужды. Главное — иметь душу, которая любит истинное и вбирает его в себя везде, где оно встречается.

— Да и вообще, — продолжал Гете, — мир так уже стар, уже столь многие тысячелетия в нем жили и мыслили замечательные люди, что в наше время трудно найти и сказать что-нибудь новое. Мое учение о цвете тоже не очень-то ново. Платон, Леонардо да Винчи и другие великие люди задолго до меня открыли и по частям сформулировали то же самое. Но то, что и я это нашел и заново сформулировал, то, что я изо всех сил старался вновь открыть истинному доступ в этот путанный мир, это уже *моя* заслуга.

К тому же об истинном надо говорить и говорить без усталости, ибо вокруг нас снова и снова проповедуется ошибочное, и вдобавок не отдельными людьми, а массами. В газетах и в энциклопедиях, в школах и в университетах ошибочное всегда на поверхности, ему уютно и привольно оттого, что на его стороне большинство.

Иной раз мы учимся одновременно истине и заблуждению, но нам рекомендуют придерживаться последнего. Так, на днях я прочитал в одной английской энциклопедии статью о возникновении *синева*. Вначале автор приводит правильную точку зрения Леонардо да Винчи, но далее с неколебимым спокойствием говорит о Ньютонском заблуждении, да еще советует такового придерживаться, потому что оно-де признано повсеместно.

Услышав это, я поневоле рассмеялся.

— Любая восковая свеча, — сказал я, — или освещенный кухонный чад, если что-то темнеет за ним, легкий утренний туман, что заволоч тенистые места, — ежедневно показывают мне, как возникает синий цвет, помогают постигнуть синеву небес. Но что думают последователи Ньютона, утверждая, будто воздух имеет свойство поглощать все цвета, отражая только синий, для меня непостижимо, и точно так же я не понимаю, какой прок от учения, в котором мысль не движется и полностью отсутствуют здравые представления.

— Добрая вы душа, — сказал Гете, — но ни мысли, ни наблюдения не интересуют этих людей. Они рады и тому, что в их распоряжении имеются слова для голословия, впрочем, это знал уже мой Мефистофель и в данном случае неплохо выразился:

Спасительная голословность  
Избавит вас от всех невзгод,  
Поможет обойти неровность  
И в храм бесспорности введет.  
Держитесь слов<sup>1</sup>.

Гете, смеясь, процитировал это место, да и вообще, видимо, пребывал в наилучшем расположении духа.

— Хорошо, — сказал он, — что все это уже напечатано, я и впредь буду без промедления печатать все, что накопилось у меня в душе против ложных теорий и их распространителей.

— В области естествознания, — помолчав, продолжал он, — стали появляться умные, одаренные люди, и я с радостью присматриваюсь к их деятельности. Многие, правда, хорошо начинали, но надолго их не хватило; одних сбивает с пути чрезмерный субъективизм, другие слишком цепляются за факты и накапливают их в таком множестве, что они уже никакой гипотезы подтвердить не могут. Тут сказывается недостаточная острота теоретической мысли, которая могла бы пробиться к прафеноменам и полностью уяснить себе отдельные явления.

Краткий визит прервал нашу беседу, но вскоре мы снова остались одни, и разговор перешел на поэзию. Я сказал Гете, что на днях просматривал его маленькие стихотворения и дольше всего задержался на двух: «*Балладе о детях и старике*» и «*Счастливых супругах*».

— Я и сам ими доволен, — сказал Гете, — хотя немецкие читатели и доныне не удостоивают их особым вниманием.

— В балладе, — продолжал я, — богатейшее содержание затиснуто в узкие рамки посредством разнообразия поэтических форм, всевозможных художественных затей и приемов, и здесь, по-моему, самое восхитительное то, что прошлое этой истории старик рассказывает детям до того момента, когда неотвратимо вступает настоящее, и все остальное происходит уже, так сказать, на наших глазах.

---

<sup>1</sup> Перевод Б. Пастернака.

— Я долго вынашивал эту балладу, прежде чем ее записать, — сказал Гете, — на нее положены годы раздумий, к тому же я раза три-четыре за нее принимался, покуда мне удалось наконец сделать ее такой, как она есть.

— Стихотворение «*Счастливые супруги*», — продолжал я, — тоже изобилует разнообразными мотивами. Ландшафты и человеческие жизни возникают перед нами, согреты солнцем, что сияет на голубом весеннем небе.

— Я всегда любил это стихотворение, — отвечал Гете, — и радуюсь, что вы отличаете его среди других. А шутка насчет двойных крестин тоже, по-моему, получилась неплохо.

Засим мы вспомнили «*Гражданина генерала*», и я сказал, что на днях прочел эту веселую пьесу вместе с одним англичанином, и нам обоим очень захотелось увидеть ее на сцене.

— По духу она ничуть не устарела, — сказала я, — да и в смысле драматического развития как нельзя лучше подходит для театра.

— В свое время это была хорошая пьеса, — сказал Гете, — она доставила нам немало веселых вечеров. Правда и то, что роли в ней разошлись необыкновенно удачно. К тому же актеры на совесть над ней поработали и диалог вели с живостью и блеском. Мэртэна играл Малькольми, и лучшего исполнителя этой роли нельзя было себе представить.

— Роль *Шнапса*, — сказала я, — думается, тоже очень хороша. Да и вообще в репертуаре наших театров мало таких благодарных ролей. В этом образе, как, впрочем, и во всей пьесе, все до того жизненно и выпукло, что лучшего театр себе и пожелать не может. Сцена, в которой он появляется с ранцем за плечами и, одну за другой, вытаскивает из него различные вещи, потом наклеивает усы Мэртэну, а сам нахлобучивает фригийский колпак, облачается в мундир, да еще прицепляет саблю, — одна из лучших в пьесе.

— Эта сцена, — сказал Гете, — в былые времена доставляла большое удовольствие зрителям, тем паче что набитый вещами ранец был настоящий, исторический, так сказать. Я подобрал его во время революции на французской границе, в том месте, где ее переходили эмигранты, — вероятно, кто-нибудь из них обронил или бросил его. Все вещи, что появляются в пьесе, так и лежали в нем, эту сцену я написал задним числом, и ранец, к вя-

щему удовольствию актеров, фигурировал в ней на каждом представлении.

Вопрос, можно ли еще сейчас с интересом и пользой смотреть «Гражданина генерала», еще некоторое время составлял предмет нашего разговора.

Потом Гете поинтересовался моими успехами во французской литературе, я отвечал, что время от времени продолжаю заниматься *Вольтером* и что великий его талант дарит меня подлинным счастьем.

— И все-таки я еще очень мало знаю его, никак не могу вырваться из круга маленьких стихотворений к отдельным лицам, которые я читаю и перечитываю, не в силах с ними расстаться.

— Собственно говоря, — заметил Гете, — хорошо все, созданное таким могучим талантом, хотя некоторые его фривольности и кажутся мне недопустимыми. Но в общем-то вы правы, не торопясь расстаться с его маленькими стихотворениями, они, несомненно, принадлежат к прелестнейшему из всего им написанного. Каждая строка в них исполнена остроумия, ясности, веселья и обаяния.

— И еще, — вставил я, — тут видишь отношение Вольтера к великим мира сего и с радостью отмечаешь, сколь благородна была его позиция: он не ощущал различия между собой и высочайшими особами и вряд ли мог сыскаться государь, который хоть на мгновенье стеснил бы его свободный дух.

— Да, — отвечал Гете, — он был благородным человеком. И при всем своем свободолюбию, при всей своей отваге, умел держаться в границах благопристойного, что, пожалуй, еще красноречивее свидетельствует в его пользу. Тут я сошлюсь на непререкаемый авторитет императрицы Австрийской, которая не раз говаривала мне, что Вольтеровы оды высочайшим особам не грешат ни малейшим отклонением от обязательной учтивости.

— Вы, ваше превосходительство, — сказал я, — вероятно, помните маленькое стихотворение, в котором он премило объясняется в любви принцессе Прусской, впоследствии королеве Шведской, говоря, что во сне видел себя королем?

— Это одно из самых прелестных его стихотворений, — сказал Гете и продекламировал:

Je vous aimais, princesse, et j'osais vous le dire,  
Les Dieux à mon réveil ne m'ont pas tout ôté,  
Je n'ai perdu que mon empire.

— Ну разве это не очаровательно?! К тому же, — продолжал он, — на свете, вероятно, нет поэта, которому, как Вольтеру, его талант готов был служить в любую минуту. Мне вспоминается следующий анекдот: Вольтер некоторое время гостил у своей приятельницы *дю Шамеле*, и в минуту его отъезда, когда экипаж уже дожидался у подъезда, ему приносят письмо от воспитанниц соседнего монастыря. Дело в том, что ко дню рождения настоятельницы они решили поставить «Смерть Юлия Цезаря» и просили его написать пролог. Вольтер был не в силах отклонить столь милую просьбу, он потребовал перо, бумагу и тут же, стоя у камина, написал просимое. Этот пролог — стихотворение строк около двадцати, вполне завершенное, хорошо продуманное, абсолютно соответствующее случаю, словом — первоклассное стихотворение.

— Как интересно было бы его прочитать! — воскликнул я.

— Сомневаюсь, чтобы оно имелось в вашем собрании, — отвечал Гете, — оно только-только появилось в печати. Такого рода стихи он писал сотнями, многие из них, вероятно, еще и поныне не опубликованы и находятся во владении частных лиц.

— На днях я напал у лорда Байрона на место, из которого, к вящей моей радости, явствовало, что и он преклонялся перед Вольтером. Впрочем, по его произведениям видно, как внимательно он читал, изучал, даже использовал Вольтера.

— Байрон, — отвечал Гете, — прекрасно знал, где можно что-либо почерпнуть, и был слишком умен, чтобы пренебречь этим общедоступным источником света.

Разговор произвольно свернул на Байрона, на отдельные его произведения, и для Гете это явилось поводом повторить те мысли, которые он уже раньше высказывал, дивясь этому великому таланту и восхищаясь им.

— Я всем сердцем присоединяюсь к тому, что ваше превосходительство говорит о Байроне, — заметил я, — но, как ни велик, как ни замечателен этот поэт, мне все же думается, что *развитию человечества* он будет способствовать лишь в малой мере.

— Тут я с вами не согласен, — отвечал Гете. — Байронова отвага, дерзость и грандиозность — разве это не толчок к развитию? Не следует думать, что развитию и совершенствованию способствует только безупречно-чистое и высоконравственное. Все *великое* формирует человека; важно, чтобы он сумел его обнаружить.



Среда, 4 февраля 1829 г.

— Я снова читал *Шубарта*, — сказал Гете, — он человек незаурядный, его высказывания часто даже весьма интересны, конечно, если перевести их на свой язык. Основная мысль его книги следующая: исходная позиция существует и вне философии, она зовется человеческим здравым смыслом, искусство же и наука всего лучше преуспевали независимо от философии, полагаясь лишь на свободное применение прирожденных человеческих свойств. Все это, безусловно, льет воду на нашу мельницу. Сам я всегда старался избегнуть философических тенет. Позиция здравого смысла была и моей позицией, — следовательно, Шубарт подтверждает то, что я говорил и делал в продолжение всей своей жизни.

Не одобряю я его лишь за то, что о многом он знает больше, чем можно судить по его писаниям, иными словами: не всегда честно приступает к делу. Шубарт, так же как Гегель, вовлекает в философию христианскую религию, которая с ней ничего общего не имеет. Христианская религия — великая сила. Измученному, идущему ко дну человечеству она неоднократно помогала воспрянуть, и ежели мы признаем за нею возможность столь мощного воздействия, значит, она стоит выше любой философии и в опоре последней отнюдь не нуждается. Точно так же и философ не нуждается в поддержке религии для доказательства известных положений, к примеру — учения о бессмертии души. Пусть человек верит в бессмертие, у него есть право на эту веру, она свойственна его природе, и религия его в ней поддерживает. Но если *философ* хочет почерпнуть доказательства бессмертия души из религиозных преданий, дело его худо. Для меня убежденность в вечной жизни вытекает из понятия деятельности. Поскольку я действую неустанно до самого своего конца, природа обязана предоставить мне иную форму существования, ежели нынешней долгие не удержать моего духа.

При этих словах сердце мое забилося восторгом и любовью. О, боже, подумал я, было ли когда-нибудь сформулировано учение, энергичнее подстрекающее к бла-

городной деятельности, чем это? Ибо кто же не захочет без устали трудиться и действовать, если в этом заключается для него залог вечной жизни!

Гете велел подать себе портфель с рисунками и гравюрами на меди. Он молча просмотрел несколько листов и, перевернув их, протянул мне прекрасную гравюру по картине *Остаде*.

— Вот в а м , — сказал о н , — отличная иллюстрация к нашему «Good man and good wife»<sup>1</sup>.

Я с искренним удивлением рассматривал этот лист. На нем было изображено крестьянское жилище, в котором кухня, столовая и спальня являлись, в сущности, одним помещением. Муж и жена сидят напротив друг друга, жена прядет, муж мотает пряжу, в ногах у них прикорнул мальчонка. На заднем плане виднеется кровать, не менее убогая, чем вся домашняя утварь. Дверь отворена прямо во двор. Гравюра с удивительным совершенством воссоздавала представление о семейном счастье: довольство, благодушие, можно даже сказать — блаженство нежных супружеских чувств отражалось на лицах супругов, смотрящих друг на друга.

— Право, чем дольше смотришь на эту картину, — сказал я, — тем лучше становится на душе; в ней есть какое-то особое очарование.

— Это очарование чувственности, — отвечал Гете, — без него не может обойтись никакое искусство, в подобных же сюжетах оно царит во всей своей полноте. И, напротив, когда живопись принимает направление более высокого, ему очень трудно сообщить своему творению чувственность, необходимую для того, чтобы оно не стало сухим и холодным. Тут художник должен выбирать сюжет, приняв во внимание свой возраст, ибо старость, как и юность, равно могут помешать его работе или способствовать ей. «Ифигения» и «Тассо» удались мне потому, что я был достаточно молод, чтобы собственной чувственностью оживить и пропитать идеальный материал. В нынешние мои лета идеальные сюжеты мне не по плечу, и я предпочитаю такие, в которых уже присутствует толика чувственности. Если *Генасты* останутся у нас, я напишу две прозаические пьесы, каждую в одном акте. Одну смешную и веселую, которая завершится свадьбой, другую — жестокую, с ду-

---

<sup>1</sup> «Добрый муж и добрая жена» (англ.) — шотландская баллада.

шераздирающей развязкой, когда на сцене останутся два мертвых тела. Последняя восходит еще к шиллеровским временам, по моему настоянию он даже написал для нее одну сцену. Я долго обдумывал оба эти сюжета, и они так ясны мне, что каждый из них я мог бы продиктовать за неделю, как своего «Гражданина генерала».

— Сделайте это, — воскликнул я, — так или иначе, напишите обе пьесы. После «*Годов странствий*» это будет отдыхом для вас, чем-то вроде недолгого путешествия. А как все обрадуются, узнав, что вы снова проявили интерес к театру, чего никто уже не ждет от вас.

— Как я уже сказал, если *Генасты* останутся здесь, то не исключено, что я доставлю вам такое развлечение, в противном случае ничто не может меня к этому побудить, ведь пьеса на бумаге — пустое место. Пишущий должен знать средства, которыми он располагает, и писать роли на тех актеров, которые будут их играть. Имея в виду Генаста с супругой, да еще Ларош, господина Винтербергера и мадам Зейдель, я знаю, что мне делать, и могу быть уверен, что мой замысел увенчается успехом.

— Писать для театра, — продолжал Гете, — совсем особое дело, и тому, кто не понаторел в нем, лучше за него и не браться. Интересное событие, полагает большинство, будет интересно выглядеть и с подмостков: как бы не так! Есть вещи, которые приятно читать, о которых приятно думать, но, поставленные на сцене, они едва ли не все теряют, и то, что восхищало нас в книге, в театре может нас оставить холодными. Когда читаешь «Германа и Доротею», кажется, что поэма будет отлично смотреться на сцене. *Тёнфера* это ввело в соблазн, и он переделал ее в пьесу, но что толку; да еще если и сыграна она не блестяще, хорошей пьесой ее уж никак не назовешь. Писать для театра — совсем особое ремесло и таланта тоже требует особого. То и другое встречается редко, а в сочетании и подавно, без этого же ничего доброго ждать не приходится.

*Понедельник, 9 февраля 1829 г.*

Гете много говорил об «Избирательном средстве» и о том, что какой-то господин узнал себя в образе *Митлера*, хотя он, Гете, его и в глаза не видывал.

— Из этого следует, что характер человека должен быть правдив и иметь среди людей свои прообразы.

В «Избирательном сродстве» нет ни единой строки о том, чего бы я не пережил сам, да и вообще в него вложено больше, чем можно уловить при первом чтении.

*Вторник, 10 февраля 1829 г.*

Я застал Гете в окружении карт и чертежей *новой гавани, строящейся в Бремене*. Это грандиозное начинание вызывает в нем живейший интерес.

Потом он заговорил о *Мерке* и прочитал мне его послание к Виланду от 1776 года, написанное ломаным стихом, оно весьма остроумно, хотя и несколько грубовато. Всего большее это забавнейшее сочинение жалит Якоби, которого Виланд, по-видимому, переоценил в своей чрезмерно благосклонной рецензии в «*Меркурии*», чего Мерк не мог ему простить.

Далее — об уровне тогдашней культуры, о том, сколь труден был необходимый переход от так называемого периода «Бури и натиска» к более высокому развитию.

О своих первых годах в Веймаре. Поэтический гений в конфликте с реальной жизнью. Разнообразные и многочисленные занятия, к которым его понуждала жизнь при дворе, а также обязательства, взятые им на себя во имя пользы государства. Посему в первые десять лет не создано ничего поэтически значительного. Он прочитал мне кое-какие фрагменты. Любовные истории, омрачавшие ту пору. Отец, постоянно недовольный его жизнью при дворе.

Преимущества, проистекшие из того, что он оставался на месте и не должен был вторично проходить через такие же испытания.

Бегство в Италию во имя восстановления своих творческих сил. Суеверное убеждение, что не бывать ему там, если кто-нибудь об этом проведает. Посему — глубочайшая тайна. Только из Рима письмо герцогу.

Возвращение из Италии и повышенные требования к себе.

Герцогиня *Амалия*. Государыня до мозга костей, при этом исполненная чисто человеческих чувств и склонная к радостям жизни. Она очень любит его мать и хочет, чтобы та навсегда перебралась в Веймар. Он против этого.

Несколько слов о зачине «*Фауста*».

— «*Фауст*» возник одновременно с «*Вертером*». В тысяча семьсот семьдесят пятом году я привез его

с собой в Веймар. Поначалу я его писал на листках почтовой бумаги и ничего не правил, ибо остерегался написать хоть одну непродуманную строчку, которая нуждалась бы в исправлении.

*Среда, 11 февраля 1829 г.*

Обедал у Гете с главным архитектором Кудрэ. Кудрэ много рассказывал о женской ремесленной школе и сиротском приюте, эти два учреждения он считает лучшими в стране. Школа основана *великой княгиней*, приют — великим герцогом *Карлом-Августом*. Потом разговор о театральных декорациях и дорожном строительстве. Кудрэ показывал Гете чертеж герцогской капеллы. Гете возражает против места, отведенного для герцогского кресла, Кудрэ с ним соглашается. После обеда *Сорэ*. Гете снова показывает нам картины господина *фон Рейтерна*.

*Четверг, 12 февраля 1829 г.*

Гете читает мне только что им написанное, несказанно прекрасное стихотворение «*Кто жил, в ничто не обратится...*».

— Это стихотворение, — сказал он, — я написал в противовес тому, где сказано: «*и все к небытию стремится, чтоб бытию причастным быть*». Это глупые стихи, а мои берлинские друзья, к великому моему огорчению, по случаю съезда естествоиспытателей еще выставили их в зале написанными золотыми буквами.

Несколько слов о великом математике *Лагранже*. Гете прежде всего подчеркивает его прекрасную человеческую сущность.

— Он был *добрый* человек, — говорит он, — и уже потому был велик. Ибо *добрый* человек, одаренный талантом, всегда благотворно воздействует на остальное человечество, будь он художником, естествоиспытателем, по-этом или кем угодно.

— Я рад, — продолжал он, — что вы вчера ближе узнали Кудрэ. Он обычно молчалив в обществе, но в тесном дружеском кругу вы могли заметить, какой ум и какой характер сочетаются в нем. Поначалу он то и дело сталкивался с противодействием, но сумел его преодолеть и нынче пользуется доверием и благоволением двора. Кудрэ один из искуснейших архитекторов нашего времени. Его всегда влекло ко мне, а меня к нему, и нам обоим это шло на пользу. Если бы я знал его пятьдесят лет назад!

Об архитектурных познаниях самого Гете. Я сказал, что он, видимо, немало приобрел их в Италии.

— Италия дала мне представление о серьезном и великом, — отвечал он, — но не дала никаких практических навыков. Тут мне пришла на помощь постройка веймарского дворца. Волей-неволей я должен был принять в ней участие и даже делал наброски фризов. В какой-то мере я шел впереди профессиональных художников, ибо превосходил их оригинальностью замыслов.

Разговор коснулся *Цельтера*.

— Я получил от него письмо, где он, между прочим, пишет, что премьеру *«Мессии»* ему испортила одна из учениц, спевшая свою арию слишком мягко, вяло и сентиментально. Вялость, увы, характерная черта нашего столетия. Мне думается, что в Германии это следствие невероятного напряжения сил, которого нам стоило освобождение от французского ига. Живописцы, естествоиспытатели, скульпторы, музыканты, поэты за небольшим исключением, — все вялы, да и с народом дело обстоит не лучше.

— Тем не менее я не теряю надежды услышать достойную музыку к *«Фаусту»*, — сказал я.

— Этого быть не может, — отвечал Гете, — то страшное, отталкивающее, омерзительное, что она местами должна выражать, не во вкусе нашего времени. Здесь бы нужна была такая музыка, как в *«Дон-Жуане»*. *Моцарт*, вот кто мог бы написать музыку к *«Фаусту»*. Пожалуй, еще *Мейербер*, но он на это не решится, слишком он тесно связан с итальянским театром.

И тут Гете, уж не помню, по какому поводу и в какой связи, произнес нечто весьма примечательное.

— Все великое и разумное пребывает в меньшинстве, — сказала она. — Мы помним министров, которым равно противостояли и народ, и короли, так что великие свои планы им приходилось осуществлять в одиночку. О том, чтобы разум сделался всенародным, мечтать не приходится. Всенародными могут стать страсти и чувства, но разум навеки останется уделом отдельных избранных.

*Пятница, 13 февраля 1829 г.*

Обедал вдвоем с Гете.

— Вот кончу *«Годы странствий»*, — сказал он, — и снова возьмусь за ботанику, чтобы вместе с *Сорэ* продолжить наш перевод. Боюсь только, как бы это опять

не стало нескончаемым кошмаром. Великие тайны еще сокрыты, кое-какие я знаю, многие лишь предчувствую. Сейчас я хочу поверить вам кое-что, пусть в нескольких странных выражениях.

Растение тянется вверх от узла к узлу, завершаясь цветком и зародышем. Не иначе обстоит и в животном мире. Гусеница, ленточный червь тоже растут от узла к узлу и в конце концов образуют голову; у более высоко развитых животных и у людей такую функцию выполняют постепенно прибавляющиеся позвонки, они заканчиваются головой, в коей концентрируются все силы.

То же самое происходит не только с отдельными особями, но и с целыми корпорациями. Пчелы, например, то есть множество особей, живущих семьей, вкуче производят некое завершение, иными словами то, что следует считать головой — *пчелиную матку*. Как это происходит — тайна, ее трудно облечь в слова, но кое-какие соображения на этот счет у меня все же имеются.

И народ порождает своих героев, которые, словно полубоги, защищают его и ведут к славе. Так, поэтические силы французов объединились в *Вольтере*. Подобные избранники судьбы главенствуют в своем поколении, воздействие иных длится много дольше, но большинство уступает место новым, и потомство предаст их забвению.

Я был счастлив, слыша эти незабываемые слова. Далее Гете заговорил об естествоиспытателях, для которых главная забота — доказать справедливость своих теорий.

— *Господин фон Бух*, — сказал он, — выпустил в свет свой новый труд, в самом заглавии коего содержится гипотеза. Речь в этом труде идет о гранитных глыбах, что встречаются то тут, то там, неизвестно как и откуда взявшиеся. Но поскольку господин фон Бух уже создал гипотезу о том, что такие глыбы выброшены изнутри и расщеплены какой-то стихийной силой, он торопится вынести ее в заголовок, упомянув еще и о *рассеянных* гранитных глыбах, отсюда же один шаг до понятия *рассеяния*, и таким образом на шее ничего не подозревающего читателя стягивается петля ошибки.

Надо дожить до старости, чтобы все это постигнуть, и еще иметь достаточно денег, чтобы оплачивать приобретенные знания. Каждое *bon mot*<sup>1</sup>, мною сказанное, стоит мне кошелька, набитого золотом. Полмиллиона личного

---

<sup>1</sup> Острота (*фр.*).

моего состояния ушло на изучение того, что я теперь знаю, — не только все отцовское наследство, но и мое жадование, и мои изрядные литературные доходы более чем за пятьдесят лет. Да еще и владетельные особы истратили полтора миллиона на высокие научные цели. Я знаю это точно, так как принимал непосредственное участие в удачах и неудачах этих начинаний.

Быть человеком одаренным — недостаточно; чтобы набраться ума, нужно еще многое: например, жить в полном достатке, уметь заглядывать в карты тех, кто в твоё время ведет крупную игру, самому быть готовым к большому выигрышу и такому же проигрышу.

Не занимайся я природоведением, я бы так и не научился досконально узнавать людей. Ни одна другая область знаний не позволяет так проследить за чистотой созерцания и помыслов, за заблуждениями чувств и рассудка, за слабостью характера и его силой, ведь все это до известной степени непрочно, шатко и поддается произвольному толкованию, но *природа* не позволяет с собой шутить, она всегда правдива, всегда серьезна и сурова. Природа неизменно права, только человеку присущи ошибки и заблуждения. Нищего духом она чурается, покоряясь и открывая свои тайны лишь одаренному, честному и чистому.

С помощью рассудка до нее не доберешься, человек должен стать обладателем высшего разума, чтобы коснуться одежд богини, которая является ему в прафеноменах физических и нравственных, таится за ними и их создает.

Но божество дает знать о себе лишь в живом, в том, что находится в становлении и постоянно меняется, а не в сложившемся и застывшем. Посему и разум в своем стремлении к божественному имеет дело лишь с живым, становящимся, рассудок же извлекает пользу для себя из сложившегося и застывшего.

Отсюда следует, что *минералогия* — наука рассудочная, приспособленная для практической жизни, ибо объекты, ею изучаемые, это нечто мертвое, установившееся, и о синтезе здесь речи быть не может. Объекты, изучаемые *метеорологией*, — живые, каждодневно действующие и созидающие, правда, предполагают синтез, но явления, им сопутствующие, столь разнообразны, что этот синтез все равно недоступен человеку, и посему все исследования и наблюдения только понапрасну истощают его силы. Здесь мы держим курс на гипотезы, на воображаемые

острова, но подлинный синтез так, вероятно, и останется белым пятном на карте. И ничего тут нет удивительного, когда думаешь, как трудно достигнуть хоть относительного синтеза даже в простейших явлениях, таких, как растение и цвет.

*Воскресенье, 15 февраля 1829 г.*

Гете встретил меня похвалами за мое редактирование естественноисторических афоризмов для «Годов странствий».

— Займитесь-ка природой, — сказал он, — вы для этого созданы, и для начала изложите вкратце мое учение о цвете.

Мы долго беседовали на эту тему.

С Нижнего Рейна пришла посылка с античными сосудами, найденными при раскопках, образчиками минералов, миниатюрными изображениями соборов и записанными карнавальными песенками, которую мы распаковали после обеда.

*Вторник, 17 февраля 1829 г.*

Много говорили о «Великом Кофте».

— *Лафатер*, — сказал Гете, — верил в Калиостро и в его чудеса. Когда тот был разоблачен как мошенник, Лафатер утверждал, что это другой Калиостро, ибо чудодей Калиостро — святой.

Лафатер был добрейший человек, склонный, однако, к невероятным заблуждениям, истина как таковая была ему чужда, он обманывал себя и других. Поэтому-то между нами и произошел полный разрыв. В последний раз я видел его в Цюрихе, но он меня не видел. Никем не узнаваемый из-за своего необычного платья, я шел по аллее и, заметив, что он идет мне навстречу, свернул в сторону, он проществовал мимо, так и не узнав меня. Походка у него была журавлиная, отчего я и изобразил его на Блоксберге в виде журавля.

Я спросил Гете, интересовался ли Лафатер природоведением, как это, собственно, можно заключить из его «Физиогномики».

— Н и м а л о, — ответил Гете, — мысль его была устремлена лишь к нравственному, религиозному. То, что в его «Физиогномике» сказано о черепе животных, мои слова.

Разговор зашел о французах, о лекциях *Гизо*, *Виллемена* и *Кузена*, Гете с глубоким уважением отозвался об

их воззрениях, равно как и об их уменье рассматривать исторические события свободно, всегда с какой-то новой стороны и притом идя прямо к цели.

— Это все равно, — сказал он, — что вы бы ходили в сад окольными, путаными дорогами, но вот нашлись люди достаточно смелые и независимые, чтобы пробить стену и сделать калитку как раз в том месте, где прямо попадаешь на широкую аллею сада.

От Кузена мы перешли к индусской философии.

— В этой философии, — сказал Гете, — если верить сведениям англичан, нет ничего чуждого нам, скорее в ней повторяются эпохи, через которые прошли мы все. В детстве мы сенсуалисты; когда любим и приписываем предмету своей любви свойства, которых в нем, собственно, нет — идеалисты. Едва только любовь зашатается, едва пробудятся сомнения в верности любимой, и в мгновение ока мы уже скептики. К остатку жизни относишься безразлично, — как есть, так и ладно, вот мы, наподобие индийских философов, и кончаем квиетизмом.

В немецкой философии надо бы довести до конца еще два важнейших дела. *Кант* написал «Критику чистого разума» и тем самым совершил бесконечно многое, но круг еще не замкнулся. Теперь необходимо, чтобы талантливый, значительный человек написал критику чувств и рассудка. Если бы она оказалась удачной, нам, пожалуй, больше нечего было бы спрашивать с немецкой философии.

— *Гегель*, — продолжал он, — написал в «Берлинском ежегоднике» рецензию на Гаманна, наемни я читал ее, потом перечитывал, и она показалась мне достойной всяческих похвал. Впрочем, критические отзывы Гегеля всегда были превосходны.

*Виллемен* тоже отличный критик. У французов, правда, никогда уже не будет гения, равного Вольтеру, но о Виллемене смело можно сказать, что духовной своей статью он возвышается над Вольтером, а посему вправе судить о его достоинствах и недостатках.

*Среда, 18 февраля 1829 г.*

Разговор коснулся учения о цвете, и между прочим, бокалов, мутный рисунок которых на свету кажется желтым, а на темном фоне синим, иными словами — здесь мы видим перед собою прафеномен.

— Высшее, чего может достигнуть человек, — заметил Гете по этому поводу, — изумление. Ежели прафеномен повергнул его в изумление, он должен быть доволен, ничего более высокого увидеть ему не дано, а искать дальнейшего не имеет смысла — это граница. Но люди обычно не удовлетворяются содержанием прафеномена, им подавай то, что кроется за ним, и в этом они похожи на детей, что, глянув в зеркало, тотчас же переворачивают его — посмотреть, что там с другой стороны.

Разговор перешел на *Мерка*, я спросил, занимался ли он естественными науками.

— О да, — отвечал Гете, — у него имелись даже весьма примечательные естественноисторические коллекции. Мерк был вообще человеком необычайно разносторонним. Искусство он тоже любил и в своей любви заходил так далеко, что, видя какое-нибудь значительное произведение в руках филистера, который, как он считал, не мог по достоинству оценить его, ничем не брезговал, чтобы заполучить таковое в свою коллекцию. Тут уж он начисто не помнил о совести, любое средство было для него хорошо, он не останавливался даже перед прямым надувательством, если уж ничего другого не оставалось, — И Гете рассказал несколько забавных случаев из жизни Мерка.

— Такой человек, — продолжал он, — теперь уже не может появиться на свет, а если бы и появился, к нему отнеслись бы совсем по-другому. Да, в хорошее время мы были молоды с Мерком. Немецкая литература еще оставалась чистым листом бумаги, на котором мы мечтали и надеялись написать много хорошего. Теперь этот лист до того исчеркан и измаран, что разумный человек не знает, куда еще можно что-то пристроить.

*Четверг, 19 февраля 1829 г.*

Обедал вдвоем с Гете в его кабинете. Он был очень оживлен и утверждал, что день у него выдался на редкость удачный и что он, к удовольствию двора, покончил дело с Артариа.

Засим мы долго говорили об «*Эгмонте*», которого давали накануне в обработке *Шиллера*, не умолчав и об известном ущербе, понесенном пьесой от этой редакции.

— Мне представляется во многих отношениях неудачным, — сказал я, — устранение правительницы, она здесь — необходимое действующее лицо. Дело даже не в

том, что благодаря ей целое становится возвышеннее и благороднее, но и политические обстоятельства, — в первую очередь все касающееся испанского двора, — яснее, решительнее выступают в ее диалогах с Макиавелли.

— Без всякого сомнения, — согласился Гете, — да и сам Эгмонт становится значительнее от того света, которым его озаряет благоволение правительницы. Клерхен тоже выигрывает в наших глазах тем, что, выдержав соперничество столь высокопоставленной особы, всецело владеет любовью Эгмонта. Все это черты весьма деликатного свойства, и, чтобы не нарушить целого, их лучше бы не трогать.

— И еще одно, — сказал я, — мне думается, что среди многочисленных и ярких мужских ролей единственная женская роль — Клерхен — выглядит несколько расплывчатой. Правительница сообщает известное равновесие всей картине, и хотя в пьесе о ней и упоминают, этого недостаточно, впечатление производит только персонаж, присутствующий на сцене.

— Вы совершенно правильно оценили положение, — сказал Гете. — Когда я писал «Эгмонта», я, разумеется, тщательно все взвесил, так что целое изрядно пострадало, когда из него вырвали одно из главных действующих лиц, задуманных как его неотъемлемая составная часть. Но Шиллер был решителен, скор на руку и нередко действовал согласно своей предвзятой идее, без достаточного уважения к предмету, который брался обрабатывать.

— Но ведь и вы были неправы, — отвечал я, — что снесли это и в таком, безусловно, важном случае предоставили ему неограниченную свободу действий.

— Увы, мы часто бываем не столько снисходительными, сколько равнодушными, — отвечал Гете, — к тому же я в ту пору был поглощен совсем другим, ни «Эгмонт», ни театр меня не интересовали, вот я это и допустил. Теперь мне остается утешаться тем, что пьеса напечатана в первоначальном виде и что нашлись театры достаточно разумные, чтобы ставить ее без сокращений, такую, какой я ее написал.

Затем Гете спросил, думал ли я над его предложением — вкратце изложить «Учение о цветке». Я сказал, как у меня с этим обстоит, и между нами неожиданно возникло разногласие, о котором, ввиду важности предмета, я и хочу рассказать здесь.

Всякий, кто наблюдал такое явление, вспомнит, что в солнечные зимние дни мы часто видим на снегу синие

тени. Это явление Гете в своем «Учении о цвете» определяет как субъективный феномен, основываясь на том, что солнечный свет — поскольку мы живем не на горных вершинах — доходит до нас не абсолютно белым, но, пробившись через больше или меньше наполненную парами атмосферу, приобретает желтоватый оттенок, а значит, освещенный солнцем снег представляет собою не чисто белую, но желтоватую поверхность, которая провоцирует наш глаз на некое противопоставление, то есть на порождение синего цвета. Тем самым синяя тень является *затребованным* цветом; под этим углом Гете рассматривает данный феномен и, взяв его за исходную точку, весьма последовательно толкует наблюдения, сделанные Соссюром на Монблане.

Намедни, когда я перечитывал первые главы «Учения о цвете», дабы проверить, справлюсь ли я с дружески предложенной мне Гете работой — вкратце изложить это учение, мне, поскольку день стоял солнечный и выпало много снега, представилась оказия еще раз ближе присмотреться к упомянутому феномену, и тут я с изумлением убедился, что вывод, сделанный Гете, ошибочен. О том, как я пришел к этому аргументу, я и хочу сейчас поведать.

Из окон моей гостиной, выходящих на юг, виден сад, ограниченный зданием, которое зимой, при низком солнце, отбрасывает по направлению к моему дому огромную тень, покрывающую добрую половину сада.

Несколько дней назад при солнце, сияющем на ясном небе, я глянул на эту затененную и заснеженную поверхность и с удивлением отметил, что вся она кажется мне синей. «Затребованным» цветом, сказал я себе, это быть не может, ибо взгляд мой не достигает какой-либо снежной поверхности, которая могла бы вызвать этот контраст; я не вижу ничего, кроме синей затененной массы. Боясь, однако, впасть в ошибку, — а вдруг мне в глаза попадает слепящий отсвет соседних крыш, — я скатал лист бумаги и через эту трубку стал смотреть на тень, по-прежнему остававшуюся синей.

Теперь я уже с полной несомненностью знал, что синяя тень не была субъективной. Цвет существовал самостоятельно, вне меня, я не имел на него ни малейшего субъективного влияния. Что же это, спрашивается, такое? И раз эта синева есть, чем она могла быть вызвана?

Я еще раз посмотрел в окно, огляделся кругом, и раз-

гадка напросилась сама собой. Это не что иное, сказал я себе, как отражение синего неба, тень притягивает отражение к себе, а оно стремится осесть в тени. Ведь сказано же, цвет сродни тени, он по малейшему поводу сочетается с нею и охотно в ней или через нее проявляется.

Последующие дни дали мне возможность убедиться в правильности моей гипотезы. Я шел по полю, небо не было синим, солнце светило как сквозь туман или дымовую завесу, на снег ложился явственный желтый отсвет, достаточно сильный, чтобы отбрасывать четкие тени, и в этом случае, согласно учению Гете, должна была возникнуть яркая синева. Но она не возникла, тени оставались *серыми*.

Назавтра утро было пасмурное, хотя солнце время от времени проглядывало сквозь тучи, отбрасывая на снег четкие тени. Но и они были не *синими*, а *серыми*. В обоих случаях отсутствовало отражение синевы неба, которое сообщало бы теням свою окраску.

Таким образом, я проникаю убеждением, что объяснение Гете данного феномена не подтверждается природой и что параграфы его «Учения», трактующие этот вопрос, нуждаются в основательной переработке.

Нечто сходное произошло затем и с окрашенными двойными тенями от свечи, которые хорошо наблюдать на рассвете, под вечер, когда начинает смеркаться и, всего лучше, при сиянии луны. О том, что в данном случае одна тень, а именно желтая, освещенная огоньком свечи, несомненно, являясь объективной, относится к учению о мутных средах, Гете не упомянул вовсе, хоть это и беспорно. Другую же, голубоватую, вернее, голубовато-зеленую, при слабом сумеречном или лунном свете, он признает субъективной, то есть обособленным цветом, который вызван в нашем глазу желтым отсветом свечи на листе белой бумаги.

Тщательнейшим образом присмотревшись и к этому феномену, я понял, что он, в свою очередь, не подтверждает вывод, сделанный Гете, скорее мне казалось, что проникающий извне слабый дневной или лунный свет уже несет с собою синеватый оттенок, усиленный и поощренный отчасти тенью, отчасти желтым огоньком свечи, и что, следовательно, здесь тоже имеется объективная основа, которой нельзя пренебречь.

Всем известно, что свет занимающегося дня, равно как и лунный свет, отбрасывает лишь бледный отблеск.

Бледным кажется лицо, на которое смотришь в предрасветных сумерках или при лунном свете, что подтверждает и стародавний опыт. Это, видимо, знал еще Шекспир; достаточно вспомнить то удивительное место, когда Ромео на рассвете расстается с возлюбленной, и на вольном воздухе оба внезапно кажутся друг другу бледными как смерть. Уже одно то, что свет раннего утра нагоняет такую бледность на лица, доказывает, что ему присущ зеленоватый или синеватый оттенок, — ведь точно такой же эффект достигается зеркалом с синеватым или зеленоватым стеклом. Но для пущей убедительности постараюсь привести еще и следующие соображения.

Свет, созерцаемый духовным оком, представляется нам совершенно белым, но свету эмпирическому, воспринятому телесным глазом, такая чистота не свойственна. Испарения или другие какие-то причины модифицируют его и, склоняя в сторону то плюса, то минуса, придают ему то желтоватый, то синеватый оттенок. Непосредственный солнечный свет решительно стремится к плюсу, к желтизне, так же как и свет свечи, а свет луны и сумеречный предутренний и предвечерний свет, собственно, являющийся светом не прямым, а отраженным, да еще модифицированный полумраком и ночью, склоняется к минусу, иными словами, наш глаз воспринимает этот свет как синеватый.

Попробуйте в сумерках или при лунном свете положить белый лист бумаги так, чтобы на одну его половину падал лунный или дневной свет, а другая была бы освещена огоньком свечи, — первая будет иметь синеватый, а вторая желтоватый оттенок, и, следовательно, оба света, безотносительно к тени и субъективному усилению восприятия, находятся: один на активной, другой на пассивной стороне.

Итак, результат моих наблюдений свелся к тому, что учение Гете об окрашенных двойных тенях не безусловно правильно и что в этом феномене объективное играет большую роль, чем та, которую Гете ему отводит, закон же субъективного требования должен в данном случае рассматриваться как нечто вторичное.

Будь человеческий глаз всегда так чувствителен и предрасположен при малейшем соприкосновении с каким-либо цветом немедленно воспроизводить противоположный, он бы всегда один цвет превращал в другой, из чего бы возникала пренеприятная мешанина.

Но, к счастью, это не верно, скорее можно сказать:

здоровый глаз так устроен, что он либо вовсе не замечает затребованного цвета, либо, сосредоточившись на нем, лишь с трудом таковой воспроизводит. Но даже и это действие требует некоторого предварительного упражнения и сноровки, не говоря уж о благоприятном стечении обстоятельств.

Наиболее характерного в подобных субъективных феноменах, а именно того, что глаз для их воспроизведения нуждается в сильнейшем раздражении, и еще, что, однажды возникнув, они не имеют прочности, что они мимолетны и быстро оканчивают свое существование, Гете, видимо, не учел, говоря о синей тени на снегу, а также и разноцветных двойных тенях, поскольку в обоих случаях речь идет об едва окрашенной поверхности и в обоих же затребованный цвет отчетливо возникает с первого взгляда.

Но Гете, не желая поступаться однажды усмотренным им законом и предполагая его даже там, где он отнюдь не очевиден, легко мог поддаться соблазну неправомерно распространить свой синтез и увидеть полюбившийся ему закон и там, где действует уже совсем другой.

Сегодня, когда он упомянул о своем «Учении о цвете», а потом спросил, как у меня обстоит дело с краткими изложением такового, я охотно бы умолчал обо всем вышеизложенном: ну как мне было сказать правду, не обидев его?

Но так как разговор о кратком изложении велся достаточно серьезный, то прежде чем приступить к работе, необходимо было обсудить и устранить все возможные недоразумения и разногласия.

Итак, мне пришлось откровенно признаться, что после тщательных наблюдений я в некоторых пунктах не смог согласиться с ним, ибо его объяснения синей тени на снегу, так же как и разноцветных двойных теней, представились мне недостаточно обоснованными.

Я рассказал о своих наблюдениях и о мыслях, которые они мне внушили, но поскольку мне не дано с достаточной ясностью и обстоятельностью устно излагать предмет, то я ограничился кратким сообщением о результатах своей работы, не входя в подробности, каковые пообещался изложить в письменной форме.

Но не успел я заговорить, как безмятежное и бодрое расположение его духа омрачилось, и я, увы, слишком ясно почувствовал, что мои возражения он принимает с неудовольствием.

— Разумеется, — сказал я, — спорить с вашим превосходительством — нелегкое дело, но ведь бывает, что взрослый обронит, а ребенок найдет.

— Можно подумать, что вы в этой области что-то нашли! — иронически усмехнувшись, сказал Гете. — Вашу идею окрашенного света вам следовало бы обнародовать в четырнадцатом веке, вдобавок вы еще погрязли в диалектике. Хвалить вас можно только за то, что у вас достало честности без обиняков высказать все, что вы думаете.

— С моим «Учением о цвете», — продолжал он уже мягче и несколько веселее, — происходит то же, что с христианским вероучением. Не успеешь подумать, что ты обзавелся верными учениками, как они уже отпали и образуют секту. Вы такой же еретик, как другие, и не первый, от меня отпавший. Я разошелся с прекраснейшими людьми, поспорив из-за разных пунктов в «Учении о цвете». С одним — из-за одного, с другим — из-за другого.

Он назвал мне несколько известных имен.

Тем временем мы закончили обед, разговор оборвался. Гете встал и подошел к окну, я последовал за ним и пожал ему руку, ибо, как бы он меня ни бранил, я любил его и к тому же чувствовал, что правда на моей стороне и что обиженный сегодня — он.

Через несколько минут мы уже шутили и беседовали о безразличных вещах. Но когда я на прощанье сказал, что передам ему мои возражения в письменном виде, дабы он имел возможность поглубже в них вникнуть, и еще, что только неловкость моего устного изложения помешала ему признать мою правоту, он засмеялся и не мог не бросить мне вдогонку еще нескольких полшутливых слов о ереси и еретиках.

Станным кажется, что Гете нетерпимо относился к любой критике своего «Учения о цвете» и в то же время был очень снисходителен к замечаниям, касавшимся его поэтических произведений, а если таковые были достаточно обоснованны, то и с благодарностью принимал их. Но сия загадка легко разрешается, когда подумаешь, что поэзия Гете снискала всеобщее признание, тогда как «Учение о цвете», это величайшее и труднейшее из его творений, встречало только хулу и порицание. Едва ли не полжизни до него со всех сторон доносились непости-

жимые прекословия, и ничего тут удивительного, что он должен постоянно находиться в задиристо-воинственном настроении, в постоянной готовности страстно себя защищать.

В этом отношении он походил на добрую мать, которая тем больше любит свое прекрасное дитя, чем меньше его признают окружающие.

— Я не похваляюсь тем, что я сделал как поэт, — часто говаривал Гете, — превосходнейшие поэты жили одновременно со мной, еще лучшие жили до меня и будут жить после. Но то, что в наш век в многотрудной науке, занимающейся проблемами цвета, мне одному известна истина, это преисполняет меня гордости и сознания превосходства над многими.

*Пятница, 20 февраля 1829 г.*

Обед у Гете. Он радуется окончанию «Годов странствий» и хочет завтра же отослать их издателю. В «Учении о цвете» понемногу склоняется к моим взглядам касательно синих теней на снегу. Говорил об «Итальянском путешествии», за которое принялся снова.

— Мы точно женщины, — вдруг заметил он, — рожая, каждая клянется никогда больше не спать с мужем, а не успеешь глазом моргнуть, как она уже опять брюхата.

О четвертой части своего жизнеописания и о том, как он намеревается над нею работать, говорит, что мои заметки от 1824 года относительно уже сделанного и намеченного окажут ему изрядную услугу.

Читал мне вслух из дневника Гёттлинга места, где с большой любовью говорится о иенских учителях фехтования былого времени. Гете очень хорошо отзывался о Гёттлинге.

*Понедельник, 23 марта 1829 г.*

— Среди моих бумаг нашел листок, — сказал Гете, — где я называю зодчество «застывшей музыкой». Право, это неплохо сказано. Настроение, создаваемое зодчеством, сродни воздействию музыки.

Роскошные здания и роскошные палаты — это для властителей и богачей. Те, кто живет в них, чувствуют себя успокоенными, удовлетворенными и ничего более не желают.

Моей природе такая жизнь противопоказана. В роскошном доме, вроде того, что мне отвели в Карлсбаде, я мигом становлюсь ленивым и бездеятельным. И, напротив, тесные комнатушки, как вот эта, в которой мы сидим, упорядоченно-беспорядочные, немного богемистые, — вот то, что мне нужно; они предоставляют полную свободу действий моей внутренней природе, в них я работаю и творю, как мне заблагорассудится.

Мы заговорили о письмах Шиллера, о жизни, которую оба они вели, ежедневно подстегивая и побуждая друг друга к работе.

— Ведь Шиллер, насколько мне известно, — сказал я, — с огромным интересом относился к «Фаусту». И как же это прекрасно, что он не давал вам ни отдыха, ни срока и даже сам, преданный своей идее, многое изобретал и придумывал для «Фауста». — И я добавил, что в натуре Шиллера, видимо, вообще была известная торопливость.

— Вы правы, — сказал Гете, — это было ему свойственно, как, впрочем, всем, для кого главное — поскорее реализовать свою идею. Он не знал покоя и ни на чем не мог остановиться, как вы с легкостью заключите по его письмам о «*Вильгельме Мейстере*», которого он хотел видеть то таким, то эдаким. Мне приходилось быть очень стойким, чтобы оградить как его произведения, так и свои от этих внезапных озарений.

— Нынче утром, — сказал я, — я читал «Надовесский похоронный плач», радуясь и дивясь этому чудному стихотворению.

— Вы сами видите, — отвечал Гете, — каким великим художником был Шиллер и как он умел постигнуть объективное, если оно являлось ему в конкретной форме predания. «Надовесский плач», несомненно, принадлежит к лучшим его стихотворениям, и я был бы счастлив, наберись у него таких с дюжину. Сейчас трудно себе представить, что даже ближайшие друзья корили за него Шиллера, считая, что здесь недостаточно проявился его идеализм. Да, дорогой мой, чего только не претерпеваешь от друзей! Порицал же Гумбольдт мою «Доротеею» за то, что, когда напали враги, она схватила оружие и ринулась на них! А ведь без этого весь характер удивительной девушки, сложившийся в ту эпоху и при тех обстоятельствах, был бы изничтожен и она ничем бы уже не отличалась от своих ничем не замечательных сверстниц. Но в дальнейшей жизни вы еще не раз убедитесь: люди

редко а состоянии понять, как и что должно быть сделано, и чаще всего хвалят и хотят читать то, что им по плечу. А те друзья еще были лучшими, наиболее близкими; представьте же себе, каково было мнение толпы и в каком одиночестве мы пребываем всегда.

Не будь у меня надежного фундамента, то есть изобразительных искусств и занятий естественными науками, я бы с трудом удержался на поверхности, ежедневно испытывая на себе воздействие недоброго нашего времени, но это меня защитило, я же, в свою очередь, постарался поддержать Шиллера.

*Вторник, 24 марта 1829 г.*

— Чем выше поставлен человек, — сказал Гете, — тем больше он подвластен влиянию демонов, ему надо постоянно следить за тем, чтобы воля, им руководящая, не сбилась с прямого пути.

Так, демонические силы, несомненно, проявились при моем знакомстве с *Шиллером*, оно могло произойти и раньше, могло и позже, но то, что мы встретились, когда мое итальянское путешествие уже осталось позади, а Шиллер начал уставать от своих философских спекуляций, было знаменательно для нас обоих.

*Четверг, 2 апреля 1829 г.*

— Сейчас я вам открою политический секрет, — сказал Гете за обедом, — который в недалеком будущем все равно выплывет на свет божий. *Каподистрия* не может надолго удержаться во главе греческого правительства, ибо ему недостает качества, необходимейшего для этого поста: *он не солдат*. Мы не знаем ни одного примера, чтобы сугубо штатский человек сумел организовать революционное государство и подчинить себе полководцев. С саблей в руке, во главе армии можно повелевать и устанавливать законы, ибо ты уверен во всеобщем повиновении, иначе попадешь впросак. Если бы *Наполеон* не был солдатом, никогда бы ему не достигнуть высшей власти; Каподистрия не сможет долго отстаивать себя и принужден будет удовольствоваться второстепенной ролью. Я вам это предсказываю, и вы увидите, что так оно и будет: это в природе вещей, события не могут обернуться иначе.

Затем Гете много говорил о французах, главным образом о *Кузене*, *Виллемене* и *Гизо*.

— Всех троих, — сказал он, — отличает удивительная пронизательность, проникновенность и меткость взглядов. Безупречное знание прошлого сочетается в них с духом девятнадцатого столетия, почему они иной раз и творят чуда.

После французских историков заговорили о французских поэтах и о понятиях *классика* и *романтика*.

— Мне пришло на ум, — сказал Гете, — новое обозначение, которое, кажется, неплохо характеризует соотношение этих понятий. Классическое я называю здоровым, а романтическое больным. И с этой точки зрения «*Нибелунги*» такая же классика, как *Гомер*, тут и там здоровье и ясный разум. Большинство новейших произведений романтично не потому, что они новы, а потому, что слабы, хилы и болезненны, древнее же классично не потому, что старо, а потому, что оно сильно, свежо, радостно и здорово. Если мы станем по этим признакам различать классическое и романтическое, то вскоре все станет на свои места.

Разговор зашел об аресте *Беранже*.

— Он получил по заслугам, — сказал Гете. — Его последние стихотворения просто разнузданны, вот и пришлось ему расплатиться за свои прегрешения перед королем, государством и мирными жителями. Прежние его песни, напротив, веселы, безобидны и словно созданы для того, чтобы их распевали в кругу счастливых людей, а это, пожалуй, лучшее, что можно сказать о песнях.

— Я уверен, что на Беранже повлияло его окружение, — заметил я, — и что он в угоду своим революционно настроенным друзьям сказал многое, от чего без них бы воздержался. Вашему превосходительству следовало бы осуществить свое намерение и написать историю влияний. Чем больше размышляешь, тем обширнее и содержательнее кажется эта тема.

— Она, пожалуй, слишком содержательна, — сказал Гете, — ибо в конце-то концов влияние — это все за исключением нас самих.

— Но ведь главное, — продолжал я, — полезно ли это влияние или, напротив, вредно, иными словами — сообразно оно с нашей природой и, следовательно, благотворно или же противно ей.

— Разумеется, — согласился Гете, — к этому все сводится. Но уберечь лучшую сторону нашей природы от записи демонов — вот что трудно.

Во время десерта Гете велел принести и поставить на

стол цветущий лавровый куст и какое-то японское растение. Я сказал, что оба растения воздействуют по-разному: лавр успокаивает душу, веселит и ласкает ее, а японский цветок, напротив, ее печалит и огрубляет.

— В общем-то вы правы, — сказал Гете, — поэтому, вероятно, и считается, что растительный мир страны влияет на душевный склад ее обитателей. И, конечно, тот, кто всю жизнь живет среди могучих, суровых дубов, становится иным человеком, чем тот, кто ежедневно прогуливается в прозрачных березовых рощах. Надо только помнить, что не все люди столь чувствительны, как мы с вами, и что они крепко стоят на ногах, не давая внешним впечатлениям возобладать над ними. Мы знаем точно, что помимо врожденных и расовых свойств характер народа складывается в прямой зависимости от почвы и Климата, от нищи и занятий. Надо также помнить, что первобытные племена в большинстве случаев селились на землях, которые нравились им, то есть где сама местность гармонировала с врожденным характером племени.

— Оглянитесь-ка, — вдруг сказал Гете, — на конторке лежит клочок бумаги, к которому я прошу вас присмотреться.

— Вы говорите об этом голубом конверте? — спросил я.

— Да, — подтвердил Гете. — Что вы скажете о почерке? Разве по нему не видно, что человек себя чувствовал царственно и вольно, надписывая адрес? Итак, чья это, по-вашему, рука?

Заинтригованный, я рассматривал конверт. Почерк размашистый, свободный.

— Так мог бы писать Мерк, — предположил я.

— Нет, — ответил Гете, — ему не доставало благородства и основательности. Это письмо от Целтера! Хорошая бумага и перо посодействовали тому, что в почерке выразилась вся его недюжинная натура. Я присоединю это письмо к моей коллекции рукописей.

*Пятница, 3 апреля 1829 г.*

За обедом у Гете главный архитектор *Кудрэ*. Он рассказывал о лестнице великогерцогского дворца в Бельведере; ее уже годами считали неудобной, но старый герцог все не решался на перестройку, которая, кстати сказать, отлично продвигается нынче, при молодом.

Еще он говорил о том, как идут работы по строитель-

ству дорог, упомянул, что новую горную дорогу в Бланкенхайн пришлось прокладывать немного в обход, поскольку уклон должен равняться двум футам на руту, хотя в некоторых местах уклон все же достигает восемнадцати дюймов на руту.

Я спросил Кудрэ, во сколько же дюймов исчисляется норма при строительстве дорог на сильно пересеченной местности.

— Десять дюймов на руту, — отвечал он, — тогда дороге можно назвать удобной.

— Однако, когда едешь из Веймара по дороге, ведущей на восток, на юг, на запад или на север, то часто встречаешь места, где уклон явно превышает десять дюймов на руту.

— Это только короткие, незначительные отрезки, — отвечал Кудрэ, — к тому же их часто нарочно оставляют такими вблизи от деревень, чтобы жители могли немножко заработать на припряжке лошадей.

Мы посмеялись над этим невинным плутовством.

— По сути дела, это, конечно, пустяки, — продолжал Кудрэ, — дорожные кареты легко берут невысокие подъемы, а ломовики любят поканителиться. Ведь пристяжных обычно берут у трактирщиков, и возницы заодно пропускают стаканчик-другой; они не поблагодарят того, кто вздумал бы испортить им удовольствие.

— Интересно, — сказал Гете, — может быть, имело бы смысл даже на равнине местами слегка поднимать дорогу или пускать ее под уклон. Спокойной езде это бы не помешало, а дороги оставались бы сухими, благодаря лучшему стоку воды.

— Надо бы попробовать, — сказал Кудрэ, — по всей вероятности, это окажется вполне осмысленным.

Засим Кудрэ вытащил какие-то бумаги — набросок инструкции для одного молодого архитектора, которого Главное управление строительства намеревалось послать в Париж. Он зачитал инструкцию, Гете ее вполне одобрил. Дело в том, что Гете выхлопотал в министерстве необходимое вспомоществование молодому человеку, теперь оба они радовались, что это удалось, и обсуждали, какие надо принять меры, чтобы деньги пошли ему на пользу и чтобы их достало на год. По возвращении предполагалось определить его учителем в учреждаемую ныне школу ремесел, что явилось бы подходящим кругом деятельности для талантливого юноши. Слушая их, я мог только радоваться.

Потом Гете и Кудрэ принялись рассматривать чертежи и образцы для плотников, сделанные *Шинкелем*. Кудрэ был ими доволен и считал, что они вполне подойдут для будущей школы.

После этого речь зашла о строениях, об излишней гулкости, о том, как ее избежать, а также о необыкновенной прочности зданий, построенных иезуитами.

— В Мессине, — сказал Гете, — все рухнуло во время землетрясения, только иезуитская церковь и монастырь стояли так, словно вчера были построены. Ни следа стихийного бедствия не было на них.

От иезуитов и богатства этого ордена разговор перешел на католиков вообще и на эмансипацию ирландцев.

— По всему видно, — заметил Кудрэ, — что эмансипация не встретит возражений, правда, парламент сумеет повернуть дело так, что Англия никоим образом не останется внакладе.

— С католиками все меры предосторожности тщетны, — сказал Гете. — У Ватикана свои интересы; каковы они, мы себе даже представить не можем, так же как не имеем понятия о средствах, к которым там втайне прибегают. Будь я членом парламента, я бы не стал возражать против эмансипации, но настоял бы на занесении в протокол следующего: когда голова первого видного протестанта упадет с плеч по требованию католика, пусть вспомнят обо мне.

После этого мы заговорили о новейшей французской литературе, и Гете вновь с восхищением отозвался о лекциях *Кузена*, *Виллемена* и *Гизо*.

— Легкую, поверхностную сущность Вольтера, — сказал Гете, — они заменили ученостью, прежде встречавшейся только у немцев. И вдобавок какой ум! Как они умеют проникнуть в предмет и выжать его без остатка, как в давяльне! Эти трое выше всяких похвал, но Гизо я отдаю предпочтение, он мне всех милее.

Затем мы заговорили о всемирной истории, и Гете высказал свое мнение о правителях.

— Чтобы снискать себе популярность, недюжинному правителю не требуется ничего, кроме собственного величия. Ежели он своими устремлениями, своим трудом достиг того, что в государстве царит благополучие и другие страны с уважением на него взирают, то неважно, ездит правитель в придворной карете при всех орденах и регалиях или в медвежьей шубе и с сигарой в зубах, на обшарпанных дрожках, — все равно он уже завоевал лю-

бовь и уважение народа. Но если правителю недостает величия души, если он своими деяниями не сумел завоевать любовь подданных, ему приходится искать других возможностей единения с ними, и тут уж ему не остается ничего, кроме религии да совместного выполнения религиозных обрядов. По воскресным дням приезжать в церковь, чтобы сверху посмотреть на прихожан и дать им полюбоваться на свою особу, — вот наилучшее средство для приобретения популярности, его можно порекомендовать любому молодому властителю, ибо даже Наполеон, при всем своем величии, таковым не гнушался.

Разговор снова вернулся к католикам, к огромному, хотя как будто и неприметному влиянию, которым пользуется их духовенство. Кстати, был вспомнут некий молодой литератор из Ганау. Недавно в издаваемой им газете он, в несколько фривольном тоне, писал о четках. Спрос на газету немедленно упал, в чем сказались влияние католических священников различных общин.

— Мой «Вертер», — сказал Гете, — был очень скоро переведен на итальянский и вышел в Милане. Но уже через несколько дней в продаже не было ни одного экземпляра. Оказалось, что в дело вмешался епископ и заставил приходское духовенство скупить все издание. Я несколько не рассердился, напротив, меня восхитила расторопность этого господина, немедленно смекнувшего, что для католиков «Вертер» книга неподходящая, и ведь сумел же сразу выбрать наиболее эффективную меру — потихоньку сжил ее со свету.

*Воскресенье, 5 апреля 1829 г.*

Гете сказал мне, что перед обедом ездил в Бельведер взглянуть на новую лестницу, которую *Кудрэ* соорудил во дворце, он нашел ее прекрасной. Потом добавил, что ему прислали большую окаменелую колоду и он хочет мне ее показать.

— Такие окаменелые стволы, — сказал он, — находят везде под пятьдесят первым градусом, до самой Америки, это как бы пояс земли. Право, не перестаешь удивляться! О прежней организации земли мы даже понятия не имеем, и я не могу поставить в вину господину *фон Буху*, что он силится распространить свою, по существу голословную гипотезу. Он ничего не знает, но никто не знает большего, а посему в конце концов безразлично, чему тебя учат, лишь бы это учение хоть выглядело разумно.

Гете передал мне поклон от *Цельтера*, что очень меня порадовало. Потом мы заговорили о его «Итальянском путешествии», и он рассказал, что в одном из своих писем из Италии нашел песню, которую ему хочется показать мне. Он попросил передать ему пачку рукописей, лежавшую возле меня на конторке. Я исполнил его просьбу, это были его письма из Италии; он порылся в них, нашел стихотворение и стал читать:

Купидо, шалый и настойчивый мальчик,  
На несколько часов просил ты приюта.  
Но сколько здесь ночей и дней задержался,  
И ныне стал самовластным хозяином в доме.

С широкой постели я согнан тобою,  
Вот на земле сижу и мучаюсь ночью,  
По прихоти своей очаг раздувая,  
Запас ты сжигаешь зимы, и я тоже сгораю.

Посуду ты всю сдвинул, все переставил;  
Ищу, а сам как будто слеп и безумен...  
Нешадно ты гремишь; душа, я боюсь,  
Умчится, мчась от тебя, и дом опустеет<sup>1</sup>.

Мне очень понравилось это стихотворение.

— Оно не ново для вас, ибо вставлено в мою «Клаудину де Вилла Белла», где его поет Ругантино. Но я его раздробил, так что сразу и не разберешься, что это такое, и никто не замечает, о чем в нем говорится. Мне оно кажется недурным! Хорошо обрисованная ситуация не расходуется с иноказанием, это своего рода анакреонтические стихи. Собственно говоря, эту песню, так же как и другие из моих опер, следовало бы поместить в разделе «Стихи», чтобы композиторам проще было выбирать.

Мне эта мысль показалась весьма разумной, и я взял ее себе на заметку — для будущего.

Гете прекрасно прочитал упомянутое стихотворение. У меня оно долго не шло из головы, да и он, по-видимому, не в силах был от него отвязаться. Последние строки:

Нешадно ты гремишь; душа, я боюсь,  
Умчится, мчась от тебя, и дом опустеет, —

он несколько раз повторил, как в полусне.

Затем он стал рассказывать мне о только что вышедшей книге о *Наполеоне*, написанной человеком, знавшим императора с юных лет; в ней имелись удивительнейшие открытия.

---

<sup>1</sup> Перевод С. Шервинского.

— Книга эта написана на редкость трезво, без каких-либо восторгов, но из нее мы можем заключить, сколь величественный характер носит истина, если кто-нибудь отваживается высказать ее.

И еще он рассказал мне о трагедии, созданной одним молодым поэтом.

— Это патологическое порождение, — пояснил он, — одни части у него чрезмерно изобилуют соками, другие, которым эти соки необходимы, начисто лишены таковых. Сюжет был хорош, даже очень хорош, но сцен, ожидаемых мною, не было, те же, о которых я и не помышлял, были разработаны с любовью и тщанием. Я думаю, что это патология, или, как теперь говорят, романтика, — как вам больше понравится.

Мы еще некоторое время провели в оживленной беседе, под конец Гете угостил меня медом и финиками, но фиников я есть не стал и взял их с собой.

*Понедельник, 6 апреля 1829 г.*

Гете дал мне письмо Эгона Эберта, которое я прочитал за обедом, и, надо сказать, с превеликим удовольствием. Мы с большой похвалой отзывались об Эгоне Эберте, о Богемии и также с любовью вспоминали профессора *Цаупера*.

— Богемия своеобразная страна, — сказал Гете, — я всегда любил туда ездить. Их образованные литераторы еще сохранили какую-то чистоту, что в северной Германии уже стало редкостью: здесь ведь за перо берется каждый босяк, у которого нет никаких нравственных устоев, не говоря уж о высоких намерениях.

Далее Гете упомянул о последнем эпическом стихотворении Эгона Эберта, в котором говорилось о некогда существовавшем в Богемии матриархате и о том, каким образом возникло сказание об амазонках.

Так разговор перешел на эпос другого поэта, который не жалел никаких усилий, добиваясь благоприятных отзывов прессы.

— И правда, — сказал Гете, — такие отзывы кое-где появились. Но тут вдруг слово взяла «Галльская литературная газета» и напрямки высказалась касательно этого стихотворения, тем самым зачеркнув все славословия других. Того, кто правдами или неправдами хочет пробиться в первый ряд, нынче живо хватают за руку. Сейчас не время дурачить публику или сбивать ее с толку.

— Меня удивляет, — заметил я, — что люди в погоне хоть за каким-то именем не брезгают даже недозволенными средствами.

— Дорогой мой, — отвечал Гете, — имя — это не безделица. *Наполеон* разнес на куски полмира, чтобы прославить свое имя!

Мы немного помолчали, затем Гете стал дальше рассказывать мне из новой книги о Наполеоне.

— Могущество истины огромно, — начал он. — Весь ореол, все иллюзии, которыми журналисты, историки и поэты окружили Наполеона, обращает в ничто страшная реальность новой книги. Но личность его от этого не становится мельче, напротив, она растет, по мере того как становится правдивее.

— Видимо, была в этом человеке необоримая колдовская сила, если люди беспрекословно шли за ним, хранили ему верность и подчинялись его водительству, — заметил я.

— Так или иначе, — сказал Гете, — он был необыкновенным человеком. Но главное, что люди были убеждены — под его властью они достигнут своих целей. Поэтому они и шли за ним, как пошли бы за всяким, кто сумел бы внушить им такую уверенность. Ведь и актеры слепо повинуются новому режиссеру, веря, что он хорошо работает с ними роли. Это старая сказка, но она повторяется вечно: так уж устроена человеческая природа. Никто по доброй воле не служит другому, но, уразумев, что тем самым служит себе, он уже рад стараться. Наполеон превосходно знал людей и умел обернуть в свою пользу их слабости.

Разговор перешел на *Цельтера*.

— Вы, наверно, слышали, — сказал Гете, — что Цельтер награжден прусским орденом. Но герба у него не было, потомства же было предостаточно, а следовательно, и надежд на длительное существование рода — тоже. Герб был ему необходим. Так как же не увенчать этот род почетным гербом? Вот мне и пришла на ум забавная мысль — создать этот герб. Я написал ему, он выразил свое согласие: но пожелал во что бы то ни стало иметь на гербе коня. Ладно, сказал я, будет тебе конь, да еще с крыльями. Посмотрите, сзади вас лежит листок бумаги, на нем я набросал эскиз герба.

Я взял листок и стал рассматривать рисунок. Вид у герба был внушительный, изобретательность его автора заслуживала всяческих похвал. На нижнем поле были

изображены зубцы городской стены, напоминая, что Цельтер в свое время был искусным каменщиком. Над стеной вздыбился крылатый конь, мчащийся в высокие сферы, что символизировало гений Цельтера и его стремление ввысь. Вверху на гербе была водружена лира, а над нею светила звезда — символ того искусства, в котором любимый друг Гете, под защитой и влиянием благоприятствующих созвездий, стяжал себе славу. Внизу, под гербом, висел орден, дарованный ему королем в знак достойного признания недюжинных его заслуг.

— Гравировать его я поручил *Фациусу*, — сказал Гете, — мне хочется показать вам оттиск. Ведь правда, это хорошо, если друг рисует герб для друга и как бы, в свою очередь, дарует ему дворянство?

Мы оба потешились этой мыслью, и Гете послал слугу к Фациусу за оттиском.

Затем мы еще довольно долго просидели за столом и со вкусными бисквитами выпили по несколько стаканчиков старого рейнвейна. Мне вспомнилось вчерашнее стихотворение, и я прочитал:

Посуду всю ты сдвинул, все переставил,  
Ищу, а сам как будто слеп и безумен...

— Не идет у меня из головы это стихотворение, — сказал я, — оно так необычно и так прекрасно дан в нем беспорядок, который вносит в нашу жизнь любовь.

— Оно воскрешает перед нашими глазами довольно мрачные житейские обстоятельства, — отвечал Гете.

— На меня оно производит впечатление картины, — продолжал я, — картины нидерландской школы.

— Да, в нем есть что-то от «*Good man and good wife*», — согласился Гете.

— Вы предвосхитили то, что я собирался сказать, все время я неотвязно думал о шотландских мотивах, и картина *Остаде* стояла у меня перед глазами.

— Удивительно то, — сказал Гете, — что оба эти стихотворения не поддаются кисти живописца; пусть они представляются нам картинами, пусть проникнуты тем же настроением, но на полотне они превратились бы в ничто.

— Это превосходные примеры, — сказал я, — того, что поэзия и живопись могут сближаться как угодно, но не выходя из собственной своей сферы. Мне такие стихотворения всего дороже, ибо в них сливаются зрительное восприятие и чувство. Но как вам удалось ощутить это

слияние, я понимаю с трудом, ведь стихотворение всеми своими корнями как бы уходит в другую эпоху, в другой мир.

— Второй раз я бы этого сделать не сумел, — сказал Гете, — и даже не сумел бы сказать, как я к этому пришел, что, впрочем, часто случается.

— И еще одна особенность есть у этого стихотворения, — продолжал я, — мне все время кажется, что оно зарифмовано, а ведь это не так.

— Тут все дело в ритме, — отвечал Гете. — Строка начинается с фортакта, безударного слога, далее идут хорей, под конец же появляется дактиль; функция его здесь достаточно своеобразна, и он придает целому жалобно-сумрачный характер. — Гете взял карандаш и начертил следующее:

С ши | рокой-| постели | я согнан | тобою.

Мы заговорили о ритме вообще и оба согласились, что думать о нем невозможно.

— Размер, — сказал Гете, — бессознательно определяется поэтическим настроением. Если начать думать о нем, когда пишешь стихотворение, то можно рехнуться и уж, во всяком случае, ничего путного создать нельзя.

Я дожидался оттиска герба. Гете опять заговорил о Гизо.

— Я все читаю его лекции, и, право же, они превосходны. Лекции нынешнего года доходят до восьмого века нашей эры. Такой глубины взгляда, такой прозорливости я ни у одного другого историка не знаю. Многие из того, о чем мы никогда и не думали, в его глазах приобретает первостепенное значение, становясь источником важнейших событий. Он, например, ясно показывает и доказывает, как влияло на историю преобладание тех или иных религиозных убеждений, как понятия первородного греха, благодати и добрых дел формировали характер тех или иных эпох. Не менее убедительно трактует он и римское право, что, подобно нырку, то скрывается под водой, то живехоньким всплывает на поверхность, причем не забывает воздать должное и нашему почтенному *Савиньи*.

Но особенно меня заинтересовало то, что Гизо сказал о немцах в разделе, где говорится о влияниях, которые в давние времена оказывали на галлов другие национальности.

«Германцы, — утверждает он, — познакомили нас с идеей личной свободы, которая была им присуща больше,

чем какому-либо другому народу». По-моему, это приятно слышать, не говоря уже о том, что Гизо абсолютно прав, — ведь эта идея и поныне жива в нас. Реформация и вартбургский заговор студентов, то есть великое и дурацкое, произошли из одного и того же источника. Отсюда же разнородность нашей литературы, погоня поэтов за оригинальностью, странная уверенность, что каждому надлежит проложить новый путь, равно как и разъединенность, изолированность наших ученых, когда каждый исходит из собственных домыслов и работает по собственному усмотрению. Французы и англичане — те держатся ближе друг к другу и больше друг с другом считаются. У них даже в одежде и в манерах есть что-то общее. Они избегают внешнего различия, то ли не желая бросаться в глаза, то ли боясь выглядеть смешными. Немцы же разгуливают, как им вздумается, и каждый хочет угодить только самому себе, другие его не интересуют, ибо в нем, по справедливому замечанию Гизо, живет идея личной свободы, а из этой идеи, как я уже сказал, проистекает много хорошего, но столько же и абсурдного.

*Вторник, 7 апреля 1829 г.*

Когда я вошел, Гете уже сидел за столом с надворным советником *Мейером*. Мейер прихварывал в последнее время, и я обрадовался, что он опять в добром здравии. Они говорили об искусстве и, к слову, упомянули *Пиля*, который купил *Клода Лоррена* за четыре тысячи фунтов стерлингов, чем снискал себе особое благоволение Мейера. Слуга принес газеты, и в ожидании супа мы поделили их между собой.

Вскоре, однако, все разом заговорили об эмансипации ирландцев.

— Есть здесь нечто для нас весьма поучительное, — заметил Гете, — благодаря этой истории всплыло множество фактов, о которых никто не подозревал и никто никогда бы не заговорил. Тем не менее нам трудно разобраться в ирландских событиях, очень уж там все запутано. Ясно одно: против бед, терзающих эту страну, лекарства не существует, а значит, и эмансипация тут не поможет. Если раньше злом было то, что Ирландия в одиночестве несла свои тяготы, то нынче зло, что сюда припуталась еще и Англия. В этом все дело. А католикам совсем нельзя верить. Мы знаем, в сколь плачевном по-

ложении находились в Ирландии два миллиона протестантов, угнетаемых пятью миллионами католиков, знаем, какие притеснения, издевательства и муки терпели они от своих соседей-католиков. Католики вечно враждуют между собой, но оказываются сплоченными, когда дело доходит до травли протестанта. Они точно свора собак — грызутся, покуда не завидят оленя, а тогда уж, забыв о грызне, дружно устремляются за ним.

С Ирландии разговор перескочил на Турцию и на удивительное обстоятельство: почему в прошлом году застопорилось продвижение русских, несмотря на их очевидное численное превосходство?

— Дело в том, — сказал Гете, — что русские не располагали достаточными ресурсами, а потому предъявляли непомерные требования к отдельным лицам. Так было совершенно множество подвигов, многие не задумываясь жертвовали собой, но на ход кампании все это повлиять не могло.

— К тому же это какое-то проклятое место, — сказал Мейер. — С давних времен там завязывались битвы, когда неприятель пытался с берегов Дуная проникнуть на север, в горы, где он неизменно наталкивался на ожесточенное сопротивление и почти никогда не мог прорваться вперед. Если бы только русские сумели удержать приморскую полосу, откуда к ним будет поступать провиант!

— Будем надеяться, — сказал Гете и продолжал: — Я сейчас читаю о походе *Наполеона* в Египет; кстати сказать, то, что говорит об этом неотлучный спутник героя, *Бурьени*, — и от его слов исчезает видимость авантюры и факты предстают перед нами во всей своей неприкрытой и возвышенной правде. Мы понимаем, что Наполеон принял этот поход только затем, чтобы заполнить время, когда во Франции он ничего не мог сделать для достижения всей полноты власти. Поначалу, не зная, что предпринять, он посетил все французские гавани на атлантическом побережье и обревизовал состояние кораблей, желая убедиться, возможен или невозможен поход на Англию. Придя к заключению, что таковой нежелателен, он решил двинуть войска в Египет.

— Меня поражает, — сказал я, — как Наполеон, будучи еще очень молодым, решал вопросы мирового масштаба с такой легкостью и уверенностью, словно за плечами у него был многолетний опыт.

— Дитя мое, — сказал Гете, — таково свойство гения. *Наполеон* обходился с миром, как *Хуммель* со своим роя-

лем. И то и другое для нас одинаково непостижимо, однако это так, и чудо сотворяется на наших глазах. Величие Наполеона заключалось еще и в том, что всегда и везде он оставался *таким*, как был. *Перед боем, во время боя, после победы и после поражения* он был одинаков, твердо стоял на ногах, непоколебимо уверенный и знающий, что теперь следует делать. Он всегда был в своей стихии; такого, что могло бы поставить его в тупик, попросту не существовало; так вот и Хуммелю все равно, играть адажио или аллегро, в басовом или в скрипичном ключе. Это та легкость, которая неизменно сопутствует подлинному таланту, как в мирном искусстве, так и в войне, в фортепьянной игре или в расстановке орудий.

— Из этой книги становится ясно, — продолжал Гете, — сколько небылиц мы наслушались о Египетском походе. Кое-что она, конечно, подтверждает, но многое, как видно, было чистой выдумкой, а многое происходило совсем иначе.

То, что он приказал расстрелять восемьсот пленных турков, сушая правда, но таково было продуманное решение военного совета, когда, тщательно взвесив различные обстоятельства, все пришли к единодушному выводу, что спасти их невозможно.

А вот то, что он спускался в пирамиды, — миф. Он спокойно стоял на свежем воздухе и слушал рассказы тех, кто побывал в подземельях. И почти такой же миф, что он будто бы носил восточный костюм. Только раз, дома, он появился в этом маскарадном наряде среди своих приближенных, желая посмотреть, как он выглядит в нем. Но тюрбан оказался ему не к лицу, как и всем людям с удлиненной формой головы, и больше уже он никогда его не надевал.

Больных чумой он и вправду посещал, дабы явить другим пример, что болезнь можно преодолеть, преодолев страх перед нею. И это действительно так! Я могу рассказать вам факт из собственной моей жизни, когда я неминуемо должен был заразиться болотной лихорадкой и только решительным усилием воли отогнал от себя болезнь. Трудно даже представить себе, чего можно в подобных случаях достигнуть целенаправленной волей! Воля, как бы проникнув все твоё тело, понуждает его к активности, отметающей всякое вредоносное воздействие. Страх же, напротив, приводит человека к слабости, к излишней восприимчивости и помогает врагу расправляться с нами. Наполеон знал это слишком хорошо и был уве-

рен, что ничем не рискует, подавая своей армии столь внушительный пример.

— Тем не менее, — весело и шутливо продолжал Гете, — прошу с уважением отнестись к тому, что я скажу! В походной библиотеке Наполеона имелась книжка, а ну отгадайте какая? *Мой «Вертер»!*

— Если судить по его lever (утреннему выходу) в Эрфурте, то он, видимо, основательно его изучил, — заметил я.

— Он его изучал, как судья изучает уголовное «дело», — сказал Гете, — и, собственно, в таком смысле и говорил со мной о нем.

К труду господина Бурьенна приложен список книг, которые Наполеон возил с собою в Египет, среди них числится и «Вертер». Наиболее примечательное в этом списке — классификация. Под рубрикой «Politique»<sup>1</sup>, например, мы обнаруживаем: «Le vieux testament», «Le nouveau testament», «Le coran»;<sup>2</sup> таким образом, сразу становится понятно, с какой точки зрения Наполеон рассматривал религиозные вопросы.

Гете рассказал нам еще немало интересного о книге, которая сейчас так занимала его. Между прочим, вспомнил следующий эпизод: Наполеон со своей армией стал во время отлива посуху переходить южный залив Красного моря, но тут начался прилив, так что замыкающие отряды тащились уже по грудь в воде, и дерзостная эта затея едва не кончилась для него фараоновой гибелью. Гете, кстати, рассказал нам немало нового о происхождении приливов, сравнил их с облаками, которые не приходят издалека, но разом образуются повсюду и начинают равномерно двигаться вперед.

*Среда, 8 апреля 1829 г.*

Гете уже сидел за накрытым столом, когда я вошел, и весело меня приветствовал.

— Я сегодня получил письмо, — сказал он, — и знаете откуда? *Из Рима!* А от кого, спрашивается? *От короля Баварского!*

— Я радуюсь вместе с вами, — сказал я, — но не странно ли, что какой-нибудь час назад во время прогулки я неотвязно думал о короле Баварском, а сейчас вы встречаете меня этим приятным сообщением.

<sup>1</sup> Политика (фр.).

<sup>2</sup> Ветхий завет, Новый завет, Коран (фр.).

— Предчувствия часто внезапно зарождаются в нас, — сказал Гете. — Вон лежит это письмо, возьмите его, сядьте ко мне поближе и прочтите.

Гете взял газету, я — письмо и принялся в полном спокойствии читать королевские слова. На письме, написанном крупным и четким почерком, стояла дата: «Рим, 26 марта 1829 года». Король уведомлял Гете о том, что приобрел в Риме земельное владенье, а именно — *виллу ди Мальта* с прилегающими к ней садами, неподалеку от *виллы Людовизи*, на северо-западном краю города, расположенную высоко на холме, откуда он может обозревать весь Рим, а с северо-восточной стороны ему открывается широкий вид на собор св. Петра. «Вид этот, — пишет он, — привлекает сюда людей из дальних стран, я же в любую минуту могу любоваться им из окон своего дома». Далее он говорит, что, так удачно обосновавшись в Риме, поистине чувствует себя счастливым. «Я двенадцать лет не видел Рима, — пишет король, — и тосковал по нему, как тоскуют по любимой; отныне я буду возвращаться к нему со спокойной радостью, словно к дорогой и доброй подруге». О римских сокровищах искусства и прекрасных строениях он говорит с воодушевлением знатока, сердцу которого дорого все подлинно прекрасное и который болезненно ощущает любое отклонение от нашего вкуса. Это было удивительное письмо, изящное и насквозь проникнутое глубоко человеческими чувствами, трудно было даже представить себе, что оно написано августейшей особой. Я поделился с Гете своими соображениями.

— Здесь перед вами монарх, — сказал он, — которому удалось наряду с королевским величием сохранить все свои прекрасные человеческие свойства. Это явление редкое и поему тем более отрадное.

Я снова заглянул в письмо и обнаружил еще несколько примечательных мест.

«Здесь, в Риме, — писал король, — я отдыхаю от забот и обязанностей монарха. Искусство, природа — вот мои ежедневные радости, люди искусства — постоянные мои сотрапезники». И еще он пишет, что часто проходит мимо дома, где некогда жил Гете, и всякий раз думает о нем. В письме были приведены и строки из «Римских элегий», по коим можно было судить, что король хорошо их помнит и в Риме, так сказать, на родине элегий, нет-нет и перечитывает их.

— Да, — сказал Гете, — элегии ему дороже всего, что

я написал, он и здесь немало меня помучил — вынь да положь, скажи ему, что было в действительности, а чего не было; в стихах, мол, все выглядит не только прелестно, но и правдоподобно. Ведь мало кому приходит на ум, что иной раз сущий пустяк побуждает поэта создать прекрасное стихотворение.

— Очень жаль, — продолжал Гете, — что у меня нет сейчас стихов самого короля, я бы сказал о них несколько слов в ответном письме. Судя по тому немногому, что мне довелось читать, стихи у него неплохие. В форме и манере письма он заметно подражает Шиллеру, и ежели такой великолепный сосуд он еще сумеет наполнить высоким духом, то мы вправе ждать чего-то весьма достойного.

Между прочим, я очень рад, что король так удачно приобрел недвижимость в Риме. Я знаю эту виллу; местоположение *прекрасное*, к тому же поблизости живут все немецкие художники.

Слуге, который переменял тарелки, Гете велел растелить на полу в комнате с плафоном большой гравированный план Рима.

— Я хочу, чтобы вы воочию убедились, в каком прекрасном месте стоит вилла, купленная королем.

Я был тронут этим его желанием.

— Вчера вечером я с истинным наслаждением читал *«Клаудину де Вилла Белла»*, — сказал я. — Она так основательно построена и при этом столько в ней смелости, свободы и дерзкого задора, что я ощутил живейшее желание увидеть ее на театре.

— Если ее хорошо сыграть, — отвечал Гете, — она и смотреться будет неплохо.

— Я мысленно даже распределил роли, — заметил я. — Господин *Генаст* должен был бы играть Ругантино, он словно создан для этой роли. Господин *Франке* — дон Педро, он почти одного роста с Генастом, что очень хорошо, — два брата и должны походить друг на друга. Господин *Ларош* своим искусством и умением гримироваться сумел бы придать роли Баско тот оттенок необузданности, в котором она нуждается.

— Госпожа *Эбервейн*, — подхватил Гете, — думается мне, была бы превосходной Люциндой, а мадемуазель *Шмидт* вполне справилась бы с Клодиной.

— Для Алонзо, — продолжал я, — нам нужен представительный мужчина, причем скорее хороший актер, чем певец; мне кажется, тут очень подошли бы господин

Эльс или господин *Графф*. А кто, собственно, написал музыку к этой опере и какова эта музыка?

— *Рейхардт*, — отвечал Гете, — и музыку, надо сказать, превосходную, вот только инструментовка, сделанная по понятиям прежнего времени, пожалуй, несколько слабовата. Ее следовало бы немного подновить, сделать посильнее и поплотнее. Наша песенка «*Купидо, шалый и настойчивый мальчик*» на диво удалась композитору.

— Свообразие этой песенки, — сказал я, — состоит еще и в том, что, когда ее читаешь вслух, она повергает тебя в отраднo-мечтательное настроение.

— Она из такого настроения возникла, — отвечал Гете, — вот почему это происходит.

Мы кончили обедать. Фридрих доложил, что план Рима приготовлен в комнате с плафоном. Мы пошли взглянуть на него.

Вся картина Вечного города расстилалась перед нами. Гете быстро нашел виллу Людовизи и поблизости от нее недавно приобретенную королем виллу ди Мальта.

— Смотрите, как она расположена! Весь Рим простирается перед нею, холм так высок, что рано утром и в полдень виден любой уголок города. Я бывал в этой вилле и наслаждался видом из ее окон. Здесь вот, где город узким концом выходит к Тибру, высится собор святого Петра, а рядом — Ватикан. Вы теперь своими глазами можете убедиться, что король из окон своей виллы видит за рекой эти величественные здания. Вон та длинная дорога, с севера ведущая в город, начинается в Германии. А вот и *Porta del Popolo*, я жил на одной из этих улиц, возле ворот, в угловом доме. В Риме теперь показывают другой дом, где я будто бы жил, но это не тот. Впрочем, большой беды тут нет, — раз уж сложилась легенда, не стоит ее опровергать.

Мы вернулись в маленькую столовую.

— Канцлера обрадует письмо короля, — сказал я.

— Да, — согласился Гете, — я его немедленно ему покажу. Когда я читаю в парижских газетах о прениях в палатах депутатов, — продолжал Гете, — я всегда думаю о *канцлере*, вот где он был бы в своей стихии и на своем месте. Ведь для того, чтобы быть членом палаты, мало быть умным человеком, надо иметь еще потребность и охоту *говорить*, в нашем канцлере соединились все эти качества. Даже *Наполеон* испытывал потребность говорить, а когда ему не представлялось этой возможности, писал или диктовал. Да и Блюхер утверждает, что он лю-

бит говорить, говорить хорошо и убедительно; этот свой талант он развивал в ложе. Говорить любил и наш *великий герцог*, хотя от природы был немногословен, и если не говорил, то писал. Его перу принадлежат многие статьи и многие законы, в большинстве написанные отменно, остается только пожалеть, что государю вечно недостает досуга на то, чтобы приобрести необходимые знания в разных отраслях. К примеру: под конец жизни он еще успел распорядиться, как должно оплачивать реставрацию картин. Получилась история довольно запутанная. Вполне естественно, что государь, вычисляя издержки по реставрационным работам, исходил только из размера произведения и оплату установил с квадратного фута. Если величина картины *двенадцать футов*, то художнику-реставратору уплачивается *двенадцать* талеров, если *четыре*, то *четыре* талера. Установление царственное, но чуждое понятию искусства, ибо иной раз на реставрацию картины размером в двенадцать футов может понадобиться всего один день, на другую же, в четыре фута, уйдет целая неделя, а то и больше усердного и неустанного труда. Однако государи, будучи заодно еще и военачальниками, любят ко всему подходить с непреложной математической точностью.

Меня очень позабавил этот рассказ. Потом мы еще обменялись несколькими словами: об искусстве, о том, о сем.

— У меня имеются рисунки по картинам *Рафаэля* и *Доминикино*, — сказал Гете, — сейчас я вам скажу, сколь оригинальное суждение высказал о них *Мейер*. В этих рисунках, — заметил он, — есть что-то неумелое, но по ним видно: тот, кто их делал, с благоговейной любовью относился к картинам, которые копировал, и это чувство сообщило его рисункам, потому-то они и вызывают в нас безусловно верное представление об оригинале. Если бы копировщиком был современный художник, все было бы нарисовано лучше, пожалуй, даже правильнее, но можно с уверенностью сказать, что оригинал не был бы воссоздан столь прочувствованно, а значит, эти лучшие рисунки ни в коей мере не дали бы нам такого чистого и полного понятия о Рафаэле и Доминикино. Не правда ли, очень интересное замечание? — добавил Гете. — Подобный случай может быть характерным и для перевода. *Фосс*, например, отлично перевел Гомера, но вполне возможно, что кто-то другой воспринял бы оригинал наивнее, правдивее и потому лучше воссоздал бы его для нас,

в общем-то не будучи столь искусным переводчиком, как Фосс.

Все сказанное им представилось мне весьма разумным и справедливым. Так как погода сегодня была хорошая и солнце стояло еще высоко, то мы спустились в сад, где Гете прежде всего велел подвязать некоторые ветви, низко свесившиеся на дорожки.

Желтые крокусы были в полном цвету. Мы смотрели то на них, то на дорожку, где тень их имела глубокий фиолетовый цвет.

— Вы недавно заметили, — сказал Гете, — что зеленое и красное лучше взаимодействуют, чем желтое и синее, то есть зеленый скорее вызывает перед нашим глазом красный и обратно, оттого, что эти первые два цвета полнее, насыщеннее, а значит, и действеннее, чем два вторые. Я с вами не согласен. Любой цвет, отчетливо явившийся нашему глазу, с одинаковой силой способствует возникновению затребованного цвета, все зависит от того, на что настроен наш глаз, не мешает ли ему слишком яркий солнечный свет, и, наконец, от того, насколько почва благоприятствует видению затребованного цвета. Здесь все время надо остерегаться не в меру тонких различий и определений, так как в противном случае нам грозит опасность смешать существенное с несущественным, истинное с ошибочным и запутаться в сетях мнимой простоты.

Я постарался запомнить эти слова и принять их к руководству в моих занятиях теорией цвета. Меж тем подошло время начала спектакля, и я поднялся, чтобы идти в театр.

— Постарайтесь только храбро снести ужасы *«Тридцати лет из жизни игрока»*, — смеясь, сказал Гете, отпуская меня.

*Пятница, 10 апреля 1829 г.*

— Покуда мы дожидаемся супа, — сказал Гете, — я хочу потешить ваш глаз. — С этими дружелюбными словами он положил передо мною альбом ландшафтов *Клода Лоррена*.

Я впервые видел работы этого великого художника. Они до глубины души потрясли меня, причем мое изумление и восторг возрастали по мере того, как я перевертывал лист за листом. Там и здесь мощно затененные места, не менее мощный солнечный свет, заливающий воз-

дух на заднем плане и отражающийся в воде, отчего создавалось впечатление удивительной ясности и четкости. Я воспринял это как настойчиво повторяющийся художественный прием большого мастера. С не менее радостным удивлением я отметил, что каждая картина являла собою замкнутый маленький мирок, в котором не было ничего, что не соответствовало бы настроению, в нем царившему, и не усиливало бы таковое, все равно будь то гавань, где недвижно стоят суда, хлопчут рыбаки и у самой воды высятся величественные здания, или одинокая холмистая местность с козами, пасущимися среди скудной растительности, — несколько кустиков да одно раскидистое дерево, под которым пастух играет на свирели подле ручейка с переброшенным через него мостиком, — или топкая низина со стоячей водой, которая в летний зной вызывает ощущение приятной прохлады — все его картины были поразительно целостны, ни следа чего-либо постороннего, не слитого с этой стихией.

— Здесь перед вами совершенный человек, — сказал Гете, — он умел не только мыслить, но и воспринимать прекрасное, в душе же его всякий раз рождался мир, редко встречающийся в действительной жизни. Его картины проникнуты высшей правдой, но правдоподобия в них нет. Клод Лоррен до мельчайших подробностей изучил и знал реальный мир, однако это знание было для него лишь средством выражения прекрасного мира своей души. Подлинно идеальное и состоит в умении так использовать реальные средства, чтобы сотворенная художником правда создавала иллюзию *действительно* существующего.

— Мне думается, что это меткое замечание, — сказал я, — относится к поэзии в не меньшей мере, чем к изобразительному искусству.

— Я тоже так полагаю, — ответил Гете. — Впрочем, продолжить наслаждение блистательным Клодом вам лучше было бы после десерта, — право же, его картины слишком хороши, чтобы торопливо просматривать их одну за другой.

— Да, это будет лучше, — согласился я, — меня даже в дрожь бросает, перед тем как перевернуть лист. Своего рода страх, который я испытываю перед этой красотой, напоминает то, что происходит с нами при чтении прекрасной книги, когда отдельные, особо волнующие места принуждают нас останавливаться и потом лишь с трепетом душевным продолжать чтение.

— Я написал ответное письмо *королю Баварскому*, — сказал Гете после небольшой паузы, — надо, чтобы вы его прочитали.

— Для меня это будет весьма интересно и поучительно, — отвечала.

— Да, кстати, — сказал Гете, — здесь в «Альгеймайнер цайтунг» напечатано стихотворение к королю, мне его вчера прочитал канцлер, посмотрите-ка и вы его.

Гете передал мне газету, и я про себя прочитал упомянутое стихотворение.

— Ну, что вы о нем скажете? — осведомился Гете.

— Это эмоции дилетанта, — отвечал я, — у него больше доброй воли, чем таланта. Звуки и рифмы ему представлял язык высоко развитой литературы, он же воображает, что говорит сам.

— Вы совершенно правы, — отозвался Гете, — я тоже считаю, что это слабое стихотворение. В нем нет и признака видения внешнего мира, оно чисто умственное, да и то не в лучшем смысле этого слова.

— Чтобы создать стихотворение, — сказал я, — необходимо, как известно, хорошо знать то, о чем в нем говорится, если же в распоряжении поэта не стоит целый мир, как у Клода Лоррена, к примеру, то он даже при самых идеальных намерениях вряд ли сумеет порадовать своего читателя.

— Примечательно, — сказал Гете, — что лишь врожденный талант доподлинно знает, в чем тут дело, остальные же в большей или меньшей степени блуждают в потемках.

— Это в первую очередь доказывают эстетики, — заметил я, — почти никто из них не знает, чему же, собственно, надо учить, и они лишь повергают в смятение молодых поэтов. Вместо того чтобы толковать о реальном, они толкуют об идеальном, и вместо того чтобы указывать молодому человеку на то, чего ему недостает, они сбивают его с толку. Если молодой поэт от природы одарен толикой остроумия и чувства юмора, он, конечно же, проявит эти свойства, даже не подозревая о том, что они ему присущи, но если ему вскружат голову статьями, восхваляющими столь высокие достоинства, он уже не сможет в простоте душевной применить их, сознание своей избранности немедленно парализует его силы, и, вопреки упованиям критиков, он больше уже не движется вперед, но, увы, топчется на месте.

— Вы совершенно правы, но на эту тему можно гово-

рять без конца, — заметил Гете. — Между прочим, я на днях прочитал новый эпос *Эгона Эберта*, — продолжал он, — и вы должны последовать моему примеру, — может быть, мы сумеем отсюда немного помочь ему. У него, право, очень приятный талант, но этой новой поэме недостает подлинно поэтической основы, то есть реальности. Ландшафты, восход и заход солнца, весь внешний мир, ему близкий и понятный, очень хороши, лучше и не сделаешь. Но остальное, все, что отодвинуто в глубь веков и относится к сказанию, лишено необходимой правдивости, пет здесь и настоящего ядра. Амазонки, их жизнь и поступки изображены общо и не оригинально, в духе, который молодым людям представляется поэтическим и романтическим, за каковой, впрочем, и сходит в мире эстетики.

— Это заблуждение характерно для всей теперешней литературы, — сказал я. — Правда многих отпугивает своей мнимой непоэтичностью, потому-то они и впадают в общие места.

— Эгону Эберту следовало бы держаться исторического предания, в таком случае из его поэмы вышел бы какой-нибудь толк. Я вспоминаю, как *Шиллер* изучал предания, как бился, стараясь получше представить себе Швейцарию, когда писал своего «Телля», или *Шекспир*, который заимствовал из хроник целые куски и дословно использовал их в своих пьесах, — вот у них-то и следовало бы поучиться молодым поэтам. У меня в «*Клавиво*» имеются места, целиком взятые из мемуаров Бомарше.

— Но они так переработаны, — сказал я, — что этого не замечаешь, заимствованный материал полностью слился с вашим текстом.

— Если это так, то хорошо, — ответил Гете.

Засим он рассказал мне кое-что о *Бомарше*:

— Это великий чудак, вам непременно надо почитать его мемуары. — Судебные процессы были его стихией, тут он чувствовал себя как рыба в воде. Сохранились еще его речи и опротестования, которые можно назвать самым диковинным, самым талантливым и смелым из всего, что когда-либо говорилось в судебном зале. Но этот знаменитый процесс Бомарше как раз и проиграл. Когда он спустился по лестнице в здании суда, ему встретился поднимающийся по ней канцлер. Бомарше обязан был пропустить его, но не пожелал этого сделать, соглашаясь лишь на то, чтобы оба они слегка посторонились. Канцлер, оскорбленный в своем достоинстве, приказал сопровож-

давшей его свите насильно отодвинуть Бомарше, что и было сделано. Последний тотчас же снова направился в зал суда и возбудил дело против канцлера, которое, кстати сказать, выиграл.

Я посмеялся над этой анекдотической историей, и за столом мы продолжали весело беседовать о том, о сем.

— Я опять взялся за свое *«Второе пребывание в Риме»*, — сказал Гете, — чтобы наконец с ним разделаться и иметь право думать о чем-то другом. Как вы знаете, свое напечатанное *«Итальянское путешествие»*, я целиком составил из писем. Но письма, которые я писал во время второго пребывания в Риме, такому использованию не поддаются. В них слишком много говорится о домашних делах, о разных веймарских взаимоотношениях и мало о моей жизни в Италии. В них, правда, имеются некоторые высказывания, отражающие мое тогдашнее *внутреннее* состояние. Вот у меня и созрел план извлечь эти места, по порядку переписать их и затем вставить в рассказ, коему они сообщат должный тон и настроение.

Мне эта мысль показалась превосходной, и я постарался поддержать Гете в его намерении.

— Везде и во все времена люди твердили, — продолжал Гете, — что прежде всего надо познать самого себя. Странное требование! До сих пор никому еще не удалось выполнить его, и вдобавок неизвестно, надо ли его выполнять. Помыслы и мечты человека всегда устремлены к внешнему миру, миру, его окружающему, и заботиться ему надо о познании этого мира, о том, чтобы поставить его себе на службу, поскольку это нужно для его целей. Себя же он познаёт, лишь когда страдает или радуется, и, следовательно, лишь через страдания и радость уясняет себе, что ему должно искать и чего опасаться. Вообще же человек создание темное, он не знает, откуда происходит и куда идет, мало знает о мире и еще меньше о себе самом. Я тоже не знаю себя, и да избавит господь меня от этого знания. Но хотел-то я сказать другое, а именно, что в Италии, на сороковом году жизни, у меня достало ума попятить себя и убедиться, что у меня нет настоящих способностей к изобразительному искусству и это мое влечение ошибочно. Когда я начинал рисовать, мне не хватало ощущения телесности. Мне мерещилось, что предметы одолевают меня, и я спешил отдать предпочтение менее определенному, умеренному. Начав писать пейзаж и от слабо намеченных далей переходя через средний план к переднему, я боялся придать ему надле-

жащую силу, а посему мои картины не производили хорошего впечатления. Вдобавок без упражнений я не продвигался вперед, мне всякий раз приходилось начинать сначала, если я пропустил какое-то время. Впрочем, вовсе бесталанным я не был, особенно в ландшафтной живописи, и *Хаккерт* частенько говорил мне: если вы на полтора года останетесь у меня, то сумеете кое-что сделать, на радость себе и другим.

Я слушал его с живейшим интересом и потом спросил:

— А как можно определить, что тот или иной одарен недюжинными способностями к изобразительному искусству?

— Человек подлинно талантливый, — отвечал Гете, — от природы обладает чувством формы, пропорций, цвета, так что, проработав немного под руководством опытного мастера, быстро начинает все делать правильно. Прежде всего ему не изменяет чувство телесности и умение делать телесное осязаемым благодаря соответствующему освещению. Далее, он продвигается вперед и внутренне растет, даже когда не упражняется. Такой талант распознать нетрудно, но лучше других его распознает мастер.

— Сегодня утром я побывал в герцогском дворце, — с живостью продолжал Гете, — покои великой герцогини отделаны с незаурядным вкусом. Кудрэ со своими итальянцами явил нам новый образец мастерства. Художники еще занимались росписью стен, оба — миланцы; я тотчас же заговорил с ними по-итальянски и обрадовался, что еще не забыл этот язык. Они рассказали мне, что последней их работой была роспись дворца короля Вюртембергского, затем они должны были ехать в Готу, но там им не подошли условия. В это время о них прослышали в Веймаре и пригласили декорировать покои великой герцогини. Я слышал итальянскую речь и опять с удовольствием говорил по-итальянски, ведь язык неизменно несет с собою атмосферу своей страны. Славные эти люди уже три года, как уехали из Италии, но отсюда, сказали они, напрямик отправятся домой, им осталось еще только по заказу господина *фон Штигеля* написать декорацию для одного из спектаклей нашего театра, что, надо думать, и вам доставит удовольствие. Это очень искусные живописцы. Один из них ученик лучшего декоратора Милана, а это значит, что и мы вправе рассчитывать на хорошие декорации.

Когда Фридрих убрал со стола, Гете велел ему принести небольшой план Рима.

— Для нас, грешных, — сказал он, — Рим неподходящее местопребывание на долгий срок. Тому, кто хочет осесть там, надо жениться и перейти в католичество, иначе жизнь станет для него несносной. Хаккерт всегда похвалялся, что сумел прожить в Риме так долго, оставаясь протестантом.

Засим Гете и на этом плане показал мне наиболее примечательные уголки и здания.

— Вот э то , — сказало н , — садвиллы Фарнезе.

— Не там ли вы написали вашу «Кухню ведьмы» для «Фауста»?

— Не т , — ответил о н , — я написал ее в саду Боргезе.

Потом я снова наслаждался пейзажами *Клода Лоррена*, и мы снова беседовали об этом великом художнике.

— Разве нынешние молодые художники, — сказала я, — не могли бы взять его себе за образец?

— Те, что родственны ему по д у х у , — отвечал Г е т е , — без сомнения, наилучшим образом развили бы свой талант, учась у него. Но если природа не наделила их такими душевными качествами, они сумеют перенять у Лоррена частности, да и то чисто внешние.

*Суббота, 11 апреля 1829 г.*

Сегодня в доме Гете стол был накрыт в большом зале и на множество приборов. Гете и госпожа *фон Гете* очень приветливо меня встретили. Мало-помалу подошли: госпожа *Шопенгауэр*, молодой граф *Рейнхард* из французского посольства, чей тесть, господин фон Д., находился здесь проездом. Он ехал воевать с турками на стороне русских; фрейлейн *Ульрика* и, наконец, надворный советник *Фогель*.

Гете был в отменнейшем расположении духа. Прежде чем идти к столу, он позабавил собравшихся несколькими анекдотами из франкфуртской жизни, всего смешнее был рассказ о том, как *Ротшильд* и *Бетман* подрывали финансовые операции друг друга.

Граф Рейнхард отправился во дворец, мы же сели обедать. Застольная беседа о путешествиях и курортах протекала живо и весело; госпожа Шопенгауэр с увлечением говорила об устройстве своего нового имения на Рейне, неподалеку от острова Нонненверт.

К десерту воротился граф Рейнхард, которого все наперебой хвалили за необыкновенное проворство, — в сей

краткий срок он успел не только пообедать во дворце, но и дважды переменить платье.

Он принес весть об избрании нового папы, из рода Кастильоне, и Гете, воспользовавшись случаем, рассказал собравшимся о формальностях, по традиции неуклонно соблюдающихся при выборе папы.

Граф Рейнхард, всю зиму проживший в Париже, сообщил нам много интересных сведений об известных государственных деятелях, литераторах и поэтах. Разговор завертелся вокруг *Шатобриана, Гизо, Сальвандри, Беранже, Мериме* и других.

После обеда, когда все гости разошлись, Гете повел меня в свой кабинет и, к вящему моему удовольствию, показал мне два весьма примечательных письма. Эти письма в юношескую свою пору, в 1770 году, Гете послал из Страсбурга во Франкфурт своему другу *Горну*. Из обоих явствовало, что юноша, их писавший, уже угадывал предстоявшие ему великие задачи. Во втором письме слышатся вертеровские нотки. Забрехала любовь в Зе-зенгейме, и счастливый юноша, казалось, дни и ночи жил в сладостном дурмане. Оба письма были написаны ровным, изящным и чистым почерком, в нем уже проявлялся тот характер, что до конца жизни был присущ руке Гете. Я читал и перечитывал эти чудесные письма и домой ушел, исполненный любви и благодарности.

*Воскресенье, 12 апреля 1829 г.*

Гете прочитал мне свое ответное письмо *Баварскому королю*. Оно было написано так, словно он только что взошел по ступеням, ведущим к вилле, и вступил в беседу с ее хозяином.

— Трудно, вероятно, найти подходящий тон для подобной беседы, — сказала.

— Для того, кто, как я, едва ли не всю жизнь пребывал в общении с сильными мира сего, — отвечал Гете, — это труда не составляет. Приходится, правда, не давать себе воли и неуклонно следить за тем, чтобы не переступить черты определенных условий.

И он тут же заговорил о редактировании своего *«Второго пребывания в Риме»*, которое сейчас очень его занимало.

— По письмам, написанным мною в тот период, — сказал он, — я ясно вижу, что каждый возраст имеет свои преимущества и недостатки в сравнении как с более ран-

ними, так и с более поздними годами. В сорок я многое понимал не менее отчетливо, да и вообще был не глупее, чем сейчас, а в некоторых отношениях и умнее, и все же теперь, на восьмидесятом году, есть у меня преимущества, которые я бы не сменял на те, прежние.

— Покуда вы это говорили, — сказал я, — у меня перед глазами стояла «*Метаморфоза растений*», и я отлично понял, что из поры цветения неохота возвращаться к поре зеленых листочков или из поры созревания семени, а затем и плодов, отступать в пору цветения.

— Ваше сравнение, — сказал Гете, — полностью выражает мою мысль. Представьте себе красивый зубчатый лист, — смеясь, продолжал он, — ужели из состояния свободнейшего развития ему захотелось бы вернуться к тупой ограниченности семядоли? И как хорошо, что у нас есть растение, которое как бы символизирует собою преклонные лета, — оставив позади периоды цветения и завязи плодов, оно продолжает бодро расти, хотя более уже не плодоносит.

— Беда в том, — продолжал Гете, — что в жизни нам слишком часто мешают ложные тенденции и что ложность таковых мы начинаем понимать, только окончательно от них освободившись.

— А по каким признакам, — спросил я, — можно установить ложность той или иной тенденции?

— Ложная тенденция, — ответил Гете, — не плодотворна, а если и плодотворна, то плодам ее — грош цена. Заметить ее в другом не так уж мудрено, в себе — дело другое, тут надобна большая свобода духа. Но даже точное знание не всегда помогает: сомнения, нерешительность не позволяют тебе расстаться с любимой девушкой, хотя неверность ее доказана, и неоднократно. Говоря, я думаю о том, сколько лет прошло, прежде чем я уразумел, что мое тяготение к изобразительному искусству было ложной тенденцией, и сколько еще времени утекло уже после того, как мне это уяснилось, прежде чем я окончательно поставил крест на нем.

— И все же, — возразил я, — это тяготение столько дало вам, что вряд ли его можно назвать ложной тенденцией.

— Оно дало мне много знаний, — отвечал Гете, — и, следовательно, огорчаться не стоит. Впрочем, эту пользу мы извлекаем из любой ложной тенденции. Ежели бесталанный человек усердно занимается музыкой, он, конечно, никогда не станет настоящим мастером, но зато на-

учится понимать и ценить то, что делает мастер. Несмотря на все свои усилия, я, конечно, не стал художником, но, пробуя себя во всех областях этого искусства, научился отдавать себе отчет в каждом штрихе и достойное внимания отличать от недостойного. Это уже выгода, пусть небольшая, но ложная тенденция всегда приносит хоть какую-то выгоду. Например, крестовые походы для освобождения гроба господня явно были ложной тенденцией; однако, постоянно ослабляя турок, они помешали им стать владыками Европы, что уже хорошо.

Потом мы заговорили на другие темы, и Гете рассказал мне о труде *Сегюра*, посвященном *Петру Великому*. Этот труд его заинтересовал и многое ему разъяснил.

— Местоположение Петербурга, — сказала я, — непростительная ошибка, тем паче что рядом имеется небольшая возвышенность, так что император мог бы уберечь город от любых наводнений, если бы построил его немного выше, а в низине оставил бы только гавань. Один старый моряк предостерегал его, наперед ему говорил, что население через каждые семьдесят лет будет гибнуть в разлившихся водах реки. Росло там и старое дерево, на котором оставляла явственные отметины высокая вода. Но все тщетно, император стоял на своем, а дерево повелел срубить, дабы оно не свидетельствовало против него. Согласитесь, что в подобных поступках личности столь грандиозной есть нечто непонятное. И знаете, чем я это объясняю? Ни одному человеку не дано отделаться от впечатлений юности, и, увы, даже дурное, из того, что стало ему привычным в эти счастливые годы, остается до такой степени любезным его сердцу, что, ослепленный воспоминаниями, он не видит темных сторон прошлого. Так и Петр Великий, желая повторить любимый Амстердам своей юности, построил столицу в устье Невы. Кстати, и голландцы не могут устоять против искушения, в самых отдаленных колониях возводя новые Амстердамы.

*Понедельник, 13 апреля 1829 г.*

Сегодня за столом Гете говорил мне немало добрых слов, и вдобавок за десертом я наслаждался, рассматривая некоторые пейзажи *Клода Лоррена*.

— Эта коллекция, — сказал Гете, — носит название «*Liber veritatis*»<sup>1</sup>, но ее с таким же успехом можно было

---

<sup>1</sup> «Книга истины» (лат.).

назвать «*Liber naturae et artis*»<sup>1</sup>, ибо здесь в прекраснейшем союзе находятся природа и искусство.

Я спросил Гете о происхождении Клода Лоррена и еще — у кого он учился.

— Главным его учителем был *Антонио Тассо*, в свою очередь, бывший учеником *Пауля Брилля*, так что школа и принципы Брилля, собственно, являлись почвой, до известной степени способствовавшей его расцвету, я говорю «до известной степени», ибо то, что у этих мастеров еще выглядело суровым и строгим, у Клода Лоррена проявилось радостным очарованием и прелестнейшей свободой. В этом его никто не мог превзойти.

Вообще же о таком великом таланте, жившем в незаурядные времена и в окружении незаурядных людей, едва ли можно сказать, у кого он учился. Он смотрел на мир и присваивал себе то, что могло вскормить его замыслы. Клод Лоррен, несомненно, обязан школе Караччи не меньше, чем своим прославленным учителям.

Принято говорить, что *Джулио Роман* был учеником Рафаэля, но с тем же успехом можно сказать: он был учеником своего века. У одного лишь *Гвидо Рени* был ученик, до такой степени вобравший в себя дух, нрав и мастерство учителя, что он чуть ли не перевоплотился в него и работал точь-в-точь как он, но это особый случай, который вряд ли может повториться. Школа Караччи, напротив, предоставляла полную свободу ученикам, так что любой талант развивался в направлении, для него естественном, и выходили из нее мастера, начисто друг на друга не похожие. *Караччи* и его сыновья были словно рождены для того, чтобы учить живописи. Они жили во времена, когда все расцветало пышным цветом, и могли знакомить своих учеников с лучшими образцами искусства. Они были большими художниками, были настоящими учителями, но я бы не сказал, что их отличала доподлинная душевная глубина. Может быть, непозволительно смело это говорить, но мне так кажется.

Просмотрев еще несколько ландшафтов Клода Лоррена, я раскрыл «Лексикон живописца», любопытно узнать, что в нем говорится о великом художнике. Там черным по белому стояло: «Основная его заслуга — богатство палитры». Мы взглянули друг на друга и рассмеялись.

---

<sup>1</sup> «Книга природы и искусства» (лат.).

— Вот видите, — сказал Гете, — как далеко можно пойти, доверяясь книгам и старательно усваивая то, что в них пишется.

*Вторник, 14 апреля 1829 г.*

Когда я пришел, Гете и надворный советник Мейер уже сидели за столом, погруженные в беседу об Италии и об изобразительном искусстве. Гете велел принести альбом *Клода Лоррена*, и Мейер отыскал в нем ландшафт, оригинал коего *Пиль*, согласно газетным сообщениям, приобрел за четыре тысячи фунтов. Нельзя было не признать, что это прекрасная вещь и что господин Пиль сделал неплохое приобретение. В правом углу картины сразу бросалась в глаза группа людей, одни сидели, другие стояли. Пастух склонился к девушке, видимо, обучая ее игре на свирели. Посредине блестит озеро, залитое солнечным сиянием, слева же, в тени небольшого леска, пасется скот. Обе группы прекрасно одна другую уравновешивают, а волшебство освещения, как и всегда у этого художника, поражает до глубины души.

Потом зашел разговор о том, где прежде находился оригинал и чьей собственностью он был, когда Мейер видел его в Италии. С него мы снова перескочили на новое владение *Баварского короля* в Риме.

— Я отлично знаю эту виллу, — сказал Мейер, — так как часто в ней бывал и радовался ее прекрасному местоположению. Это небольшой дворец, и король, конечно, не преминет украсить его и, в соответствии со своим вкусом, сделать уютным и очаровательным. В мое время там жила герцогиня *Анна-Амалия*, а *Гердер* помещался во флигеле. Позднее ее обитателями были *герцог Суссекский* и граф *Мюнстер*. Знатные иностранцы всегда любили эту виллу за ее полезное для здоровья местоположение и великолепный вид, открывающийся с холма.

Я спросил надворного советника, далеко ли от виллы ди Мальта до Ватикана.

— От Тринита-ди-Монте, где жили мы, художники, по соседству с виллой, до Ватикана добрых полчаса ходьбы. Мы отправлялись туда ежедневно, а то и по нескольку раз в день.

— Мне кажется, — сказал я, — что путь через мост чуть длиннее; по-моему, если переправиться на другой берег Тибра, а потом идти полем, то доберешься скорее.

— Нет, — отвечал Мейер, — сначала мы тоже так думали и часто пользовались перевозом. Мне вспомнилась сейчас такая переправа, когда однажды прекрасной лунной ночью мы возвращались из Ватикана. Из тех, кто вам знаком, с нами были *Бури*, *Хирт* и *Липс*. По обыкновению, мы заспорили: кто выше — *Рафаэль* или *Микеланджело*. В это время подошел паром. Когда мы добрались до противоположного берега, наши дебаты еще не кончились, и один шутник, кажется, это был Бури, предложил не сходить на берег, прежде чем спор не будет разрешен и все мы не придем к полному единomyслию. Предложение было принято, паромщику пришлось оттолкнуться и ехать обратно. Но тут-то страсти и разгорелись по-настоящему, и всякий раз, достигнув берега, мы поворачивали назад. Так мы долгие часы катались туда и обратно, причем внакладе не остался только паромщик, — за каждый переезд мы исправно уплачивали ему положенные байоко<sup>1</sup>. С ним был сын — двенадцатилетний мальчуган, которому все это показалось очень уж удивительным. «Отец, — спросил он, — почему эти люди не хотят сойти на берег и мы возим их взад-вперед?» — «Не знаю, сынок, — отвечал тот, — похоже, они ополоумели». Наконец, чтобы не прокататься до утра, мы кое-как пришли к согласию и покинули паром.

Мы очень смеялись над этой забавной историйкой о молодых сумасбродах. Надворный советник был в отличном расположении духа и продолжал рассказывать о Риме, Гете и я слушали его с превеликим удовольствием.

— Споры о Рафаэле и Микеланджело, — пояснил Мейер, — в те годы вспыхивали, как только сходилось несколько художников, среди которых были представители обеих партий. Чаше всего они завязывались в аустерии, где подавалось дешевое, но доброе вино. Молодые люди ссылались на те или иные картины, на отдельные их части, а когда противники им возражали и возникала потребность воочию убедиться, кто же прав, вся компания, продолжая спорить, быстро шагала к Сикстинской капелле. Ключ хранился у одного башмачника, который за четыре гроша беспрекословно ее отпирал. Картины, здесь имевшиеся, служили наглядным примером, и после долгих споров все возвращались в аустерию, чтобы помириться за бутылкой вина и забыть недавние разногласия. И так вся-

---

<sup>1</sup> Байоко — мелкая монета, существовавшая тогда в Папской области.

кий день башмачник возле Сикстинской капеллы по несколько раз получал свои четыре гроша.

Этот веселый рассказ дал нам повод вспомнить о другом башмачнике, который имел обыкновение разбивать кожу на античной мраморной голове.

— Это был скульптурный портрет одного из римских императоров, — заметил Мейер, — он стоял на улице у двери мастерской, и, проходя мимо, мы частенько видели, как башмачник предавался своему похвальному занятию.

*Среда, 15 апреля 1829 г.*

Мы говорили о людях, не одаренных талантом, но тем не менее влекущихся к литературному творчеству, и о тех, что пишут на темы, в которых ровно ничего не смыслят.

— Молодежь вводит в соблазн следующее обстоятельство, — сказал Гете, — в наше время культура получила столь широкое распространение, что как бы пропитала собой воздух, которым эта молодежь дышит. Поэтические и философские мысли движутся, вьются вокруг молодых людей, они всасывают их с младенчества, воображая, что это их собственность, и высказывают как свои. Но, возвратив своему времени то, что они взяли у него взаймы, эти люди остаются нищими.

*Вторник, 1 сентября 1829 г.*

Я рассказал Гете об одном приезде, который недавно прослушал курс лекций *Гегеля* о доказательстве бытия божия. Гете согласился со мной, что такие лекции уже не ко времени.

— Период сомнений, — сказал он, — миновал. Нынче никто не ставит под сомнение ни себя, ни бога, к тому же понятия бог, бессмертие, суть нашей души и ее связь с телом — это вечные проблемы, и разрешить их никакие философы нам не помогут. Один новейший французский философ, не обинуясь, начал свой труд следующими словами: «Человек, как известно, состоит из двух частей, то есть, из тела и души. Поэтому начнем с тела, а засим перейдем к душе». *Фихте* уже пошел несколько дальше и несколько умнее вышел из положения, сказав: «Давайте рассматривать человека как тело и человека как душу». Слишком хорошо он чувствовал, что столь тесно спаянное целое не поддается расчленению. *Кант*, бесспорно, оказал нам великую услугу, проведя границу, дальше которой

человеческий дух проникнуть не способен, и оставив в покое неразрешимые проблемы. Чего только не наговорили философы о бессмертии! А что проку? Я не сомневаюсь: наше существование будет продолжаться, ибо природе не обойтись без того, что понимают под энтелехией. Но бессмертны мы не в равной мере, и для того, чтобы в грядущем проявить себя как великую энтелехию, надо ею быть.

Немцы бьются над разрешением философских проблем, а тем временем англичане, с их практической сметкой, смеются над нами и завоевывают мир. Всем известны их ширококвещательные выступления против работорговли. Но покуда они морочат нам голову, ссылаясь на высокогуманные принципы, выясняется истинный мотив их поведения — реальная выгода, без учета которой, как нам давно следовало бы знать, они ничего не предпринимают. Дело в том, что в своих огромных владениях на западном берегу Африки они сами используют труд негров и, конечно, не хотят, чтобы тех оттуда вывозили. В Америке англичане сами основали крупные колонии негров, где очень велик прирост чернокожего населения. Этими неграми они полностью удовлетворяют потребности Северной Америки и ведут весьма прибыльную торговлю живым товаром. Следовательно, опасаясь, как бы ввоз негров со стороны не ущемил их меркантильных интересов, они не без умысла кричат об антигуманности работорговли. Еще на Венском конгрессе английский посланник очень живо выступил против нее, но у португальского посланника достало ума спокойно заметить: он-де никак не предполагал, что они собрались сюда на Страшный суд, а не для установления законов морали. Ему хорошо было известно, к чему сводятся интересы англичан, и потому он, конечно, отстаивал интересы своей страны.

*Воскресенье, 6 декабря 1829 г.*

Сегодня после обеда Гете прочитал мне первую сцену второго акта «Фауста». Впечатление было огромно, чувство счастья наполнило мою душу. Мы снова в рабочей комнате Фауста, и Мефистофель видит, что все здесь на прежнем месте, все так, как он это оставил. Он снимает с крючка старый меховой плащ Фауста; мошь и тысячи других насекомых вылетают из него, и покуда Мефистофель говорит о том, где они снова угнездятся, вся обстановка отчетливо выступает перед нашим взором. Мефистофель надевает плащ, чтобы снова разыграть здесь

роль хозяина, в то время как Фауст в параличе лежит за занавеской. Он дергает колокольчик, звон его громом отдается в пустынных монастырских покоях, так что распахиваются двери и дрожат стены. Вбегает Фамулус и в кресле Фауста видит Мефистофеля, он его не знает, но оказывает ему знаки почтения. Спрошенный же, отвечает, что Вагнер, успевший прославиться за это время, все еще уповает на возвращение своего учителя. Сейчас доктор Вагнер в своей лаборатории трудится над созданием Гомункула. Мефистофель отпускает Фамулуса. Входит бакалавр, тот самый, что несколько лет назад, когда Мефистофель в Фаустовом платье измывался над ним, был робким юношей-студентом. За истекшие годы он возмужал и сделался до того чванлив, что даже Мефистофель, потеряв надежду с ним сговориться, отодвигается от него вместе со своим креслом и в конце концов обращается к партеру.

Гете дочитал до конца эту сцену. Я был в восхищении от ее юношески творческой мощи, от того, как крепко здесь все сколочено.

— Поскольку вся концепция очень стара, — сказал Гете, — и я уже пятьдесят лет над ней размышляю, то материала накопилось столь много, что сейчас самое трудное дело — изъятие лишнего, отбор. Замысел всей второй части действительно существует так долго, как я сказал. Но то, что я лишь теперь, когда очень многое в жизни уяснилось мне, взялся ее писать, должно пойти ей на пользу. Я сам себе напоминаю человека, в юности имевшего много мелкой монеты, меди и серебра, которую он в течение всей жизни обменивал на ту, что покрупнее, и под конец достояние его молодости уже лежит перед ним в виде груды золота.

Мы заговорили об образе бакалавра.

— Разве в нем вы не воплотили некую группу философ-идеалистов? — спросил я.

— Нет, — отвечал Гете, — он олицетворяет собой наглую самонадеянность, часто присущую молодым людям, яркие примеры коей были явлены нам после нашей Освободительной войны. Вообще же каждый в юности считает, что мир, собственно, начался с него и что все только для него и существует. Между прочим, на Востоке и вправду жил человек, по утрам собиравший вокруг себя свою челядь, не позволяя ей приступать к работе, прежде чем он не прикажет солнцу взойти. Но при этом он был достаточно умен, чтобы не отдавать приказ, рань-

ше чем солнце не дойдет до той точки, когда ему уже пора показаться на горизонте.

Засим мы еще долго беседовали о «Фаусте», о его композиции и тому подобном.

Гете некоторое время молчал, погруженный в размышления, и наконец сказал следующее:

— Когда человек стар, он думает о земных делах иначе, чем думал в молодые годы. Так я не могу отделаться от мысли, что демоны, желая подразнить и подурочить человечество, время от времени позволяют возникнуть отдельным личностям, столь обольстительным и великим, что каждый хочет им уподобиться, однако возвыситься до них не в состоянии. Они позволили возникнуть *Рафаэлю*, мысль и деяния которого одинаково совершенны. Иным одаренным потомкам удавалось к нему приблизиться, но никто не возвысился до него. Они дали возникнуть *Моцарту*, недостижимо совершенному в музыке, а в поэзии — Шекспиру. Я знаю, что вы можете мне возразить касательно *Шекспира*, но я говорю лишь о его гениальности, о том, чем одарила его природа. Ведь и Наполеон недостижим. То, что русские обуздали себя и не вошли в Константинополь, свидетельствует о величии духа, но оно было свойственно и *Наполеону*, он тоже смирил себя и не вошел в Рим.

Эта неисчерпаемая тема натолкнула нас и на другие, близкие к ней. Я, однако, все время думал про себя, что возникновение Гете тоже было предопределено демонами, ибо и он настолько велик и обольстителен, что нельзя не желать ему уподобиться, но, увы, возвыситься до него невозможно.

*Среда, 16 декабря 1829 г.*

Сегодня после обеда Гете читал мне вторую сцену из второго акта «*Фауста*», где Мефистофель идет к Вагнеру, который силится создать человека при помощи химических ухищрений. Попытка удалась ему, Гомункул — излучающее свет существо — возникает в колбе и незамедлительно начинает действовать. На вопросы Вагнера касательно непостижимых явлений Гомункул отвечает отказывается; последовательные рассуждения не по нему, он жаждет *деятельности*, и ближайшим объектом таковой является Фауст. Парализованный нуждается в помощи свыше. Создание, для которого настоящее абсолютно ясно и прозрачно, Гомункул видит внутренний мир Фауста, а

тому сейчас снится радостный сон: красивая местность, Леда купается в реке, и лебеди подплывают к ней. Гомункул пересказывает этот сон, и прелестнейшая картина открывается нашему внутреннему взору. Но Мефистофель ее не видит, и Гомункул потешается над его юридической ограниченностью.

— Да и вообще, — сказал Гете, — вы убедитесь, что Мефистофель во многом уступает Гомункулу, последний равен ему ясностью прозорливого ума, но своей тягой к красоте и плодотворной деятельности значительно его превосходит. Впрочем, он зовет Мефистофеля брательником, ибо духовные создания вроде Гомункула, не до конца очеловеченные, и потому еще ничем не омраченные и не ограниченные, причислялись к демонам, отсюда и эта родственная связь.

— Правда, — заметил я, — Мефистофель в этой сцене занимает скорее подчиненное положение, но поскольку мы знаем его по прежним деяниям, я не могу избавиться от мысли, что он втайне способствовал возникновению Гомункула, ведь и в «Елене» он всегда появляется как существо, тайно направляющее события. Следовательно, в целом он выше Гомункула и в спокойном сознании своего превосходства иной раз даже позволяет тому над ним покуражиться.

— Вы совершенно правильно уловили их взаимоотношения, — сказал Гете, — так оно и есть, и я даже думал, не вложить ли мне в уста Мефистофеля, когда он идет к Вагнеру, а Гомункул находится еще только в становлении, несколько стихов, которые разъяснили бы читателю его сопричастность.

— Это бы, конечно, было неплохо, — заметил я, — но, собственно, вы на это уже намекнули, завершив сцену словами Мефистофеля:

В конце концов приходится считаться  
С последствиями собственных затей<sup>1</sup>.

— Вы правы, — сказал Гете, — для внимательного читателя этого, пожалуй, достаточно, и все же я хочу поразмыслить еще над несколькими стихами.

— Но эти последние слова, — сказал я, — так значительны, что придумать их нелегко.

— Я знаю, над ними придется изрядно поломать голову, — отвечал Гете. — Отец шести сыновей, как ни верти,

---

<sup>1</sup> Перевод Б. Пастернака.

человек пропащий. К тому же королям и министрам, назначавшим на высокие посты невесть сколько людей, они напоят кое-что из их собственного опыта.

Сон Фауста о Леде снова возник передо мной, и я начал понимать, сколь он важен для всей композиции.

— Это просто чудо, — сказал я, — как в таком сложном произведении пригнаны отдельные части, как взаимодействуют они, как каждая дополняет и возвышает другую. Сон о Леде во втором акте, собственно, является необходимым фундаментом для «Елены». Там ведь все время идет речь о лебедях и о лебедем рожденной, в первом же случае мы видим, как это свершилось, и, когда уже подготовленные чувственным впечатлением этой картины, мы встречаемся с Еленой — все становится еще отчетливее и совершеннее.

Гете со мной согласился, и мое замечание, кажется, было ему приятно.

— В дальнейшем, — сказал он, — вы обнаружите, что уже в ранее написанных актах классическое все явственнее слышится наравне с романтическим, дабы мы, как на пологий холм, могли подняться к «Елене», где обе поэтические формы выступают еще отчетливее и одновременно как бы друг друга уравнивают.

— Французы, — продолжал Гете, — тоже начинают правильно понимать, как тут обстоит дело. «Классика и романтика, — говорят они, — одинаково хороши и в общем то равноценны, надо только разумно пользоваться этими формами и каждую уметь довести до высшей ее точки. Можно, конечно, нагородить вздору и в той, и в другой, но в таком случае ни одна из них гроша ломаного не стоит». Метко замечено, думаю мне, и пока что на этом можно успокоиться.

*Воскресенье, 20 декабря 1829 г.*

Обед у Гете. Мы говорили о канцлере, и я поинтересовался, не привез ли тот ему, воротившись из Италии, каких-либо вестей о Мандзони.

— Он писал мне о нем, — ответил Гете, — Канцлер посетил Мандзони, который живет в своем имении под Миланом и, увы, все время прихварывает.

— Странно, — сказала я, — что очень талантливые люди, и в первую очередь поэты, нередко страдают от плохого здоровья.

— То сверхобычное, что создают эти люди, — сказал Гете, — предполагает весьма тонкую и хрупкую организацию, — они ведь должны испытывать чувства, мало кому доступные, и слышать глас божий. Такая организация, пребывая в конфликте со стихиями и с окружающим миром, очень ранима, и тот, кто, подобно *Вольтеру*, не сочетает в себе чувствительности с незаурядной цепкостью, постоянно подвержен недомоганиям. *Шиллер* тоже вечно был болен. Когда я с ним познакомился, мне казалось, что он и месяца не протянет. Но и в нем была заложена известная цепкость. Он прожил еще много лет, а при более здоровом образе жизни продержался бы и дольше.

Мы заговорили о театре и о том, насколько удачен один из последних спектаклей.

— Я видел в этой роли Унцельмана, — сказал Гете, — и это было истинное наслаждение, — он умел заражать зрителей великой свободой своего духа. С искусством актера ведь происходит то же самое, что и с любым другим. То, что делает или сделал художник, сообщает нам то же настроение, какое владеет им в минуты творчества. Свободный дух художника освобождает и нас, удрученный — подавляет. Художник же свободу духа, как правило, ощущает, когда работа у него спорится; картины нидерландцев — это отрада для души, потому что эти художники запечатлевают окружающий мир, в котором они дома. Для того чтобы нам ощутить в актере свободу духа, ему надобно долго учиться, обладать фантазией, хорошими природными данными и полностью войти в свою роль, все физические средства должны быть в его распоряжении да еще известный запас молодой энергии. При этом выучку нельзя подменить фантазией, а фантазии и выучки недостаточно без хороших физических данных. Женщины, — те всего добиваются фантазией и темпераментом, отчего и была так хороша *Вольф*.

Мы продолжали эту тему, припоминая наиболее выдающихся актеров Веймарского театра и восхищаясь ими в тех или иных ролях.

Мыслью я опять возвратился к «*Фаусту*» и подумал, какими же средствами можно воссоздать на сцене образ Гомункула.

— Если это существо, — сказала я, — и останется невидимым, то свечение в колбе так или иначе должно быть зримо, а те весьма значительные слова, которые говорит Гомункул, не могут же быть произнесены детским голосом.

— Вагнер, — сказал Гете, — не выпускает колбу из рук,

и голос должен звучать так, словно он исходит из колбы. Тут надо бы пригласить чревовещателя, — я их не раз слышал, и, право, это было бы отличным выходом из положения.

Далее мы заговорили о маскарade и возможности перенести его на сцену.

— Это, пожалуй, потруднее, чем изобразить неаполитанский рынок, — заметила.

— Тут нужна огромная сцена, — сказал Гете, — а иначе я уж и не знаю как быть.

— Я надеюсь все это увидеть своими глазами, — сказал я, — и заранее радуюсь слону, которого ведет мудрость, Победа восседает на нем, а по бокам его бредут, закованные в цепи, Боязнь и Надежда. Лучшей аллегории, думается мне, нет на свете.

— Это не первый слон на театре, — сказал Гете, — в Париже такой гигант доподлинно играет роль. Он принадлежит к Народной партии и, сняв корону с одного короля, возлагает ее на другого, — выглядит эта сцена, вероятно, грандиозно, — а после конца спектакля отвешивает поклон публике и удаляется. Из этого следует, что и мы могли бы вывести на сцену слона. Но в целом маскарad слишком многолик, и для него надобен режиссер, какого мы вряд ли сыщем.

— Да, но от такого блеска и великолепия, пожалуй, откажется никакой театр, — сказал я. — И как странно все развивается в этой сцене, как становится более значимым! Сначала цветочницы и садовницы украшают сцену и в то же время образуют толпу, дабы дальнейшие события не имели недостатка в окружении и в зрителях. Вслед за слонem по воздуху над головами пронесится запряженная драконом колесница, вырвавшаяся откуда-то из глубины сцены. Далее следует явление великого Пана, а под конец все уже объято кажущимся пламенем, которое стихает и гаснет, когда наплывают тучи, несущие влагу. Если все это будет воплощено на сцене, публика обомлеет от изумления и должна будет признаться себе, что ей недостает ума и фантазии для должного восприятия всех этих явлений.

— Оставьте, я о публике и слышать не хочу, — сказал Гете. — Главное, что все это написано, а люди уж пусть этим распоряжаются как хотят и используют по мере своих способностей.

Разговор перешел на *мальчика-возницу*.

— Вы, конечно, догадались, что под маской *Плутуса*

скрывается *Фауст*, а под маской скупца — Мефистофель. Но кто, по-вашему, *мальчик-возница*?

Я не знал, что ответить.

— Это *Эвфорион*, — сказал Гете.

— Но как же *Эвфорион* может участвовать в маскараде, если он рождается лишь в третьем акте?

— *Эвфорион*, — отвечал Гете, — не человек, а лишь *аллегорическое* существо. Он олицетворение *поэзии*, а поэзия не связана ни с временем, ни с местом, ни с какой-нибудь определенной личностью. Тот же самый дух, который позднее изберет себе обличье *Эвфориона*, сейчас является нам мальчиком-возницей, он ведь схож с вездесущими призраками, что могут в любую минуту возникнуть перед нами.

*Воскресенье, 27 декабря 1829 г.*

Сегодня после обеда Гете прочитал мне сцену, в которой речь идет о бумажных деньгах.

— Вы, вероятно, помните, — сказал он, — что заседание государственного совета в конце концов сводится к сетованиям на отсутствие денег, но Мефистофель обещает их раздобыть; эта тема не угасает и во время маскарада, где Мефистофель умудряется подsunуть императору в обличье Великого Пана на подпись бумагу, каковая тем самым приобретает ценность денег и, тысячекратно размноженная, пускается в обращение.

В этой же сцене история с бумагой обсуждается в присутствии короля, который еще не понимает, что он сотворил. Казначей принесит ему банкноты и объясняет суть дела. Император поначалу разгневан, но, уразумев, какую это сулит выгоду, щедро одаряет своих приближенных новыми деньгами. Удаляясь, он обронил несколько тысяч крон, которые тотчас же подбирает толстяк-шут и бежит прочь, торопясь превратить бумажки в земельную собственность.

Гете читал эту великолепную сцену, а я восторгался остроумнейшим приемом — приписать Мефистофелю изобретение бумажных денег и таким образом увязать с «*Фаустом*» и увековечить то, что в данное время внушало интерес всем без исключения.

Едва Гете кончил читать эту сцену, едва мы успели обменяться несколькими словами о ней, как вниз спустился его сын и подсел к нам. Он сразу заговорил о последнем романе *Кутера*, который только что прочитал и с при-

сущей ему живостью отлично изложил нам. Мы ни словом не обмолвились о только что читанном, но он сам вдруг завел речь о прусских ассигнациях, за которые сейчас платят выше их номинальной стоимости. Покуда он говорил, я с еле заметной улыбкой взглянул на его отца, который ответил мне тем же, так мы дали понять друг другу, насколько своевременно то, что он изобразил в этой сцене.

*Среда, 30 декабря 1829 г.*

Сегодня после обеда Гете читал мне последующую сцену.

— Теперь, когда при императорском дворе денег стало вдоволь, — предварил он, — все жаждут развлечений. Император хочет видеть Париса и Елену. С помощью волшебства они должны самолично предстать перед ним. Но поскольку Мефистофель никакого касательства к Древней Греции не имеет и не властен над такими персонажами, то дело это препоручают Фаусту, и он успешно с ним справляется. Но меры, которые он принимает для того, чтобы их появление стало возможным, — это я еще не вполне закончил и прочитаю вам в следующий раз. А сейчас слушайте самое их появление.

У меня дух захватило от счастливого ожидания; Гете начал читать. Старинный рыцарский зал; входят император и его свита, дабы увидеть им сужденное. Поднимается занавес, Мефистофель в суфлерской будке, астролог на одной стороне просцениума, Фауст всходит на другую, где стоит треножник. Он произносит положенные заклинания, и в клубах пара над чашей появляется *Парис*. В то время как прекрасный юноша движется под звуки неземной музыки, дамы в зале обмениваются мнениями о нем. Парис сел и облокотился, согнув руку над головой. Таким мы привыкли его видеть в изображении древних. Женщины в восторге и никак не надивятся его юной и мужественной красоте. Мужчинам он внушает завистливую ревность; ненавидя, они всячески стараются принизить его. Парис засыпает, и тут, откуда ни возьмись, *Елена*. Она приближается к спящему и запечатлевает поцелуй на его устах, потом идет обратно, но оборачивается, чтобы еще раз бросить взгляд на него. В этот миг она выглядит еще прекраснее. На мужчин она производит такое же впечатление, как Парис на женщин. Любовь вспыхивает в них, и они на все лады славят Елену, женщины же завидуют ей, хулят ее и ненавидят. Даже Фауст вне себя от восхищения

и при виде красоты, им самим вызванной к жизни, настолько забывает о времени, о месте, о необычных обстоятельствах, что Мефистофель считает необходимым ежеминутно его одергивать: он-де выходит из роли. Любовь и согласие между Еленой и Парисом возрастают с каждым мгновением, юноша уже обнял возлюбленную, собираясь ее увести. Фауст хочет вырвать Елену из его объятий, он касается ключом Париса, и тут происходит взрыв, духи обращаются в пар, Фауст, парализованный, лежит на земле.



*Воскресенье, 3 января 1830 г.*

Гете показал мне английский альбом за 1830 год с прекрасными гравюрами и интереснейшими письмами лорда Байрона, которые я прочитал, так сказать, на десерт. Сам он взял в руки томик своего «Фауста» в новейшем французском переводе Жерара и стал его перелистывать, время от времени читая страничку-другую.

— Странное чувство овладевает мной, — сказал он, — когда я думаю, что эта книга еще теперь читается на языке, в котором пятьдесят лет назад царил Вольтер. Вы себе и вообразить не можете, что сейчас проносится у меня в голове, так же как не можете себе представить значения, какое имел Вольтер и его великие современники в годы моей юности и в какой мере властвовали они над всем нравственным миром. В своей автобиографии я недостаточно ясно сказал о влиянии, которое эти мужи оказывали на меня в молодости, и о том, чего мне стоило от него оборониться, встать на собственные ноги и обрести правильное отношение к природе.

Мы еще поговорили о Вольтере, и Гете наизусть прочитал мне его стихотворение «Les Systèmes», из чего я заключил, сколь усердно он в молодости изучал и усваивал такого рода произведения.

Вышеупомянутый перевод Жерара, хотя в большей своей части и прозаический, Гете счел весьма удачным.

— По-немецки, — сказал он, — я уже «Фауста» читать не в состоянии, но во французском переложении все это опять звучит для меня по-новому, свежо и остроумно. «Фауст», — продолжал он, — это же нечто непомерное, все попытки сделать его доступным разуму оказываются тщетными. К тому же не следует забывать, что первая часть — порождение несколько мрачного душевного состояния. Но именно этот мрак и прельщает людей, и они ломают себе головы над ним, как, впрочем, и над любой неразрешимой проблемой.

*Воскресенье, 10 января 1830 г.*

Сегодня Гете уготовил мне высокое наслаждение — после обеда прочитал сцену, в которой Фауст идет к *Матерям*.

Новое, никогда не чайное и то, как Гете читал эту сцену, до того захватило меня, что я словно бы перевоплотился в Фауста, которого мороз подирает по коже от реплики Мефистофеля.

Я очень внимательно слушал и живо все воспринимал. Тем не менее много осталось для меня загадкой, и я вынужден был просить Гете о кое-каких пояснениях. Но он, по обыкновению, замкнулся в таинственности и, глядя на меня широко раскрытыми глазами, только повторял:

Да, Матери... Звучит необычайно!

— Могу вам открыть лишь одно, — сказал он наконец, — я вычитал у *Плутарха*, что в Древней Греции на *Матерей* взирали как на богинь. Это все, что мною заимствовано из предания, остальное — я выдумал сам. Возьмите рукопись домой и проштудируйте ее хорошенько, как-нибудь вы уж в ней разберетесь.

Я был счастлив, неторопливо читая и перечитывая эту удивительную сцену, и составил себе о Матерях, об их сущности и деяниях, обо всем, что их окружает и об их общности следующее представление:

Если вообразить себе гигантское тело пашей планеты полым внутри настолько, что можно идти, идти сотни миль, не натолкнувшись ни на один осязаемый предмет, то это и была бы обитель неведомых богинь, к которым нисходит Фауст. Они живут в пустом пространстве, ибо нет поблизости от них ни единого твердого тела; живут

вне времени, ибо нет для них светила, что своим восходом или заходом отмечало бы смену дня и ночи.

Там в вечном сумраке и одиночестве пребывают животворящие Матери — *созидательный* и *охранительный принцип*, от коего берет свое начало все, чему на поверхности земли дарована форма и жизнь. То, что не дышит более, возвращается к ним в качестве нематериальной природы, они хранят ее, покуда ей не приспешет время вступить в новое бытие. Их окружают все души и тела того, что некогда было и будет в грядущем, блуждая наподобие облаков в беспредельном пространстве обители Матерей. А посему и маг должен спуститься в обитель Матерей, если дана ему его искусством власть над формой существа и если он хочет вернуть к призрачной жизни былое создание.

Итак, вечная метаморфоза земного бытия, зарождение и рост, гибель и новое возникновение — это непрерывный и неустанный труд Матерей. И если на земле все, обновляясь, продолжает свое существование главным образом благодаря *женскому* началу, то становится понятно, что творящим божествам придано обличье *женщин* и зовутся они почетным именем *Матерей*.

Конечно, все это лишь поэтический вымысел; но ограниченный разум человека не в состоянии проникнуть намного дальше, он доволен и тем, что может где-то успокоиться. Мы сталкиваемся на нашей земле с явлениями и чувствуем влияния, неизвестно откуда взявшиеся и куда нас зовущие. Мы предполагаем, что они вскормлены духовным источником, божеством, то есть тем, для чего у нас нет ни понятий, ни имени; мы должны низвести его до себя и очеловечить, чтобы хоть до известной степени облечь в плоть наши смутные чаяния.

Так возникали все мифы, тысячелетиями живущие среди разных народов, и так же возник новый миф Гете, который, хотя бы отчасти, приближается к великой тайне природы и который смело можно поставить в один ряд с лучшими из тех, что когда-либо были созданы.

*Воскресенье, 24 января 1830 г.*

— На днях я получил письмо от нашего небезызвестного владельца соляных копей в Штотернгейме, — сказал Гете, — с весьма примечательным вступлением; сейчас я вас с ним познакомлю.

«Я приобрел о п ы т , — пишет о н , — который не должен

остаться зряшным». Что же, по-вашему, следует за этим вступлением? Речь идет, ни много ни мало, об утрате тысячи или больше талеров. Шахту, прорытую как в мягкой, так и в каменистой почве на глубину тысяча двести футов, до залежей каменной соли, он, по легкомыслию, с боков оставил неукрепленной. Мягкая почва, просев, заполнила шахту илистой грязью, и вычерпыванье этой грязи обойдется ему теперь в изрядную сумму. Ему придется проводить металлические трубы на всю глубину, чтобы в будущем обезопасить шахту от такого же обвала. Он должен был бы сделать это своевременно, и сделал бы, если бы людям его толка не была свойственна бесшабашность, какую мы себе даже представить не можем, но какая, собственно, необходима для такого предприятия. Нимало не взволнованный несчастным случаем, он спокойно пишет: «Я приобрел опыт, который не должен остаться зряшным». Вот это я понимаю человек! Никаких сетований, всегда в полном обладании сил. Ну, разве же это не дорогого стоит?

— Мне он напоминает *Стерна*, — отвечал я, — который сожалеет, что не сумел использовать свою болезнь, как то следовало бы разумному человеку.

— Пожалуй, вы правы, — сказал Гете.

— Я сейчас и о *Берише* вспомнил, — продолжал я, — как он вас поучал, что есть опыт; на днях я, в который уж раз, перечитывал эту главу: «Опыт есть то, до чего мы доходим опытным путем, на опыте убедившись, что не надо было набираться этого опыта».

— Да, — смеясь, сказал Гете, — на такие забавы мы постыдно растрачивали драгоценное время!

— *Бериш*, — продолжал я, — видно, был человек затейливый и обаятельный. Разве не прелестна история в винном погребе, когда он, желая помешать одному молодому человеку отправиться к своей милой, заявил, что им по пути, и, попросив подождать его, всех насмешил до упаду, пристегивая свою шпагу то так, то эдак, покуда тот и вправду не пропустил время свиданья.

— На театре, — сказал Гете, — такая сценка выглядела бы презабавно, да *Бериш* и вообще был самым что ни на есть подходящим персонажем для театра.

В последующем разговоре мы припомнили и другие чудачества *Бериша*, о которых Гете рассказывает в своем жизнеописании. Его серую одежду, например, задуманную так, чтобы шелк, бархат и шерсть являли собой целую гамму оттенков, и то, как он ломал себе голову — что

бы еще нацепить на себя серое? Как он писал стихи, как передразнивал наборщика, подчеркивая солидность и достоинство пишущего. Любимым его времяпрепровождением было лежать на подоконнике, разглядывая прохожих, и мысленно обряжать их так, что все, вероятно, покатывались бы со смеху, если бы они и впрямь вздумали нарядиться согласно его рецепту.

— Ну, а как вам нравятся шутки, которые он частенько устраивал с почтальоном? — спросил Гете. — Умора, да и только.

— Я об них ничего не слышал, — отвечал я, — в вашем жизнеописании о них не упоминается.

— Ну, так я вам расскажу сейчас. Когда мы вместе лежали на подоконнике и Бериш замечал почтальона, заходившего то в один, то в другой дом, он обычно вынимал из кармана грош и клал его рядом с собой. «Смотри, вон идет почтальон, — говорил он, повернувшись ко мне. — Он подходит все ближе и через минуту-другую будет здесь, наверху, я по нему вижу: у него письмо для тебя, и не простое письмо, в нем лежит вексель, — подумай-ка, вексель! Не знаю только, на какую сумму! Смотри, он уже входит. Нет! Но все равно сейчас войдет. Вот он опять. Сюда! Сюда, мой друг! В эту дверь! Что? Прошел мимо? До чего же глупо, бог мой, до чего глупо! Ну, можно ли быть таким безответственным дурнем? Вдвойне безответственным! По отношению к тебе и к себе самому. Тебе он не отдал вексель, который у него в руках, себя лишил той монеты, которую я для него уже приготовил, а сейчас положу обратно в карман». Так он и сделал, и вид у него при этом был до того торжественный, что мы не могли удержаться от смеха.

Я тоже посмеялся над этой выходкой Бериша, впрочем, очень похожей на все остальные, и спросил Гете, встречался ли он с ним позднее.

— Я виделся с ним вскоре после моего приезда в Веймар, насколько мне помнится — в тысяча семьсот семьдесят шестом году, когда ездил с герцогом в Дессау; Бериш был приглашен туда из Лейпцига на должность воспитателя наследного принца. Я не нашел в нем особых перемен — это был изящный придворный весьма веселого нрава.

— А что он сказал по поводу славы, которая пришла к вам за это время?

— Прежде всего он воскликнул: «Хорошо, что ты тогда послушался моего разумного совета, не отдал печатать

свои стихотворения и выждал, покуда тебе удастся написать что-нибудь действительно хорошее. Правда, они уже и в ту пору были недурны, иначе разве я взялся бы их переписывать? Но если бы нам не пришлось расстаться, ты бы и другие не стал печатать, я бы их тоже переписал и все было бы отлично». Как видите, он ничуть не изменился. При дворе его любили, и я всегда встречался с ним за княжеским столом.

В последний раз мы виделись в тысяча восемьсот первом году, он был уже стар, но по-прежнему пребывал в наилучшем расположении духа. Во дворце ему отвели несколько прекрасных комнат, одна из них была вся уставлена геранями, к которым у нас тогда очень пристрастились. Но как раз в это время ботаники ввели новые подразделения в группе гераней и некоторую их часть назвали *пеларгониями*. Старик очень гневался на них за это. «Дурачье, — твердил он, — я радуюсь, что комната у меня полна гераней, как вдруг они являются с утверждением, что это не герани, а пеларгонии. А на кой мне эти цветы, если они не герани, ну что мне, спрашивается, делать с пеларгониями?» И так в продолжение добрых полудчас, из чего можно заключить, что он ничуть не изменился.

Разговор перешел на «Классическую Вальпургиеву ночь», начало которой Гете читал мне несколько дней тому назад.

— Целая толпа мифологических образов, — сказал он, — напирает на меня, но я осторожен и отбираю лишь те, что своей наглядностью могут произвести должное впечатление. Сейчас у меня Фауст встречается с Хироном, и я надеюсь, что эта сцена мне удастся. Если я буду прилежно работать, то через месяц-другой, пожалуй, управлюсь с ней. Лишь бы что-нибудь снова не оторвало меня от «Фауста»; честное слово, ум за разум заходит при мысли, что я успею его кончить! А ведь это не исключено — пятый акт, можно сказать, готов, а четвертый напишется сам собой.

Гете заговорил о своем физическом состоянии, радуясь, что уже долгое время чувствует себя вполне здоровым.

— И столь хорошим самочувствием я обязан *Фогелю*, — сказал он, — без него меня бы уж давно на свете не было. Фогель — прирожденный врач, да и вообще один из одареннейших людей, когда-либо мне встречавшихся. Но лучше мы об этом помолчим, а то как бы у нас его не отняли.

Воскресенье, 31 января 1830 г.

Обед у Гете. Говорили о *Мильтоне*.

— Я недавно читал его «Самсона», — заметил Гете, — он соответствует духу древних больше, чем какое-либо произведение новейших поэтов. Мильтон подлинно велик, а в этом случае собственная слепота еще помогла ему так полно и правдиво изобразить состояние Самсона. Мильтон настоящий поэт, и его надо уважать.

Слуга принес газеты и в «Берлинских театральных новостях» мы прочли, что там на сцене выведены морские чудовища и акулы.

Гете прочитал во французском «Тан» статью о чрезвычайно высокой оплате английского духовенства, превышающей расходы по денежному содержанию всех лиц духовного звания в прочих христианских странах.

— Говорят, что цифры правят миром, — сказал Гете, — я знаю одно — цифры доказывают, хорошо или плохо он управляется.

Среда, 3 февраля 1830 г.

Обед у Гете. Разговор зашел о *Моцарте*.

— Я видел его семилетним мальчуганом, — сказал Гете, — когда он проездом давал концерт во Франкфурте. Мне и самому только что стукнуло четырнадцать, но я как сейчас помню этого маленького человечка с напудренными волосами и при шпаге.

Я был поражен, мне едва ли не чудом показалось, что Гете уже в таких летах, что мог видеть Моцарта ребенком.

Воскресенье, 7 февраля 1830 г.

Обед у Гете. Разговоры о *князе-примасе*. За столом у императрицы Австрийской Гете, прибегнув к удачному обороту речи, отважился выступить на его защиту. Слабые познания князя в философии, дилетантская страсть к живописи, отсутствие вкуса. Картина, подаренная мисс *Гор*. Его добросердечие и неуменье постоять за себя — роздал все, что имел, и под конец впал в бедность.

Разговор о понятии неучтивости. После обеда явился молодой Гете в маскарадном костюме волшебника Клингзора. Он едет ко двору вместе с Вальтером и Вольфом.

Среда, 10 февраля 1830 г.

Обедал с Гете. Он очень искренне хвалил оду *Римера*, посвященную празднованию 2 февраля.

— Все, что делает Р и м е р , — заметил о н , — одобрит и мастер, и подмастерье.

Засим мы опять говорили о «Классической Вальпургиевой ночи» и о том, что за работой всплывает многое, для него самого неожиданное. К тому же и тема непомерно ширится.

— Сейчас у меня сделано чуть больше половины, — сказал о н , — но я буду работать неотступно, и к пасхе надеюсь ее закончить. До тех пор я ничего вам больше не покажу, но как только все будет готово, вы возьмете рукопись домой, чтобы спокойно ее просмотреть. Ежели вы успеете закончить составление последних тридцать восьмого и тридцать девятого томов так, чтобы к пасхе можно было отослать их издателю, это было бы превосходно, у нас бы освободилось лето для другой большой работы. Я останусь верен «Фаусту» и буду стараться завершить также и четвертый акт.

Меня обрадовало это его намерение, и я обещал, со своей стороны, сделать все возможное для облегчения его труда.

Гете послал слугу справиться о здоровье *герцогини-матери*, заболевшей настолько тяжело, что он опасался за ее жизнь.

— Ей не следовало бы присутствовать на маскарадном шествии, — сказал о н , — но августейшие особы привыкли потакать своим прихотям, и все протесты врачей и придворных ни к чему не привели. Ту силу воли, с которой она в свое время противилась Наполеону, она обратила теперь на сопротивление своей физической немощи, но я уже знаю, чем это кончится: она уйдет из этого мира, как ушел великий герцог, — в полном обладанье душевных и умственных сил, когда тело ее уже перестанет ей повиноваться.

Гете, видимо, был огорчен и подавлен; некоторое время он молчал. Но вскоре мы вернулись к оживленной беседе, и он рассказал мне о книге, написанной *Гудзоном Лоу* в свое оправдание.

— В ней имеются бесценные черточки, — начал о н , — которые могли быть подмечены только очевидцем. Как известно, Наполеон обычно носил темно-зеленый мундир, который от долгой носки и солнца пришел в полную негод-

ность; возникла настоятельная необходимость заменить его новым, он настаивал на мундире точно такого же цвета, однако на острове подходящего не нашлось, было, правда, зеленое сукно, но желтоватого оттенка. Надеть на себя мундир такого цвета властелину мира не подобало, ему только и осталось, что велеть перелицевать свой старый и по-прежнему носить его.

Ну, что вы скажете? Это же поистине трагическая черточка! Просто за душу берет, когда подумаешь: царь царей унижен до того, что ему приходится носить перелицованный мундир. Но если вспомнить, что этот человек растоптал счастье и жизнь миллионов людей, то видишь, что судьба отнеслась к нему еще достаточно милостиво и Немезида, приняв во вниманье величие героя, решила обойтись с ним не без известной галантности. Наполеон явил нам пример, сколь опасно подняться в сферу абсолютного и все принести в жертву осуществлению своей идеи.

Мы еще поговорили немного на эту тему, и я поспешил в театр смотреть *«Звезду Севильи»*.

*Суббота, 14 февраля 1830 г.*

Сегодня, когда я шел обедать к Гете, меня настигла весть о смерти великой *герцогини-матери*. Как перенесет ее Гете в его преклонных годах? — вот была моя первая мысль, и я не без боязни переступил порог его дома. Кто-то из прислуги сказал мне, что невестка сейчас пошла к нему — сообщить о печальном событии. «Более пятидесяти лет, — думал я, — он был другом герцогини и пользовался особым ее благоволением, ее кончина, конечно же, будет для него величайшим потрясением». С этой думой я вошел к нему. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что он, бодрый и жизнерадостный, как будто ничего не случилось, сидит за столом с невесткой и внуками и ест свой суп. Я присоединился к их непринужденному разговору о том, о сем, но тут во всех церквях города ударили в колокола, госпожа фон Гете быстро на меня взглянула, и мы заговорили громче, дабы похоронный звон не проник в его душу, — ведь мы-то полагали, что он чувствует так же, как мы. Но нет, так он не чувствовал, совсем иным был строй его внутреннего мира. Он сидел среди пас, подобный высшему существу, недоступному земным страданиям. Слуга доложил о надворном советнике Фогеле. Фогель подсел к нам и стал рассказывать об отдельных обстоятельствах, сопутствовавших кончине государы-

ни. Гете все это выслушал с тем же спокойствием и присутствием духа. Фогель откланялся, а мы продолжали свой обед и застольную беседу. Среди прочего много говорили о «Хаосе», и Гете с большой похвалой отозвался о «*Размышлениях об игре*» в последнем номере. Когда госпожа фон Гете с мальчиками ушла наверх, мы остались вдвоем. Он рассказывал мне о «Вальпургиевой ночи», о том, что она у него с каждым днем продвигается вперед и что, сверх ожидания, ему удаются самые дикийвинные сцены. Затем он показал мне пришедшее сегодня письмо от *Баварского короля*, каковое я прочитал с большим интересом. Каждая строчка там свидетельствовала не только о благородном образе мыслей, но и о его неизменной преданности Гете, — последнему это, видимо, было очень приятно. Слуга доложил о надворном советнике *Сорэ*, который присоединился к нашей беседе. Собственно, он пришел передать Гете несколько слов утешения и соболезнования от имени ее императорского высочества, которые еще укрепили его в жизнерадостном и бодром настроении. Гете, продолжая говорить, упоминает о прославленной *Нинон де Ланкло*, красавице, на шестнадцатом году обреченной смерти. Обступивших ее друзей она утешала словами: стоит ли горевать, ведь и здесь я оставляю только смертных! Впрочем, она выздоровела и дожила до девяноста лет, до восьмидесяти делая безмерно счастливыми или доводя до отчаяния сотни своих любовников.

Потом Гете заводит разговор о *Гоцци* и его театре в Венеции, где актеры импровизируют, ибо автор вручает им только сюжет. Гоцци утверждал, что существуют всего-навсего тридцать шесть трагических ситуаций; *Шиллер* же полагал, что их много больше, но не наскреб и этих тридцати шести.

Еще Гете сказал несколько интересных слов о *Гримме*, о его уме и характере, а также о его недоверчивом отношении к бумажным деньгам.

*Среда, 17 февраля 1830 г.*

Говорили о театре, в частности о цвете декораций и костюмов, причем Гете сделал следующий вывод:

— Важно, чтобы декорации служили фоном, который подчеркивает цвета костюмов на переднем плане, как, например, декорации *Бейтера*, в основном выдержанные в коричневатом тоне, — на нем превосходно оттеняются разнообразные цвета костюмов. Но может случиться, что де-

коратор вынужден отказаться от такого неопределенного, а значит, благоприятствующего тона, изображая, например, красную или желтую комнату, белый шатер или зеленеющий сад; в таком случае актерам следует благоразумно избегать повторения этих цветов в своих костюмах. Если актер в красном мундире и зеленых штанах войдет в красную комнату, то туловище его как бы исчезнет и зрителю будут видны только ноги, а покажись он в таком же костюме в зеленом саду, исчезнут ноги, и в глаза будет бросаться только туловище. Мне, например, довелось видеть актера в белом мундире и очень темных штанах, в результате чего верхняя часть его тела была вовсе не видна в белой палатке, а ноги, на темном фоне задника, потерялись неизвестно куда.

Если же декоратору все-таки необходимо написать красную или желтую комнату, зеленый сад или лес, то краски должны быть слегка притушены, облегчены, чтобы на переднем плане отчетливо выделялся и производил надлежащее впечатление любой костюм.

Заговариваем об *«Илиаде»*, и Гете предлагает мне обратить внимание на остроумный прием: Ахилл обречен на временное бездействие, для того чтобы могли выявиться и раскрыть себя другие герои.

О своем *«Избирательном средстве»* он говорит, что каждый штрих в нем — отголосок пережитого, но ни один не воспроизводит того, как это было пережито. То же самое относится и к зезенгеймской истории.

После обеда рассматриваем папку с картинами нидерландской школы. *«Уголок гавани»*, где слева грузчики запасаются пресной водой, а справа играют в кости на перевернутой бочке, дает повод для интереснейших наблюдений: как иной раз приходится поступаться реальностью во имя художественного впечатления. Всего ярче освещено днище бочки, кости уже брошены, об этом свидетельствуют позы игроков, но на днище костей мы не видим, сноп света разбился бы о них и эффект, им производимый, потерпел бы известный урон.

Мы перешли к эскизам Рюисдаля, по которым можно было судить, сколько труда вкладывал этот художник в свои произведения.

*Воскресенье, 21 февраля 1830 г.*

Обедал с Гете. Он показал мне растение с воздушными корнями, которое я разглядывал с величайшим интересом, в нем мне открылось стремление длить и длить

свое существование, прежде чем последующий индивид сумеет проявить себя.

— Я дал зарок, — сказал Гете как бы в ответ на вы- сказанную мной мысль, — целый месяц не читать ни «Тан», ни «Глоб». Обстоятельства складываются так, что за этот период что-то должно случиться, и я хочу дождаться часа, когда до меня извне дойдет весть об этом. Моей «Классической Вальпургиевой ночи» это будет только на пользу, да бесплодное любопытство и вообще ни к чему, но мы слишком часто об этом забываем.

Засим он дает мне письмо Буассерэ из Мюнхена, его очень порадовавшее, я, в свою очередь, с большим удовольствием это письмо читаю. В нем *Буассерэ* высказывается главным образом о «*Втором пребывании в Риме*», а также о нескольких заметках в последнем выпуске «Искусства и древности». Суждения его о том и о другом столь же благожелательны, сколь и глубоки, что дает нам повод для долгого разговора о редкой образованности и полезной деятельности этого выдающегося человека.

Гете рассказал мне еще о новой картине *Корнелиуса*, одинаково хорошо продуманной и выполненной, и, кстати, обмолвился о том, что удачный колорит всецело зависит от композиции.

Вечером, во время прогулки, перед моим внутренним взором вновь возникло то растение с воздушными корнями, и я подумал, что любое создание стремится длить свое бытие, покуда возможно, чтобы затем, напрягши все силы, произвести себе подобное. Этот закон природы навел меня на мысль о легенде: при сотворении мира бог — един, но засим создает богоравного сына. Так вот и великие художники первейшим своим долгом почитали вырастить достойных учеников, в которых они увидели бы убежденных продолжателей своего дела. То же самое можно сказать о художнике или поэте и его творении: если оно прекрасно, значит, прекрасен был и тот, кто его создал. Посему я никогда не позволю себе завидовать превосходному произведению другого, ибо за ним стоит человек, который был достоин создать его.

*Среда, 24 февраля 1830 г.*

Обедал с Гете. Говорили о *Гомере*. Я заметил, что у него боги непосредственно и реально вторгаются в людскую жизнь.

— Это же так трогательно и человечно, — сказал Ге-

т е . — Что касается меня, я благодарю создателя за то, что миновало время, когда французы такое вмешательство богов называли *machinerie*. Но, разумеется, на то, чтобы проникнуться великим духом Гомера, потребно время, для французов же это означало полную перестройку их культуры.

Затем Гете сказал мне, что внес одну новую черту в явление Елены, чтобы еще ярче оттенить ее красоту, и что я подсказал ему это случайно оброненным замечанием, причем он похвалил мой вкус.

После обеда Гете показал мне гравюру по картине *Корнелиуса*: Орфей перед тронем Плутона молит об освобождении Эвридики. Картина, решили мы, заботливо продумана, многие детали выполнены превосходно, но душу она не радует. Возможно, правда, что в красках она производит более гармоническое впечатление, а возможно, что она бы немало выиграла, избери художник другой момент: Орфею уже удалось смягчить сердце Плутона, и тот возвращает ему Эвридику. В таком случае ситуация не была бы исполнена такого напряженного ожидания и несравненно больше удовлетворяла бы зрителя.

*Понедельник, 1 марта 1830 г.*

Обедал у Гете вместе с надворным советником *Фойгтом* из Иены. Разговор вращался вокруг естественноисторических вопросов, в которых надворный советник имел разностороннейшие познания. Гете сказал, что недавно получил письмо, автор коего утверждает, что семядоли не являются листьями, поскольку на обратной стороне у них нет глазков. Мы, однако, убедились на самых различных растениях, что глазки на них имеются, как и на всех прочих листьях. Фойгт говорит, что метаморфоза растений едва ли не плодотворнейшее открытие новейшего времени в области естествознания.

Далее мы заговорили о коллекциях птичьих чучел; Гете рассказал, что один англичанин держал в больших птичниках сотни живых птиц; когда какая-нибудь из них погибала, он приказывал сделать из нее чучело. Эти чучела так ему понравились, что его осенила мысль — не лучше ли убить всех птиц разом и превратить в чучела; свою светлую мысль он немедленно привел в исполнение.

Надворный советник Фойгт сообщил нам, что намере-

вается перевести пятитомную «Естественную историю» Кювье, снабдив ее примечаниями и дополнениями.

После обеда, когда Фойгт ушел, Гете показал мне рукопись своей «Вальпургиевой ночи», и я был поражен, насколько увесистее она стала за какие-то несколько недель.

*Среда, 3 марта 1830 г.*

Перед обедом ездил с Гете кататься. Он благосклонно отозвался о моем стихотворении, посвященном *Баварскому королю*, и отметил, что на меня положительно повлиял лорд *Байрон*, добавив, впрочем, что мне недостает светской непринужденности, в которой был так силен *Вольтер*. И в этом смысле рекомендовал мне взять его за образец.

Позднее, за обедом, много говорили о *Виланде*, прежде всего о его «*Обероне*». Гете считает, что фундамент этой поэмы слаб и предварительный план должным образом не разработан. Неудачна, например, выдумка, что для роста бороды и коренных зубов нужно вмешательство духа, хотя бы уже потому, что герой, таким образом, остается совершенно бездеятельным. Однако грациозная, чувственная и остроумная работа большого поэта так захватывает читателя, что он, в увлечении, ни о какой основе — плохой или хорошей — даже не помышляет.

Мы говорим о самых разнообразных предметах и под конец снова возвращаемся к энтелехии.

— Самоутверждение любого индивида и то, что человек отмечает все ему чуждое, — сказал Гете, — для меня служит доказательством, что нечто подобное и впрямь существует. Я уже несколько минут порывался сказать то же самое, и мне было вдвойне приятно, что Гете опередил меня.

— У *Лейбница*, — продолжал он, — возникали похожие мысли касательно таких независимых созданий, но то, что мы обозначаем словом «энтелехия», он называл «монадой».

Дальнейшее я решил во что бы то ни стало сам прочитать у *Лейбница*.

*Воскресенье, 7 марта 1830 г.*

В полдень зашел к Гете; сегодня он был в полном обладании сил и выглядел еще свежее, чем обычно. Он сразу же сказал мне, что вынужден был на время отставить

свою «Классическую Вальпургиеву ночь», чтобы приготовить к отправке издателю последние тома.

— Думается, я поступил умно, прекратив работу, куда еще весь горел ею и у меня в запасе имелось много уже придуманного; так я куда легче подхватываю нить, чем если бы писал дальше и уже начал бы спотыкаться.

Я про себя отметил эти слова, как весьма полезный урок.

Гете намеревался еще до обеда прокатиться со мною за город; но нам обоим было сейчас так уютно в комнате, что он приказал отложить поездку.

Между тем Фридрих, его слуга, распаковал большой ящик, присланный из Парижа. Это была посылка от скульптора *Давида* — отлитые в гипсе портреты и барельефы пятидесяти семи прославленных современников. Фридрих вносил слепки в раздвижных ящичках, и мы с увлечением рассматривали лица всех этих интересных людей. Мне не терпелось взглянуть на *Мериме*. Его лицо оказалось столь же сильным и дерзким, как его талант, Гете же увидел в нем еще и что-то забавное. У *Виктора Гюго*, *Альфреда де Виньи*, *Эмиля Дешана* лица были чистые, открытые, жизнерадостные. По душе нам пришлись также портреты мадемуазель *Гэ*, мадам *Тасту* и других молодых писательниц. К мужественному профилю *Фавье*, словно дошедшему до нас из других веков, мы возвращались не раз. Так мы рассматривали то одно, то другое лицо, и Гете не уставал повторять, что Давид сделал его обладателем сокровища, за которое он не знает, как и благодарить этого крупнейшего художника. Отныне он будет показывать свою коллекцию всем, кто хоть мимоходом посетит Веймар, дабы, путем устных расспросов, пополнить ее теми, кто в ней не представлен.

В ящике лежали еще и пакеты с книгами. Гете распорядился отнести их в нижние комнаты, мы тоже прошли туда, уселись за стол, и у нас завязалась оживленная беседа о предстоящих работах и различных планах.

— Нехорошо человеку быть одному, — сказал Гете, — и уж совсем худо работать в одиночестве; для удачи необходимо поощрение и участие. Шиллеру я обязан «*Ахиллеидой*» и многими моими *балладами*, он подстрекнул меня заняться ими, а вы можете считать своей заслугой, если я окончу вторую часть «*Фауста*». Я уже не раз вам это говорил, но повторяю опять, чтобы вы лучше запомнили,

Как я радовался его словам и сознанию, что есть в них доля правды.

После обеда Гете вскрыл один из пакетов. В нем лежали стихотворения *Эмиля Дешана* и письмо, которое Гете дал мне прочитать. Из него я, к вящей моей радости, убедился, как сильно воздействует Гете на жизнь новой французской литературы, как любит и чтит его литературная молодежь, признавая в нем своего духовного *вождя*. В пору юности Гете такое влияние имел *Шекспир*, *Вольтер* производил значительно меньшее впечатление на молодых поэтов других стран, он не был их знаменем и властителем дум. Письмо Эмиля Дешана было насквозь пронизано непринужденностью и какой-то отрадной свободой.

— Мы словно видим весну прекрасной души, — заметил Гете.

Помимо всего прочего к посылке Давида был приложен лист бумаги, на котором во всевозможных ракурсах была изображена треуголка *Наполеона*.

— Это для моего сына, — сказал Гете и немедленно отослал рисунки к нему наверх. Дар явно возымел свое действие, молодой Гете очень скоро спустился к нам и с восторгом объявил, что треуголка героя — это *pop plus ultra* его коллекции. Не прошло и пяти минут, как пресловутый лист, в рамке и под стеклом, уже был помещен среди прочих памяток о герое.

*Вторник, 16 марта 1830 г.*

Утром ко мне заходит господин фон Гете с известием, что давно им задуманная поездка в Италию наконец решена, что отец дает необходимые средства и выражает желание, чтобы я ехал вместе с ним. Мы оба радуемся и обсуждаем приготовления к предстоящей поездке.

Когда, уже около полудня, я проходил мимо дома Гете, он поманил меня из окна, и я быстро избежал наверх. Он вышел мне навстречу веселый, бодрый и сразу же заговорил об итальянском путешествии сына: он-де одобряет эту его затею и считает ее весьма разумной и радуется тому, что я еду с ним.

— Это будет полезно для вас обоим, — сказал он, — вы же при вашей восприимчивости к культуре приобрете немало.

Затем он показывает мне гравюру со скульптурного изображения Христа с *двенадцатью апостолами*, и мы го-

ворим о том, что никакой скульптор не в состоянии одухотворить их.

— Один апостол, — замечает Гете, — мало чем отличается от другого, и лишь у немногих позади жизнь и поступки, которые могут придать им характер и значительность. Я как-то, шутки ради, отобрал двенадцать библейских фигур, так, чтобы все они были разные, все значительные, а следовательно, каждая являлась бы благодарной моделью для художника. Начнем с *Адама*: это мужчина столь прекрасный, что лучше, пожалуй, и не придумаешь. Одной рукою он оперся на лопату — символ того, что человек призван возделывать землю.

За ним Ной. С него ведь начинается второе сотворение мира. Он хлопочет над виноградной лозой, в этом образе есть что-то от индийского Вакха.

Рядом с ним *Моисей* — первый законодатель.

Затем *Давид* — воитель и царь.

Далее *Исайя* — властелин и пророк.

Наконец, *Даниил* — предтеча *грядущего* Христа.

*Христос*.

После него *Иоанн*, он любит *Христа*, явившегося людям. Таким образом, Христос как бы обрамлен фигурами двух юношей, одного из них (*Даниила*) следовало бы изваять хрупким и длинноволосым, другого (*Иоанна*) порывисто-страстным, со стриженными кудрями. Ну-с, а кто же идет после Христа?

*Сотник из Капернаума*, как представитель верующих, которые ожидают немедленной помощи. За ним *Магдалина* — символ кающегося человечества, жаждущего прощения и готового искупить все свои грехи. Обе эти фигуры являли бы собой самую суть христианства.

Далее, пожалуй, *Павел*, наиболее ярый из проповедников христианского вероучения.

За ним *Иаков*, ходивший в дальние страны, — носитель идей миссионерства.

И, наконец, *Петр*. Художнику следовало бы поставить его у врат и придать его взору испытующее выражение, словно он вглядывается, достоин ли вступить в эти священные врата тот, кто приближается к ним.

Ну-с, что вы скажете о моем замысле? Мне думается, это будет интереснее, чем двенадцать апостолов, как две капли воды похожих друг на друга. Моисея и Магдалину я бы изобразил сидящими.

Я с восторгом ему внимал и попросил его все это записать, что он и пообещал сделать.

— Я хочу еще раз обдумать разные подробности, — сказал он, — и наряду с другими записями передать вам для тридцать девятого тома.

*Среда, 17 марта 1830 г.*

Обедал с Гете. Говорил об одной строчке в его стихотворении, должна ли она читаться, как во всех предыдущих изданиях:

Так *Гораций*, твой жрец, полон восторга, предрек...<sup>1</sup>

Или:

Так *Проперций*, твой жрец и т. д. , —

как напечатано в последнем издании.

— Заменить Горация Проперцием меня уговорил *Гёттинг*. Но звучит это хуже, и потому я предпочитаю первый вариант.

— Вот так же в рукописи вашей «Елены» стояло, что Тезей похитил ее *десятилетнюю* и стройную, как серна. Вы посчитались с неудовольствием Гёттинга и внесли исправление «*семилетнюю* и стройную, как серна», но это ведь значило бы, что она еще совсем дитя, даже в глазах близнецов Кастора и Поллукса, ее освободивших. Действие, конечно, происходит в баснословные времена, и никому не ведомо, сколько ей было лет, к тому же вся мифология настолько неустойчива и растяжима, что каждый вправе выбрать сюжет, который ему представляется наиболее интересным и красивым.

— Я с вами согласен, — сказал Гете, — и тоже предпочитаю, чтобы Тезей похитил ее десятилетней, написал же я позднее «*После десяти лет она пошла по рукам*». Итак, я попрошу вас в новом издании из семилетней серны вновь сделать десятилетнюю.

За десертом Гете показал мне два только что полученных альбома — иллюстрации *Нейрейтера* к его балладам. Нас обоих восхитил свободный и радостный дух достойного художника.

*Воскресенье, 21 марта 1830 г.*

Обед с Гете. Он сразу заговорил о предстоящем путешествии своего сына и предостерег нас от чрезмерных упований на успех такового.

---

<sup>1</sup> Перевод С. Шервинского.

— Обычно возвращаешься таким же, каким уехал из дому, — сказал он, — важно только не привезти с собой новых идей, не подходящих для наших обычных условий. Я, например, вернулся, очарованный прекрасными итальянскими лестницами, и тем самым изрядно испортил свой дом, — из-за их ширины комнаты стали меньше, чем должны были быть. Главное — научиться владеть собой. Если бы я дал волю своим наклонностям, то, наверно, загубил бы себя и сокрушил все меня окружающее.

Затем мы говорили о физических недомоганиях и о взаимовлиянии тела и духа.

— Трудно даже вообразить, какую поддержку дух может оказать телу, — сказал Гете. — Я часто страдаю болями в нижней части живота, однако воля и сила разума не позволяют мне слечь. Лишь бы дух не подчинился телу! Так, например, при высоком атмосферном давлении мне работается легче, чем при низком. Зная это, я, когда барометр стоит низко, стараюсь большим напряжением сил преодолеть неблагоприятные условия, и мне это удается.

Но вот в поэзии насилием над собой не много сделаешь, приходится ждать от доброго часа того, чего нельзя добиться усилием воли. Так нынче в «Вальпургиевой ночи» я дал себе передышку, чтобы она не утратила своей мощи и обаяния, хотя я уже изрядно продвинулся вперед и надеюсь ее закончить до вашего отъезда.

Что до некоторых резких выпадов, в ней имеющих, то я растворил их во всеобщем так, что читатель хоть и уловит кое-какие намеки, но не поймет, к чему они, собственно, относятся. Тем не менее я стремился, в согласии с духом античности, всему придать определенность очертаний, избегая смутного, расплывчатого, — словом, присутствующего романтическому стилю.

— Понятие классической и романтической поэзии, теперь распространенное повсеместно и вызывающее так много споров и разногласий, — продолжал Гете, — пошло от нас с Шиллером. В поэзии я был убежденным сторонником объективного и ничего другого не признавал, тогда как Шиллер, который творил чисто субъективно, правильной почитал только свою методу и, полемизируя со мной, написал статью о наивной и сентиментальной поэзии. В ней он доказывал, что я, сам того не ведая, склонен к романтизму и что в моей «Ифигении» преобладает романтическая чувствительность, а следовательно, она отнюдь не может быть признана классической в антич-

ном понимании этого слова, хотя на первый взгляд и может таковой показаться. *Шлегели* подхватили это противопоставление и распространили его, так что оно пошло гулять по свету, и теперь каждый толкует о классицизме и романтизме, о которых пятьдесят лет назад никто и не помышлял.

Я снова навел разговор на вышеупомянутые двенадцать фигур, и Гете сказал следующее:

— *Адама* следовало бы изваять, как я уже говорил, не совсем нагим, ибо яснее всего он видится мне после грехопадения; на него можно накинуть тонкую шкуру молоденькой серны. А чтобы показать его отцом человечества, хорошо было бы поставить рядом с ним старшего его сына, своенравного мальчика с отважным взглядом — маленького Геркулеса, одной рукою удушающего змею.

Кстати, и насчет *Ноя* у меня мелькнула другая, думается, более удачная мысль. Не стоит придавать ему сходство с индийским Вакхом, надо изобразить его виноделом, в некотором роде — спасителем, который, выращивая виноград, избавляет человечество от муки горестей и забот.

Меня пленили эти прекрасные мысли, и я дал себе слово записать их.

Засим Гете показал мне еще один рисунок *Нейрейтера* — иллюстрацию к его легенде о подкове.

— Художник, — сказал я, — изобразил рядом со Спасителем всего восемь апостолов.

— Но ему даже в о с ь м и, — перебил меня Г е т е, — показалось многовато, и он поступил мудро, разделив их на две группы, чтобы избегнуть монотонного повторения бездушных лиц.

*Среда, 24 марта 1830 г.*

Обед у Гете прошел в оживленнейших беседах. Он рассказывает мне о некоем французском стихотворении «*Le rire de Mirabeau*»<sup>1</sup>, которое, в рукописи, было приложено к коллекции Давида.

— Это на редкость остроумное и дерзкое стихотворение, — заметил Г е т е, — вам надо его прочитать. Право, кажется, что чернила для поэта изготовил Мефистофель.

---

<sup>1</sup> «Смех Мирабо» (фр.).

Удивительное дело, если он написал его, не прочитав «Фауста», и не менее удивительное, если он его прочитал.

*Среда, 21 апреля 1830 г.*

Сегодня я простился с Гете, так как отъезд в Италию мой и его сына-камергера назначен на завтрашнее раннее утро. Мы много говорили о путешествии, и он прежде всего рекомендовал мне зорко все наблюдать и время от времени писать ему.

Я чувствовал известную растроганность, покидая Гете. Утешал меня разве что его крепкий, сильный вид, дававший мне твердую надежду и по возвращении заставить его в добром здравии.

Когда я собрался уходить, он подарил мне альбом, в который вписал следующие слова:

«Вот он пройдет предо мною,  
И не увижу его;  
Пронесется, и не замечу его.  
*Книга Иова.*  
Путешествующим

*Гете.*

*Веймар,  
21 апреля 1830 г.»*

*Франкфурт, суббота, 24 апреля 1830 г.*

Около одиннадцати я совершил прогулку по городу и, пройдя через сады, поднялся на горы Таунус, радуясь великолепию здешней природы и обилию растительности. Третьего дня, в Веймаре, на деревьях еще только набухали почки, здесь же молодые побеги лип были уже длиною с четверть локтя, а каштанов, пожалуй, с фут, темной зеленью отливала листва берез и уже всю распустились дубы. И трава успела подняться так высоко, что в воротах мне встретились девушки с корзинами, доверху наполненными ею.

Я шел садами, любуясь широким видом на горы, веял свежий ветерок, облака тянулись с юго-запада, на северо-восток и своею тенью осеняли горы. Я приметил, как за деревьями опустились несколько аистов и тотчас же взмыли вверх. В лучах солнца, между белизной медленно плывущих облаков и синевой неба, это было поистине дивное зрелище, завершавшее красоту всей местности,

На обратном пути уже у самых ворот навстречу мне попало стадо отличных коров с лоснящейся шкурой, рыжих, белых и пятнистых.

Воздух здесь легкий и благотворный, вода имеет сладковатый привкус. Таких превосходных бифштеков я, пожалуй, не ел со времен Гамбурга, да и белый хлеб здешней выпечки удивительно приятен на вкус.

Во Франкфурте сейчас ярмарка, на улицах с утра до поздней ночи толчея, пенье, пронзительно дудят дудки. Мне бросился в глаза мальчик-савояр: он крутил шарманку и тащил за собою собаку, верхом на которой восседала обезьяна. Мальчик свистел, напевал что-то и долго выпрашивал у нас подачку. Мы бросили вниз больше, чем он мог рассчитывать, я был уверен, что мальчонка с благодарностью на нас взглянет, но ничуть не бывало, — сунув деньги в карман, он стал смотреть на тех, от кого еще можно было чего-то ждать.

*Франкфурт, воскресенье, 25 апреля 1830 г.*

Сегодня утром мы катались по городу в весьма элегантной коляске нашего хозяина. Очаровательные зеленые насаждения, великолепные здания, прекрасная река, сады и уютные садовые домики освежали душу и тешили взор. Вскоре, однако, я понял, что окружающий мир должен будить в нас мысль, — такова уж потребность человеческого разума, — иначе все в конце концов становится безразличным и проскальзывает мимо, не оставляя следа.

В обед за табльдотом я увидел множество лиц, но ни на одном из них не было выражения, хоть сколько-нибудь запомнившегося мне. Сильно заинтересовал меня только обер-кельнер: я от него глаз не отрывал, следя за каждым его движением. Что это был за удивительный человек! За длинными столами расположилось около двухсот нахлебников, и почти невероятным покажется мое утверждение, что этот обер-кельнер, можно сказать, один всех обслуживал. Он ставил на столы и убирал кушанья, другие же только передавали их ему или брали у него из рук. При этом не пролилось ни одной капли, ни разу он не задел кого-нибудь из сидящих, — все происходило так, словно нам прислуживали добрые духи. Тысячи тарелок и мисок перелетали на столы из его рук и со столов в руки идущей за ним свиты помощников. Занятый исключительно своей миссией, он, казалось, весь состоял из глаз и рук, сомкнутые его губы приоткрывались

лишь для беглых ответов и приказаний. Он не только подавал и убирал блюда, но принимал еще и добавочные заказы на вино и прочее. При этом он все замечал, все помнил и к концу обеда, принимая деньги, знал счет каждого гостя. Меня повергала в изумление зоркость, умение владеть собой и удивительная память этого молодого человека. Притом он был совершенно спокоен, уверен в себе, всегда готов пошутить или остроумно кому-то ответить, так что улыбка не сходила с его губ. Один француз, ротмистр старой гвардии, под самый конец обеда высказал сожаление, что дамы поторопились покинуть зал; тот, не задумываясь, его срезал: «C'est pour vous autres; nous sommes sans passion»<sup>1</sup>. По-французски он говорил великолепно, так же как и по-английски, а кто-то заверил меня, что он владеет еще тремя языками. Позднее я вступил с ним в разговор и убедился, что это человек разносторонне образованный.

Вечером на «Дон-Жуане» мы поневоле с нежностью вспоминали Веймар. Собственно, голоса здесь были хорошие и актеры одаренные, но играли они и выговаривали слова, как самоучки, ни о какой школе и слыхом не слыжавшие. Дикция у них была прескверная, а на сцене они держались так, словно публики вообще не существовало. Игра отдельных персонажей навела меня на мысль, что неблагоприятное, если в нем отсутствует характер, немедленно становится пошлым до непереносимости, тогда как наличие характера немедленно же возносит его в высокие сферы искусства. Публика вела себя не в меру шумно и пылко, часто вызывала певцов, кричала «бис». Церлину принимали и очень хорошо, и очень плохо, — половина зала ее освистывала, вторая ей аплодировала, обе партии взаимно друг друга разгорячали, и всякий раз это кончалось невообразимым шумом и гамом.

*Милан, 28 мая 1830 г.*

Я здесь без малого три недели, и пора уже кое-что записать.

Оперный театр «Ла Скала», к сожалению, закрыт. Мы в него зашли и видели, что он сплошь уставлен лесами. Там идет ремонт и, как говорят, строится еще один ярус

---

<sup>1</sup> Виноваты вы и другие мужчины, нам увлекаться не положено (*фр.*).

лож. Первые здешние певцы и певицы, используя это время, разъехались на гастроли. Одни будто бы поют сейчас в Вене, другие в Париже.

Театр марионеток я посетил сразу же по приезде; меня восхитила четкая и выразительная речь актеров, которые управляют куклами. Это едва ли не лучший в мире театр марионеток, он пользуется громкой славой, и разговоры о нем немедленно слышит каждый, приехавший в Милан.

Театр Канобиана, с пятью ярусами лож — самый большой в Милане после «Ла Скала», вмещает три тысячи человек. Мне он пришелся по душе, я часто туда ходил, слушал все ту же оперу и смотрел все тот же балет. Здесь вот уже три недели дают оперу Россини «Граф Ори» и балет «Сирота из Женевы». Декорации, сделанные Сан-Квирико или, может быть, под его руководством, производят наиприятнейшее впечатление, при этом они достаточно скромны и служат выгодным фоном для костюмов исполнителей. Я слышал, что Сан-Квирико держит у себя на службе множество искусных мастеров; все заказы сначала поступают к нему, он их раздает и наблюдает за выполнением; таким образом, все идет под его именем, хотя сам он мало что делает. И еще говорят, будто бы он этим художникам круглый год платит жалованье, даже тогда, когда они больны или не имеют заказов.

Помимо всего прочего мне понравилось, что в опере не видно суфлерской будки, которая обычно неприятнейшим образом закрывает ноги действующих лиц. Далее, по-моему, здесь удачно выбрано место дирижера. Он стоит так, что ему виден весь оркестр, может направо и налево давать указания музыкантам, сам виден всем, ибо его место находится в партере на возвышении у оркестровой ямы, и вдобавок свободно обозревает сцену. В Веймаре, например, дирижеру с его места видна сцена, но оркестр находится у него за спиной, так что ему всякий раз надо оборачиваться, чтобы подать знак музыкантам.

Оркестр здесь очень большой, я насчитал шестнадцать контрабасов, по восьми в последнем ряду с каждой стороны. Оркестранты, около ста человек, сидят лицом к дирижеру и спиной к просцениуму и двум выдвинутым вперед ложам. Справа и слева они видят партер и сцену, прямо — дирижера.

Что касается голосов, как мужских, так и женских, то меня поразила в них чистота и сила звука, а также лег-

кость, свобода, с которой здешние певцы владеют своим искусством. Я думал о Цельтере и сожалел, что его нет рядом со мной. Меня положительно пленил голос синьоры *Корради-Пантанелли*, которая пела пажа. Я поговорил кое с кем об этой прекрасной певице и узнал, что на зимний сезон она ангажирована в «Ла Скала». Партию графини Аделе пела молодая дебютантка, синьора *Альбертини*; ее голос исполнен нежности и прозрачной чистоты, словно солнечный свет. Любому приезжему из Германии она не может не понравиться. Надолго запомнится мне также один бас. Правда, мощный его голос минутами звучал несколько беспомощно, беспомощной бывала и его игра, но все это свидетельствовало только о недостаточном опыте.

Хор был великолепен и никогда не расходился с оркестром.

Удивила меня также умеренная и спокойная жестикуляция актеров, ибо тут я ожидал увидеть проявления итальянской живости.

Грим придавал лицам лишь слегка розоватый оттенок, на который приятно смотреть в обыденной жизни, размалеванных физиономий здесь и в помине не было.

И еще меня удивляло, что такой большой оркестр никогда не глушил голоса певцов и они неизменно доминировали над ним.

Во время обеда я заговорил об этом, и мой сосед, видимо, достаточно сведущий молодой человек, ответил мне так:

— Немецкие оркестры эгоистичны, они хотят прежде всего оставаться оркестром, то есть чем-то вполне самостоятельным. Итальянские же, напротив, довольствуются скромной ролью. Они отлично понимают, что главное в опере — пение, а оркестр призван только сопровождать и как бы поддерживать его. К тому же, по их мнению, ни один инструмент не должен звучать форсированно. Поэтому, сколько бы ни было в итальянском оркестре скрипок, кларнетов, труб и контрабасов, общее его звучание всегда мягко, всегда ласкает слух, а немецкий оркестр, даже в три раза меньший, то и дело гремит, оглушая слушателей.

Мне нечего было возразить на столь убедительные доводы, к тому же я был доволен, что эта проблема для меня разрешилась.

— Но не думаете ли вы, — заметил я, — что вина здесь ложится и на новейших композиторов, — возможно, они

неправильно инструментуют оркестровый аккомпанемент в опере.

— Разумеется, — отвечал мой собеседник, — многие впадают в эту ошибку, но только не великие мастера, как, например, *Моцарт* или *Россини*. Иной раз, впрочем, и они вводят в аккомпанемент мотивы, независимые от певческой мелодии, но при этом столь умеренно, что вокал всегда остается главенствующим. Новейшие же композиторы, несмотря на скудость мотивов в оркестровом сопровождении, частенько глушат голоса певцов чрезмерно громкой инструментовкой.

Я не мог не согласиться с юным незнакомцем. От другого сотрапезника я узнал, что это был молодой лифляндский барон, который долго жил в Париже и Лондоне, но вот уже пять лет, как живет здесь, занимаясь науками.

И еще одно, что я заметил в опере, и заметил с большим удовольствием. Итальянцы изображают на сцене ночь не как наступивший мрак, а лишь символически. В немецких театрах на меня всегда неприятное впечатление производила темнота в ночных сценах, когда не видишь выражения лиц актеров, а иной раз даже их самих — перед тобою сплошная темень. Итальянцы поступают куда умнее. Их театральная ночь только намек. Сцена чуть затемнена в глубине, исполнители подходят ближе к просцениуму, так, что они достаточно освещены и ничто в их мимике не ускользает от зрителя. Этот же принцип, вероятно, соблюдается и в живописи: вряд ли нам удастся встретить картину, где лица неразличимы во мраке. Думается, хорошие мастера так не пишут.

Этот же остроумный прием я видел использованным и в балете. На сцене изображена ночь, под ее покровом разбойник нападает на девушку. Свет лишь слегка приглушен, так что отчетливо видна мимика танцоров и каждое их движение. Девушка кричит, разбойник убегает, но к ней с факелами уже спешат на помощь ее односельчане. И факелы эти не тусклые огоньки, они горят ярким пламенем, и, по контрасту с вдруг осветившейся сценой, становятся очевидно, что все предыдущее происходило ночью.

Все, что мне рассказывали в Германии о шумной итальянской публике, подтверждалось сполна, и еще я заметил, что она становится тем беспокойнее, чем дольше дается опера. Две недели назад я присутствовал на одном из первых представлений «Графа Ори». Известных певцов и певиц публика встречала взрывом аплодисментов;

во время «проходных» сцен в зале разговаривали, но едва дело доходило до любимых арий, наступала тишина и всеобщее одобрение служило наградой певцам. Хор пел выше всяких похвал, и мне оставалось только поражаться слитности голосов и оркестра. Но теперь, когда оперу так долго ставили каждый вечер, публика сделалась невнимательной, все переговаривались между собой, зал гудел, как улей. Лишь изредка раздавались отдельные хлопки, и я не понимал, как у певцов хватало выдержки хотя бы разомкнуть губы, а у оркестрантов притронуться к своим инструментам. От усердия, от былой точности даже следа не осталось, и приезжего, которому захотелось бы послушать в Милане какую-нибудь оперу, неминуемо охватило бы отчаяние, будь оно возможно среди столь развеселого окружения.

*Милан, 30 мая 1830 г., в первый день троицы.*

Хочу записать еще несколько итальянских наблюдений, доставивших мне радость или показавшихся особо интересными.

Вверху, на Симплоне, в туманной и заснеженной глуши, поблизости от траттории, к нашему экипажу подошел мальчик, вместе с сестренкой подымавшийся в гору. За спинами у обоих были небольшие корзинки с хворостом, собранным ниже, где еще встречается какая-то растительность. Мальчик протянул нам несколько кусочков горного хрусталя и еще какие-то камешки, мы же дали ему несколько мелких монет. И мне навеки запомнился тот ликующий взгляд, который он, уходя от нас, украдкой бросил на свое богатство. Такого неземного выражения блаженства мне еще никогда видеть не доводилось. Я стал думать о том, что господь открыл душе человеческой все источники счастья и потому счастье нисколько не зависит от того, *где* живет человек и *как* ему живется.

Я хотел продолжать свои заметки, но что-то помешало мне и во все время дальнейшего пребывания в Италии, где, разумеется, и дня не проходило без новых значительных открытий и наблюдений, я так и не собрался вернуться к ним. Только распрощавшись с Гете-сыном и оставив позади Альпы, я написал Гете нижеследующее письмо.

*Женева, воскресенье, 12 сентября 1830 г.*

На сей раз мне столько всего хочется рассказать Вам, что я в растерянности: с чего начать и чем кончить.

Ваше превосходительство в шутку нередко говаривали, что отъезд был бы прекрасен, если бы за ним не следовало возвращение. Сейчас я с болью ощущаю всю справедливость этих слов, ибо нахожусь, можно сказать, на распутье. И не знаю, какую мне избрать дорогу.

Мое пребывание в Италии, несмотря на всю его краткость, конечно же, принесло мне большую пользу. Великолепная природа говорила со мной на языке своих чудес, спрашивая, достаточно ли я развит теперь, чтобы понимать этот язык. Великие творения людей, великие их деяния будоражили мою душу и заставляли меня, глядя на собственные руки, думать: а ты-то что способен совершить? Тысячи самых разных жизней, коснувшись меня, словно бы задавали мне вопрос: а чем она наполнена, твоя жизнь? И так я ощутил три неборимых потребности: умножить свои знания, улучшить свои житейские условия и, чтобы добиться того и другого, приступить к вполне определенному делу.

Никаких сомнений по поводу того, каким оно будет, я не испытываю. В душе я уже годами пестую произведение, которому отдаю весь свой досуг, и оно почти что закончено, если можно назвать законченным корабль, еще нуждающийся в оснастке, для того чтобы сойти со ступеней.

Я имею в виду те разговоры о великих основах различных видов искусства и науки, равно как и рассуждения о высших интересах человечества, о творениях духа и о выдающихся современниках, словом, разговоры, для которых всегда находился повод в течение шести счастливых лет моего пребывания подле Вас. Эти разговоры стали для меня фундаментом поистине неисчерпаемой культуры, а так как я был бесконечно счастлив, слыша их и впитывая их в себя, то мне, естественно, захотелось поделиться своим счастьем с другими, почему я и записал их для лучшей части человечества.

Ваше превосходительство, хотя и урывками просматривая мои записи, отнеслись к ним одобрительно и не раз поощряли меня продолжать начатое. Я так и поступал время от времени, когда мне позволяла это моя рассеянная жизнь в Веймаре, и в конце концов у меня накопилось довольно материала для двух томов.

Перед отъездом в Италию я не упаковал в чемодан эти самые важные для меня рукописи вместе с другими моими писаниями и вещами, но запечатал в специальный пакет и оставил на хранение нашему другу *Сорэ* с покорнейшей просьбой, если меня в дороге постигнет несчастье и я не вернусь назад, передать их Вам в собственные руки.

После посещения Венеции, когда мы во второй раз приехали в Милан, я заболел горячкой, несколько ночей мне было очень худо, а потом целую неделю я ничего не мог есть и лежал вконец обессиленный. В эти одинокие, тяжкие часы я не думал ни о чем, кроме своей рукописи, меня страшно тревожило, что в таком недоработанном, непроясненном состоянии она не сможет быть использована. Перед глазами у меня вставали места, написанные простым карандашом, да еще недостаточно четко, я вспоминал, что многие записи еще только наметены, — одним словом, что вся рукопись не просмотрена подобающим образом и не отредактирована.

При том состоянии, в котором я находился, да еще мучимый этими страхами, я ощутил жгучую потребность заняться своей рукописью. Перспектива увидеть Рим и Неаполь больше не радовала меня, мной овладело страстное желание воротиться в Германию и в полном уединении закончить работу над рукописью.

Не вдаваясь в подробности того, что во мне происходило, я заговорил с господином фон Гете о своей физической немощи. Он понял, сколь опасно было бы по такой жаре и дальше тащить меня за собой, и мы порешили съездить еще в Геную, откуда я, буде мое здоровье не улучшится, поеду прямо в Германию.

Мы пробыли несколько дней в Генуе, когда пришло Ваше письмо, в котором Вы писали, что если я чувствую склонность вернуться, то Вы будете мне рады, а это ведь означало, что Вы и в такой дали почувствовали, что у нас не все ладно.

Восхищенные Вашей проницательностью, мы еще порадовались, что Вы по ту сторону Альп одобрили решение, только что нами принятое. Я хотел уехать тотчас же, но господин фон Гете счел желательным, чтобы я остался еще немного и мы бы вместе покинули Геную.

Я охотно пошел навстречу его желанию и в воскресенье, 25 июля, в четыре часа утра мы обнялись и распрощались на улицах Генуи. Два экипажа стояли наготове, один, в который сел господин фон Гете, должен был

вдоль моря отправиться в Ливорно, второй — в нем уже сидело несколько пассажиров, к коим присоединился и я — через горы в Турин. Так мы разъехались в разные стороны, оба растроганные, оба искренне желая друг другу всяческого благополучия.

После трехдневного путешествия в жаре и в пыли, через Нови, Александрию и Асти, я наконец добрался до Турина, где вынужден был остановиться на несколько дней, чтобы немного передохнуть, осмотреться и выждать okazji для переезда через Альпы. Таковая сыскалась в понедельник, 2 августа. Проехав через Монсени, мы прибыли в Шамбери 6-го вечером. 7-го после обеда подвернулась возможность доехать до Экса, а 8-го, уже впопыхах и под дождем, я прибыл в Женеву, где и остановился в гостинице «Корона».

Там было полным-полно англичан, бежавших из Парижа; очевидцы тамошних чрезвычайных событий, они наперебой о них рассказывали. Вы, конечно, легко себе представите, какое впечатление произвело на меня первое известие о событиях, потрясших мир, с каким интересом я читал запрещенные в Пьемонте газеты, с какой жадностью прислушивался к рассказам новых постояльцев, ежедневно прибывающих из Франции, к спорам и пересудам любителей политики за табльдотом. Все были страшно возбуждены, все старались предугадать, как скажется великий переворот на всей остальной Европе. Я посетил приятельницу *Сильвестру*, родителей и брата *Сорэ*, а так как в эти исполненные волнения дни каждый считал себя обязанным иметь собственное мнение, то и я составил себе следующее: французские министры достойны кары уже потому, что толкнули короля на поступки, подорвавшие доверие народа и уважение к монаршей власти.

Я намеревался, приехав в Женеву, тотчас же отослать Вам подробное письмо, но тревога и рассеяние первых дней были таковы, что у меня не достало сил сосредоточиться и написать все так, как бы я хотел. Затем 15 августа пришло письмо из Генуи от нашего друга *Стерлинга* с известием, до глубины души меня огорчившим и сразу отбившим у меня охоту писать в Веймар. Стерлинг сообщал мне, что карета Вашего сына в тот самый день, когда мы расстались, опрокинулась, что он сломал себе ключицу и теперь лежит в Специи. Я тотчас же написал, что готов немедленно совершить обратный переезд через Альпы и, конечно, не тронусь в дальней-

ший путь, покуда не получу успокоительных известий из Генуи. В ожидании их я обосновался на частной квартире и, чтобы использовать пребывание в Женеве, принялся совершенствовать свои познания во французском языке.

Двадцать восьмое августа стало для меня двойным праздником, ибо в этот день пришло второе письмо от Штерлинга, положительно меня осчастливившее; он сообщал, что господин фон Гете очень быстро оправился от последствий дорожной катастрофы и в настоящее время в полном здравии находится в Ливорно. Итак, главные мои волнения были разом устранены, и я в душе молитвенно повторял:

Хвали творца, коль он гнетет,  
Хвали, когда сызнова снимет гнет.

Я решил, что наконец-то вправе подать Вам весть о себе: мне хотелось сказать приблизительно то, что уже сказано на предыдущих страницах, далее я хотел спросить, не согласитесь ли Вы, Ваше превосходительство, на то, чтобы я вдали от Веймара, в каком-нибудь укромном уголке, завершил работу над дорогой моему сердцу рукописью. Ибо не видать мне спокойствия и радости, покуда я не передам Вам этот так долго пестованный мною труд переписанным набело, сброшюрованным и для публикации ожидающим только Вашего одобрения.

Но вот приходят ко мне письма из Веймара, и я из них усматриваю, что там ждут моего скорого возвращения, дабы предоставить мне постоянное место. Мне остается лишь с благодарностью отнестись к столь блажелательному предложению, но оно, увы, срывает нынешние мои планы и приводит меня к какому-то странному раздвоению.

Ежели я немедленно вернусь в Веймар, то о скором завершении моих литературных намерений мне даже думать не придется. Я снова заживу рассеянной жизнью, ибо в маленьком городе, где все друг другу знакомы, человек тотчас затянет мелкая губительная суета, бесполезная и для него, и для других.

Правда, есть в этом городе для меня много доброго, прекрасного, что я издавна любил и буду любить до конца своих дней, но когда я сейчас о нем думаю, мне видится у врат его ангел с огненным мечом, он преграждает мне доступ в него и гонит меня прочь.

Я знаю, что я чудак, чудак с тех самых пор, как познаю себя. Кое в чем я упорен и непоколебим, годами не

отступаю от своих намерений и достигаю намеченной цели, вопреки тысячам препятствий, вопреки длинным, путаным дорогам, которыми мне приходится идти. Но в повседневной жизни нет человека зависимее, нерешительнее меня, столь подвластного всякого рода влияниям. Сочетание всех этих свойств и определило мою судьбу — изменчивую и устойчивую в одно и то же время. Оглядываясь на пройденный путь, я вижу, до чего пестры и разнородны житейские обстоятельства и положения, в которых я побывал, но, взглядевшись пристальнее, убеждаюсь, что через всю мою жизнь проходит неизменная линия — стремление вверх, отчего мне и удалось, ступень за ступенью, стать лучше, благороднее.

Но эти свойства характера, то есть переимчивость и податливость, как раз и делают для меня необходимым время от времени пересматривать свои жизненные обстоятельства. Так корабль, прихотью различных ветров сбитый с курса, стремится вновь найти его.

Любая должность уже несовместима с моими так упорно оттеснявшимися судьбой литературными целями. Давать уроки молодым англичанам я более не намерен. Я овладел их языком, то есть добился того, что мне недоставало, и рад этому. Я не недооцениваю пользы, которую мне принесло долгое общение с юными чужеземцами, но всему свое время.

Преподавание устной речи и словесности — не моя сфера. Тут мне равно недостает способностей и соответствующей подготовки. Нет у меня и ораторского таланта, ибо я подпадаю под влияние собеседника до такой степени, что, забыв о себе, проникаюсь его взглядами, его интересами, при этом чувствуя себя связанным по рукам и ногам, и мне лишь редко удается обрести свободу мысли и постоять за свои убеждения.

И напротив: перед листом бумаги я чувствую себя вполне свободно и вполне владею собой, поэтому *письменное* развитие мысли — истинное мое призвание, моя истинная жизнь, и я считаю пропащим всякий день, когда мне не удалось порадоваться нескольким страницам, мною написанным.

Всем своим существом я стремлюсь сейчас к деятельности в менее узком кругу, к тому, чтобы занять свое место в литературе и — что явилось бы основой моего счастья в дальнейшем — составить себе наконец некоторое имя.

Правда, сама по себе литературная известность вряд

ли стоит потраченных на нее усилий. Напротив, я не раз убеждался, что она может стать бременем и помехой, но хорошо уже то, что она поддерживает в тебе уверенность: ты, мол не зря потрудился на этой ниве, — а большего блаженства, вероятно, не существует, оно возвышает душу, дарит такими мыслями и силами, которых ты бы иначе не ведал.

Если же человек слишком долго толчется в узком кругу, мелким становится его ум и характер и в конце концов он оказывается неспособным к чему-либо значительному и подняться выше ему уже нелегко.

Если великая *герцогиня* действительно намеревается что-то сделать для меня, то столь высокой особе, конечно, нетрудно найти форму для оказания мне этой милости. Буде ей угодно поддержать и поощрить мои первые литературные шаги, это явится поистине добрым делом, и плоды его не пропадут даром.

О принце могу сказать, что он занимает совсем особое место в моем сердце. Возлагая большие надежды на его ум и характер, я с радостью предоставляю в его распоряжение скромные мои познания. Я буду стараться стать по-настоящему образованным человеком, он же, подрастая, будет все легче воспринимать то лучшее, что я сумею дать ему.

Но в данное время мне всего важнее на свете — окончательно доработать многожды помянутую здесь рукопись. Я хотел бы провести несколько месяцев под Геттингеном, в тиши и уединении, возле своей возлюбленной и ее родни, дабы, избавившись от прежнего бремени, как следует подготовиться к новому и ощутить желание взять его на себя. Жизнь моя в последние годы как-то застоялась, и я очень хотел бы во многом ее обновить. К тому же здоровье мое слабо и неустойчиво, я не уверен в своем долголетии и, конечно, хочу оставить по себе что-то достойное, хочу, чтобы мое имя, хоть на недолгий срок, сохранилось в людской памяти.

Но без Вашего согласия, без Вашего благословения я ничего сделать не в силах. Ваши дальнейшие пожелания относительно меня мне неведомы, не знаю я также что, хотя бы и самое доброе, думают насчет меня при дворе. Я откровенно высказал Вам, как обстоит дело со мной, и поскольку теперь Вам это ясно, Вы сможете без труда решить, имеются ли у Вас достаточно веские основания желать моего скорейшего возвращения, или я могу спокойно приступить к осуществлению задуманного.

Через несколько дней, как только подыщу себе попутчиков, я уеду отсюда и через Невшатель, Кольмар и Страсбург, неторопливо осматривая все по пути, отправлюсь во Франкфурт. Я был бы счастлив, если б мог надеяться получить от Вас во Франкфурте несколько строчек, которые прошу адресовать мне «до востребования».

Я рад, что тяжкая эта исповедь осталась позади и что следующее мое письмо к Вашему превосходительству будет менее мрачным.

Прошу Вас передать мой сердечный привет надворному советнику Мейеру, главному архитектору Кудрэ, профессору Римеру, канцлеру фон Мюллеру и тем из близких Вам, кто еще помнит обо мне.

Вас я обнимаю от всего сердца и навеки остаюсь, куда бы меня ни забросила судьба, бесконечно почитающим и любящим Вас.

Э.

*Женева, 14 сентября 1830 г.*

К великой моей радости, из Вашего последнего письма ко мне в Женеву я узнал, что все бреши в «Классической Вальпургиевой ночи» заделаны и, главное, что она завершена. Значит, три первых акта вполне готовы, увязаны с «Еленой», и тем самым преодолено наиболее трудное. Конеч, как Вы мне говорили, уже готов; четвертый акт, надо думать, вскоре будет закончен, а следовательно, закончено все великое творение, на радость грядущим векам. Я бесконечно рад этому и любую новую весть о продвижении поэтического воинства встречу ликованием.

В путешествии мне то и дело приходил на ум «Фауст» и многие его классические строки применительно к различным впечатлениям. Когда в Италии мне встречалось много красивых людей и дети поражали меня своим цветущим видом, я тотчас же вспоминал:

Здесь все бессмертны, словно боги,  
Улыбка у людей чиста,  
Довольство, чуждое тревоги,  
Наследственная их черта.  
Лазурью ясною согрето,  
Мужает здешнее дитя.  
Невольно спросишь: люди это  
Иль олимпийцы, не шутя?<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Перевод Б. Пастернака.

А когда красота природы потрясала меня, когда мой взор и сердце тешили озера, долины и горы, невидимый озорной бесенок всякий раз нашептывал мне:

В конце концов признать пора  
Мои груды, толчки и встряски.  
Без них могла ль земли кора  
Такой прекрасной быть, как в сказке? <sup>1</sup>

В этот миг для меня более не существовало разумного созерцания, вокруг царила какая-то бессмыслица, я чувствовал, что все во мне переворачивается, и мне оставалось только расхохотаться.

При подобных оказиях мне уяснилось, что поэт, видимо, должен всегда быть позитивным. Ведь человек нуждается в нем, чтобы сказать то, что сам он выразить не в состоянии. Захваченный каким-либо явлением или чувством, он ищет слов, собственный словарный запас кажется ему недостаточным. И тут на помощь ему приходит поэт и утоляет его жажду.

С этим чувством я твердил две первые благословенные строфы и, от души смеясь, клял последние два стиха. Но кто посмел бы сокрушаться о том, что они существуют, — ведь место для них выбрано то, где они всего красноречивее взывают к нашим чувствам.

Дневника в подлинном смысле этого слова я в Италии не вел. Впечатления слишком быстро сменяли друг друга, слишком были грандиозны, слишком многочисленны, и тотчас же усвоить их я был просто не в состоянии. Но мои глаза и уши все время были напряжены, и я многое замечал. Теперь я хочу перегруппировать свои воспоминания и обработать их по отдельным рубрикам. Пожалуй, самые интересные мои наблюдения относятся к *учению о цвете*, и я заранее радуюсь возможности рассказать Вам о них. Ничего нового в них, собственно, нет, но всегда приятно обнаружить подтверждения старого закона.

В Генуе большой интерес к Вашему учению выказал *Стерлинг*. То, что было ему известно из Ньютоновой теории, его не удовлетворяло, поэтому он с большим вниманием меня слушал, когда я в неоднократных беседах, по мере сил, излагал ему основные принципы Вашей теории. Буде Вам представится случай послать в Геную экземпляр Вашего труда, можно с уверенностью сказать, что этот подарок был бы принят с великой радостью.

---

<sup>1</sup> Перевод Б. Пастернака.

Здесь, в Женеве, я уже три недели назад нашел любознательную ученицу в лице моей подруги *Сильвестры*. Кстати, я сделал одно наблюдение: простое усваивается труднее, чем мы думаем, и для того, чтобы в многообразнейших частностях явления отыскать основной закон, нужна немалая сноровка. Но зато это прекрасно упражняет наш ум, — природа ведь особа очень щепетильная, и надо постоянно остерегаться, чтобы не задеть ее не в меру поспешным высказыванием.

Увы, в Женеве этот важнейший вопрос не возбуждает ни малейшего интереса. Не говоря уж о том, что в местной библиотеке не имеется Вашего «Учения о цвете», здесь даже не подозревают о его существовании. Но это скорее вина немцев, чем жителей Женевы, тем не менее меня это злит и провоцирует на колкие замечания.

Как известно, в Женеве некоторое время прожил лорд *Байрон*. Не любя здешнего общества, он дни и ночи проводил среди природы, на озере, о чем женевицы рассказывают еще и доныне; в «*Чайльд Гарольде*» имеются прекрасные строки, посвященные воспоминаниям об этих днях. Поэта поразил цвет Роны, и хотя он, конечно, не подозревал, отчего возник этот цвет, но обнаружил недюжинную зоркость. В примечании к третьей песни говорится:

The colour of the Rhone at Geneva is blue, to a depth of tint which I have never seen equalled in water, salt or fresh, except in the Mediterranean and Archipelago<sup>1</sup>.

Воды Роны, теснясь, чтобы прорваться сквозь город, разделяются на два рукава, через которые перекинута четьре моста; прогуливаясь по ним в ту и другую сторону, хорошо видишь цвет воды.

И самое тут примечательное, что в одном рукаве вода *синяя*, то есть такая, какой ее видел Байрон, а в другом *зеленая*. В рукаве, вода которого кажется синей, течение стремительное, оно так глубоко прорыло дно, что свет туда уже не проникает, и в глубинах царит полнейший мрак. Чистейшая вода в данном случае играет роль мутной среды, и таким образом, согласно Вашему закону, возникает прекраснейшая синева. Другой рукав менее глубокий, свет еще достигает дна, так что даже камни видны,

---

<sup>1</sup> Цвет Роны под Женевой синий, более глубокой синевы ни пресной, ни соленой воды я не видел, разве что в Средиземном и Эгейском морях (*англ.*).

и поскольку внизу недостаточно темно, для того чтобы вода стала синей, дно же в этом рукаве неровное, нечистое и недостаточно белое и блестящее, чтобы создать желтизну, то цвет воды, имея промежуточный оттенок, производит впечатление зеленого.

Будь я, как Байрон, склонен к озорным проделкам и будь у меня средства для их осуществления, я сделал бы следующий эксперимент:

В зеленом рукаве Роны, вблизи от моста, то есть там, где ежедневно проходят тысячи людей, я бы велел укрепить черную доску или что-то в этом роде на глубине, достаточной для возникновения беспримесной синевы, а неподалеку от нее установил бы под водой большой кусок белой блестящей жести на таком расстоянии от ее поверхности, чтобы при свете солнца она взблескивала яркой желтизной. Прохожие, завидев в зеленой воде два пятна — желтое и синее, были бы ошеломлены дразнящей загадкой. В путешествии чего только не придумаешь, но такая шутка, по-моему, хотя бы осмысленна и вдобавок не бесполезна.

На днях я зашел в книжную лавку, и в первом же попался мне в руки томике в двенадцатую долю листа прочитал слова, в моем переводе звучащие так:

«А теперь скажите мне: если вы открыли истину, надо ли возвещать ее? Попробуйте ее обнародовать, и несметное число людей, живущих противоположным заблуждением, станут преследовать вас, заверяя, что это заблуждение и есть истина, а все, что стремится ее опровергнуть, — величайшее из заблуждений».

Это место, подумал я, словно бы написано об отношении специалистов к Вашему учению о цвете, и так оно мне понравилось, что из-за него я купил книжечку. В ней оказались «Павел и Виргиния» и еще «La Chaumière indienne»<sup>1</sup> *Бернардена де Сен-Пьера*, а значит, мне не пришлось раскаиваться в своей покупке. Книжку эту я читал с удовольствием. Чистота и благородство чувств автора, изящество повествования освежили мне душу, а то, как искусно он пользуется многими общепринятыми иносказаниями, положительно восхитило меня.

Недавно я впервые ознакомился с *Руссо* и *Монтескье*. Но чтобы мое письмо само не разрослось в книгу, я на сей раз обойду молчанием как это, так и многое другое, о чем мне хотелось бы Вам поведать.

---

<sup>1</sup> «Индийская хижина» (фр.).

После того как третьего дня я написал Вам длинное письмо и тем самым свалил камень со своего сердца, я ощутил себя веселым и свободным, чего со мной не бывало уже много лет. Меня непрерывно тянет писать, писать и говорить. Я в самом деле чувствую насущную потребность хотя бы недолгий срок прожить вдали от Веймара, очень надеюсь, что Вы одобрите мое намерение, и предвижу то время, когда Вы мне скажете, что я поступил правильно.

Завтра «Севильский цирюльником» открывается здешний театр. Я хочу еще побывать там, но потом уеду уже всерьез. Погода, видимо, разгуливается и поощряет меня к отъезду. Здесь дождь лил с самого дня Вашего рождения, когда рано утром началась гроза, которая, надвинувшись от Лиона, шла вверх по Роне к озеру и дальше на Лозанну, так что гром грохотал почти непрерывно. Я живу в комнате за шестнадцать су в день, из нее открывается прекраснейший вид на озеро и горы. Вчера внизу шел дождь, было холодно и наиболее высокие вершины Юры, когда ливень утих, впервые предстали перед нами, покрытые снегом, который сегодня уже стаял. Предгорья Монблана начали окутываться постоянной белой пеленой; на высоком берегу озера, в зеленых лесных зарослях кое-какие деревья уже потемнели и пожелтели; ночи становятся холодными, — словом, осень стучится в дверь.

Мой нижайший поклон госпоже фон Гете, фрейлейн Ульрике, Вальтеру, Вольфу и Альме. Мне хочется многое написать госпоже фон Гете о Стерлинге, завтра я этим займусь.

Очень хотел бы получить от Вашего превосходительства весточку во Франкфурте и пребываю в счастливой надежде на нее.

С наилучшими пожеланиями, преданный Вам

Э.

Двадцать первого сентября я выехал из Женевы и, задержавшись на несколько дней в Берне, 27-го добрался до Страсбурга, где, в свою очередь, пробыл несколько дней.

Здесь, проходя мимо парикмахерской, я увидел за стеклом маленький бюст Наполеона, который на фоне темного помещеня, поскольку я смотрел на него с улицы, явил мне все градации *синевы*, от молочно-голубого оттенка до темно-лилового. Я сообразил, что если смот-

реть на бюст против света, то есть из помещения парикмахерской, то он явит мне еще и все градации *желтизны*. Итак, не в силах подавить в себе мгновенно вспыхнувшее желанье, я вошел к людям, совершенно мне незнакомым, и сразу же взглянул на бюст, который, к вящей моей радости, переливался всем великолепием активных цветов, от чуть желтого до рубиново-красного. Я тотчас же спросил, не согласится ли хозяин уступить мне изображение великого героя. Тот отвечал, что он, будучи рьяным почитателем императора, недавно привез этот бюст из Парижа, но поскольку моя любовь, видимо, превосходит его чувство, что можно заключить по моему энтузиазму, то я имею преимущественное право на владенье сокровищем, которое он охотно мне переуступает.

В моих глазах это стеклянное изделие было драгоценностью, почему я не без удивления взглянул на доброго его владельца, когда он за несколько франков передал его мне из рук в руки.

Я послал этот бюст Гете вместе с купленной мною в Милане, тоже достаточно примечательной, медалью в качестве маленького подарка с дороги, уверенный, что он оценит таковой по достоинству.

Во Франкфурте и позднее я получил от Гете следующие письма.

#### ПЕРВОЕ ПИСЬМО

В нескольких словах хочу сообщить, что оба Ваши письма из Женевы благополучно прибыли, правда, только 26 сентября. Посему я спешу сказать Вам следующее: оставайтесь во Франкфурте, покуда, хорошенько все обдумав, мы не решим, где Вам лучше провести следующую зиму.

Прилагаю письмецо к господину тайному советнику *фон Виллемеру* и его супруге, каковое прошу передать поскорее. Вы встретите чету друзей, связанных со мною наилучшими чувствами, они сумеют сделать Ваше пребывание во Франкфурте полезным и приятным.

На сей раз все. Напишите мне сразу же по получении этого письма.

Неизменно Ваш

*Гете.*

*Веймар,  
26 сентября 1830 г.*

## ВТОРОЕ ПИСЬМО

От всей души приветствую Вас, дорогой мой, в родном моем городе и надеюсь, что Вы с удовольствием провели несколько дней в тесном общении с моими добрыми друзьями.

Против Вашего желания поехать в *Нордгейм* и остаться там какое-то время мне возразить нечего, тем паче если вы намереваетесь в тиши заняться рукописью, которая находится у Сорэ. Я, правда, не хочу, чтобы она скоро вышла в свет, но охотно просмотрю ее вместе с Вами и внесу необходимые поправки. Если я смогу засвидетельствовать, что она сделана вполне в моем духе, это повысит ее ценность.

Больше сейчас ничего не скажу, поступайте по собственному усмотрению, жду вестей. Мои домашние шлют Вам наилучшие пожелания, никого из тех, кто охотно бы присоединился к ним, я, со времени получения Вашего письма, еще не видел.

Желаю всего, всего хорошего, преданный Вам

*И.-В. фон Гете.*

*Веймар,  
12 октября 1830 г.*

## ТРЕТЬЕ ПИСЬМО

То живое впечатление, которое Вы испытали при виде удивительного бюста, передающего многообразную игру цвета, желанье завладеть таковым, очаровательное приключение, засим последовавшее, наконец, добрая мысль почтить меня таким подарком — все это свидетельствует о том, до какой степени Вы прониклись величием прафеномена, вновь открывшегося Вам во всем своем многообразии. Эта отзывчивость мысли и чувства будет плодотворно сопутствовать Вам в течение всей Вашей жизни и по-разному духовно обогащать ее. Заблуждения хранятся в библиотеках, истина живет в человеческом духе. Одна книга порождает другую, и так до бесконечности, духу же отраднo соприкосновение с вечно живыми празаконами, ибо ему дано постигать простейшее, распутывать запутанное и прояснять для себя темное.

Ежели Ваш демон вновь приведет Вас в Веймар, вы найдете бюст Наполеона на месте, ярко освещаемом солн-

цем, и увидите под спокойной синевой прозрачного лица плотную массу груди и эполет то густо-, то светло-рубинового цвета. И как статуя Мемнона являет нам все оттенки гранита, так в данном случае мутное стекло нас поражает неслыханным великолепием красок. Похоже, что герой победил и в учении о цвете. Примите мою нижайшую благодарность за неожиданное подтверждение столь дорогой мне теории.

Медаль Ваша тоже значительно обогатила мою коллекцию. Имя *Дюпре* стало привлекать мое внимание. Превосходный скульптор, отливщик и медальер, он сделал модель и сам же отлил память Генриху Четвертому на Понт-Нёф. Присланная Вами медаль подстрекнула меня пересмотреть все остальные в моем собрании, и я обнаружил еще несколько отличных медалей с его подписью и несколько неподписанных, но, видимо, сделанных той же рукой; как видите, Ваш подарок и тут сыграл немаловажную роль.

С моей *«Метаморфозой»* и прилагаемым к ней переводом *Сорэ* мы добрались лишь до пятого листа. Я долго не знал, благословлять мне эту затею или проклинать ее. Но поскольку она ввергла меня в занятия органической природой, я радуюсь и с охотой им предаюсь. Исходное положение, коим я руководствовался более сорока лет, для меня и теперь остается в силе. Придерживаясь его, можно успешно пройти по всему лабиринту постижимого вплоть до границы непостижимого и там остановиться, довольствуясь тем, что тебе открылось. Водь продвинуться дальше не удавалось еще ни одному философу ни древности, ни нового времени. И едва ли кому подобает черным по белому высказываться о том, что лежит за этим пределом.

*И.-В. фон Гете.*

Во время моего пребывания в Нордгейме, куда я после остановок во Франкфурте и Касселе, добрался только к концу октября, все словно бы соединилось для того, чтобы сделать для меня желательным возвращение в Веймар.

Гете не дал своего согласия на скорое опубликование «Разговоров», и, следовательно, на успешном начале чисто литературной карьеры приходилось поставить крест.

Вдобавок свиданье с невестой, которую я любил в течение долгих лет и с каждым днем все больше проникался

сознанием ее незаурядных достоинств, пробудило во мне жгучее желание наконец соединиться с ней, а значит, и обеспечить себе существование.

Вот в этом душевном состоянии меня и застало письмо из Веймара, посланное по повелению *великой герцогини* и чрезвычайно меня обрадовавшее, как то видно из моего нижеприведенного письма к Гете.

*Нордгейм, 6 ноября 1830 г.*

«Человек предполагает, а бог располагает»; не успеешь глазом моргнуть, и наши желания и намерения становятся уже не теми, которыми были раньше.

Какой-нибудь месяц назад я побаивался возвращения в Веймар, а нынче не только хочу воротиться побыстрее, но еще лелею намерение остаться там навсегда, и более того — зажить своим домом.

Несколько дней назад я получил письмо от *Сорэ* с предложением от имени великой герцогини обеспечить меня постоянным жалованьем, буде я захочу вернуться в Веймар и продолжать занятия с принцем. При встрече Сорэ собирается сообщить мне еще что-то приятное. Из всего этого я заключаю, что в Веймаре ко мне отнесутся с благорасположением.

Как охотно я бы поспешил написать Сорэ о своем согласии, но мне стало известно, что он уехал к родным в Женеву, и я вынужден покорнейше просить Ваше превосходительство взять на себя труд передать ее императорскому высочеству, что я в ближайшее время приеду в Веймар.

Надеюсь, что это известие будет и Вам до какой-то степени приятно, ибо Вы давно уже печетесь о моем счастье и душевном спокойствии.

Шлю свой нижайший поклон всем Вашим милым домочадцам и уповаю на скорое и радостное свидание.

Э.

Двадцатого ноября после обеда я выехал из Нордгейма по дороге на Геттинген, до которого добрался уже впопыхах.

Вечером за табльдотом хозяин, узнав, что я из Веймара и нахожусь на обратном пути туда, спокойно сказал, что великому поэту Гете, в его преклонном возрасте, суждено еще испытать тяжкое горе: сегодня он прочитал в газетах, что его единственный сын скончался в Италии от удара.

Нетрудно себе представить, что я испытал, услышав это. Я взял свечу и поспешил в свою комнату, дабы посто-

ронные люди не стали свидетелями моего душевного потрясения.

Ночь я провел без сна. Печальное событие, столь близко меня касавшееся, не шло у меня из головы. Последующие дни и ночи в дороге, а затем в Мюльгаузене и Гете я провел в таком же смятении. Один, в дорожном экипаже, за окошком тусклые ноябрьские дни и пустынные поля, ничто внешнее не в состоянии рассеять или ободрить меня, направить мои мысли в другую сторону, а на постоянных дворах среди проезжающих только и разговоров, что о последней новости дня, то есть о трагическом событии, так больно меня задевшем. Тревога, что Гете, в его преклонные годы, не снесет подобного удара. «И какое впечатлительно и е, — говорил я себе, — произведет на него твой приезд, ты уехал с его сыном, а воротился один! Взглянув на тебя, он впервые ощутит всю горечь утраты».

Терзаясь такими мыслями, во вторник, 23 ноября, в шесть часов пополудни я добрался до последней почтовой станции перед Веймаром. Второй раз в жизни довелось мне почувствовать, что судьба готовит человеку суровые испытания и он обязан пройти через них. Мысленно я взывал к провидению там, надо мной, когда вдруг месяц глянул на меня, выйдя из-за густого покрова туч, который тотчас же перед ним сомкнулся. Была ли то случайность или нечто большее, так или иначе, я счел это за доброе предзнаменование, и оно укрепило мой дух.

Едва поздоровавшись со своими хозяевами, я заторопился к Гете. Сначала я прошел к госпоже фон Гете. Она уже надела глубокий траур, но сохраняла спокойствие и самообладание; мы о многом поговорили.

Засим я пошел вниз, к Гете. Он встал, прямой, крепкий, и заключил меня в объятия. Выглядел он здоровым и невозмутимым; мы сели, и у нас сразу же завязалась интересная беседа. Я чувствовал себя беспредельно счастливым, вновь свидевшись с ним. Гете показал мне два начатых письма, которые намеревался послать мне в Нордгейм, но так и не отправил. Потом мы говорили о великой герцогине, о принце и еще о многом другом, только о его сыне ни словом не обмолвились.

*Четверг, 25 ноября 1830 г.*

Утром Гете прислал мне несколько книг — подарки от английских и немецких авторов, доставленные в Веймар на мое имя. Днем я отправился к нему обедать. Когда я

вошел, он рассматривал папку с гравюрами и оригинальными рисунками, которые ему предлагали купить. Он сказал, что утром великая герцогиня почтила его своим посещением и что он сообщил ей о моем возвращении.

Госпожа фон Гете присоединилась к нам, и мы сели за стол. Меня заставили рассказывать о моем путешествии. Я говорил о Венеции, о Милане, о Генуе, но Гете, видимо, всего больше интересовали подробности жителя-бытия тамошнего английского консула. Далее я заговорил о Женеве, и он участливо осведомился о семействе *Сорэ* и господине *фон Бонитеттене*. О последнем он хотел узнать как можно больше, я по мере сил удовлетворил его любопытство.

После обеда Гете упомянул о моих «Разговорах», что было мне очень приятно.

— Это станет первой вашей работой, — сказал он, — и мы от нее не отступимся, покуда все не будет завершено и отделано.

Вообще же Гете показался мне сегодня необычно тихим и ушедшим в себя, я счел это дурным знаком.

*Вторник, 30 ноября 1830 г.*

В прошлую пятницу Гете поверг нас в немалую тревогу, ночью у него случилось сильное кровоизлияние, и весь день он был близок к смерти. Он потерял, считая и кровопускание, шесть фунтов крови, что не так-то просто для восьмидесятилетнего старца. Однако искусство его врача, надворного советника *Фогеля*, в соединении с несравненной его природой и на сей раз одержали победу, так что он уже большими шагами близится к выздоровлению; к нему вернулся превосходный аппетит, и он опять спокойно спит по ночам. К нему никого не пускают, говорить ему запрещено, но вечно живой его дух не знает покоя, он уже снова думает о предстоящих трудах. Сегодня утром я получил от него записку, написанную карандашом в постели:

«Будьте добры, любезный доктор, просмотрите еще разок эти уже известные Вам стихи, а новые расположите так, чтобы они вписались в целое. Засим последует «*Фауст*»!

До радостной встречи!

*Гете.*

*В., 30 ноября 1830 г.*

После быстрого и полного выздоровления весь интерес Гете сосредоточился на четвертом акте «*Фауста*» и на завершении четвертого тома «*Поэзии и правды*».

Мне он поручил отредактировать свои мелкие, никогда ранее не печатавшиеся произведения, а также просмотреть его дневники и письма, чтобы выяснить, как поступать с ними при следующем издании.

О редактировании моих разговоров с ним даже думать не приходилось. К тому же я считал, что разумнее будет не заниматься уже записанным, а пополнять свой запас новыми записями, покуда судьба мне благоприятствует.



*Суббота, 1 января 1831 г.*

Несколько недель кряду я по годам просматривал письма Гете к разным лицам, сброшюрованные копии которых хранятся у него с 1807 года, и теперь в нижеследующих параграфах хочу записать кое-какие общие замечания, возможно, могущие пригодиться при редактировании будущего издания.

#### § 1

Прежде всего возникает вопрос, не лучше ли опубликовать только отдельные места этих писем, то есть как бы выдержки из них.

Но тут я должен заметить, что Гете, в силу своей природы, даже к самым незначительным делам приступал энергично и целенаправленно — свойство, отчетливо проявившееся в письмах, автор которых, обсуждая любой вопрос, всегда остается самим собой, так что каждый листок, от первого до последнего слова, не только прекрасно написан, но нет в них ни единой строчки, в коей не сказывался бы его высокий дух и редкая образованность.

Посему я стою за то, чтобы письма печатались целиком, с начала и до конца, ведь особо значительные места нередко приобретают истинный блеск и убедительнейшее воздействие именно в связи с тем, что им предшествует или за ними следует.

Если же взглядеться попристальнее и противопоставить сии письма великому многообразию мира, кто дерзнет сказать, какое место в них значительно и, следовательно, достойно опубликования, а какое нет? Ведь у грамматика, биографа, философа, этика, естествоиспытателя, художника, профессора, актера и так далее до бесконечности интересы различны, и один пропускает то место, в которое другой будет внимательно вчитываться, стремясь его усвоить.

Так, например, в первой тетради имеется письмо от 1807 года к одному другу, чей сын хотел посвятить себя лесному делу, и Гете описывает ему его будущие занятия. Такое письмо, вероятно, пропустит молодой литератор, лесничий же с радостью отметит, что взор поэта проник и в *его* дело, что и здесь он сумел подать полезный совет.

Посему повторяю: я стою за издание этих писем без изъятий, такими, каковы они есть, тем паче, что в этом виде они уже распространились по свету, и, конечно же, надо считаться с тем, что адресаты со временем их напечатывают в том виде, в каком они были ими получены.

## § 2

Но если бы среди писем нашлись не подлежащие публикации без сокращений, но тем не менее интересные и важные, я бы порекомендовал выписать сокращенные места и либо распределить их по годам, к которым они относятся, либо выделить в особое собрание.

## § 3

Может случиться, что письму, впервые попавшемуся нам в одной из тетрадей, мы не придадим особого значения и не сочтем нужным опубликовать его. Но если по письмам за другой какой-нибудь год мы установим, что письмо это не осталось беспоследственным, иными словами, что оно является первым звеном длинной цепи, то его необходимо опубликовать.

#### § 4

Могут, конечно, возникнуть сомнения, что лучше: объединить письма соответственно *лицам*, которым они написаны, или распределить их попеременно, по годам.

Я бы предложил последнее, во-первых, потому, что это внесет приятное разнообразие в такое собрание, ибо письма к разным людям отличны не только по тону, но и по содержанию. Тут речь идет о театре, там о поэтическом труде или о естествознании, о семейных делах или об отношении к высоким особам, к друзьям и так далее.

Я стою за издание писем в хронологическом порядке еще и потому, что письма, написанные в одном году, касаясь многого, что тогда волновало умы, воссоздают не только характерные черты данного года, но широко охватывают настроения и занятия пишущего, а значит, могут внести ряд новых интересных подробностей в ранее изданную суммарную биографию «Анналы».

#### § 5

Письма, отданные в печать получателями таковых, возможно, потому, что они содержат признание их заслуг или еще нечто похвальное и примечательное, надо повторно включить в это собрание отчасти потому, что они от него неотъемлемы, отчасти же потому, что адресаты получают известное удовлетворение, так как это перед всеми подтвердит подлинность сохранившихся у них документов.

#### § 6

Вопрос, надо или не надо помещать в собрании рекомендательные письма, следует решать в зависимости от личности рекомендуемого. Если он не стал сколько-нибудь значительным человеком и ничего особо примечательного в письме не содержится, его следует опустить. Если же рекомендуемый успел составить себе имя — письмо надо печатать.

#### § 7

Письма, адресованные лицам, причастным к жизни Гете, как, например, Лафатер, Юнг, Бериш, Книп, Хак-

керт и другие, интересны сами по себе, их надо включать в собрание, даже если они по существу ничем не примечательны.

#### § 10

Вообще же к выбору писем необходимо подходить смелее, ибо они освещают широкие интересы Гете и его разнообразную деятельность во многих областях, не говоря уже о том, что его отношения к самым различным людям, так же как его поведение в самых различных ситуациях, — всегда поучительны.

#### § 9

Если в разных письмах речь идет об одном и том же факте, то следует выбрать из них наиболее выразительные, а если один и тот же пункт повторяется во *многих* письмах, то в некоторых желательно его опустить, оставив лишь там, где он высказан всего ярче.

#### § 11

В письмах от 1811—1812 годов, напротив, автор раз двадцать просит присылать ему автографы выдающихся людей. Такие или похожие места снимать, конечно, не следует, они весьма характерны и берут за живое.

Преыдушие параграфы — результат просмотра писем за 1807, 1808 и 1809 годы. Наблюдения, которые могут возникнуть в дальнейшем, будут добавлены к ним.

Э.

*В., 1 января 1831 г.*

Сегодня после обеда я, пункт за пунктом, обсудил с Гете вышеизложенное, и он охотно согласился на все мои предложения.

— В своем завещании, — сказал он, — я назову вас как издателя этих писем и упомяну о том, что мы с вами, в общих чертах, договорились, как с ними следует поступать.

*Среда, 9 февраля 1831 г.*

Вчера продолжал читать с принцем «Луизу» Фосса и потом записал кое-что для памяти. Я был восхищен великолепным воссозданием разнообразной природы и внешнего обличия героев; и все-таки мне казалось, что стихотворению недостает высокого содержания, и это особенно бросается в глаза в диалогах, когда действующие лица говорят о своей внутренней жизни. В «Векфилдском священнике» речь тоже идет о сельском пасторе и его семье, но автор этой книги обладал более широким культурным кругозором, коим он, так же как и богатой душевной жизнью, наделил своих персонажей. В «Луизе» преобладает средний, обиходный уровень культуры, вполне удовлетворяющий известный круг читателей. Что касается стихов, то гекзаметр, по-моему, слишком претенциозен для столь ограниченной жизни и обстоятельств, вдобавок у Фосса он часто кажется несколько принужденным и жеманным, да и периоды иной раз звучат неестественно, отчего их трудно прочесть. За обедом я высказал все это Гете.

— Прежние издания стихотворения, — сказал он, — были в этом смысле много лучше, я, помнится, читал его с удовольствием. Позднее Фосс стал мудрить над ним и своими техническими выдумками испортил то, что было естественным и легким в этих стихах. Нынче вообще все внимание устремлено на технику, и господа критики поднимают шум, если, упаси боже, заметят одну не вполне чистую рифму. Будь я помоложе и позадиристее, я бы нарочно погрешал против их технических причуд, пользуясь аллитерациями, ассонансами и неточными рифмами, сколько мне вздумается, зато я бы постарался высказать такое, что каждому бы захотелось это прочитать и выучить наизусть.

*Пятница, 11 февраля 1831 г.*

Сегодня за обедом Гете сказал мне, что приступил к работе над четвертым актом «Фауста» и теперь уж будет продолжать ее. Я был просто счастлив.

Далее он очень лестно отзывался о *Карле Шёне*, молодом лейпцигском филологе, который написал работу о костюмах в трагедиях Еврипида и в ней, несмотря на свою незаурядную ученость, высказал лишь то, что имеет непосредственное отношение к его теме.

— Меня порадовало, — сказал он, — что Шёне с такой творческой серьезностью подходит к делу, тогда как в последнее время многие филологи только и знают, что затевать споры из-за коротких и длинных слогов.

Такое ковыряние в технических мелочах — всегда признак непродуктивной эпохи, как, разумеется, и личности того, кто в них погрязает.

Правда, это еще не единственная помеха. Граф *Платен*, например, удовлетворяет едва ли не всем требованиям, которые мы предъявляем к хорошему поэту: воображения, изобретательности, ума и продуктивности ему не занимать, статья, технически он весьма и весьма оснащен, эрудиции и серьезности у него тоже предостаточно, но ему мешает злополучный полемический азарт.

А то, что даже величие Неаполя и Рима не заставили его позабыть о жалких неурядицах немецкой литературы, — непростительно для человека, столь одаренного. По его *романтическому «Эдипу»*, особенно по технике выполнения, смело можно сказать, что именно Платен в состоянии создать лучшую немецкую трагедию, но поскольку в «Эдипе» он попытался спародировать трагические мотивы, то как прикажете ему всерьез работать над трагедией?

И затем — об этом почему-то никогда не думают — такая ненужная суэта подчиняет себе нашу душу, образы наших врагов становятся призраками, которые играют с ними недобрые шутки в разгар нашей свободной творческой деятельности и вносят смятение в чувствительную душу поэта. Лорд Байрон погиб от своего полемического задора, Платен же имеет все основания свернуть с этого пагубного пути, на благо немецкой литературе.

*Суббота, 12 февраля 1831 г.*

Читаю Евангелие и думаю о картине, которую мне на днях показывал Гете. Христос идет по морю, Петр по волнам спешит ему навстречу, но, на мгновение утратив присутствие духа, начинает тонуть.

— Это одна из прекраснейших легенд, — сказал Гете, — я очень ее люблю. В ней высказана высокая мысль: человек благодаря вере и мужеству своего духа побеждает даже в труднейшем начинании, но стоит толике сомненья закрасться в него, и он погиб.

Обед у Гете. Он говорит, что продолжает работу над четвертым актом «Фауста» и это начало у него получилось именно таким, как он хотел.

— *Что* должно в этом акте происходить, — сказал он, — я, как вам известно, знал уже давно, но *как* оно происходит, меня еще не очень-то удовлетворяло, и я радуюсь удачным мыслям, которые наконец меня осенили. Теперь я могу заполнить брешь между «Еленой» и готовым пятым актом; я основательно все продумаю и набросаю подробную схему, чтобы уверенно и с полным удовольствием работать над теми сценами, которые мне в данный момент приглянулись. Этот акт тоже будет носить обособленный характер, настолько, что явится как бы замкнутым мирком, не касающимся всего остального и лишь едва приметными узами связанным с предыдущим и последующим, иными словами — с целым.

— В этом будет его общее с другими актами, — сказал я, — ибо по сути дела и «Ауэрбахский погребок» и «Кухня ведьмы», «Блоксберг», «Государственный совет», «Маскарад», бумажные деньги, лаборатория, «Классическая Вальпургиева ночь», «Елена» — это самостоятельные маленькие миры; в каком-то смысле они, правда, взаимодействуют, но мало друг с другом соприкасаются. Поэт стремится поведать о многообразии мира и сказания о прославленных героях использует лишь как путеводную нить, на которую нанизывает все, что ему вздумается. Так обстоит с «Одиссеей», не иначе и с «Жиль Блазом».

— Вы совершенно правы, — сказал Гете, — при такой композиции главное, чтобы отдельные массивы были значительны и ясны, целое все равно ни с чем не соразмеришь, но именно потому оно, как любая неразрешенная проблема, будет упорно привлекать к себе внимание людей.

В ответ на это я рассказал о письме некоего молодого военного, которому я, так же как и другие его друзья, посоветовал поступить на иностранную службу и который теперь, поскольку тамошние обычаи пришлись ему не по нраву, поносит всех своих советчиков.

— Страшная штука эти советы, — произнес Гете, — а уж если ты собственными глазами убедился, как часто разумнейшие начинания терпят крах, а нелепейшие приводят к счастливой развязке, у тебя навек отпадет желание давать советы. Да ведь, по правде говоря, тот, кто просит совета, — глуп, а тот, кто его дает, — самонадеян. Совето-

вать можно лишь в деле, в котором ты сам собираешься участвовать. Ежели кто-нибудь у меня просит доброго совета, я отвечаю, что готов дать его с условием, что он ему не последует.

Разговор перешел на Новый завет, и я сказал, что недавно перечитывал то место, где Христос идет по морю, а Петр ему навстречу.

— Если долго не читать евангелистов, — добавил я, — не можешь надивиться их нравственному величию. А в высоких требованиях, которые они предъявляют к нашей нравственной силе воли, слышится своего рода категорический императив.

— В первую очередь, — вставил Г е т е , — это категорический императив веры; Магомет со временем еще дальше пошел по этому пути.

— Вообще же , — сказал я , — Евангелия, когда в них вчитаешься повнимательнее, полны отклонений и противоречий, бог весть какие превратности судьбы испытали эти книги, прежде чем они были собраны воедино и приведены в тот вид, в каком они нам известны.

— Поставить себе задачей историко-критическое исследование этого вопроса — все равно — все равно, что вознамериться выпить м о р е , — сказал Г е т е . — Куда разумнее без долгих размышлений принять все как есть и усвоить из этого то, что содействует нашей нравственной культуре и укрепляет ее. Вообще-то, конечно, хочется представить себе еще и местность, и тут самое лучшее, что я могу порекомендовать вам, это прекрасный труд Рера о Палестине. Покойный великий герцог так дорожил этой книгой, что купил ее дважды. Первый экземпляр он, по прочтении, подарил библиотеке, а другой оставил себе, чтобы всегда иметь его под рукой.

Я подивился интересу великого герцога к такого рода книге.

— В этом смысле, — сказал Г е т е , — он был человеком необыкновенным. В любой области все сколько-нибудь значительное возбуждало его интерес. Он неустанно стремился вперед и все новые изобретения и устройства старался внедрить в своем герцогстве. Если же что-то не удавалось, он больше об этом не говорил. Я частенько ломал себе голову, как оправдать в его глазах ту или иную неудачу, но он принимал ее с беззаботной веселостью и уже опять помышлял о чем-то новом. Таково уж было величие его натуры, к тому же не привитое воспитанием, а врожденное.

После обеда, рассматривая гравюры на меди по карти-

нам современных художников, главным образом ландшафты, мы с удовольствием отметили, что в них отсутствует какая бы то ни было фальшь.

— В мире уже веками существует столько хорошего, — сказал Гете, — что, право, не стоит удивляться, если его воздействие продолжается и, в свою очередь, порождает хорошее.

— Плохо только, — заметил я, — что различные теории сбивают с толку молодых талантливых людей и те зачастую не знают, какому святому молиться.

— Да, и тому есть множество примеров, — сказал Гете, — целые поколения страдали и гибли от предвзятых мнений, — впрочем, и мы немало от таких натерпелись. А в наши дни еще и печать, которая позволяет открыто проповедовать любое заблуждение! Если художественный критик с годами начнет мыслить правильнее и пожелает публично признать свои прежние ошибки, все равно окажется, что его лжеучение уже сделало свое дело, да и впредь будет, наподобие лианы, обвиваться вокруг всего правильного и доброго. Утешением мне служит лишь то, что истинный талант не позволит сбить себя с толку и загубить.

Мы продолжали рассматривать гравюры.

— Это и вправду отличные картины, — сказал Гете. — Их авторы — одаренные люди, которые многому научились и выработали в себе вкус и понимание искусства. И все же их произведениям кое-чего недостает, а именно: *мужества*. Заметьте себе это слово и подчеркните его. В этих картинах нет той всепроникающей силы, которая всюду проявлялась в минувших столетиях, а сейчас ее и след простыл, причем не только в живописи, но и во всех прочих искусствах. У нынешнего поколения поубавилось силы, и трудно сказать, родились они такими или же это следствие небрежного воспитания и плохой пищи.

— Кроме того, мы видим, какое значение в искусстве имеют крупные личности, в прежние времена встречавшиеся чаще, чем теперь. В Венеции, стоя перед творениями *Тициана* или *Паоло Веронезе*, ты ощущаешь могучий дух этих мужей, как в остроумнейшей композиции целого, так и в отдельной мельчайшей его подробности. Их широкое энергическое восприятие мира проникает все составные части полотна, а высшая мощь личности художника, расширяя собственное твое существо, поднимает тебя над самим собою. Мужество, о котором вы сейчас говорили, наиболее ярко проявляется в пейзажах *Рубенса*. Разумеется,

это только деревья, земля, вода, облака и скалы, но страшный дух творца этих картин здесь наполнил собою все формы, и пусть мы видим ту же знакомую нам природу, но она пронизана необоримой силой художника и заново воссоздана им, в согласии с его духом и пониманием.

— Разумеется, — сказал Гете, — в пластических искусствах и в поэзии личность — это все. Но, увы, в новейшее время среди критиков и ценителей искусства встречаются худосочные господа, которые с этим не согласны и мощную личность творца расценивают всего лишь как придаток к творению поэтического или пластического искусства.

Но, понятно, чтобы чувствовать и чтить великого художника, надо и самому что-то собой представлять. Все отрицающие возвышенный строй *Еврипидовых* творений — мелкие душонки, неспособные до него возвыситься, или же бесстыдные шарлатаны, которые, пользуясь слабостью нынешнего общества, хотят в его глазах выглядеть значительнее, чем они есть, и преуспевают в этом.

*Понедельник, 14 февраля 1831 г.*

Обедал с Гете. Он эти дни читал мемуары генерала *Раппа*, отчего разговор зашел о *Наполеоне* и о том, как должна была чувствовать себя мадам *Летиция*, мать стольких героев и родоначальница столь могучей семьи. *Наполеона*, второго своего сына, она родила, когда ей было восемнадцать, а ее мужу двадцать три, и на его физической стати, видимо, благотворно сказались юность родителей. После него она родила еще троих сыновей. Всё люди незаурядных способностей, дельные, энергичные и к тому же не лишенные поэтического дара. За четверьмя сыновьями следуют четыре дочери и, наконец, последний сын *Жером*, по-видимому, уже несколько обделенный врожденными талантами.

— Талант, конечно, не передается по наследству, но у него должна быть устойчивая физическая основа, почему и не безразлично, рожден ли человек первым или последним, от сильных и молодых родителей или от ослабевших и старых.

— Странно, — сказал я, — что из всех талантов раньше всего обнаруживается талант *музыкальный*, — ведь *Моцарт* на пятом году жизни, *Бетховен* на восьмом и *Хуммель* на девятом уже повергали в изумление окружающих своей игрой и своими музыкальными сочинениями.

— Музыкальный талант, — сказал Гете, — проявляется так рано потому, что музыка — это нечто врожденное, внутреннее, ей не надо ни питания извне, ни опыта, почерпнутого из жизни. Но все равно явление, подобное Моцарту, навеки пребудет чудом, и ничего тут объяснить нельзя. Да и как, спрашивается, мог бы всевышний повсеместно творить свои чудеса, не будь у него для этой цели необыкновенных индивидуумов, которым мы только удивимся, не понимая: и откуда же такое взялось.

*Вторник, 15 февраля 1831 г.*

Обедал с Гете. Я рассказывал ему о театре. Он считает, что пьеса, которую давали вчера, *«Генрих Третий Дюма»*, превосходна, но публике она не по зубам.

— Будь я сейчас директором театра, — сказал он, — я бы не решился ее ставить, мне еще памятно, сколько трудов я положил, чтобы протащить на сцену *«Стойкого принца»*, пьесу куда более человечную, поэтическую и, собственно говоря, более близкую нам, чем *«Генрих Третий»*.

Я заговариваю о *«Великом Кофте»*, которого перечитывал на днях. Останавливаюсь на отдельных сценах и под конец упоминаю о том, как мне хотелось бы увидеть его на сцене.

— Мне приятно, — сказал Гете, — что «Великий Кофта» пришелся вам по душе и что вы уловили то, что я вложил в него. По правде сказать, не так уж просто было сначала поэтически обработать вполне реальный факт, а потом еще приспособить эту обработку для театра. И все-таки вы не станете отрицать, что в целом эта вещь задумана для сцены. Шиллер очень ее одобрял, и один раз мы ее поставили. У избранного общества она имела ошеломляющий успех. Но для широкой публики такая пьеса не годится: преступления, в ней изображенные, отпугивают и оскорбляют ее. По дерзости она сродни *«Театру Клары Газуль»*, и, право же, французский автор может только позавидовать, что я перехватил у него такой хороший сюжет. Я говорю *«такой хороший сюжет»*, имея в виду не только его нравственное, но и большое историческое значение. Факты, мною выбранные, непосредственно предшествуют Французской революции и в известной мере послужили для нее основанием. Королева, безнадежно запутавшаяся в злостной истории с ожерельем, утрачивает свое достоинство, более того — уважение народа, а следовательно, в его глазах и свою неприкосновенность. Нена-

висть никому не вредит, но презрение губит человека. *Коцебу* долго ненавидели, однако лишь после того, как некоторым журналам удалось сделать его имя презренным, его настиг кинжал студента.

*Четверг, 17 февраля 1831 г.*

Обедал с Гете. Я принес ему *«Пребывание в Карлсбаде»*, написанное в 1807 году, которое кончил редактировать сегодня утром. Мы беседуем о тех мудрых мыслях, которые там встречаются наряду с беглыми ежедневными записями.

— Люди почему-то считают, — смеясь, говорит Гете, — что надо состариться, чтоб поумнеть, на самом же деле с годами только и хлопчешь, чтобы остаться таким же умным, каким ты был прежде. Поднимаясь по ступеням жизни, человек, конечно, меняется, но разве он смеет сказать, что становится лучше, не говоря уж о том, что в двадцать лет он о многом судит не менее правильно, чем в шестьдесят.

Разумеется, на равнине мир видится иным, нежели с высот предгорья или с ледников первозданных гор. С одной точки мир открывается шире, чем с другой, но это и все, нельзя сказать, что отсюда мы видим правильное, чем оттуда. И если писатель оставляет нам памятники, созданные в ту или иную пору его жизни, важно лишь, чтобы у него имелся врожденный талант и добрая воля, чтобы он всегда обладал чистотой зрения и восприятия и говорил так, как думает, не преследуя никаких побочных целей. Тогда все им написанное, если оно было правильно в пору своего возникновения, останется правильным и впредь, как бы впоследствии ни развивался и ни менялся автор.

Я полностью согласился с этими словами.

— На днях мне попала в руки какой-то заваливший листок, — продолжал Гете, — я его прочел и сказал себе: «Гм! то, что здесь написано, в общем-то правильно, ты и сам думаешь не иначе, да и сказал бы, пожалуй, так же». Но когда я хорошенько вчитался, выяснилось, что это листок из собственного моего произведения. Постоянно стремясь вперед, я забываю, что написал, и вскоре уже смотрю на свое произведение как на нечто совершенно чуждое.

Я поинтересовался, как идут дела с *«Фаустом»*.

— Он меня уже не отпускает, — сказал Гете, — я все время о нем думаю и каждый день что-нибудь для него изобретаю. Кстати, я велел сброшюровать всю рукопись

второй части, дабы она, как некая ошутимая масса, была у меня перед глазами. Место недостающего четвертого акта я заполнил листами чистой бумаги, ибо заверщенное, без сомнения, манит и подталкивает закончить то, что еще недоделано. В таком чувственном напоминании больше толку, чем можно предположить, а умственному труду следует помогать всякого рода затеями.

Гете велел принести новый, сброшюрованный экземпляр «Фауста», и я был поражен обилием написанного. Передо мною лежала рукопись, составлявшая увесистый том.

— Подумать только, что все это создано за те шесть лет, что я прожил здесь, — сказал я, — а вас ведь отвлекали сотни разных дел и занятий, и вы мало времени могли уделять «Фаусту». Вот наилучшее доказательство, что произведение растет, даже если к нему лишь время от времени что-то добавляют.

— В этом окончательно убеждаешься, становясь старше, — сказал Гете, — в юности полагаешь, что все делается за один день. Если счастье не оставит меня и я впредь буду чувствовать себя хорошо, то в ближайшие весенние месяцы я надеюсь основательно продвинуться с четвертым актом. Как вам известно, этот акт я придумал уже давно, но поскольку остальное неимоверно разрослось во время работы, то из всего придуманного я могу использовать лишь самое общее, и теперь мне придется дополнять этот промежуточный акт новыми сценами, дабы он вышел не хуже других.

— Мир, явленный нам во второй части, — сказал я, — куда богаче, чем в первой.

— Разумеется, — подтвердил Гете, — почти вся первая часть субъективна. Она написана человеком, более подвластным своим страстям, более скованным ими, и этот полумрак, надо думать, как раз и пришелся людям по сердцу. Тогда как во второй части субъективное почти полностью отсутствует, здесь открывается мир, более высокий, более обширный, светлый и бесстрастный, и тот, кто мало что испытал и мало пережил, не сумеет в нем разобраться.

— Да, есть там кое-какие головоломки, — сказал я, — и без известных знаний ко второй части, пожалуй, не подступиться. Я, например, очень рад, что прочитал книжку Шеллинга о *кабирах* и теперь понимаю, о чем вы говорите в одном из прекраснейших мест «Классической Вальпургиевой ночи».

— Всегда считал, — смеясь, сказал Гете, — что знания не вовсе бесполезны.

Пятница, 18 февраля 1831 г.

Обедал с Гете. Разговор о различных формах правления и о трудностях, стоящих на пути чрезмерного либерализма, который, потакая самым различным требованиям, провоцирует все новые и новые, так что никто уже не понимает, какие из них следует удовлетворять. Одни говорят, что невозможно долго править государством с помощью одной только доброты, мягкости и деликатности, ибо правительству придется держать в респекте мир, достаточно пестрый и развращенный. Другие твердят, что править народом — ремесло очень непростое и потому правителю негоже чем-то отвлекаться от своих прямых обязанностей, например, выказывать излишнее пристрастие к искусствам, поскольку это идет в ущерб не только его собственным интересам, но и подтачивает силы государства. Увлечение искусствами надо предоставить частным лицам, имеющим большое состояние.

Далее Гете сказал мне, что его *Метаморфоза растений*» хорошо продвигается благодаря переводу Сорэ и что теперь при дополнительной обработке предмета, прежде всего спиральной тенденции растений, ему неожиданно пришли на помощь новые труды некоторых ученых.

— Мы, как вам известно, — продолжал он, — занимаемся этим переводом уже больше года, тысячи препятствий вставали на нашем пути, временами вся эта затея казалась безнадежной, и я в душе не раз проклинал ее. Но теперь я благодарю бога за эти препятствия, ибо, покуда мы медлили, другие достойные люди сделали интереснейшие открытия, которые не только льют воду на мою мельницу, но дают мне возможность неимоверно продвинуться вперед и завершить мой труд так, как год назад я еще и мечтать не смел. Подобное уже не раз со мной случалось, так что поневоле начинаешь верить во вмешательство высших сил, демонического начала, перед коим ты благоговеешь, не дерзая даже пытаться его себе объяснить.

Суббота, 19 февраля 1831 г.

Обедал у Гете вместе с надворным советником Фогелем. Кто-то прислал Гете брошюру об острове Гельголанде, которую он прочитал с большим интересом и вкратце рассказал нам наиболее существенное из ее содержания,

Вслед за разговорами об этом своеобразном уголке земли пришел черед медицинских вопросов; *Фогель* сообщил нам последнюю новость: в Эйзенахе, несмотря на все прививки, неожиданно вспыхнула эпидемия натуральной оспы и за короткое время унесла много человеческих жизней.

— Природа, — сказал *Фогель*, — нет-нет да и сыграет с нами недобрую шутку, к ней надо очень осторожно подходить со своими теориями. Оспопрививание считалось средством настолько верным и надежным, что было возведено в закон. Но после того, как в Эйзенахе оспой заболели и те, кто подвергся прививке, оно сделалось подозрительным и подорвало уважение к закону.

— Тем не менее, — сказал *Гете*, — я стою за то, чтобы прививки и впредь оставались обязательными, так как исключительный случай не идет ни в какое сравнение с теми необозримыми благодеяниями, которые оказал закон.

— Я полагаю, — заметил *Фогель*, — более того, берусь утверждать, что во всех случаях, когда прививка не помогла и человек заболел натуральной оспой, она была сделана неправильно. Чтобы привитая оспа явилась спасением, она должна быть сильной и сказаться в высокой температуре, легкий зуд без жара ни от чего не предохраняет. Сегодня на собрании медиков я предложил обязать всех ведающих прививками применять *усиленные* дозы.

— Надеюсь, что ваше предложение было принято, — сказал *Гете*, — я всегда ратую за строгое выполнение закона, особенно в такое время, как нынче, когда слабость и преувеличенный либерализм приводят к излишней уступчивости.

Далее речь зашла о том, что теперь даже в вопросе о вменяемости преступника суд проявляет нерешительность и слабость и что свидетельские показания, равно как и медицинская экспертиза, обычно направлены на то, чтобы избавить преступника от заслуженной кары. *Фогель* хвалил одного молодого врача, в подобных случаях умевшего выдержать характер: недавно, когда суд заколебался, следует ли считать вменяемой некую детоубийцу, он решительно назвал ее вполне вменяемой.

*Воскресенье, 20 февраля 1831 г.*

Обедал с Гете. Он говорит, что, тщательно проверив мои наблюдения над синими тенями на снегу, равно как и вывод, что они являются отражением небесной синевы, он признал все это правильным.

— Правда, здесь не исключено и двойное действие, — сказал он, — возможно, что желтоватый оттенок света поощряет феномен синевы.

Я полностью с ним согласился, радуясь, что Гете наконец-то признал мою правоту.

— Меня только огорчает, — заметил я, — что эти наблюдения над цветом на Монте-Розе и Монблане я не записал тут же, на месте. Главным их результатом явилось то, что в полдень, при наиболее ярком солнце, на расстоянии восемнадцати — двадцати миль снег выглядел желтым, даже красновато-желтым, в то время как бесснежная часть горной цепи утопала в синеве. Этот феномен не удивил меня, так как я наперед знал, что соответствующая масса промежуточной мутной среды придает белому снегу, отражающему полуденное солнце, темно-желтый оттенок, но очень меня порадовал тем, что решительно опроверг ошибочные взгляды некоторых ученых, утверждающих, что воздух имеет свойство окрашивать в синий цвет. Если бы воздух сам по себе был голубоватым, то снег на гигантском пространстве, пролежавшем между мною и Монте-Розой, должен был бы светиться голубизной или хотя бы молочной голубизной, но не отливать желтым и красновато-желтым цветом.

— Это важное наблюдение, — сказал Гете, — оно, бесспорно, опровергает пресловутую ошибку естествоиспытателей.

— В сущности, — заметил я, — учение о мутных средах настолько просто, что может показаться, будто ничего не стоит за несколько дней, а то и часов научить ему другого. Трудное здесь — это оперировать законом и уметь прозревать прафеномен в тысячекратно обусловленных и завуалированных явлениях.

— Я бы это сравнил с игрой в вист, — сказал Гете, — правила ее легко запомнить и усвоить, но, чтобы стать настоящим мастером виста, надо играть долгие годы. Вообще со слуха ничему не научаешься; если ты сам деятельно в чем-либо не участвуешь, то и знания твои останутся половинчатыми и поверхностными.

Затем Гете рассказал мне о книге одного молодого физика, которую очень хвалил за ясность изложения и даже готов был простить ему теологическую направленность его труда.

— Человеку свойственно, — сказал Гете, — смотреть на себя как на цель творения, а на все прочее как на существующее лишь постольку, поскольку оно ему служит и

приносит пользу. Он завладел растительным и животным миром и, считая другие создания подходящей для себя пищей, поедает их, вознося хвалу доброму своему богу, который по-отечески о нем печется. У коровы он отнимает молоко, у пчелы мед, у овцы шерсть и, находя этому полезное для себя применение, полагает, что все создано для него. Он и вообразить не может, чтобы самая ничтожная былинка не для *него* проросла из земли, и если еще не смекнул, какую пользу она ему принесет, то уж со временем смекнет обязательно.

А раз таков ход его мысли вообще, то не иначе он думает и в каждом отдельном случае и, уж конечно, переносит привычные представления из жизни в науку и, приступая к рассмотрению отдельных частей органического существа, непременно задается вопросом об их полезности и назначении.

Какое-то время это ему еще сходит с рук даже в науке, но вскоре он натолкнется на явления, которые при столь узком кругозоре никак себе не объяснишь, и, не возвысившись над ними, неизбежно запутается в сплошных противоречиях.

Эти ревнители пользы говорят: у быка есть рога, чтобы ими защищаться. Но тут возникает вопрос: почему их нет у овцы? А у барана если и есть, то загнутые вокруг ушей и, значит, вполне бесполезные?

И совсем другое будет, если я скажу: бык защищается рогами, потому что они у него есть.

Вопрос о цели, вопрос *почему* начисто не научен. Вопрос *как*, напротив, помогает нам продвинуться несколько дальше. Если я задаюсь вопросом *как*, то есть по какой причине выросли рога у быка, то это уже приводит меня к рассмотрению всей его организации и одновременно учит меня, отчего у льва нет и не может быть рогов.

В черепе человека имеются две полые пазухи. С вопросом *почему* здесь далеко не уйдешь, но вопрос *как* помогает мне понять, что эти пазухи — остатки животного черепа; у животных в силу их более примитивной организации они выражены отчетливее, но и у человека они, несмотря на всю высоту его организации, не вовсе исчезли.

Ревнители пользы боятся утратить своего бога, ежели им помешают молиться *тому*, кто дал быку рога для защиты. Но мне да будет дозволено чтить *того*, кто был так щедр в своем творении, что, не удовлетворившись великим многообразием растений, создал еще одно, заключающее

в себе все остальные, и вслед за тысячами многообразных животных — существо, всех их объемлющее: человека.

Пусть другие чтят *того*, кто дал корм скоту, а человеку вдосталь еды и питья. Я же чту того, кто одарил мир такою животворящей силой, что, если лишь миллионная часть сотворенного им приобщается к жизни, мир уже так кишит живыми существами, что ни война, ни чума, ни вода, ни огонь ему не страшны. Таков *мой* бог.

Понедельник, 21 февраля 1831 г.

Гете очень хвалил последнюю речь *Шеллинга*, способствовавшую успокоению мюнхенских студентов.

— Речь *его*, — сказал *он*, — хороша от первого до последнего слова, так что мы снова радуемся выдающемуся таланту этого человека, давно нами почитаемого. В данном случае им руководили благородные побуждения и цель он преследовал честнейшую, оттого вся речь так превосходно и удалась ему. Если бы то же самое можно было сказать относительно побуждений и цели *его* книжки о кабирах, то мы и за этот труд должны были бы прославлять *его*, ибо *он* и в ней сумел показать свои риторические таланты и свое искусство.

В связи с «Кабирами» *Шеллинга* разговор коснулся «Классической Вальпургиевой ночи» и того, как она отлична от сцен на Брокене в первой части.

— Старая «Вальпургиева ночь», — сказал *Гете*, — носит монархический характер, ибо черт все время единолично властвует в ней. «Классической» же придан характер решительно республиканский, здесь все стоят в одном ряду и один значит не больше другого, никто никому не подчиняется и никто ни о ком не печется.

— К тому же, — сказал *я*, — в «Классической ночи» все разобщено, каждое действующее лицо — резко очерченная индивидуальность, тогда как на немецком Блоксберге отдельные образцы растворяются в общей массе ведьм.

— Поэтому-то, — заметил *Гете*, — Мефистофель мигом понял, что это значит, когда Гомункул заговорил с ним о *фессалийских ведьмах*. Настоящий знаток древности тоже кое-что представит себе, услышав слова «*фессалийские ведьмы*», тогда как для неуча это будет звук пустой.

— Древность, — сказал *я*, — для вас, видимо, живой мир, ибо иначе как бы вы могли одухотворить все эти образы и управлять ими с такой легкостью и свободой.

— Если бы я всю жизнь не интересовался пластическим искусством, — отвечал Гете, — это оказалось бы невозможным. Труднее всего мне было соблюдать меру при таком богатстве материала и отказаться от всего, что не полностью соответствовало моему замыслу. Я, например, никак не использовал Минотавра, гарпий и многих других чудовищ.

— Но то, что у вас происходит этой ночью, — сказал я, — так соотнесено и сгруппировано, что воображению поневоле отчетливо рисуются отдельные образы, в конце концов сливающиеся в единую картину. Живописцы, я в этом уверен, не упустят возможности изобразить все это на полотне; меня же особенно восхитила сцена, где Мефистофель, столкнувшись с Форкиадами, поворачивается, чтобы принять профиль одной из них.

— Да, там есть недурные выдумки, — сказал Гете, — которыми рано или поздно воспользуются люди. Французы, едва прочитав «Елену», поймут, что можно из нее сделать для театра! Вещь как таковую они, конечно, испортят, но умно используют ее для своих целей, а чего же еще можно пожелать? Форкиаду у них, несомненно, будет окружать хор чудовищ, впрочем, в одном месте у меня об этом упоминается.

— Хорошо бы, какой-нибудь способный поэт романтической школы сделал по ней либретто для оперы, а Россини, этот великий талант, положил бы ее на музыку, — какое впечатление произвела бы тогда «Елена!» Ведь поводов для великолепных декораций, удивительных превращений, блистательных костюмов и очаровательных балетных номеров в ней больше, чем в какой-либо другой пьесе, не говоря уж о том, что все неслыханное изобилие чувственности зиждется здесь на фундаменте остроумнейшей сказки, лучше которой никто, пожалуй, не придумает.

— Повременим и посмотрим, что ниспошлют нам бог и, — сказал Гете. — Торопиться тут нельзя. Надо, чтобы люди хорошенько узнали «Елену», а директора театров, поэты и композиторы поняли, сколь многое можно из нее извлечь.

*Вторник, 22 февраля 1831 г.*

Встретил на улице старшего консисториального советника *Швабе* и немного проводил его. Он рассказал мне о своих разнообразных занятиях, и я как бы вошел в круг немаловажной деятельности этого превосходного человека.

И еще я узнал, что в свободные часы он готовит к изданию томик своих новых проповедей, что один из его учебников был недавно переведен на датский язык и разошелся в сотнях тысячах экземпляров, в Пруссии же он рекомендован для привилегированных школ. На прощанье Швабе просил меня его посетить, на что я согласился с большой охотой.

За обедом у Гете говорил о Швабе, и Гете полностью поддержал мой хвалебный отзыв о нем.

— *Великая герцогиня*, — сказал он, — очень высоко его ценит, а уж кто-кто, но она-то разбирается в людях. Я бы хотел, чтобы с него был сделан портрет для моего собрания, и буду весьма вам обязан, если вы посетите Швабе и спросите на то его разрешение. Обязательно сходите к нему и проявите участливое отношение к его делам и планам. Вам будет интересно заглянуть в круг этой своеобразной деятельности, о которой нельзя составить себе достаточного представления без близкого знакомства.

Я пообещал это сделать. Мне и самому хотелось поближе узнать этого человека, деятельно участвующего в практической жизни и постоянно пекущегося о пользе других.

*Среда, 23 февраля 1831 г.*

Перед обедом, гуляя по Эрфуртскому шоссе, встретил Гете. Он велит остановиться и приглашает меня в свой экипаж. Мы проехали еще порядочный кусок дороги до ельничка на взгорке, беседуя на естественноисторические темы.

Холмы и горы стояли покрытые снегом, я заговорил об удивительно нежной желтизне снегов, хотя на расстоянии нескольких миль мутная среда обычно окрашивает темное в синеватый тон, а не белое в желтый. Гете мне поддакивал. Потом разговор зашел о важнейшем значении прафе-номенов, за которыми, словно бы воочию, зришь божество.

— Я не задаюсь вопросом, — сказал Гете, — обладает ли это высшее существо рассудком и разумом, но чувствую — оно само рассудок, само разум. Все живое проникнуто им, человек же — в такой мере, что ему дано частичное познание наивысшего.

За обедом мы говорили о стремлении некоторых натуралистов вникнуть в органический мир, оттолкнувшись от минералогии.

— Это роковое заблуждение, — сказал Гете, — в минералогическом мире простейшее — суть прекраснейшее, в органическом же — наиболее сложное. Из этого нетрудно

заклучить, что тенденции обоих миров различны и что ступенчатый переход из одного в другой невозможен.

Я отметил пор себя эту весьма многозначущую мысль.

*Четверг, 24 февраля 1831 г.*

Читаю статью Гете о *Цане* в «Венском ежегоднике» и поражаюсь тому количеству предпосылок, кои были надобны для того, чтобы ее написать.

За столом Гете сказал мне, что у него был *Сорэ* и что они изрядно продвинулись с переводом «*Метаморфозы*».

— Самое трудное, — добавил он, — наблюдая природу, усмотреть закон там, где он таится от нас, и не позволить сбить себя с толку явлениям, которые не угодны нашим чувствам. Ибо в природе многое им противоречит, и тем не менее это истина. Наши чувства не приемлют того, что солнце стоит неподвижно, не всходит и не заходит, а земля все время вращается с невообразимой скоростью, но ни один мало-мальски образованный человек в этом не усомнится. В растительном мире тоже встречаются явления, несовместимые с нашими чувствами, и тут надо очень остерегаться, чтобы не попасть впросак.

*Суббота, 26 февраля 1831 г.*

Сегодня прилежно читал «*Учение о цвете*» и радовался, что за эти годы благодаря частым упражнениям с различными феноменами я так сроднился с ним, что довольно ясно понимаю великие заслуги Гете в этой области. Каких же невероятных усилий стоило создание этого труда, думал я по мере того, как мне открывались не только окончательные результаты, но и все, через что надо было пройти, добываясь незабываемости этих результатов.

Лишь человек великой нравственной силы мог с этим справиться, и тот, кто захотел бы идти по его стопам, должен многое у него перенять, изгнав из своей души все грубое, лживое, эгоистическое, иначе чистая и подлинная природа с презрением отвергнет его. Если бы люди об этом задумались, они бы охотно потратили несколько лет жизни на то, чтобы, пройдя весь круг этой науки, через нее испытать и усовершенствовать свои чувства, свой ум и характер, и, конечно, прониклись бы глубоким уважением к закономерности и приблизились бы к божественному, насколько это возможно для смертного.

Между тем они предпочитают с неумеренным рвением заниматься поэзией и сверхчувственными тайнами, то есть тем субъективным и податливым, что, не предъявляя к человеку никаких требований, льстит ему или, в лучшем случае, оставляет его таким, каков он есть.

В поэзии на пользу человеку идет лишь истинно великое и чистое, что является как бы второй природой и либо поднимает нас до себя, либо презрительно от нас отворачивается. Несовершенная поэзия, напротив, усугубляет наши недостатки, ибо мы заражаемся слабостями поэтов, заражаемся, сами того не сознавая, поскольку то, что соответствует нашей природе, мы несовершенным не признаем.

Для того чтобы извлечь известную пользу из поэзии как хорошей, так и дурной, надо самому стоять на очень высокой ступени развития и иметь под собою достаточно прочный фундамент, чтобы смотреть на все эти поэтические явления как на нечто существующее вне нас.

Посему я и славлю общение с природой, которая никак не поощряет наши слабости и либо способствует формированию нашей личности, либо вообще никакого влияния на нас не оказывает.

*Понедельник, 28 февраля 1831 г.*

Целый день занимался рукописью четвертого тома жизнеописания Гете, которую он мне прислал вчера — проверить, нуждается ли она еще в какой-либо доработке. Думая о том, каково это творение уже сейчас и каким оно может стать, я чувствовал себя положительно счастливым. Некоторые книги «Поэзии и правды» производят впечатление вполне законченных — большего и желать нельзя. В других, напротив, изложение недостаточно последовательно, возможно, потому, что автор писал их урывками в разные периоды жизни.

Четвертый том весьма отличен от трех предшествующих. Последние, безусловно, устремлены вперед в заданном направлении, и в них жизненный путь автора предстает единым на протяжении многих лет. В четвертом же время почти не движется, не вполне ясны и устремления автора. Многое предпринято, но не завершено, многое задумано, но выполнено не в соответствии с замыслом, — кажется, что здесь присутствует какая-то тайно действующая сила, нечто вроде рока, влетающего разнообразными нитями в основу, которая лишь годы спустя станет тканью.

Посему этот том как нельзя лучше подходит для рассуждений о тайной и проблематической силе, которую все ощущают, которую не в силах объяснить ни один философ, религиозный же человек выбирается из ее тенет с помощью нескольких утешительных слов.

Гете называет эту не поддающуюся выражению загадку мироздания и человеческой жизни *демоническим*, и когда он говорит об ее сущности, начинает казаться, что пелена спадает с темных глубин нашего бытия. Мы словно бы видим яснее и дальше, хотя вскоре убеждаемся: объект так велик и многогранен, что наш взор проникает его лишь до известного предела.

Человек рожден для малого, его радует лишь постижимое и знакомое. Настоящий знаток, вглядываясь в картину, связывает отдельные подробности с постижимым для него целым, и перед ним оживает и целое, и все его детали. Он не питает пристрастия к чему-либо в частности, не задается вопросом, прекрасно или уродливо то или иное лицо, освещено или затенено какое-то место на картине, его интересует лишь, все ли здесь на своих местах, закономерно и правильно ли общее построение. Но если мы подведем профана к картине более или менее обширной, то убедимся, что одно в ней его привлекает, другое отталкивает, и в конце концов его внимание сосредоточивается на привычных мелочах и он говорит о том, как хорошо написан этот шлем и это перо.

Впрочем, мы, люди, перед великой картиной мировых судеб всегда в той или иной мере оказываемся в положении упомянутого профана. Освященные участки в картине привлекают нас, места затененные, сумрачные — отталкивают, и в смятении мы напрасно тщимся создать идею единого существа, дабы приписать ему все это противоречивое многообразие.

В делах человеческих можно, пожалуй, стать великим знатоком, если ты постигнешь искусство и науку великих мастеров, но для того, чтобы стать им в делах божественных, надо уподобиться высшему существу. Если бы, однако, это высшее существо возжелало передать и открыть нам свои тайны, мы не сумели бы ни понять их, ни ими воспользоваться и опять-таки походили бы на пресловутого профана перед картиной, которому знаток никакими силами не может втолковать, из каких логических посылок он исходит в своем суждении.

В этом смысле хорошо, что различные религии даны нам не самим господом богом, но являются творением вы-

дающихся людей, сумевших приспособить их к потребностям и восприятию широких масс.

Будь они творением господ бога, никто бы не понял их, но поскольку они созданы людьми, то в них нет и речи о непостижимом.

Религия высокопросвещенных древних греков не пошла дальше олицетворения в отдельных божествах разрозненных проявлений непостижимого. Поскольку же эти порождения мифотворчества оставались созданиями ограниченными и во взаимосвязи целого обнаружилась брешь, греки изобрели идею властвующего надо всем фатума, в свою очередь непостижимого, а следовательно, скорее отказались от проникновения в тайну, чем проникли в нее.

Христос исповедовал единого бога и наделил его всеми свойствами, которые в себе самом воспринимал как свойства совершенные. Этот бог был сущностью его прекрасной души, был благоден и любвеобилен, добрые люди могли доверчиво ему предаться, восприняв самую идею такого бога как сладостную связь с небом.

Но так как великое существо, которое мы именуем богом, проявляет себя не только в людях, но также в многообразной могучей природе и в грандиозных мировых событиях, то, разумеется, представление о нем, основанное на человеческих свойствах, — представление недостаточное, и вдумчивый человек немедленно натолкнется на провалы и противоречия, которые повергнут его в сомнения, более того — в отчаяние, если он не настолько мал, чтобы успокоить себя надуманными увертками, или не настолько велик, чтобы подняться до более высоких воззрений.

Эти высокие воззрения Гете в свое время обнаружил у *Спинозы* и с радостью вспоминает, до какой степени взгляды великого мыслителя удовлетворяли духовные потребности его юности. В нем он нашел самого себя и одновременно наилучшую опору.

А так как воззрения Спинозы были не субъективны, но основывались на деяниях и манифестациях бога, то их не пришлось, словно шелуху, отбросить, когда Гете впоследствии сам приступил к исследованиям мира и природы; напротив, то были ростки и корни растения, которое долгие годы продолжало развиваться, набираясь сил, и под конец, в многообразных познаниях, достигло полного расцвета.

Противники часто обвиняли Гете в отсутствии веры. Но он только их веры не имел, слишком она была мела для

него. Если бы он открыл им свою, они были бы поражены, однако уразуметь ее все равно бы не сумели.

Сам Гете отнюдь не полагает, что познал высшее существо как оно есть. Все его высказывания, письменные и устные, повторяют, что оно непознаваемо, человек лишь догадывается о нем, лишь чувствует его незримые следы.

Вообще же природа и мы, люди, так проникнуты божеством, что оно правит нами, что мы в нем живем и действуем, страждем и радуемся согласно его извечным законам, что мы следуем им и что они применяются к нам, все равно, познали мы их или нет.

Ведь ребенку нравится пирожное, хотя он знать не знает о пекаре, а воробью вишня, хоть он и не думает, как она произросла.

*Среда, 2 марта 1831 г.*

Сегодня за обедом у Гете разговор опять зашел о демоническом, и, чтобы поточнее определить это понятие, он добавил следующее.

— Демоническое — это то, чего не может постигнуть ни рассудок, ни разум. Моей натуре оно чуждо, но я ему подвластен.

— В *Наполеоне*, — сказал я, — надо думать, было заложено демоническое начало.

— Несомненно, — подтвердил Гете, — и в большей мере, чем в ком-либо другом. Покойный *великий герцог* тоже был демонической натурой, преисполненной жизненных сил и беспокойства настолько, что его собственное государство было ему тесно, но тесным для него было бы и самое обширное. Людей, обладающих такого рода демоническими натурами, греки причисляли к полубогам.

— Полагаете ли вы, — спросил я, — что демоническое проявляется также и в различных событиях?

— Даже с особой силой, — отвечал Гете, — и прежде всего в тех, которые мы не можем постигнуть ни рассудком, ни разумом. Оно самым неожиданным образом проявляется и в природе — как видимой, так и невидимой. Есть существа, насквозь проникнутые демонизмом, в других действуют лишь отдельные его элементы.

— Мне думается, — сказал я, — что и Мефистофелю присущи демонические черты.

— Нет, — сказал Гете, — Мефистофель слишком негативен, демоническое же проявляется только в безусловно позитивной деятельной силе.

— В артистической среде, — продолжал Гете, — оно скорее свойственно музыкантам, чем живописцам. Наиболее ярко оно выражено в *Паганини*, отчего он и производит столь огромное впечатление.

Я с сугубым вниманием отнесся ко всем этим градациям, ибо таким образом мне уяснилось, что Гете разумеет под понятием «демоническое».

Затем мы долго говорили о четвертом томе, и Гете просил меня отметить, над чем ему еще следовало бы поработать.

*Четверг, 3 марта 1831 г.*

Обедал у Гете. Просматривая архитектурные альбомы, он заметил, что строителям дворцов надо обладать известной толикой самоупоенности, ведь здесь никто заранее не знает, как долго камень на камне останется.

— Лучше всего тем, кто живет в палатках, — добавил он. — Или, наподобие некоторых англичан, кочует из города в город, из гостиницы в гостиницу и везде ему готов приют и стол.

*Воскресенье, 6 марта 1831 г.*

За столом у Гете беседы на всевозможные темы. Мы вдруг заговорили о детях и о детском озорстве; Гете сравнил его со стеблевыми листочками на растенье, которые мало-помалу сами собой опадают, почему к ним и не стоит относиться с излишней серьезностью.

— Человек, — сказала она, — неизбежно проходит различные стадии, и каждой из них присущи свои достоинства и недостатки; в пору, когда они проявляются, их следует рассматривать как безусловно естественные и в известной мере необходимые. В следующей стадии человек уже становится другим, от былых достоинств и недостатков — ни следа, их сменяют новые добродетели и новые пороки. И так оно продолжается вплоть до последней метаморфозы, о которой мы еще ничего не знаем.

На десерт Гете прочитал мне кое-какие фрагменты «Свадьбы Гансвурста», сохранившиеся у него с 1775 года. Пьеса начинается монологом Килиана Брустфлека, в котором тот сетует, что, несмотря на все старания, ему не удалось хорошо воспитать Гансвурста. Эта сцена, как, впрочем, и остальные, была целиком выдержана в духе «Фауста». Могучая до дерзновенности творческая сила пере-

полняла каждую строчку, и я скорбел лишь о том, что все здесь переходило границы до такой степени, что даже фрагменты не могли быть опубликованы. Гете прочитал мне еще список действующих в этой пьесе лиц, занимающий почти три страницы, так как число их доходило едва ли не до сотни. Каких только тут не было соленых прозваний, притом до того забавных, что я покатывался со смеху. Некоторые из них метили в физические недостатки до того хлестко, что казалось, воочию видишь перед собой этот персонаж, другие — в душевные изъяны и пороки, — иными словами, они свидетельствовали о глубококом загляде в многоликий мир безнравственного. Будь пьеса закончена, нас бы повергло в изумление, как Гете удалось вплести все эти символические образы в единое живое действие.

— О том, чтобы ее закончить, и думать не приходило сь, — сказал Гете, — поскольку здесь с самого начала до высшей точки доведено озорство, которое порою хоть и находило на меня, но по сути своей не соответствовало серьезности моей натуры и, следовательно, быстро мне надоедало. К тому же в Германии круг читателей слишком тесен и негоже мне выступать с подобной пьеской. На территории более просторной, в Париже, к примеру, можно себе такое позволить, возник же там Беранже, тогда как во Франкфурте или в Веймаре он был бы немислим.

*Вторник, 8 марта 1831 г.*

Сегодня за обедом Гете сразу же объявил мне, что читает *«Айвенго»*.

— Вальтер Скотт, — сказал он, — великий талант, не имеющий себе равных, и, право же, не удивительно, что он производит такое впечатление на читающий мир. Он дает мне обильную пищу для размышлений, и в нем мне открывается совсем новое искусство, имеющее свои собственные законы.

Потом мы перешли к четвертому тому биографии и, слово за слово, опять втянулись в разговор о демоническом.

— Поэзии, — заметил Гете, — бесспорно, присуще демоническое начало, и прежде всего поэзии бессознательной, на которую недостает ни разума, ни рассудка, отчего она так и завораживает нас.

В музыке это сказывается еще ярче, ибо она вознесена столь высоко, что разуму ее не осилить. Она все себе покоряет, но действие ее остается безотчетным. Поэтому и ре-

лигиозные обряды никогда без нее не обходятся; она первое средство воздействия на людей.

Демоническое охотно избирает своим обиталищем значительных индивидуумов, в особенности, если в руках у них власть, как у *Фридриха* или *Петра Великого*.

Покойный *великий герцог* был наделен этим свойством в такой мере, что никто не мог ему противостоять, он привлекал к себе людей уже одним своим умиротворяющим присутствием, даже не выказывая им особой доброжелательности или милости. Что бы я ни предпринимал по его совету, удавалось мне, и потому, когда я чувствовал, что моего разума и рассудка на что-то не хватает, я спрашивал его, как мне поступить, он инстинктивно давал мне самый правильный ответ, и я мог быть заранее уверен в успехе любого своего начинания.

За него следовало бы порадоваться, если бы он мог овладеть моими идеями и высокими устремлениями, но когда демонический дух покидал его и в нем оставалось только человеческое, он не знал, что с собою делать и куда себя девать.

В *Байроне* тоже в высокой степени присутствовало демоническое начало, отчего он и был неотразимо привлекателен, никто, и прежде всего женщины, не мог перед ним устоять.

— Виديو божества, — сказая не без лукавства, — видимо, не входит та действенная сила, которую мы называем «демонической»?

— Дитя мое, — отвечал Гете, — много ли мы знаем об идее божества и что могут сказать нам о боге ограниченные наши понятия! Если бы я даже, как некий турок, назвал его сотней имен, все равно в сравнении с безграничностью его свойств это ничего бы не значило.

*Среда, 9 марта 1831 г.*

Гете и сегодня продолжал с величайшим восхищением говорить о *Вальтере Скотте*.

— Мы читаем слишком много пустяковых книжонок, — сказал он, — они отнимают у нас время и ровно ничего нам не дают. Собственно, читать следовало бы лишь то, чем мы восторгаемся. В юности я так и поступал и теперь вспомнил об этом, читая Вальтера Скотта. Сейчас я взялся за «*Роб Роя*», но собираюсь подряд прочитать все его лучшие романы. В них все великолепно — материал, сюжет, харак-

теры, изложение, не говоря уж о бесконечном усердии в подготовке к роману и великой правде каждой детали. Да, тут мы видим, что такое английская история и что значит, когда подлинному писателю она достается в наследство. Наша пятитомная немецкая история в сравнении с нею — сушая нищета, так что даже после «*Геца фон Берлихингена*» у нас немедленно обратились к частной жизни, что же касается «*Агнессы Бернауэр*» и «*Отто фон Виттельсбаха*», то ими вряд ли можно похвалиться.

Я заметил, что читаю сейчас «*Дафниса и Хлою*» в переводе Курье.

— Это действительно прекрасное произведение, — сказал Гете, — я много раз читал его с восхищением, ибо ум, мастерство и вкус достигли в нем таких вершин, что доброму *Вергилию* пришлось немного потесниться. Пейзаж в стиле Пуссена, выполненный скупыми штрихами, служит там превосходным фоном для действующих лиц.

— Вы, наверно, знаете: Курье нашел во Флорентийской библиотеке рукопись с одним из центральных мест «*Дафниса и Хлою*», отсутствовавшими в прежних изданиях. Должен признаться, что я всегда читал это произведение в неполном виде и восторгался им, не чувствуя и не замечая, что подлинная его вершина отсутствует. Но это тем более свидетельствует о его совершенстве: наличествующее настолько удовлетворяет нас, что о недостающем и не догадываешься.

После обеда Гете показал мне сделанный *Кудрэ* весьма изящный набросок двери для Дорнбургского дворца с латинской надписью приблизительно такого содержания: любого вошедшего здесь встретят дружелюбно и гостеприимно, любому прошедшему мимо пожелают счастливого пути.

Гете сделал из этой надписи немецкое двустушие и поставил его эпиграфом к письму, которое летом 1828 года, после смерти великого герцога, отправил из Дорнбурга полковнику *Бейльвицу*. В то время много было толков об этом письме, и я обрадовался, когда Гете сегодня вместе с наброском двери показал мне его.

Я с большим интересом прочитал это письмо, дивясь, как Гете сумел связать с местоположением Дорнбургского дворца и части парка в долине самые широкие воззрения, и к тому же воззрения, которые должны были утешить и ободрить людей после понесенной ими тяжелой утраты.

Письмо это радостно меня поразило, и про себя я отметил, что поэту нет нужды отправляться за материалом в дальние странствия: если содержательна его внутренняя

жизнь, он сумеет использовать и самый незначительный повод для создания значительного произведения.

Гете положил письмо и рисунок в отдельную папку, чтобы сохранить на будущее то и другое.

*Четверг, 10 марта 1831 г.*

Сегодня читал с *принцем* новеллу Гете о тигре и льве; принц пришел в восторг, ощутив воздействие великого искусства, да и я в не меньший, оттого что мне удалось проникнуть взглядом в незримую паутину совершенной композиции. В ней я чувствовал как бы вездесущность мысли, вероятно, возникшую оттого, что автор долгие годы вынашивал эту вещь и до такой степени овладел материалом, что мог с величайшей ясностью обозреть все целое и каждую отдельную партию поставить именно на то место, где она была всего необходимее и вдобавок подготавливала следующее и на него воздействовала. Таким образом, все движется вперед и вспять и в то же время находится на единственно правильно выбранном месте, так что ничего более совершенного в смысле композиции себе и представить нельзя. По мере того как мы читали дальше, странное желание овладело мною: хорошо бы, Гете мог прочитать эту жемчужину всех новелл, как чужое произведение. И еще я думал о том, что объем ее удивительно благоприятствует как автору, давая ему возможность наилучшим образом обработать все частности, так и читателю, который может спокойно и разумно воспринять и целое, и отдельные подробности.

*Пятница, 11 марта 1831 г.*

За обедом у Гете — самые разнообразные разговоры.

— Странное дело, — сказала н, — удивительное мастерство *Вальтера Скотта* в изображении деталей нередко толкает его на ошибки. Так, в «Айвенго» есть сцена: ночной ужин в замке, входит какой-то незнакомец. Вальтер Скотт превосходно описывает его наружность, его платье, но совершает ошибку, описывая также его башмаки и чулки. Когда вечером сидишь за столом и кто-то входит в комнату, видны только его туловище и голова. Вздумай мы описать его ноги — в комнату ворвется дневной свет и вся сцена утратит ночной колорит.

Я чувствовал убедительность этих слов и постарался запомнить их на будущее.

Гете продолжал с восхищением говорить о Вальтере Скотте. Я просил его запечатлеть на бумаге свою точку зрения на Вальтера Скотта, но он отклонил мою просьбу, заметив, что о высоком мастерстве этого писателя очень трудно высказываться публично.

*Понедельник, 14 марта 1831 г.*

За столом у Гете о чем только не говорили. Я должен был рассказать ему о «*Немой из Портичи*», которую давали третьего дня. Разговор зашел и о том, что обоснованных революционных мотивов в ней, пожалуй, не найдешь, но людям всегда приятно заполнять пустоты тем, что им не по душе в родном городе, в родной стране.

— Вся опера, — сказал Гете, — по сути дела, сатира на народ, ибо сделать общественным достоянием любовную интрижку юной рыбачки и наречь тираном владетельного князя только за то, что он женится на принцессе, — это уж такая смехотворная нелепость, что дальше ехать некуда.

На десерт Гете показал мне рисунки, иллюстрирующие берлинские поговорки. Среди них имелись презабавные вещишки, давшие ему повод похвалить за чувство меры художника, который только приблизился к карикатуре, но отнюдь не злоупотребил ею.

*Вторник, 15 марта 1831 г.*

Все утро занимаюсь рукописью четвертого тома «*Поэзии и правды*». Послал Гете записку следующего содержания:

«Вторую, четвертую и пятую книгу можно считать вполне законченными, за исключением отдельных мелочей, которые легко будет устранить при последнем просмотре.

Касательно книг первой и третьей, я должен сказать следующее:

## КНИГА ПЕРВАЯ

Рассказ о неудачном исходе глазной операции, произведенной *Юнгом*, так значителен, что люди могут извлечь из него немало глубочайших наблюдений; если же ненароком услышать его в обществе, то в оживленной беседе немедленно возникнет пауза, Посему я советую закончить им первую книгу, дабы и здесь возникла своего рода пауза.

Прелестные маленькие истории с пожаром на еврейской улице и катаньем на коньках в материнской красной бархатной шубке, завершающие первую книгу, думается мне, лучше прились бы к месту там, где речь идет о бессознательном, абсолютно непреднамеренном поэтическом творчестве. Ведь оба эти случая свидетельствуют о похожем состоянии духа, таком счастливом, что человек совершает тот или иной поступок, прежде чем мысль о нем придет ему в голову.

### КНИГА ТРЕТЬЯ

В нее, как мы договаривались, войдет все, касающееся внешнеполитического положения в 1775 году, положения внутри Германии, а также просвещения дворянства и прочего, что Вам еще угодно будет продиктовать.

Остальное, то есть «Свадьба Гансвурста» и другие как оконченные, так и неоконченные произведения, в случае, если вы сочтете, что они не должны входить в уже очень объемистую *четвертую* книгу или что они нарушат в ней связь между превосходно пригнанными частями, может быть включено в третью.

Для этой цели я подготовил и вложил в нее все заметки и фрагменты, теперь мне остается только пожелать Вам удачи и доброго расположения, для того чтобы заполнить пробелы, как всегда, с бодростью духа и обаятельной непринужденностью.

Э.»

Обед с *принцем* и господином *Сорэ*. Много говорили о *Курье* и о развязке «Новеллы» Гете; я заметил, что ее содержание и воспроизведение такого стоят на столь недостижимой высоте, что простой смертный не знает, как с нею обходиться. Его томит желание снова услышать и увидеть уже слышанное и виденное. И если мы привыкли встречать цветы поэзии в поэтическом Элизиуме, то здесь нас поражает цветок, возросший на вполне реальной почве. В поэтических сферах ни одно чудо не кажется настолько чудесным, чтобы в него нельзя было поверить, но в свете обыкновенного дня нас озадачивает все, что хоть немного отклоняется от обычного. Среди тысяч окружающих нас привычных чудес нас волнует лишь новоявленное

чудо. Человеку нетрудно верить в чудеса прошедших времен, но придать известную реальность сегодняшнему чуду и, наряду с видимой действительностью, чтить его как некую высшую действительность, — на такое, думается мне, человек уже более не способен, а может быть, эта способность вытравлена из него воспитанием. Поскольку наше столетие неуклонно становится прозаичнее, то по мере исчезновения притягивающего сверхчувственного и веры в него будет, конечно, исчезать и сама поэзия.

Конец гетевской «Новеллы», собственно, требует от нас только сознания, что человек не вовсе покинут небожителями, что они, напротив, пекутся о нем и в нужде приходят ему на помощь.

Ничего не может быть естественнее такой веры, она как бы является составной частью человеческой сущности и основой религии для всех народов. В начале человеческой истории мощь ее очень велика, но даже и высочайшая культура не в состоянии ее оттеснить; у греков, в частности у *Платона*, она еще встречается нам в полной силе, так же как под конец эллинистической эпохи — у автора «*Дафниса и Хлои*». В этом прелестном романе божественное выступает в облике Нана и нимф, которые вмешиваются в судьбы благочестивых пастухов и любящих, днем их охраняют, а ночью, являясь им во сне, учат их, как поступать. В «Новелле» Гете невидимые хранители — это предвечный и ангелы, что некогда спасли жизнь пророка во рву среди рыкающих львов, а здесь обступают ребенка, чтобы спасти его от такого же чудовища. Лев не растерзал мальчика, он оказался кротким и покорным, ибо тут вмешались вечно бодрствующие высшие силы.

Но чтобы неверующему девятнадцатому столетию все это не показалось просто сказкой, автор использует и второй достаточно мощный мотив, а именно *музыку*, магической силе которой люди подвластны с древнейших времен и которая доныне, хоть мы и не понимаем почему, властвует над нами.

И если некогда Орфей магией музыки привлек к себе всех лесных зверей, а последний греческий писатель поведал нам, как юный пастух с помощью своей флейты пасет коз, которые, слыша различные ее мелодии, рассеиваются или собираются вместе, бегут, спасаясь от врага, или продолжают спокойно щипать траву, то и в «Новелле» Гете музыка подчиняет себе льва, и могучий зверь под сладостные звуки флейты идет за мальчиком повсюду, куда влекут ребенка его чистые помыслы.

С кем только мне не доводилось говорить о таких необъяснимых явлениях, и наконец я пришел к выводу: человек столь высоко ценит свои достоинства, что, не обинуясь, приписывает их богам, но уделить толику этих достоинств животным никак не решается.

*Среда, 16 марта 1831 г.*

Обедал с Гете; я принес ему обратно рукопись четвертой части его жизнеописания, и мы много о ней говорили.

Разговор зашел еще и о развязке *«Телля»*. Я не скрыл своего изумления по поводу ошибки, в которую впал Шиллер, унизив своего героя неблагородным отношением к бежавшему герцогу Швабскому, которого он так сурово осуждает, в то же время похваляясь своим поступком.

— Да, это трудно понять, — согласился Гете, — но Шиллер, как, впрочем, и многие другие, был подвержен влиянию женщин, и если он погрешил в данном случае, то это скорее следствие чьих-то нашептываний, сам он был человеком добродушным.

*Пятница, 18 марта 1831 г.*

Обед у Гете. Я принес ему *«Дафниса и Хлою»*, так как он выразил желание перечитать эту вещь.

Мы говорим о высоких нормах поведения и о том, надо и возможно ли внушать их другому.

— Восприимчивость к хорошему и высокому редко встречается в людях, — сказал Гете, — поэтому в повседневной жизни лучше держать эти соображения про себя и высказывать их лишь постольку, поскольку это необходимо, чтобы иметь некоторое преимущество перед другими.

Далее мы заговорили о том, что многие, в первую очередь критики и поэты, обходят молчанием истинно великое и придают чрезмерное значение посредственности.

— Человек, — продолжал он, — признает и прославляет лишь то, на что он сам способен, а так как самое существование иных людей коренится в посредственности, они прибегают к хитроумному трюку: бранят на все лады то, что в литературе впрямь заслуживает порицания, хотя и содержит в себе доброе зерно, дабы еще выше вознеслась посредственность, которую они восхваляют.

Я постарался запомнить эти слова и впредь руководствоваться ими, когда столкнусь с подобным образом действий.

Говорили мы еще об «Учении о цвете» и о том, что некоторые немецкие профессора и поныне предостерегают своих учеников от этого, как они утверждают, рокового заблуждения.

— Если это хорошие ученики, — сказал Гете, — я о них сожалею, что касается меня, то мне все это безразлично, мое учение о цвете старо как мир, и долго его отрицать или замалчивать не удастся.

Дальше Гете сказал мне, что работа над новым изданием его «*Метаморфозы растений*» хорошо продвигается, да и перевод Сорэ день ото дня становится совершеннее.

— Это будет изрядная книга, — добавил он, — в ней самые различные элементы сведены в единое целое. Вдобавок я привожу там цитаты из трудов способных молодых естествоиспытателей, причем меня радует, что теперь у лучших людей Германии выработался настолько хороший стиль, что уж и не отличишь, говорит один или другой. Плохо только, что я трачу на нее больше усилий, чем предполагал. Поначалу я, едва ли не против воли, оказался втянутым в это предприятие, но тут, видимо, вступило в действие демоническое, которому я уже не мог противостоять.

— Вот и хорошо, — отвечал я, — что вы ему поддались, ведь демоническое по самой своей природе так сильно, что в конце концов всегда берет верх.

— Но и человек, в свою очередь, должен стараться не склоняться перед демоническим, — отвечал Гете, — и в данном случае я обязан приложить все старания, чтобы сделать работу как можно лучше, насколько, конечно, позволят силы и обстоятельства. Это как в игре, которую французы называют *Godille*. Многое в ней зависит от того, как упадут кости, но еще больше от хитроумия игрока: сумеет ли он как надо бросить их на доску.

Я воспринял сии разумные слова как достойный урок и решил впредь ими руководствоваться.

*Воскресенье, 20 марта 1831 г.*

За столом Гете сообщил мне, что последние дни читал «*Дафниса и Хлою*».

— Роман этот так прекрасен, — сказал он, — что в нашей суете сует невозможно надолго удержать впечатление, которое он производит, и, перечитывая его, ты каждый раз только диву даешься. Все в нем залито сиянием дня, и кажется, что видишь геркуланумскую живопись, с другой

стороны, эти картины влияют на книгу и, когда ее читаешь, спешат на помощь нашей фантазии.

— Мне очень по душе пришелся, — сказал я, — как бы замкнутый круг этого произведения. Ведь там не проскальзывает даже намек на что-либо постороннее, что могло бы вывести нас из него. Из богов в нем действуют только Пан и нимфы, другие почти не упоминаются, — как видно, пастухам и этих богов предостаточно.

— Но несмотря на умеренную замкнутость, — сказал Гете, — в этом романе представлен целый мир. Пастухи такие и эдакие, землепашцы, садовники, виноградари, корабельцы, разбойники, воины, именитые горожане, знатные господа и крепостные.

— К тому же, — заметил я, — там нашему взору предстает человек на всех его жизненных ступенях — от рождения до старости, а как хорошо изображены автором хозяйственные хлопоты, обусловленные сменой времен года!

— Не говоря уж о ландшафте, — заметил Гете, — во многих штрихах он обрисован так точно, что за действующими лицами мы видим виноградники на взгорье, пашни и фруктовые сады, пониже — пастбища, перелески и реку, а вдаль — морские просторы. И нет там ни единого пасмурного дня, нет туманов, туч и сырости — неизменно безоблачное голубое небо, напоенный ароматами воздух и вечно сухая земля, лежи совершенно нагим, где тебе вздувается.

— В целом это произведение, — продолжал Гете, — свидетельство высочайшего искусства и культуры. Все в нем продумано, ни один мотив не упущен, напротив, каждый из них хорош и глубоко обоснован, как, например, клад в разлагающейся туше дельфина, выброшенной морем. Вкус, законченность, тонкость восприятия ставят его в один ряд с лучшим из того, что когда-либо было создано в этом жанре. Все напасти, извне вторгающиеся в счастливую жизнь, как-то: набег врагов, разбой и война — быстро преодолеваются и почти не оставляют следов. Порок здесь удел горожан, да и то не главных среди действующих лиц, а второстепенных. Все это поистине прекрасно.

— Мне еще очень понравилось, — сказала я, — как складываются отношения между господами и слугами. Первых отличает высокая гуманность, последние, при всем своем наивном свободолобии, выказывают глубокое почтение к господину и изо всех сил стараются заслужить его милость. К примеру: молодой горожанин, которого возненавидел Дафнис из-за того, что он пытался склонить его к противо-

естественной любви, узнав, что Дафнис сын его господина, тщится загладить свое прегрешение; мужественно отбив Хлою у похитивших ее пастухов, он возвращает Дафнису возлюбленную.

— И до чего же умно все сделано, — добавил Гете, — великолепно даже то, что Хлоя — хотя Дафнис и она не ведают большего блаженства, как голыми спать друг подле друга — до конца романа остается девственной: мотивировки здесь так убедительны, что, собственно, затрагивают все важнейшие проблемы человеческой жизни.

Чтобы по-настоящему оценить достоинства этой поэмы в прозе, следовало бы написать целую книгу. И еще: хорошо бы каждый год ее перечитывать, чтобы снова извлекать из нее поучения и наново наслаждаться ее красотой.

*Понедельник, 21 марта 1831 г.*

Говорили о политике, о все еще не прекращающихся волнениях в Париже и о безрассудном желании молодежи вмешиваться в государственные дела.

— Ведь и в Англии, — сказал я, — несколько лет назад студенты, желая повлиять на решение католического вопроса, пытались подавать петиции, но над ними только посмеялись, а всю историю предали забвению.

— Пример *Наполеона*, — сказал Гете, — пробудил эгоизм во французской молодежи, подраставшей под эгидой этого героя, и она не угомонится, покуда вновь не явится величайший деспот, который, в сильно увеличенном виде, явит им то самое, чем они желали стать. Беда только, что Наполеон так скоро не родится, и я боюсь, что погибнет еще несколько сот тысяч человек, прежде чем в мире воцарится спокойствие. О литературной деятельности на несколько лет приходится позабыть, единственное, что сейчас можно делать — потихоньку заготавливать доброе и хорошее для мирного будущего.

Перекинувшись несколькими словами о политике, мы снова вернулись к «*Дафнису и Хлою*». Гете назвал перевод *Курье* совершенным.

— Курье правильно поступил, — сказал он, — с уважением отнесясь к переводу Амье и в известной мере сохранив его; он его подчистил, приблизил к подлиннику и в некоторых местах исправил. Старофранцузский язык так наивен, так безусловно подходит к данному сюжету, что, думается, эта книга не может быть столь же хорошо переведена на какой-нибудь другой.

Мы еще поговорили о собственных произведениях Курье, о его маленьких брошюрках и о том, как он защищался от обвинений по поводу пресловутого чернильного пятна на флорентийской рукописи.

— Курье очень одаренный человек, — сказал Гете, — в нем есть кое-что от Байрона, а также от Бомарше и Дидро. От Байрона — великое умение орудовать аргументами, от Бомарше — адвокатская сноровка, от Дидро — диалектичность, при этом он настолько остроумен, что лучшего и желать нельзя. От обвинения в чернильном пятне он, видимо, сумел вполне очиститься, но вообще Курье человек недостаточно положительный, чтобы заслуживать безусловной похвалы. Он в неладах со всем миром, и трудно предположить, что на него не ложится какая-то доля вины и неправоты.

Потом мы заговорили о различии между немецким словом «ум» и французским «*esprit*».

— Французское «*esprit*», — сказал Гете, — приближается к тому, что мы, немцы, называем «живой ум». Наше слово «дух» французы, пожалуй, выразили бы через «*esprit*» и «*âme*». В нем ведь заложено еще и понятие продуктивности, отсутствующее во французском «*esprit*».

— *Вольтера*, — сказал я, — отличало то самое, что мы зовем «духом». Поскольку французского «*esprit*» здесь недостаточно, то как же это свойство обозначат французы?

— В столь исключительном и высоком случае они употребляют выражение «*génie*».

— Я сейчас читаю *Дидро*, — сказал я, — и не перестаю удивляться его необыкновенному таланту. И вдобавок какие знания, какая страстная убедительность речи! Слово ты заглядываешь в великий и подвижный мир, где один поощряет к действию другого, где ум и характер благодаря постоянному упражнению неминуемо становятся сильными и находчивыми. Какие же удивительные люди создавали французскую литературу в прошлом веке! Стоит мне открыть книгу — и дух захватывает.

— Это была метаморфоза давней литературы, — сказал Гете, — она созрела еще при Людовике Четырнадцатом и вскоре достигла полного расцвета. Но, собственно, только Вольтер привел в движение такие умы, как Дидро, Д'Аламбер, Бомарше и другие, поскольку, чтобы быть *чем-то* рядом с ним, надо было очень *многое* собой представлять, сидеть сложа руки тут не приходилось.

Далее Гете рассказал мне о некоем молодом профес-

соре восточных языков и литератур в Иене; он долго прожил в Париже, был весьма образованным человеком, и Гете выразил желание, чтобы я познакомился с ним. Когда я уходя, он дал мне статью *Шрена* о комете, которая должна была вскоре появиться, дабы я и об этой области получил известное представление.

*Вторник, 22 марта 1831 г.*

На десерт Гете прочитал мне несколько мест из письма своего молодого друга в Риме. Многие немецкие художники, писал тот, разгуливают здесь по улицам длинноволосые, усатые, с воротниками рубашек, выпущенными по-верх старонемецких камзолов, с трубками в зубах, сопровождаемые злыми бульдогами. Похоже, что они приехали в Рим совсем не ради великих мастеров живописи. *Рафаэля* они объявляют слабым, *Тициана* — разве что хорошим колористом.

— *Нибур* был прав, — сказал Гете, — предрекая наступление варварской эпохи. Она уже наступила, и мы живем в ней, ибо первый признак варварства — непризнание прекрасного.

Далее корреспондент Гете рассказывает о карнавале, об избрании нового папы и о разразившейся вслед за этим революцией.

Знакомит нас также с *Орасом Верне*, который засел у себя в доме, как в рыцарском замке; говорит, что есть и такие художники из немцев, которые остригли свои бороды и мирно сидят по домам, из чего следует, что прежнее их поведение не снискало симпатии римлян.

Мы заговорили о заблуждениях немецких художников. Повлияли на них отдельные лица, и это влияние распространилось, как духовная зараза, или же причиной тому дух времени?

— Началось это с нескольких человек, — сказал Гете, — а действует уже лет сорок. Тогдашнее учение гласило: художнику всего необходимее благочестие и гений, чтобы создать наилучшее. Весьма заманчивое учение, вот за него и схватились обеими руками. Для того чтобы быть благочестивым, учиться не надо, а гений получают от родимой матери. Стоит только обронить слово, которое поощряет зазнайство и праздность, и ты можешь быть уверен, что толпа посредственностей пойдет за тобой.

Пятница, 25 марта 1831 г.

Гете показал мне элегантное зеленое кресло, которое на днях велел приобрести для себя на аукционе.

— Впрочем, я буду мало пользоваться им, а вернее, вовсе не буду, — сказал он, — мне все виды комфорта не по нутру. В моей комнате нет даже дивана; я всегда сижу на старом деревянном стуле и только месяца два назад велел приделать к нему что-то вроде прислона для головы. Удобная, красивая мебель останавливает мою мысль и погружает меня в пассивное благодушие. За исключением тех, кто с молодых ногтей привык к роскошным покоем и изысканной домашней утвари, — все это годится лишь людям, которые не мыслят да и не могут мыслить.

Воскресенье, 27 марта 1831 г.

После долгого ожидания наступила наконец радостная весенняя погода. По голубому небу изредка проплывает белое облачко, тепло, можно наконец надеть летнее платье.

Гете велел накрыть стол в саду, в беседе; итак, мы снова обедали на воздухе. Говорили о великой герцогине, о том, что она втайне вершит многообразные добрые дела и привлекает к себе сердца всех своих подданных.

— Великая герцогиня, — сказал Гете, — в равной мере умна, добра и благожелательна, она — истинное благословение для нашей страны. А так как человек всегда чувствует, откуда нисходит на него добро, поклоняется солнцу и другим благотворительным стихиям, то меня не удивляет, что все сердца с любовью устремляются к ней и что у нас ее быстро оценили по заслугам.

Я сказал, что начал читать с принцем *«Минну фон Барнхельм»* и пьеса эта кажется мне превосходной.

— О Лессинге принято говорить, — добавил я, — будто бы он человек рассудочный и холодный, а мне видится в этой пьесе столько души, столько очаровательной естественности, добросердечия и просвещенной легкости веселого, жизнерадостного человека, что большего, кажется, и желать нельзя.

— Представьте же себе, — сказал Гете, — какое впечатление произвела *«Минна фон Барнхельм»*, возникшая в ту темную эпоху, на нас, молодых людей. Это был сверкнувший метеор! Она насторожила нас, — значит, существует нечто более высокое, о чем наша литературная эпоха даже понятия не имеет. Два первых действия — подлинный ше-

девр экспозиции, они многому нас научили, да и поныне еще могут научить.

Теперь, конечно, никто и слышать не хочет об экспозиции. Раньше силы воздействия ждали от третьего акта, теперь подавай ее уже в первом явлении, и ни один человек не думает, что поэзия — как корабль, которому надо оторваться от берега, выйти в открытое море и тогда лишь поставить все паруса.

Гете велел принести «Рейнского», это превосходное вино ему прислали в подарок ко дню рождения франкфуртские друзья. При этом он рассказал мне несколько анекдотов о Мерке, который не мог простить покойному герцогу, что в Руле под Эйзенахом тот однажды назвал отличным весьма посредственное вино.

— Мы с Мерком, — продолжал он, — относились друг к другу, как Фауст и Мефистофель. Мерк, к примеру, насмеялся над письмом моего отца из Италии, в котором отец жаловался на тамошний образ жизни, непривычную пищу, на терпкое вино, на москитов; Мерк же никак не хотел примириться с тем, что в замечательной стране, среди окружающей его красоты, человек брюзжит из-за таких пустяков, как еда, питье и мошара.

Все эти поддразнивания у Мерка, несомненно, шли от высокой культуры, но так как творческое начало в нем отсутствовало и, напротив, было ярко выражено начало негативное, то он всегда был менее склонен к похвале, чем к хуле, и бессознательно выискивал все, что могло избыть этот зуд.

Говорили мы еще о Фогеле и его административных способностях, а также о \*\*\*, его складе и характере.

— \* \* \*, — сказал Гете, — человек весьма своеобразный, его ни с кем не сравнишь. Он был единственный, кто соглашался со мной относительно невозможности свободы печати. Он твердо стоит на ногах, на него можно положиться, уж он-то никогда не отступит от буквы закона.

После обеда мы немного ходили по саду, любуясь расцветшими белыми подснежниками и желтыми крокусами. Тюльпаны уже пробилась из земли, и мы заговорили о великолепии сих драгоценных цветов, выращиваемых в Голландии.

— Большой художник, пишущий цветы, — сказал Гете, — в настоящее время невозможен; теперь требуется слишком много научной точности, ботаник пересчитывает тычинки на изображенном цветке, а до живописных группировок и освещения ему и дела нет.

Сегодня снова прожил подле Гете несколько прекрасных часов.

— С «*Метаморфозой растений*», — объявил он, — я, можно сказать, покончил. То, что мне еще надо было сказать о спиральном развитии и о господине фон *Мартиусе*, тоже почти готово, и сегодня с утра я опять взялся за четвертый том моей биографии и написал конспект того, что еще необходимо доделать. Право же, можно позавидовать, что мне в столь преклонные лета дано еще писать историю моей юности, совпавшей с эпохой, во многих отношениях примечательной.

Мы обсудили отдельные части, которые и я и он помнили во всех подробностях.

— Вы так воссоздали ваши любовные отношения с *Лили*, — заметил я, — что мысль о ваших преклонных годах и в голову никому не приходит, напротив, эти сцены овеяны дыханием юности.

— Потому что, — сказал Гете, — это поэтические сцены, и силою поэзии мне, видимо, удалось возместить утраченное чувство юношеской любви.

Засим мы коснулись тех поразительных мест, где Гете говорит о своей сестре.

— Эту главу, — сказал он, — будут с интересом читать образованные женщины, ибо найдутся многие, сходствующие с моей сестрой, то есть, при выдающемся уме и высоких нравственных качествах, лишённые счастья телесной красоты.

— В том, что у нее накануне празднеств или балов, — сказал я, — на лице высыпала сыпь, есть что-то до того странное, что невольно думаешь о вмешательстве демонического.

— Удивительное она была существо, — сказал Гете, — высоконравственная, без тени чувственности. Мысль отдаться мужчине была ей отвратительна, и надо думать, что в браке эта ее особенность доставляла немало тяжелых часов им обоим. Женщины, которым свойственна такого рода антипатия, или женщины, не любящие своих мужей, поймут, каково это. Потому-то я никогда не мог представить себе сестру замужней, настоятельница монастыря — вот было ее истинное призвание.

И потому, что брак с прекрасным человеком все равно не принес ей счастья, она так страстно противилась моему намечавшемуся союзу с *Лили*.

*Вторник, 29 марта 1831 г.*

Сегодня говорили о Мерке, и Гете привел еще кое-какие характерные его черты.

— Покойный великий герцог, — сказал он, — был очень благосклонен к Мерку и, когда тот задолжал четыре тысячи талеров, поручился за него. Через недолгое время Мерк, к ваящему нашему удивлению, прислал поручительство обратно. Положение его не улучшилось, и мы судили и рядили, что же он такое удумал. Когда я с ним встретился, он разрешил эту загадку следующим образом. «Герцог, — сказал он, — широкий человек, превосходный государь, он верит людям и помогает им по мере возможности. Вот я и подумал: если ты обманешь герцога, внакладе останутся сотни его подданных, ибо он утратит веру в них и множество хороших людей пострадает оттого, что один малый оказался проходимцем. Что же, спрашивается, я сделал? Я прикинул, как лучше, и взял взаймы у одного мошенника; если я его надую, беда невелика, а если бы я обманул добряка-герцога, это было бы подло».

Мы посмеялись над великодушием этого чудака.

— У Мерка была странная привычка, — продолжал Гете, — в разговоре то и дело издавать звук: «Хе! Хе!» С годами она еще усилилась, и это уже стало походить на собачий лай. На склоне лет он впал в глубокую ипохондрию вследствие своих бесчисленных деловых махинаций и кончил тем, что застрелился. Он внушил себе, что неминуемо обанкротится, но позднее выяснилось, что его дела были совсем не так плохи, как он воображал.

*Среда, 30 марта 1831 г.*

Опять разговор о демоническом.

— Демоническое тяготеет к выдающимся людям, — сказал Гете, — и предпочтительно выбирает сумеречные времена. В светлом, прозаическом городе вроде Берлина оно вряд ли проявляется.

Этими словами Гете сказал то, о чем я и сам на днях думал; мне это было приятно, как всегда приятно находить подтверждение своим мыслям.

Вчера и сегодня утром я читал третий том его биографии, при этом мною владело чувство, какое испытываешь, читая на иностранном языке; вот ты еще немного подучился и снова берешься за книгу, которую как будто бы

понимал и раньше, но только сейчас начинаешь ясно различать мельчайшие подробности и оттенки.

— Ваша биография, — сказал я, — это книга, которая решительнейшим образом продвинула вперед нашу культуру.

— Все это итоги моей жизни, — отвечал Гете, — а отдельные факты я приводил, чтобы подтвердить свои наблюдения, подтвердить высшую истину.

— Многие штрихи в этой книге, по-моему, исполнены глубочайшего значения, к примеру, то, что вы среди прочего говорите о *Базедове*, — сказал я, — о том, как он, нуждаясь в людях для достижения своих благих целей и стремясь завоевать их доброе отношение, не подумал, что всех оттолкнет от себя, без обиняков высказывая свои рассудочные религиозные воззрения и тем самым заставляя верующих усомниться в том, к чему они с такой любовью привержены.

— Мне думалось, — сказал Гете, — что эта книга вместит в себя некоторые символы человеческой жизни. Я назвал ее «*Поэзия и правда*», ибо высокие устремления возносят ее над житейской обыденностью. *Жан-Поль* из духа противоречия написал о своей жизни одну только «*Правду*!» Хотя правда о жизни такого человека доказывает только то, что он был филистером! Но немцы туго соображают, как отнестись к непривычному, и зачастую упускают из виду более высокое. Факты из нашей жизни чего-то стоят не сами по себе, а по тому, что они значат.

*Четверг, 31 марта 1831 г.*

Обедал у принца с *Сорэ* и *Мейером*. Говорили о литературе, и Мейер рассказал о своем первом знакомстве с *Шиллером*.

— Я гулял, — начал он, — с Гете по так называемому Парадизу под Иеной, Шиллер попался нам навстречу, и там-то я впервые с ним разговорился. Он еще не закончил своего «*Дон Карлоса*»; он только что вернулся из Швабии и выглядел больным и очень нервным. Лицо его напоминало лик распятого Христа. Гете предположил, что он не проживет и двух недель, но он отдохнул, оправился и после этого написал лучшие свои произведения.

Засим Мейер вкратце рассказал о *Жан-Поле* и *Шлегеле*, с которыми встретился на постоялом дворе в Гейдельберге, и еще несколько веселых историй из времен

своего пребывания в Италии, которые очень нас позабыли.

Вблизи от Мейера всегда чувствуешь себя хорошо, наверно, потому, что он человек, углубленный в себя и при этом довольный жизнью, на окружающих он обращает мало внимания, но при случае приоткрывает собеседникам свой невозмутимый внутренний мир. К тому же он человек очень солидный, обладает обширнейшими знаниями и редкой памятью, даже самые мелкие события далекого прошлого предстают перед ним так, словно совершились вчера. В нем преобладает разум, и это могло бы от него отпугнуть, если бы фундаментом его разума не была благороднейшая культура; его присутствие всегда действует умиротворяюще и поучительно.

*Пятница, 1 апреля 1831 г.*

За столом у Гете самые различные разговоры. Он показал мне акварель работы господина фон *Рейтерна*; на ней изображен молодой крестьянин, он стоит на рынке маленького городка возле торговки корзинами и прочими плетеными изделиями. Юноша рассматривает горой наваленные корзины, а две сидящие женщины и дюжая девица возле них благосклонно взирают на красивого парня. Картина так приятно скомпонована, фигуры до того правдивы в своей наивности, что на нее вдосталь не наглядисься.

— Техника акварели, — сказал Гете, — здесь поистине удивительна. Многие простодушные люди уверяют, что господин фон Рейтерн никому не обязан своим искусством, все-де у него идет изнутри. А что человек может выкопать из себя, кроме глупости и неумения? Если этот художник и не учился у знаменитого мастера, то все же общался с выдающимися мастерами и многое перенимал у них, у их прославленных предшественников и у вездесущей природы. Природа, одарив его прекрасным талантом, вместе с искусством его выпестовала. Он превосходный живописец, кое в чем единственный, но нельзя же сказать, что все это пришло к нему изнутри. Только о сумасшедшем, неполноценном художнике можно, пожалуй, сказать, что он всем обязан лишь самому себе, о превосходном мастере — никогда.

Затем Гете показал мне написанное тем же художником обрамление, богато изукрашенное золотом и разноцветными красками, с пустым квадратом посередине для

надписи. Наверху было изображено здание в готическом стиле; по бокам спускались мудреные арабески с вплетенными в них ландшафтами и домашними сценами; внизу эту композицию заканчивал прелестный лесной уголок с травой и зеленеющими деревьями.

— Господин фон Рейтерн просит меня, — сказал Гете, — написать что-нибудь на месте, которое он оставил свободным, но его обрамление так художественно и роскошно, что я боюсь испортить его своим почерком. Я даже сочинил стишки для этой цели, но подумал: надо поручить каллиграфу вписать их, а я уж ограничусь подписью. Что вы на это скажете и что мне посоветуете?

— Будь я на месте господина фон Рейтерна, — сказал я, — я был бы положительно несчастлив, увидя ваше стихотворение написанным чужою рукой. Он ведь приложил все свое искусство, чтобы создать для него подобающее окружение, почерк тут уже ничего не значит, все дело в том, чтобы он был вашим. И еще я советую вписать стихотворение не латинскими, а готическими буквами, они для вашего почерка куда характернее, к тому же этот шрифт больше отвечает готическому обрамлению.

— Вы, пожалуй, правы, — согласился со мною Гете, — да так оно и проще. Возможно, я в ближайшие дни наберусь храбрости и напишу сам. Но если я посажу кляксу посреди этой прелестной картинки, — смеясь, добавил он, — то отвечать будете вы.

— Напишите, как получится, — сказала я, — и все будет хорошо.

*Вторник, 5 апреля 1831 г.*

Обедал с Гете.

— В искусстве, — сказал он, — мне редко встречался талант, более приятный, чем *Нейрейтер*. Художник редко умеет ограничить себя тем, что ему сильно, многие хотят сделать больше того, что могут, и рвутся вон из круга, отведенного им природой. Нейрейтер же стоит, если можно так выразиться, *над* своим талантом. Он способен одинаково хорошо воссоздать все в природе — почву, скалы и деревья, а также людей и животных. Изобразительность, мастерство и вкус присущи ему в высокой степени, и, расточая свое богатство в легких рисунках на полях, он словно бы играет своим дарованием, и зритель невольно испытывает то приятное ощущение, которое всегда вызывают вольные и щедрые дары богатого человека.

Никто не может с ним сравниться в композиции на полях, тут даже великий *Альбрехт Дюрер* был для него не столько образцом для подражания, сколько побуждением.

Я пошлю экземпляр этих рисунков Нейрейтера моему другу господину *Карлейлю* в Шотландию и надеюсь, что такой подарок будет ему приятен.

*Понедельник, 2 мая 1831 г.*

Гете порадовал меня вестью, что за последние дни ему удалось завершить, или почти завершить, до сих пор отсутствовавшее начало пятого акта «*Фауста*».

— Замысел этих сцен тоже существует уже более тридцати лет, — сказал Гете, — он так значителен, что я никогда не терял к нему интереса, но и так труден, что я боялся приступить к его выполнению. Теперь, прибегнув к разного рода уловкам, я опять вошел в колею и, если посчастливится, на одном дыхании допишу и четвертый акт.

Гете заговорил об одном известном писателе.

— Это человек не бездарный, — сказал он, — но его продвижению способствует партийная ненависть, без нее он бы не преуспел. В литературе мы знаем много примеров, когда ненависть подменяет собою гений и малые таланты кажутся большими оттого, что служат рупором определенной партии. Так и в жизни нам встречается целая масса людей, которым недостает характера, чтобы оставаться в одиночестве; эти тоже стремятся примкнуть к какой-нибудь клике, ибо так чувствуют себя сильнее и могут что-то собою представлять.

*Беранже*, напротив, талант, которому достаточно самого себя. Посему он никогда никакой партии не служил. Он вполне удовлетворяется своей внутренней жизнью, внешний мир ничего не может дать ему, так же как не может ничего у него отнять.

*Воскресенье, 15 мая 1831 г.*

Обедал вдвоем с Гете в его рабочей комнате. После оживленной беседы о том, о сем он заговорил о своих личных делах; при этом он поднялся и взял со своей конторки исписанный лист бумаги.

— Когда человеку, в данном случае мне, перевалило за восемьдесят, — сказал Гете, — он, собственно, уже не имеет права жить; каждый день он обязан быть готов к тому,

что его отзовут, и должен думать, как устроить свои земные дела. В своем завещании, — впрочем, я вам это уже говорил, — я назначаю вас издателем моего литературного наследства, сегодня утром я составил нечто вроде договора, который нам обоим надо подписать.

С этими словами Гете положил передо мной бумагу с точным реестром своих произведений, как законченных, так и незаконченных, которые я должен был издать после его смерти, а также с распоряжениями и условиями, касающимися издания. В основном я со всем был согласен, и мы оба поставили свои подписи.

Упомянутый в реестре материал, редактированием которого я и раньше время от времени занимался, составлял, по моему расчету, томов пятнадцать; в связи с этим мы еще обсудили некоторые не вполне решенные вопросы.

— Может случиться, — сказал Гете, — что издатель будет против такого количества листов и материал придется сократить: на худой конец, вы можете изъять полемическую часть «Учения о цвете». Мое учение как таковое изложено в теоретической части, а поскольку исторические отступления в ней тоже носят, безусловно, полемический характер, ибо в них я говорю об основных ошибках Ньютонова учения, то полемики, пожалуй что, и достаточно. Я отнюдь не отрекаюсь от своего резкого разбора Ньютоновых положений, но, по существу, полемические выступления чужды моей натуре и удовольствия мне не доставляют.

Предметом нашего подробного обсуждения стали также «Максимы и рефлексии», напечатанные в конце второй и третьей частей «Годов странствий».

Перерабатывая и дополняя роман, ранее вышедший в одном томе, Гете подумал, что его следует опубликовать в двух томах, как и было объявлено в проспекте нового собрания сочинений. Однако в ходе работы рукопись, против ожидания, разрослась, к тому же у переписчика оказался довольно разгонистый почерк, и Гете ошибочно решил, что материала достаточно для *трех* томов; так рукопись, разделенная на *три* тома, и была отправлена издателю. Когда же часть ее была набрана, выяснилось, что Гете просчитался и два последние тома получатся слишком тонкими; издатель попросил его о продолжении, но менять что-либо в романе было уже поздно, время теснило автора, не позволяя ему придумать и написать еще одну вставную новеллу, таким образом Гете действительно оказался в затруднении.

Он послал за мною, посвятил меня в то, что произошло, и в то, как он намерен выпутаться из этой истории, потом велел принести две толстые пачки рукописей и положил их передо мною.

— В этих двух пакетах лежат разные, никогда еще не печатавшиеся работы, отдельные заметки, законченные и незаконченные вещи, афоризмы, касающиеся естествознания, искусства, литературы, жизни, наконец, — все вперемешку. Хорошо бы, вы взялись отредактировать и подобрать листов эдак от шести до восьми, чтобы, пока суд да дело, заполнить пустоты в «Годах странствий». Говоря по совести, это к роману прямого отношения не имеет, оправданием мне может служить только то, что в романе упоминается об архиве Макарии, в котором имеются такие записи. Следовательно, мы сейчас сами выберемся из большого затруднения, да еще вывезем на этой колымаге множество значительных и полезных мыслей на потребу человечества.

Я согласился с Гете, тотчас же засел за работу и за короткое время справился с нею. Гете, по-видимому, был очень доволен. Я разделил материал на две части; одну мы озаглавили «Из архива Макарии», другую — «В духе странников», а так как Гете к этому времени закончил два замечательных стихотворения, одно: «*При созерцании черепа Шиллера*», второе: «*Кто жил, в ничто не обратится...*» — и горел желанием поскорее обнародовать их, то ими мы закончили как первую, так и вторую часть.

Но когда «Годы странствий» вышли в свет, никто толком не знал, как отнестись к этому роману. Действие его то и дело прерывалось загадочными изречениями, смысл коих был понятен только специалистам, то есть художникам, естествоиспытателям и литераторам, остальные читатели, и прежде всего читательницы, пребывали в растерянности. Оба стихотворения тоже, можно сказать, остались непонятыми, никто не мог взять в толк, как они сюда попали.

Гете смеялся.

— Теперь уж ничего не поделаешь, — сказал он тогда, — придется нам при подготовке к изданию моего литературного наследия разместить все как надлежит, дабы «Годы странствий» без вставок и без этих двух стихотворений уместились в двух томах, как оно и было задумано поначалу.

Мы договорились, что все афоризмы об искусстве будут со временем объединены в томе, посвященном искус-

ству, все афоризмы о природе — в томе статей и заметок о естествознании, те же, что относятся к вопросам этики и литературы, составят отдельный том.

*Среда, 25 мая 1831 г.*

Говорили о «Лагере Валленштейна». Мне не раз доводилось слышать, что *Гете* принимал участие в создании этой драмы и что проповедь капуцина подсказана им. Сегодня за столом я спросил его об этом, и он ответил мне следующее:

— По существу — все сделано Шиллером. Но так как мы жили в тесном общении и Шиллер не только посвятил меня в свой замысел и обсудил его со мною, но по мере продвижения работы читал мне ее, выслушивал мои замечания и использовал их, то, возможно, есть там и что-то мое. Для проповеди капуцина я послал ему «Речи Абрагама а Санкта-Клара», из них он умело и остроумно составил эту проповедь.

Не могу уже припомнить, чтобы отдельные места были сделаны мною, помню только два стиха:

Капитан, что другим заколотый пал,  
Мне пару счастливых костей завещал<sup>1</sup>.

Я считал необходимым пояснить, каким образом у крестьянина очутились поддельные кости, и собственноручно вписал эти две строки в рукопись. Шиллер об этом не подумал и, как всегда, смело дал кости в руки крестьянину, нимало не заботясь о том, как они к нему попали. Продуманные мотивировки, как я уже сказал, не были его сильной стороной, наверно, потому его пьесы в сценическом воплощении так сильно и волнуют зрителя.

*Воскресенье, 29 мая 1831 г.*

Гете рассказывал мне о мальчике, который никак не мог успокоиться после совершенного им небольшого проступка.

— Мне не понравилось, — сказал Гете, — это свидетельство не в меру чуткой совести, ведь это значит, что он столь высоко оценивает свое нравственное «я», что уже ничего ему не прощает. Такая совесть делает людей ипохондриками, если, конечно, ее не уравновешивает энергичная деятельность.

---

<sup>1</sup> Перевод О. Румера.

На днях мне подарили гнездо с птенцами славки, а также и мать, пойманную на обмазанный клеем прутик. Я с удивлением наблюдал, что птица продолжала приносить пищу своим птенцам в комнату и, выпущенная из окна, всякий раз возвращалась к ним. Эта материнская любовь, превозмогшая опасность и тяготы плена, растрогала меня до глубины души, и сегодня я поведал Гете о своем удивлении.

— Чудак человек! — многозначительно усмехнувшись, сказал о н , — верили бы вы в бога, и вам не пришлось бы удивляться.

Ему под стать, изыдя в мрак священный,  
Миры — собой, себя живить вселенной,  
Дабы в сплетеньях зиждущих начал  
Всемощный дух его не иссякал<sup>1</sup>.

Если бы бог не даровал птице всемогущего материнского инстинкта, если бы этот инстинкт не был присущ всему живому, мир не мог бы существовать! Но божественная сила разлита повсюду, и повсюду властвует вечная любовь.

Сходную мысль Гете высказал на днях, когда некий молодой скульптор прислал ему копию Мироновой коровы с сосущим ее теленком.

— Вот, собственно, наивысший символ, — сказал Гете, — прекрасное воплощение начала, на котором зиждется мир, — принципа питания, насквозь проникающего природу. Такие произведения искусства я считаю истинным символом вездесущности бога.

*Понедельник, 6 июня 1831 г.*

Сегодня Гете показал мне отсутствовавшее доньше начало пятого акта «Фауста». Я дочитал до места, когда сгорают хижина Филемона и Бавкиды, а Фауст, стоя ночью на балконе своего дворца, чует запах дыма в обвеваемом его ветерке.

— Имена Филемона и Бавкиды, — сказал я, — переносят меня на Фригийский берег, и я поневоле вспоминаю о прославленной чете глубокой древности; но эта-то сцена разыгрывается в новейшие времена, уже в христианском мире.

— Мои Филемон и Бавкида, — отвечал Гете, — ничего общего не имеют с прославленной древней четою и с ле-

---

<sup>1</sup> Перевод Б. Пастернака.

гендой о ней. Мою чету я нарек этими именами, чтобы сразу дать представление об их характерах. Это схожие люди, схожие обстоятельства, а потому здесь было вполне уместно повторить имена.

Потом мы заговорили о Фаусте; даже в старости он не избавился от прирожденной черты характера — недовольства. Владея всеми сокровищами мира в им самим созданном государстве, он не знает покоя из-за двух липок, хижины и колокольчика, ему не принадлежащих. В этом он сходствует с иудейским царем Ахавом: тот ведь готов был отказаться от всех своих владений, лишь бы заполучить виноградник Навуфея.

— Фаусту в пятом акте, — продолжал Гете, — по моему замыслу, как раз исполнилось сто лет, вот я и не знаю, может быть, мне где-нибудь сказать об этом пояснее.

Затем мы упомянули о развязке, и Гете обратил мое внимание на место, где говорится:

Спасен высокий дух от зла  
Произволением божьим:  
*«Чья жизнь в стремленьях вся прошла,  
Того спасти мы можем».*  
А за кого любви самой  
Ходатайство не стынет,  
Тот будет ангелов семьей  
Радушно в небе принят<sup>1</sup>.

— В этих стихах, — сказал он, — ключ к спасенью Фауста. В нем самом это все более высокая и чистая деятельность до последнего часа, а свыше — на помощь ему — нисходит вечная любовь. Это вполне соответствует нашим религиозным представлениям, согласно которым не только собственными усилиями заслуживаем мы вечного блаженства, но и милостью божьей, споспешествующей нам.

Думается, вы согласитесь, что финал — вознесенье спасенной души — сделать было очень нелегко и что, говоря о сверхчувственном, едва только чаемом, я мог бы расплыться в неопределенности, если бы не придал своим поэтическим озарениям благодетельно ограниченную, четкую форму христианско-церковных преданий и образов.

Недостающий четвертый акт Гете написал за считанные недели, так что в августе вся вторая часть, полностью завершенная, была уже сброшюрована. Достигнув наконец

---

<sup>1</sup> Перевод Б. Пастернака.

цели, к которой он так долго стремился, Гете был беспрельдно счастлив.

— Дальнейшую мою жизнь, — сказал он, — я отныне рассматриваю как подарок, и теперь уже, собственно, безразлично, буду ли я что-нибудь делать и что именно.

*Среда, 21 декабря 1831 г.*

Обедал с Гете. Разговор о том, отчего так мало популярно «Учение о цвете».

— Его очень трудно распространить, — заметил Гете, — поскольку тут, как вам известно, недостаточно читать и штудировать, тут необходимо «действовать», то есть ставить опыты, а это затруднительно. Законы поэзии и живописи тоже поддаются передаче лишь до известной степени, — ведь чтобы быть настоящим поэтом или художником, потребен гений, а как его передашь? Для восприятия простого прафеномена, для оценки высокого его значения и для умения оперировать с ним необходим продуктивный ум, который в состоянии многое охватить, а это редкий дар, и встречается он только у избранных.

Но и этого мало. Как человек, изучивший все законы и правила, вдобавок гениально одаренный, еще не художник, ибо к этим качествам должно присоединиться неустанное упражнение, так и в «Учении о цвете» не довольно знания важнейших законов и восприимчивого ума, надо научиться делать выводы из явлений, часто весьма таинственных, и прозревать их взаимосвязь.

Так, например, нам хорошо известно, что зеленый цвет возникает от смешения желтого и синего, однако чтобы сказать: мне понятно возникновение зеленого цвета в радуге, мне понятно, почему листва зеленая и морская вода тоже, требуется всестороннее исследование царства цвета, а это равносильно глубокому проникновению в него, чем вряд ли многие могут похвалиться.

После десерта мы стали рассматривать отдельные пейзажи *Пуссена*.

— Те места, которые по воле художника наиболее ярко освещены, — заметил Гете, — не допускают детальной разработки; посему вода, скалы, обнаженная почва и здания всего благоприятнее для яркого освещения. И напротив, предметы, требующие большей детализации, художник не должен давать в ярком освещении.

— Пейзажисту, — продолжал Гете, — необходимо обладать множеством знаний. Ему недостаточно разбираться

в перспективе, архитектуре, в анатомии человека и животных, он обязан иметь еще и представление о ботанике и минералогии. Первое, — чтобы воссоздать характерные особенности деревьев и растений, последнее — чтобы не оплошать при изображении различных горных пород. Разумеется, ему не нужно быть специалистом — минералогом, ибо главным образом он имеет дело с известняками, глинистыми сланцами и песчаниками, и знать ему нужно только, в каких формах они залегают, как расщепляются при выветривании, да еще какие породы деревьев успешно произрастают на них, а какие становятся кривоствольными.

Гете показал мне затем несколько ландшафтов *Германа фон Шванефельда* и много говорил об искусстве и личности этого превосходного человека.

— У него больше чем у кого-либо другого искусство — склонность, а склонность — искусство. Он всей душой любит природу и божественную умиротворенность, которая передается и нам, когда мы смотрим его картины. Шванефельд родился в Нидерландах, а учился в Риме у Клода Лоррена; он усовершенствовался под его руководством и сумел наилучшим образом развить свой прекрасный и оригинальный талант.

Мы полистали в «Словаре искусств», желая посмотреть, что говорится о Германе фон Шванефельде. Там его упрекали за то, что он не достиг вершин своего учителя.

— Дурачье! — сказал Гете. — Шванефельд не был Клодом Лорреном, а последний никогда бы не сказал: я лучше. Если бы наша жизнь состояла лишь из того, что пишут о нас биографы и составители словарей, то, право, это было бы пустое, ничего не стоящее времяпрепровождение.

В конце этого года и в начале следующего Гете вновь предался любимым своим занятиям естественными науками и углубился, отчасти под влиянием *Буассерэ*, в дальнейшую разработку законов радуги, а также, из интереса к спору между *Кювье* и *Сент-Илером*, продолжал трудиться над метаморфозой растительного и животного мира. Ко всему он еще редактировал вместе со мною историческую часть «Учения о цвете» и работал над главою о смешении красок, которую я, по его желанию, подготавливал для теоретического тома.

В ту пору много было разнообразных разговоров между нами и много я слышал его остроумнейших высказыва-

ний. Но поскольку я каждый день его видел полного сил и бодрости, мне казалось, что так будет вечно, и я с меньшим вниманием относился к его словам, чем в другое время, покуда не стало слишком поздно и 22 марта 1832 года мне не пришлось вместе с тысячами добрых немцев оплакивать невозместимую утрату.

Нижеследующее я записал по совсем еще свежим воспоминаниям.

*Начало марта 1832 г.*

За столом Гете рассказывал о посещении барона *Карла фон Штигеля*, который, сверх обыкновения, пришелся ему по душе.

— Это очень красивый молодой человек, — сказал Гете, — в его манерах и поведении есть что-то такое, по чему сразу определяешь аристократа. Свое происхождение он так же не мог бы скрыть, как нельзя скрыть недюжинный ум. Ибо высокое рождение и ум придают особый чекан тому, на чью долю они выпали, и никакое инкогнито тут не спасает. Это стихийные силы, к ним нельзя приблизиться, не почувствовав их высшей природы.

*Несколько дней спустя.*

Мы говорили об идее трагического рока у древних.

— Подобная и д е я, — сказал Гете, — уже не сообразна с нашим мышлением, она устарела и противоречит нынешним религиозным представлениям. Если современный поэт в основу своей пьесы кладет такие идеи, они всегда выйдут несколько аффектированными. Это костюм, давно вышедший из моды, который нам уже не к лицу, как римская тога.

Мы, люди новейшего времени, скорее склонны повторять вслед за Наполеоном: *политика* и есть рок. Поостережемся, однако, вместе с нашими современными литераторами говорить, что политика — это *поэзия* или хотя бы подходящая тема для поэта. Английский поэт Томсон написал превосходное стихотворение о временах года и прескверное о свободе, и не потому, что поэту недоставало поэтичности, ее не достало теме.

Ежели поэт старается к политическому воздействию, ему надо примкнуть к какой-то партии, но, сделав это, он перестает быть поэтом, ибо должен распротиться со свободой своего духа, с независимостью своего взгляда на

мир и, напротив, натянуть себе на голову дурацкий колпак ограниченности и слепой ненависти.

Как человек и гражданин поэт *любит* свою отчизну, но отчизна его поэтического гения и *поэтического* труда — то доброе, благородное и прекрасное, что не связано ни с какой провинцией, ни с какой страной, это то, что он берет и формирует, где бы оно ему ни встретилось. Поэт сходствует с орлом, свободно озирающим страны, над которыми он парит, и ему, как и орлу, безразлично, по земле Пруссии или Саксонии бежит заяц, на которого он сейчас низринется.

Да и что значит — любить отчизну, что значит — действовать, как подобает патриоту? Если поэт всю жизнь тщился побороть вредные предрассудки, устранить бездушное отношение к людям, просветить свой народ, очистить его вкус, облагородить его образ мыслей, что же еще можно с него спросить? И как прикажете ему действовать в духе патриотизма? Предъявлять поэту столь неподобающие и нелепые требования — все равно что настаивать, чтобы командир полка, как истинный патриот, принимал участие в политических реформах, пренебрегши своими прямыми обязанностями. Но ведь отечество полкового командира — его *полк*, и он может быть отличным патриотом, не вмешиваясь в политические дела, или лишь постольку, поскольку они его затрагивают; пусть же все свои помыслы и попечения он направляет на вверенные ему батальоны, обучает их, держит в порядке и повиновении, чтобы, когда отечество в опасности, они сумели за него постоять.

Я ненавижу плохую работу как смертный грех, но всего более — плохую работу в государственных делах, так как от нее страдают тысячи и миллионы людей. Я не слишком интересуюсь тем, что обо мне пишут, но многое все же до меня доходит, и я знаю: как бы трудно мне ни приходилось в жизни, вся моя деятельность в глазах целого ряда людей ровно ничего не стоит, потому что я наотрез отказывался примкнуть к какой-либо политической партии. Чтобы угодить этим людям, мне следовало заделаться якобинцем и проповедовать убийство и кровопролитие! Но ни слова больше об этом скверном предмете, не то, борясь с неразумием, я сам в него впаду.

Гете порицал также превозносимую большинством политическую направленность Уланда.

— Вот посмотрите, — сказала н, — политик сожрет поэта. Быть членом ландтага, жить среди ежедневных трений

и возбужденных дебатов — негоже поэту с его чувствительной натурой. Его песни умолкнут, и об этом, пожалуй, придется пожалеть. В Швабии немало людей, достаточно образованных, благомыслящих, дельных и красноречивых, чтобы быть членами ландтага, но такой поэт, как Уланд, у нее один.

Последний гость, которого Гете радушно принимал в своем доме, был старший сын госпожи фон Арним; последнее, что Гете написал, были стихи в альбом упомянутого молодого друга.

На следующее утро после кончины Гете меня охватило неодолимое стремление еще раз увидеть его земную оболочку. Верный его слуга *Фридрих* открыл комнату, в которой он лежал. Гете покоился на спине и казался спящим. Глубокий мир и твердость были запечатлены на его возвышенно-благородном лице. Под могучим челом словно бы еще жила мысль. Я хотел унести с собою прядь его волос, но благоговение не позволило мне ее отрезать. Обнаженное тело было закрыто куском белой материи, вокруг, чуть поодаль, лежали большие куски льда, чтобы как можно дольше предохранить его от тления. Фридрих откинул покров, и божественная красота этих членов повергла меня в изумление. Мощная, широкая и выпуклая грудь; руки и ляжки округлые, умеренно мускулистые; изящные ноги прекраснейшей формы, и нигде на всем теле ни следа ожирения или чрезмерной худобы. Совершенный человек во всей своей красоте лежал передо мною, и, восхищенный, я на мгновение позабыл, что бессмертный дух уже покинул это тело. Я приложил руку к его сердцу — оно не билось, — и я отвернулся, чтобы дать волю долго сдерживаемым слезам.



## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Наконец-то лежит передо мною законченная третья часть моих «Разговоров с Гете», которую я давно обещал читателю, и сознание, что невероятные трудности остались позади, делает меня счастливым.

Очень нелегкой была моя задача. Я уподобился кормчему, чей корабль не может плыть по веющему сейчас ветру и он вынужден неделями, а то и месяцами дожидаться, покуда задует тот самый ветер, что дул много лет назад. Когда я сподобился радости писать первые две части, я в какой-то степени плыл с попутным ветром, ибо недавно сказанные слова еще звучали в моих ушах, а живое общение с этим удивительным человеком то и дело ввергало меня в стихию вдохновения, и к цели я несся как на крыльях.

Но теперь, когда этот голос уже много лет, как умолк, и далеко осталось счастье моих встреч с Гете, я добивался столь нужного мне вдохновения лишь в часы, когда мог уйти в себя. В тиши и сосредоточении оживали поблекшие было краски прошлого, все приходило в движение, передо мной вставали великие мысли и великий характер, словно горная цепь, пусть отдаленная, но отчетливо видная и залитая солнцем сегодняшнего дня.

Силы я черпал в радости соприкосновения с великим: подробности хода его мыслей и устного их выражения оживали в моей памяти, казалось, я слышал их не далее как вчера. Живой Гете снова был со мною; я слышал дорогие мне звуки его голоса, который нельзя было спутать ни с чьим другим. Видел его вечером в черном фраке со звез-

дой, среди друзей, в сияющем огнями доме; он смеется и веселым разговором занимает гостей. В хорошую, теплую погоду он сидит в экипаже рядом со мною в коричневом сюртуке и синей суконной шапочке, светло-серое пальто лежит у него на коленях, лицо покрыто здоровым свежим загаром; он громко говорит, и его живая, остроумная речь заглушает стук колес. А потом опять я видел себя в его рабочей комнате: тихонько мигают огоньки свечей, он сидит за столом насупротив меня в белом фланелевом шлафроке, умиротворенный после хорошо прожитого дня. Много великого и доброго затрагивает наша беседа, благороднейшие глубины его души раскрываются передо мною, мой дух возгорается, соприкасаясь с его духом. Полная гармония уже царит между нами; через стол он протягивает мне руку, и я пожимаю ее и, схватив бокал с вином, стоящий подле меня, ни слова не говоря, осушаю его за здоровье Гете, не отрывая взгляда от его глаз.

Так мы снова были вместе, и я снова слышал его речи.

Увы, в жизни часто случается, что мы хоть и вспоминаем усопшего, которого любили всем сердцем, но в суете быстротекущих дней иногда в продолжение целых месяцев — лишь мимолетно. Редко наступают те тихие и прекрасные минуты, когда нам кажется, что ушедшее вновь с нами, во всей полноте жизни. Так бывало и со мной.

Иной раз проходили долгие месяцы, и моя душа, уставшая от повседневности, была мертва для Гете, ни одно его слово не будоражило мой ум. И опять проходили месяцы полного бессилия — в моем сердце ничто не прорастало и не цвело. Оставалось только терпеливо переживать эти пустые времена, ибо написанное в таком состоянии все равно ничего бы не стоило. Я уповал на счастье — неужто оно не вернет мне счастливой поры, когда прошлое во всей своей живости бывало рядом со мной, когда прилив духовных сил и благополучные житейские обстоятельства позволяли мне подготовить достойную обитель для мыслей и чувств Гете. Ведь герой моей книги всегда должен был оставаться на высоте. Я обязан был явить читателю кротость его взглядов, ясность и мощь его духа, все величие этого необыкновенного человека, дабы держаться правды, — а это была нешуточная задача!

Мое отношение к нему носило характер своеобразный и легкоранимый. Это было отношение ученика к учителю, сына к отцу, человека, жаждущего знаний, к мудрецу, в избытке обладающему таковыми. Он ввел меня в круг своих интересов, позволил мне делить с ним духовные и те-

лесные наслаждения его высокого бытия. Бывало, что я видел его лишь раз в неделю, зайдя к нему вечером, а бывало, что и каждый день имел счастье обедать с ним, то в довольно обширном обществе, а не то и tête à tête.

Его беседа была так же многообразна, как и его творения. Он всегда был одинаковым и всегда другим. Если какая-нибудь новая идея занимала его, слова текли непрерывным, неисчерпаемым потоком. Они напоминали весенний сад, где все в цвету; ослепленные таким сиянием, люди даже не помышляют о том, чтобы нарвать букет цветов. В другой раз он, напротив, был молчалив, как будто туман окутывал его душу, и лишь изредка ронял слова; более того, иногда казалось, что он закован в лед и резкий ветер дует над снежными заиндевевшими полями. А придешь в следующий раз — и опять он как радостный летний день, когда кусты и кроны деревьев звенят ликующими голосами лесных певцов, кукушка кличет кого-то под голубыми небесами и ручеек журчит на цветущей поляне. В такие дни счастье было слушать его, благословенна была его близость и сердце ширилось, вбирая мудрые слова.

Зима и лето, старость и юность в вечной борьбе смеялись в нем друг друга, но поразительно было то, что в семидесятилетнем, а потом и восьмидесятилетнем старце юность всегда брала верх, а осенние и зимние дни выдавались редко.

Самообладание — одна из приметнейших черт его характера — было сродни высокой осмотрительности, позволявшей ему полностью владеть материалом и придавать своим произведениям ту художественную законченность, которой мы не перестаем изумляться. С другой стороны, эта особенность несколько сковывала его как в некоторых произведениях, так и в устных высказываниях. Когда же более сильный демон одолевал эту скованность, его речь бурлила юношеской свободой, точно горный поток, низвергающийся с высоты. В такие счастливые мгновения он высказывал самое великое, самое лучшее, что таилось в глубинах его богатейшей природы, и собеседники понимали, почему друзья его юности говаривали, что *сказанное* его слово выше написанного и напечатанного. Так *Мармонтель* говорил о *Дидро*, что все, кто знают его по его произведению и я м, — знают его наполовину, ибо лишь в оживленной беседе он был доподлинно блестящ и неотразим.

Я очень надеюсь, что в «Разговорах» мне удалось удержать кое-что из этих счастливых минут, и надеюсь также, что данной книге будут благоприятствовать те ме-

ста, где я стараюсь воссоздать Гете как бы в двойном отражении.

Господин *Сорэ* из Женевы, свободомыслящий республиканец, в 1822 году был приглашен в Веймар в качестве воспитателя его королевского высочества великого герцога; с этого времени вплоть до кончины Гете он тоже находился с ним в весьма дружественных отношениях. Сорэ частенько обедал у Гете и на вечерах в его доме был желанным и частым гостем. Познания Сорэ в естественной истории также способствовали их длительному общению. Как дельный минералог, он упорядочил коллекцию кристаллов, собранную Гете, а превосходное знание ботаники позволило ему перевести на французский «Метаморфозу растений» и тем самым способствовать более широкому распространению этого важнейшего труда. Близость Сорэ ко двору, в свою очередь, поощряла его к частым встречам с Гете, он то сопровождал к нему принца, то являлся с поручением от его королевского высочества великого герцога или ее императорского высочества великой герцогини.

Об этих встречах и беседах господин Сорэ часто писал в своем дневнике и несколько лет назад, составив из своих записей небольшую тетрадь, любезно передал ее мне с дозволением лучшие и наиболее интересные места в хронологическом порядке использовать в моем третьем томе.

Заметки эти, написанные по-французски, были иногда весьма обстоятельными, иногда краткими и недостаточно исчерпывающими, так как хлопотливая жизнь автора не всегда давала ему возможность сосредоточиться. Но поскольку все стоявшее в рукописи Сорэ уже не раз обсуждалось Гете и мною, то мои дневники давали полную возможность пополнить пробелы в записях Сорэ и подробнее развить то, что он лишь слегка затронул. «Разговоры», в основу которых легла рукопись Сорэ, — больше всего их в первые два года, — помечены звездочкой чуть повыше даты, для отличия от тех, что записаны мною, и, за небольшим исключением, составляют записи с 1824 по 1829 и большую часть 1830, 1831 и 1832 годов.

Мне остается только прибавить: очень бы хотелось, чтобы третий том, который я так долго и с такой любовью пестовал, встретил столь же хороший прием, какой выпал на долю двух первых.

*Веймар,*  
*21 декабря 1847 г.*



*Суббота, 21 сентября 1822 г.\**

Вечером у Гете вместе с надворным советником Мейером. Разговор вращался главным образом вокруг минералогии, химии и физики. Его, видимо, прежде всего интересуют явления поляризации света. Показывал мне различные приспособления, в большинстве сработанные по его указаниям, и выразил желание проделать вместе со мною кое-какие опыты.

В ходе беседы Гете становился свободнее и общительнее. Я оставался у него более часу, и на прощанье он сказал мне много добрых слов.

Гете все еще красив, меня поразило величие его лба и зора. Он высок ростом, хорошо сложен и выглядит до того крепким и сильным, что трудно понять, почему он уже много лет назад объявил себя слишком старым, чтобы появляться в обществе и при дворе.

*Вторник, 24 сентября 1822 г. \**

Вечер провел у Гете. Там были Мейер, Гете-сын, госпожа фон Гете и его врач, надворный советник Ребейн. Гете был сегодня необыкновенно оживлен. Показывал великолепные штутгартские литографии; мне еще не доводилось видеть ничего более совершенного в этом роде. Затем говорили на научные темы, об успехах химии, например. Гете особенно интересуют *йод* и *хлор*; о субстанциях он говорит с изумлением, словно эти новые открытия в химии явились для него полнейшей неожиданностью. Он велел принести немножко йода, испарил его на огоньке восковой свечи, причем не преминул обратить наше внимание на лиловый пар, как радостное подтверждение одного из законов его «Учения о цвете».

*Вторник, 1 октября 1822 г. \**

У Гете на званом вечере. Среди гостей — господин канцлер фон Мюллер, президент Пейкер, доктор Стефан Шютце и правительственный советник Шмидт. Последний

на редкость хорошо исполнил несколько фортепианных сонат Бетховена. Высокое наслаждение доставила мне также беседа Гете с его невесткой; в ней молодое веселье сочетается с блестящим и приятнейшим остроумием.

*Четверг, 10 октября 1822 г. \**

Званный вечер у Гете, присутствует знаменитый *Блуменбах* из Геттингена. *Блуменбах* стар, но очень бодр и подвижен; он умудрился сохранить всю свою юную живость. По его простодушию, доброте и жизнерадостности не скажешь, что он ученый; он так прост в обращении, что с ним нельзя не чувствовать себя хорошо. Это знакомство было мне столь же интересно, сколь и приятно.

*Вторник, 5 ноября 1822 г. \**

Званный вечер у Гете. Среди гостей художник *Кольбе*. Рассматривали его большую картину, превосходно выполненную копию Тициановой «Венеры» из Дрезденской галереи.

В этот вечер у Гете были еще господин фон Эшwege и знаменитый *Хуммель*. *Хуммель* почти час импровизировал на фортепиано, так талантливо и мощно, что об этом может составить себе представление только тот, кто его слышал. *Хуммеля* отличала еще и простота и естественность обхождения, а также скромность, удивительная в столь прославленном виртуозе.

*Вторник, 3 декабря 1822 г. \**

Был у Гете на званом вечере. Среди присутствующих господин Ример, Кудрэ, Мейер, сын Гете и госпожа фон Гете.

В Иене восстали студенты; для усмирения их послана артиллерийская рота. Ример прочитал собрание запрещенных студентам песен, что, собственно, и явилось поводом, вернее, предлогом для мятежа. Все эти песни в чтении были, безусловно, одобрены слушателями, главным образом из-за явной талантливости сочинителя. Гете они тоже понравились, и он пообещал дать мне их прочитать на досуге.

После того как мы довольно долго рассматривали гра-  
вюры на меди и редкие книги, Гете всем нам доставил ра-  
дость, прочитав свое стихотворение «Харон». Я диву да-  
вался, слушая его четкую, энергическую декламацию. Ни-  
когда еще я не слышал ничего прекраснее. Какой огонь!  
Какие глаза и какой голос! То громopodobный, то ласкаю-  
щий и мягкий. Возможно, что в некоторых местах он чи-  
тал слишком громко для той небольшой комнаты, в кото-  
рой мы сидели, и все-таки в его чтении не было ничего, что  
хотелось бы изменить.

Потом Гете говорил о литературе, о своих произведе-  
ниях, о мадам де Сталь и так далее. В настоящее время он  
занят переводом и сравнением фрагментов Еврипидова  
«Фаятона». К этой работе он приступил уже год назад и  
на днях снова за нее взялся.

*Четверг, 5 декабря 1822 г. \**

Сегодня вечером слушал репетицию первого акта еще  
не законченной оперы *Эбервейна* «Граф фон Глейхен».  
Мне сказали, что Гете, с тех пор как он сложил с себя обя-  
занности директора театра, впервые собрал у себя чуть ли  
не всю оперную труппу. Дирижировал господин Эбервейн.  
В хоре принимали участие несколько дам из близких зна-  
комых Гете, сольные партии исполняли оперные певцы и  
певицы. Кое-что показалось мне весьма примечательным,  
прежде всего четырехголосный канон.

*Вторник, 17 декабря 1822 г. \**

Вечером посетил Гете. Он был весел и очень остроум-  
но говорил о том, что сумасбродные поступки родителей, к  
сожалению, ничему не научают детей. Его, видимо, силь-  
но заинтересовали работы по изысканию месторождений  
каменной соли. Он сердится на глупость предпринимате-  
лей, которые, оставив без внимания следы, расположение  
и последовательность пластов, под которыми залегает ка-  
менная соль, не зная точно, где следует бурить, бурят нао-  
бум все на одном и том же месте.



*Воскресенье, 9 февраля 1823 г. \**

Вечером был у Гете, застал его в оживленной беседе с Мейером. Смотрел альбом минувших столетий с автографами знаменитых людей, таких, к примеру, как Лютер, Эразм, Мосгейм и другие. Последнему принадлежит следующее латинское изречение:

Слава — источник труда и страданий;  
Безвестность — счастья источник.

*Воскресенье, 23 февраля 1823 г. \**

Несколько дней назад Гете опасно заболел: вчера его положение считалось безнадежным. Но сегодня произошел кризис, и он, надо надеяться, спасен. Нынче утром он еще считал себя погибшим; днем уже уповал, что справится с болезнью, а вечером опять заявил, что, если выживет, всем придется признать, что для старика это была, пожалуй, очень уж отважная игра.

*Понедельник, 24 февраля 1823 г. \**

Тревожный день, после полудня Гете не почувствовал облегчения, как вчера. В приступе слабости он сказал снохе:

— Я чувствую, что во мне начинается борьба жизни и смерти.

Однако к вечеру больной был уже в полном обладании духовных сил и даже задорно подшучивал над окружающими.

— Очень уж вы осторожничаете с лечением, — сказал он Ребейну, — слишком меня бережете! А со мной следовало бы обходиться несколько по-наполеоновски. — С этими словами он выпил чашку декокту из арники, который ему в наиболее тяжелый момент прописал доктор Гушке, тем самым поспособствовав счастливому исходу кризиса. Гете изящнейшим образом описал это растение, превознося до небес его целительное действие.

Узнав, что врачи не согласились допустить к нему великого герцога, он воскликнул:

— Будь я великим герцогом, не стал бы я спрашивать вашего брата и считаться с вами!

В какой-то момент, почувствовав себя лучше и дыша свободнее, он заговорил внятно и отчетливо. Ребейн поспешил шепнуть на ухо тому, кто стоял рядом: «Вот видите, когда легче дышится, приходит и вдохновенье». Услышав его слова, Гете весело воскликнул:

— Я давно это знаю, да только к вам сия истина никак не относится, плут вы эдакий!

Гете, выпрямившись, сидел на постели напротив открытой двери в свою рабочую комнату, где собрались близкие его друзья, о чем он не подозревал. Черты его, так мне казалось, мало изменились, голос звучал чисто и отчетливо, но была в нем какая-то торжественная нотка, как у человека, расстающегося с жизнью.

— Вы, видно, думаете, — сказал он сыну и невестке, — что мне лучше, но это самообман.

Окружающие старались шутками рассеять его опасения, и ему это, видимо, было приятно. Между тем в комнате набралось еще больше народу, что мне казалось весьма нежелательным, так как присутствие людей делало воздух еще более душным и затрудняло уход за больным. Я не преминул высказать свое мнение и спустился вниз, откуда и послал свой бюллетень ее императорскому высочеству.

*Вторник, 25 февраля 1823 г. \**

Гете пожелал во всех подробностях узнать, как его до сих пор лечили, и также прочитал список лиц, приходивших осведомиться о его здоровье, число коих было очень значительно. Он принял великого герцога, и визит этот, видимо, на нем не отразился. В его кабинете сегодня уже не толпилось столько посетителей, и я с радостью подумал, что вчерашнее мое замечание принесло свои плоды.

Теперь, когда болезнь преодолена, все поневоле боится осложнений. Его левая рука опухла; как бы это не оказалось грозным предвестником водянки. Лишь через несколько дней выяснится, каков окончательный исход болезни. Гете сегодня впервые выразил желание повидать одного из друзей, а именно — старейшего своего друга Мейера. Он хотел показать ему редкую медаль, полученную из Богемии, которая привела его в восхищение.

Я пришел к двенадцати часам; услышав мой голос, Гете велел позвать меня к себе. Он протянул мне руку со словами:

— Вы видите перед собой восставшего из мертвых.

И тут же поручил мне поблагодарить ее императорское высочество за внимание и участие, оказанное ему во время болезни.

— Мое выздоровление, — сказал он, — будет продвигаться очень медленно, и тем не менее господа врачи со-  
вершили со мной истинное чудо.

Через несколько минут я ушел. Цвет лица у него хорош, но он очень похудел, и дыхание все еще затрудненное. Мне показалось, что говорить ему сегодня тяжелее, чем вчера. Припухлость левой руки очень заметна; он лежит с закрытыми глазами и открывает их, только когда говорит.

*Воскресенье, 2 марта 1823 г. \**

Вечером у Гете, которого я несколько дней не видал. Он сидел в кресле, возле него находилась его невестка и Ример. Ему явно гораздо лучше. Голос его обрел прежнее звучанье, он дышал свободно, рука уже не была опухшей, он выглядел здоровым и оживленным. Встав с кресла, он легко прошел в свою спальню и тут же воротился. В его комнатах сегодня впервые был подан чай, и я шуточно упрекнул госпожу фон Гете за то, что она позабыла поставить на стол букет цветов. Фрау фон Гете тотчас же сняла цветную ленту со своей шляпы и повязала ее на самовар. Эта шутка очень порадовала Гете.

Засим мы принялись рассматривать собрание поддельных драгоценных камней, которое герцог выписал из Парижа.

*Суббота, 22 марта 1823 г. \**

Сегодня в театре в честь выздоровления Гете давали его «Тассо», с прологом Римера, который читала госпожа фон Гейгендорф. Бюст Гете под громкие одобрения расстроганной публики был увенчан лавровым венком. По окончании спектакля госпожа фон Гейгендорф, еще в костюме Леоноры, подошла к Гете и вручила ему венок Тассо, Гете его принял и украсил им бюст великой княгини Александры.

Вторник, 1 апреля 1823 г. \*

По поручению ее императорского высочества я принес Гете номер французского модного журнала, где имелась статья о переводе его произведений. В связи с этим мы заговорили о «*Племяннике Рамо*», оригинал которого давно затерялся. Кое-кто из немцев предполагает, что таковой вообще не существовал и что все это выдумка Гете. Но Гете заверяет, что никоим образом не сумел бы воспроизвести остроумную и весьма своеобразную манеру Дидро и немецкий Рамо не что иное, как точный перевод.

Четверг, 3 апреля 1823 г. \*

Половину вечера провел у Гете в обществе главного архитектора господина Кудрэ. Говорили о театре, о том, что он стал значительно лучше.

— Я это замечаю и сидя дома, — смеясь, сказал Гете. — Еще два месяца назад мои дети всегда возвращались из театра сердитые, потому что *plaisir*<sup>1</sup>, им обещанный, никак их не радовал. Теперь — дело другое, они приходят домой с сияющими лицами, *потому что наконец-то волю наплакались*. Вчера, например, «блаженство слез» им доставила драма Коцебу.

Воскресенье, 13 апреля 1823 г. \*

Вечер вдвоем с Гете. Разговор о литературе, о лорде Байроне, его «*Сарданпале*» и «*Вернере*». Затем перешли на «*Фауста*», о котором Гете говорит часто и охотно. Он хотел бы видеть его переведенным на французский, в духе Маро. В Маро он усматривает источник, из коего Байрон черпал настроения для своего «*Манфреда*». По мнению Гете, обе последние трагедии Байрона значительно превосходят все его прежние творения, ибо в них меньше мрака и человеконенавистничества. Далее разговор зашел о «*Волшебной флейте*»; Гете написал продолжение к ней, но еще не нашел композитора, способного положить его на музыку. Он признает, что всем известная первая часть полна таких неправдоподобных происшествий и веселых шуток, которые не каждый способен себе представить и оценить, но, так или иначе, нельзя не признать за автором редкостного искусства оперировать *контрастами* и создавать из ряда вон выходящие театральные эффекты.

<sup>1</sup> Удовольствие (фр.).

Вторник, 15 апреля 1823 г. \*

Вечером у Гете с графиней Каролиной Эглофштейн. Гете подшучивает над немецкими альманахами и прочими периодическими изданиями, насквозь проникнутыми модной сейчас дурацкой сентиментальностью. Графиня заметила, что начало этому положили немецкие романисты, испортив вкус своим многочисленным читателям, которые теперь, в свою очередь, портят вкус романистам, ибо те, желая найти издателей для своих произведений, вынуждены приспособляться к возобладавшему дурному вкусу публики.

Воскресенье, 26 апреля 1823 г. \*

У Гете застал Кудрэ и Мейера. Говорили о различных материях,

— В библиотеке великого герцога, — между прочим, сказал Г е т е , — находится глобус, изготовленный неким испанцем в царствование Карла Пятого. На него нанесен ряд весьма примечательных надписей, к примеру: «Китайцы — народ, у которого много общих черт с немцами». В былые времена, — продолжал Г е т е , — африканские пустыни обозначались на ландкартах изображениями диких зверей. Нынче этого уже не делают, географы оставляют нам *carte blanche*<sup>1</sup>.

Вторник, 6 мая 1823 г. \*

Вечером у Гете. Он старался растолковать мне свое «Учение о цвете». Свет-де сам по себе не является смешением различных цветов, и точно так же *один* свет не может создать различные цвета, для этого потребна известная модификация и смешение *света* и *тени*.

Вторник, 13 мая 1823 г.

Когда я пришел, Гете занимался подборкой своих маленьких стихов и посвящений *разным лицам*.

— В прежнее время, — сказал о н , — я куда легкомысленнее относился к своим произведениям, частенько забывал о копиях, и сотни таких мелких стихотворений у меня затерялись.

---

<sup>1</sup> Незаполненное место (фр.).

*Понедельник, 2 июня 1823 г.\**

У Гете канцлер, Ример и Мейер. Разговор о стихах Беранже. Гете, пребывавший в наилучшем расположении духа, весьма оригинально комментировал и перефразировал некоторые из них.

Затем речь шла о физике и метеорологии. Гете собирается разработать теорию погоды. Надо сказать, что подъем и падение стрелки барометра он намерен полностью приписать влияниям земного шара и тому, в какой степени он притягивает атмосферу.

— Господа ученые, — продолжал Гете, — и в первую очередь господа математики, конечно же, высмеют мои идеи или, еще того лучше, будут надменно их игнорировать. А знаете почему? Потому что я, по их мнению, не специалист.

— Кастовый дух, — сказал я, — еще можно было бы простить ученым. А если в их теории затесались кое-какие ошибки и они, знай себе, тащат их дальше, то это ведь оттого, что они еще на школьной скамье унаследовали ложные воззрения в качестве догм.

— В том-то и дело! — воскликнул Гете. — Ваши ученые совсем как наши веймарские переплетчики. Образчик работы, который требуют с них для принятия в цех, вовсе не изящный переплет в новейшем вкусе! Куда там! Это Библия in folio, по моде двух- или трехсотлетней давности, в тяжеловесном переплете из толстой кожи. Абсурдное требование. Но бедняге-ремесленнику не поздоровилось бы, вздумай он сказать, что экзаменаторы — дураки.

*Пятница, 24 октября 1823 г.\**

Вечером у Гете. Мадам Шимановская, с которой он нынешним летом познакомился в Мариенбаде, импровизировала на рояле. Гете, весь обратившийся в слух, был, видимо, взволнован и растроган.

*Вторник, 11 ноября 1823 г.\**

Вечером у Гете собралось небольшое общество. Он уже довольно давно прихварывает и сидит, закутав ноги в шерстяное одеяло, с которым не растается со времени похода в Шампань. В связи с этим одеялом он рассказал нам забавную историю, случившуюся в 1806 году, когда Иена была оккупирована французами и капеллан одного из

французских полков затребовал портьеры для украшения своего алтаря. Ему доставили целую штуку богато орнаментированной пунцовой материи.

— Но он остался ею недоволен, — продолжал Гете, — и пожаловался мне. «Пришлите эту материю, — сказал я, — возможно, мне удастся достать вам что-нибудь более подходящее». Между тем в театре у нас ставилась новая пьеса, и я нарядил актеров в великолепные костюмы из этого пунцового шелка. Что касается капеллана, то мы о нем попросту забыли, предоставив ему право самому о себе позаботиться.

*Воскресенье, 16 ноября 1823 г.\**

Гете все еще нездоров. Великая герцогиня сегодня вечером прислала ему со мною несколько прекрасных медалей, надеясь, что это его хоть несколько развлечет. Гете, видимо, был обрадован деликатной заботливостью герцогини. Он жаловался мне, что чувствует ту же боль в области сердца, которая прошлой зимой явилась предвестником тяжелой болезни.

— Я не могу работать, — сказал он, — не могу читать, даже мысли посещают меня лишь в счастливые минуты облегчения.

*Воскресенье, 17 ноября 1823 г.\**

Приехал Гумбольдт. Я пробыл у Гете очень недолго, но у меня создалось впечатление, что присутствие Гумбольдта и беседа с ним благоприятно на него воздействуют. Думается, что болезнь его носит не чисто физический характер. Главной ее причиной, видимо, является страстное увлечение некой юной особой, охватившее его нынешним летом в Мариенбаде, которое он сейчас силится побороть.

*Пятница, 28 ноября 1823 г.\**

Только что вышедший в свет первый том Мейеровой «Истории искусств», кажется, пришелся по душе Гете. Сегодня он отзывался о нем с величайшей похвалою.

*Пятница, 5 декабря 1823 г.\**

Я принес Гете несколько образчиков минералов, в том числе кусок глинистой охры. Дешан нашел ее в Кормайоне, а Массо раззвонил о ней на весь свет. Как же Гете был

удивлен, узнав в этой краске ту, которой Анжелика Кауфман обычно писала человеческое тело.

— Она ценила на вес золота малую толику этой охры, у нее имевшейся. Но где ее находят, не знала.

Гете сказал своей невестке, что я с ним обращаюсь как с султаном — каждый день приношу дары.

— Скорее, как с ребенком, — ответила госпожа фон Гете, и он невольно улыбнулся.

*Воскресенье, 7 декабря 1823 г.\**

Я спросил Гете, как он чувствует себя сегодня.

— Все-таки лучше, чем Наполеон на своем острове, — со вздохом отвечал он. По-видимому, изрядно затянувшееся болезненное состояние стало сказываться на нем.

*Воскресенье, 21 декабря 1823 г.\**

Гете снова в прекраснейшем расположении духа. Сегодня самый короткий день в году, и надежда, что дни теперь начнут неуклонно увеличиваться, видимо, весьма благотворно на него воздействует.

— Сегодня мы празднуем возрождение солнца, — этим радостным возгласом он встретил меня, когда я утром к нему вошел. Мне говорили, что во время, предшествующее самому короткому дню, он всегда бывает подавлен, охает и стонет.

Вошла госпожа фон Гете и сообщила свекру, что собирается в Берлин — встретить свою мать, которая возвращается из поездки.

Когда она ушла, Гете шутливо прошелся насчет чрезмерно живого воображения — отличительной черты юности.

— Яслишкомстар, — сказал он, — чтобы с нею спорить или внушать ей, что радость свидания с матерью здесь будет не меньше, чем там. Такое путешествие зимой — ненужная трата сил по пустякам, но эти пустяки бесконечно много значат в молодости. И в конце концов что за беда! Иной раз приходится совершать сумасбродные поступки, чтобы потом некоторое время жить спокойно. В юные годы я вел себя не лучше и, в общем-то, все же вышел сухим из воды.

Вечер провел вдвоем с Гете в самых разнообразных беседах. Он сказал, что намеревается включить в собрание сочинений свои «Письма из Швейцарии» от 1797 года. Затем речь зашла о «Вертере», которого он прочитал всего один раз, лет эдак через десять после его выхода в свет. Впрочем, не иначе он поступал и с другими своими произведениями. Далее мы заговорили о переводах, и он заметил, что ему очень трудно воссоздавать по-немецки английские стихи.

— Когда пытаешься ударные односложные слова англичан передать немецкими многосложными или составными словами, разом утрачивается вся сила и энергия стиха.

О «Рамо» он сказал, что весь перевод продиктовал за один месяц.

Потом разговор переметнулся на естественные науки и кстати уж на то мелководшие, что заставляет некоторых ученых пускаться в яростные споры из-за приоритета.

— Лучше всего я узнал людей, — сказал Гете, — занимаясь науками. Мне это звание недешево обошлось, и я изрядно намучился, но тем не менее рад, что приобрел этот опыт.

— Науки, — отвечал я, — почему-то живейшим образом пробуждают людской эгоизм, а стоит его расшевелить, и наружу проступают все прочие слабости человеческого характера.

— Вопросы науки, — отвечал Гете, — зачастую являются вопросами существования. Одно-единственное открытие может прославить человека и заложить основу его житейского благополучия. Отсюда эта беспощадность, это желание во что бы то ни стало удержать свое место в научном мире, эта ревность к воззрениям и мыслям другого. В области эстетики нравы куда более снисходительны. Мысль ведь, собственно, врожденное достояние каждого, все сводится к ее использованию, к ее обработке, и тут, понятно, меньше поводов для зависти. Одна мысль может лечь в основу сотен эпиграмм, сотен мелких стихотворений, и вопрос лишь в том, кто из поэтов облек ее в наилучшую, наикрасивейшую форму. В науке же обработка равна нулю — сила воздействия заключена в научном открытии, а тут уж стирается граница между всеобщим и субъективным, отдельные проявления законов природы подобны

сфинксам — с места их не сдвинешь, они немые и существуют вне нас. Увиденный новый феномен — это открытие, а любое открытие — твоя собственность. Притронься кто-нибудь к чужой собственности — и сразу разгорятся страсти.

— Вдобавок, — продолжал Гете, — в научном мире собственностью считается как то, что вошло в традицию учебных заведений, так и то, чему ты в них научился. Если кто-то вдруг заявляет о новом понимании того или иного явления и это понимание противоречит нашему кредо, которое мы годами обожествляли и уже успели передать другим, или, боже упаси, грозит его ниспровергнуть, ярость обрушивается на этого смельчака и все средства пускаются в ход, чтобы подавить его. Ему чинят всевозможные препоны, притворяются, что его не слышат, не понимают, говорят о нем с таким пренебрежением, словно его труды даже читать не имеет смысла, иными словами, новой истине долго приходится ждать, прежде чем она проложит себе дорогу. Некий француз сказал одному из моих друзей по поводу моего «Учения о цвете»: «Пятьдесят лет мы тщились обосновать и укрепить царство Ньютона; понадобятся еще пятьдесят на то, чтобы его сокрушить».

Математическая гильдия постаралась сделать мое имя в науке настолько подозрительным, что люди опасаются его произносить. Как-то раз мне попала в руки брошюра, в которой толковались отдельные моменты «Учения о цвете», автор, видимо, безоговорочно принял мое «Учение», воздвиг свое здание на заложенном мною фундаменте и сделал свои выводы, исходя из него. Я с большим удовольствием читал эту работу, но не мог не удивиться, обнаружив, что он ни разу даже не упомянул моего имени. Загадка разрешилась позднее. Один наш общий друг пришел ко мне и объяснил, что одаренный молодой автор хотел этой работой создать себе имя, но справедливо опасался уронить себя во мнения ученого мира, подкрепив свои взгляды ссылкой на меня. Книжечка его свое дело сделала, а хитроумный юноша впоследствии представился мне и принес свои извинения.

— Эта история тем более примечательна, — сказал я, — что во всех других случаях люди с полным основанием гордо ссылаются на ваш авторитет и ваше одобрение считают наиболее мощной защитой от всех нападков. Что же касается «Учения о цвете», беда здесь в том, что приходится иметь дело не только с прославленным и всеми признанным Ньютоном, но и с его преданными учениками, которые рас-

сеяны по всему свету, имя же им — легион. Если в конечном счете вы и возьмете верх, все равно вы еще долгое время будете пребывать в одиночестве с вашим новым учением.

— Я к этому привык и ничего другого не жду, — отвечал Гете. — Но скажите по совести, могли ли я не чувствовать гордости, уразумев уже двадцать лет назад, что великий Ньютон и вкупе с ним все математики, все возвышенные вычислители решительнейшим образом заблуждаются в теории цвета, а я, один из миллионов, прознал суть великого явления природы. Это чувство превосходства и давало мне силы сносить дурацкую заносчивость моих противников. Они на все лады поносили мое учение и, где только можно, оглупляли мои идеи, но я тем не менее радовался, что мне удалось закончить свой труд. Нападки противников только помогли мне узнать слабости людей.

Покуда Гете говорил об этом убежденно и красочно, в выражениях, которые я не в состоянии воспроизвести точнее, глаза его сияли. Торжество светилось в них, в то время как на губах играла ироническая усмешка. Даже черты его прекрасного лица казались величественнее, чем обычно.

*Среда, 31 декабря 1823 г.*

Многоразличные беседы за столом у Гете. Он раскрыл папку с оригинальными рисунками, среди них всего интереснее юношеские рисунки *Генриха Фюсли*.

Потом говорили на религиозные темы, например, о злоупотреблении именем божьим.

— Люди обходятся с ним так, словно непостижимое и невообразимое высшее существо принадлежит к им подобным. Разве же иначе они говорили бы: *господь бог, боже милостивый, господи, боже мой*. Имя его, которое они ежедневно произносят, — в первую очередь это относится к лицам духовного звания, — превратилось в пустую фразу, которая и мысли-то никакой в них не вызывает. Будь им понятно его величие, они бы умолкли, из благоговения не осмелились бы называть его по имени.



Пятница, 2 января 1824 г.

Оживленная застольная беседа у Гете. Кто-то упомянул о молодой красавице из высшего веймарского общества, другой заметил, что уже почти влюблен в нее, хотя ум красавицы блестящим никак не назовешь.

— Ну и ну, — смеясь, воскликнул Гете, — да разве любовь имеет что-нибудь общее с умом! В молодой женщине мы любим все, что угодно, но не ум! Любим ее красоту, юность, ее задор и доверчивость, ее характер, ее недостатки, капризы и бог весть что еще, этого словами не скажешь; но только не ум. Мы его *уважаем*, если это ум недюжинный, он высоко возносит женщину в наших глазах и даже в состоянии привязать нас, если мы уже любим. Но не ум разжигает в нас страсть.

Сотрапезники одобрили убедительные слова Гете и, по видимому, уже были готовы рассмотреть предмет с предложенной им точки зрения.

После того как гости разошлись, я еще остался у Гете и много наслушался интересного.

Мы говорили об английской литературе и о невыгодном положении, в каком оказались английские драматические писатели, пришедшие в литературу *после* того титана поэзии.

— Талантливый драматический писатель, — продолжал Гете, — не мог пренебречь Шекспиром, не мог его не изучать, а изучая, убеждался, что Шекспир, вдоль и поперек знавший человеческую природу, ее бездны и высоты, все исчерпал и ему, бедному последышу, делать уже, собственно, нечего. Да и то сказать, как взяться за перо человеку серьезному, благодарно сознающему, что есть уже на свете непостижимое и недостижимое совершенство!

— Полвека тому назад в нашей дорогой Германии мне, в этом смысле, было куда легче. Я живо освоился с тем, что существовало тогда, благо мне это не внушало слишком большого уважения и не ставило палок в колеса. Быстро покончив с немецкой литературой и ее изучением, я обратился к жизни и творчеству. Так, мало-помалу продвигаясь вперед в естественном своем развитии, я неторопливо под-

готовлял себя к произведениям, которые время от времени мне удавались. Представление же мое о достоинствах литературного произведения на всех ступенях моей жизни и развития мало чем разнилось от того, что я сам в состоянии был *сделать* на данной ступени. Но если бы я родился англичанином и на меня в юности, когда пробуждается сознание, со всей силой нахлынули бы многообразные и совершенные творения, они сбили бы меня с толку. Я бы не знал, за что взяться, и уже не мог бы легко и беззаботно идти вперед, но, напротив, стал бы озираться и раздумывать, какой же путь мне избрать.

Я снова перевел разговор на Шекспира.

— Если бы можно было, — сказал я, — изъяв его из английской литературы, перенести в Германию и здесь подвергнуть подробному рассмотрению, нам осталось бы только считать чудом этого гиганта. Но если мы пересадим его на родную почву Англии и окружим атмосферой того столетия, в котором он жил, а потом начнем изучать его современников и ближайших преемников, вдыхая ту силу, что исходит от Бена Джонсона, Мессенджера, Марло, Бомонта и Флетчера, то Шекспир хоть и останется столь же великим, но многие чудеса его духа откроются нам, ибо многое из им содеянного уже носилось в здоровом продуктивном воздухе его времени.

— Вы правы, — согласился Гете. — С Шекспиром дело обстоит, как со швейцарскими горами. Представьте-ка себе Монблан посреди бескрайней равнины Люнебургских степей — и вы так изумитесь его огромностью, что у вас язык присохнет к гортани. Но на гигантской своей родине, особенно, если вы доберетесь до него через соседствующие горы: Юнгфрау, Финстераархорн, Эйгер, Веттерхорн, через Готтард и Монте-Розу, — Монблан, конечно, останется гигантом, но в такое изумленье вас уже не повергнет.

— Вообще же, — продолжал Гете, — тот, кто не хочет верить, что известная толика Шекспирова величия принадлежит его могучему и здоровому времени, пусть задастся вопросом, возможно ли такое поразительное явление в Англии тысяча восемьсот двадцать четвертого года в наше худое время критических и разоблачительных журналов.

Безмятежное, чистое, почти сомнамбулическое творчество, — а оно одно позволяет произрасти великому, — нынче уже невозможно. Все одаренные писатели теперь подаются нам на подносе общественного мнения. Критические листки, ежедневно выходящие в пятидесяти различных точках, и поощряемые ими пересуды публики не дают пробиться

здоровому росту. Тот, кто в наше время не умеет держаться вдали от этой суеты, кто недостаточно силен, чтобы от нее изолироваться, — обречен гибели. Конечно, через газетные статьи, в большей своей части плохие, негативные, критиканские и эстетизирующие, в массы проникает нечто вроде полукультуры, но для продуктивного таланта все это муть, ядовитые осадки, разрушающие дерево его творческой силы, начиная от прекрасной зелени листьев до самой сердцевины, до последнего незримого волоконца.

Да и вообще, до чего же беззубой и убогой стала наша жизнь за несчастные двести или триста лет! И откуда теперь взялся человеку самобытному и открытому! У кого достанет сил на правду, на то, чтобы показать себя таким, каков он есть!

Разговор перешел на *«Вертера»*.

— Это создание, — сказал Гете, — я, как пеликан, вскормил кровью собственного сердца и столько в него вложил из того, что таилось в моей душе, столько чувств и мыслей, что, право, их хватило бы на десяток таких томиков. Впрочем, как я уже говорил вам, я всего один раз прочитал эту книжку, после того как она вышла в свет, и поостерегся сделать это вторично. Она начинена взрывчаткой! Мне от нее становится жутко, и я боюсь снова впасть в то патологическое состояние, из которого она возникла.

Я напомнил ему его разговор с *Наполеоном*, известный мне по наброску, имеющемуся среди его ненапечатанных рукописей, кстати сказать, я не раз просил его разработать этот набросок.

— Наполеон, — заметил я, — указал вам на одно место в *«Вертере»*, которое, по его мнению, стоит ниже уровня всего остального. Мне бы очень хотелось знать, о каком именно месте он говорил.

— А вы отгадайте! — сказал Гете с таинственной усмешкой.

— Мне думается, это то, где Лотта посылает Вертеру пистолеты, ни слова не сказав Альберту, не поделившись с ним своими предчувствиями и опасениями. Вы, конечно, все сделали, чтобы мотивировать это молчание, тем не менее оно недостаточно обосновано перед лицом смертельной опасности, грозящей другу.

— Замечание довольно остроумное, — отозвался Гете. — Но имел Наполеон в виду названное вами место или другое, об этом я предпочитаю умолчать. Зато скажу еще раз: ваше наблюдение не менее правильно, чем Наполеоново.

Я осторожно спросил, коренится ли в духе времени то чрезвычайное воздействие на умы, которое оказал «Вертер» при своем появлении, и добавил, что я лично не разделяю эту широко распространенную точку зрения. «Вертер» стал эпохой потому, что он появился, а не потому, что появился в определенное время. В любое время существует великое множество невысказанных страданий, тайного недовольства, неудовлетворенности жизнью, отдельные люди всегда приходят в столкновение с общественным устройством, так что «Вертер» создал бы эпоху, даже появившись сегодня.

— Наверно, вы правы, — сказал Гете, — ибо эта книга и донныне производит не меньшее впечатление на молодых людей определенного возраста. К тому же мне не было нужды свою юношескую хандру заимствовать из общих веяний времени или из книг некоторых английских писателей. Личные, непосредственно меня касающиеся тревожения подстегивали меня к творчеству и повергали в то душевное состояние, из которого возник «Вертер». Я жил, любил и очень страдал! Вот вам и все.

Пресловутая эпоха «Вертера», ежели хорошенько в нее взглядеться, обязана своим существованием, конечно же, не общему развитию мировой культуры, но тем свободолюбивым людям, которых жизнь вынуждает приноравливаться к ограничивающим формам устарелого мира. Разбитое счастье, прерванную деятельность, неудовлетворенные желания нельзя назвать недугом какого-то времени, скорее недугом отдельного человека, и как было бы грустно, не будь в жизни каждого поры, когда ему чудится, что «Вертер» написан для него одного.

*Воскресенье, 4 января 1824 г.*

Сегодня после обеда Гете и я просматривали папку гравюр по картинам Рафаэля. Он часто обращается к Рафаэлю, чтобы сохранять общение с наилучшим и мыслить его высокими мыслями. Ему приятно вовлекать и меня в такие занятия...

Потом говорили о «Диване», в первую очередь о «Книге недовольства», в которой он излил гнев на своих врагов, накопившийся у него в сердце.

— В общем-то я был очень сдержан, — сказал он, — скажи я все, что меня точило, что не давало мне покоя, и эти немногие страницы разрослись бы в увесистый том.

— Собственно говоря, — продолжал он, — мною никто никогда не был доволен, и все хотели видеть меня не таким, каким господа угодно было меня создать. Да и тем, что я писал, редко кто оставался доволен. Я годами работал, не щадя своих сил, чтобы порадовать людей новым произведением, а они еще требовали от меня благодарности за то, что находят его более или менее сносным. А уж если хвалили, то считалось, что я не вправе спокойно и с чувством собственного достоинства внимать их хвалам, но обязан произнести какую-нибудь скромную фразу, отклоняющую сию незаслуженную честь, смиренно признавая неполноценность как свою собственную, так и своего творения. Но это никак не вязалось с моей натурой, и я оказался бы последним негодяем, если бы стал так лгать и лицемерить. А поскольку я был уже достаточно силен, чтобы постоять за себя и за свою правду, то прослыл гордецом, коим слыву и донныне.

Что касается вопросов религиозных, научных и политических, то я и тут хлебнул немало горя, ибо не лицемерил и всегда имел мужество говорить все, что чувствовал.

Я верил в бога, в природу и в победу добра над злом; но нашим благочестивцам этого было недостаточно, мне еще следовало знать, что троица едина, а единое — тройко, но это шло вразрез с моим правдолюбием, вдобавок я не понимал, чем мне это может быть хоть сколько-нибудь полезно.

— Далее, мне сильно досталось за то, что я понял: Ньютоново учение о свете и цвете — ошибочно, да еще посмел оспаривать пресловутую догму. Я познал свет во всей его чистоте и правде и считал своим долгом за него вступиться. Противная же партия всерьез намеревалась его замутить, утверждая, что *тьень — частица света*. В моей формулировке это, конечно, звучит абсурдно, но тем не менее это так. Ибо когда говорят, что *цвета*, по существу, являющиеся большей или меньшей затененностью, — это и есть *свет или, что одно и то же, по-разному преломленные лучи света*.

Гете умолк, ироническая усмешка промелькнула на его величественном лице. Он продолжал:

— А политика! Сколько я и тут натерпелся, сколько выстрадал — словами не скажешь. Читали вы моих «*Возмущенных*»?

— Не далее как вчера, — отвечал я, — в связи с подготовкой нового собрания ваших сочинений я прочитал эту вещь и от души пожалел, что она осталась незаконченной.

Но, несмотря на это, любой благомыслящий человек, прочитав ее, присоединится к вашим убеждениям.

— Я писал ее во время Французской революции, — сказал Гете, — в какой-то мере она является моим тогдашним символом веры. Графиня выведена у меня как представительница дворянства, словами же, которые я вложил в ее уста, я хотел выразить, как, по-моему, следовало бы мыслить дворянам. Графиня только что вернулась из Парижа, где стала свидетельницей революционных событий, из коих извлекла для себя полезный урок. Она убедилась, что народ можно подавлять, но подавить его нельзя, и еще, что восстание низших классов — результат несправедливости высших. «Отныне я буду стараться избегать любого несправедливого поступка, — сказала она, — и не колеблясь стану высказывать свое мнение о несправедливых поступках других в обществе и при дворе. Не умолчу ни об одной несправедливости, пусть даже меня ославят демократкой».

— Я считал, — продолжал Гете, — что подобный образ мыслей, безусловно, заслуживает уважения. Я и сам так думал и думаю до сих пор. За что меня и честят так, что я даже повторить не решаюсь.

— Достаточно прочитать «Эгмонта», — вставил я, — чтобы узнать ваш образ мыслей. Нет другого немецкого произведения, которое бы столь открыто ратовало за свободу, за раскрепощение народа.

— Многие, однако, не желают считать меня таким, каков я есть, и закрывают глаза на все, что могло бы представить меня в истинном свете. А вот Шиллеру, который, между нами говоря, был куда большим аристократом, чем я, но и куда больше обдумывал свои слова, странным образом посчастливилось прослыть доподлинным другом народа. Я ему не завидую, себя же утешаю тем, что многим до меня приходилось не слаще.

Другом Французской революции я не мог быть, что правда, то правда, ибо ужасы ее происходили слишком близко и возмущали меня ежедневно и ежечасно, а благотельные ее последствия тогда еще невозможно было видеть. И еще: не мог я оставаться равнодушным к тому, что в Германии пытались *искусственно* вызывать события, которые во Франции были следствием великой необходимости.

Я также не сочувствовал произволу власть имущих и всегда был убежден, что ответственность за революции падает не на народ, а на правительства. Революции невозможны, если правительства всегда справедливы, всегда

бдительны, если они своевременными реформами предупреждают недовольство, а не противятся до тех пор, пока таковые не будут насильственно вырваны народом.

Поскольку я ненавидел революции, меня величали *другом существующего порядка*. Достаточно двусмысленный титул, отнюдь меня не устраивавший. Конечно, я бы ничего не имел против порядка разумного и справедливого. Но так как наряду со справедливым и разумным всегда существует много дурного, несправедливого и несовершенного, то «друг существующего порядка» почти всегда значит «друг устарелого и дурного».

Между тем время вечно движется вперед, каждые пятьдесят лет дела человеческие претерпевают изменения, и то, что было едва ли не совершенным в тысяча восьмисотом году, в тысяча восемьсот пятидесятом может оказаться никуда не годным.

Для каждой нации хорошо только то, что ей органически свойственно, что проистекло из всеобщих ее потребностей, а не скопировано с какой-то другой нации. Ибо пища, полезная одному народу на определенной ступени его развития, для другого может стать ядом. Поэтому все попытки вводить какие-то чужеземные новшества, поскольку потребность в них не коренится в самом ядре нации, нелепы, и все революции такого рода заведомо обречены на неуспех, *в них нет бога, ибо участвовать в этой нелепице ему не пристало*. Если же у народа действительно возникла потребность в великой реформе, то и бог за него, и удача будет ему сопутствовать. Бог был за Христа и первых его последователей — ибо впервые возникшая религия любви являлась тогда насущной потребностью народов. Был он и с Лютером, так как в Лютерово время люди уже стремились очистить это исковерканное попами учение. Но ведь вдохновители обоих этих мощных движений не были друзьями существующего. Напротив, они были убеждены, что надо вылить старую закваску, что не должно в мире оставаться столько неправды, несправедливости, порока.

*Среда, 5 мая 1824 г.*

Последние дни с головой ушел в записи Гете, касающиеся его занятий с актрисой Вольф и актером Грюнером; мне удалось придать некое подобие формы этим беспорядочным заметкам, и в конце концов из них получилось нечто похожее на катехизис для актера.

Сегодня говорил с Гете о некоторых положениях этой работы, мы вместе просмотрели отдельные ее места и наиболее важным признали все относящееся к произношению и к устранению провинциализмов.

— За долгую свою практику, — сказал Гете, — я повидал начинающих актеров из всех немецких земель. Выговор северных немцев, собственно, мало что оставляет желать, это выговор чистый, кое в чем даже образцовый. Зато со швабами, австрийцами и саксонцами я изрядно помаялся. Немало хлопот доставили мне также уроженцы нашего милого Веймара. Эти допускают самые комические промахи из-за того, что в здешних школах их не обучают достаточно четкому произношению Б и П, равно как Д и Т. Иной раз начинаешь сомневаться, что они вообще-то понимают, что Б, П, Д и Т — это *четыре* различных буквы; они вечно говорят о мягком и твердом Б, о мягком и твердом Д, словно бы П и Т вообще не существуют. В их устах «Парка» звучит как «барка», «пот» как «бот», «точка» как «дочка».

— Один из здешних актеров, — заметил я, — тоже недостаточно различающий Т и Д, на днях очень уж заметно оговорился. Он играл любовника, позволившего себе небольшое отступление от верности, за что разгневанная молодая женщина осыпает его яростными упреками.

В нетерпении он должен был воскликнуть: «Ах, какая тоска!» Но он не делал разницы между Т и Д, а потому воскликнул: «Ах, какая доска!»

— Презабавный случай, — заметил Гете, — надо бы включить его в наш катехизис. Кстати сказать, — продолжал он, — у нас еще часто говорят Г вместо К и наоборот, наверно, оттого, что толком не знают, как эти буквы выговариваются, твердо или мягко, — следствие излюбленного у нас метода преподавания. В здешнем театре вы, вероятно, не раз слышали, как вместо «гора» произносят «кора», вместо «гости» — «кости», вместо «гурт» — «курт» или вместо «громко» — «кромка».

— Нечто подобное, — отвечал я, — мне и вправду довелось недавно слышать. Один актер должен был сказать: «Жестокий *глад* терзает мои внутренности, — но Г он выговаривал как К и отчетливо произнес: «Жестокий *клад* терзает мои внутренности».

— Путаницу с Г и К, — отвечал Гете, — мы слышим не только в театре, но и от ученых богословов. Сейчас я вам расскажу один случай.

Несколько лет назад, когда я был в Иене и квартировал в гостинице «Под елкой», мне однажды утром доложили,

что меня спрашивает какой-то студент-богослов. Некоторое время мы с ним прेमилло поговорили, но, прощаясь, он обратился ко мне с весьма своеобразной просьбой. А именно: в следующее воскресенье разрешить ему *прочитать вместо меня проповедь*. Я мигом смекнул, в чем дело, — сей прыткий юнец тоже путал Г и К, — и весьма учтиво сказал, что, дескать, ничем не могу быть ему полезен и советую, для скорейшего достижения цели, обратиться к господину архидиакону Кете.

*Вторник, 18 мая 1824 г.\**

Вечером у Гете вместе с Римером. Гете занимал нас рассказом об одном английском стихотворении на геологический сюжет. В ходе разговора он переводил его, и переводил так остроумно, весело, с такой силой воображения, что любая деталь живо вставала перед нами; казалось, он тут же, на месте, это стихотворение импровизирует. Вот главный его герой — король *Уголь* сидит в блистающем аудиенц-зале вместе с королевой *Пиритой*, поджидая первых сановников королевства. Они входят по рангу и представляются королю: герцог *Гранит*, маркиз *Шифер*, графиня *Порфир* и так далее, причем каждому дается шутовская и весьма меткая характеристика. Затем появляется сэр Лоренс *Известняк*, владелец больших поместий, хорошо принятый при дворе. Он приносит извинения за свою мать, леди *Мрамор*: она опаздывает, так как дом ее очень далеко, вообще же это дама понаторелая в культуре и в политике. Не прибыла же она ко двору из-за интриги, затеянной *Кановой*, который за нею волочится. *Туф* украсил свою прическу рыбами и ящерицами, похоже, что он сегодня под хмельком. Ханс *Мергель* и Якоб *Глина* прибывают лишь к шапочному разбору. Последний пользуется благосклонностью королевы, ибо посулил ей коллекцию раков и н. — Гете еще довольно долгое время весело и оживленно пересказывал стихотворение, но обилие подробностей, увы, не позволило мне запомнить дальнейшее.

— Это стихотворение, — сказал Гете, — по замыслу автора должно развлекать светское общество, но в нем содержится еще и множество полезных сведений, которые, собственно, полагалось бы иметь каждому. Такие полушутки возбуждают в высших сферах вкус к науке, и мы даже не отдаем себе отчета, в какой мере они могут быть полезны. Иногда разумного человека это, возможно, заставит понаблюдать за собой и за людьми, с которыми он соприкасает-

ся. А такого рода индивидуальные наблюдения за окружающим миром бывают зачастую очень интересны, хотя бы потому, что они сделаны не специалистом.

— Вы словно бы хотите сказать, — заметил я, — что знающий наблюдатель хуже наблюдателя, ничего не знающего.

— Если знания, им усвоенные, ошибочны, то это, безусловно, так, — отвечал Гете. — Тот, кто в науке исповедует узко ограниченное вероучение, неминуемо утрачивает дар свободного и непосредственного восприятия. Убежденный вулканист всегда будет смотреть сквозь свои вулканистские очки, так же как нептунист или сторонник новейшей теории «поднятия» — через свои. Мировоззрение всех этих теоретиков, замороженных одним-единственным направлением в науке, утратило свою невинность, и объекты наблюдений уже не предстают перед ними в своей естественной чистоте. Когда же такие ученые отчитываются в своих наблюдениях, мы, вопреки величайшему правдолюбию отдельных личностей, не узнаем полной правды об этих объектах, но зато ощущаем острый привкус субъективного понимания.

Я отнюдь не собираюсь утверждать, что неподвзятое истинное знание мешает наблюдению, напротив, старая истина сохраняет здесь свои права, надо только иметь глаза и уши для того, что мы *знаем*. Профессиональный музыкант различает в оркестре каждый инструмент, каждый звук, тогда как профана берет в плен грандиозность целого. И точно так же человек, просто любящий природу, видит лишь прелестную поверхность зеленого или пестреющего цветами луга, а ботаник — неисчислимое многообразие всевозможных растений и трав.

Но всему своя мера, во всем — своя цель. У меня в «Гете» сынок от чрезмерной учености не узнает собственного отца, точно так же некоторые люди науки от чрезмерной учености и обилия гипотез перестают видеть и слышать. Они обращены внутрь себя и заняты только тем, что в них происходит, до того заняты, что становятся похожи на объятого страстью юношу, который пробегает мимо лучших своих друзей, попросту не заметив их на улице. Между тем для наблюдения природы необходима спокойная ясность духа и полнейшая неподвзятость. Ребенок непременно заметит жука на цветке, потому что все его чувства сосредоточены на этом простейшем интересе, и ему даже в голову не придет, что в это время как-то странно перегруппировались облака и что на них стоило бы взглянуть.

— В таком случае, — возразил я, — дети и наиболее простодушные люди могли бы быть дельными подручными в науке.

— Дай бог нам всем быть не более как подручными, — перебил меня Гете. — Но нам подавай больше, мы таскаем с собою тяжкую ношу философии различных гипотез и тем портим все дело.

Наступила пауза. Ример прервал ее, заговорив о лорде Байроне и его кончине. Гете стал блистательно разбирать произведения Байрона, отзываясь о них с величайшей похвалой.

— По правде говоря, — сказал Гете, — Байрон хоть и умер молодым, но литература в смысле дальнейшего своего развития не так уж много от этого потеряла. Байрон, по сути дела, дальше идти не мог. Он достиг вершины своих творческих возможностей, и если бы и создал что-то еще, все равно не сумел бы расширить границ, сужденных его дару. В непостижимо прекрасном стихотворении о Страшном суде он сделал наивысшее.

Разговор перешел на итальянского поэта Торквато Тассо, на то, что он значит в сравнении с лордом Байроном, и Гете отметил решительное превосходство англичанина в уме, знании света и в творческой мощи.

— Не стоит сравнивать обоих поэтов, — сказала она, — ибо в сравнении один неминуемо уничтожит другого. Байрон — пылающий куст терновника, обративший в пепел священный ливанский кедр. Великий эпос итальянца утверждает свою славу в веках, но одна-единственная строчка «Дон-Жуана» способна уничтожить для нас весь «Освобожденный Иерусалим».

*Среда, 26 мая 1824 г.*

Сегодня простился с Гете, собираясь посетить дорогих мне людей в Ганновере, а потом поехать на Рейн, что я давно уже намеревался сделать. Гете был очень добр ко мне и обнял меня от всего сердца.

— Если в Ганновере у *Рейбергов* вы встретите подругу моей юности *Шарлотту Кестнер*, скажите ей от меня несколько добрых слов. Во Франкфурте я отрекомендую вас моим друзьям *Виллемерам*, графу *Рейнхарду* и семейству *Шлоссер*. В Гейдельберге и в Бонне вы тоже найдете друзей, издавна преданных мне; они окажут вам наилучший прием. Я хотел этим летом снова побывать в Мариенбаде, но не тронусь в путь, прежде чем вы не вернетесь.

Расставание с Гете тяжело далось мне, хоть я и уходил в уверенности, что через два месяца увижу его здоровым и бодрым.

И все-таки на следующий день я был счастлив, когда экипаж повез меня навстречу моей милой ганноверской родине, куда меня постоянно влекла сердечная склонность.



*Вторник, 22 марта 1825 г.*

Вскоре после полуночи нас разбудил набат и крики: *театр горит!* Я быстро оделся и стремглав бросился к месту происшествия. Все были растеряны и потрясены. Каких-нибудь два-три часа назад мы здесь восхищались блистательной игрой Ларош в «Еврее» Кумберленда и хохотали над выходками превзошедшего самого себя Зейделя. А сейчас там, где мы так недавно наслаждались духовными радостями, бушевала свирепая стихия разрушения.

Пожар, видимо, возник от отопления в партере, перекинулся на сцену, пламя охватило сухие переборки кулис и благодаря обилию горючего материала мгновенно разрослось во всепожирающее чудовище. Когда огонь стал уже рваться сквозь крышу, рухнули стропила.

В противопожарных приспособлениях недостатка не было. Здание театра постепенно со всех сторон окружили пожарными насосами, и на пламя низверглись потоки воды, но, увы, тщетно, — оно вздымалось еще выше, то и дело выбрасывая в темное небо горящие обломки и гигантские пучки искр, которые от каждого дуновения разлетались над городом. Вокруг стоял невероятный шум, целая толпа людей, работавших на пожарных лестницах и у насосов, перекрикивалась, что-то восклицала, все были страшно возбуждены, сию же минуту что бы то ни стало покорить огонь. Немного в стороне, но близко, насколько то позволял полыхающий жар, стоял человек в шинели и военной фуражке, невозмутимо курия сигару. На первый взгляд он мог

показаться праздным зевакой, но им он не был. Люди подходили к нему и, получив краткий приказ, тотчас же бросались его выполнять. Это был великий герцог Карл-Август. Он скоро понял, что здание спасти нельзя, и велел его свалить, а из освободившихся шлангов поливать соседние дома, которые могли пострадать от жара. Царственная мысль словно бы зародилась в нем:

И пусть сгорит!  
Прекрасней вновь построим сами.

Мысль вполне правильная. Театр был стар, некрасив и недостаточно вместителен для год от года возрастающего количества зрителей. И все-таки нельзя было не скорбеть о том, что нет более этого здания, с которым для жителей Веймара связано столько воспоминаний о великом и дорогом их сердцу прошлом.

Во многих прекрасных глазах стояли слезы сожаления. Но еще больше растрогал меня один оркестрант. Он плакал по своей сгоревшей скрипке.

Когда забрезжил день, я увидел множество бледных лиц. Молодые девушки и женщины из высшего общества всю ночь смотрели, чем же кончится пожар, и теперь продрогли на холодном утреннем воздухе. Я пошел домой немного передохнуть, а около полудня отправился к Гете.

Слуга сказал мне, что он нездоров и лежит в постели. Гете тем не менее попросил меня зайти. Он протянул мне руку.

— Это общая наша утрата, — сказал он, — но что тут поделаешь! *Маленький Вольф* сегодня спозаранку прибежал ко мне. Он взял мою руку и, глядя на меня широко открытыми глазами, сказал: «*Вот ведь как бывает!*» Ну что тут добавишь к словам моего мальчика, он старался меня утешить. Поприще моих почти тридцатилетних усилий лежит во прахе. Но, как говорит Вольф, «*вот ведь как бывает*». Я мало спал эту ночь, из передних окон видно было, как пламя непрерывно рвется к небу. Нетрудно себе представить, что мысли о былом, о моем долголетнем сотрудничестве с Шиллером, о появлении в театре и артистическом развитии некоторых любимых моих воспитанников одолевали меня и что я как-никак был изрядно взволнован. Поэтому-то я и счел за благо остаться сегодня в постели.

Я не мог не одобрить его решения, хотя он отнюдь не выглядел слабым и огорченным, скорее спокойным, даже довольным. Мне показалось, что это старая военная хитрость, к которой он всегда прибегает в экстраординарных

случаях, когда есть основание опасаться чрезмерного наплыва посетителей.

Гете попросил меня взять стул и сесть поближе, чтобы немного побыть с ним.

— Я много думал о вас и сожалел, — сказал он, — что вы теперь будете делать по вечерам?

— Вы знаете, — отвечал я, — как страстно я люблю театр. Когда я приехал сюда два года назад, кроме трех или четырех пьес, которые мне удалось посмотреть в Ганновере, я ровным счетом ничего не видел. Все было ново для меня, и актеры, и пьесы, а так как, по вашему совету, я полностью предавался впечатлениям спектакля, ничего не анализируя и ни о чем не размышляя, то, право же, могу сказать, что за обе эти зимы провел в театре самые счастливые и беззаботные часы своей жизни. Вдобавок я так влюбился в театр, что не только не пропускал ни одного вечера, но еще исхлопотал себе дозволение присутствовать на репетициях; впрочем, мне и этого было мало; если днем, проходя мимо, я замечал, что двери его открыты, я пробирался в партер и, случалось, по получасу сидел в пустом зале, воображая, что могло бы разыгрываться передо мною на сцене.

— Честное слово, вы сумасшедший, — смеясь, сказал Гете, — но мне это нравится. Дай бог, чтобы вся публика состояла из таких вот детей! По сути дела, вы правы. Человеку, не вконец избалованному и еще молодому, нелегко найти место, где бы ему было так хорошо, как в театре. Никто ничего с вас не спрашивает; если вам неохота даже рта раскрывать, не надо; вы сидите, как король, в уюте, в спокойствии, и ваш ум и чувства вкушают все, что только можно себе пожелать. Тут вам и поэзия, и живопись, пение и музыка, да еще актерское искусство, — словом, чего только нет! Если все эти очарования, заодно с молодостью и красотой, к тому же доведенные до высшей ступени развития, воздействуют на вас в один и тот же вечер, то это писчем не сравнимый праздник. Но если кое-что плохо и лишь кое-что хорошо, это все же лучше, чем скучливо смотреть в окно или играть в вист в прокуренной комнате. Веймарским театром — да вы и сами это чувствуете — пренебрегать пока что не стоит; корнями своими он ушел в лучшие наши времена, новые, свежие таланты приобщились к нему, и мы все еще умеем создавать волнующее и радостное, то, что, по крайней мере, носит характер целостного.

— Ах, если бы я был в нем лет двадцать — тридцать тому назад, — заметил я.

— Да, — отвечал Гете, — в то время нам на помощь приходило множество преимуществ. Вы только представьте себе, что скучная пора французского вкуса тогда миновала еще совсем недавно, что публика не была пресыщенной и Шекспир воздействовал на нее во всей своей свежести, что оперы Моцарта были еще новинкой и, наконец, что Шиллер год за годом создавал здесь свои пьесы, сам разучивал их с актерами и давались они на Веймарском театре в первом своем блеске, — и вы поймете, какими яствами потчевали здесь молодежь и стариков и какую благодарную публику мы имели.

— Пожилые люди, помнящие те времена, — заметил я, — и доныне не могут без восторга говорить о высотах, которых тогда достиг Веймарский театр.

— Не буду отрицать, — отвечал Гете, — это был театр. Но главное — великий герцог не связывал мне рук, предоставляя действовать, как я хочу. Я не заботился о роскошных декорациях и блистательном гардеробе — только о хороших пьесах. Трагедия или фарс — для меня все жанры были хороши; но пьеса должна была что-то представлять собой, чтобы мы ее поставили. Должна была быть интересной и значительной, веселой и грациозной, но прежде всего — иметь здоровое ядро. Болезненное, слабое, слезливое и сентиментальное, так же как наводящее ужас, жестокое или оскорбляющее нравственные начала, решительно отвергалось. Мне казалось, что такими вещами я испорчу актеров и публику.

И напротив, хорошие пьесы возвышали актеров. Ведь изучение прекрасного, постоянная работа с прекрасным неизбежно способствуют совершенствованию человека, не вовсе обделенного природой. К тому же я находился в непрестанном личном общении с актерами, проводил читки и каждому старался разъяснить его роль, присутствовал на всех генеральных репетициях и обсуждал с ними, как лучше сделать то или иное. Бывал я и на спектаклях, а на завтра подробно говорил с актерами о том, что, по-моему, не совсем хорошо получилось.

Таким образом я помогал им продвинуться вперед в их искусстве и еще старался завоевать для всего актерского сословия большее уважение общества; лучших и талантливейших его представителей я вовлекал в свой круг, докзывая тем самым, что считаю их достойными дружбы со мной. Моему примеру последовали многие, и в конце концов актеры и актрисы стали желанными гостями в лучших домах Веймара, что, разумеется, способствовало развитию

их культуры, как внешней, так и внутренней. Мои ученики — Вольф в Берлине и Дюран здесь, в Веймаре, — люди утонченного светского воспитания. Господа Эльс и Графф — люди очень образованные и сделают честь любому обществу.

Шиллер в этом смысле поступал точно так же. Он всегда общался с актерами и актрисами, как и я, присутствовал на всех репетициях и после каждого удачного представления своей пьесы зазывал актеров к себе. Они вместе радовались удаче и обсуждали, как в следующий раз сделать еще лучше ту или иную сцену. Но когда Шиллер появился у нас в театре, актеры и публика стояли уже на высокой ступени развития, и это, несомненно, способствовало быстрому успеху его пьес.

Я с радостью слушал подробный рассказ Гете о том, что всегда представляло для меня живой интерес, еще обострившийся в связи с катастрофой этой ночи.

— Сегодняшний пожар театра, — сказал я, — в котором вы и Шиллер в течение долгих лет создали так много доброго и значительного, как бы извне подвел итог великой эпохе, каковая вряд ли скоро опять настанет в Веймаре. Надо полагать, что руководство театром и чрезвычайный успех, выпавший на его долю, доставили вам много радости.

— Но тревог и волнений тоже достаточно, — со вздохом проговорил Гете.

— Трудно, должно быть, — сказала я, — держать в повиновении столь многоголовое существо.

— Немалого можно добиться строгостью, — отвечал Гете, — многого — любовью, но всего больше — знанием дела и справедливостью, невзирая на лица.

Я остерегался двух врагов, которые могли стать для меня опасными. Первый из них — моя неистовая любовь к людям одаренным, она могла сделать меня пристрастным, о втором я не хочу распространяться, но вы и так отгадаете. В нашем театре было много женщин молодых, красивых да еще умных и обаятельных. И как же меня влекло к некоторым из них! Случалось, мне уже с подорожи шли навстречу, тогда я говорил себе: *«Ни шагу дальше!»* Я понимал свое положение и понимал, как мне должно вести себя. В театре я был не частным лицом, а главой всего дела, и его преуспевание было мне дороже краткого личного счастья. Заведи я здесь какую-нибудь любовную интрижку, и я бы уподобился компасу, возле которого находится магнит и мешает ему давать правильные показания.

Благодаря такой щепетильности я оставался хозяином самого себя, а значит, хозяином театра и всегда пользовался уважением, без которого прочного авторитета не существует.

Это было поразительное признание. Мне уже рассказывали нечто в этом роде, и я был рад услышать почти то же самое из его уст. Мне казалось, что я сейчас люблю его больше чем когда-либо, и расстались мы с теплым рукопожатием.

Я снова пошел на пожарище, где из груды развалин все еще вырывались языки пламени и целые столбы дыма. Вокруг суетились люди, заливая огонь и растаскивая обломки. Чуть поодаль я нашел обгорелые клочки перепи-санной роли. Это были обрывки из «Тассо».

*Четверг, 24 марта 1825 г.*

Обед у Гете. Пожар театра едва ли не единственная тема разговора. Госпожа фон Гете и фрейлейн Ульрика предаются воспоминаниям о счастливых часах, проведенных в старом театре. Они подобрали на пепелище несколько реликвий, которые считали бесценным сокровищем, хотя это были только несколько камушков да обгорелые кусочки обоев. Но они были уверены, что это обои как раз с того места, где были их кресла на балконе!

— Главное, поскорее овладеть с о б о й, — сказал Г е т е, — и поскорее приняться за дело. Я бы уж с будущей недели возобновил спектакли. В княжеском доме или в большом зале ратуши, все равно. Надо только не допускать большого перерыва, чтобы публика не подыскала себе других спосов коротать длинные вечера.

— Но ведь из декораций почти ничего не удалось спасти, — воскликнул кто-то из нас.

— А много декораций и не потребуется. Да и большие пьесы ставить не стоит. Главное, выбрать вещи, не требующие перемены декорации, какую-нибудь одноактную комедию, а не то одноактный фарс или оперетту. За этим должна последовать ария или дуэт, наконец, финал какой-то излюбленной оперы, — словом, зритель останется доволен. Лишь бы не дать публике соскучиться в апреле, в мае ее уже будут улаждать лесные певцы.

— Между тем, — продолжал Г е т е, — летом вы увидите небезынтересный спектакль — на ваших глазах будет расти новый театр. Странная штука с этим пожаром. Признаюсь вам, что в долгие зимние вечера мы с Кудрэ

занимались проектированием нового, более подходящего для Веймара и очень хорошего театрального здания. Раздобыли профильные и горизонтальные чертежи лучших немецких театров и, заимствуя из них все лучшее, устраняя то, с чем мы были несогласны, разработали проект, думается, неплохой. Как только великий герцог его утвердит, можно будет приступать к строительству, и, право же, не пустяк, что беда застала нас подготовленными.

Мы дружно приветствовали эту новость.

— В старом здании, — продолжал Гете, — для избранной публики имелся балкон, для чиновников и ремесленников — галерея. А вот зажиточные и привилегированные представители среднего сословия нередко оказывались в затруднении; когда на спектаклях студенты заполняли партер, они не знали, куда деваться. Двух маленьких лож за креслами и нескольких скамеек амфитеатра им, конечно, было недостаточно. Теперь мы и о них позаботились. Вокруг партера пойдет целый ряд лож, между балконом и галереей тоже будут встроены ложи второго ранга. Таким образом мы выиграем много места, почти не расширяя здания.

Мы были очень довольны, что Гете так все предусмотрел.

Мне тоже захотелось сделать что-нибудь для нового театра, и после обеда я отправился со своим другом Робертом Дулэном в Обервеймар, где мы, сидя за кофе в тамошнем трактире, принялись сочинять либретто для оперы на сюжет Иссипиле Метастазіо. Начали мы со списка действующих лиц, мысленно распределяя роли между лучшими певцами и певицами Веймарского театра. И какое же удовольствие это нам доставляло. Словно мы уже сидели в зрительном зале. Затем мы всерьез взялись за работу и закончили большую часть первого действия.

*Воскресенье, 27 марта 1825 г.*

Многолюдный обед у Гете. Он показал нам проект нового театра, полностью соответствовавший тому, что он рассказывал о нем несколько дней тому назад; проект обещал здание, прекрасное снаружи и внутри. Кто-то заметил, что такой красивый театр потребует лучших декораций и костюмов, чем те, что были в старом. Другой высказал мнение, что и в труппе постепенно образуются бреши, и потому необходимо пригласить несколько талантливых молодых артистов, как драматических, так и оперных, надо уяс-

нить себе, что все это потребует немалых издержек и касса театра не в состоянии будет покрыть их.

— Я отлично знаю, — сказал Гете, — под предлогом сокращения расходов в труппу теперь будут приглашать тех, кто и впрямь недорогого стоит. Но не следует думать, что такие меры поддерживают кассу. Ничто не подрывает ее больше, чем экономия на самом существенном. Думать надо о том, чтобы театр каждый вечер был полон. А этому всего лучше может способствовать молодой певец или певица, одаренный герой и одаренная молодая героиня, к тому же еще недурная собой. Если бы я и доныне стоял во главе управления театром, я бы сделал еще один шаг для пополнения кассы и уж сумел бы увеличить ее доходы.

Все заинтересовались, что он имеет в виду.

— Я бы прибег к простейшему средству, — отвечал Гете, — велел бы играть и по воскресеньям. Таким образом, мы имели бы не менее сорока лишних спектаклей ежегодно, иными словами: лишних десять — пятнадцать тысяч талеров в кассе.

Такой выход все сочли весьма разумным. Кто-то упомянул, что множество рабочих, в будние дни занятых допоздна, отдыхают только по воскресеньям и, уж наверное, предпочитают благородное развлечение — театр танцам и пиву в деревенском шинке. Другой заметил, что все арендаторы и землевладельцы, так же как чиновники и состоятельные жители окрестных городов, сочтут воскресенье наиболее удобным днем для поездки в Веймарский театр. К тому же воскресные вечера и для тех жителей Веймара, что не бывают при дворе и не проводят вечера в тесном семейном кругу или в дружеской компании, всегда бывают тягостными и скучными; люди не знают, куда себя девать. Конечно, они с удовольствием проведут воскресный вечер там, где можно отдохнуть от забот и хлопот истекшей недели.

Итак, идея Гете, что театр должен быть открыт и по воскресеньям, как это уже принято в других немецких городах, встретила у нас полное одобрение. Хотя некоторые и усомнились, будет ли она одобрена двором.

— Веймарский двор, — отвечал Гете, — слишком добрый и мудрый, чтобы препятствовать мероприятию, направленному на благо города и столь важной институции, как театр. Не сомневаюсь, что там охотно пойдут на маленькую жертву и перенесут придворные воскресные soirées<sup>1</sup> на любой другой вечер. Но если это окажется непри-

---

<sup>1</sup> Вечеринки (фр.).

емлемым, то ведь по воскресеньям можно ставить пьесы, которые двор смотреть не любит, а народ посещает охотно, так что касса все равно будет пополняться.

Разговор свернул на актеров, мы судили и рядили, что значит правильно использовать их силы, а что — злоупотреблять таковыми.

— Долгая моя практика, — сказал Гете, — научила меня ни в коем случае не приступать к постановке пьесы или оперы, пока я не проникнусь уверенностью, что она будет иметь успех в течение хотя бы нескольких лет. Никто почему-то не думает о той затрате сил, которой требует разучиванье пятиактной пьесы или оперы. Да, дорогие мои, много, очень много надо сделать, прежде чем певец сумеет по-настоящему справиться со своей партией во всех сцехах и во всех актах, и не меньше, пока хоры звучат так, как они должны звучать. Меня иной раз дрожь пробирает, когда я узнаю, как легкомысленно был отдан приказ о разучивании оперы, за успех которой никто еще не может поручиться, так как и знают-то о ней лишь по недостоверным газетным сведениям. Поскольку у нас в Германии уже имеется налаженное почтовое сообщение, а кое-где вводится даже курьерское, то, прослышав о премьере новой нашумевшей оперы, я бы послал режиссера или другого какого-то надежного театрального деятеля посмотреть ее и решить, справиться с нею наш театр или нет. Расходы на такую поездку ничтожны по сравнению с невероятной выгодой, которую она нам даст, и со злосчастными ошибками, от которых нас избавит.

И вот еще что: если хорошая пьеса или хорошая опера уже поставлена, то надо давать ее через короткие промежутки времени, пока она, хоть относительно, привлекает публику и делает сборы. То же самое относится к хорошей старой пьесе или старой опере, возможно, годами уже позабытой и требующей большой работы, для того чтобы вновь пройти с успехом. Такой спектакль тоже следует часто повторять, если публика выказывает интерес к нему: вечно гнаться за новинками, ставить хорошую пьесу или оперу, разученную с несказанным трудом, какие-нибудь два-три раза, да и то с отстоянием в полтора или два месяца, что, конечно, требует повторных репетиций — прямой вред для театра и непростительное злоупотребление силами исполнителей.

Гете, видимо, считал все это очень важным и принимал так близко к сердцу, что даже разгорячился; при его обычном неколебимом спокойствии странно было это видеть.

— В Италии, — продолжал Гете, — одну и ту же оперу дают каждый вечер в течение месяца, а то и шести недель. Итальянцы, эти взрослые дети, к разнообразию не стремятся. Образованный парижанин смотрит классические пьесы своих великих поэтов так часто, что выучивает их наизусть, а его изощренный слух различает интонацию каждого слога. Здесь, в Веймаре, мне оказали честь постановками моей «Ифигении» и моего «Тассо», но как часто их давали? Раз в три или четыре года. Публика находит эти пьесы скучными. И не диво. Актерам непривычно их играть, публике непривычно их слушать. Если бы актеры, чаще играя эти пьесы, вошли в свои роли настолько, что их игра обрела бы жизнь и заученная роль наполнилась бы чувствами, идущими от сердца, то и публика наверняка не осталась бы глухой, бесчувственной.

Во мне некогда зародилась безумная мечта — создать немецкий театр. Мечта, что и я внесу свою лепту, заложив краеугольный камень в его построение. Я написал «Ифигению», написал «Тассо» и в ребячливом обольщении решил — теперь дело пойдет. Но ничто не двинулось с места, все осталось по-старому. Если бы я повлиял на ход вещей, если бы успех выпал на мою долю, я бы написал для вас еще дюжину таких «Ифигений» и «Тассо». В материале у меня недостатка не было. Но, как уже сказано, не нашлось актеров для умного и взволнованного исполнения таких пьес, не нашлось публики, способной воспринять их.

*Среда, 30 марта 1825 г.*

Вечером за чайным столом у Гете, кроме здешних молодых англичан, присутствовал еще и молодой американец. К моей радости была здесь и графиня Юлия фон Эглофштейн; мы с нею оживленно беседовали на разные темы.

*Среда, 6 апреля 1825 г.*

Наконец вняли совету Гете и сегодня впервые играли спектакль в большом зале ратуши. Из-за недостатка помещения и отсутствия декораций давались мелкие вещицы и отрывки. Маленькая опера «Челядинцы» прошла несколько не хуже, чем в театре. Публика очень тепло приняла свой излюбленный квартет из оперы Эбервейна «Граф фон Глейхен». Затем наш первый тенор, господин Мольтке, спел часто исполняемую песню из «Волшебной флейты», после чего мощно зазвучал финал первого акта «Дон-

Жуана», и этот единственный суррогат театрального представления грандиозно и достойно завершил сегодняшний вечер.

*Воскресенье, 10 апреля 1825 г.*

Обед у Гете.

— Сейчас я сообщу вам добрую весть, — сказал он, — великий герцог благосклонно принял наш проект, и кладка фундамента начнется незамедлительно.

Меня очень обрадовала эта весть.

— Нам пришлось бороться с множеством противодействий, — продолжал Гете, — но в конце концов мы победили. И в значительной степени обязаны этим тайному советнику Швейцера, который, как того и надо было ожидать при его трезвом образе мыслей, решительно взял нашу сторону. Проект собственноручно подписан великим герцогом и уже никаких изменений претерпевать не будет. Итак, радуйтесь, у вас наконец будет хороший театр.

*Четверг, 14 апреля 1825 г.*

Вечер провел у Гете. Поскольку на повестке дня разговоры о театре и о руководстве театром, я спросил его, по какому принципу он выбирал новых актеров.

— Мне нелегко вам ответить, — сказал Гете. — Я поступал по-разному. Если у актера была уже определенная репутация, я заставлял его играть, внимательно наблюдая, как он сочетается с другими, не идет ли его манера вразрез с нашим ансамблем, да и вообще, сумеет ли он заполнить образовавшуюся в труппе брешь. Если же это был молодой человек, еще не выступавший на подмостках, я сперва присматривался, довольно ли в нем привлекательности и обаяния, но, главное, умеет ли он владеть собой. Ведь актеру, лишенному самообладания, никогда не удастся показать себя стороннему человеку в наиболее выгодном свете, а это значит, что он недостаточно талантлив. Ибо его ремесло требует постоянного отрешения от себя самого, полного проникновения в другого и жизни под чужой маской.

Если мне нравилась внешность и манера поведения актера, я просил его читать, чтобы уяснить себе силу и диапазон его голоса, а также меру его впечатлительности. Я выбирал отрывок из какого-нибудь значительного про-

изведения, желая посмотреть, воспринимает ли он и в состоянии ли передать подлинно великое, потом страстное, неистовое, чтобы испытать его силу. Засим я переходил к простому и понятному, остроумному, ироническому, шутливому — чтобы посмотреть, как он справится с этой задачей, обладает ли он достаточной свободой духа. Далее я давал ему текст, говоривший о боли израненного сердца, о страданиях души, и так узнавал, способен ли он выразить трогательное.

Если он удовлетворял всем этим разнообразным требованиям, я мог питать вполне обоснованную надежду сделать из него превосходного актера. Если же в одном или в нескольких жанрах он оказывался сильнее, чем в других, я брал это себе на заметку и делал соответствующие выводы. Вдобавок я уже знал его слабые стороны и старался помочь ему преодолеть их. Заметив ошибки произношения и так называемые провинциализмы, я рекомендовал ему частое дружеское общение с теми коллегами, которые были вполне свободны от них. Спрашивал я еще, как у него обстоит дело с танцами и фехтованием, и если оказывалось, что неважно, посылал на выучку к танцмейстеру и учителю фехтования.

Когда он был уже достаточно подготовлен к выступлениям на сцене, я поначалу давал ему роли, соответствовавшие его индивидуальности, и до поры до времени требовал только, чтобы он играл себя самого. Впоследствии, если мне казалось, что натура у него слишком пылкая, я выбирал для него флегматических персонажей или, напротив, если он был не в меру спокоен и медлителен, пылких и быстрых, дабы он мог научиться, отрешившись от самого себя, влезать в чужую шкуру.

Разговор перешел на распределение ролей, и Гете, между прочим, высказал мысль, весьма примечательную.

— Большое заблуждение, — сказал он, — полагать, что посредственную пьесу должны исполнять посредственные же актеры. Пьеса второго или третьего сорта в исполнении первоклассных актеров может быть поднята на головокружительную высоту и стать действительно хорошей. Но если такую пьесу поручают третьесортным актерам, то результат, без сомнения, окажется равным нулю.

Второстепенные актеры бывают очень хороши в значительных пьесах. Точно так же, как на картинах фигуры в полутени прекрасно выполняют свое назначение, придавая большую мощь и выразительность фигурам на полном свете.

*Суббота, 16 апреля 1825 г.*

Обедал у Гете вместе с д'Альтоном. Мы познакомились прошлым летом в Бонне, и вновь свидеться с ним было мне очень приятно. Д'Альтон — человек во вкусе Гете, и, кстати сказать, они в прекраснейших отношениях. В своей науке он, видимо, весьма значительная величина. Гете очень ценит его высказывания и прислушивается к любому его слову. К тому же д'Альтон любезный и остроумный человек, он так красноречиво излагает мысли, в изобилии теснящиеся в нем, что, кажется, никогда его в досталь не наслушаешься.

Гете, в своем неумном стремлении к познанию природы готовый объять вселенную, оказывается в невыгодном положении рядом с каждым незаурядным естествоиспытателем, посвятившим всю свою жизнь исследованиям одной определенной области. Последний властвует над царством неисчислимых деталей, тогда как первый живет созерцанием великих законов природы. Поэтому Гете, всякий раз идущему по следу какого-то гигантского синтеза, недостает знания фактов, которые подтверждали бы его предположения, и он пылко стремится к знакомству и дружеской связи с прославленными естествоиспытателями. В них он находит то, чего не хватает ему самому, находит восполнение собственных пробелов. Через несколько лет ему минет восемьдесят, но он все еще не может насытиться исследованиями и познанием. Ни одна отрасль его деятельности не исчерпана и не завершена. Он стремится все вперед и вперед, все учится и учится, тем самым доказывая свою вечную, несокрушимую молодость.

Я задумался об этом сегодня во время обеда, прислушиваясь к его оживленной беседе с д'Альтоном. Д'Альтон говорил о грызунах, о строении и модификации их скелетов, а Гете без усталости слушал его в жажде все новых и новых фактов.

*Среда, 27 апреля 1825 г.*

Под вечер зашел к Гете, который пригласил меня проехаться вместе с ним в нижний сад.

— Прежде чем мы уедем, — сказал он, — я хочу вам показать письмо Цельтера, оно пришло вчера, и в нем он затрагивает нашу историю с театром.

«Что ты не тот человек, который построит в Веймаре театр для народа, я мог бы тебе сказать заранее, — писал

Цельтер, — с волками жить, по-волчьи выть, пусть-ка над этим призадумаются и те высочества, которые хотят закупорить вино в бродильном чане. Мы это уже видели, друзья, видим и сейчас».

Гете взглянул на меня — мы расхохотались.

— Цельтер добрый и умный человек, — сказал Гете, — но иной раз он не вполне меня понимает и ложно толкует мои слова.

— Всю свою жизнь я посвятил народу и его просвещению, — продолжал Гете, — почему же мне не построить для него еще и театр? Но в Веймаре, в этой маленькой резиденции, где, как шутят у нас, на десять тысяч поэтов приходится несколько горожан, разве можно говорить о народе, да еще о народном театре! Со временем Веймар, несомненно, сделается большим городом, но все равно придется подождать еще несколько столетий, покуда веймарские жители станут народной массой, которая сможет заполнить театр, построить и содержать его.

Между тем подали лошадей, и мы поехали в нижний сад. Вечер был тихий и теплый, немного, впрочем, парило, большие облака наплывали и уплотнялись в грозовую тучу. Мы шагали взад и вперед по усыпанным песком дорожкам. Гете молчал, идя рядом со мной, видимо, погруженный в размышления. Я прислушивался к пенью дроздов, в предчувствии грозы заливавшихся на вершинах еще не одетых листвою ясеней по ту сторону Ильма.

Гете вперял взор то в облака, то в зелень, буйно пробивавшуюся на обочинах, на лугу, на кустах и живой изгороди.

— Теплый дождь с грозой, которую сулит нам нынешний вечер, — сказал он, — и весна опять настанет во всей своей красе.

Меж тем тучи стали грозно сгущаться, уже слышались глухие раскаты грома, упало несколько капель, и Гете счел за благо вернуться в город.

— Если вы сейчас свободны, — сказал он, когда мы вышли из экипажа у его дома, — пойдемте наверх, посидите со мною еще часок.

Я с радостью принял это предложение.

Письмо Цельтера все еще лежало на столе.

— Странно, очень странно, — сказал Гете, — в какое ложное положение иногда попадаешь перед лицом общественного мнения! Я, думается, ничем не прегрешил перед народом, а вот оказывается, что я ему не друг. Разумеется, я не могу назвать себя другом революционной черни, ко-

торая, под вывеской общественного блага, пускается на грабежи, убийства, поджоги и, под вывеской общественного блага, преследует лишь низкие эгоистические цели. Этим людям я не друг, так же как не друг какому-нибудь Людовику Пятнадцатому. Я ненавижу всякий насильственный переворот, ибо он разрушает столько же хорошего, сколько и создает. Ненавижу тех, которые его совершают, равно как и тех, которые вызвали его. Но разве поэтому я не друг народу? Разве справедливый человек может думать иначе, чем думаю я?

Вы знаете, как я радуюсь любому улучшению, которое нам сулит будущее. Но душа моя не принимает ничего насильственного, скачкообразного, *ибо оно противно природе.*

Я друг растений, я люблю розу, этот совершеннейший из цветов, которыми дарит нас немецкая природа, но я не дурак и не думаю, что в моем саду розы могут вырасти в конце апреля. Я доволен, когда вижу сейчас первые зеленые листочки, доволен, когда один листок за другим со дня на день образуют все больший стебель, радуюсь, увидев бутон в мае, и счастлив, когда июнь дарит мне розу во всей ее красе и благоухании. А тот, кого разбирает нетерпение, пусть строит себе теплицу.

Меня называют прислужником власть имущих, их рабом. Словно это что-то значит! Разве я служу тирану, деспоту? Служу владыке, который за счет народа удовлетворяет свои прихоти? Такие владыки и такие времена, слава богу, давно остались позади. Вот уже полстолетия я нелюбимым предан великому герцогу, полстолетия я работал и стремился к добру вместе с ним, и я был бы лжецом, сказав, что помню хотя бы один день, в который он ничего не сделал для блага своего государства или отдельных его граждан. А что сам он имел от высокого своего положения — только труд и тяготы! Разве его дом, его стол и одежда лучше, чем у любого из его зажиточных подданных? Съездите в любой из немецких портовых городов — и вы убедитесь, что кухня и погреб именитого купца лучше, чем у нашего герцога.

— Этой осенью, — продолжал Гетте, — мы будем праздновать пятидесятилетие его владычества. Но если вдуматься хорошенько, — чем оно было все это время, как не служением? Служением великим целям, служением на благо своего народа! И если уж меня сделали слугой, то в утешение себе скажу: по крайней мере, я служу тому, кто сам слуга общего блага.

Пятница, 29 апреля 1825 г.

Строительство нового театра за это время заметно продвинулось, уже возводились стены, так что можно было надеяться вскоре увидеть новое прекрасное здание.

Но сегодня, зайдя на стройку, я, к ужасу своему, заметил, что работы приостановлены, к тому же до меня дошел слух, что партия, восставшая против проекта Гете и Кудрэ, наконец добилась успеха, что Кудрэ отстранен от руководства строительством и другому архитектору поручено возвести театр по новому проекту, и он уже приступил к кладке нового фундамента.

Видеть и слышать это мне было больно. Ведь я, вместе со многими другими, радовался, что в Веймаре строится театр, целесообразно устроенный внутри, в соответствии с практическим замыслом Гете, и прекрасный снаружи, в соответствии с его высокоразвитым вкусом.

Огорчался я также из-за Гете и Кудрэ, которые неминуемо должны были быть уязвлены этим последним веймарским событием.

Воскресенье, 1 мая 1825 г.

Обедал у Гете. Разумеется, разговор у нас сразу же зашел об изменении проекта театра. Как уже сказано, я боялся, что эта неожиданная и крутая мера глубоко заденет Гете. Но ничуть не бывало! Возвысившись над мелочной раздражительностью, он пребывал в кротком и веселом расположении духа.

— Герцога сумели пронять доводами касательно больших издержек и значительной экономии средств, если театр будет строиться по новому проекту. Что ж, я с этим согласен. Новый театр в конце концов только новый костер, который рано или поздно запылает от какой-то непредвиденной случайности. Это меня успокаивает. Вообще же чуть побольше или поменьше, чуть повыше или пониже — большой разницы не составляет. Вы, так или иначе, получите вполне сносный театр, пусть не такой, какого я желал и какой вообразил себе. Вы пойдете туда, я тоже пойду, — в общем, все будет по-хорошему.

— Великий герцог, — продолжал Гете, — выразил мнение, что театр вовсе не должен быть архитектурным шедевром, — возражать тут, конечно, не приходится. Далее он сказал, что театр, как ни верти, заведение, которое должно *приносить доход*. На первый взгляд это звучит, пожалуй,

слишком материалистично, но, хорошенько подумав, видишь, что в такой точке зрения есть и положительная сторона. Ежели театр должен не только окупать себя, но сверх того еще и приносить доход, то и все в нем должно быть отменно. Во главе его должно стоять безупречное руководство, актеров следует приглашать лишь наилучших и к тому же постоянно давать хорошие пьесы, чтобы не выдыхалась притягательная сила театра и сборы всегда были полными. Но сказать легко, а сделать почти невозможно.

— Намерение герцога превратить театр в один из источников дохода, — сказала я, — имеет еще и тот практический смысл, что оно принудит театр всегда и во всем быть на высоте.

— Шекспири и Мольер, — отвечал Гете, — держались той же точки зрения, а ведь они прежде всего хотели зарабатывать деньги. Для достижения этой главной цели они заботились о постоянном преуспевании своего театра и наряду с хорошими старыми пьесами время от времени ставили хорошие новые, дабы заинтриговать и привлечь зрителей. Запрещение «Тартюфа» было как удар грома, и не столько для поэта Мольера, сколько для *Мольера-директора*, который обязан был печься о благе большой труппы, равно как и о хлебе насущном для себя и своих близких.

— Для благополучия театра, — продолжал Гете, — всего опаснее, если директор лично не заинтересован в большем или меньшем доходе и может позволить себе пребывать в беззаботной уверенности, что накопившийся за год недобор в кассе под конец будет покрыт из какого-нибудь другого источника. Человеку свойственно расслабляться, если его не держат в узде соображения личной выгоды или невыгоды. Конечно, нельзя надеяться, что театр в таком городе, как Веймар, будет себя окупать, не нуждаясь в дотации из герцогской казны. Но всему есть мера и всему есть граница, на несколько тысяч талеров больше или меньше — это не так уж безразлично, хотя бы потому, что меньший доход и ухудшение театра всегда идут рука об руку, а значит, тут теряешь не только деньги, но еще и честь.

Будь я великим герцогом, я бы на будущие времена, при неизбежной смене дирекции, раз и навсегда назначил определенную сумму дотации. Велел бы подсчитать, сколько в среднем составят вспомоществования, выплаченные театру за последние десять лет, и таким образом определил бы сумму, достаточную для поддержания театра. С этими деньгами пусть и хозяйничают. Но затем я сделал бы еще один шаг: если директор со своими режиссерами умелым и

энергичным руководством добьется того, что к концу года в кассе окажется чистая прибыль, то ее следует распределить между директором, режиссерами и отличившимися членами труппы. Вот тогда вы увидите, как все придет в движение и как театр очнется от дремоты, в которую он было впал.

— Наши театральные законы, — продолжал Гете, — предусматривают всевозможные штрафы, по ни один из них не устанавливает награды и поощрения за выдающиеся заслуги. Это большой их недостаток. Если за малейшее небрежение мне грозит вычет из жалованья, то меня, по крайней мере, должна ободрять перспектива поощрения, если я сделаю больше того, что можно с меня спросить. А когда все будут делать больше, чем от них ждут или с них спрашивают, театр, конечно, пойдет в гору.

Вошли госпожа фон Гете и фрейлейн Ульрика, обе по случаю прекрасной погоды одеты в прелестные летние платья. Застольная беседа стала легкой и оживленной. Говорили о всевозможных развлечениях и прогулках прошедшей недели, а также об увеселениях, предстоящих на будущей.

— Если и впредь сохранятся такие чудесные вечера, — сказала госпожа фон Гете, — мне хотелось бы устроить чаепитие в парке под пение соловьев. Что вы на это скажете, дорогой отец?

— По-моему, это будет премило, — отвечал Гете.

— А каково ваше мнение, Эккерман? Можно мне вас пригласить?

— Ах, Оттилия, — вмешалась фрейлейн Ульрика, — зачем ты приглашаешь господина доктора? Он все равно не придет, а если придет, то будет сидеть как на углях и гости сразу увидят, что душа его витает где-то далеко и что он только и думает, как бы ему ускользнуть.

— Сознаюсь, что я предпочел бы бродить по полям с Дулэном, — сказала я. — Чаевать и заниматься болтовней — это не по мне, меня дрожь пробирает при одной мысли о таком времяпрепровождении.

— Бог с вами, Эккерман, — сказала госпожа фон Гете, — за чайным столом в парке вы же будете на природе, а следовательно, в своей стихии.

— Напротив, — воскликнула я, — находясь в непосредственной близости от природы, вдыхая ее ароматы и чувствуя, что она тем не менее мне недоступна, я буду испытывать такое же нетерпение, как утка на берегу реки, которой не дают войти в воду.

— Вы могли бы также сказать, — смеясь, заметил Гете, — что испытываете то же, что лошадь, которая высунула голову из конюшни и видит, как на обширном лугу скачут и резвятся другие лошади. Она чует прелесть и приволье окружающей природы, а выскочить из своих четырех стен не может. Но оставьте-ка в покое Эккермана, какой он есть, таким и останется, вы его не переделаете. Кстати, скажите мне, милейший, как вы с вашим Дулэном проводите долгие часы в полях и лесах?

— Находим какую-нибудь уединенную поляну и стреляем из лука, — отвечая.

— Что ж, это, наверно, приятное занятие, — заметил Гете.

— Просто замечательное, оно помогает избавиться от всех зимних недомоганий.

— Но скажите, ради бога, — продолжал Гете, — как вам удалось здесь, в Веймаре, обзавестись луком и стрелами?

— Что касается стрел, я привез образец еще из Брабанта в тысяча восемьсот четырнадцатом году. Там из лука стреляют все, кому не лень. Даже в самом захудалом городишке имеется «общество лучников». Как немцы ходят на кегельбан, так они собираются в какой-нибудь харчевне, — обычно это бывает уже под вечер, — и стреляют из лука; я с превеликим удовольствием наблюдал за их упражнениями. Это все были рослые люди, и, натягивая тетиву, они принимали удивительно живописные позы. Великолепно развитая мускулатура и меткость глаза тоже исключительная! Как правило, они стреляют с расстояния в шестьдесят — восемьдесят шагов по бумажной мишени, прилепленной к стенке из сырой глины, стреляют быстро друг за другом и стрелы оставляют в стене. Из пятнадцати стрел пять нередко торчали в центре бумажного круга размером с талер, а остальные вблизи от него. Выстрелив по разу, каждый вытаскивал свою стрелу из мягкой стенки, и все начиналось сначала. Я до того увлекся стрельбой из лука, что мечтал ввести ее в Германии, и так был наивен, что полагал это возможным. Я не раз приценивался к луку, но меньше чем за двадцать франков никто мне его не уступал, а откуда было взять такую уйму денег бедному фельдъегерю? Пришлось мне ограничиться стрелой, компонентом наиболее важным и высокохудожественным, которую я приобрел в Брюсселе на фабрике за один франк и, вместе с чертежом, привез на родину в качестве единственного трофея.

— Очень на вас похоже, — заметил Гете. — Только

впредь не думайте, что так просто ввести в обиход что-нибудь естественное и красивое. В лучшем случае на это потребно время и хитроумнейшие уловки. Но я представляю себе, что брабантская стрельба из лука — прекрасное занятие. Наши немецкие кегельбаны по сравнению с ней грубое, пошлое и к тому же филистерское развлечение.

— Самое лучшее в этой стрельбе, — сказал я, — то, что она равномерно развивает тело и требует равномерного приложения всех сил. Левая рука, держащая лук, вытянута и напряжена, — главное, чтобы она не дрогнула. Правая, что держит стрелу и натягивает тетиву, должна быть не менее сильной. Ноги крепко уперты в землю, так как служат падежной опорой верхней части туловища. Глаз впицается в цель, мускулы шеи и затылка напряжены до предела. А какую радость испытываешь, когда стрела свистя вонзится в вожделенную цель! По-моему, ни одно физическое упражнение не может сравниться с этим.

— Для наших гимнастических заведений, — сказал Гете, — это было бы самое подходящее дело. А там, глядишь, лет через двадцать в Германии окажутся тысячи отличных лучников. Вообще-то со взрослыми людьми многого не добьешься, как в смысле физического развития, так и умственного, то же относится к вкусу и характеру. Надо быть поумнее и начинать со школы, тогда все будет в порядке.

— Но наши учителя гимнастики, — возразил я, — не умеют обращаться с луком и стрелами.

— Не беда, — сказал Гете, — можно объединить несколько гимнастических заведений и выписать хорошего лучника из Фландрии или из Брабанта. А не то послать нескольких красивых и рослых молодых гимнастов в Брабант, там их обучат стрельбе из лука да еще искусству гнуть лук и вытачивать стрелы. Вернувшись, они могли бы стать учителями в немецких гимнастических заведениях, странствующими учителями, так сказать, которые преподают то в одном, то в другом городе.

— Я, — продолжал Гете, — к вашим гимнастическим затеям отношусь скорее положительно, поэтому мне тем более жаль, что к ним примешалась политика и властям предержавшим пришлось сократить число этих заведений, а кое-где даже запретить их. Тем самым вместе с водою выплеснули и ребенка. Надеюсь, впрочем, что они будут восстановлены, так как немецкой молодежи, в первую очередь студенчеству, постоянно напрягающему свои силы в умственных и научных занятиях, недостает физического равно-

весия, а значит, и необходимой энергии. Но расскажите мне еще что-нибудь о ваших стрелах и луке. Итак, из Брабанта вы привезли одну стрелу? Я бы хотел на нее взглянуть.

— Она давно куда-то задевалась, — отвечал я, — но так хорошо сохранилась у меня в памяти, что мне удалось ее восстановить, и даже вместо одной целую дюжину. Это оказалось не очень просто, много я делал тщетных попыток, много раз ошибался, но, наверно, именно поэтому и многому научился. Первая трудность — сделать стержень стрелы так, чтобы он был прямым и не согнулся от времени, далее, сделать его легким, но крепким, иначе он разлетится, натолкнувшись на твердое тело. В качестве материала я брал тополь, потом сосну, потом березу, но все это оказалось непригодным, то есть было не тем, чем должно было быть. Затем я испробовал липу; отпилив для этой надобности кусок от прямого стройного ствола, я наконец нашел, что искал. Липовый стержень благодаря очень тонким волокнам был и легкий, и прочен. Теперь надо было снабдить его роговым наконечником; тут выяснилось, что не всякий рог мне годится и что резать надо из самой сердцевины, дабы его не расплющило при ударе о твердое тело. Но всего труднее было — так как это требовало наибольшей сноровки — приделать к стреле оперение. И сколько же я над ним мудрил, сколько перепортил материала, прежде чем мне это удалось!

— Перья ведь, кажется, не защемляют в стержне, а приклеивают, — сказал Гете.

— Да, — отвечал я, — причем накрепко и очень тщательно, так, чтобы казалось, будто они из него прорастают. Клей тоже выбрать не просто. Я убедился, что самое лучшее — это рыбий клей; сначала его вымочить в воде, потом подлить немного спирта и, держа над горячими углями, растворить до студенистого состояния. Да и перья не все пригодны для этой цели. Хороши маховые перья любой крупной птицы, но я считаю, что еще лучше красные из павлиньего крыла, большие перья индюка, не говоря уж о крепких, красивых перьях орла или дрофы.

— Я с большим интересом вас слушаю, — сказал Гете, — но тот, кто вас не знает, с трудом поверит, что вы способны увлекаться и этой стороною жизни. Но скажите, где же вы наконец раздобыли лук?

— Сам смастерил, и даже не один, а несколько. Поначалу я опять-таки немало намучился. Потом стал советоваться со столярами и каретниками, перепробовал все виды

древесных пород, у нас имеющихся, и наконец добился неплохого результата. При выборе древесины необходимо все время помнить, что лук должен легко натягиваться, быстро и сильно распрямляться, сохраняя свою упругость. Для первой попытки я взял ясень, прямой, без сучков ствол десятилетнего деревца толщиной в руку. Но, обрабатывая его, наткнулся на сердцевину, рыхлую и одновременно грубую, словом, для моей цели непригодную. Тогда мне посоветовали взять ствол, достаточно толстый для того, чтобы его расклинить на четыре части.

— Расклинить? — переспросил Гете, — а что это значит?

— Это технический термин каретников, — отвечала я, — и значит, собственно, «расщеплять», но с помощью клина, забиваемого во всю длину ствола. Если ствол прямой, вернее, если его волокна идут прямо вверх, то и отдельные куски будут прямыми и, безусловно, годными для лука. Из искривленного ствола, поскольку клин идет по направлению волокон, никакого лука не сделаешь.

— А что, если ствол распилить на четыре куска? Ведь каждый из них обязательно будет прямым.

— Да, но если ствол хоть немного искривлен, пила перережет волокна, и для лука этот материал уже не годится.

— Понимаю, — сказал Гете, — такой лук неизбежно сломается. Но рассказывайте дальше. Мне очень интересно.

— Итак, — продолжал я, — второй лук я смастерил из куска *расклиненного* ясеня. На тыльной стороне этого лука ни одно волокно не было повреждено, он был прочен и крепок, но, увы, натягивался не легко, а, напротив, очень туго. «Вы, верно взяли кусок ясеня-семенника, — сказал мне каретник, — а это самая неподатливая древесина, испробуйте-ка *вязкий* ясень, из тех, что растут под Хопфгартеном и Циммерном, и дело у вас пойдет на лад». Из разговора с ним я узнал, что ясень ясеню рознь и что одна и та же древесная порода дает разную древесину, в зависимости от места и почвы, на которой произросло дерево. Узнал я также, что эттерсбергская древесина не ценится как поделочный лесоматериал, тогда как древесина из окрестностей Норы славится своей прочностью, почему веймарские извозчики и стараются чинить свои экипажи в Норе. В ходе дальнейших своих усилий я уже и сам заметил, что у деревьев, растущих на северных склонах, древесина тверже, а волокна распо-

лагаются прямее, чем у тех, что растут на южных. Да оно и понятно: на затененной северной стороне молодое деревце жадно тянется вверх, к солнцу, к свету, и волокна, конечно же, распрямляются. К тому же затененное местоположение способствует образованию более тонких волокон; мне это бросилось в глаза на деревьях, которые растут не в лесу, а свободно, так что одна их сторона постоянно подвержена воздействию солнца, другая же всегда остается в тени. Когда такой ствол лежит перед нами распиленный на куски, мы видим, что его сердцевина находится не посередке, а смещена к одной стороне. Происходит же это оттого, что годовые кольца с южной стороны ствола, постоянно согреваемой солнцем, развиваются сильнее, а значит, становятся шире. Поэтому, когда столяру или каретнику нужна прочная, но тонкая древесина, они обычно предпочитают брать северную, или, как они выражаются, «зимнюю» сторону ствола.

— Вы же понимаете, — сказал Гете, — что для меня, полжизни занимавшегося проблемой развития деревьев и растений, ваши наблюдения очень интересны! Но говорите дальше! Надо думать, вы сделали еще один лук, уже из *вязкого* ясеня.

— Совершенно верно, — отвечал я, — взяв для него аккуратно расклиненный «зимний» кусок с тонкими волокнами. Этот лук легко натягивался и был достаточно упруг. Однако через несколько месяцев он искривился, стал менее эластичным. Для следующего лука я взял кусок молодого дуба, кстати сказать, и это очень неплохая древесина, но некоторое время спустя с ним произошло то же самое, затем я испробовал ствол грецкого ореха, — этот материал был уже получше, — и под конец ствол тонколиственного клена, и тут уж ничего лучшего желать не оставалось.

— Я знаю это дерево, — заметил Гете, — оно часто встречается в Геккене. Наверно, оно дает хорошую древесину. Но я редко видел даже самый молодой ствол этого клена без ветвей, а ведь для лука вам нужен ствол совершенно гладкий.

— На *молодом* стволе, — отвечал я, — действительно есть ветви, но когда дерево подрастет, эти ветви обрубают, если же оно стоит в чаще, они отпадают сами собой. Если дерево, в момент, когда ему обрубили ветви, имевшие уже три-четыре дюйма в диаметре, продолжает расти так, что снаружи на него ежегодно нарастает новая древесина, то через пятьдесят — восемьдесят лет внутренняя его часть,

в таком изобилии порождающая ветви, будет окружена слоем здоровой, без ветвей, древесины не менее чем в полфута толщиной. Такое дерево являет нашему взору крепкий и гладкий ствол, но что за коварство таится в его нутре, мы, конечно, не знаем. Поэтому рекомендуется выпилить из ствола толстый брус и уже от него отрезать внешнюю часть, то есть ту, что находится под корой, так называемую оболонь, и тогда у вас в руках окажется молодая, крепкая и наиболее пригодная для лука древесина.

— А я думал, — сказал Гете, — что для лука нужно не распиленное, а расколотое или, как вы выражаетесь, расклиненное дерево.

— Если в него можно вогнать клин, это, безусловно, так. Ясень, дуб, грецкий орех расклинить не мудрено, волокна в них грубые. Другое дело клен. Тончайшие его волокна срослись так тесно, что установить их направление, равно как и разделить их, невозможно, а разве что искромсать. Поэтому клен надо распиливать, что крепости лука нимало не повредит.

— Гм-гм! Пристрастие к луку дало вам очень неплохие знания, — сказал Гете, — да к тому же знания живые, к которым приходишь только практическим путем. Неизменное преимущество любого пристрастия — это то, что оно понуждает нас вникать в самую глубь явления. Поиски и ошибки тоже полезны, ибо они многому нас научают, и не только самой сути дела, но и всему, что с этим делом связано. Много ли бы я знал о растении и о цветке, если бы моя теория досталась мне по наследству и я бы просто затвердил ее наизусть! Но мне пришлось самому искать, находить, ошибаться от случая к случаю, — а посему я вправе сказать, что кое-что знаю о том и о другом, знаю даже больше, чем стоит на бумаге. Но скажите мне следующее о вашем излюбленном луке. Я видел шотландские луки: одни — совершенно прямые, другие — с изогнутыми концами. Какие же, по-вашему, лучше?

— Мне думается, — отвечал я, — что лук со слегка заведенными назад концами пружинит сильнее. Поначалу я делал концы прямыми, потому что не умел сгибать их. Но, освоив это искусство, стал всегда загибать концы, я считаю, что лук с загнутыми концами не только выглядит красивее, но и силы ему прибавляется.

— А правда, что концы сгибают на жару?

— На влажном жару, — отвечал я. — Когда лук практически уже готов, упругость его распределена равномерно и он уже везде одинаково крепок, я опускаю один

его конец дюймов эдак на шесть-семь в кипящую воду и целый час варю его. Затем я зажимаю этот размягченный и еще горячий конец между двух маленьких чурок, с внутренней стороны имеющих ту самую форму, которую я хочу придать изгибу лука, и оставляю его в этом зажиме не менее чем на сутки, чтобы он как следует высох; далее точно так же поступаю со вторым концом. Обработанные таким образом концы лука остаются неизменными, словно дерево от природы имело такой изгиб.

— А знаете, — сказал Гете с таинственной улыбкой, — у меня, кажется, есть одна вещица, которая вас порадует. Что, если мы сейчас спустимся вниз и в руках у вас окажется настоящий башкирский лук?

— Башкирский л у к , — воскликнул я вне себя от восторга, — самый настоящий?

— Да, сумасбродный вы человек, самый настоящий, — сказал Гете. — Идемте.

Мы спустились в сад. Гете открыл дверь в комнату маленькой пристройки, где лежали на столах и висели по стенам всевозможные редкости. Лишь мельком взглянув на все эти сокровища, я искал глазами лук.

— Вот о н , — сказал Гете, вытаскивая лук из кучи всевозможных предметов, сваленных в у г л у . — Да, он все такой же, каким был в тысяча восемьсот четырнадцатом году, когда мне торжественно преподнес его начальник башкирского отряда. Ну, что скажете?

Я был счастлив, держа в руках любимое оружие. Лук был цел и невредим, даже тетива была еще достаточно натянута. Ощупав его, я обнаружил, что он не вовсе потерял упругость.

— Отличный л у к , — сказал я. — В особенности хороша его форма, в будущем он послужит мне образцом.

— Из какого дерева он, по-вашему, сделан? — поинтересовался Гете.

— Как видите, он весь покрыт тонким слоем березовой коры, дерево видно лишь на изогнутых концах. К тому же оно потемнело от времени, и не разберешь, что это такое, то ли молодой дуб, то ли орех, не знаю. Наверно, все-таки орех или схожая с ним порода, но не клен, волокна у него грубые, и оно, несомненно, было расклевано.

— А что, если вам сейчас его испробовать, — предложил Гете. — Вот и стрела. Но остерегайтесь ее железного наконечника, возможно, он отравлен.

Мы снова вышли в сад, и я натянул лук.

— По чему будете стрелять? — спросил Гете,

— Для начала в воздух, — отвечала.

— Можно и так, — согласился он.

Я пустил стрелу в голубеющий воздух, к освещенным солнцем облакам. Она взвилась, потом наклонилась, со свистом понеслась вниз и вонзилась в землю.

— А теперь дайте мне попробовать, — сказал Гете.

Радуюсь, что у него возникло это желание, я отдал ему лук и сбегал за стрелой. Он вставил стрелу и лук сразу взял правильно, но все-таки немного повозился, прежде чем отпустить тетиву. Гете прицелился вверх. Он стоял как Аполлон, внутренне неистребимо молодой, но, увы, постаревший телесно. Стрела взлетела невысоко и опустилась на землю. Я побежал и принес ее.

— Еще разок! — сказал Гете. Теперь он прицелился в горизонтальном направлении, вдоль песчаной дорожки. Шагов тридцать стрела продержалась в воздухе, потом засвистела и опустилась. Гете, стреляющий из лука, положительно обворожил меня. Мне вспомнилось двестише:

Иль старость уходит, я мал,  
И снова ребенком я стал.

Я снова принес ему стрелу. Он попросил и меня выстрелить горизонтально, указав мне цель: отверстие в ставне на окне его рабочей комнаты. Я выпустил стрелу. Неподалеку от цели она засела в мягкой древесине, да так крепко, что я не мог ее вытащить.

— Пускай себе торчит, — сказал Гете. — В течение нескольких дней она будет служить мне напоминанием о наших забавах.

Наслаждаясь прекрасной погодой, мы несколько раз прошлись взад и вперед по саду, затем сели на скамью, спиной к уже покрывшейся молодой листвою живой изгороди. Разговор зашел о луке Одиссея, о героях Гомера, затем о греческих трагиках и, наконец, о широко распространенном мнении, будто бы Еврипид повинен в упадке греческого театра. Гете отнюдь не разделял этого мнения.

— Я и вообще-то не считаю, — сказал Гете, — что искусство может прийти в упадок из-за одного человека. Тут очень многое должно соединиться, а что именно, я сказать затрудняюсь. Не мог Еврипид загубить искусство греческих трагиков, как не мог загубить пластическое искусство какой-нибудь крупный ваятель, современник

Фидия, но все же не столь великий, как он. Ибо великая эпоха всегда идет вслед за наилучшим, посредственное на нее не влияет.

Время Еврипида было поистине великим, было временем развития, а не его увядания. Ваяние еще не достигло своей вершины, а живопись находилась лишь в становлении.

Если трагедиям Еврипида, в сравнении с трагедиями Софокла, и присущи крупные недостатки, то это еще не значит, что позднейшие трагики станут подражать этим недостаткам и погибнут. Но даже если бы они обладали большими достоинствами, а некоторые из них и превосходили бы Софокла, то почему, спрашивается, позднейшие трагики не стремились подражать этим достоинствам и не поднялись хотя бы до высот Еврипида?

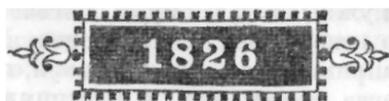
А вот почему за тремя великими трагиками не появились столь же великие четвертый, пятый и шестой, в этом разобраться нелегко, здесь можно только строить различные предположения.

Человек — существо немудреное. И как бы он ни был сложен, многообразен и непостижим, круг его возможностей ограничен.

Ежели бы у древних греков все складывалось, как у нас, бедных немцев, у которых Лессинг написал две-три, я три-четыре, а Шиллер пять-шесть пригодных для театра пьес, то, разумеется, нашлось бы место еще и для четвертого, пятого, а то и шестого трагического поэта.

Однако у греков с их богатейшим творчеством, когда каждый из трех великих написал около сотни, а то и больше пьес и трагические сюжеты Гомера и греческого эпоса оказались, частично, разумеется, уже использованными по три или четыре раза, было естественно, что при таком изобилии осуществленного материала и сюжеты постепенно исчерпались, и поэты, пришедшие в мир вслед за тремя великими, уже толком не знали, за что им взяться.

Да и зачем, собственно? Ведь теперь уж можно было и повременить! Творения Эсхила, Софокла и Еврипида были так прекрасны и так глубоки, что их хотелось слушать и слушать, а не превращать во что-то пошлое, не убивать их. Даже те немногие грандиозные обломки, что дошли до нас, так всеобъемлющи и многозначительны, что мы, бедняги-европейцы, столетиями тешили себя ими и еще столетиями будем над ними размышлять, ими кормиться.



*Понедельник, 5 июня 1826 г.*

Гете сказал мне, что к нему приходил прощаться Преллер, на несколько лет уезжающий в Италию.

— Я напутствовал его советом, — продолжал он, — не позволить сбивать себя с толку, всегда помнить о Пуссене и Клоде Лоррене и в первую очередь изучать творения этих двух великих художников, чтобы уяснить себе, *как* они видели природу и *как* через нее выражали свои чувства и художественные воззрения.

Преллер настоящий художник, и за него не надо опасаться. Вдобавок он человек серьезный, и я почти уверен, что симпатии его привлечет скорее Пуссен, чем Клод Лоррен. Тем не менее я ему рекомендовал хорошенько изучить последнего, и на то у меня имелись веские основания. Художник развивается точно так же, как и всякий одаренный человек. Наши сильные стороны до известной степени формируются сами собой, но те ростки и задатки, которые присущи нашей натуре, а применения в повседневной жизни не получают и, значит, несколько заглушены, нуждаются в особой заботе, дабы перерасти в достоинства.

Т а к , — впрочем, я уже не раз об этом говорил, — молодой певец отлично владеет тем или иным регистром, ибо таковой от природы свойствен его голосу, другие же звучат у него менее сильно, менее чисто и насыщенно. Над этими-то регистрами он и должен работать с особым усердием, чтобы и в них добиться такого же совершенства.

Я убежден, что Преллер отлично справится с суровым, величественным — и с необузданным тоже. Что касается веселого, прельстительного, приятного, то тут у меня имеются некоторые сомнения, поэтому я и старался привлечь его внимание к Клоду Лоррену, чтобы путем внимательного изучения этого художника он усвоил то, чего, вероятно, недостает его внутренней природе.

И еще об одном мне пришлось ему напомнить. Я видел множество его этюдов с натуры, выполненных живо и энергично, но все это только детали, которые впоследствии, когда у него созреют собственные замыслы, вряд

ли будут ему нужны. Вот я ему и посоветовал: впредь, работая с натуры, не выхватывать отдельные предметы, одно дерево, например, или кучу камней, или одинокую хижину, но всегда давать еще и частицу фона, частицу окружения.

Причины я привел следующие. В природе мы не встречаем ничего единичного, все для нас связано с тем, что находится впереди, рядом, позади, внизу или сверху. Случается, конечно, что отдельный предмет вдруг поражает нас своей красотой и живописностью, на самом же деле это впечатление он производит лишь в сочетании с тем, что находится впереди, рядом, позади, внизу или сверху.

Во время прогулки я могу натолкнуться на дуб, живописный эффект которого поразит меня. Но если мне вздумается написать только этот дуб, вне всего, что его окружает, он покажется мне иным, чем в первое мгновение, ибо здесь уже не будет того, что способствовало его живописному эффекту и повышало таковой. Уголок леса, к примеру, может показаться нам очень красивым именно потому, что сегодня *такое* небо, *такое* освещение, потому, что *так* сейчас стоит солнце. Но если опустить все это, вполне возможно, что он станет тусклым, безразличным, лишенным всякого очарования.

И еще: красиво в природе лишь то, что мотивировано ее законами, а следовательно, *правдиво*. Но чтобы эта правда выявилась и в картине, она должна быть обоснована изображением того, что на нее воздействовало.

В ручье я вижу красивые, округлые камни, та часть их, которая подвержена воздействию воздуха, поросла ласкающей глаз зеленью мха. Но ведь не только влага вызвала образование этого зеленого покрова, — возможно, что это северный склон, а не то тень деревьев или кустов. И если в картине эти определяющие факторы будут отсутствовать, то она станет не правдивой и утратит убедительную силу.

Так же вот и место, на котором растет дерево, свойства почвы под ним, другие деревья рядом или позади решительно влияют на его формирование. Дуб, вздымающийся на ветреной западной верхушке скалистого холма, приобретет совсем другую форму, чем дуб, что зеленеет внизу, на мягкой почве защищенной от ветров долины. Каждый из них по-своему красив, но характер они будут носить различный, а значит, в ландшафте, воссозданном художником, они могут быть изображены лишь в том

положении, каковое было им отведено самой природой. Посему приобщение того, что находится вблизи и вокруг изображаемого предмета, имеет первостепенную важность для художника.

Но, с другой стороны, было бы глупо давать зарисовки всевозможных будничных случайностей, которые так же мало влияют на форму и формообразование главного предмета картины, как и на его живописный облик в изображаемый момент.

Из всех этих мелких замечаний я сообщил Преллеру лишь самые главные и уверен, что в нем, как в человеке истинно талантливом, они пустят корни и впоследствии принесут плоды.



*Среда, 21 февраля 1827 г.*

Обедал у Гете. Он много и с восхищением говорил об *Александре Гумбольдте* и его труде «Через Кубу в Колумбию», который начал читать. Прежде всего его, видимо, заинтересовало отношение Гумбольдта к проекту прорытия канала через Панамский перешеек.

— Гумбольдт, — сказал Гете, — с большим знанием дела наметил и другие точки, через которые, используя реки, впадающие в Мексиканский залив, прокладывать канал, пожалуй, даже удобнее, чем через Панаму. Все это, конечно, дело будущего, предприимчивость для этого требуется колоссальная. Ясно одно: если такой канал будет построен и суда любого размера с любым грузом смогут проходить из Мексиканского залива в Тихий океан, то последствия для всего человечества, как цивилизованного, так и нецивилизованного, отсюда приостекнут поистине неисчислимы. Впрочем, я буду удивлен, если Соединенные Штаты не приберут к рукам такое начинание. Можно смело предсказать, что это молодое государство с его явно выраженной тягой к западу через

тридцать — сорок лет завладеет большими земельными пространствами по другую сторону Скалистых гор и сумеет заселить их. И точно так же не подлежит сомнению, что по всему побережью Тихого океана, где сама природа образовала обширные и надежные гавани, мало-помалу вырастут большие торговые города, которые будут способствовать оживленной торговле между Китаем, Индией и Соединенными Штатами. А в таком случае возникает необходимость в том, чтобы как торговые, так и военные корабли могли быстрее проходить между восточным и западным побережьем Северной Америки, чем это возможно сейчас, когда им приходится совершать длительное, тяжелое и дорогостоящее плавание вокруг мыса Горн. Повторяю: Соединенным Штатам не обойтись без прямого сообщения между Мексиканским заливом и Тихим океаном, и они, несомненно, будут его иметь.

Я хотел бы до этого дожить, но, увы, не доживу. Во-вторых, я хотел бы своими глазами увидеть соединение Рейна с Дунаем. Однако и этот замысел так грандиозен, что трудно поверить в его осуществление, особенно когда думаешь о скудости наших немецких ресурсов. И, наконец, в-третьих, хотелось бы увидеть англичан хозяевами Суэцкого канала. Вот до каких трех событий мне хочется дожить, и, право же, из-за этого стоило бы помяться еще лет эдак пятьдесят.

*Четверг, 1 марта 1827 г.*

Обедал у Гете. Он сказал, что получил от графа Штернберга и Цаупера посылку, очень его поразившую. Засим мы беседовали об «Учении о цвете», о субъективных опытах с призмой и о законах образования радуги. Он был доволен, что я с каждым днем стал лучше разбираться в этих трудных вопросах.

*Среда, 21 марта. 1827 г.*

Гете показал мне книжечку *Хинрихса* о сущности античной трагедии.

— Я прочитал ее с большим интересом, — заметил он, — Хинрихс высказывает свои воззрения главным образом на основе Софокловых «Эдипа» и «Антигоны». Весьма примечательная книжечка, я хочу, чтобы вы ее прочитали, и дам вам ее с собой, потом мы о ней поговорим. Я держусь совсем иного мнения, но все равно поучительно

видеть, как такой философски образованный человек рассматривает поэтическое произведение с весьма своеобразной точки зрения своей философской школы. Сегодня я ничего вам больше не скажу, чтобы не предвосхищать ваше собственное мнение. Почитайте ее и вы убедитесь, что она натолкнет вас на самые разные мысли.

*Среда, 28 марта 1827 г.*

Возвратил Гете Хинрихса, которого усердно читал в эти дни. К тому же я вновь просмотрел все произведения Софокла, чтобы полностью овладеть материалом.

— Ну, что скажете, — спросил Гете. — Не правда ли, Хинрихс умеет смотреть в корень вещей?

— Странное дело с этой книжкой, — отвечал я, — ни одна не пробуждала во мне столько мыслей и ни с какой другой у меня не возникало столько разногласий.

— Вполне естественно, — сказал Гете, — то, с чем мы согласны, оставляет нас спокойными, несогласие принуждает наш мозг работать продуктивно.

— Намерения автора, — продолжал я, — показались мне заслуживающими всяческого уважения, не говоря уж о том, что он никогда не скользит по поверхности, но зачастую, пожалуй, уж слишком вдается в психологические тонкости, и при этом до того субъективно, что утрачивается как наглядность деталей, так и вся картина в целом, и читатель, стремясь приблизиться к образу мыслей автора, поневоле чинит насилие над предметом его исследования. Иной раз я думал, что мои органы восприятия слишком грубы и я попросту не в состоянии уловить обычную утонченность его нюансов.

— Будь вы философски оснащены не хуже его, — сказал Гете, — вам бы не так туго пришлось. Говоря по чести, я сожалею, что Хинрихс, несомненно, крепкий человек, рожденный на нашем северном побережье, позволил до того начинить себя гегелевской философией, что утратил естественную способность к созерцанию и к мышлению и сверх того выработал в себе столь тяжеловесный образ мыслей и манеру выражения, что в его книге мы натываемся на места, когда наш разум немеет и мы уже не понимаем, что же это такое перед нами.

— Так было и сомною, — заметил я, — но все же меня радовали отдельные места, изложенные вполне ясным, человеческим языком, как, например, его толкование мифа об Эдипе.

— Здесь ему пришлось строго придерживаться существа дела, — заметил Гете. — Но, к сожалению, в его книге немало мест, где мысль застревает в неподвижности, а темный язык топчется на месте, вернее, движется лишь по кругу, точь-в-точь как в ведьминой таблице умножения в моем «Фаусте». Дайте-ка мне книжку! В его шестой лекции о хоре я ровно ничего не понял. Ну что вы скажете об этом месте, почти в самом конце: «Эта действительность (народной жизни) благодаря истинной значимости последней и является ее единственной и доподлинной действительностью, которая, сама по себе будучи правдой и достоверностью, становится всеобщей духовной достоверностью, а эта достоверность и есть одновременно все примиряющая достоверность хора, так что только в ней, ставшей результатом совокупного движения трагического действия, хор впервые полностью соответствует всеобщему самосознанию народа и потому не только избирает народ, но в силу своей достоверности и сам является таковым».

— Ну, по-моему, хватит! — сказал Гете. — Что должны подумать англичане и французы о языке наших философов, если мы, немцы, его не понимаем.

— И все же, — сказал я, — вы, как и я, считаете, что в основу книги легло благородное намерение и что она пробуждает мысль.

— Его идея семьи и государства, — отвечал Гете, — и возникающих отсюда трагических конфликтов, конечно, идея интересная и плодотворная, тем не менее я не согласен, что для искусства трагедии это идея наилучшая и наиболее правильная.

Все мы живем в семье и в государстве, и, конечно же, трагическая участь постигает нас так же, как и членов этих двух институций. Однако каждый может стать жертвою трагического рока, будучи только семьянином или только подданным своего государства. Все ведь здесь сводится к неразрешимости конфликта, который может возникнуть из любых противоречий, важно тут только одно — чтобы причина его была естественной и достаточно основательной и чтобы этот конфликт носил трагический характер. Так Аяксу гибель несет демон оскорбленного чувства чести, Геркулесу — демон ревности. В обоих случаях нет и в помине конфликта между любовью к семье и гражданской добродетелью — чувствами, которые, по Хинрихсу, составляют основу греческой трагедии.

— Мне думается, — сказал я, — что, создавая свою теорию, он опирался исключительно на Антигону, похоже, что характер и образ действий именно этой героини стояли у него перед глазами, когда он стал утверждать, что любовь к семье в чистейшем своем виде проявляется в женщине, но всего чище в сестре, ибо только сестра может *любить брата чистой и свободной от чувственности любовью*.

— Я полагал бы, — отвечал Гете, — что любовь сестры к сестре еще чище и в ней еще меньше сопричастует чувственность! Нам, кстати сказать, известно очень много случаев, когда между братом и сестрой, осознанно или неосознанно, возникала чувственная склонность.

— Вообще, — продолжал Гете, — вы, наверно, заметили, что Хинрихс в своем рассмотрении греческой трагедии всегда исходит из *идеи* и, как видно, воображает, что Софокл, задумывая и komponуя свои пьесы, тоже исходил из идеи и, руководствуясь ею, определял своих действующих лиц, их пол и общественное положение. Но Софокл, создавая свои трагедии, отнюдь не исходил из идеи, скорее он брал всем известное народное предание, в котором уже имелась какая-то идея, и думал лишь о том, как лучше приспособить это предание для сцены. Атриды тоже не хотят предавать земле тело Аякса, но, так же как в «Антигоне» сестра борется за брата, в «Аяксе» за брата борется брат. То, что о непогребенном Полинике печется сестра, а о павшем Аяксе брат — случайность, а не выдумка автора, так это стоит в предании, которому следовал и не мог не следовать поэт.

— То, что Хинрихс пишет о поступках Креонта, — заметил я, — тоже, собственно, не выдерживает критики. Он силится доказать, что, запрещая хоронить Полиника, тот действует из соображений государственной добродетели, а так как Креонт не только человек, но и государь, то Хинрихс выдвигает следующее положение: человек, который представляет трагическую мощь государства, не может не быть *олицетворением такового*, иными словами — *государем*, и далее, что из всех жителей страны лишь ее властелин является *носителем* высокой государственной добродетели.

— Едва ли кто-нибудь поверит этим утверждениям, — с легкой усмешкой заметил Гете, — действия Креонта определяются отнюдь не государственной добродетелью, а его ненавистью к покойному. Ежели Полиник пытался отвоевать земли, доставшиеся ему в наследство от отца,

с которых он был насильственно согнан, то разве же это такое неслыханное преступление против государства, разве смерть его не была достаточным искуплением и понадобилось еще надругательство над его ни в чем не повинным трупом?

Да и вообще нельзя называть государственной добродетелью действия, которые идут вразрез с обычным пониманием этого слова. Когда Креонт запрещает хоронить Полиника и разлагающийся труп не только отравляет воздух, но ко всему еще собаки и хищные птицы повсюду разносят клочья мертвого тела, оскверняя даже алтари, то это его деяние, равно оскорбляющее людей и богов, является не государственной *добродетелью*, а разве что государственным *преступлением*. Все встают против него. Встают старейшины государства, образующие хор; встает народ; встает Тирезий и, наконец, даже собственная его семья, но он не внимлет ничьим мольбам и, закоснелый в своем упорстве, продолжает кощунствовать, покуда сам не превращается в тень.

— Тем не менее, — сказал я, — когда слышишь речи Креонта, кажется, что в чем-то он прав.

— В этом и заключается великое мастерство Софокла, да и суть драматического искусства тоже, — отвечал Гете. — Все его действующие лица одарены таким красноречием и так убедительно излагают мотивы своих поступков, что зрители всегда на стороне того, кто говорил последним.

— В юности он, видимо, учился у хорошего ритора, что и дало ему возможность искусно подбирать всевозможные обоснования, как истинные, так и мнимые. Впрочем, эта способность иной раз заводила его слишком далеко.

В «Антигоне», например, есть место, которое всегда кажется мне какой-то заплатой, и я бы дорого дал, если бы образованный филолог доказал нам, что оно привнесено позднее и Софокл здесь ни при чем.

После того как героиня в ходе действия привела великолепнейшие обоснования своего поступка и явила нам все благородство своей чистой души, под конец, уже идя на смерть, она упоминает о мотиве, который граничит с комическим.

Антигона говорит: то, что она сделала для своего *брата*, она, будучи *матерью*, не сделала бы ни для своих умерших *детей*, ни для *супруга*. «Ибо, — продолжает она, — если бы у меня умер супруг, я бы вышла за другого, а если бы умерли дети, я бы прижила других

от нового супруга. Иное дело брат. Брата никто мне не вернет, отец мой и мать умерли, и некому подарить меня братом».

Таков неприкрашенный смысл этого места. По моему ощущению, в устах идущей на смерть героини он нарушает трагическое настроение, кажется очень уж деланным и смахивает на какой-то диалектический выверт. Как уже сказано, я был бы рад, докажи нам хороший филолог, что это привнесение.

Мы продолжали говорить о Софокле, о том, что он в своих трагедиях меньше заботился о моральной тенденции, чем о хорошей обработке данного сюжета, стараясь достигнуть наибольшего театрального эффекта.

— Ничего, конечно, нельзя возразить против стремления драматического поэта к моральному воздействию, — сказал Гете, — но когда речь идет о том, чтобы ясно и эффективно донести свой сюжет до зрителей, то конечные нравственные цели ни в чем не придут ему на помощь, тут надо обладать большой фантазией и знать, что следует и чего не следует делать на подмостках. Когда нравственное воздействие заложено в самой основе пьесы, оно никуда не денется, даже если автор имел в виду лишь ее подлинно художественную обработку. А уж если он душевно богат, как Софокл, то воздействие его творений неизбежно будет нравственным, как бы их он ни замыслил. Вдобавок он знал сцену и владел своим ремеслом как никто другой.

— Насколько хорошо он знал законы театра и никогда не упускал из виду сценического воздействия, — вставил я, — можно судить по его «Филоклету» и по разительному сходству композиции и развития сюжета этой трагедии с «Эдипом в Колоне». В обеих пьесах герои стары, беспомощны, изнурены телесными недугами. Единственная опора слепого Эдипа — его дочь; Филоклет может положиться лишь на свой лук. Но сходство здесь заходит и дальше. Оба несчастных старца становятся изгнанниками, но когда оракул предсказал, что только они помогут одержать победу, их стараются вернуть в отчизну. К Филоклету приходит Одиссей, к Эдипу — Креонт. Оба сладкими словами начинают свои хитроумные речи, но, ничего не добившись, прибегают к насилию: у Филоклета похищен его лук, у Эдипа — дочь.

— Такие насильственные действия, — продолжал Гете, — давали повод для великолепнейших диалогов, а страдания героев возбуждали волнение и жалость зрителей,

отчего драматические поэты, заботившиеся о впечатлениях зрителя, любили создавать таковые. Чтобы усилить впечатление от своего Эдипа, Софокл выводит его немощным старцем, хотя, судя по обстоятельствам, он должен быть еще мужем в расцвете сил. В данной трагедии такой Эдип не произвел бы должного впечатления, вот Софокл и превратил его в убогого старика.

— Но сходство с Филоклетом идет даже дальше, — сказал я, — оба героя, собственно, не действуют, а *терпят* страдания. Обоим пассивным героям противостоят по два действенных, Эдипу — Креонт и Полиник, Филоклету — Неоптолем и Одиссей. Эти противодействующие фигуры нужны, чтобы всесторонне осветить происходящее в пьесе и придать ей положенную полноту и вещественность.

— Вы смело можете добавить, — сказал Гете, — что обе пьесы сходятся еще и в силу весьма впечатляющего и радостного изменения ситуации, — одному из двух безутешных героев возвращена возлюбленная дочь, другому — не менее любимый лук.

Похожи здесь и примиряющие развязки; оба героя дождались избавления от своих страданий. Эдип, умирая, приобщается благодати, Филоклету боги возвещают, что под стенами Илиона Эскулап исцелит его.

— А вообще, — продолжал Гете, — если мы хотим научиться тому, что нужно для современного театра, надо обращаться к *Мольеру*.

Знаете вы его «*Malade imaginaire*»?<sup>1</sup> Там имеется сцена, которая каждый раз, когда я читаю эту пьесу, кажется мне символом совершенного знания законов театра. Я имею в виду ту, где мнимый больной выспрашивает свою маленькую дочку Луизон, не заходил ли молодой человек в комнату ее старшей сестры.

Другой комедиограф, хуже знающий свое ремесло, заставил бы Луизон рассказать все как было, и делу конец.

Но сколько жизни, сколько действия вносит Мольер в этот допрос, вводя в него разные задерживающие мотивы. Сначала он заставляет малютку Луизон притворяться, что она не понимает, чего от нее хочет отец, потом отрицать, что ей что-то известно. Отец грозит ей розгой, и она падает как подкошенная, но, заметив его отчаяние, с лукаво-веселым видом вскакивает, как бы очнувшись от приторного обморока, и мало-помалу во всем признается.

---

<sup>1</sup> «Мнимый больной» (фр.).

Мой пересказ дает лишь самое слабое понятие о живости этой сцены, прочитайте ее сами — и вы проникнетесь убеждением, что из нее можно извлечь больше практической пользы, чем из всех театральных теорий.

— Я знаю и люблю Мольера, — продолжал Гете, — с ранней юности и всю жизнь у него учился. Каждый год я перечитываю несколько его вещей, дабы постоянно приобщаться к этому удивительному мастерству. Но я люблю Мольера не только за совершенство его художественных приемов, а главным образом, пожалуй, за его обаятельную естественность, за высокую внутреннюю культуру. Он исполнен грации, редкого чувства такта; а удивительная его обходительность, помимо врожденных прекрасных качеств, объясняется еще и ежедневным общением с лучшими людьми тогдашнего времени. Из Менандра до нас дошли лишь немногие отрывки, но они дают мне столь высокое о нем представление, что я считаю этого великого грека единственным, кто выдерживает сравнение с Мольером.

— Я очень рад, — сказал я, — что вы так говорите о Мольере. Скажу прямо, ваши слова несколько расходятся с отзывом господина фон Шлегеля! Еще на днях в его лекциях о драматической поэзии я, едва ли не с отвращением, прочитал все, что он говорит о Мольере. Как вам известно, он взирает на него сверху вниз; для него Мольер низкопробный скоморох, видевший хорошее общество лишь издали, ремеслом которого было придумыванье разных дурачеств на потеху своего господина. Эти дурачества ему еще кое-как удавались, да и то лучшие из них украдены у других. К более высокому искусству — комедии оп себя принуждал и, наверно, потому, в общем-то, с ним не справлялся.

— Для такого человека, как Шлегель, — отвечал Гете, — здоровая природа Мольера все равно, что бельмо в глазу; он его не чувствует и потому не выносит. «Мизантроп», которого я люблю, пожалуй, больше всех пьес на свете и постоянно перечитываю, ему противен, «Тартюфа» он волей-неволей снисходительно похваливает, но тут же, по мере сил, старается его принизить. Шлегель не может простить Мольеру, что тот высмеивал напускное прекраснотушие ученых женщин; наверно, чувствует, как заметил один мой друг, что Мольер и его бы не пощадил, живи они в одно время.

— Нельзя отрицать, — продолжал Гете, — что Шлегель бесконечно много знает, начитанность у него прямо-таки

пугающая, но этого недостаточно. Да и ученость еще не суждение. Критика его удивительно однобока, во всех пьесах он видит только скелет фабулы, композицию и еще отыскивает мелкое сходство с великими историческими событиями, не замечая прелести жизни и формирования высокой души, которые стремится развернуть перед нами автор. А много ли толку от всех исхищений талантлив<sup>т</sup>ого человека, если из пьесы не выступает его привлекательная, а не то и крупная личность — единственное, что навеки переходит в культуру народа.

Писания Шлегеля о французском театре, с моей точки зрения, рецепт для плохого рецензента, у которого полностью отсутствует чувство прекрасного, почему он и про<sup>т</sup>ходит мимо него, как мимо мусорной кучи.

— Шекспира и Кальдерона, — возразил я, — он, однако, толкует справедливо и с безусловным почтением.

— Как этих обоих не хвалить, — сказал Гете, — хотя я бы не удивился, если бы Шлегель и подменил похвалы хулой. Воздаст он должное еще Эсхилу и Софоклу, но, думается, не потому, что живо проникся их из ряда вон выходящими достоинствами, а потому, что у филологов издавна принято ставить их очень высоко. Ибо, по существу, такой человечишка, как Шлегель, не может постигнуть и оценить великие эти таланты. Иначе он бы и с Еврипидом так не расправился, но он знает, что филологи не очень-то ценят последнего, и до смерти рад, что никакие авторитеты не мешают ему измываться над великим греком, да еще поучать его.

Я, конечно, понимаю, что у Еврипида имеется ряд недостатков, но, как ни верти, он был достойным соратником Софокла и Эсхила. Ежели не было в нем той высокой суровости и художественного совершенства, которые отличали обоих его великих предшественников, и как театральный поэт он трактовал все несколько небрежнее, на наш человеческий лад, то, надо думать, он все-таки достаточно знал своих афинян и был убежден, что тон, заданный им, как нельзя лучше их устраивает. Не может ведь быть, чтобы человек, которого Сократ называл своим другом, которого превозносил Аристотель и которым восхищался Менандр и, наконец, при известии о смерти которого Софокл и город Афины облеклись в траур, не был великим человеком. И если уж наш современник Шлегель поносит его за ошибки, то, по справедливости, он должен был бы сначала преклонить колена, а потом, уже приступив к поношению.

Вечером у Гете. Я заговорил с ним о вчерашнем представлении его «Ифигении», в котором господин Крюгер из Берлинского королевского театра с большим успехом сыграл Ореста.

— Эту пьесу ставить нелегко, — сказал Гете, — *внутренней* жизни в ней много, а внешней — маловато. И все дело сводится к тому, чтобы эту внутреннюю жизнь вытащить наружу. В «Ифигении», правда, много сценических эффектов, которые зиждутся на разных ужасах, лежащих в ее основе. То, что напечатано, увы, лишь слабый отблеск жизни, которая бурлила во мне, когда я ее задумал. Но актер обязан вернуть зрителям то страстное воодушевление, что владело мною во время работы над этой пьесой. Мы хотим видеть овеянных морскими ветрами отважных греков и героев, которые напрямик высказывают все накопившееся у них в душе под влиянием пережитых опасностей и злоключений, но отнюдь не расслабленных актеров, разве что затвердивших наизусть свои роли, а уж всего меньше таких, которым и роли-то эти не по плечу.

Должен признаться, что мне ни разу не удалось видеть мою «Ифигению» в действительно хорошем исполнении. Вот почему я вчера не был в театре. Я невыносимо страдаю от тщетной борьбы с этими ни на что не похожими призраками.

— Я думаю, вы бы остались довольны господином Крюгером в роли Ореста, — сказал я. — Его исполнение было так отчетливо, что весь образ казался совершенно понятным, прозрачным и так запал в душу, что я, думаю, вовек не забуду жестов господина Крюгера и его интонаций.

То, что есть в Оресте от экзальтированного созерцания, визионерства даже, он передавал телодвижениями, модуляциями голоса до того органично, что казалось, все это действительно происходит перед нами. Если бы Шиллер знал его Ореста, он, уж конечно, не поступился бы фуриями, которые гнались за юношей, со всех сторон его обступали.

Та весьма важная сцена, где Оресту, очнувшись от наваждения, чудится, что он уже в подземном царстве, удалась ему на диво. Перед нами, словно бы погруженные в беседу, проходили вереницы предков, мы видели, как Орест подходит к ним, их расспрашивает и с ними

воссоединяется. Поневоле чувствуешь и себя принятым в сонм блаженных — до такой степени чисто и глубоко было проникновение актера в роль, так велика его способность вдохнуть жизнь в непостижимое.

— Вы, видно, из тех, кто легко поддается сценическому воздействию, — смеясь, сказал Гете. — Но говорите дальше. Он, значит, и вправду был хорош? И физические данные у него тоже хороши?

— Его голос, — отвечал я, — чист, благозвучен, к тому же превосходно разработан, а потому необыкновенно гибок и отличается многообразием оттенков. Физическая сила и ловкость помогали этому актеру преодолеть множество трудностей. Кажется, что он всю жизнь занимался и занимается физическим самоусовершенствованием.

— Актеру, — сказал Гете, — следовало бы, собственно говоря, еще пойти в учение к ваятелю и художнику. Для того чтобы играть греческих героев, он должен хорошо знать дошедшие до нас античные статуи и усвоить непринужденную грацию, сказывающуюся в том, как греки сидели, стояли и ходили.

Но попечений о физическом образе еще недостаточно. Он должен прилежно изучать древних и новейших писателей, развивая свой ум, что не только поможет ему глубже вникать в роли, но облагородит все его существо, его манеру держать себя. Но рассказывайте, прошу вас! За что же еще можно его похвалить?

— Мне казалось, что его одушевляет огромная любовь к своему делу. Благодаря усердному изучению всего, что касается его героя, он так в него вжился, что чувства и повадки Ореста стали как бы его собственными. Отсюда — безупречно правильная интонация каждого слова и такая уверенность, что суфлеру здесь делать уже нечего.

— Я очень рад, так оно и быть должно. Самое скверное, когда актеры не знают текста и вынуждены все время прислушиваться к суфлеру, сводя, таким образом, на нет весь спектакль, мгновенно теряющий всю силу и жизненность. Если в такой пьесе, как моя «Ифигения», актеры не знают наизубок своих ролей, то лучше вовсе ее не ставить. Ибо успех она может иметь, только когда все идет легко, быстро и живо.

В общем, я очень, очень рад, что выступление Крюгера сошло так удачно. Мне его рекомендовал Цельтер, и я был бы огорчен, если бы все обернулось иначе. Я, со своей стороны, хочу его порадовать и преподнесу ему красиво переплетенный экземпляр «Ифигении»

с несколькими вписанными в него от руки стихами в память об его игре.

Разговор перешел на Софоклову «Антигону», на высокое нравственное начало, доминирующее в ней, и, наконец, свелся к вопросу: откуда взялось то, что мы понимаем под нравственным началом?

— От бога, — сказал Гете, — как и все доброе в мире. Добро не продукт человеческих домыслов, оно заложено в нас самой природой и лишь отчасти благоприобретено. В той или иной степени оно присуще всем людям, но в высшем своем проявлении — только людям очень большой одаренности. Последние открывали свою божественную сущность в великих свершениях или идеях, и сущность эта своей красотой внушила любовь людям и неотразимо повлекла их за собою по пути поклонения и подражания.

Но дело в том, что ценность нравственно прекрасного и доброго люди осознают благодаря опыту и мудрости, тогда как зло возмещает о себе лишь через свои последствия, оно разрушает счастье отдельного человека, равно как и человечества в целом, и, напротив, благородное и правое дарит прочным счастьем как отдельного человека, так и человечество. Вот почему нравственно-прекрасное, став изреченной мыслью, сложившимся вероучением, распространилось среди многих народов.

— Недавно я где-то прочитал, — сказал я, — что греческая трагедия прежде всего стремится отображать красоту нравственного начала.

— Не столько нравственного, — возразил Гете, — сколько чисто человеческого во всей его широте, особенно когда оно, вступив в конфликт с грубой силой или обычаем, принимало трагический оборот. В этой сфере, конечно, присутствует и нравственность, как главная составная часть человеческой природы.

Нравственное начало в «Антигоне» придумано не Софоклом, а заложено в самом сюжете, который привлек Софокла хотя бы уже тем, что наряду с нравственной красотой в нем так много драматически эффектного.

Далее Гете заговорил о характерах *Креонта* и *Исмены* и необходимости этих образов для развития прекрасных душевных свойств героини.

— Все благородное, — сказал он, — тихо по своей природе и кажется дремлющим, пока тот или иной разлад не пробудит его и не принудит к действию. Этот разлад персонифицирован в Креонте, который введен

в трагедию отчасти для того, чтобы подчеркнуть благородную натуру Антигоны и ее правоту, и также для того, чтобы его роковое заблуждение внушало нам ненависть.

Но так как Софокл пожелал показать нам высокую душу своей героини еще до ее подвига, то ему понадобилась и другая разлад, в котором мог проявиться ее характер, посему он ввел в свою трагедию сестру Антигоны Исмену. Последняя является как бы мерилom заурядного, отчего тем отчетливее выступает величие души Антигоны.

Разговор коснулся драматических писателей вообще и того, сколь большое влияние они оказывают и могут оказывать на широкие массы.

— Крупный драматический писатель, — сказал Гете, — если он к тому же продуктивен и если убеждения его, непоколебимые в своем благородстве, проникают все его творения, может добиться того, что душа этих творений станет душою народа. Мне думается, для этого никаких трудов не жалко. Влияние Корнеля было так сильно, что он формировал героические души. Это было немаловажно для Наполеона, которому нужен был героический народ, поэтому император и сказал, что, будь Корнель жив, он бы сделал его герцогом. Но надо не забывать, что драматург, сознающий, к чему он предназначен, должен неустанно совершенствоваться, дабы влияние, оказываемое им на свой народ, было и благотворным, и благородным.

Изучать надо не современников и соратников, но великих людей прошлых времен, чьи произведения не только веками сохраняют свою ценность, но и интерес к которым не утрачивается. Истинно одаренный человек испытывает внутреннюю потребность в общении с великими предшественниками, и эта потребность свидетельствует о его высоких задатках. Надо изучать Мольера, изучать Шекспира, но прежде всего древних греков и еще раз древних греков.

— Для людей высокоодаренных, — заметила, — изучение древних чрезвычайно важно, но на характер отдельного человека оно, по-моему, не влияет. Иначе все филологи и богословы были бы превосходнейшими людьми, а ведь это, увы, не так. Среди знатоков греческих и латинских творений далеких времен встречаются люди очень дельные, равно как и убогие, в зависимости от тех добрых или дурных свойств, которыми их наделили бог и природа или которые они унаследовали от родителей.

— Возразить тут нечего, — сказал Гете, — но этим отнюдь не сказано, что изучение древнего мира нисколько

не влияет на формирование характера. Подлец, конечно, подлецом останется, а мелкая душонка, даже ежедневно общаясь с величием античного духа, не станет менее мелкой. Но благородный человек, в сердце которого господь заронил зачатки большого характера и высокого духа, путем близкого знакомства с лучшими творениями греческой и римской древности получит гармоническое развитие и с каждым днем будет приближаться к великим образцам.

*Среда, 18 апреля 1827 г.*

Перед обедом ездил с Гете кататься по Эрфуртской дороге. Нам то и дело встречались обозы со всевозможными товарами для Лейпцигской ярмарки, а также табуны, в которых попадались прекрасные лошади.

— Право, нельзя не смеяться над эстетиками, — сказал Гете, — которые мучительно подыскивают абстрактные слова, силясь свести в одно понятие то несказанное, что мы обозначаем словом «красота». Красота — прафеномен, она никогда не предстает нам как таковая, но отблеск ее мы видим в тысячах проявлений творческого духа, многообразных и многоразличных, как сама природа.

— Я всегда слышу, — сказал я, — что природа неизменно прекрасна. Она повергает в отчаяние художников, ибо им редко удается достигнуть ее высот.

— Я отлично знаю, — отвечал Гете, — что природа бывает исполнена неизъяснимого очарования, но отнюдь не думаю, что она прекрасна во всех своих проявлениях. Намерения у нее всегда самые лучшие, однако условия, необходимые для того, чтобы она могла открыться нам во всем своем совершенстве, нередко отсутствуют.

Дуб, к примеру, может быть очень красив, но какое счастливое стечение обстоятельств требуется для того, чтобы природе удалось создать его доподлинно прекрасным! Если дуб растет в лесной чащобе и его со всех сторон обступают другие большие деревья, он будет стремиться вверх, к воздуху, к свету, по сторонам же выгонит лишь несколько чахлах ветвей, да и те в течение столетия засохнут и опадут. Однако, переросши наконец соседние деревья, он угмонится, начнет раскидывать ветви и образует крону. Но так как этой стадии развития он достиг, уже перешагнув свой средний возраст, то есть когда многолетнее устремление ввысь уже отняло у него

немало сил, то широко раскинуться он все равно не сможет. Высокий, сильный и стройный, стоит он перед нами, закончив свой рост, но мы не видим соотношения между стволом и кроной, которое делает дерево истинно прекрасным.

И опять-таки, если дуб растет в сырой, заболоченной местности, где почва даже слишком питательна, и к тому же стоит на просторе, то он рано выгонит ветви в разные стороны, но, поскольку тут он не подвержен противодействующему, задерживающему влиянию, ему будет недоставать сучковатости, крепости, силы, и, если смотреть на него издали, он будет смахивать на изящную липу, и красивым его уже не назовешь.

И, наконец, дуб, растущий на скудной почве скалистого склона, будет не в меру сучковатым и крепким, но из-за недостатка свободного развития рост его раньше времени приостановится, и никогда про него не скажут: есть в нем нечто, повергающее в изумление.

Я радовался его добрым словам и сказал:

— Очень красивые дубы я видел несколько лет тому назад, когда, находясь в Геттингене, совершил несколько поездок по долине Везера. Самые могучие дубы растут в Золлингене, неподалеку от Хекстера.

— Песчаная или полупесчаная почва, — продолжал Гете, — в которой мощные корни беспрепятственно распространяются во все стороны, видимо, всего больше благоприятствует росту дубов. Важен для этих деревьев также и простор, то есть всестороннее воздействие солнца, света, дождя и ветра. Дуб, который рос, уютно укрытый от ветра и непогоды, недорогого стоит, — лишь вековая борьба со стихиями делает его сильным и могучим, так что, вполне уже развившийся, он вызывает в нас восторг и удивление.

— Подводя итог вашим словам, — заметил я, — можно сказать, что любое создание прекрасно, лишь достигнув вершины своего естественного развития?

— Совершенно верно, — отвечал Гете, — но сначала надо договориться, что подразумевать под вершиной естественного развития.

— Думается, — ответил я, — тот период роста, когда полностью начинает выявляться характер, присущий тому или иному существу.

— Тут возразить нечего, — сказал Гете, — особенно, если добавить, что этому вполне выявленному характеру соответствует целесообразное, с точки зрения его есте-

ственной предназначенности, строение членов данного существа.

Так, например, поскольку женщине самой природой предназначено рожать и выкармливать детей, то мужеподобную девушку со слишком узким тазом и мало развитой грудью никак красивой не назовешь. Но некрасивы и чрезмерно развитые формы, ибо они уже выходят за пределы целесообразности.

Мы с вами признали красивыми некоторых из встретившихся нам сейчас верховых лошадей разве не из-за целесообразности их сложения? Это не только легкость, изящество и грация, но что-то большее, о чем мог бы нам поведать хороший наездник и знаток лошадей, мы же с вами вынуждены ограничиться лишь общим впечатлением.

— По-моему, красивыми, — сказал я, — можно назвать и ломовых лошадей, вроде тех здоровяков, что были запряжены в фуры брабантских возчиков.

— Само собой разумеется, — отвечал Гете. — Художник, вероятно, усмотрит в отчетливо выраженном характере, в могучем костяке, в играющих жилах и мускулах такого коняги еще более выразительную красоту, чем в изящной и легкой стати верховой лошади.

— Главное, — продолжал Гете, — чтобы раса была чиста и чтобы не изуродовала ее рука человека. Конь с подстриженным хвостом и гривой, собака с обрубленными ушами, дерево, у которого отняли лучшие из его ветвей, а оставшиеся обкромсали, чтобы придать ему форму шара, но прежде всего девушка, чье тело с молодых ногтей искалечено шнуровкой, — все это внушает отвращение человеку с хорошим вкусом, и только филистер отводит им место в своем катехизисе красоты.

В таких и похожих разговорах мы воротились в Веймар. До обеда прошли еще немного по саду. Погода была прекрасная; весеннее солнце набирало силу, пригревая почки и первые листики на кустах и на живой изгороди. Гете, погруженный в свои думы, предвкушал счастливое лето.

За столом мы все были очень веселы. Молодой Гете прочитал творение своего отца — *«Елену»* и говорил о ней здраво и с достаточным проникновением. Ему очень по душе пришлось первая часть, выдержанная в античном духе, тогда как вторая, оперно-романтическая, живого впечатления на него, видимо, не произвела.

— По существу, ты прав, — сказал Гете, — это мудре-

ная штука. Нельзя, конечно, сказать, что разумное всегда прекрасно, зато прекрасное всегда разумно — или по меньшей мере, должно быть разумно. Античная партия нравится тебе, потому что она доходчивее, потому что ты можешь обозреть отдельные ее части и твой разум здесь поспекает за моим. Во второй половине дело тоже не обошлось без разума и рассудка, но все же она трудна и требует некоторой подготовки, иначе ее не воспримешь и разум читателя не отыщет пути к разуму автора.

Далее Гете с большой похвалой отозвался о стихотворениях госпожи Тасту, которые читал в последние дни.

Когда все разошлись и я тоже собрался уходить, он попросил меня еще ненадолго задержаться и велел принести папку с гравюрами нидерландских художников.

— Мне еще хочется, — сказал он, — на десерт попочувать вас чем-то хорошим. — С этими словами он положил передо мною лист бумаги — ландшафт Рубенса.

— Вы, правда, уже видели у меня эту гравюру, — сказал он, — но ведь на прекрасное никогда в досталь не наглядись, к тому же сейчас речь пойдет о чем-то из ряда вон выходящем. Скажите мне, прошу вас, что вы здесь видите?

— Что ж, начну с фона; в самой глубине — очень светлое небо, как будто солнце только что зашло. И также вдаль — деревня и город, залитые вечерним светом. В центре картины дорога, по ней к деревне бежит стадо овец. Справа копыта сена и еще не навитый воз. Запряженные лошади щиплют траву. Поближе к кустам пасутся кобылы с жеребятами, — видимо, их пригнали сюда в ночное. Ближе к переднему плану купа больших деревьев и, наконец, уже на самом переднем плане, возвращающиеся домой работники.

— Ладно, — проговорил Гете, — вот как будто и все. Но о главном вы еще ничего не сказали: все, что изображено здесь, стадо овец, воз с сеном, работники, возвращающиеся домой, с какой стороны это освещено?

— Свет падает на них, — отвечал я, — со стороны, обращенной к зрителю, тени же они отбрасывают в глубь картины. Всего ярче освещены работники на первом плане, и эффект, таким образом, получается великолепный.

— Но чем, по вашему разумению, Рубенс его добился?

— Тем, что эти светлые фигуры выступают на темном фоне, — отвечала.

— А откуда взялся этот темный фон?

— Это мощная тень, которую купа деревьев отбрасывает им навстречу. Но как же получается, что фигуры отбрасывают тень в глубь картины, а деревья, наоборот, навстречу зрителю? Выходит, что свет здесь падает с двух противоположных сторон, но ведь это же противоестественно!

— То-то и оно, — усмехнувшись, сказал Гете. — Здесь Рубенс выказал все свое величие, его свободный дух, воспарив над природой, преобразил ее сообразно своим высшим целям. Двойной свет — это, конечно, насилие над природой, и вы вправе утверждать, что он противоестественен. Но если художник и пошел против природы, то я вам отвечаю: он над ней возвысился, и добавлю: это смелый прием, которым гениальный мастер доказал, что искусство не безусловно подчинено природной необходимости, а имеет свои собственные законы.

— Художник, — продолжало он, — конечно, должен точно и благоговейно воспроизводить детали природы, он не вправе произвольно изменять строение костяка, расположение сухожилий и мускулов того или иного животного, тем самым нарушая присущую ему характерность, это было бы уже надругательство над природой. Однако в высокой сфере творческого созидания, благодаря которому картина только и становится картиной в точном смысле этого слова, руки у него развязаны, здесь ему дозволено даже *отступление от правды*, что Рубенс и сделал, когда писал этот ландшафт с двойным светом.

У художника двойственные отношения с природой: он ее господин и он же ее раб. Раб — поскольку ему приходится действовать земными средствами, чтобы быть понятым, и господин — поскольку эти земные средства он подчиняет и ставит на службу высшим своим замыслам.

Художник являет миру целое. Но это целое не заготовлено для него природой, оно плод собственного его духа, или, если хотите, оплодотворяющего дыхания господя.

При поверхностном взгляде на этот ландшафт Рубенса все кажется нам простым, естественным и списанным с натуры. Но это не так. Столь прекрасной картины никто и никогда в природе не видывал, так же как и ландшафтов, подобных ландшафтам Пуссена или Клода Лоррена, — они выглядят очень естественными, хотя в природе их тоже не сыщешь.

— Вероятно, и в литературе, — сказал я, — встречаются такие смелые измышления, как двойная тень Рубенса.

— Тут далеко ходить не надо, — отвечал Гете, задумав-

шись на мгновение. — У Шекспира их дюжины. Возьмем хотя бы «Макбета». Леди, подстрекая своего супруга к убийству, говорит:

Кормила я и знаю, что за счастье  
Держать в руках сосущее дитя.

Так ли оно было или не так — не суть важно; леди это произносит и должна произнести, чтобы придать весомость своим словам. В дальнейшем, когда Макдуфу возвещают гибель его семьи, он кричит в испуге:

Но Макбет бездетен!

Итак, слова Макдуфа противоречат словам леди, однако Шекспира это не беспокоит. Ему важна сила воздействия данного монолога, потому-то леди произносит: «Кормила я...» — а Макдуф с тою же целью: «Но Макбет бездетен!»

— Да и в общем, — продолжал Гете, — не следует мелко-придирчиво относиться к мазку кисти живописца или к слову поэта.

Напротив, чтобы насладиться произведением искусства, которое создал смелый и свободный дух, мы должны по мере возможности так же смело и свободно подходить к нему.

Глупо было бы из слов Макбета:

Рожай мне только сыновей... —

сделать вывод, что леди — совсем еще юное, никогда не рожавшее создание. Но, пожалуй, еще глупее было бы пойти дальше и требовать, чтобы ее и на сцене изображали молодой.

Шекспир вложил в уста Макбета эти слова отнюдь не для доказательства молодости леди; они, как и упомянутые слова ее и Макдуфа, преследуют цель чисто риторическую и доказывают только, что Шекспир всякий раз заставляет своих персонажей говорить то, что наиболее уместно, действительно и хорошо в данном случае, пренебрегая тем, что их слова вступают в мнимое противоречие со сказанным ранее или позднее.

Вряд ли Шекспир вообще думал, что его пьесы, отпечатанные типографскими литерами, предстанут перед читателем, что в них можно будет пересчитать и сопоставить строчки. Когда он писал, перед глазами у него была сцена. Свои творения он видел живыми, подвижными, быстро протекающими перед взором и слухом зрителя, которые,

однако, нельзя настолько удерживать в памяти, чтобы подвергнуть их мелочной критике. Ему важно было одно: моментальное впечатление.

*Вторник, 24 апреля 1827 г.*

Здесь *Август Вильгельм фон Шлегель*. Перед обедом Гете ездил с ним кататься вокруг Вебихта, а вечером устроил в его честь торжественное чаепитие, на котором был приглашен и спутник последнего — доктор Лассен. Поскольку на чаепитии присутствовали едва ли не все веймарцы с именем и положением в обществе, то суতোлка в комнатах Гете была изрядная. Господина фон Шлегеля обступили дамы, он им показывал узенькие свитки с изображениями индийских божеств, а также полный текст двух индийских поэм, в которых, кроме него самого и доктора Лассена, надо думать, никто ни слова не понял. Шлегель был одет очень щеголевато и выглядел до того молодым и цветущим, что кое-кто из присутствующих заподозрил его в применении косметики.

Гете отвел меня к окну.

— Ну, как вам все это нравится?

— Да, в общем, как всегда, — ответил я.

— Конечно, кое в чем он не мужчина, — продолжал Гете, — но его волей-неволей приходится ценить за многосторонние познания и немалые заслуги перед наукой.

*Среда, 25 апреля 1827 г.*

Обедал у Гете с господином доктором Лассеном. Шлегель сегодня снова на званом обеде при дворе. Лассен обнаружил недюжинное знание индийской поэзии, что было приятно Гете, так как до известной степени могло восполнить его собственные пробелы в этой области.

Вечером я снова зашел к нему на несколько минут. Гете сказал, что несколько часов тому назад у него побывал Шлегель и у них состоялась весьма значительная беседа об истории и литературе, оказавшаяся для него достаточно поучительной.

— Надо только не требовать, чтобы на терновнике вырос виноград, а на осоте винные ягоды, и тогда все будет в fullest порядке, — добавил Гете.

Четверг, 3 мая 1827 г.

Отзыв господина *Ампера* на удачный перевод драматических произведений Гете, сделанный Штапфером, был опубликован в прошлогоднем выпуске *«Глоб»*, выходящем в Париже. Этот не менее примечательный отзыв так порадовал Гете, что в разговорах он часто возвращался к нему с неизменной и горячей признательностью.

— Концепция господина Ампера заслуживает всяческого уважения, — говорил он. — Если немецкие рецензенты в подобных случаях предпочитают исходить из философских положений и, разбирая и разясняя поэтическое творение, в результате делают его доступным лишь для философов их собственной школы, другим же не только не проясняют, но пуще затемняют его, то господин Ампер действует куда более разумно и гуманно. Как человек, досконально знающий свой предмет, он прежде всего устанавливает родство между творцом и его творением и различные поэтические произведения одного и того же поэта рассматривает как плоды различных эпох его жизни.

Он вдумчиво изучил многообразное течение моей земной жизни и мои различные душевные состояния, более того — сумел увидеть то, о чем я никогда не говорил и что можно было прочесть в лучшем случае между строк. А как верно он заметил, что в первое десятилетие моей веймарской придворной службы я почти ничего не сделал, что отчаяние погнало меня в Италию и что там, снова охваченный жаждой творчества, я взялся за историю Тассо, дабы во время разработки этого материала избавиться от тяжелых и болезненных веймарских впечатлений, которые застряли у меня в памяти. Посему мне кажется очень удачным его замечание, что *«Тассо»* — это-де усугубленный *«Вертер»*.

Не менее остроумно высказался он и о *«Фаусте»*, заметив, что не только мрачные, неудовлетворенные стремления главного героя, но и насмешки и едкая ирония Мефистофеля являются частью собственного моего существа.

С такою вот признательностью Гете частенько говорил о господине Ампере. Проникшись интересом к последнему, мы жаждали составить себе представление о нем, но, поскольку это было заведомо обречено на неудачу, сошлись на одном: конечно же, только человек средних лет в состоянии так основательно разобраться во взаимодействии жизни и поэтического творчества.

Каково же было наше удивление, когда господин Ампер, на днях прибывший в Веймар, оказался жизнерадостным молодым человеком лет двадцати с небольшим. Не в меньшей мере мы были удивлены, когда из разговоров с ним выяснилось, что сотрудники «Глоб», мудрость, чувствование меры и высокая просвещенность коих так восхищали нас, почти все его ровесники.

— Меня не удивляет, — сказал я, — что можно смолоду *создавать* значительные произведения, подобно Мериме, отлично писавшему уже в двадцать лет, но как в такие года достигнуть широты кругозора и глубины взглядов, потребной для столь зрелых *суждений*, — это для меня загадка.

— Вам, на вашей равнине, — отвечал Гетте, — такое давалось нелегко, да и нам, жителям средней Германии, приходится дорогой ценой приобретать даже малую толику мудрости. Ибо, по существу, все мы ведем обособленную, убогую жизнь! Собственный наш народ не очень-то щедро одаряет нас культурой, вдобавок наши умные и талантливые люди рассеяны по всей стране. Один засел в Вене, другой — в Берлине, один живет в Кёнигсберге, другой — в Бонне или Дюссельдорфе, — пятьдесят, а то и сто миль разделяют их, так что личное общение, устный обмен мнениями становятся возможными лишь в редчайших случаях. А сколь много это значит, я убеждаюсь всякий раз, когда такие люди, как Александр Гумбольдт, например, бывают проездом в Веймаре и я за один день приобретаю множество необходимых мне знаний и за эти часы продвигаюсь дальше по своему пути, чем за годы одиночества.

А теперь представьте себе Париж, город, где лучшие люди великой страны в ежедневном общении, в постоянной борьбе и соревновании поучают друг друга, действительно способствуют взаимному развитию, где все лучшее, что есть на земле, как в царстве природы, так и в искусстве, постоянно открыто для обозрения. Представьте себе эту «столицу мира», где любой мост, любая площадь служат воспоминанием о великом прошлом, где на любом углу разыгрывались события мировой истории. При этом вам должен представляться Париж не глухих и седых времен, но Париж девятнадцатого столетия, в котором уже трем поколениям благодаря Мольеру, Дидро, Вольтеру и им подобным даровано такое духовное богатство, какого на всей земле не сыщешь сосредоточенным в одном месте, — и вы поймете, почему умный Ампер, выросший среди этого бо-

гатства, на двадцать четвертом году жизни уже стал тем, кто он есть.

— Вы сейчас сказали, — продолжал Гете, — будто вас не удивляет, что Мериме в двадцать лет создавал превосходные произведения. Я с вами не спорю и сам считаю, что создать в юном возрасте отличное произведение искусства куда легче, чем высказать дельное и глубокомысленное суждение. Впрочем, в Германии нельзя надеяться, что юноша таких лет, как Мериме, сможет создать нечто не менее зрелое, чем пьесы «Театра Клары Газуль». Конечно, Шиллер был очень молод, когда писал своих «Разбойников», «Коварство и любовь», «Фиеско». Но если говорить откровенно, эти пьесы свидетельствуют скорее о необычайном таланте автора, чем о его художественной зрелости. И виноват тут не Шиллер, а культурный уровень его нации и те огромные трудности, с которыми мы все сталкиваемся, пробираясь своим одиноким путем.

Теперь возьмем *Беранже*. Выходец из нуждающейся семьи, сын бедняка-портного, затем бедный ученик в типографии, далее — мелкий служащий в какой-то конторе, он никогда толком не учился, никогда не был студентом, и тем не менее его песни исполнены подлинной образованности, необычайной грации, остроумия, тончайшей иронии и такого художественного совершенства, такого мастерского обхождения с языком, что поражают не только Францию, но и всю образованную Европу.

А попробуйте-ка себе представить Беранже, родившегося и выросшего не в Париже, но сыном бедного портного из Иены или Веймара, который кое-как продолжает свой убогий жизненный путь в этих городках, и поразмыслите над тем, какие плоды может принести дерево, возросшее в такой атмосфере и на такой почве.

Итак, дорогой мой, я повторяю: для того чтобы талант мог успешно и быстро развиваться, нация, его породившая, должна быть одухотворенной и склонной к просвещению.

Мы восхищаемся древнегреческими трагедиями, на самом же деле нам следовало бы восхищаться не отдельными трагиками, а эпохой и народом, в гуще которого они возникли. Ибо их произведения если несколько и отличаются одно от другого, если один из поэтов несколько и превосходит другого завершенностью своих творений, то, когда взглядишься попристальнее, замечаешь, что все их творения в целом носят один и тот же характер — характер величия, силы, здоровья, человечески-совершенной и неза-

урядной жизненной мудрости, высокого образа мыслей, четкого и ясного мирозерцания и великого множества прочих положительных качеств. Но так как эти качества мы встречаем не только в дошедших до нас драматических произведениях, но в лирических и эпических, далее — у философов, историков и риторов, то поневоле убеждаемся, что они присущи не только отдельным личностям, но всей нации и всей эпохе.

Возьмем, к примеру, *Бернса*. Он велик потому, что старые песни предков были живы в устах его народа, потому, что он привык к ним с колыбели, мальчиком рос среди них и так свыкся с этими совершенными и высокими образцами, что они как бы проложили ему дорогу, по которой он легко шел вперед. И еще он велик потому, что собственные его песни нашли восприимчивых слушателей среди народа, что они неслись ему навстречу из уст косарей и женщин, копнящих сено, а в шинке его приветствовали этими песнями веселые собутыльники. Вот и не диво, что он стал великим поэтом.

А как скучно все вокруг нас, немцев! В дни моей юности много ли старых песен, хотя они и не менее значительны и прекрасны, еще хранилось в памяти нашего народа? Гердеру и его сподвижникам выпало на долю собирать их, дабы спасти от забвения; теперь они, напечатанные, по крайней мере, имеются в библиотеках. А позднее какие отличные песни сочиняли *Бюргер* и *Фосс*! Кто осмелится сказать, что они менее хороши, менее народны, чем песни прославленного Бернса? Но разве они прижились в народе, разве от него вновь возвращаются к нам? Они записаны, напечатаны и стоят на библиотечных полках, в соответствии с участью всех немецких поэтов. А из собственных моих песен какие, спрашивается, остались в живых? Иной раз одну из них пропоет под аккомпанемент фортепиано хорошенькая девушка, но народ о них знать не знает... С каким же волнением я вспоминаю о тех временах, когда итальянские рыбаки пели мне из Тассо!

Мы, немцы, люди вчерашнего дня. Правда, за последнее столетие мы многое сделали, стараясь двинуть вперед свою культуру, но пройдет еще несколько столетий, прежде чем все наши земляки проникнутся духом истинно высокой культуры и, уподобившись грекам, начнут поклоняться красоте и радоваться хорошей песне, так что о них можно будет сказать: давно прошли времена их варварства.

Пятница, 4 мая 1827 г.

Званный обед у Гете в честь Ампера и его друга Штапфера. Застольная беседа протекала оживленно, громко и пестро. Ампер рассказывал Гете о Мериме, Альфреде де Виньи и других знаменитостях. Много было разговоров о *Беранже*, чьи несравненные песни Гете вспоминает едва ли не каждый день. Кто-то задался вопросом, можно ли отдать предпочтение жизнерадостным любовным песням Беранже перед его политическими песнями. Гете заметил, что истинно поэтический сюжет возвышается над политическим в той же мере, в какой чистая и вечная правда природы возвышается над пристрастным мнением.

— Вообще же , — продолжал он , — Беранже своими политическими стихотворениями облагодетельствовал французскую нацию. После вторжения союзников он стал доподлинным выразителем подавленных чувств своих соотечественников. Он взбадривал их многократными упоминаниями о славе французского оружия при императоре, память о котором еще была жива в любой хижине, не мечта, впрочем, о продолжении его деспотического господства. Сейчас, под властью Бурбонов, он, видимо, чувствует себя не в своей тарелке. Что и говорить — это обессилевшая династия! А нынешние французы хотели бы видеть на престоле человека с незаурядными дарованиями, хотя очень не прочь сами участвовать в управлении страной и при случае вставить свое слово.

После обеда собравшиеся разбрелись по саду. Гете же кивком подозвал меня и предложил проехаться с ним вдоль рощи по Тифуртской дороге.

В экипаже он благодушествовал и был очень ласков. Радовался, что ему удалось завязать теплые отношения с Ампером, а это, как ему думалось, сулило впредь широкое распространение и признание немецкой литературы.

— Ам пер , — добавил он , — человек высокообразованный и, конечно же, чуждый национальных предрассудков, мелкого самолюбия и тупости своих соотечественников, по духу своему он скорее гражданин мира, чем гражданин Парижа. Впрочем, я предвижу время, когда во Франции у него появятся тысячи единомышленников.

Воскресенье, 6 мая 1827 г.

Снова званный обед у Гете; гости все те же самые. Много говорилось о «Елене» и «Тассо». Засим Гете рассказал нам,

что в 1797 году у него возник замысел обработать легенду о *Телле* в виде эпической поэмы в гекзаметрах.

— В том году, — продолжал он, — я еще раз посетил маленькие кантоны, а также Фирвальдштетское озеро, и эта чарующая, прекрасная и величественная природа вновь произвела на меня такое впечатление, что меня потянуло воссоздать в стихах многообразие и богатство этого несравненного ландшафта. А чтобы придать поэме больше прелести, интереса и жизни, я считал за благо оснастить эту замечательную страну не менее замечательными человеческими характерами, и легенда о Телле показалась мне в данном случае наиболее подходящей.

*Телль* представлялся мне могучим, несколько самодовольным, ребячески наивным человеком. Как носильщик он прошел со своею ношей едва ли не все кантоны, везде его знали и любили, всем он готов был прийти на помощь и, спокойно занимаясь своим ремеслом, пекся о жене и детях, не раздумывая, кто здесь господин, а кто слуга.

*Гесслера* я, напротив, воображал себе тираном, но не худшего сорта, а из тех, что могут иной раз сделать добро, — конечно, если припадет охота, — а иной раз и зло, но вообще-то благо или беда народа ему безразличны, словно их и вовсе не существует.

Высшее и прекраснейшее в человеческой природе — любовь к родной земле, ощущение свободы и независимости под защитой отечественных законов, позднее — позорный гнет чужеземного развратника и, наконец, пробуждение воли, перерастающее в решение освободиться от ненавистного г а , — все это высшее и лучшее я приписал заведомо благородным людям, таким, как *Вальтер Фюрст*, *Штауфахер*, *Винкельрид* и другие; они и были моими подлинными героями, моими сознательно действующими высшими силами, тогда как Телль и Гесслер, хотя и действовали время от времени, все же оставались пассивными персонажами.

Эта тема целиком меня поглощала, и я уже бормотал про себя гекзаметры. Перед моим мысленным взором вставало озеро в спокойном свете луны и пронизанные этим светом туманы на дальних горах. Я видел его и в блеске утреннего солнца среди ликующего леса и лугов. Далее я представил себе бурю, грозу, что из горных ущелий налетает на мирное озеро. Не забыл я и о тайных сходках в ночной тиши на мостах и горных тропинках.

Обо всем этом я рассказал Шиллеру, и в его душе мои персонажи и нарисованные мною картины сложились в

драму. А так как мне многое надо было сделать и осуществление этого плана все время отодвигалось, то я уступил ему сюжет, который он и воплотил в своем замечательном произведении.

Мы порадовались этому сообщению, одинаково интересно для всех присутствующих. Я позволил себе заметить, что великолепные терцины, которыми описан восход солнца в первой сцене второй части «Фауста», тоже, вероятно, возникли из воспоминаний о дивной природе Фирвальдштетского озера.

— Не буду отрицать, — отвечал Гете, — эти картины действительно навеяны свежими впечатлениями той красоты, без нее мои терцины не могли бы возникнуть. Но они — единственная монета, которую мне удалось вычеканить из золота теллевских рудников. Остальное я предоставил Шиллеру, и он, как вам известно, нашел всему прекраснейшее применение.

Потом мы заговорили о «Тассо» и об идее, которую Гете хотел выразить в нем.

— *Идея?* — удивился он. — Вот уж, честное слово, не знаю. Передо мной была *жизнь Тассо* и моя собственная жизнь; когда я слил воедино этих двоих со всеми их свойствами, во мне возник образ *Тассо*, которому я, для прозаического контраста, противопоставил *Антонио*, — кстати сказать, и для него у меня имелось достаточно образцов. Что касается придворных, житейских и любовных отношений, то, что в Веймаре, что в Ферраре, они мало чем различались, и я с полным правом могу сказать о своем творении: *оно «кость от костей моих и плоть от плоти моей».*

Немцы чудной народ! Они сверх меры отягощают себе жизнь глубокомыслием и идеями, которые повсюду ищут и повсюду суют. А надо бы, набравшись храбрости, больше *полагаться на впечатления*: предоставьте жизни услаждать вас, трогать до глубины души, возносить ввысь; и пусть, поучая вас величию и воспламеняя для подвигов, она придаст вам сил и мужества; только не думайте, что суета сует все, в чем не заложена абстрактная мысль или идея!

Но они подступают ко мне с расспросами, какую идею я тщился воплотить в своем «Фаусте». Да почему я знаю? И разве могу я это выразить словами? *С горних высот через жизнь в преисподнюю*, — вот как, на худой конец, я мог бы ответить, но это не идея, а последовательность действия. То, что черт проигрывает пари и непременно стремившийся к добру человек выпутывается из мучительных своих заблуждений и должен быть *спасен*, — это, конечно, дей-

ственная мысль, которая кое-что объясняет, но и это не *идея*, лежащая в основе как целого, так и каждой отдельной сцены. Да и что бы это было, попытайся я всю богатейшую, пеструю и разнообразную жизнь, вложенную мною в «Фауста», нанизать на тонкий шнурочек сквозной идеи!

— Вообще, — продолжал Гете, — не в моих привычках стремиться к воплощению в поэзии *абстрактного* понятия. Я всегда воспринимал чувственные, сладостные, пестрые, многообразные *впечатления* жизни, и мое живое воображение жадно впитывало их. Как поэту мне оставалось только художественно формировать и завершать таковые, стараясь живостью воссоздания добиться того, чтобы они и на других оказывали такое же действие.

Если я как поэт хотел выразить ту или иную идею, я делал это в *маленьких*, вполне обозримых стихотворениях, где могло царить беспорное единство, — к примеру, в «Метаморфозе животных», «Метаморфозе растений», «Завете» и множестве других. Единственное произведение *большого* объема, где я последовательно проводил определенную идею, — «Избирательное сродство». Благодаря этой идее роман стал удобопонятнее, но не скажу, чтобы *совершеннее*. Напротив, я считаю: чем поэтическое произведение *несуразнее и непостижимее* для разума, тем оно *лучше*.

Вторник, 15 мая 1827 г.

Господин Хольтей, проездом из Парижа, на несколько дней задержался здесь. Благодаря своей личности и своему таланту он везде принят с искренней радостью. Между ним, его семьей и Гете также установились самые дружественные отношения.

Гете вот уже несколько дней как перебрался в свой садовый домик и счастлив, что работает в тиши. Сегодня я навестил его вместе с господином фон Хольтей и графом Шуленбургом, который простился с ним, так как вместе с Ампером уезжает в Берлин.

Среда, 25 июня 1827 г.

На днях Гете получил очень обрадовавшее его письмо от Вальтера Скотта и сегодня дал его мне: английская рукопись показалась ему недостаточно разборчивой, и он

просил меня перевести это письмо. По-видимому, Гете первый написал прославленному англичанину, полученное письмо было ответом на его посланье.

«Я весьма счастлив, — писал Вальтер Скотт, — что некоторые из моих романов снискали вниманье Гете, почитателем коего я являюсь с 1798 года, когда, несмотря на недостаточное знание немецкого языка, я дерзнул перевести на английский «Геца фон Берлихингена». По молодости лет я упустил из виду, что мало почувствовать красоту гениального творения, необходимо еще досконально знать язык, на котором оно написано, для того чтобы суметь и других заставить почувствовать эту красоту. Тем не менее я и ныне ценю свою юношескую попытку, ибо она доказывает, что я хотя бы сумел выбрать объект, достойный преклонения.

Я много наслышан о Вас, в первую очередь от моего зятя *Локхарта*, молодого человека, причастного к литературе, который, еще до того как он вошел в мою семью, имел честь быть представленным отцу немецкой литературы. Невозможно, чтобы среди великого множества тех, кто стремится выразить Вам свое благоговение, Вы запомнили каждого в отдельности, но, думается, немногие преданы Вам столь нелицеприятно, как этот новоиспеченный член нашей семьи.

Мой друг, сэр Джон Хоп из Пинки, недавно имел честь видеть Вас, я хотел было воспользоваться этой okazji, но опоздал, а потом позволил себе вольность, надеясь передать письмо через двух его родичей, собиравшихся в Германию. Увы, болезнь помешала осуществлению этой поездки, и мое письмо через два или три месяца возвратилось ко мне. Итак, я имел смелость искать Вашего знакомства еще до той лестной записки, которую Вам благоугодно было мне направить.

Все почитатели гения испытывают радостное удовлетворение, сознавая, что один из величайших людей Европы наслаждается спокойным и радостным уединением в возрасте, когда ему воздаются все заслуженные почести. Бедному лорду Байрону судьба, увы, не судила столь счастливого жребия, она отняла его у нас в самом цвете лет и навеки погасила то, чего мы, окрыленные надеждой, от него ждали. Он был счастлив честью, которую Вы ему оказали, чувствуя, сколь многим он обязан поэту, к которому все писатели ныне здравствующего поколения питают безмерную благодарность, заставляющую их с сыновним благоговением снизу вверх взирать на него.

Я дерзнул просить господ *Трейтеля* и Вюрца передать Вам мою наметку жизнеописания того удивительного человека, который в течение многих лет оказывал такое ужасное влияние на мир, ему подчинившийся. По правде говоря, мне иной раз кажется, что я должен испытывать к нему известную благодарность, ибо он принудил меня двенадцать лет носить оружие на службе в корпусе народной милиции, где я, несмотря на врожденную хромоту, сделался хорошим наездником, охотником и стрелком. Правда, в последнее время я утратил эти благоприобретенные достоинства, ревматизм — бич наших северных широт — сковал мои члены. Но я не жалею, ибо вижу, как мои сыновья предаются охотничьим забавам, хотя сам я уже вынужден поставить крест на таких.

У моего старшего сына под командой эскадрон гусар, и это, право же, неплохо для двадцатипятилетнего молодого человека. Второй сын недавно получил в Оксфорде степень бакалавра изящных искусств и сейчас проведет несколько месяцев дома, прежде чем пуститься в широкий мир. Так как господу богу угодно было отнять у меня их мать, то хозяйство ведет моя младшая дочь. Старшая замужем, и у нее своя семья.

Таково семейное положение человека, коим вы по доброте душевной заинтересовались. Состояние у меня достаточное, чтобы ни в чем не стеснять себя, и это несмотря на огромные потери. Мы живем в величественном старинном замке, где каждый друг Гете в любое время будет желанным гостем. Холл там полон рыцарских доспехов, которые могли бы находиться и в Ягстгаузене, вход в него охраняет большая собака...

Однако я позабыл о том, кто при жизни не давал забывать о себе. Я надеюсь, что Вы простите мне недостатки моего труда, приняв во внимание, что автором владело желание честно, насколько это ему позволяли предрассудки островитянина, отнестись к памяти этого удивительного человека.

Поскольку оказия послать Вам письмо через одного путешественника представилась неожиданно и случайно, то спешка не позволяет мне добавить что-нибудь еще, и потому я позволяю себе лишь пожелать Вам крепкого здоровья и спокойствия и с искренним и глубоким уважением подписаться

*Вальтер Скотт.*

*Эдинбург,  
9 июля 1827 г.».*

Как я уже говорил, Гете очень обрадовало это письмо, хотя он и заметил, что в нем сказано слишком много лестного, и эти лестные слова он отнес за счет учтивости, высокого положения и широкой образованности корреспондента.

Гете не забыл упомянуть и об искренней простоте, с какой Вальтер Скотт говорит о своем семейном положении, это ему показалось радостным знаком дружеского доверия.

— Мне действительно, — продолжал он, — очень интересно прочитать его книгу *«Жизнь Наполеона»*, о которой он меня оповещает. Я слышал о ней столько противоречивых и страстных суждений, что заранее убежден: она, во всяком случае, очень *интересна*.

Я спросил Гете, помнит ли он еще *Локхарта*...

— Даже очень хорошо! — отвечал Гете. — Он, безусловно, производит впечатление, и так быстро его не забудешь. Проезжие англичане и моя невестка утверждают, что в литературном отношении на этого молодого человека возлагаются большие надежды.

Меня только удивляет, что Вальтер Скотт ни словом не обмолвился о *Карлейле*, — он ведь не может не знать, какой интерес у последнего вызывает Германия.

Больше всего меня удивляет и восхищает в Карлейле то, что, судя о немецких писателях, он во главу угла неизменно ставит наиболее важное — нравственное зерно. Перед ним открывается большое будущее, и сейчас даже трудно предвидеть, что он совершит и каково будет его воздействие в дальнейшем.

*Среда, 26 сентября 1827 г.*

Гете велел звать меня сегодня утром прокатиться с ним на Готтельштадт — самую западную вершину Эттерсберга, а оттуда к охотничьему дворцу Эттерсбург. День выдался на редкость хороший, и мы в назначенное время выехали из Ворот св. Якова. После Лютцендорфа, где дорога начинает круто подниматься в гору и ехать можно только шагом, у нас было довольно времени для всевозможных наблюдений. Гете заметил на живой изгороди вокруг герцогского имения множество птиц и спросил меня, *не жаворонки ли это*. «Великий и любимый друг мой, — подумал я, — ты, познавший природу глубже, чем кто-либо другой, в орнитологии, как видно, суший младенец».

— Это овсянки и воробьи, — отвечал я, — да припоздавшие славки, после линьки в чашобах Эттерсберга слетев-

шие вниз, в сады и поля, чтобы подготовиться к перелету, но только не жаворонки, — жаворонки никогда не садятся на кусты. Полевой или небесный жаворонок почти вертикально взмывает вверх и вновь опускается на землю, даже осенью стаи жаворонков, чтобы отдохнуть, садятся на сжатые поля, но не на кусты или живые изгороди. И напротив, лесной жаворонок избирает себе верхушки высоких деревьев, откуда с песней взлетает в воздух, чтобы вновь камнем упасть на облюбованную им вершину. Существует и еще одна разновидность жаворонка: его мы встречаем в уединенных уголках на южной стороне лесных прогалин, и песня у него тихая, похожая на флейту, и немного грустная. Лесной жаворонок не живет на Эттерсберге, там слишком много шума и людей, но и он не садится на кусты.

— Гм! — произнес Гете, — видно, в этих делах вы отнюдь не новичок.

— Я еще в детстве с любовью изучал повадки птиц, — сказал я, — мой взор и слух жадно воспринимали их. В Эттерсбергских лесах вряд ли найдется местечко, где бы я не побывал по нескольку раз. И теперь, стоит мне услышать песню в лесу, я по первому же звуку знаю, какая это птица поет. И так я успел в этом понатореть, что, если мне покажут птицу, с которой неправильно обходились в неволе, отчего она потеряла все свое оперенье, я смело могу сказать, что очень скоро выхожу ее и верну ей ее наряд.

— Да, вы, видно, в этой области хорошо потрудились, — сказал Гете, — я бы вам посоветовал и впредь серьезно ею заниматься, при вашей очевидной склонности к таким занятиям вы многого можете достигнуть. Но расскажите мне немножко о линьке. Вы только что упомянули о припоздавших славках, которые по окончании линьки слетают на поля из лесов Эттерсберга. Что же, линька связана с определенным периодом лета и все птицы линяют зараз?

— У большинства птиц, — отвечал я, — она наступает сразу же после высиживания птенцов, вернее, после того, как весь выводок станет самостоятельным. Теперь вопрос сводится к тому, достаточно ли времени останется у птицы после того, как выводок покинет гнездо, до момента отлета. Если достаточно, она линяет здесь и улетает в новом оперении. Если нет, летит как есть и линяет уже на юге. Ведь птицы весной не одновременно возвращаются к нам, да и осенью не одновременно пускаются в путь. И происходит это оттого, что одни виды легче переносят холод и

непогоду, чем другие. Вот и получается, что те, которые рано прилетают к нам, поздно от нас улетают, те же, что прилетают позднее, улетают раньше.

Так, уже среди славков, собственно, принадлежащих к *единому виду*, существуют большие различия. Песни травничка мы слышим у себя уже в конце марта; через две недели прилетает черноголовая славка, иначе — монах, а там через недельку и соловей; серая славка появляется у нас лишь в конце апреля, а то и в мае. Все эти птицы линяют у нас в августе, так же как их птенцы первого выводка, почему к концу этого месяца нетрудно поймать молодого монаха, у которого головка уже почернела. Птенцы последнего выводка улетают в своем первоначальном оперении и линяют уже в южных краях, почему в начале сентября у нас ловятся молодые монахи, главным образом самцы, с еще красной головкой — как у матери.

— Значит, из всех птиц серая славка прилетает к нам последней, или есть еще более поздние птицы? — спросил Гете.

— Так называемый желтый пересмешник и красавица желто-золотая иволга появляются только к троице, — ответил я, — и тот и другая, выведя птенцов, улетают в середине августа, и линька у них, как у птенцов, начинается на юге. Если держать их в клетке, они линяют зимой, отчего их очень трудно сохранить. Им необходимо тепло, можно, конечно, повесить клетку у печи, но тогда они хиреют от недостатка свежего воздуха, а повесишь ее ближе к окну — хиреют от холода долгих зимних ночей.

— Выходит, что линька — это болезнь или, по крайней мере, состояние, вызывающее физическую слабость.

— Нет, не совсем так, — отвечал я. — Скорее это состояние повышенной жизнедеятельности; на вольном воздухе оно протекает вполне благополучно, без малейшего ущерба для здоровья птицы, а у более или менее сильных экземпляров благополучно даже в комнатных условиях. У меня жили славки, не прекращавшие пенья в течение всего периода линьки, — вернейший симптом того, что они чувствовали себя отлично. Если же птица, линяющая в комнате, кажется больной — это значит, что корм, воздух или вода не удовлетворяют ее. Возможно, впрочем, что она ослабела от недостатка воздуха и свободы. Тогда надо поскорее вынести ее на свежий воздух, ее жизнедеятельность быстро восстановится, и линька пройдет наилучшим образом. Ведь на воле она протекает так мягко и постепенно, что птица ее почти не ощущает.

— Вы, однако, сказали, что славки во время линьки, — сказал Гете, — забиваются в самую чашу лесов.

— Разумеется, в этот период они нуждаются в некоторой защите. Правда, природа и в данном случае выказывает великую мудрость и умеренность; птица, линяя, никогда не теряет столько перьев, чтобы ей нельзя было летать в поисках корма. Конечно, может случиться, что она, к примеру, разом потеряет четвертое, пятое и шестое маховые перья левого крыла и четвертое, пятое, шестое маховые перья правого; она, конечно, все же может летать, но не так быстро, чтобы спастись от преследования хищника, в первую очередь — стремительного и верткого чеглока, вот тут-то ей и хорошо в густых зарослях.

— Это многое объясняет, — заметил Гете. — А вот что интересно, разве у птицы линяют сразу оба крыла, так сказать, симметрично и равномерно?

— Насколько мне известно, это так, — отвечал я. — И слава богу. Если бы у птицы, к примеру, выпали три маховых пера на левом крыле, а на правом оставались бы все перья, крылья утратили бы равновесие, птица уже не могла бы достаточно регулировать свои движения и уподобилась бы кораблю, у которого с одного борта паруса слишком тяжелы, а с другого уж очень легки.

— Как видно, — заметил Гете, — с какой стороны ты ни подойди к природе, повсюду обнаружишь толику ее мудрости.

Между тем наш экипаж медленно тащился в гору, пока мы наконец не добрались до соснового бора. Дальше мы проехали мимо каменоломни, где грудями были навалены камни. Гете велел остановить лошадей, потом попросил меня выйти и посмотреть, нет ли там каких-нибудь окаменелостей. Я нашел кое-какие раковины и несколько плохо сохранившихся окаменелых моллюсков, которые и отдал ему, снова садясь в экипаж. Мы поехали дальше.

— Вечная история, — сказал Гете. — И здесь, значит, было морское дно! Когда смотришь отсюда на Веймар и на окрестные деревушки, кажется чудом, что в свое время там, внизу, резвились киты. Тем не менее это так — или хотя бы весьма вероятно. Впрочем, чайка в те годы пролетавшая над морем, покрывавшим эту гору, тоже, конечно, не думала, что нынче мы с вами будем проезжать здесь в экипаже. И кто знает, по прошествии многих тысячелетий не будет ли она вновь кружить здесь.

Теперь, достигнув вершины, мы ехали быстрее. Справа от нас вздымались дубы, буки и другие лиственные дере-

вя. Веймар позади нас был уже невидим. Мы были на западной вершине; обширная долина Унштрута с множеством деревушек, с маленькими городками простиралась перед нами в сиянии утреннего солнца.

— Здесь хорошо посидеть, — сказал Гете, приказывая кучеру остановиться. — Я думаю, что и закусить на таком прекрасном воздухе будет недурно.

Мы вышли из экипажа и несколько минут прохаживались по иссохшей земле у подножия искривленных ветрами дубов, покуда Фридрих доставал прихваченный из дому завтрак и раскладывал его на поросшем травой бугорке. Вид, открывавшийся нам, в прозрачном свете осеннего солнца, был поистине великолепен. На юге и юго-западе — цепь лесистых Тюрингских гор; на западе за Эрфуртом — замок Гота и Инзельберг, дальше на север за Лангензальцем и Мюльгаузенем — тоже вздымаются горы. И, наконец, на севере вид замыкали голубые горы Гарца. Мне вспомнились стихи:

Бодро и смело вверх!  
Далеко, вширь и ввысь,  
Жизнь простерлась кругом.  
Над вершинами гор  
Вечный носится дух,  
Вечную жизнь предвкушая.

Мы сели спиной к дубам, так, чтобы во все время завтрака видеть перед собою добрую половину Тюрингии. Уничтожив две куропатки со свежим белым хлебом, мы запили их превосходным вином из складного золотого кубка, который Гете обычно возил с собой в желтом кожаном футляре.

— Я часто бывал здесь, — сказал он, — и в поздние свои годы всякий раз думал, что вот в последний раз смотрю на мир, простирающийся передо мной во всем своем богатстве и великолепии. Но нет, не все еще кончено, и я надеюсь, что мы с вами нынче тоже не в последний раз с такой приятностью проводим здесь время. Впредь надо нам почаще приезжать сюда. В тесноте дома человек чахнет. Здесь же ты чувствуешь себя великим и свободным, как сама природа, открывающаяся твоему взору, а таким, собственно, следовало бы всегда себя чувствовать.

Сколько я вижу отсюда мест, с которыми за долгую мою жизнь меня связало множество воспоминаний! Чего только я не испытал в молодые годы там, в горах Ильменау! А какие забавные приключения были пережиты в моем ми-

лом Эрфурте! Я и Готу посещал тогда часто и охотно, — а теперь уже долгие годы туда не заглядывал.

— С тех пор как я живу в Веймаре, не могу припомнить, чтобы выездили в Готу, — заметил я.

— На то есть особые причины, — смеясь, отвечал Гете. — Меня там не очень-то жалуют. Я сейчас расскажу вам, в чем тут дело. Когда мать ныне правящего государя была еще молода и хороша собой, я частенько туда навещался. Однажды вечером сидели мы с нею за чайным столом, когда в комнату вбежали оба принца, хорошенькие, белокурые мальчуганы десяти и двенадцати лет, и, не долго думая, уселись с нами за стол. На меня, как это иногда со мной бывало, вдруг нашел приступ озорства; я потрепал по волосам обоих принцев, сказав: «Ну, желторотые, что вам тут понадобилось?» Мальчуганы только глаза раскрыли, изумленные моей дерзостью, и никогда не могли мне ее простить.

Я не собираюсь похваляться этим случаем по прошествии столь долгого времени, но такова уж моя натура. Княжеское достоинство как таковое, если ему не сопутствуют высокие человеческие свойства, никогда не внушало мне уважения. Более того, я так хорошо чувствовал себя в своей шкуре, таким знатным ощущал себя, что если бы мне и пожаловали княжеский титул, я бы ничуть не удивился. Когда меня почтили дворянской грамотой, многие полагали, что я должен чувствовать себя вознесенным на невесть какую высоту. Но, между нами говоря, я не придавал ей ровно никакого значения. Мы, франкфуртские патриции, всегда почитали себя не ниже дворян, и когда я взял в руки эту грамоту, мне казалось, что я давно уже ею обладаю.

Мы выпили еще из золотого кубка и, огибая Эттерсбург с севера, двинулись к охотничьему дворцу Эттерсбург. По просьбе Гете нам открыли все комнаты; там были веселые шпалеры и множество картин. В выходящей на запад угловой комнате второго этажа Гете сказал мне, что здесь одно время жил Шиллер.

— Да и вообще, — продолжал он. — В далекие годы мы провели здесь немало приятных дней, — вернее, попусту их растратили. Все мы были молоды, полны задора, летом мы то и дело устраивали импровизированные спектакли, а зимой танцевали до упаду и с факелами катались на санях.

Мы снова вышли на воздух, и Гете по тропинке повел меня к лесу в западном направлении.

— Я еще хочу показать вам бук, на коре которого мы полсотни лет назад вырезали наши имена. Но как все здесь

изменилось и разрослось! Вот, кажется, это дерево! Как видите, оно сохранилось во всем своем великолепии! И даже от наших имен еще имеются какие-то следы, правда, искаженные и расплывчатые. В ту пору этот бук рос на сухом свободном месте. Вокруг него всегда было солнечно и уютно, и в погожие летние дни мы разыгрывали в этом уголке свои импровизированные фарсы. Сейчас здесь сумрачно и сыро. Прежние кустики превратились в тенистые деревья, и в этой чаще уже трудно разыскать великолепные буки нашей юности.

Мы вернулись во дворец и, осмотрев довольно богатую коллекцию оружия, уехали обратно в Веймар.

*Четверг, 27 сентября 1827 г.*

После обеда я заглянул на минуту-другую к Гете и познакомился у него с тайным советником *Штрекфусом* из Берлина, который сегодня утром ездил с ним кататься, а потом остался обедать. Когда Штрекфус откланялся, я пошел его проводить и потом еще прогулялся по парку. На обратном пути, идя по Рыночной площади, я встретил канцлера с *Раухом* и пошел с ними к «Слону». Вечером — опять у Гете. Он обсуждал со мною новый выпуск «Искусства и древности», а также двенадцать листов с карандашными рисунками братьев Рипенгаузен, которые попытались воспроизвести картины Полигнота в Дельфах по описаниям Павзания. Гете высоко оценил это их намерение.

*Понедельник, 1 октября 1827 г.*

В театре давали «*Портрет*» Хувальда. После второго акта я пошел к Гете. Он прочитал мне вторую сцену своего нового «*Фауста*».

— В образе императора, — сказал о н , — я хотел изобразить монарха, у которого есть все качества для того, чтобы лишиться своей страны, что ему впоследствии и удастся.

Благо государства и подданных нимало его не заботит, он думает только о себе и о все новых и новых *забавах*. Страна не ведает ни права, ни справедливости, даже судьи держат сторону преступников, неслыханные злодеяния совершаются беспрепятственно и безнаказанно. Войска не получают жалованья, не знают дисциплины и кочуют, грабя вся и всех, чтобы по мере сил вознаградить себя за нищенское существование. Казначейство — без гроша и без

надежды на какие-либо доходы. Не лучше обстоит дело и при дворе императора, повсюду недостача, даже в кухне и в погребе. Растерянность гофмейстера растет день ото дня; попав в лапы евреев-ростовщиков, он уже все заложил им, так что к столу императора подается хлеб, собственно, давно уже съеденный.

Государственный советник хочет доложить императору обо всех непорядках и обсудить с ним, как выйти из создавшегося положения; однако всемилостивейший монарх не снисходит до выслушивания столь неприятного доклада; он предпочитает *развлекаться*. Здесь-то и находит Меффистофель свою подлинную стихию, он живо устраняет прежнего шута и, заняв его место, заодно становится советником императора.

Гете великолепно прочитал эту сцену, прерываемую ропотом толпы. Вот у меня и выдался поистине прекрасный вечер.

*Воскресенье, 7 октября 1827 г.*

Сегодня утром погода стояла великолепная, и мы с Гете, хотя не было еще и восьми, уже катили в Иену, где он намеревался пробыть до завтрашнего вечера.

Тотчас же по приезде мы отправились в ботанический сад. Гете внимательно оглядел кусты, разные растения и все нашел в полнейшем порядке. Далее мы осмотрели минералогический кабинет и еще некоторые естественноисторические коллекции, после чего поехали к господину *Кнебелью*, который ждал нас к обеду.

Кнебель, человек уже очень старый, заковылял на встречу Гете и заключил его в объятия. За столом царил теплое, радостное настроение, однако сколько-нибудь примечательных разговоров не возникло. Обоим старым друзьям было довольно и того, что они наконец-то вместе.

После обеда мы поехали вдоль Заале в южном направлении. Я издавна знал эти чарующие места, но они воздействовали на меня так свежо и сильно, словно я впервые их видел.

Когда мы возвратились в город, Гете велел кучеру ехать вдоль ручейка и остановиться у дома, внешне ничем не примечательного.

— Здесь жил Ф о с с , — сказал о н , — и мне хочется, чтобы вы ступили еще и на эту классическую почву.

Пройдя через зал, мы вышли в сад почти без цветов или других культурных растений и зашагали по траве под плодовыми деревьями.

— Это была лучшая утеха Эрнестины, — сказал Гете, — она и здесь не могла позабыть своих роскошных кутинских яблок, которым, как она уверяла, нет равных на свете. Но то были яблоки ее детства, и этим все сказано! Вообще же я провел с Фоссом и его бравой Эрнестиной немало прекрасных дней и теперь с удовольствием вспоминаю былую пору. Другого такого Фосса мы вряд ли дождемся. Мало кто в большей мере способствовал развитию немецкой культуры. Во всем он был на редкость здоровым и крепко сбитым человеком, полная безыскусственность отличала и его отношение к грекам, отчего для нас прочих произросли прекраснейшие плоды. Кто сознает все его значение в не меньшей степени, чем я, не знает, как достаточно почтить его память.

Меж тем время приблизилось к шести часам, и Гете решил, что нам пора отправляться на ночлег, в гостиницу «К медведю», где он заказал комнаты.

Нам предоставили большой номер с альковом, в котором стояли две кровати. Солнце только что зашло, отсветы заката ложились на наши окна, и мы решили немножко посумерничать, прежде чем зажечь свет.

Гете снова заговорил о Фоссе.

— Он был мне очень дорог, и я от всей души хотел сохранить его для себя и для академии. Однако в Гейдельберге ему предложили условия настолько выгодные, что мы с нашими скудными средствами никак не смогли бы их уравновесить. С болью в сердце я вынужден был его отпустить.

— Великое счастье, что у меня был рядом *Шиллер*, — продолжал он, — ибо при всем различии наших натур устремления наши были едины, и это делало нашу связь столь неразрывной, что, по существу говоря, один не мог жить без другого.

Засим Гете рассказал мне несколько историй из жизни своего друга, показавшихся мне весьма характерными.

— *Шиллер*, — впрочем, это явствует из его величавого характера, — начал он, — был заклятым врагом всех пустых почестей, которые ему воздавались, и безвкусных словесий. Когда Коцебу вздумал устроить публичную демонстрацию в его честь, эта идея была ему так противна, что он занемог от отвращения. Такое же отвращение он испытывал, когда к нему являлся какой-нибудь незнакомый почитатель. Если что-либо не позволяло ему тотчас принять визитера и он откладывал его визит, скажем, на четыре часа пополудни, то к назначенному часу он обычно

заболевал уже от одного страха. В подобных случаях он вел себя очень нетерпеливо, а иногда и грубо. Я был однажды свидетелем, как он сердито накинулся на некоего незнакомого хирурга, который, желая проникнуть к нему, не предупредил о своем приходе; бедняга, в полной растерянности, не знал, как ему поскорее убраться восвояси.

— Мы, как сказано и как это вам известно, — продолжал Гете, — несмотря на тождество нашего направления, были совершенно различными людьми, и не только в духовном отношении, но и в физическом. Воздух, благотворный для Шиллера, для меня был сущим ядом. Как-то раз я зашел к нему и не застал его дома, а так как его жена сказала, что он скоро вернется, то я присел к его письменному столу, чтобы кое-что записать. Но просидел я недолго, на меня напала какая-то дурнота, которая все усиливалась; мне казалось, что я уже близок к обмороку. Я поначалу не понял, чем вызвано это непривычное для меня состояние, но потом заметил, что из ящичка письменного стола чем-то сильно пахнет. Открыв его, с изумлением увидел, что он полон гниющих яблок. Я немедленно подошел к окну, вдохнул свежего воздуха и тотчас же пришел в себя. Между тем в комнату вернулась жена Шиллера, она объяснила, что ящик всегда полон гнилых яблок, так как этот запах приносит пользу Шиллеру, без него он-де не может ни жить, ни работать.

— Завтра утром, — продолжал Гете, — я вам покажу, где здесь, в Иене, жил Шиллер.

Меж тем внесли зажженные свечи, мы слегка закусили, еще некоторое время посидели, предаваясь воспоминаниям и неторопливо беседуя.

Я рассказал Гете приснившийся мне в детстве сон, который сбывся на следующее же утро.

— Мне довелось вырастить трех коноплянок, — начал я, — к которым я был привержен всей душой и любил их, пожалуй, больше всего на свете. Они свободно летали по моей комнатухе и, стоило мне появиться в дверях, летели мне навстречу и садились на мою руку. Как-то раз мне не посчастливилось: не успел я открыть дверь, как одна из них, пролетев надо мною, вылетела из дому и скрылась. Я проискал ее целый день, облазил все крыши и был безутешен, когда наступил вечер, а мне так и не удалось ее обнаружить. Расстроенный, я улегся спать и под утро увидел следующий сон. Я хожу по соседним дворам в поисках исчезнувшей птицы. Вдруг до меня доносится ее голос, и я вижу ее за нашим садиком на крыше соседнего

дома. Я маню ее, она летит ко мне, прельщенная кормом, и быстро-быстро машет крылышками, но не решается сесть мне на ладонь. Зато ем, — и все это ясно, как наяву, — я опрометью бросаюсь вон из садика в свою каморку, приношу чашку с размягченным семенем сурепки и протягиваю ей ее любимый корм; наконец она опускается мне на руку, и я, вне себя от радости, несу ее в дом к обеим ее товаркам.

На этом я проснулся. И так как за окном уже развиднелось, торопливо оделся и стремглав побежал через садик к тому дому, на котором я во сне видел птицу. Каково же было мое удивление, когда я и впрямь нашел ее там. Дальше все происходило точь-в-точь как в моем сне. Я маню ее, она подлетает, но не решается сесть мне на руку, бегу в дом за кормом, она клюет с моей ладони, и я отношу ее к двум другим коноплянкам.

— Эта история из вашего детства, — сказал Гете, — весьма примечательна. Но подобное нередко встречается в природе, хотя ключа к такого рода явлениям у нас нет. Мы блуждаем в таинственной тьме. Нам неведомо, какие силы шевелятся в окружающей нас атмосфере и в какой степени они связаны с нашим духом, известно одно: есть такие состояния, когда щупальца нашей души протягиваются за ее телесные границы и дарят ее не только предчувствием ближайшего будущего, но подлинным его предвидением.

— Нечто похожее, — сказал я, — мне пришлось испытать на днях. Возвращаясь с прогулки по Эрфуртскому шоссе, минутах эдак в десяти от Веймара, я вдруг внутренним взором увидел, как из-за угла театра мне навстречу выходит особа, которую я уже годами не видел и, пожалуй что, о ней и не думал. Мне стало не по себе при мысли, что я могу ее встретить, и, к великому моему удивлению, она предстала передо мной, как раз когда я загибал за угол, то есть на том самом месте, на котором минут десять назад я увидел ее духовным взором.

— Это тоже весьма примечательная история, и, конечно же, не случайная, — произнес Гете. — Как я уже сказал, мы ощупью бредем среди чудес и тайн. Кроме того, одна душа может воздействовать на другую своим молчаливым присутствием, я мог бы привести тому немало примеров. Со мною, например, часто бывало, что я иду с кем-нибудь из добрых знакомых и упорно о чем-нибудь думаю, и мой спутник тотчас же заговаривает о том, что у меня в мыслях. Знал я также одного человека, который только си-

лой своего духа умел внезапно заставить замолчать оживленно разговаривающих людей. Более того, он мог внести расстройство в веселую компанию, так что у всех становилось тяжело на душе.

Каждому из нас присущи электрические и магнетические силы, которые наподобие настоящего магнита что-то притягивают или отталкивают, в зависимости от того, приходят они в соприкосновение с одинаковым или с противоположным. Возможно, даже вполне вероятно, что молодая девушка, находясь в темной комнате с человеком, который намеревается ее убить, и нимало не подозревая о его присутствии, вдруг почувствует страх, который погонит ее вон из комнаты искать прибежища у своих домочадцев.

Мне вспоминается сцена в одной из опер, где двое любящих после долгой разлуки, сами того не зная, оказываются вдвоем в темной комнате. Однако через несколько минут начинает действовать магнетическая сила, один уже ощущает близость другого, их против воли тянет друг к другу, и вот уже девушка лежит в объятиях юноши.

Да, эта магнетическая сила очень велика и воздействует даже на расстоянии. В юности нередко бывало, что на одинокой прогулке меня вдруг охватывало влечение к любимой девушке, я долго думал о ней, и потом оказывалось, что она и вправду встречалась мне. «Мне вдруг стало так тревожно в моей светелке, — говорила она, — что я ничего не могла с собой поделать и поспешила тебе навстречу».

Мне сейчас пришел на память случай, происшедший в первые годы моего пребывания здесь, когда мною снова овладела страсть. Вернувшись после достаточно долгого отсутствия и пробыв уже несколько дней в Веймаре, я из-за придворных обязанностей, задерживавших меня до поздней ночи, все еще не удосужился посетить свою возлюбленную. К тому же наша взаимная склонность уже обратила на себя внимание здешних жителей, и я не хотел заходить к ней днем, чтобы не давать новой пищи разговорам и пересудам. Однако на четвертый или пятый вечер я больше не мог выдержать и очутился перед ее домом, прежде чем успел об этом подумать. Я тихонько поднялся по лестнице и уже собрался было войти в ее комнату, когда голоса за дверью убедили меня, что она не одна. Никем не замеченный, я сошел вниз и мигом выскочил на темные улицы, ибо о фонарях тогда еще понятия не имели. Мрачный и снедаемый страстью, я кружил по городу, наверно, с час, с тоскою думая о возлюбленной и стараясь почаще проходить мимо ее дома. Наконец я уже решил вернуться в свою оди-

нокую обитель, но, еще раз подойдя к ее дому, заметил, что в ее окне не было света. Как видно, она ушла, сказал я себе, но куда, спрашивается, в эту ночь и темень? Где мне ее искать? Я еще раз прошел по улицам, навстречу мне попадались прохожие, и всякий раз мне казалось, что это она — ее рост, ее стать, но, подойдя поближе, я убеждался в своей ошибке. Уже тогда я твердо верил во взаимное воздействие, в то, что силою своего желанья я могу заставить ее явиться передо мной. И еще я верил, что окружен незримыми духами, и молил их направить ее шаги ко мне или мой к ней. И тут же говорил себе: ну и дурак же ты! Не захотел еще раз пойти к ней, а теперь требуешь знамения и чуда!

Тем временем я спустился на Эспланаду и уже дошел до домика, в котором впоследствии жил Шиллер, но вдруг меня потянуло повернуть обратно ко дворцу, а затем в маленькую улочку направо. Не успел я пройти по ней и сотни шагов, как увидел идущую навстречу мне женщину, до странности похожую на ту, к которой я стремился душой и телом. Сумеречная улица была лишь слабо освещена неровным светом, время от времени падавшим из окон, а так как в этот вечер мнимое сходство уже не раз обманывало меня, то я не отважился заговорить с нею. Мы прошли близко, едва не задев друг друга; я остановился и всмотрелся в нее, а она уже всматривалась в меня.

— Это вы? — проговорила она. Я узнал ее милый голос.

— Наконец-то! — воскликнул я, и от счастья слезы навернулись у меня на глаза. — Значит, надежда меня не обманула. Вне себя от тоски, я искал вас, чувство мое подсказало, что я вас найду, и вот теперь я счастлив и благодарю господа за то, что мои мечты сбылись.

— Злой человек! — проговорила она. — Почему вы не приходили? Я сегодня случайно узнала, что вы уже три дня как воротились, и весь день проплакала: думала, вы совсем меня забыли. А час назад такая тоска на меня напала, такая тревога, я вам даже сказать не могу. Ко мне пришли подружки, и мне казалось, что они сидят целую вечность. Наконец они ушли, я невольно схватила шляпу и пелеринку, меня влекло на воздух, в темноту, сама не знаю куда. И все время я думала о вас, надеясь вас встретить.

Покуда она от всего сердца говорила эти слова, мы стояли, держась за руки, в тесном объятии, словно доказывая друг другу, что разлука не остудила нашей любви. Я проводил ее до дверей, а потом вошел в дом. Она шла

по темной лестнице, не выпуская моей руки, как бы тянула меня за собой. Неопишимо было мое счастье и потому, что мы наконец встретились, и еще потому, что я не обманулся, веря в незримое воздействие таинственных сил.

Гете был в умиленном и радостном настроении, я мог бы еще часами слушать его. Но усталость, видимо, уже овладевала им; итак, мы легли спать в нашем алькове,

*Иена, понедельник, 8 октября 1827 г.*

Мы рано поднялись. Одеваясь, Гете рассказал мне сон, который приснился ему этой ночью. Он видел себя в Геттингене приятно беседующим со знакомыми ему тамошними профессорами.

Выпив по несколько чашек кофе, мы проехали к зданию, где размещены естественноисторические коллекции. Там осмотрели анатомический кабинет, скелеты различных животных, как современных, так и первобытных, и еще скелеты человека отдаленных столетий. Касательно последних Гете заметил, что, если судить по их зубам, они принадлежали к высоконравственной расе.

Затем он велел ехать в обсерваторию, где господин доктор *Шрен* ознакомил нас с наиболее интересными приборами. Гете не обошел своим вниманием и соседний метеорологический кабинет, причем очень хвалил доктора Шрена за царивший повсюду образцовый порядок.

Далее мы спустились в сад, где на каменном столе в одной из беседок Гете приказал подать легкий завтрак.

— Вы, наверно, даже не подозреваете, сколь примечателен уголок, в котором мы сейчас сидим. Здесь наш Шиллер. В этой беседке, на этих теперь уже полуразвалившихся скамьях мы частенько сживали с ним за старым каменным столом, и много было нами сказано здесь добрых и значительных слов. Ему в ту пору было за тридцать, мне за сорок — самый расцвет, так сказать, а это что-то значит. Все течет, все изменяется, и я уже не тот, каким был; только старушка-земля умеет за себя постоять: воздух, вода и почва все те же.

Сходите-ка потом со Шреном наверх и попросите его показать вам в мансарде комнату, в которой жил Шиллер.

Надо сказать, что завтрак на чистом воздухе в этом благодатном уголке пришелся нам очень по вкусу. Шиллер, казалось, незримо присутствовал здесь, и Гете еще не раз помянул его добрым словом.

Затем я пошел вместе со Шреном наверх, в мансарду, и полюбовался великолепнейшим видом из окон Шиллера. Окна эти смотрели прямо на юг, так что, сколько глаз хватало, видно было течение реки, изредка, казалось, прерывавшееся кустарником и живописными излучинами. А какая широта горизонта! Отсюда можно было отлично наблюдать и за восходом и заходом светил, так что поневоле приходилось признать: эта комната, безусловно, благоприятствовала созданию астрономических и астрологических мест в «Валленштейне».

Я спустился к Гете, и мы поехали к господину надворному советнику *Деберейнеру*, которого Гете очень высоко ценил. Советник продемонстрировал ему несколько новых химических опытов.

Меж тем был уже полдень.

— По-моему, — сказал Гете, — не стоит нам ехать обедать «К медведю», лучше подольше насладиться этой дивной погодой. Я предлагаю отправиться в Бургау. Вино у нас с собой, а там, во всяком случае, найдется хорошая рыба, которую мы попросим сварить или зажарить.

Так мы и сделали, и все вышло прекрасно. Мы ехали очаровательной дорогой по берегу Заале, мимо извилин и зарослей, которые я только что видел из Шиллеровых окон, и вскоре добрались до Бургау. Там мы сошли на маленьком постоялом дворе у самой реки и возле моста, ведущего к Лобеде — окруженному лугами городку, который неожиданно совсем близко открылся нашему взору.

Оказалось, что Гете как в воду глядел. Хозяйка сначала принесла извинения за то, что у нее ничего нет готового, но тут же пообещала попотчевать нас супом и хорошей рыбой.

Дожидаюсь обеда, мы на солнышке прогуливались взад и вперед по мосту и любовались рекой. Плоты, связанные из сосновых бревен, плыли по ней, и веселые, несмотря на свой тяжкий труд, плотогоны с громкими криками загоняли их под мост.

Мы съели свою рыбу на свежем воздухе и, увлеченные беседой, посидели еще немного за бутылкой вина.

Над нами пронесся маленький сокол; его полет и очертания напоминали кукушку.

— Было время, — сказал Гете, — когда естественноисторические знания настолько отстали от жизни, что повсеместно распространилось мнение, будто кукушка только летом является кукушкой, зимой она становится хищной птицей.

— Эта точка зрения, — возразил я, — и поныне бытует в народе. Более того, на бедную птицу наклепали, будто она, выросши, пожирает собственных родителей. Посему она служит символом позорнейшей неблагодарности. Я и сейчас знаю людей, которых никак не отговоришь от этих абсурдных представлений и которые привержены к ним не меньше, чем к догматам христианского вероисповедания.

— Насколько мне известно, — сказал Гете, — кукушку классифицируют как птицу из семейства дятловых.

— И это, вероятно, происходит, — заметил я, — оттого, что два когтя ее в общем-то слабых лапок направлены назад; я бы ее к дятловым не причислил. Клюв у нее недостаточен крепкий, чтобы продалбливать отмершую кору деревьев, да и хвостовое оперенье слишком слабое, чтобы служить ей поддержкой во время этой операции. Острых когтей, необходимых, чтобы держаться на стволе, у нее тоже нет, поэтому ее маленькие лапки только по видимости приспособлены для лазанья, на самом же деле для этого непригодны.

— Господа орнитологи, — подхватил Гете, — вероятно, рады, когда им удастся хоть кое-как втиснуть самобытную птицу в одну из существующих рубрик. Между тем природа свободна в своих действиях и нисколько не думает о полочках, сколоченных ограниченными людьми.

— Соловей, например, — продолжал я, — причисляется к славкам, хотя насквозь пронизывающая его энергия, движения и образ жизни куда ближе к дроздам. Но я бы и к дроздам его не причислил. Эта птица стоит между первыми двумя и является самостоятельной особью, так же как и кукушка самостоятельная особь с ярко выраженной индивидуальностью.

— Все, что я слышал о кукушке, — сказал Гете, — внушает мне большой интерес к этой своеобразной птице. Природа ее крайне проблематична, она — очевидная тайна, но проникнуть в нее отнюдь не легче оттого, что она очевидна. Впрочем, эти слова относятся к самым разнообразным случаям! Вокруг нас повсюду чудеса, а лучшая и наивысшая природа вещей все равно от нас сокрыта. Возьмем, к примеру, пчел. Мы знаем, что, летя за медом, они преодолевают огромные расстояния и всякий раз в другом направлении. То они неделю-другую летают на запад, там сейчас цветет сурепка. Потом, и так же долго, на север, на цветущие луга. И снова в другом направлении, туда, где цветет гречиха. Потом куда-нибудь на поле клевера.

И, наконец, опять уже совсем в другую сторону — к цветущим липам. Но кто, спрашивается, говорит им: летите-ка туда, там кое-что для вас найдется, а теперь в другое место, там вас ждет что-то новенькое! А кто ведет их обратно, в свою деревню, в свою ячейку? Они летают взад и вперед, словно на незримых помочах; но почему — этого мы не знаем. То же самое и с жаворонком. С пением взмывает он вверх над полями, парит над целым морем колосьев; ветер клонит их то туда, то сюда, и набегающие волны как две капли воды похожи одна на другую, но жаворонок уже летит к своим птенцам и, спускаясь, безошибочно находит то крохотное местечко, где свил свое гнездо. Все эти внешние приметы ясны как день, но внутреннее, духовные стимулы остаются для нас непостижимыми.

— Так же обстоит дело и с кукушкой, — сказал я. — Нам известно, что она сама не высидывает яиц, но кладет свое яйцо в гнездо любой другой птицы. Далее, нам известно, что она кладет его в гнездо славки, желтой трясогузки, монаха, а также лесной завирушки, малиновки и крапивника. Вот и все, что мы знаем. Знаем также, что все это насекомоядные птицы, да иначе и не может быть: кукушка — птица насекомоядная, а та, что питается семенами, попросту не могла бы выкормить кукушонка. Но как она узнаёт, что все эти птицы действительно насекомоядные, — ведь по строению тельца, по окраске, наконец, по приманочному пению они резко отличны одна от другой. И далее, как же кукушка доверяет свое яйцо, а следовательно, и своего хрупкого птенчика гнездам, совершенно различным по строению и температуре, по сухости и влажности? Гнездо славки, например, свитое из сухих травинок и малой толики конского волоса, до того прозрачно, что в него легко проникают холод и сквозной ветер, к тому же и сверху оно ничем не прикрыто, однако кукушонок отлично в нем вырастает. Гнездо короля, напротив, снаружи утеплено мхом, стебельками и листьями, а внутри заботливо выложено клочками шерсти и перышками — нигде-то в него не дует. Кверху оно заканчивается сводом, в котором оставлено лишь маленькое отверстие, в него может проскользнуть только такая пичужка, как королек. В жаркие июньские дни в этой со всех сторон закрытой пещерке, надо думать, стоит адская жара. Но кукушонок и здесь процветает на диво. А до чего же по-другому устроено гнездо желтой трясогузки! Эта птичка живет у воды, преимущественно у ручьев, словом, где посырее. Гнездо она строит на низком

месте, поближе к зарослям тростника. Роет ямку в мокрой земле, скупо устилая ее травинками, так что кукушонок и вылупляется из яйца, и растет в холоде и сырости, но опять-таки чувствует себя превосходно. Что ж это за птица такая, которой с первых дней безразлично, живет она в сырости или в сухости, в жаре или в холоде, и все эти отклонения от нормы, смертельные для любой другой, ее как бы не касаются? И откуда знает кукушка-мать об этих свойствах, если сама она в зрелом возрасте с трудом переносит сырость и холод?

— Да, — сказал Гете, — мы здесь опять-таки стоим перед тайной. Но скажите мне, если вам довелось это наблюдать, как же кукушка кладет свое яйцо в гнездо короляка, если в нем оставлено лишь маленькое отверстие, в которое она не может пролезть, чтобы это яйцо снести.

— Она кладет его где-нибудь на сухом месте и клювом заталкивает в гнездо, — отвечал я. — Я думаю, что так она действует не только с гнездом короляка, но и со всеми другими гнездами. Ведь гнезда всех насекомоядных птиц, даже открытые сверху, так малы и так тесно окружены ветвями, что крупной длиннохвостой кукушке туда не пробраться. Это нетрудно себе представить, но то, что кукушка кладет такое крохотное яйцо, что оно может сойти за яйцо маленькой насекомоядной пичуги, — это новая загадка. Она повергает нас в изумление, разгадать же ее мы не в силах. Кукушечье яйцо лишь чуть-чуть больше яйца славки, да иначе и не могло бы быть, если его предстоит высидеть такой малышке. Это прекрасно и мудро. Природа, дабы проявить мудрость в этом частном случае, поступила своим неизменным законом, согласно которому, от колибри и до страуса, существует определенное соотношение между величиной птицы и величиной яйца. И, конечно же, такого рода произвол изумляет, более того поражает нас.

— Разумеется, поражает, — сказал Гете, — ибо кругозор наш слишком узок, и мы не в состоянии охватить взглядом целое. Будь он пошире, мы, вероятно, сочли бы закономерными эти кажущиеся отклонения. Но продолжайте и скажите мне следующее: разве не известно, сколько яиц кладет кукушка?

— Только самый легкомысленный человек мог бы с ходу ответить на этот вопрос, — сказал я. — Кукушка — птица непоседливая, сегодня она здесь, завтра там, но в любом гнезде мы находим всегда одно-единственное кукушечье яйцо. Наверно, она кладет несколько яиц; но никто

не знает, куда они деваются, никто не может за этим проследить. Предположим, однако, что она снесла пяток яиц и что из них вылупилось пятеро птенцов, которых заботливо растят приемные родители, тогда мы опять-таки будем удивляться, что природа осмелилась для пяти кукушат пожертвовать по меньшей мере *пятьюдесятью* птенцами наших прекрасных певчих птиц.

— В таких делах, — отвечал Гете, — природа всегда не очень-то расчетлива. Она, почти не задумываясь, проматывает уйму жизни. Но скажите, почему столько певчих птиц обречено гибели из-за одного кукушонка?

— Начнем с того, — отвечал я, — что первый выводок, как правило, погибает. Даже если певчая птица и высидит свои яйца наряду с яйцом кукушки, как это обычно бывает, то родители так радуются вылупившемуся крупному птенцу, что, изливая на него всю свою нежность, только его и кормят, собственные же их птенчики гибнут и исчезают из гнезда. Вдобавок кукушечий птенец жаден, ему требуется вся пища, которую маленькие насекомоядные птицы в силах натаскать в гнездо. Проходит немало времени, прежде чем кукушонок вырастет, полностью оперится и сможет, покинув гнездо, взлететь на верхушку дерева. Но и тогда он все еще требует пищи, и любвеобильные родители до самого конца лета хлопочут о своем большом птенце, не помышляя о *втором* выводке. Вот почему из-за одного кукушонка гибнет великое множество других птенцов.

— Да, это весьма убедительный ответ, — сказал Гете. — Но мне бы еще хотелось знать, правда ли, что кукушонка, после того как он вылетел из гнезда, кормят и другие птицы, те, которые его не высидывали, я что-то об этом слышал.

— Так оно и есть, — отвечал я. — Едва только кукушонок покинет низко расположенное гнездо и взлетит на верхушку, ну, скажем, дуба, он издает пронзительный крик, возвещающий: я здесь! Тут все маленькие птицы, обитающие по соседству, слетаются, чтобы его приветствовать; славка и монах, желтая трясогузка и даже король, который, собственно, предназначен для жизни в невысоких живых изгородях да в густом кустарнике, наперекор своей природе взлетает на верхушку могучего дуба, навстречу милому пришельцу. Парочка же, вырастившая кукушонка, продолжает усердно его кормить, тогда как другие птицы лишь время от времени приносят ему лакомый кусочек.

— Похоже, — вставил Гете, — что молодую кукушку и насекомоядных птишек связывает большая любовь.

— Любовь этих птичек к кукушонку, — отвечал я, — так огромна, что стоит человеку приблизиться к гнезду, в котором они этого кукушонка лелеют, и маленькие приемные родители от страха и тревоги не знают, что делать. Монах, например, выказывает такое отчаяние, что чуть ли не в судорогах трепыхается на земле.

— Да, это удивительно, хотя, в общем-то, и понятно, — сказал Гете. — Однако мне представляется весьма проблематичным, почему, к примеру, славки, намеревающиеся высидеть собственные яйца, позволяют кукушке приблизиться к гнезду и положить в него свое яйцо.

— Это, действительно, загадочно, — согласился я. — Ведь именно потому, что все мелкие насекомоядные птицы кормят вылетевшего из гнезда кукушонка, а значит, и те, которые не высидели его, между ними возникает своеобразное родство, они продолжают общаться и словно бы преобладают членами единой большой семьи. Может, например, случиться, что кукушка, которую в прошлом году высидела и вырастила чета славков, в этом году положит им в гнездо свое яйцо.

— Это очень интересно, — отвечал Гете, — хотя и почти непостижимо. Но истинным чудом представляется мне то, что кукушонка кормят птицы, не высидевшие и не взрастившие его.

— Да, это настоящее чудо, — подтвердил я, — и все же с подобными явлениями мы сталкиваемся неоднократно. Мне даже думается, что это великий закон, проникающий всю природу. Однажды я словил молодую коноплянку, уже слишком взрослую, чтобы брать корм из рук человека, но и слишком молодую, чтобы самостоятельно добывать его. Я полдня с ней промаялся, и так как она ни за что не хотела клевать из моих рук, то я посадил ее к прекрасно певшей старой коноплянке, клетка с которой давным-давно висела у меня за окном. Я думал, что если птенец увидит, как клюет старая птица, то в подражанье ей и сам подлетит к кормушке. Ничуть не бывало, повернувшись к ней, он стал раскрывать свой клюв и жалобно пищать, хлопая крылышками. Старая коноплянка тотчас же сжалилась над ним и принялась кормить приемыша, как собственного птенца.

В другой раз мне принесли серую славку с тремя птенчиками, я водворил всех четверых в одну клетку, и мать их кормила. На следующий день принесли двух мо-

лоденьких соловьев, уже вылетевших из гнезда, которых я посадил в ту же клетку; славка их приняла и начала кормить наравне со своими. Через несколько дней я поместил туда гнездо с почти оперившимися молодыми травничками, а затем еще и гнездо с пятью молодыми монахами. Славка всех приняла, всех кормила и обо всех печлась, как преданнейшая мать. Клюв у нее постоянно был полон муравьиных яиц, и она мигом поспевала из одного угла просторной клетки в другой, туда, где открывалась голодная глотка. Но это еще не все! Подросшая тем временем молоденькая славка, в свою очередь, начала кормить самых маленьких птенцов, правда, как бы играя и немножко по-детски, но с явно выраженным стремлением подражать своей неугомной матери.

— Тут мы поистине стоим перед чем-то божественным, — сказал Гете, — и это повергает меня в радостное изумление. Если верно, что кормление чужого дитя — непреложный закон, присущий всей природе, то многие загадки были бы разгаданы и мы вправе были бы сказать: господь дает пищу и осиротелым птенцам ворона, зывающим к нему.

— Думается, что это закон, действительно присущий всей природе, ибо мне довелось и на воле наблюдать такое кормление и милосердие к беспомощным и покинутым.

Прошлым летом неподалеку от Тифурта я словил двух молодых корольков, которые, видимо, совсем недавно покинули гнездо. Они рядышком сидели на кусте о семью братьями и сестрами, а родители их кормили. Я положил обоих птенцов в шелковый носовой платок и направился с ними к Веймару; дойдя до тира, свернул вправо, на луг, по нему спустился к Ильму, миновал купальню и пошел налево, в небольшую рощицу. Здесь, подумалось мне, я сумею спокойно рассмотреть моих маленьких пленников. Но не успел я развернуть платок, как они улизнули и тут же скрылись в кустах и траве, так что все мои поиски остались тщетными. Дня три спустя я случайно опять забрел в эту рощицу; услышав призывную песню реполова, я подумал, что его гнездо где-то поблизости, и действительно вскоре это гнездо обнаружил. Но каково же было мое удивление, когда в нем, вместе с уже почти оперившимися птенцами реполова, я заметил обоих моих корольков, которые преугодно расположились здесь и получали пищу от взрослых реполовов. Я был счастлив этой примечательной находкой. «Раз уж вы та-

кие умники, — подумал я, — и сумели так хорошо устроиться, а добряки-реполовы приняли вас с истинным радушием, я и не подумаю вторгаться в их приветливый дом, напротив, пожелаю вам всяческого преуспевания».

— Это одна из лучших орнитологических историй, которые мне доводилось слышать, — сказал Гете. — Выпьемка за ваше здоровье и дальнейшие удачные наблюдения. Кто услышит такое и усомнится в существовании бога, тому не помогут ни Моисей, ни все пророки. Ведь это то, что я называю божественной вездесущностью. Повсюду сеет господь частицы своей бесконечной любви, дает им прорасти, и в животном мы уже видим росток того, что в высшем создании бога — человеке распускается прекраснейшим цветком. Продолжайте же свой труд и свои наблюдения. Вам они удаются, и в дальнейшем вы можете прийти к поистине бесценным результатам.

Покуда мы за нашим столом на вольном воздухе беседовали о значительном и добром, солнце стало клониться к вершинам западных холмов, и Гете решил, что нам пора в обратный путь. Мы быстро проехали через Иену, расплатились в «Медведе» и, нанеся короткий визит *Фрома-нам*, на рысях поспешили в Веймар.

*Четверг, 18 октября 1827 г.*

Здесь *Гегель*, которого Гете очень высоко ставит как личность, хотя кое-какие плоды его философии ему и не по вкусу. В честь Гегеля Гете нынче вечером собрал небольшое общество за чайным столом, среди гостей был и *Цельтер*, впрочем, намеревавшийся отбыть этой же ночью.

Много говорили о *Гаманне*, больше других, пожалуй, Гегель, высказывавший об этом выдающемся человеке глубокие мысли, несомненно, явившиеся следствием вдумчивого и добросовестного изучения его литературной деятельности.

Далее речь зашла о сущности диалектики.

— Собственно, *диалектика*, — сказал Гегель, — не что иное, как упорядоченный, методически разработанный дух противоречия, присущий любому человеку, и в то же время великий дар, поскольку он дает возможность истинное отличить от ложного.

— К сожалению, — заметил Гете, — эти умственные выверты нередко используются для того, чтобы ложное выдать за истинное, а истинное за ложное.

— Бывает и так, — согласился Гегель, — но только с людьми умственно повредившимися.

— Вот я превыше всего и ставлю изучение природы; оно не допускает такого болезненного явления, ибо тут мы имеем дело с истинным и бесконечным. Природа немедленно отвергает как несостоятельного всякого, кто изучает и наблюдает ее недостаточно чисто и честно. К тому же я убежден, что она в состоянии даровать исцеление больным диалектикой.

Оживленная беседа была в полном разгаре, когда Цельтер поднялся и, ни слова не сказав, вышел из комнаты. Мы знали, что ему тяжело расставаться с Гете, и он решил деликатно избегнуть болезненной минуты прощанья.



*Вторник, 11 марта 1828 г.*

Вот уже которую неделю я чувствую себя не вполне здоровым. Плохо сплю, ночь напролет меня терзают тревожные сны. Я вижу себя в самых разных обстоятельствах, веду всевозможные разговоры со знакомыми и незнакомыми людьми, спорю, ссорюсь, и все так живо, что поутру мне отчетливо вспоминается любая мелочь. Но эта жизнь во сне подтачивает энергию моего мозга, так что днем я чувствую себя вялым, поникшим и к любой умственной деятельности приступаю неохотно и нерешительно.

Я не раз жаловался Гете на это мое состояние, и он не раз уговаривал меня обратиться к врачу.

— Думается, — сказал он, — ничего серьезного с вами не происходит, — скорей всего небольшое засорение желудка, которое устранят несколько стаканов минеральной воды или немного соли. Но не запускайте это недомогание и постарайтесь от него избавиться!

Гете, разумеется, был прав, да я и сам убеждал себя в его правоте, но вялость и апатия сказывались и в этом

случае; я по-прежнему проводил беспокойные ночи и тоскливые дни, даже пальцем не пошевелил, чтобы побороть недуг.

Когда я сегодня под вечер опять предстал перед Гете каким-то унылым и скованным, у него, видно, лопнуло терпение, и он не сумел удержаться от соблазна поиронизировать и слегка поиздеваться надо мной.

— Вы, право же, второй Шенди, — сказал он, — отец Тристрама, которого добрую половину жизни выводила из себя скрипучая дверь, но он никак не мог решиться устранить этот раздражающий звук с помощью нескольких капель растительного масла.

Но такова уж наша общая участь! *Судьба человека складывается в зависимости от его просветлений и помрачений!* Хорошо, если бы демон-покровитель всегда водил нас на помочах. Но стоит доброму духу покинуть нас, и мы обессилены, мы бредем на ощупь.

Наполеон, вот малый не промах. Все всегда ему было ясно и понятно, никаких сомнений и достаточный запас энергии, чтобы в любую минуту осуществить то, что он считал выгодным и необходимым. Его жизнь была шествием полубога от битвы к битве, от победы к победе. О нем смело можно сказать, что судьба его стала такой блистательной, какой до него мир не знал, да и после него вряд ли узнает, именно вследствие такого непрерывного озарения.

Да, голубчик мой, этому никто подражать не может.

Гете шагал по комнате из угла в угол. Я присел к столу, с которого все уже было убрано, кроме остатков вина, печенья и фруктов.

Гете наполнил мой бокал и заставил меня отведать того и другого.

— Вы хоть и не пожелали быть сегодня нашим гостем к обеду, — сказал он, — но бокал вина — этот дар добрых моих друзей пойдет вам на пользу.

Десерт доставил мне истинное удовольствие, Гете же, продолжая рассказывать по комнате, возбужденно бормотал что-то, время от времени у него вырывались какие-то непонятные слова.

То, что он сейчас сказал о Наполеоне, не шло у меня из головы, и я старался вернуть разговор к этой теме.

— Мне все же кажется, — начал я, — что в состоянии такого непрерывного озарения Наполеон главным образом пребывал в молодые годы, когда силы его еще росли, милость божия неизменно простиралась над ним, а значит,

и счастье его не покидало. В более поздние времена озарение, видимо, от него отвернулось, так же как счастье и его звезда.

— Ишь чего вы захотели! — воскликнул Гете. — Я тоже не написал во второй раз моих любовных песен и моего «Вертера». То божественное озарение, которое порождает из ряда вон выходящее, нераздельно с молодостью и продуктивностью, а ведь Наполеон был одним из *продуктивнейших* людей, когда-либо живших на земле. Да, да, дорогой мой, не обязательно писать стихи или пьесы, чтобы быть продуктивным, существует еще *продуктивность поступков*, и в некоторых случаях она выше той, другой. Даже врачу надо быть продуктивным, ежели он хочет лечить по-настоящему, но коли этот дар у него отсутствует, то помочь больному он сможет лишь случайно, вообще же останется простым ремесленником.

— Видимо, в данном случае вы называете продуктивностью то, что было принято называть гением.

— Это очень близкие понятия, — отвечал Гете. — Ибо гений и есть та продуктивная сила, что дает возникнуть деяниям, которым нет нужды таиться от бога и природы, а следовательно, они не бесследны и долговечны. Таковы все творения *Моцарта*. В них заложена животворящая сила, она переходит из поколения в поколение, и ее никак не исчерпать, не уничтожить. То же самое относится к другим великим композиторам и художникам. Разве Фидий и Рафаэль не воздействовали в последующие столетия, равно как Дюрер и Гольбейн? Тот, кто первым открыл формы и пропорции старонемецкого зодчества, в силу чего с течением времени могли возникнуть Страсбургский и Кельнский соборы, тоже был гением, ибо мысль его и доныне не утратила своей продуктивной силы. *Лютер* был гением особого рода: сколько уже времени продолжается его воздействие, и не счесть тех столетий, которые будут предшествовать его прекращению. *Лессинг* упорно отклонял высокий титул гения, но длительность его воздействия свидетельствует против него. В то же время нам известны по нашей литературе иные, достаточно значительные, имена, при жизни считавшиеся гениями, воздействие которых, однако, кончилось вместе с их жизнью, а это значит, что они были не столь уж значительны, как полагали сами и как думали о них другие. Ибо я уже говорил: не может быть гения без длительно воздействующей продуктивной силы, и дело здесь не в том, чем занимается человек: искусством или ремеслом —

это значения не имеет. Сказался ли его гений в науке, как у *Окена* и *Гумбольдта*, в войне или управлении государством, как у *Фридриха*, *Петра Великого* и *Наполеона*, писал ли он песни, как *Беранже*, — это безразлично, все сводится к тому, жива ли его мысль, аргументы, деяния и дарована ли им долгая жизнь.

И еще я должен добавить: не количество созданного или совершенного определяет продуктивность человека. Мы знаем поэтов, которые считаются весьма продуктивными потому, что том за томом выпускают в свет стихи. Но я бы без обиняков назвал их непродуктивными, поскольку сделанное ими лишено жизни и прочности. И наоборот: *Голдсмит* написал так мало стихотворений, что о нем, казалось бы, и говорить не стоит, но я тем не менее считаю его продуктивнейшим поэтом, ибо то немногое, что он создал, проникнуто внутренней жизнью, которая не скоро себя изживет.

Наступила пауза. Гете продолжал ходить по комнате. Мне не терпелось услышать продолжение этого волнующего разговора, и я старался подвигнуть на него Гете.

— Как вы полагаете, — начал я, — эта гениальная продуктивность связана лишь с духом великого человека или же и с его телесной организацией?

— Во всяком случае, — отвечал Гете, — тело не в малой степени на нее *воздействует*. Была, правда, пора, когда в Германии гения представляли себе низкорослым, хилым, даже горбатым. Но мне видится гений с телом, соответствующим его духу.

О Наполеоне говорили, что он человек из гранита, и это прежде всего относилось к его телу. Чего только он не вынес, чего не способен был вынести! От раскаленных песков Сирийской пустыни до заснеженных полей Москвы, а между тем и этим — какое великое множество маршей, битв и ночных биваков! Сколько тягот и жестоких лишений выпало ему на долю! Ночи почти без сна, скудная пища, и при этом непрерывная работа ума. В ужасающей напряженности и волнении восемнадцатого брюмера он целый день ничего не ел и, не помышляя о том, чтобы подкрепиться, нашел в себе достаточно силы глупокой ночью набросать пресловутое «Воззвание к французскому народу». Если подумать о том, что он проделал и перенес, то к сорока годам на нем, вероятно, уже живого места не оставалось, и тем не менее в эти годы он был и выглядел еще героем с головы до пят.

Но вы правы, наибольшего блеска его деяния достиг-

ли в годы юности. Вдумайтесь только: человек без роду, без племени, в эпоху, которая вызвала к жизни все таланты и способности, на двадцать седьмом году сумел стать кумиром тридцатимиллионной нации! Да, да, голубчик мой, надо быть молодым, чтобы вершить великие дела. И Наполеон не единственный тому пример.

— Его брат Люсьен, — заметил я, — тоже смолodu добился очень высокого положения. На двадцать шестом году он был уже председателем Совета Пятисот, а вскоре и министром внутренних дел.

— Дался вам этот Люсьен! — прервал меня Гете. — История *сотнями* являет нам даровитых людей, которые с честью и славой могли постоять за свое дело как сидя у себя в кабинете, так и на поле брани.

— Будь я владетельным князем, — живо продолжал он, — я никогда бы не делал первыми людьми в государстве тех, что выдвинулись мало-помалу, благодаря своему рождению и старым заслугам, и спокойно шагают по проторенному пути, от чего большого толку, конечно, не бывает. Будь я государем — я бы окружил себя молодыми людьми, но, разумеется, одаренными проницательным умом, энергией, к тому же доброй волей и по самой своей природе благородными. Как же тогда хорошо было бы править страной, вести вперед свой народ! Но где тот государь, которому бы так повезло и откуда бы у него взялись такие умельцы!

Я возлагаю немалые надежды на нынешнего *пруско-го кронпринца*. Судя по всему, что я о нем знаю и слышу, это человек очень недюжинный. А только такой монарх может распознать и найти дельных, талантливых людей. Что бы там ни говорили, равный познается только равным, и лишь монарх, одаренный незаурядными способностями, может оценить и приблизить к себе столь же способных людей из числа своих подданных и слуг. «*Таланту — широкая дорога!*» Девиз Наполеона, который облагодавал исключительным чутьем в выборе людей и каждому умел отвести место, где тот пребывал в своей сфере. Наверно, потому всю жизнь, во всех своих грандиозных начинаниях он, как никто другой, был окружен умными и верными исполнителями его воли.

Как мне нравился Гете в этот вечер... Казалось, все лучшее, благороднейшее ожило в нем. Такую силу источал его голос и огонь, пылавший в глазах, словно сызнова вспыхнула в нем прекрасная искра юности. Странно было мне, что он, в столь преклонных годах еще зани-

мавший важный государственный пост, так энергично ратовал за молодежь и считал, что главные посты в государстве должны быть отданы если не юношам, то, уж во всяком случае, людям еще молодым. Я не удержался и напомнил ему несколько немецких сановников, у которых, несмотря на их весьма солидный возраст, было достаточно энергии и юношеской подвижности, чтобы превосходно справляться с важными и многообразными делами.

— Они и им подобные, — отвечал Гете, — люди гениальные, к ним и подходить надо с необщей меркой. Им даровано *повторное возмужание*, тогда как другие молодые только однажды.

Дело в том, что любая энтелехия — частица вечности и не устаревает за те краткие годы, которые она связана с земной плотью. Если эта энтелехия не очень сильна, то в период своего телесного омрачения она не будет особо властной, скорее позволит телу возобладать над собой, а потому не сможет приостановить его старенье или этому процессу воспрепятствовать. Мощная же энтелехия, присущая всем гениально одаренным натурам, живительно пронизывая тело, не только окажет укрепляющее, облагораживающее воздействие на его организацию, но, духовно превосходя его, будет стремиться постоянно сохранять свое преимущественное право на вечную молодость. Вот отчего у доподлинно одаренных людей даже в старости мы еще наблюдаем наступление эпох неутомимой продуктивности. К этим людям словно периодически возвращается молодость, и это-то я и называю повторной возмужалостью.

Но молодость есть молодость, и как ни мощно проявляет себя энтелехия, ей все же никогда полностью не подчинить себе тело, и посему отнюдь не одно и то же, имеет она в нем союзника или противника.

Было время, когда я требовал от себя каждый день — печатный лист, и удавалось мне это с легкостью. *«Брата и сестру»* я написал за три дня, *«Клавиго»*, как вам известно, за неделю. Теперь об этом и думать не приходится, и все-таки даже в нынешнем моем преклонном возрасте мне грех жаловаться на недостаток продуктивности. Правда, то, что в молодые годы мне удавалось ежедневно и в любых условиях, теперь удастся лишь периодически и при особо благоприятном стечении обстоятельств. Лет десять — двенадцать тому назад, в счастливое время по окончании Освободительной войны, когда я весь был во

власти «Дивана», я иной раз писал по два-три стихотворения в день, все равно — в чистом поле, в экипаже или в гостинице. Нынче над второй частью «Фауста» я могу работать лишь ранним утром, после того как сон освежил и подкрепил меня, а мельтешенье повседневной жизни еще не сбило с толку. Но много ли я успеваю сделать? В лучшем случае рукописную страничку, обычно же не больше, чем можно написать на ладони, а частенько, в непродуктивном состоянии, и того меньше.

— Неужто нельзя придумать средство, которое способствовало бы продуктивному состоянию или, по крайней мере, могло его поддержать?

— Так как в этом смысле все обстоит довольно странно, то тут есть о чем подумать и поговорить.

Продуктивность *высшего порядка*, любое арегси, любое озарение или великая и плодотворная мысль, которая неминуемо возымеет последствия, никому и ничему не подчиняется, она превыше всего земного — человек должен ее рассматривать как неожиданный дар небес, как чистое божье дитя, которое ему надлежит встретить с радостью и благоговением. Все это сродни демоническому; оно завладевает человеком, делая с ним что вздумается, он же бессознательно предается ему во власть, уверенный, что действует в согласии с собственным побуждением. Таким образом, человек нередко становится орудием провидения, и его следует рассматривать как сосуд, предназначенный для приема той влаги, которую волеет в него господь. Я говорю это, подразумевая, как часто одна-единственная мысль сообщала новое обличье целым столетиям и как отдельные люди самой своей сутью налагали печать на свою эпоху, печать, благотворно воздействовавшую еще и на многие последующие поколения.

Но существует продуктивность и совсем иного рода, подверженная влияниям земного мира и более подвластная человеку, хотя он и в этом случае готов склониться перед божественным началом. К этой сфере я причисляю все, относящееся к выполнению определенного плана, все промежуточные звенья единой цепи мыслей, концы которой уже ясно видны во всем своем великолепии, причисляю и все то, что уже является видимой плотью произведения искусства.

Так, Шекспиру пришла мысль о «Гамлете», когда дух целого неожиданно явился ему и, потрясенный, он вдруг прозрел все связи, характеры и развязку, и это поистине был дар небес, ибо сам он непосредственного влияния на

это произведение не оказывал, хотя для возможности такого аргумента необходимой предпосылкой был дух, подобный Шекспирову. Зато последующая разработка отдельных сцен и диалогов была уже полностью в его власти, и он месяцами ежедневно, ежегодно, ежечасно мог по своему усмотрению над нею трудиться. И во всем им созданном мы видим неизменную продуктивную силу, во всех его пьесах нет ни единой сцены, о которой можно было бы сказать: она написана не в том расположении духа или не в полную силу. Читая Шекспира, мы уверены, что все, им созданное, создано человеком, духовно и физически крепким и несокрушимым.

Но предположим, что физическая конституция драматического писателя не так крепка и безупречна и он, напротив, подвержен частым недомоганиям или приступам робости; это значило бы, что ему нередко, а иной раз и на долгий срок, недостает продуктивности, необходимой для ежедневной работы над отдельными сценами. Допустим, что он попытается горячительными напитками восполнить недостаток продуктивной силы и, в известной мере, это ему удастся, но мы, конечно же, заметим недостатки подобных *форсированных* сцен.

Посему мой совет — *ничего не форсировать*, лучше уж развлекаться или спать в непродуктивные дни и часы, чем стараться выжать из себя то, что потом никакой радости тебе не доставит.

— Вы говорите то, что я и сам нередко ощущал и что, конечно, нельзя не признать правильным и справедливым, — заметил я. — Но все-таки мне кажется, что можно естественными средствами усилить продуктивность своего душевного состояния и не форсируя его. Мне в жизни очень часто случалось при запутанных обстоятельствах не находить, как ни бейся, правильного решения. Стоило мне, однако, выпить стакан-другой вина, как я тотчас же уяснял себе, что следует делать, и нерешительности — как не бывало. Принятие решения — это ведь тоже своего рода продуктивность, и если несколько стаканов вина способны вызвать ее к жизни, то таким средством, видимо, не следует пренебрегать.

— Ваше замечание, — сказал Гете, — я опровергать не стану. Но то, что я сейчас говорил, тоже справедливо; из этого мы видим, что истину можно сравнивать с бриллиантом, лучи которого устремляются не в одну, а в *разные* стороны. Впрочем, вы превосходно знаете мой «Диван» и, наверно, помните, что я в нем сказал:

А отхлебнул вина,  
И судишь здраво<sup>1</sup>.

Тем самым я полностью с вами согласился. В вине, конечно, заключена сила, возбуждающая продуктивность, но здесь многое зависит от душевного состояния, от времени, даже от часа, и то, что одному приносит пользу, другому идет во вред. Силы, способствующие продуктивности, заложены также в сне, в отдыхе и еще в движении. Эта же сила присутствует в воде, прежде всего в атмосфере. Свежий воздух вольных полей — вот для чего мы, собственно, рождены. Дух божий словно бы веет там над человеком, и божественная сила сообщается ему. Лорд Байрон, ежедневно проводивший много часов на вольном воздухе, то скача верхом вдоль берега моря, то плывя под парусом или на гребной лодке, то купаясь в море и укрепляя свои силы плаваньем, был одним из продуктивнейших людей, когда-либо живших на свете.

Гете сел теперь напротив меня, и мы заговорили о том, о сем. Затем снова вернулись к лорду Байрону и припомнили многие зловключения, омрачившие его дальнейшую жизнь, покуда благородная воля и роковые неудачи не привели его в Грецию, где он и нашел свою гибель.

— Вообще, — продолжал Гете, — вдумайтесь и вы заметите, что у человека в середине жизни нередко наступает поворот, и если смолоду все ему благоприятствовало и удавалось, то теперь все изменяется, злосчастье и беды так и сыплются на него.

А знаете, что я об этом думаю? *Человеку надлежит быть снова руинированным!* Всякий незаурядный человек выполняет известную миссию, ему назначенную. Когда он ее выполнил, то в этом обличье на земле ему уже делать нечего, и провидение уготовляет для него иную участь. Но так как в подлунном мире все происходит естественным путем, то демоны раз за разом подставляют ему ножку, покуда он не смирится. Так было с Наполеоном и многими другими. Моцарт умер на тридцатый шестой год. Почти в том же возрасте скончался Рафаэль — Байрон был чуть постарше. Все они в совершенстве выполнили свою миссию, а значит, им пришла пора уйти, дабы в этом мире, рассчитанном на долгое-долгое существование, осталось бы что-нибудь и на долю других людей.

Меж тем стало уже поздно. Я пожал его дорогую мне руку и ушел.

---

<sup>1</sup> Перевод О. Чухонцева.

После вчерашнего вечера с Гете у меня из головы не шел тот важный разговор, который мы с ним вели.

Упоминалось в этом разговоре и *море*, а также *морской воздух*, причем Гете высказал мысль, что все островитяне и жители приморской полосы в умеренном климате куда продуктивнее и энергичнее, чем народы, живущие в глубине континентов.

Оттого ли, что я уснул с этими мыслями, подкрепленными тоской по живительным силам моря, но в эту ночь мне приснился приятный и для меня весьма примечательный сон.

Я видел себя в незнакомой местности, среди чужих людей, при этом я был необычно весел и счастлив. Сияние солнца озаряло чарующую природу, напоминавшую не то побережье Средиземного моря, не то юг Испании или Франции, а может быть, Италию в окрестностях Генуи. Мы весело пообедали, потом я отправился вместе с другими несколько более молодыми сотрапезниками на послеобеденную прогулку. Мы шли по уютной равнине, поросшей кустарником, и вдруг оказались в море на крохотном островке, вернее, скалистом утесе, где едва-едва помещались пять или шесть человек и где страшно было пошевелиться, — того и гляди, соскользнешь в воду. Сзади, откуда мы пришли, виднелось только море, перед нами, на расстоянии каких-нибудь пятнадцати минут, простирался манящий берег, местами плоский, местами умеренно высокий и скалистый. Среди зелени и белых шатров виднелась жизнерадостная толпа в светлых одеждах — она весело кружилась под прекрасную музыку, доносившуюся из шатров.

— Ничего тут не придумаешь! — сказал один из юнцов другому, — надо нам раздеться и плыть к берегу.

— Вам легко говорить, — вмешался я, — вы молоды, хороши собой и к тому же отличные пловцы. Я же плаваю плохо, да и внешность у меня не такая, чтобы с охотой и радостью предстать перед чужими людьми на берегу.

— Дурень ты! — сказал один из красивейших юношей ей. — Раздевайся и дай мне свою внешность, а я тебе отдам свою.

Услышав это, я живо скинул одежду, бросился в воду и в чужом обличье тотчас же почувствовал себя прекрасным пловцом. Быстро добравшись до берега, я с радост-

ной доверчивостью, голый и мокрый, смешался с толпой. Прекрасное тело дарило меня счастьем, я не испытывал ни малейшего стеснения и быстро освоился с незнакомцами, которые пировали за столом возле одной из беседок. Мои товарищи мало-помалу тоже подплыли к берегу и присоединились к нам, не было еще только юноши в моем обличье, в чьем теле я чувствовал себя так легко и хорошо. Наконец и он приблизился к берегу; меня спросили, не хочу ли я взглянуть на свое прежнее «я». При этих словах мне стало как-то не по себе, отчасти потому, что я не ждал большого удовольствия от лицезрения самого себя, и еще потому, что я боялся, как бы мой приятель не потребовал обратно свое тело. Тем не менее я обернулся и увидел себя в прежнем своем обличье, подплывающим к берегу, я (или «он») смеялся, слегка склонив голову набок.

— Твое тело не очень-то приспособлено для плаванья! — крикнул он. — Мне пришлось основательно побороться с волнами и бурунами, поэтому ничего нет удивительного, что я приплыл последним.

Я тотчас же узнал — это было мое лицо, разве что помоложе, да, пожалуй, пошире и посвежее. Он вышел на берег и, распрямившись, сделал несколько шагов по песку, я же любовался его спиной и бедрами — какое совершенное сложение. Потом он пошел вверх по скалистому берегу, где мы все собрались, а когда встал рядом со мной, то оказался точь-в-точь такого же роста, как я в моем новом обличье. «Удивительное дело, — подумал я, — с чего это я так вырос. Неужто на меня воздействовали первозданные силы моря, или юношеский дух друга пропитал мои члены?» После того как мы премило провели вместе толику времени, я стал удивляться в душе, что мой друг не выказывает желания вернуть себе свое обличье. Правда, размышляя я, он и так выглядит как нельзя лучше, и ему, вероятно, все равно; но мне-то нет, я отнюдь не уверен, что в своем теле опять не сожмусь и не стану таким же низкорослым, каким был раньше. Чтобы выяснить этот вопрос, я отвел его в сторону и спросил, как он чувствует себя в моем обличье.

— Превосходно, — отвечал он, — я ощущаю себя и свою силу, как прежде. Не знаю, что ты имеешь против своего обличья, меня оно вполне устраивает, надо только что-то представлять собой. Оставайся в моем теле, сколько тебе вздумается, я-то ведь твоим доволен и готов хоть век пребывать в нем.

Я был очень рад, что мы с ним объяснились; так как и я тоже во всех своих чувствах, мыслях и воспоминаниях ощущал себя прежним, то во сне у меня создалось впечатление, что наша душа существует совершенно самостоятельно и в будущем может продолжать свое существование в иной телесной оболочке.

— Очень милый сон, — заметил Гете, когда я после обеда в основных чертах рассказал то, что мне приснилось. — Как видите, — продолжал он, — музы являются нам и во сне, да еще осыпают нас милостями; не станете же вы отрицать, что в состоянии бодрствования вам бы не удалось придумать нечто столь изящное и своеобразное.

— Я и сам не понимаю, как это случилось, — отвечал я, — все последнее время я чувствовал себя до того угнетенным, что и не помышлял о столь интересной и яркой жизни.

— В человеческой природе заложены чудодейственные силы, — отвечал Гете, — и когда мы никаких радужных надежд не питаем, оказывается, что она припасла для нас нечто очень хорошее. Бывали в моей жизни периоды, когда я засыпал в слезах, но во сне мне являлись прелестные видения, они дарили меня утешением и счастьем, так что наутро я вставал бодрый и освеженный.

Вообще-то всем нам, старым европейцам, ох, как неважно приходится. Окружающая нас жизнь искусственна и слишком сложна, наша пища и наше времяпрепровождение далеки от природы, наше общение с людьми лишено любви и доброты. Все благовоспитанны и учтивы, но ни у кого не хватает мужества быть искренним и правдивым, так что честный человек с общественными склонностями и естественным строем мысли среди нас оказывается в тяжелом положении. Иной раз, право, пожалейшь, что ты не родился так называемым дикарем на каком-нибудь острове Южных морей и не можешь порадоваться чистому человеческому бытию без какого-то стороннего привкуса.

Если же, будучи в подавленном расположении духа, поглубже вдумаясь в наше горестное время, начинает казаться, что мир уже созрел для Страшного суда. А зло все растет от поколения к поколению. Мало того что на нас ложатся грехи наших предков, мы еще передаем по-

томкам наследственные пороки, отягченные нашими собственными.

— Мне тоже частенько приходят на ум подобные мысли, — отвечал я, — но стоит мне увидеть, как мимо проезжает полк немецких драгун, и залюбоваться красотой и статностью этих молодых людей, я успокаиваюсь и говорю себе, что будущее человечества еще не так печально.

— Наш народ, — возразил Гете, — конечно, еще находится в полном обладании сил и, надо надеяться, долго будет поставлять нам не только отличных кавалеристов, но к тому же убережет нас от полного упадка и гибели. Это неисчерпаемые залежи; они постоянно пополняют и подстегивают силы угасающего человечества. А в общем, побывайте в наших крупных городах и у вас сложится другое впечатление. Погуляйте там в обществе другого хромого беса или врача с обширной практикой, и они вам нащепут такие истории, что вы содрогнетесь от несчастий и пороков, непосланных на человека к заставляющей страдать общество в целом.

Но прочь ипохондрию. Как вы себя чувствуете? Чем заняты? Что вы делали сегодня? Развейте грустные мысли, которые меня одолели.

— Я читал у *Стерна*, — отвечал я, — как Йорик, шатаясь по улицам Парижа, замечает, что каждый десятый прохожий — карлик. Мне сразу это вспомнилось, когда вы заговорили о пороках большого города. Вспомнился мне также пехотный батальон времен Наполеона, сплошь состоявший из парижан; все они были такие маленькие и щуплые, что казалось, никакого толку от них на войне быть не может.

— Горные шотландцы герцога Веллингтона, — вставил Гете, — больше походили на героев.

— Я видел их в Брюсселе за год до битвы при Ватерлоо, — отвечал я. — Статные красавцы как на подбор. Все силачи, здоровые, ловкие, словно только что сотворенные господом богом. Они так высоко несли головы, так легко шагали своими мускулистыми голыми ногами, что казалось — знать не знают о первородном грехе и о пороках своих предков.

— В чем тут причина, сказать трудно, — заметил Гете, — то ли это происхождение, то ли почва, то ли свободный строй и здоровое воспитание — но англичане и вообще-то много очков дают вперед другим нациям. У нас в Веймаре мы редко видим англичан, и, наверно, не самых избранных, но какие же это дельные, красивые люди.

Приезжают совсем юнцы, лет эдак по семнадцати, и все равно в немецкой глуши чувствуют себя свободно и непринужденно. Вернее, их манеры и поведение в обществе исполнены такого достоинства и простоты, словно они везде господя и весь мир принадлежит им. Потому-то они так нравятся нашим женщинам и так много уже разбили здесь юных сердец. Как истый немецкий папаша, которому дорого спокойствие в семье, я, случается, не без страха выслушиваю сообщения моей снохи об ожидающемся приезде того или другого юного островитянина. Внутренним взором я уже вижу слезы, которые прольются при его отъезде. Это опасные молодые люди, но как раз то, что они опасны, и следует считать их добродетелью.

— Я бы, например, не стал утверждать, — вставил я, — что наши веймарские англичане умнее, находчивее, образованнее и по своим душевным качествам лучше других людей.

— Не в этом дело, дорогой мой, — возразил мне Гете, — дело также не в происхождении и не в богатстве, а лишь в том, что у них хватает смелости быть такими, какими их создала природа. Они не исковерканы, не покалечены, чужды изломанности и половинчатости, — словом, дурные или хорошие, но они всегда полноценные люди. Есть среди них и полноценные дураки, спорить не буду, но ведь это тоже что-то значит и кое-что весит на весах природы.

Счастье личной свободы, горделивое сознание, что ты носишь английское имя, которое почтительно произносится другими нациями, много дает даже детям, ибо не только в семье, но и в учебных заведениях к ним относятся с куда большим уважением и развиваются они в обстановке более счастливой и свободной, нежели у нас, немцев.

Стоит мне только выглянуть в окно, и я тотчас же убеждаюсь, как все обстоит в нашем милом Веймаре. Зимой, когда выпал снег и соседские ребяташки выбежали на улицу с салазками, вдруг, откуда ни возьмись, явился полицейский служитель, и бедняжки бросились врассыпную. Теперь, когда весеннее солнце так и манит их поиграть возле дома, я замечаю, что они даже играют с оглядкой — как бы не приблизился могущественный повелитель — полицейский. Ни один мальчонка не смеет щелкнуть бичом, запеть или громко окликнуть товарища — на то и полиция, чтобы это ему запрещать. У нас

одна забота — как бы укротить молодежь и своевременно вытравить у нее все врожденные качества, всякую оригинальность и необузданность, чтобы в конце концов остался только филистер.

Вы же знаете, у меня редко выдается денек, чтобы ко мне не заглянул чужеземец, проездом оказавшийся в Веймаре. Но если бы я сказал, что визиты молодых немецких ученых, в особенности с северо-запада, доставляют мне радость, я бы солгал. Близорукие, бледные, со впалой грудью, молодые без молодости — вот мои посетители. Вступая с ними в беседу, я быстро замечаю: то, что нашему брату приносит радость или представляется ничтожным и тривиальным, им безразлично, они по уши погрязли в идеях и способны интересоваться только самыми высшими проблемами умозрения. Здоровой чувственности и чувственного счастья они не ведают, всякое ощущение своей юности и юного задора из них вытравлено, и вытравлено навеки. Если человек не молод на двадцатом году жизни, как прикажете ему быть молодым на соловом?

Гете вздохнул и умолк.

Я думал о счастливых годах минувшего столетия, на которые пришлось юность Гете. В душу мне пахло летним воздухом Зезенгейма, и я напомнил ему стихи.

Уж вечер плыл, лаская поле,  
Висела ночь у края гор.

— А х , — вздохнул Г е т е , — поистине то были прекрасные времена! Но надо выкинуть их из головы, чтобы серые, пасмурные дни настоящего не стали и вовсе непереносимыми.

— Надо, видно, ждать пришествия второго Спасителя, который бы освободил нас от суровости, тоски и страшной подавленности нашего нынешнего состояния.

— Я вись о н , — отвечал Г е т е , — он был бы распят вторично. Но события столь грандиозные нам и ни к чему. Если бы можно было научить немцев, по образцу англичан, меньше философствовать и больше действовать, меньше заниматься теорией, чем практикой, многое было бы уже совершенно и без второго пришествия. Много доброго может исходить снизу, от народа, при помощи школ и домашнего воспитания, а многое сверху — от правитель с их присными.

Я, например, никак не могу одобрить, что с будущих чиновников в их студенческую пору спрашивают слиш-

ком много научных теоретических познаний, что, конечно, преждевременно руинирует эту молодежь как духовно, так и физически. Когда они наконец приступают к своей работе, у них, правда, имеется колоссальный запас философских и прочих ученых сведений, кои в ограниченной сфере их трудов не могут найти себе никакого применения и, как полностью бесполезные, вскоре забываются. А вот то, что им всего необходимее, у них отсутствует: то есть духовная и физическая энергия, столь необходимая для дельного выполнения практических обязанностей.

И далее, разве чиновник в общении с людьми может обойтись без любви и благожелательности? Но если ему самому худо приходится, откуда же он возьмет эти качества? А ведь все эти деятели чувствуют себя прескверно! Треть ученых и чиновников, прикованная к письменным столам, физически надломлена и предана во власть демона ипохондрии. Тут уж необходимо вмешательство сверху, дабы хоть грядущие поколения избавить от такой беды.

— Что ж, — с улыбкой сказал Гете, — будем ждать и надеяться, что лет эдак сто спустя мы, немцы, сумеем наконец стать не абстрактными учеными и философами, но людьми.

*Пятница, 16 мая 1828 г. \**

Ездил кататься с Гете. Забавляясь воспоминаниями о своих раздорах с Коцебу и компанией, он процитировал несколько очень острых и веселых эпиграмм на Коцебу, впрочем, скорее шуточных, чем обидных. Я спросил, почему он никогда не публиковал их.

— У меня таких стишков целая коллекция, — отвечал Гете, — я держу их в секрете и лишь изредка показываю самым близким друзьям. Они были единственным невинным оружием, которым я мог отражать нападения врагов. Таким образом я втихомолку давал себе роздых и освобождался от тягостного чувства недоброжелательства, а оно неминуемо овладело бы мною под влиянием публичных, и частенько злобных, выпадов моих противников. Эти стишки оказали мне весьма существенную услугу. Но я не хочу занимать публику дразгами, касающимися меня одного, или же обижать еще живых людей. Позднее ту или другую эпиграмму, несомненно, можно будет опубликовать.

*Пятница, 16 июня 1828 г. \**

Баварский король недавно прислал в Веймар своего придворного художника *Штилера* написать портрет Гете. В качестве, так сказать, рекомендательного письма и свидетельства своего умения Штилер привез уже законченный портрет в натуральную величину прекрасной собою молодой женщины — мюнхенской актрисы, *фрейлейн фон Хагн*.

Посмотрев его, Гете согласился предоставить господину Штилеру столько сеансов, сколько тому потребуется, и вот уже несколько дней, как этот портрет завершен.

Сегодня обедал у Гете; кроме меня, никого не было. Во время десерта Гете встал, пошел со мною в кабинет, примыкающий к столовой, и показал мне только что законченную работу Штилера. Засим с превеликой таинственностью предложил мне проследовать за ним в так называемую майоликовую комнату, где висел портрет красавицы актрисы.

— Не правда ли, — спросил он после того, как мы стояли, разглядывая его, — это был не напрасный труд! Штилер очень неглуп! Этот лакомый кусочек он использовал как приманку и, заставив меня таким способом сидеть для портрета, еще прельстил меня надеждой, что хоть он и пишет голову старика, но из-под его кисти все равно выйдет такой вот ангелок.

*Пятница, 26 сентября 1828 г. \**

Гете показывал мне сегодня свою богатейшую коллекцию окаменелостей, которая помещена в отдаленном павильоне в саду. Начало этой коллекции положил он сам, впоследствии ее изрядно приумножил его сын, в основном, и это весьма примечательно, за счет окаменелых костей, которые все были найдены в окрестностях Веймара.

*Понедельник, 6 октября 1828 г. \**

Обедал у Гете с господином фон Мартиусом. Он здесь уже несколько дней, и они с Гете обсуждают вопросы ботаники. Говорят главным образом о спиральной тенденции растений; господин Мартиус сделал немаловажные открытия в этой области и сообщил о них Гете, перед которым открывается новое поле деятельности. Гете, ка-

залось мне, с юношеской пылкостью воспринял идею своего друга.

— Все это значительно обогащает физиологию растений, — заметил он. — Новое аргументы спиральной тенденции полностью соответствует моему учению о метаморфозе, оно найдено на том же пути, но какой же это гигантский шаг вперед!

*Пятница, 17 октября 1828 г. \**

Последнее время Гете ревностно читает «Глоб» и часто о нем говорит. Усилия Кузена и его школы он считает особенно важными.

— Эти люди, — как-то сказал он, — пожалуй, смогут способствовать сближению между Францией и Германией, ибо они создают язык, безусловно, пригодный для того, чтобы облегчить взаимный обмен мыслями между обеими нациями.

«Глоб» так сильно интересует Гете еще и потому, что там обсуждаются новейшие произведения французской литературы, и к тому же журнал ревностно отстаивает свободы романтической школы, вернее, освобождение от оков ничего не значащих правил.

— Кому нужен весь хлам этих правил, дошедших до нас из окаменелой устаревшей эпохи, — заметил он сегодня, — да еще этот шум по поводу *классического* и *романтического*! Важно, чтобы произведение все в целом было интересно и хорошо, тогда оно и будет классическим.

*Четверг, 23 октября 1828 г.*

Гете весьма одобрительно отзывался сегодня о брошюре канцлера, посвященной памяти *великого герцога Карла-Августа*, в которой он вкратце излагает энергичную и деятельную жизнь удивительного государя.

— Маленькая эта брошюра, — сказал Гете, — и вправду очень удачна, материал отобран с большим тщанием и осмотрительностью, к тому же весь он пронизан духом горячей любви, и в то же время изложение так сжато и кратко, что деяния великого герцога как бы громоздятся друг на друга, и при виде такой полноты жизни и деятельности вы поневоле испытываете нечто вроде головокружения. Канцлер и в Берлин послал свою брошюру и спустя некоторое время получил весьма примечательное письмо от *Александра фон Гумбольдта*; это письмо я не

могу читать без глубокой растроганности. Гумбольдт в течение долгих лет был преданнейшим другом великого герцога, да оно и не удивительно, — глубокая, богато одаренная натура последнего постоянно жаждала новых знаний, а Гумбольдт благодаря своей универсальной образованности как раз и был тем человеком, который на любой вопрос мог ответить наилучшим и основательнейшим образом.

И вот чудесное совпадение — последние свои дни великий герцог прожил в Берлине, почти в непрерывном общении с Гумбольдтом, под конец успев еще обсудить с другом многие важные проблемы, его тревожившие. И опять-таки, разве не следует считать милостью господней то, что такой человек, как Гумбольдт, стал свидетелем последних дней и часов одного из лучших государей, когда-либо правивших в Германии. Я велел снять копию с его письма и сейчас кое-что прочту вам.

Гете поднялся, подошел к конторке, взял из нее письмо и снова сел за стол. Несколько мгновений он читал про себя. Я заметил, что слезы выступили у него на глазах.

— Нет, читайте сами, но не вслух, — сказал он, протягивая мне письмо. Он снова поднялся и стал шагать по комнате, куда я читал.

«Кого же могла больше, чем меня, потрясти его скоростиптижная смерть, — писал Гумбольдт, — ведь он в течение тридцати лет относился ко мне с искренней благоклонностью, смею даже сказать — с нескрываемым пристрастием. Он ведь едва ли не каждый час хотел видеть меня подле себя. Как прозрачное свечение, озаряя заснеженные вершины Альп, предвещает угасание дня, так и здесь: никогда я не видел великого и человеческого государя оживленнее, остроумнее, мягче и взволнованнее дальнейшим развитием жизни своего народа, чем в эти последние дни его пребывания с нами.

Удрученный и напуганный, я не раз говорил друзьям, что это оживление, эта непостижимая ясность духа при такой физической слабости представляется мне каким-то устрашающим феноменом. Он и сам, видимо, колебался между надеждой на выздоровление и ожиданием великой катастрофы.

Когда за двадцать четыре часа до нее я встретился с ним за завтраком, он выглядел больным и ничего не хотел отвежать, но тем не менее еще живо расспрашивал о валаунах, докатившихся из Швейцарии до балтийских

стран, о хвостатых кометах, которые могли бы нежелательным образом замутить нашу атмосферу, и о причинах трескучих морозов, распространившихся по всему балтийскому побережью.

На прощанье он пожал мне руку, не без насмешливости заметив: «Вы полагаете, Гумбольдт, что Теплиц и другие горячие источники нечто вроде разогретой воды? Нет, это вам не кухонный очаг! Об этом мы еще поговорим в Теплице, когда вы приедете с королем, и вот увидите — ваш старый кухонный очаг еще даст мне возможность отогреться».

Странно! Все становится важным в устах такого человека!

В Потсдаме я несколько часов подряд сидел с ним вдвоем на канале. Он то пил, то засыпал; просыпаясь, снова пил, поднялся было, чтобы написать своей супруге, и опять заснул. Он был бодро настроен, но слаб, в минуты бодрствования он буквально теснил меня труднейшими вопросами касательно физики, астрономии, математики и геологии. Его интересовало, прозрачно ли ядро кометы, какова атмосфера на Луне, интересовали цветные звезды, влияние солнечных пятен на температуру, органические формы прамира, внутреннее тепло земного шара. Говоря или слушая меня, он засыпал, часто становился беспокоен и, словно прося прощенья за свою мнимую невнимательность, мягко и дружелюбно говорил: «Вы видите, Гумбольдт, я конченный человек!»

Внезапно он перешел к разговорам на религиозные темы. Сеговал по поводу распространяющегося пиетизма и связи этой фанатической секты с политическими стремлениями к абсолютизму и подавлению всякой свободы духа. «Вдобавок пиетисты лицемеры, — воскликнул он, — которые всеми правдами и неправдами селятся снискать благоволение власть имущих, чтобы добиться высоких постов и наград! Они ловко сыграли на поэтическом пристрастии к средневековью».

Вскоре гнев его утих, и он сказал, что теперь находит немало утешения в христианской религии. «Это человеколюбивое учение, — добавил великий герцог, — но искаженное с самого начала. Первые христиане были вольнодумцами среди реакционеров».

Я сказал Гете, сколь искреннюю радость доставило мне это прекрасное письмо.

— Теперь вы сами видите, какой это был значитель-

ный человек, — отвечал он. — И как хорошо, что Гумбольдт подметил и записал эти последние немногие штрихи; они могут служить символом, отражающим всю природу этого редкостного государя. Да, таков он был! Кому же и сказать это, как не мне, ибо, собственно говоря, никто не знал его ближе и лучше, чем я. И разве же не ужасно, что перед смертью все равны и такой человек должен был рано уйти от нас! Еще одно какое-нибудь несчастное столетие, и как бы он, на своем высоком посту, продвинул вперед свою эпоху! Но знаете что? Жизнь и но должна идти к своей цели так быстро, как мы полагаем и как нам бы того хотелось. Демоны вечно путаются у нас под ногами и мешают нам идти вперед; жизнь, правда, продвигается, но очень уж медленно. Поживите-ка еще и вы убедитесь, что я прав.

— Развитие человечества, — вставил я, — видимо, рассчитано на тысячелетия.

— Кто знает, — отвечал Гете, — может быть, и на миллионы лет. Но сколько бы человечество ни существовало, препятствий на его пути всегда будет достаточно, так же как и разных нужд, дабы была у него возможность развивать свои силы. Умнее и интереснее, осмотри-тельнее оно, пожалуй, станет, но не лучше, не счастливее, не деятельнее, или только на краткие периоды. Думается, придет время, когда человечество перестанет радовать господина и ему придется снова все разрушить и все сотворить заново. Я уверен, что дело к тому идет и что в отдаленном будущем уже намечен день и час наступления этой обновленной эпохи. Но времени у нас, конечно, хватит, пройдут еще тысячи и тысячи лет, прежде чем мы перестанем наслаждаться этой доброй старой планетой.

Гете, оживленный, в отличном расположении духа, велел принести бутылку вина и налил себе и мне по бокалу. Разговор у нас снова зашел о великом герцоге Карле-Августе.

— Вы видите, — сказал Гете, — что этот высокоодаренный человек обладал умом, способным охватить все царство природы. Физика, астрономия, теология, метеорология, первичные формы растительного и животного мира — все это было ему интересно и дорого. Ему едва минуло восемнадцать лет, когда я приехал в Веймар, но уже и в ту пору по росткам и почкам можно было судить, какое со временем здесь будет выситься дерево. Он вскоре всей душой прильнул ко мне и принимал живейшее участие во всех моих затеях. Я был на десять лет старше его, и это

пошло на пользу нашей дружбе. Он целые вечера проводил у меня в проникновенных беседах об искусстве, о природе и о многом прекрасном в этом мире. Мы засиживались до глубокой ночи и нередко засыпали вместо на моей софе. Пятьдесят лет мы с ним делили радость и горе, и не диво, если кое-что из этого вышло.

— Такая разносторонняя образованность, по-видимому, редко присуща августейшим особам, — заметил я.

— Крайне редко! — согласился Гете. — Многие из них, правда, умеют искусно поддерживать беседу о чем угодно; но это не изнутри, они лишь скользят по поверхности, что, впрочем, не удивительно, если принять во внимание, какая ужасающая рассредоточенность и суэта свойственна придворной жизни и как незащищен против нее молодой монарх. На все-то он должен обращать внимание, должен знать немножко о том и немножко о сем, затем немножко о другом и немножко о третьем. И ничто не может для него укрепиться и пустить корни; право, надо иметь могучую натуру, чтобы при таком количестве требований не раствориться в мелочах. Великий герцог, несомненно, был рожден великим человеком, и этим все сказано.

— При всех его высоких запросах, как научных, так и чисто духовных, он, видимо, умел еще и управлять государством, — сказала я.

— Он был цельным человеком, — ответил Гете, — и все, что бы он ни предпринимал и ни делал, вытекало из одного великого источника, поскольку так значительно было целое, значительны были и частности. В деле же управления государством он опирался на три своих качества: умение быстро распознавать ум и характер каждого и каждого ставить на надлежащее место. Это уже очень много. Далее, был у него еще дар не меньший, если не больший, — его одушевляла истинная благожелательность, чистейшее человеколюбие, он стремился ко всеобщему благу и прежде всего думал о счастье своей страны, о себе же лишь в самую последнюю очередь. Всегда он был готов прийти на помощь добропорядочному человеку, способствовать достижению благих целей, тут рука его никогда не оскудевала. Было в нем что-то от господ бога. Он хотел бы осчастливить все человечество, а любовь, как известно, любовь и порождает, тому же, кого любят, легко править людьми.

И в-третьих: он был выше тех, кто его окружал. Когда по какому-либо поводу до него доносился добрый десяток

голосов, он слышал только одиннадцатый — тот, что звучал в нем самом. Всякие наветы, как горох от стены, от него отскакивали, нелегко было толкнуть его на поступок, недостойный монарха, он отклонял двусмысленные услуги и, случалось, заступался за отъявленных негодяев. Он хотел все видеть сам и во всем полагался лишь на себя. При этом он был молчалив от природы, и за его словами всегда следовало дело.

— Как мне жаль, что я знал его лишь по внешнему виду, — сказал я, — но все равно он прочно врезался мне в память. Я, как сейчас, вижу его на старых дрожках, в серой поношенной шинели, в военной фуражке, с сигарой во рту — так он ездил на охоту, а его любимые собаки бежали за ним следом. Никогда он не ездил ни на чем, кроме этих непрезентабельных дрожек, запряженных парой. Как видно, шестерки лошадей и мундир с орденскими звездами были ему не по вкусу.

— У монархов такие выезды нынче уже не в чести, — отвечал Гете. — Теперь важно, что весит человек на весах человечества: все остальное суета сует. Звезды на мундире и карета, запряженная шестерней, производят впечатление разве что на темные массы. Старые же дрожки великого герцога даже рессор не имели. Тому, кто сопровождал его, приходилось мириться с отчаянной тряской. Герцогу же такая езда нравилась. Он был врагом изнеженности и любил все примитивное, неудобное.

— Об этом до известной степени можно судить по вашему стихотворению «Ильменау», вы, видимо, писали его с натуры.

— Он был тогда еще очень молод, — отвечал Гете, — и мы немало сумасбродствовали. Благородное молодое вино, как видно, еще не перебродило. Он не знал, куда девать свои силы, и теперь я только дивлюсь, как мы не сломали себе шеи. На резвых скакунах через изгороди, канавы, вброд через реку, потом с горы на гору до полного изнеможения, а ночь под открытым небом, в лесу у костра, — вот это он любил. Герцогство, полученное по праву наследия, он и в грош не ставил; если бы ему пришлось завоевать его ратными подвигами, взять штурмом, наконец, вот тогда бы оно было ему дорого.

— В стихотворении «Ильменау», — продолжал Гете, — говорится о некоем эпизоде из эпохи, которая в тысяча семьсот восемьдесят третьем году, когда я его написал, была отделена от меня уже целым рядом лет, так что я вправе был изобразить в нем себя самого как некую исто-

рическую фигуру и вести диалог со своим собственным «я» былых времен. Как вы знаете, там изображена ночная сцена в горах после одной из безумных наших охот. У подножия утеса мы соорудили несколько маленьких шалашей и устелили их лапником, чтобы не спать на сырой земле. Перед шалашами мы разожгли костры, на них варилась и жарилась наша охотничья добыча. Кнебель, уже и тогда не выпускавший трубки изо рта, сидел ближе к огню и потчевал всех грубыми шутками и остроумиями, в то время как бутылка переходила из рук в руки, изящно сложенный Зекендорф, растянувшись у подножия дерева, бормотал про себя какие-то стишки, поблизости, в шалаше, крепко спал герцог. Я сидел у тлеющих углей, погруженный в тяжкие думы и борясь с приступами раскаяния из-за тех бед, которые иной раз учиняли мои писания. Мне и доньше кажется, что Кнебеля и Зекендорфа я обрисовал очень недурно, да и молодой герцог в хмуром бесчинстве своих двадцати лет, думается, удался мне.

Спешит он в жажде впечатлений, —  
Троп недоступных пет, и трудных нет высот! —  
Пока несчастье, злобный гений,  
Его в объятия страданья не толкнет.  
Тогда болезненная сила напряженья  
Его стремится, влачит могучею рукой,  
И от постылого движенья  
В постылый он бежит покой.  
И в самый яркий день — угрюмый,  
И без цепей узнав тяжелый гнет,  
Душой разбит, с мучительною думой,  
На жестком ложе он уснет<sup>1</sup>.

Таким он и был с головы до пят, ни единой черточки я не преувеличил.

Но этот период «Бури и натиска» герцог вскоре оставил позади и достиг благодетельной ясности духа, так что в тысяча семьсот восемьдесят третьем году в день его рождения я с удовольствием напомнил ему о его облике в те минувшие годы.

Не буду отрицать, что поначалу он причинял мне много забот и огорчений. Но его здоровая натура быстро очистилась от всего наносного, и с той поры жить и действовать вместе с ним стало для меня истинной радостью.

— Но в ту первую пору вы совершили вдвоем с ним путешествие по Швейцарии, — заметил я.

---

<sup>1</sup> Перевод В. Левика.

— Он любил путешествовать, — отвечал Гете, — но в путешествиях искал не развлечений и удовольствия, а пристально приглядывался, внимательно прислушивался ко всему доброму и полезному, что могло пригодиться для его страны. Земледелие, скотоводство, промыслы бесконечно многим ему обязаны. Его стремления никогда не носили личного, эгоистического характера, но были чисто продуктивными и предусматривали всеобщее благо. Так он составил себе имя, прославившееся далеко за пределами его маленькой страны.

— Его простота и внешне беззаботные повадки, — сказал я, — свидетельствовали, что он не ищет славы и не придает ей большого значения. Она сама собой пришла к нему в результате его таланта и трудолюбия.

— Странная это штука со славой, — проговорил Гете. — Дерево горит, потому что есть в нем горючий материал, человек приобретает славу, ибо в нем есть материал для таковой. Слава же хочет, чтобы ее искали, и погоня за нею — суета сует. Правда, разумным поведением и всевозможными уловками можно приобрести некое подобие громкого имени. Но если внутренняя сокровищница человека пуста, то все это только напрасные хлопоты и завтра он уже будет позабыт.

Так же обстоит дело и с народной любовью. Герцог за нею не гнался и не стремился ее завоевать, однако народ его любил, чувствуя, что он принял его в свое сердце.

Засим Гете упомянул о прочих членах герцогского дома, отметив, что благородство характера свойственно каждому из них. Он говорил о добром сердце нынешнего герцога, о надеждах, которые подает юный принц, и с любовью распространялся о редкостных качествах ныне правящей великой герцогини, которая, не щадя своих сил, преклась о всех нуждающихся в помощи того или иного рода, а также о том, чтобы пробудить в своих подданных добрые задатки.

— Она и всегда-то была ангелом-хранителем герцогства, а нынче, по мере того как длительнее и теснее становится ее связь со страной, и по давню, — сказал Гете. — Я знаю великую герцогиню с тысяча восемьсот пятого года и много раз восхищался ее умом и характером. Она одна из лучших и значительнейших женщин нашего времени, и даже не будучи герцогиней, осталась бы таковой. А ведь это самое главное, чтобы монарх, даже без всех своих регалий, остался большим человеком, может быть,

даже более значительным, чем был до того, как стать монархом.

Далее мы заговорили о единстве Германии, о том, при каких условиях оно возможно и желательно.

— Меня не страшит, — сказал Гете, — если Германия останется разобщенной, наши превосходные шоссейные и будущие железные дороги все равно свое дело сделают. Главное, чтобы немцы пребывали в любви друг к другу! И всегда были едины против внешнего врага. И еще, чтобы талеры и гроши во всем немецком государстве имели одинаковую ценность и чтобы можно было провезти свой чемодан через все тридцать шесть княжеств, ни разу не раскрыв его для таможенного досмотра. И, наконец, чтобы дорожный паспорт веймарского гражданина пограничный сановник соседнего княжества не был бы вправе объявить недействительным *«иностранным паспортом»*, — в пределах немецких государств не должно более существовать понятия «заграница». Германия должна наконец стать единой во всем, что касается мер и веса, торговли и товарооборота, и еще в сотнях вещей, которые я сейчас и не припомню.

Но если кто-нибудь полагает, что такое большое государство, как Германия, должно иметь одну огромную столицу и что такая столица может способствовать развитию отдельных талантов, равно как и благу народных масс, то он жестоко заблуждается.

Кто-то сравнил государство с живым телом, в таком случае столицу приходится сравнить с сердцем, которое дарит жизнь и здоровье всем его многочисленным членам, близко и далеко от сердца расположенным. Но чем дальше они от сердца, тем все слабее и слабее становится для них приток жизни. Некий остроумный француз, кажется, Дюпэн, начертил карту культурного состояния Франции, наглядно показав культурное состояние Франции и просвещенность тех или иных департаментов более темной или светлой краской. Южные департаменты, наиболее удаленные от столицы, на его карте были закрашены черной краской в знак царившей в них беспросветной темноты. А разве так бы все это выглядело, если бы в прекрасной Франции было не *одно* лишь средоточие света и жизни, а *десять*, к примеру?

В чем величие Германии, как не в удивительной народной культуре, равномерно проникшей все ее части? Но ведь причина этого явления гнездится в отдельных княжеских резиденциях, — от них исходит культура, там

ее растят и пестуют. Предположим, что в Германии в течение столетий были бы лишь две столицы — Вена и Берлин, или даже одна, — хотел бы я посмотреть, как обстояло бы дело с немецкой культурой, а также с народным благосостоянием, всегда идущим с нею рука об руку.

В Германии имеется более двадцати университетов, рассеянных по всей стране, и свыше сотни публичных библиотек, не говоря уж о множестве собраний предметов искусства и всевозможных естественноисторических редкостей, ибо каждый владетельный князь радеет о том, чтобы окружить себя этими прекрасными и полезными предметами. А как много у нас гимназий, технических и промышленных училищ. Едва ли не в каждой немецкой деревне имеется своя школа. Ну, а чем в этом смысле может похвалиться Франция?

Не следует забывать также о театрах, число которых у нас уже перевалило за семьдесят, а разве они мало способствуют просвещению народа, разве не поощряют его к восприятию высокой культуры? Вкус к музыке и пению, вообще к музыкальному исполнительству, нигде не распространен шире, чем в Германии, а это ведь уже кое-что значит.

Теперь давайте вспомним о таких городах, как Дрезден, Мюнхен, Штутгарт, Кассель, Брауншвейг, Ганновер и так далее; вспомним о животворной силе, в них заложенной, о влиянии, которое они оказывают на соседние провинции, и спросим себя, так ли бы все это обстояло, если бы они издавна не были резиденциями владетельных князей.

Франкфурт, Бремен, Гамбург, Любек — города большие и блистательные, их воздействие на благосостояние Германии огромно. Но остались ли бы они тем, что они есть, утратив свой суверенитет вследствие присоединения в качестве провинциальных городов к какому-нибудь крупному немецкому государству? Я, и, думается, небезосновательно, в этом сомневаюсь.

*Среда, 3 декабря 1828 г.*

Сегодня произошла забавнейшая история. Мадам Дюваль из Картиньи в Женевском кантоне, великая умелица варить всевозможные варенья, прислала мне произведение своего искусства — цукаты — для передачи великой герцогине и Гете, в полной уверенности, что ее изделия настолько же превосходят все другие, насколько стихи

Гете превосходят стихи большинства его немецких собратьев.

Старшая дочь этой дамы давно уже мечтала иметь автограф Гете, и мне вдруг пришло на ум, что было бы неплохо воспользоваться этими цукатами как приманкой и выудить у Гете стихотворение для моей юной приятельницы.

С видом дипломата, выполняющего важное поручение своей державы, я вошел к Гете и вступил с ним в переговоры, поставив условием за предлагаемые цукаты получить у него оригинальное и собственноручно написанное стихотворение. Гете посмеялся этой шутке, кстати сказать, принятой им весьма благосклонно, и потребовал немедленно выдать ему цукаты, которые нашел превосходными. Через несколько часов мне, к великому моему изумлению, было прислано нижеприведенное стихотворение, в качестве рождественского подарка для моей юной приятельницы.

Счастлив край, где фрукты зреют,  
Наливным румянцем рдеют;  
Но их вкус умножен вдвое  
Мудрой женскою рукою.

Когда я вновь встретился с Гете, он пошутил касательно своего поэтического ремесла, из коего теперь извлекает пользу, тогда как в молодые годы долго не мог найти издателя для своего «Геца».

— Ваш торговый договор я принял весьма охотно, и когда у меня уже не останется цукатов, не забудьте выписать для меня новую порцию. Я же буду аккуратно платить по моим поэтическим векселям.

*Воскресенье, 21 декабря 1828 г.*

Прошлой ночью мне привиделся странный сон, и сегодня я рассказал о нем Гете, ему он пришелся очень по душе. Я стоял в незнакомом городе, на широкой улице, которая вела на юго-восток, и вместе с целой толпой народу смотрел на небо, затянутое легкой дымкой и светившееся бледно-желтым светом. Все пребывали в трепетном ожидании: что-то сейчас случится; вдруг появились две огненные точки и тут же, наподобие метеоритов, с треском рухнули неподалеку от нас. Все ринулись туда, взглянуть, что ж там такое, и вдруг, что за диво, — мне навстречу идут *Фауст* и *Мефистофель*. В радостном изумлении я присоединился к ним, как к старым знакомым,

мы пошли вместе, оживленно беседуя, и вместе же завернули за угол. О чем мы говорили, я запомнил; но впечатление от их телесного облика было так своеобразно, что оно навсегда врезалось мне в память. Оба выглядели моложе, чем мы их обычно себе представляем, Мефистофелью на вид было лет двадцать с небольшим, Фаусту, пожалуй, двадцать семь. Первый казался светским человеком, он вел себя свободно и непринужденно, походка легкая и быстрая, — так, наверно, ступал Меркурий, — лицо красивое, отнюдь не злое или коварное, никто бы не подумал, что он черт, если бы над его юношеским лбом не торчали изящные, слегка отогнутые в сторону рожки, — так иногда распадается на две стороны пышная шевелюра. Когда Фауст во время разговора повернулся ко мне лицом, меня поразило его выражение. В каждой черте этого лица сказывалось нравственное благородство, а также истинная доброта, свидетельствуя об изначальных, преобладающих свойствах его природы. Казалось, что, несмотря на молодость, ему уже ведомы все человеческие радости, все страдания и мысли, такая глубина была в этом лице! Он был несколько бледен и до того привлекателен, что на него нельзя было вдосталь наглядеться; я старался запомнить его черты, чтобы потом их зарисовать. Фауст шел справа, Мефистофель между нами. Мне живо запомнилось его прекрасное, необычное лицо в те мгновения, когда он поворачивался, обращая то ко мне, то к Мефистофелю. Мы шли по улицам, толпа же разбрелась, более не обращая на нас внимания.



*Понедельник, 18 января 1830 г. \**

Говоря о Лафатере, Гете весьма лестно отзывался о его характере. Он вспомнил и об их былой тесной дружбе, когда они, случалось, по-братски спали в одной кровати.

— Ж а л ь , — добавил о н , — что расслабляющий мистицизм вскоре положил предел полету его гения!

*Пятница, 22 января 1830 г. \**

Мы говорили об «*Истории Наполеона*» Вальтера Скотта.

— Правда, — заметил Г е т е , — автору можно поставить в упрек значительные неточности и немалую пристрастность, но в моих глазах оба этих недостатка как раз и придают его труду особую ценность. Успех его книги в Англии был из ряда вон выходящим, из чего я усматриваю, что ненависть Вальтера Скотта к Наполеону и французам как раз и сделала его истинным толмачом, истинным представителем английского общественного мнения и английского национального достоинства. Его книга будет служить пособием не столько по истории Франции, сколько по истории Англии. Но, так или иначе, его голос — необходимейшее свидетельство этого важного исторического процесса.

Да и вообще мне интересны все эти резко противоположные мнения о Наполеоне. Сейчас я читаю труд Биньона, который, по-моему, представляет собой исключительную ценность.

*Понедельник, 25 января 1830 г. \**

Я принес Гете опись, сделанную мной для предстоящего издания литературного наследия Дюмона. Гете прочитал ее очень внимательно, видимо, пораженный množеством знаний, идей и разнообразных интересов, свидетельствовавших о содержательности всего этого изобилия рукописей.

— У Дюмона, — сказал о н , — видимо, был необычайно широкий кругозор. Среди того, что он избирает предметом своей трактовки, все интересно и значительно, а выбор объектов исследования неизменно показывает, что за человек автор и чей дух его породил. Нельзя, конечно, требовать, чтобы ум человеческий был абсолютно универсален и самые разные предметы рассматривал бы одинаково талантливо и удачно, но если автору и не все одинаково удастся, то уже самое намерение и воля к темам столь разнообразным не может не вызвать глубокого уважения к нему. Но, пожалуй, наиболее примечательным и ценным мне кажется то, что у него постоянно преобла-

дает практическая, полезная и благожелательная тенденция.

Я принес с собою первые главы «Путешествия в Париж», которые намеревался прочесть Гете вслух, но он пожелал сам просмотреть их.

Засим он сказал несколько шуточных слов о трудности чтения вообще и о самонадеянности некоторых людей, воображающих, что любой философский или научный труд можно читать без соответствующей подготовки, словно первый попавшийся роман.

— Эти молодцы, — продолжал он, — даже не подозревают, сколько времени и труда нужно, чтобы *научиться читать*. Я потратил на это восемьдесят лет, но и сейчас еще не могу похвалиться, что достиг цели.

*Среда, 27 января 1830 г.*

Сегодняшний обед у Гете доставил мне истинное удовольствие.

Хозяин дома весьма похвально отозвался о господине *фон Мартиусе*.

— Его краткий обзор спиральной тенденции растений и й, — заметил он, — весьма значителен. Если можно пожелать автору большего, то разве что смелее и решительнее проводить в жизнь открытый им прафеномен и, не робея, провозгласить этот факт законом, не ища ему подтверждения на окольных путях.

Затем он показал мне протоколы гейдельбергского заседания естествоиспытателей, с приложением факсимиле всех на нем присутствовавших, которые мы принялись рассматривать, стараясь сделать выводы об их характерах.

— Я отлично знаю, — сказал Гете, — что науке от этих заседаний проку маловато; хороши они разве что одним: людям предоставляется возможность узнать или даже полюбить друг друга, а из этого следует, что новое учение солидного исследователя скорее найдет себе сторонников, которые, в свою очередь, заинтересуются нашими трудами в других областях науки, и этот интерес во многом поощрит нас. Так или иначе, но мы убеждаемся, что наука не стоит на месте, а к чему все это приведет, мы узнаем со временем.

Гете показал мне письмо некоего английского писателя, на конверте значилось: «*Его светлости князю Гете*».

— Этим титулом, — смеясь, сказал он, — и, вероятно, обязан немецким журналистам, которые от неумеренного усердия прозвали меня князем немецких поэтов. Так из невинного заблуждения немцев возникло столь же невинное заблуждение англичанина.

Затем он снова вернулся к господину фон Мартиусу, хваля его за пылкое воображение.

— По правде говоря, — продолжал он, — без этого прекрасного дара невозможно представить себе подлинного естествоиспытателя. Я, конечно, подразумеваю не расплывчатое и туманное воображение, не грезы о чем-то реальном, — но воображение, которое, отрываясь от нашей земли и пользуясь масштабом действительного и уже известного, устремляется к предугадываемому, предполагаемому. Вдобавок такое воображение должно еще выяснить, возможно ли это предполагаемое и не вступает ли оно в противоречие с другими, уже осознанными, законами. И еще, основной предпосылкой здесь является мысль спокойная и широкая, то есть способная охватить живую природу и ее законы.

Покуда мы беседовали, принесли пакет с переводом «*Брата и сестры*» на чешский язык, что, видимо, очень обрадовало Гете.

*Воскресенье, 31 января 1830 г. \**

Сопровождал принца к Гете. Он принял нас в своем кабинете.

Речь зашла о различных изданиях его произведений, и я был поражен, услышав из уст Гете, что у него нет большинства из них. Нет даже первого издания «Римского карнавала» с гравюрами на меди по собственным его рисункам.

— На одном аукционе, — сказал он, — я давал за него шесть талеров, но мне он все равно не достался.

Затем Гете показал нам первую рукопись «Геца фон Берлихингена» — в том самом виде, в каком пятьдесят лет тому назад он написал ее за несколько недель, по настоянию своей сестры. Тонкие линии его почерка уже в ту пору носили тот свободный и ясный характер, который сохраняется и доньше, когда он пишет готическими буквами. Рукопись была очень чистая, целые страницы без единой помарки, — казалось, это копия, а не первый торопливый набросок.

Гете сказал, что все ранние свои произведения он писал собственноручно, в том числе и «Вертера», но рукопись последнего затерялась. В позднейшее время он, напротив, почти все диктовал и записывал только стихи да беглые наброски планов отдельных работ. Он частенько вовсе не заботился о том, чтобы отдать в переписку новое свое творение, более того — нередко полагался на волю случая, отсылая типографщику в Штутгарт единственный драгоценный экземпляр.

После того как мы вдосталь насмотрелись на рукопись «Геца», Гете показал нам оригинал своего «Итальянского путешествия». Эти ежедневные записи — наблюдения и замечания — переписаны столь же четким и ровным почерком, как и его «Гец». Все решительно, твердо, уверенно, никаких помарок, чувствуется, что перед внутренним взором пишущего в любое мгновение свежо и отчетливо возникали даже мелкие детали этих заметок. Здесь все неизменно, кроме бумаги, которая в каждом городе, где останавливался путешественник, была другого формата и оттенка.

В конце рукописи мы обнаружили остроумный набросок пером, сделанный Гете, — итальянский адвокат в пышном облачении выступает с речью перед судом. Более комичную фигуру трудно себе представить, костюм же на нем до того нелепый, что кажется, будто он вырядился так для маскарада. Тем не менее это зарисовка подлинного выступления адвоката. Указательный палец уперт в кончик большого, другие пальцы растопырены; уверенный в себе, стоит толстый адвокат; это почти статичное положение как нельзя лучше сочетается с огромным париком, который он на себя напялил.

*Среда, 3 февраля 1830 г. \**

С «Глоб» и «Тан» разговор перешел на французскую литературу и литераторов.

— *Гизо*, — между прочим, сказал Гете, — человек солидный, вполне в моем вкусе. Его отличают глубокие знания, тесно связанные с просвещенным либерализмом, и потому-то, стоя над партиями, он идет своим собственным путем. Меня разбирает любопытство: какую роль он будет играть в палате, куда его сейчас выбрали?

— Многие, знающие его в основном понаслышке, — заметил я, — говорят о нем как о человеке несколько педантичном.

— Тут надо знать, — возразил Гете, — какого рода педантизм ставят ему в вину. Все значительные люди, которые ведут более или менее регулярный образ жизни и руководствуются твердыми принципами, люди мыслящие и не относящиеся к жизни как к пустой забаве, на поверхностного наблюдателя частенько производят впечатление педантов. Гизо человек дальновидный, спокойный и выдержанный, выгодно противостоящий чрезмерной французской живости, и эти его свойства им следовало бы ценить особенно высоко, — ведь такие люди им нужны в первую очередь.

— *Виллемен*, — продолжал Гете, — пожалуй, превосходит Гизо в ораторском искусстве, он способен логически развивать мысль от начала и до конца. Он не стесняется сильных выражений, чем добивается внимания и шумного успеха у слушателей, но он куда поверхностнее Гизо и куда менее реалистичен.

Что касается *Кузена*, то нам, немцам, он, конечно, мало что дает, ибо философия, которую он преподносит своим соотечественникам в качестве новинки, давным-давно нам знакома. Тем не менее он многое значит для французов, так как со временем даст им совсем новое направление.

*Кювье*, великий знаток природы, — весьма примечателен своей изобразительной силой и стилем. Никто не излагает факты выразительнее, чем он. Но философия ему, в общем-то, чужда. Он сумеет вырастить очень знающих, однако поверхностных учеников.

Слушать все это мне было тем интереснее, что взгляды Гете были близки взглядам Дюмона на вышеупомянутых ученых. Я пообещал ему выписать соответствующие места из их рукописей, дабы при случае сопоставить их со своим собственным мнением.

Упоминание о Дюмоне навело разговор на отношение Гете к *Бентаму*, о коем он выразился следующим образом.

— Хотел бы я понять, — сказал он, — как случилось, что такой разумный, умеренный и практический человек, как Дюмон, стал учеником и верным почитателем дурака Бентама.

— Бентам, — отвечал я, — личность двойственная. Я лично вижу в нем *Бентама-гения*, обосновавшего принципы, которые извлек из забвения и тем самым широко распространил Дюмон, и *Бентама — страстного человека*, из чрезмерной любви к полезности переступившего гра-

ницы собственного учения и таким образом сделавшегося радикалом как в политике, так и в религии.

— Вот это-то, — отвечал Гете, — и является для меня загадкой: старик завершает свою долгую жизнь, ставши радикалом.

Стремясь сгладить это противоречие, я заметил, что Бентам, твердо уверенный в совершенстве своего учения, равно как и открытых им законов, а также принимая во внимание невозможность полного изменения господствующей в Англии системы, тем паче поддался страстному своему рвению, что, почти не соприкасаясь с внешним миром, не мог представить себе всю опасность насильственного переворота.

— Дюмон, — продолжал я, — менее страстный и более здравомыслящий, никогда не одобрял неистового рвения Бентама и сам был донельзя далек от такого рода ошибок. К тому же он имел счастье насаждать принципы Бентама в стране, которую, вследствие политических событий той эпохи, можно было рассматривать как *новую*, а именно в Женеве, где все прекрасно ему удавалось, что доказывало ценность принципов как таковых.

— Дюмон, — отвечал Гете, — умеренный либерал, какковыми, впрочем, являются и должны являться все благоразумные люди, и я в том числе; действовать в духе умеренного либерализма я старался в течение всей своей долгой жизни. Истинный либерал, — продолжал он, — тщится доступными ему средствами сделать возможно больше добра, но при этом остерегается огнем и мечом искоренять недостатки. Он хочет, неторопливо продвигаясь вперед, мало-помалу устранять общественные пороки, не прибегая к насильственным мерам, которые сметают с лица земли не меньше доброго, чем порождают его. В этом несовершенном мире он довольствуется существующим добром до тех пор, покуда времена и обстоятельства не будут способствовать достижению большего.

*Суббота, 6 февраля 1830 г.*

Обед у *госпожи фон Гете*. Молодой Гете рассказывал премилые историйки о своей бабушке, госпоже советнице Гете из Франкфурта, которую посетил двадцать лет тому назад в бытность свою студентом. Вскоре он получил приглашение сопровождать ее на обед к князю-примасу.

Князь, желая особо почтить госпожу Гете, вышел встретить ее на лестницу, но так как на нем было его

обычное облачение, то она, приняв его за аббата, почти не обратила на него внимания. Да и за столом, сидя рядом с ним, поначалу сохраняла довольно суровое выражение лица. Однако из застольных разговоров и вообще из поведения присутствующих ей, мало-помалу, уяснилось, что ее сосед и есть князь-примас.

Засим он поднял свой бокал за ее здоровье и здоровье ее сына; госпожа советница, в свою очередь, поднялась и провозгласила тост за благополучие его преосвященства.

*Среда, 10 февраля 1830 г. \**

Сегодня после обеда зашел на несколько минут к Гете. Он радовался приближению весны и прибавляющимся дням. Далее мы заговорили о его «Учении о цвете». Он, видимо, сомневается в том, что ему удастся проложить широкую дорогу своей немудрящей теории.

— За последнее столетие, — сказал он, — ошибки моих противников получили такое распространение, что я, на своем одиноком пути, вряд ли могу надеяться найти себе попутчика. Я останусь в одиночестве! Я сам себе кажусь потерпевшим кораблекрушение, который ухватился за доску, но, увы, она выдерживает только его одного. Этот один спасается, остальные же гибнут в пучине.

*Воскресенье, 14 февраля 1830 г.\**

Сегодняшний день оказался для Веймара днем траура. В половине второго пополудни скончалась великая герцогиня Луиза. Ныне правящая великая герцогиня повелела мне нанести визиты фрейлейн фон Вальднер и Гете, дабы от ее имени выразить им соболезнование.

Сначала я пошел к фрейлейн фон Вальднер и застал ее в глубоком горе, потрясенной невозвратимой утратой.

— Более полувека, — сказала она, — я служила почившей государыне. Она сама избрала меня своей придворной дамой, и выбор ее преисполнил меня гордостью и счастьем. Я покинула отечество, чтобы всецело предаться служению ей. Почему она и теперь не захотела взять меня с собою, почему не избавила от необходимости долго томиться в ожидании нового воссоединения?

От нее я отправился к Гете. Но у него все обстояло совсем по-другому. Разумеется, утрату он чувствовал не менее глубоко, но как же он властвовал над своими чувствами. Я застал его в обществе доброго друга, за бутыл-

кой вина. Гете был оживлен, и я бы даже сказал — в хорошем настроении.

— Милости просим! — сказал он, увидев меня. — Подсаживайтесь к нам! Удар, давно уже над нами нависавший, теперь разразился, и нам, по крайней мере, не придется больше терзаться грозной неизвестностью; надо подумать о том, как примириться с жизнью.

— Вот ваши утешители, — сказал я, указывая на его рукописи. — Работа всего лучше помогает справиться с горем.

— Покуда день не угас, — отвечал Гете, — будем высоко держать голову, и покуда мы еще в состоянии творить, не будем падать духом.

Он заговорил о тех, кто достиг поистине преклонного возраста, упомянул и о пресловутой Нинон.

— Она и на девяностом году жизни еще была молода, — сказал он, — ибо умела сохранять душевное равновесие и земным делам не придавала большего значения, чем они того стоили. Даже смерть не внушала ей чрезмерного трепета. Когда на восемнадцатом году жизни она встала с одра тяжкой болезни и близкие поведали ей об опасности, которой она подвергалась, Нинон спокойно сказала: «Ну, беда не велика! Ведь все, кого я бы оставила здесь, смертны!» После этого она прожила еще больше семидесяти лет, любящая и любимая, наслаждаясь всеми радостями бытия. При этом она сохраняла душевное равновесие, неизменно возвышаясь над страстями, сжигающими человека. Нинон это умела. Но мало кто умел последовать ее примеру.

С этими словами он протянул мне письмо *Баварского короля*, сегодня им полученное и, видимо, немало способствовавшее его хорошему настроению.

— Прочтите, — сказала он, — и признайтесь, что благоклонность, которую король постоянно выказывает мне, и его живой интерес к успехам литературы и вообще высокому развитию человечества не может не радовать меня. И то, что именно сегодня ко мне пришло это письмо, я рассматриваю как великую милость господню.

Засим мы заговорили о театре и драматической поэзии.

— Гоцци угодно было утверждать, — сказал Гете, — что существует всего тридцать шесть трагических ситуаций. Шиллер изо всех сил старался найти побольше, однако даже тридцати шести не насчитал.

Тут разговор перешел на некую статью в «Глоб», а именно — критический разбор «Густава Вазы» Арно.

Ход мысли и манера изложения рецензента доставили много удовольствия Гете и заслужили полное его одобрение. Критик ограничился перечислением всех реминисценций автора, ни слова не сказав о нем самом или его поэтических принципах.

— «Тан», — заметил Гете, — повел себя менее мудро в критической статье на ту же тему. Он дерзает указывать поэту путь, которым тому следовало бы идти. Это величайшая ошибка, таким способом никого не исправишь. Вообще ничего не может быть глупее, чем говорить поэту: это тебе следовало сделать так-то, а вот это по-другому! Я сейчас говорю как старый знаток. Из поэта не сделаешь ничего вопреки тому, что заложено в нем природой. Если вам вздумается сделать его другим — вы его изничтожите.

Мои друзья из «Глоб», как уже сказано, поступают весьма разумно. Они приводят длинный список тех общих мест, кои господин Арно заимствовал где ни попадя. И таким образом хитро указывают на подводный риф, которого впредь автору следует остерегаться. В наши дни вряд ли возможно сыскать ситуацию, безусловно новую. Новой может быть разве что точка зрения да искусство ее изображения и обработки; вот здесь необходимо остерегаться подражания.

В подтверждение своих слов Гете рассказал нам, как Гоцци сумел организовать свой театр del Arte в Венеции и как там любили его труппу импровизаторов.

— Я еще застал в Венеции, — добавил он, — двух актрис из этой труппы, в первую очередь назову Бригелла, и успел побывать на этих импровизированных спектаклях. Впечатление актеры производили из ряда вон выходящее.

Затем Гете вспомнил о неаполитанском Пульчинелле.

— Основной прием этого вульгарно-комического персонажа, — сказал он, — состоял в том, что он словно бы забывал, что он актер и находится на сцене. Пульчинелла изображал, что вернулся домой, доверительно беседовал со своим семейством, рассказывая о пьесе, в которой играл сегодня, и о другой, в которой ему предстоит играть: он, не стесняясь, отправлял свои малые надобности.

«Послушай, муженек, — восклицала его жена, — забывайся, вспомни о почтенной публике, ты же стоишь перед ней!» — «Верно! Верно!» — и под бурные аплодисменты зрителей снова входил в прежнюю роль. Кстати сказать, у театра Пульчинеллы такая слава, что ни один человек из общества не решится сказать, что посещает его. Женщины, как легко догадаться, туда вообще не хо-

дят, это чисто мужское зрелище. Пульчинелла — нечто вроде живой газеты. Все сколько-нибудь примечательное из того, что за день случилось в Неаполе, вечером можно услышать от него. Однако местные интересы, преподнесенные на престолярном диалекте, чужеземцу остаются почти непонятными.

Гете перевел разговор на другие воспоминания ранней своей поры. Он почему-то вдруг сказал, что никогда не доверял бумажным деньгам, ибо в этом отношении у него имеется немалый опыт. В подтверждение такового он рассказал нам некий анекдот о Гримме, из времен Французской революции, когда тот, не чувствуя себя в безопасности в Париже, вернулся в Германию и проживал в Готе.

— Однажды мы собрались у него к обеду. Не помню уже почему разговор принял такой оборот, но Гримм вдруг воскликнул: «Бьюсь об заклад, что ни у одного монарха в Европе нет таких драгоценных манжет, какие есть у меня, и что никто не заплатил бы за них столь высокую цену, какую заплатил я!» Мы, конечно, громко выразили свое удивление, в первую очередь дамы, не скрывая, что нам было бы очень любопытно взглянуть на это диво. Гримм поднялся и достал из шкафчика пару кружевных манжет такой роскоши и красоты, что все ахнули. Мы попытались их оценить, но все сошлись на том, что цена им сто, а то и двести луидоров. Гримм засмеялся и воскликнул: «Вы очень далеки от истины! Я заплатил за них дважды по двести пятьдесят тысяч франков, да еще радовался, что так хорошо пристроил свои ассигнации. На следующий день они уже гроша ломаного не стоили».

*Понедельник, 15 февраля 1830 г.\**

Сегодня в предобеденное время зашел на минуту к Гете, дабы от имени великой герцогини осведомиться о его самочувствии. Он был печален и задумчив, ни следа от его вчерашнего несколько искусственно приподнятого настроения. Видимо, сегодня он еще глубже ощутил утрату, оборвавшую его полувековую дружбу.

— Я должен работать изо всех сил, — сказал он, — чтобы не вовсе пасть духом и смириться с этой внезапной разлукой. Смерть так странна и таинственна, что несмотря на весь наш опыт, мы не считаем ее возможной в отношении дорогих нам существ, и потому она всегда является для нас чем-то невероятным и неожиданным. Она —

невозможность, которая вдруг становится действительностью. Этот переход от известного нам существования в другое, о котором нам ничего не известно, акт настолько феноменальный, что оставшиеся в живых не могут не быть до глубины души потрясены им.

*Пятница, 5 марта 1830 г.\**

Фрейлейн фон Тюркгейм, близкая родственница девушки, в которую Гете был без памяти влюблен в годы юности, провела некоторое время в Веймаре. Сегодня я сказал ему, что очень сожалею об ее отъезде.

— Она так молода, но взгляды на жизнь у нее возвышенные и правильные, а ум вполне зрелый, что редко встречается в ее возрасте. Да и вообще она произвела в Веймаре очень большое впечатление. Останься она здесь подольше, многим здешним жителям грозила бы серьезная опасность.

— Как я жалею, — сказал Гете, — что видел ее так мало и все только собирался пригласить ее и в ее лице отыскать некогда столь любимые черты ее родственницы.

— Четвертый том *«Поэзии и правды»*, — продолжал он, — где я рассказываю о моей юношеской любви к *Лили*, о счастье и страданиях, вот уже некоторое время как закончен. Я бы закончил его и даже издал много раньше, если бы не некоторые соображения деликатного свойства, касающиеся не меня, но моей любимой, которая в то время была еще жива. Я с гордостью поведал бы всему миру, как страстно я ее любил; думается, что и она, не краснея, призналась бы, что чувства мои не остались безответными. Но я не считал себя вправе открыто сказать об этом без ее дозволения. Я все собирался попросить ее дать мне его, но не решался, покуда не пришла пора, когда оно уже было не нужно.

Говоря с таким участием о прелестной молодой девушке, собирающейся нас покинуть, вы разбудили во мне воспоминания. Я как живую вижу перед собой очаровательную *Лили*, и мне чудится, что на меня вновь дохнуло ее животворной близостью. Она ведь была первой, кого я глубоко и по-настоящему любил. И последней тоже, ибо все последующие мои увлечения были лишь легкими и поверхностными в сравнении с этой первой любовью.

— Никогда, — продолжал Гете, — я не был так близок к истинному счастью, как в пору моей любви к *Лили*.

Препятствия, вставшие между нами, собственно говоря, были преодолимы — и все же я утратил ее.

Мое чувство к ней было так деликатно и такое в нем было своеобразие, что и теперь, когда я воссоздаю эту болезненно-счастливую пору, она влияет на мой стиль. Когда вы станете читать четвертый том *«Поэзии и правды»*, вы поймете, что эта любовь нимало не похожа на любовь, описываемую в романах.

— То же самое, — отвечал я, — можно было бы сказать и о вашей любви к Гретхен и Фридерике. Обе девушки нарисованы вами настолько ново и оригинально, что романистам такое и в голову не придет. Видимо, это объясняется великой правдивостью рассказчика, который не старается приукрасить пережитое и выставить его в наиболее выгодном свете и к тому же избегает любой чувствительной фразы там, где достаточно простого описания событий.

— Да ведь и сама любовь, — добавил я, — не одинакова, она всегда своеобразна и меняется в зависимости от личности и характера той, которую мы любим.

— Вы совершенно правы, — согласился Гете, — ибо любовь не только мы, но и та, чье очарование пробудило ее. Не следует также забывать и о третьей силе, я говорю о демоническом начале, неизменно сопровождающем страсть; любовь — это подлинная его стихия. В моих отношениях с Лили демоническое начало играло исключительно большую роль, и я ничего не преувеличу, сказав, что мой переезд в Веймар и мое пребывание здесь явились непосредственным следствием этой любви.

*Суббота, 6 марта 1830 г.\**

Последнее время Гете читает *«Мемуары» Сен-Симона*.

— Я дочитал до смерти Людовика Четырнадцатого, — сказал он на днях. — Все предшествующие двенадцать томов были мне в высшей степени интересны прежде всего из-за контраста между устремлениями государя и аристократической добродетелью его приближенного. Но когда этот монарх отошел в мир иной и его место оказалось занятым другим действующим лицом, слишком ничтожным, чтобы Сен-Симон мог предстать рядом с ним в выгодном для себя свете, все мне уже прискучило, более того — я ощутил некую неприязнь к этому чтению и оставил книгу на том месте, где меня оставил *«тиран»*.

К «Глоб» и «Тан», которые Гете с увлечением читал вот уже несколько месяцев, за последние две недели он тоже ни разу не притронулся. Номера этих журналов он откладывает, даже не вскрыв бандеролей. Но, с другой стороны, просит друзей рассказывать ему о том, что творится в мире. Он трудится сейчас очень продуктивно и с головой ушел во вторую часть «Фауста». Всего больше его, кажется, захватила «Классическая Вальпургиева ночь», последние недели он без отрыва над ней работает, и она на диво быстро и легко продвигается вперед. В пору такого творческого подъема Гете вообще не любит читать и признает разве что легкое развлекательное чтение, которое дает ему благодетельную передышку, или уж чтение, связанное с темой, над которой он сейчас работает, а следовательно, полезное. Он решительно избегает всего, что может произвести на него большое, волнующее впечатление, иными словами — вторгнуться в спокойный процесс созидания, расцепить творческий интерес и увлечь его в сторону. Это соображение, как видно, имеет место и в случае с «Глоб» и «Тан».

— Мне ясно, — сказал он однажды, — что в Париже подготавливаются большие события. Мы накануне грандиозного взрыва. Но так как я ни на что не могу повлиять, то остается спокойно переждать события, не позволяя увлекательному развитию драмы, что ни день, ввергать меня в бесполезные волнения. Я сейчас не читаю ни «Глоб», ни «Тан», и моя «Вальпургиева ночь» неплохо продвигается вперед.

Далее он заговорил о состоянии новейшей французской литературы, которая очень его интересует.

— Французам, — сказал он, — новым в их нынешнем литературном направлении, в сущности, представляется то, к чему мы, немцы, стремились и чего достигли пятьдесят лет тому назад. Росток исторических пьес, которые у них объявляются новинкой, вот уже полвека существует в моем «Геце», при том, что немецкие писатели отродясь не имели намерения влиять на французов. У меня самого перед глазами всегда стояла только моя Германия, и лишь вчера или третьего дня мне захотелось обратить свой взор на запад и полюбопытствовать: что думают обо мне наши соседи по ту сторону Рейна. Но и сейчас они на меня не влияют. Даже Виланд, подражавший французской манере, французским формам изображения, по сути своей всегда оставался немцем и в переводе произвел бы невыгодное впечатление.

Воскресенье, 14 марта 1830 г.

Вечером у Гете. Он показал мне уже рассортированные сокровища из присланного *Давидом* ящика, за разборкой которого я застал его несколько дней тому назад. Сегодня гипсовые медальоны с портретами наиболее выдающихся молодых поэтов и писателей Франции были уже разложены по столам в строго определенном порядке. Он снова заговорил об исключительном таланте Давида, как в восприятии, так и в исполнении. Потом показал мне множество новейших произведений — подарки лучших представителей романтической школы, присланные ему через Давида. Передо мной лежали произведения Сент-Бёва, Балланша, Виктора Гюго, Бальзака, Альфреда де Виньи, Жюль Жанена и других.

— Давид, — сказал он, — своей посылкой уготовил мне поистине счастливые дни. Я всю неделю читаю молодых писателей, и свежие впечатления вливают в меня новую жизнь. Я сделаю специальный каталог этих дорогих мне портретов и книг, чтобы отвести им особое место в моем художественном хранилище и в библиотеке.

Я видел по лицу Гете, как глубоко его порадовали знаки почтения со стороны молодых писателей Франции.

Засим он прочитал кое-что из «*Этюдов*» Эмиля Дешана. О переводе «*Коринфской невесты*» отозвался с похвалой, назвав его верным и удавшимся.

— У меня имеется, — добавило он, — рукопись итальянского перевода этой баллады, воссоздающего даже ритм оригинала.

«Коринфская невеста» послужила Гете поводом для разговора о других его балладах.

— Большинство из них я обязан Шиллеру, — сказал он, — Всегда нуждаясь в чем-то новом для своих «*Ор*», Шиллер понуждал меня писать баллады. Я годами вынашивал их, они занимали мой ум, как прекрасные картины, как чарующие мечты, которые то посещают нас, то развеиваются и, как бы играя, услаждают нашу фантазию. Я с трудом решился сказать «прости» этим блистательным и уже сроднившимся со мною видениям, воплотив их в скудные, недостаточно выразительные слова. Когда они предстали передо мной на бумаге, я ощутил смутную тоску, словно навеки расставался с лучшим своим другом.

— В иные времена, — продолжал Гете, — со стихами дело у меня обстояло иначе. Они не жили во мне, я их

не предчувствовал, — возникнув неожиданно-негаданно, они властно требовали завершения, и я ощущал неодолимую потребность тут же, на месте, произвольно, почти как сомнамбула, записать их. В таком лунатическом состоянии я частенько не видел, что лист бумаги, оказавшийся передо мной, лежит криво, кое-как, и замечал это, лишь когда все уже было написано или мне не хватало места, чтобы писать дальше; у меня было много таких исписанных по диагонали листков, но с течением времени они куда-то запропастились, и я очень жалею, что у меня не сохранилось свидетельств такой поэтической углубленности.

Разговор опять вернулся к французской литературе, в частности к самоновейшей ультраромантической тенденции некоторых весьма одаренных писателей. Гете считал, что эта находящаяся в периоде становления поэтическая революция, благотворная для литературы, в той же мере вредоносна для отдельных писателей, ей способствующих.

— Ни одна революция, — сказал он, — не обходится без крайностей. При революции политической обычно хотят только одного — разделаться со всевозможными злоупотреблениями; но не успеешь оглянуться, и благие намерения уже тонут в крови и ужасе. Вот и сейчас французы, совершая литературный переворот, имеют в виду всего-навсего более свободную форму, но они на этом не останавливаются и заодно с формой ниспровергают и привычное содержание. Изображение благородного образа мыслей и благородных поступков новейшим писателям прискучивает, они пробуют свои силы в воссоздании грязного и нечестивого. Прекрасные образы греческой мифологии уступают место чертям, ведьмам и вампирам, а возвышенные герои прошлого — мошенникам и каторжникам. Так оно пикантнее! И действует сильнее! Но, отведав этого сильно наперченного кушанья и привыкнув к нему, публика потребует еще более острого. Молодой талант, который хочет себя проявить и добиться признания, но не обладает достаточно силой, чтобы идти собственным путем, поневоле должен приспосабливаться к вкусам времени, более того — должен стараться превзойти своих предшественников в изображении ужасов и страхов. В такой погоне за внешними эффектами он волей-неволей пренебрегает углубленным изучением своего ремесла, а также и собственным последовательным развитием. И большего вреда одаренный писатель себе нанести не может, хотя

литература в целом и выигрывает от такой скоропреходящей тенденции.

— Но неужто тенденция, губительная для отдельного человека, может благоприятствовать литературе в целом? — удивился я.

— Извращения и крайности, упомянутые мною, — отвечал Гете, — мало-помалу исчезнут, но останется то огромное преимущество, что наряду с более свободной формой привычным станет и более многообразное, многообъемлющее содержание и ничто из существующего в нашем обширном мире и в нашей сложной жизни уже не будет объявляться непоэтическим, а значит, и непригодным. Нынешнюю литературную эпоху мне хочется сравнить с горячным состоянием, ничего хорошего или желательного в нем нет, но последствием его является укрепление здоровья. То нечестивое, низкое, что сейчас нередко составляет все содержание поэтического произведения, со временем станет лишь одним из его *компонентов*. Более того, писатели будут возжелать чистоты и благородства, которые они сейчас предают сожжению.

— Меня удивляет, — сказал я, — что и Мериме, а он ведь один из ваших любимцев, с помощью мерзостных сюжетов своей «Гузлы» вступил на ту же ультраромантическую стезю.

— Мериме, — отвечал Гете, — толковал все совсем не так, как его собратья. В «Гузле» тоже нет недостатка в устрашающих мотивах — кладбищах, ночных перекрестках, призраках, вампирах, но вся эта дребедень идет у него не от души, скорее он смотрит на нее со стороны и довольно иронически. Правда, он целиком предается этой своей затее, что естественно для художника, решившего попытать силы в чем-то новом и непривычном. От себя он здесь полностью отрешился, забыл даже, что он француз, и так основательно, что все поначалу и впрямь сочли стихи из «Гузлы» иллирийскими народными песнями, а значит, задуманная мистификация чуть было не удалась ему.

— Мериме, — продолжал Гете, — конечно, малый не промах! Да и вообще для объективного воссоздания того или иного сюжета нужно иметь больше сил и гениальной одаренности, чем кажется на первый взгляд. Так Байрон, например, несмотря на явное преобладание в нем личного начала, умел временами полностью от себя отрешиться; я имею в виду его драмы, и прежде всего «Марино Фальеро». Тут мы вконец забываем, что эта вещь вышла из-под

пера Байрона, из-под пера англичанина. Мы живем в Венеции, живем в одном времени с действующими лицами, которые говорят лишь то, что должны говорить по ходу действия, без малейшего намека на субъективные чувства, мысли и мнения автора. Так и должно быть! О французских ультраромантиках этого, конечно, не скажешь. Что бы я ни читал из их произведений: стихи, романы, пьесы — на всем отпечаток личности автора, никогда я не мог забыть, что это написано французом, парижанином. Даже если сюжет взят из жизни другой страны, мы все равно остаемся во Франции, в Париже, запутанные в тенега желаний, потребностей, конфликтов и волнений текущего дня.

— Беранже, — осторожно вставил я, — тоже ведь повсюду говорит лишь о событиях в великой столице, да еще о своей внутренней жизни.

— Да, но то, что он изображал, чего-то стоило, так же как и его внутренняя жизнь. Значительная личность чувствуется во всех произведениях Беранже. Это одаренная натура, развившаяся самостоятельно, на собственной прочной основе и пребывающая в безусловной гармонии сама с собой. Он никогда не задавался вопросом: что сейчас в моде? Что производит впечатление? Что нравится публике? И еще: что делают другие? Надо и мне делать, как они. Важнее всего ему было то, что всегда в нем жило, он и не помышлял о том; чего ждет публика, чего ждет та или иная партия. Разумеется, в тревожные времена Беранже прислушивался к настроениям, желаниям и потребностям народа, но это лишь укрепило его веру в себя, ибо ему уяснилось, что душа его находится в полной гармонии с душою народа. Но ни разу он не поддавался соблазну заговорить о чем-либо чуждом его сердцу.

Вы же знаете, я не большой охотник до так называемых *политических* стихов, но стихи Беранже — дело другое. Он ничего не берет с потолка, нет у него вымышленных, надуманных интересов, он не бросает слов на ветер, — напротив, упорно держится конкретных и значительных сюжетов. Любовное восхищение Наполеоном, воспоминания о великих военных подвигах, совершенных в его царствование, к тому же во времена, когда эти воспоминания служили утешением несколько подавленным французам, затем его ненависть к засилию попов, к мракобесию, которое грозно надвигалось вместе с иезуитами, — право же, все это заслуживает полнейшего сочувствия. А с каким мастерством обработана каждая его но-

вая вещь! Как долго он обкатывает, округляет сюжет, в нем зародившийся, прежде чем его обнародовать! А когда тот уже созрел, сколько остроумия, иронии, ума и насмешливости, а также наивности, грации и простосердечия сопровождают любой его ход! Песни Беранже из года в год дарят радостью миллионы читателей и слушателей. Они, бесспорно, доступны и рабочему люду, и притом так возвышаются над уровнем обыденного, что народ в общении с этими прелестными порождениями привыкает, даже чувствует себя вынужденным мыслить глубже и благороднее. Чего же вам больше? Что лучшего можно сказать о поэте?

— Спору нет, они превосходны, — отвечал я. — Вам известно, как давно я его люблю, и вы можете себе представить, до чего мне приятно слышать из ваших уст столь лестные отзывы о нем. Но если бы меня спросили, какие из его песен мне больше по душе, я бы сказал: любовные, а не политические, тем паче что в последних кое-какие ссылки и намеки мне не до конца понятны.

— Это дело в а ш е , — отвечал Г е т е , — к тому же политические песни не для вас написаны; спросите-ка *французов*, они вам растолкуют, что в них хорошего. Политическое стихотворение и вообще-то следует рассматривать, — и это еще в лучшем случае, — как рупор одной нации, а обычно даже одной определенной партии. Зато, конечно если оно хорошо, эта нация и эта партия воспринимают его с восторгом. Политическое стихотворение, собственно говоря, продукт определенной эпохи, которая, разумеется, уходит в прошлое, унося с собой всю его ценность, заключающуюся в сюжете. Беранже-то хорошо! Париж — это Франция. Интересы всей обширной страны концентрируются в столице, там находят свою настоящую жизнь и настоящий отклик. Кроме того, большинство политических песен Беранже отнюдь не является рупором какой-то одной партии. То, против чего он восстает в этих песнях, обычно представляет общенациональный интерес, так что голос поэта едва ли не всегда воспринимается как мощный *глас народа*. У нас в Германии такое невозможно! Нет у нас ни города, ни даже земли, про которую можно было бы сказать: *здесь Германия!* Спросим мы в Вене, ответ будет: это Австрия! Спросим в Берлине: это Пруссия! Только шестнадцать лет тому назад, когда мы наконец всерьез захотели сбросить иго французов, Германия была повсюду. В ту пору политический поэт мог бы воздействовать на всех, но никто в нем не нуждался! Общая

беда, общее ощущение бесчестия, подобно некоему демону, завладела нацией. Огонь воодушевления, который мог бы разжечь поэт, горел и без него. Нельзя, впрочем, отрицать что *Ардт*, *Кёрнер* и *Рюккерт* кое-что сделали в этом направлении.

— Вам ставят в упрёк, — несколько неосторожно заметил я, — что в то великое время вы не взялись за оружие и даже как поэт не участвовали в борьбе.

— Оставьте это, мой милый, — отвечал Гете. — Абсурдный мир, увы, больше не знает, чего ему желать. Пусть говорят и делают, что им вздумается. Как мог я взяться за оружие, если в сердце у меня не было ненависти! Не могла она во мне разгореться, ибо я уже был немолод. Если бы эти события произошли, когда мне было двадцать, я бы, вероятно, был в первых рядах, но мне в то время шел уже седьмой десяток.

К тому же не все мы служим отечеству одинаково, каждый делает наилучшее, в зависимости от того, чем одарил его господь бог. Много я положил трудов и усилий в течение полусотни лет. И смело могу сказать, что в делах, для которых предназначила меня природа, я не давал себе ни отдыха, ни срока, никогда не давал себе поблажек и передышек, вечно стремясь вперед; исследовал, работал, сколько хватало сил. Если бы каждый мог сказать о себе то же самое, все обернулось бы к общему благу.

— В сущности, — сказал я, стараясь смягчить впечатление, произведенное моими словами, — вы должны были бы гордиться этим упрёком. Он лишь свидетельствует, как высоко ставит вас человечество, но, зная, сколь многое вы сделали для просвещения своей нации, они хотят, чтобы вы сделали все.

— Не стоит говорить, что я об этом думаю, — отвечал Гете. — За таким требованием кроется больше злой воли, чем вы полагаете. Я чувствую, что это лишь новая форма старой ненависти, с которой меня преследуют уже невесть сколько лет, тщась исподтишка мне напакоstitь. Я знаю, для многих я, как бельмо в глазу, и они жаждут от меня избавиться. А поскольку теперь меня уже нельзя поносить за особенности моего таланта, они придираются к моему характеру. Объявляют меня то гордецом, то эгоистом, твердят, что я завидую молодым талантам, что мое основное занятие — предаваться чувственным наслаждениям. То я чужд христианства, то, наконец, начисто лишён любви к своему отечеству и нашим добрым немцам.

Вы за долгие годы успели хорошо узнать меня и понимаете, чего стоят эти измышления. Но если вы хотите еще узнать, сколько я выстрадал, дочитайте «*Ксении*», из моих реплик вам уяснится, чем меня донимали в разные периоды моей жизни.

Немецкий писатель — немецкий мученик! Да, дорогой мой! Вы сами сможете в этом убедиться. Но мне еще грех жаловаться; другим пришлось не лучше, а пожалуй что, и хуже. В Англии и во Франции происходило совершенно то же самое. Чего только не натерпелся Мольер, не говоря уж о Руссо и Вольтере! Злоязычие прогнало Байрона из Англии; он сбежал бы от него на край света, если бы ранняя смерть не избавила его от филистеров и их ненависти.

Ну если бы еще тупая толпа преследовала людей, поднявшихся над нею. Так нет же! Один одаренный человек преследует другого. Платен портит жизнь Гейне, Гейне — Платену, и каждый из них силится очернить другого, внушить к нему ненависть, хотя земля наша достаточно велика и обширна для мирного труда и мирной жизни, вдобавок каждый в собственном своем таланте имеет врага, доставляющего ему хлопот по горло.

Сочинять военные песни, сидя в своей комнате! Очень на меня похоже! На биваке, где ночью слышно, как ржут лошади на вражеских форпостах, еще куда ни шло! Но это не *мое* призвание, не *моя* жизнь, а жизнь *Теодора Кёрнера*. Ему его военные песни к лицу, но для меня, человека отнюдь не воинственного и до войны не охочего, такие песни были бы безобразной личиной.

В своей поэзии я никогда не притворялся. Писал лишь о том, о чем молчать мне было невмочь, что само просилось на бумагу. Любовные стихи я сочинял, только когда любил. Как же мог я сочинять песни ненависти, не ненавидя! И еще, но это между нами: французы мне ненависти не внушали, хотя я и возблагодарил господу, когда мы от них избавились. Да и как мог бы я, ежели для меня нет понятий более значительных, чем культура и варварство, ненавидеть нацию, едва ли не культурнейшую на свете, которой я обязан немалой долей своей просвещенности?

— И вообще, — продолжал он, — странная получается штука с национальной ненавистью. Она всего сильнее, всего яростнее на низших ступенях культуры. Но существует и такая ступень, где она вовсе исчезает, где счастье или горе соседнего народа воспринимаешь как свое

собственное. Эта ступень культуры мне по нраву, и я твердо стоял на ней еще задолго до своего шестидесятилетия.

*Понедельник, 15 марта 1830 г.*

Вечером провел часок у Гете. Он много говорил о Иене, о преобразованиях и улучшениях, которые ему удалось провести в тамошнем университете. Он учредил кафедры химии, ботаники и минералогии, тогда как раньше эти науки рассматривались лишь как вспомогательные дисциплины при изучении фармакологии. Но больше всего он содействовал пополнению университетского музея и библиотеки.

Тут он вновь, все так же весело и самоудовлетворенно, рассказал мне историю своего насильственного овладения залом, граничившим с библиотекой; зал этот принадлежал медицинскому факультету, который ни за что не соглашался его уступить.

— Библиотека, — продолжал Гете, — пребывала в совершенном упадке. Сырое и тесное помещение, никак не приспособленное для достойного хранения имевшихся в ней сокровищ, в особенности после того, как великий герцог приобрел *Бюттнерову* библиотеку числом в тринадцать тысяч томов, которые грудами лежали на полу, ибо, как я уже говорил, их негде было расставить. Я не знал, как выйти из этого затруднения. Пристроить новое помещение, — но для этого у университета не было средств, к тому же можно было обойтись и без пристройки, так как непосредственно к библиотеке примыкал большой, обычно пустующий зал, который мог наилучшим образом удовлетворить все наши потребности. Однако зал этот принадлежал не библиотеке, а медицинскому факультету, который время от времени использовал его для своих конференций. Итак, я обратился к господам медикам с покорнейшей просьбой: уступить мне зал для библиотеки. Но они к моей просьбе не снизошли. Впрочем, они готовы были ее удовлетворить, если я, и притом немедленно, построю им новое помещение для конференций. Я ответил, что готов отдать распоряжение о строительстве нового здания, но поручиться за немедленное начало работ не могу. Мой ответ их, разумеется, не удовлетворил. На следующее утро, когда я послал к ним за ключом, выяснилось, что его нигде не могут найти.

Мне осталось только силой завоевать злополучный

зал. Я велел позвать каменщика и подвел его к стене, отделявшей зал от библиотеки.

«Эта стена, друг мой, — сказал я, — вероятно, очень толстая, так как она разделяет здание на две части. Испытайте-ка ее крепость». Каменщик взялся за дело. После пяти или шести хороших ударов посыпалась штукатурка, кирпичная пыль и в проломленное отверстие стали уже видны портреты почтенных ученых в париках, которыми был украшен зал.

«Продолжайте, друг мой, — сказал я, — я еще плоховато все вижу. Не стесняйтесь, работайте, как у себя дома». Мое дружеское поощрение подействовало на каменщика, и вскоре отверстие было уже достаточно велико, чтобы сойти за дверь. Служащие библиотеки с охапками книг в руках ринулись в пролом и стали складывать книги на пол, так сказать, застолбили новое владенье. Скамьи, стулья и пюпитры мигом были удалены, а верные мои сотрудники стали действовать так быстро и споро, что через несколько дней все книги, в идеальном порядке, уже стояли на полках вдоль стен. Господа медики, вскоре вошедшие в зал через старую дверь, были положительно ошеломлены этим внезапным удивительным превращением. Не зная, что сказать, они молча ретировались, но затаили злобу против меня. Впрочем, теперь, когда я встречаюсь с ними поодиночке или принимаю их у себя за столом, они сама любезность и ведут себя как лучшие мои друзья. Когда я рассказал великому герцогу о том, как все происходило, — а происходило, разумеется с его ведома и согласия, он очень веселился, и мы с ним впоследствии нередко хохотали над этой историей.

Гете был в отличнейшем настроении и с радостью предавался этим воспоминаниям.

— Да, мой дорогой, — продолжал он, — немало я должен был исхищряться, чтобы настоять на своем. Позднее, когда из-за отчаянной сырости в библиотеке я предложил снести часть обветшавшей и давно никому не нужной городской стены, мне пришлось не лучше. Мои просьбы, обоснования и разумные представления не находили отклика, пришлось мне снова прибегнуть к насильственным мерам. Завидев моих рабочих, приступивших к разрушению стены, господа из магистрата послали депутацию к великому герцогу, в то время находившемуся в Дорнбурге, с всеподданнейшей просьбой: своей герцогской властью приостановить мою попытку снести старую почтенную стену. Но великий герцог, который втайне одоб-

рил и этот мой шаг, ответил им очень мудро: «Я в дела Гете не вмешиваюсь. Он сам за себя в ответе и пусть выпутывается как знает. Подите к нему и скажите все это сами, если у вас достанет смелости!»

— Никто, впрочем, ко мне не явился, — смеясь, добавил Гете, — стена, в той ее части, которая мне мешала, была разрушена, и я радовался, убеждаясь, что в библиотеке наконец-то стало сухо.

*Среда. 17 марта 1830 г.\**

Вечером провел два-три часа у Гете. По поручению великой княгини я вернул ему «Гемму из Арта» и высказал об этой пьесе все то хорошее, что я о ней думал.

— Я всегда радуюсь, — заметил он, — когда появляется что-нибудь новое по замыслу и носящее на себе печать таланта.

Затем, взяв том обеими руками, он посмотрел на него сбоку и прибавил:

— Но мне не нравится, когда я вижу, что романтические писатели пишут пьесы настолько длинные, что их ни в коем случае нельзя поставить на сцене так, как они написаны. Этот недостаток отнимает половину того удовольствия, которое они могли бы мне доставить прочими своими качествами. Посмотрите-ка, сколь толстый том составляет эта «Гемма из Арта».

— Однако, — возразил я, — и Шиллер в этом отношении был немногим лучше. И все же он великий романтический писатель.

— Да, и у него был этот недостаток, — сказал Гете. — Особенно его первые пьесы, которые он писал в полном расцвете сил своей юности, никак не могут прийти к концу. Так много было у него на сердце и так много хотел он сказать, что не был в состоянии овладеть собою. Впоследствии, когда он осознал эту ошибку, он употреблял бесконечно много усилий, чтобы преодолеть ее; однако вполне это ему никогда не удавалось. По-настоящему овладеть своим предметом, удерживать себя в узде и сосредоточиться только на безусловно необходимом — дело, требующее от поэта богатырских сил; это гораздо труднее, чем обыкновенно думают.

Доложили о приходе придворного советника *Римера*. Я собрался было уйти, так как знал, что это был один из тех вечеров, в которые Гете обыкновенно работает с Римером. Но Гете просил меня остаться, на что я очень

охотно согласился и благодаря чему был свидетелем беседы, в которой Гете проявил много задора, иронии и мекфистофелевского настроения.

— Вот умер Земмеринг, прожив всего какие-нибудь ничтожные семьдесят пять лет. Какие жалкие существа люди! Ведь почти никто из них не имеет смелости выдерживать более продолжительную жизнь. Вот за то-то я и хвалю моего друга Бентама, этого высокорадикального дурака, что он еще очень хорошо сохранился, хотя на несколько недель старше меня.

— Можно было бы добавить, — сказал я, — что он и в другом отношении похож на вас, а именно, он все еще продолжает работать с энергией юноши.

— Пусть так, — сказал Гете, — однако мы находимся с ним на противоположных концах цепи: он хочет разрушать, а я хотел бы сохранять и строить. Быть в его возрасте таким радикалом — это верх сумасбродства.

— Я полагаю, — возразил я, — что следует различать два вида радикализма: один хочет расчистить дорогу и все разрушить, чтобы строить в будущем; другой довольствуется тем, что указывает на недостатки и ошибки государственного управления в надежде достигнуть улучшения без применения насильственных средств. Если бы вы родились в Англии, вы, конечно, были бы радикалом этого второго рода.

— Да за кого вы меня принимаете? — возразил Гете, и в его голосе послышались нотки Мекфистофеля. — Я стал бы разыскивать злоупотребления и к тому же открыто изобличать их? Я, который в Англии сам жил бы злоупотреблениями. Если бы я родился в Англии, я был бы богатым герцогом или, скорее, епископом с тридцатью тысячами фунтов стерлингов годового дохода.

— Очень хорошо, — заметил я — ну, а если бы случайно вам попался не выигрышный билет, а пустой? Ведь пустых билетов гораздо больше.

— Не каждый, конечно, создан для большого выигрыша, — заметил Гете, — но неужели вы, дорогой мой, думаете, что я имел бы глупость вынуть пустой билет? Я прежде всего стал бы ревностным защитником тридцати девяти статей; я всеми силами и средствами боролся бы за них, в особенности за статью девятую, которая была бы для меня предметом совершенно исключительного внимания и самой нежной преданности. Я льстил бы и лгал бы в стихах и прозе до тех пор, пока мне не были бы обеспечены мои тридцать тысяч фунтов годового до-

хода. А раз достигнув этой высоты, я всеми силами старался бы на ней удержаться. В особенности позаботился бы и о том, чтобы сгустить, елико возможно, мрак невежества. О, как я сумел бы при случае погладить по головке добрую простоватую массу, как ловко обрабатывал бы я дорогое учащееся юношество, чтобы никто не мог заметить, чтобы никому даже и в голову не пришло, что мое блестящее существование покоится на фундаменте гнуснейших злоупотреблений!

— Поскольку дело идет о вас, — сказал я, — можно было бы утешаться, по крайней мере, мыслью, что вы достигли такой высоты благодаря своему исключительному таланту. Но в Англии как раз самые глупые и неспособные наслаждаются обладанием высших земных благ, которые они приобрели отнюдь не в награду за свои заслуги, но по протекции, благодаря случаю или по праву рождения.

— В сущности, — заметил Гете, — это все равно, выпадают ли на долю человека блестящие земные блага потому, что он сам их достиг, или же по наследству. Ведь первые обладатели этих благ были, во всяком случае, выдающимися людьми и сумели использовать в своих интересах невежество и слабость других. Мир так полон слабоумными и дураками, что совсем не надо отправляться в сумасшедший дом, чтобы их увидеть. Мне припоминается по этому случаю, что покойный великий герцог, зная мое отвращение к сумасшедшим домам, хотел как-то хитростью затаскать меня в один из них. Но я скоро почувствовал, чем пахнет, и сказал ему, что не имею ни малейшей охоты видеть тех дураков, которых запирают на ключ, ибо с меня вполне довольно и тех, которые ходят на свободе. «Я всегда готов, — сказал я, — сопровождать ваше высочество даже в ад, если бы это оказалось необходимым, но только не в дом сумасшедших».

О, как забавлялся бы я, трактуя на свой лад тридцать девять статей и приводя в изумление простодушную массу.

— Это удовольствие вы могли бы доставить себе, — сказал я, — даже и не будучи епископом.

— Нет, — возразил Гете, — тогда я не стал бы беспокоиться: надо быть очень хорошо оплаченным, чтобы так лгать. Без видов на епископскую шапку и тридцать тысяч годового дохода я бы на это не пошел. Впрочем, маленький опыт в этом направлении я раз сделал. Шестнадцатилетним мальчиком я написал дифирамбическое сти-

хотворение о сошествии Христа в ад; оно было даже напечатано, но осталось неизвестным и лишь на днях попало случайно мне в руки. Стихотворение строго выдержано в духе ортодоксальной ограниченности и может послужить мне прекрасным паспортом на небо. Не правда ли, Ример? Вы знаете его.

— Нет, ваше превосходительство, — ответил Ример, — я его не знаю. Но я вспоминаю, что вы в первый год после вашего прибытия сюда, будучи тяжело больны, в бреду цитировали не раз прекрасные стихи на эту самую тему. Это, несомненно, были воспоминания о вашем юношеском стихотворении.

— Очень вероятно, — сказал Гете. — Мне известен один случай, когда старик низкого звания, находясь при последнем издыхании, совершенно неожиданно стал цитировать прекрасные греческие сентенции. Все наверняка знали, что человек этот не знает ни слова по-гречески, и происшедшее казалось чудом из чудес; умные стали уже было извлекать кое-какую выгоду из легковерия глупых, как вдруг обнаружилось, что этого старика в его ранней юности заставили выучить наизусть разные греческие изречения в присутствии мальчика из высшего общества, которого он должен был таким образом пришпоривать своим примером. И он совершенно машинально изучил эту классическую греческую словесность, ничего не понимая, и затем в течение пятидесяти лет ни разу об этом не думал, пока, наконец, в предсмертной болезни этот набор слов не начал снова шевелиться и оживать в нем.

Затем Гете еще раз вернулся к высокому вознаграждению высшего английского духовенства, говоря об этом с прежней иронией и издевкой, и далее рассказал о своей собственной встрече с лордом *Бристолем*, епископом Дерби.

— Лорд Бристоль, — рассказывал Гете, — проезжая через Иену, хотел познакомиться со мною и просил меня посетить его вечером. Он позволял себе иногда быть несколько грубым, однако когда ему отвечали тем же, становился вполне обходительным. Во время нашего разговора он вздумал прочитать мне проповедь насчет моего «*Вертера*» и отягчить мою совесть сознанием, что этим произведением я наталкиваю людей на самоубийство. «*Вертер*», — сказал он, — книга совершенно безнравственная, заслуживающая проклятия». — «Постойте, — воскликнул я, — если вы так говорите о моем бедном «*Вертере*», то каким тоном должны были бы вы говорить о наших

земных владыках, отправляющих на поле брани сто тысяч людей, из коих восемьдесят тысяч гибнут и побуждают друг друга ко взаимным убийствам, поджогам и грабежам? А вы благодарите господу после таких гнусностей и поете ему за это: «Тебя, бога, хвалим!» И далее: вы своими проповедями об ужасах адских наказаний смущаете слабые умы вашей общины, так что некоторые теряют здравый рассудок и в конце концов заканчивают свое жалкое существование в домах умалишенных! Или когда вы противоречащими разуму учениями вашей ортодоксии сеете в душах ваших христианских слушателей губительные семена сомнения, так что эти неустойчивые души безнадежно запутываются в лабиринте, откуда нет другого выхода, кроме смерти! Что скажете вы в таком случае о себе самом и с какою обвинительной речью вы против самого себя выступите? И вот вы хотите привлечь к ответственности писателя и предать проклятию сочинение, которое, ложно понятое ограниченными умами, могло бы в худшем случае освободить мир от дюжины глупцов и бездельников, не могущих сделать ничего лучшего, как совсем загасить и без того уже слабо тлеющий в них огонек. Я думал, что я оказал человечеству действительную услугу и заслужил его благодарность, и вот приходите вы и провозглашаете преступлением это маленькое невинное применение оружия, в то время как вы сами, вы, пастыри и князья, позволяете себе применять оружие так широко и беспощадно!»

Этот выпад произвел на моего епископа прекраснейшее действие. Он сразу стал кроток, как ягненок, и в течение всей нашей дальнейшей беседы держал себя с величайшей вежливостью и самым утонченным тактом. Я провел с ним очень хороший вечер. Лорд Бристоль, при всей грубости, которую он мог порою проявлять, был человеком умным и светским и мог интересно говорить о самых разнообразных предметах. При расставании он проводил меня до дверей и послал своего аббата проводить меня еще дальше. Когда мы вместе с этим последним вышли на улицу, он обратился ко мне и воскликнул: «О господин фон Гете, как прекрасно вы говорили! Как понравились вы лорду и как искусно сумели вы найти тайный ключ к его сердцу! Будь вы менее суровы и решительны, это посещение не оставило бы в вас такого приятного воспоминания, с каким вы теперь отправляетесь домой».

— Из-за вашего *«Вертера»* вам пришлось перенести

много всякого рода неприятностей, — заметил я. — Ваши приключения с лордом Бристолем напоминают мне ваши разговоры с Наполеоном об этом же предмете. Ведь, кажется, и Талейран при этом присутствовал?

— Да, он был там, — заметил Гете. — Однако на Наполеона я не имею основания жаловаться. Он был в высшей степени любезен со мною и трактовал предмет в таком тоне, какого и следовало ожидать от человека столь необъятного ума.

От *«Вертера»* разговор перешел к романам и театральным пьесам вообще; говорили об их нравственном или безнравственном действии на публику.

— Трудно представить себе, — сказал Гете, — чтобы книга оказывала более сильное безнравственное действие, чем сама жизнь, которая ежедневно полна самых скандальных сцен; они разворачиваются, правда, не на наших глазах, но не минуют наших ушей. Даже когда речь идет о детях, не следовало бы так сильно опасаться дурного действия на них какой-нибудь книги или какой-нибудь театральной пьесы. Повседневная жизнь, как я уже сказал, поучительнее самой яркой книги.

— Но все же, — заметил я, — мы стараемся не говорить в присутствии детей таких вещей, слышать которые им, по нашему мнению, не годится.

— Это весьма похвально, — заметил Гете, — я и сам поступаю так же; однако я считаю эту предусмотрительность совершенно бесполезной. Дети, как и собаки, обладают таким острым и тонким чутьем, что они быстро все открывают и различивают, и дурное прежде всего. Они всегда прекрасно знают, как относятся их родители к тому или другому из их знакомых, и так как они обыкновенно еще не умеют притворяться, то могут служить прекраснейшим барометром, который покажет вам степень расположения или нерасположения к вам их домашних.

Раз обо мне в обществе распустили скверный слух, и дело казалось мне настолько значительным, что я во что бы то ни стало хотел разведать, откуда был нанесен первый удар. Вообще говоря, ко мне здесь были настроены очень благожелательно; я ломал себе голову и никак не мог решить, откуда могла возникнуть такая отвратительная сплетня. Но вдруг все для меня прояснилось: я встретил на улице маленьких мальчиков из одного знакомого мне семейства, и они не поклонились мне, хотя обыкновенно это делали. Этого было для меня достаточно, и

по этому признаку я безошибочно узнал, что именно их дорогие родители были теми людьми, с языка которых впервые слетела эта злобная сплетня.

*Понедельник, 29 марта 1830 г. \**

Вечером зашел на несколько минут к Гете. Он выглядел спокойным, веселым и благодушным. Я застал у него его внука Вольфа и графиню Каролину Эглофштейн, близкую его приятельницу. Вольф непрестанно теребил любимого дедушку. Влезал к нему на колени, на плечи. Гете с нежностью все это терпел, хотя десятилетний мальчик был, конечно, уже тяжеловат для такого старого человека.

— Вольф, голубчик, — сказала графиня, — не мучь ты так ужасно своего доброго дедушку! Он ведь с тобой совсем из сил выбьется.

— Не беда, — отвечал Вольф, — мы скоро ляжем спать, и дедушка успеет хорошенько отдохнуть за ночь.

— Вот видите, — сказал Гете, — любовь всегда несколько нахальна.

Разговор зашел о *Кампе* и его детских книжках.

— С Кампе, — сказал Гете, — я встретился только дважды в жизни. Последний раз, после сорокалетнего перерыва, в Карлсбаде. Мне он показался тогда очень старым, сухим, каким-то изнуренным и неподвижным. Всю свою жизнь он писал только для детей, я же для детей ничего не написал, даже для больших детей, лет эдак двадцати. Он меня не терпел. Я для него был бельмо в глазу, камень преткновения, и он всячески меня избегал. Но в один прекрасный день судьба неожиданно-негаданно свела нас, и он уже не мог не обратиться ко мне с несколькими словами.

«Ваши способности и ваш ум всегда внушали мне уважение, — сказал Кампе, — в некоторых областях вы достигли поразительных результатов. Но, видите ли, эти области нисколько меня не интересуют, и я, вопреки многим другим, никакого значения им не придаю».

Это несколько неучтивое прямотуше ничуть меня не рассердило, я наговорил ему комплиментов. Да я и вправду высоко его ценил. Он оказал детям неоценимые услуги, сделавшись объектом их восхищения, детским Евангелием, так сказать. Только за две или три страшные истории, которые он имел бестактность написать и к тому

же включить в детский сборник, я порицаю его. Зачем, спрашивается, живое, нетронутое, невинное воображение детей без всякой нужды отягощать такими ужасами!

*Понедельник, 5 апреля 1830 г.*

Как известно, Гете терпеть не может очков.

— Возможно, это чудачество, — не раз говорил он мне, — но я с ним справиться не могу. Когда ко мне входит незнакомый человек с очками на носу, я немедленно прихожу в дурное настроение, тут уж ничего не поделаешь. Очки так меня раздражают, что он еще и порога переступить не успеет, а у меня от благожелательности уже и следа не остается, мысли мои мешаются, и я уже не хозяин своего собственного «я»! Очки почему-то представляются мне чем-то невежливым, словно только что вошедший человек собирается нагругить мне. Это ощущение еще усилилось, после того как несколько лет назад я заявил в печати, сколь неприятное действие на меня оказывают очки. Входит незнакомец в очках, и я сразу думаю: он твоих новых стихов не читал — это, пожалуй, говорит не в его пользу, или: он их читал, он знает эту твою странность, но не обращает на нее внимания, что еще хуже. Единственный человек, чьи очки меня не раздражают, это Цельтер; у всех других — только что с ума не сводят. Мне все кажется, что я становлюсь объектом изучения и что незнакомый человек хочет своим вооруженным взглядом проникнуть в самые потайные уголки моей души и изучить каждую морщинку старости на моем лице. Вглядываясь в меня так пытливо, он нарушает всякое равенство между нами, ибо я не могу тем же ему отплатить. Ну, как прикажете общаться с человеком, чьи глаз ты не видишь и, когда он говорит, зеркало его души прикрыто слепящими меня стеклами?

— Кто-то заметил, — подхватил я, — что очки делают человека чванливым, вознося его на ту вершину физического совершенства, которая значительно превосходит возможности, отпущенные ему природой, в конце же концов он становится жертвой заблуждения и пребывает в уверенности, что от рождения вознесен так высоко.

— Весьма остроумное замечание, — отвечал Гете, — похоже, что оно исходит от естествоиспытателя. Но если вдуматься хорошенько, не слишком состоятельное. Будь это так, все слепые были бы скромниками, а люди с хорошим зрением — гордцами. На деле же бывает наобо-

рот: люди от природы сильные духовно и физически, как правило, скромны, нищие же духом весьма самомнительны. Словно добросердечная природа всем, кого она обделила дарами высшего порядка, для возмещения убытка пожаловала чванство и самомнение.

Вообще же скромность и самомнение — нравственные понятия чисто духовного свойства и с телесной жизнью ничего общего не имеют. У людей ограниченных и духовно убогих чванство встречается всего чаще, а вот у духовно чистых и высокодаренных — никогда, разве что радостное сознание своей силы, но поскольку эта сила существует в действительности, то такое сознание и чванством-то нельзя назвать.

Потом мы еще говорили о многом другом и уже под конец вспомнили о «*Хаосе*», веймарском журнале, которым руководила госпожа фон Гете, а деятельное участие в нем принимали не только здешние господа и дамы, но и временно проживающие в Веймаре молодые англичане, французы и прочие чужестранцы, так что едва ли не каждый выпуск являлся смешением почти всех известнейших европейских языков.

— Очень мило и похвально со стороны моей дочери, и, конечно же, она заслуживает благодарности за то, что сумела организовать этот в высшей степени оригинальный журнал и вот уже почти год поддерживает живой интерес к нему среди ряда веймарских жителей. Конечно, это всего-навсего дилетантская затея, и я отлично знаю, что ничего прочного и значительного из нее не получится, но все же это приятно и в какой-то мере отражает духовный уровень нашего здешнего общества. А главное, такой журнал все же занятие для наших молодых людей и дам, зачастую просто не знающих, куда себя девать. К тому же, став для них как бы средоточием умственных интересов, журнал этот дает им темы для бесед и обсуждений и таким образом избавляет их от пустопорожней болтовни. Я читаю каждый свежееоттиснутый лист и смело могу сказать, что ни разу мне не встретилось чего-то неловкого, скорее попадались премилые вещички. Ну, что, например, можно возразить против элегии госпожи фон Бехтольсгейм на смерть великой герцогини-матери? Разве это не изящное стихотворение? Единственное, что можно поставить в упрек как элегии, так и большинству наших молодых людей и дам, что они, подобно деревьям, избыточным соками, выгоняют множество паразитарных побегов, то есть избыточных чувств и мыслей, которыми не

в состоянии овладеть, и почти никогда не умеют поставить им границы там, где следует. Эта беда постигла и госпожу фон Бехтольсгейм. Не желая поступиться удачной рифмой, она добавила целую строфу, явно испортившую стихотворение. Я заметил эту ошибку в рукописи, но не успел вовремя ее изъять. Надо быть старым практиком, — смеясь, добавил он, — чтобы уметь зачеркивать. Шиллер в совершенстве владел этим искусством. Я был свидетелем, как он, подготавливая очередной «Альманах муз», сократил одно помпезное стихотворение с *двадцати* двух стрóf до *семи*, причем оно не только не пострадало от столь радикальной операции, а, напротив, в оставшихся семи строфах сохранились все хорошие и действенные мысли тех двадцати двух.

*Понедельник, 19 апреля 1830 г.\**

Гете рассказал мне, что сегодня его посетили двое русских.

— В общем-то это были красивые люди, — сказал он, — но один из них показался мне не слишком любезным, он за все время словечка не вымолвил. Вошел с молчаливым поклоном, ни разу рта не раскрыл и через полчаса так же молча откланялся. Как видно, явился просто поглазеть на меня. Я сидел напротив него, и он с меня буквально глаз не сводил. Мне это надоело, и я стал нести какую-то ерунду, первое, что в голову пришло. Насколько помнится, я избрал темой североамериканские Соединенные Штаты и легкомысленнейшим образом распространялся о том, что я знал и чего не знал, лишь бы побольше наболтать. Впрочем, моих посетителей это как будто удовлетворило, ибо они распростились со мной, видимо, довольные.

*Четверг, 22 апреля 1830 г.\**

За обедом у Гете сегодня присутствовала госпожа фон Гете, приятно оживлявшая разговор, который я, впрочем, запомнил.

Во время обеда слуга доложил о проезде иностранца, добавив, что у того нет возможности задержаться в Веймаре, завтра утром ему необходимо уехать. Гете велел сказать, что, к глубокому своему сожалению, сегодня ничего принять не может, разве что завтра после полудня.

— Я думаю, — усмехаясь, присовокупил он, — этим ответом он должен будет удовлетвориться, — И в то же вре-

мя он пообещал дочери после обеда принять рекомендованного ею юного Хеннинга, хотя бы уже из-за того, что карие глаза молодого человека были очень похожи на глаза его матери.

*Среда, 12 мая 1830 г. \**

У Гете на подоконнике стоял миниатюрный бронзовый Моисей, уменьшенная копия знаменитого «Моисея» Микеланджело. Руки статуэтки показались мне слишком длинными и толстыми по сравнению с телом, о чем я и сказал Гете.

— А две тяжелые скрижали с десятью заповедями, — живо воскликнул он, — вы думаете, безделица поднять эдакую махину? И еще не забывайте, что Моисей командовал целой армией евреев, которую он должен был держать в узде, ну как ему было обойтись обыкновенными руками?

Сказав это, Гете рассмеялся, а я так и не понял, не прав я или он просто шутил, защищая великого художника.

*Понедельник, 2 августа 1830 г. \**

Вести о вспыхнувшей Июльской революции сегодня дошли до Веймара и всех привели в волнение. После полудня я пошел к Гете.

— И так, — крикнул он, завидев меня, — что вы думаете о великом свершении? Вулкан извергается, все кругом объята пламенем. Это вам уже не заседание при закрытых дверях!

— Страшное дело, — сказал я. — Но чего еще можно было ждать при сложившихся обстоятельствах и при таком составе министров; это не могло не кончиться изгнанием королевской семьи.

— Мы с вами, кажется, не поняли друг друга, мой милый, — отвечал Гете. — Я вовсе не об этих людях говорю, меня совсем не они занимают. Я имею в виду пламя, вырвавшееся из стен академии, то есть необыкновенно важный для науки спор между *Кювье* и *Жоффруа де Сент-Илером!*

Заявление Гете было для меня столь неожиданным, что я растерялся, не знал, что сказать, и на несколько минут утратил способность мыслить.

— Это дело первостепенной важности, — продолжал Гете, — вы себе и представить не можете, какие чувства я испытал, узнав о заседании от девятнадцатого июля.

В Жоффруа де Сент-Илере мы отныне и на долгие времена имеем могучего союзника. И еще я понял, с каким страстным интересом относится к этому спору французский ученый мир, если, несмотря на грозные политические события, заседание девятнадцатого июля состоялось при переполненном зале. Но самое лучшее, что метод синтезированного рассмотрения природы, введенный Жоффруа во Францию, теперь более пересмотру не подлежит. После свободной дискуссии в академии, да еще при таком скоплении народа, вопрос этот сделался общественным достоянием, его уже не запрядешь в секретные комиссии, не разделаешься с ним при закрытых дверях. Отныне и во Франции дух, подчинив себе материю, станет господствовать при исследовании природы. Французам откроются великие принципы творения, они заглянут в таинственную мастерскую господина. Да и что, собственно, стоит все общение с природой, если, идя аналитическим путем, мы имеем дело лишь с ее отдельными, материальными частями и не чувствуем веяния того духа, который каждой из этих частей предуказывает ее путь и любое отклонение от него приостанавливает или поощряет силою внутреннего закона.

Вот уже пятьдесят лет бьюсь я над этой проблемой, поначалу — в полном одиночестве, потом — уже чувствуя поддержку и, наконец, в счастливом создании, что отдельные личности, родственные мне по духу, превзошли меня. Когда я послал Петеру Камперу свое первое аргументированное межчелюстной кости, к великому моему огорчению, ответом мне было полное молчание. Не лучше обстояло дело и с Blumenbachом, хотя после нашей встречи и беседы он стал держать мою сторону. Вскоре нашлись у меня и единомышленники: Земмеринг, Окен, д'Альтон, Карус и другие выдающиеся мужи. А теперь Жоффруа де Сент-Илер решительно к нам присоединился — и вместе с ним все его выдающиеся ученики и приверженцы во Франции. Это событие невероятно много значит для меня, и я, конечно, ликую, что победа наконец-то осталась за делом, которому я посвятил свою жизнь и потому с полным правом могу назвать его своим делом.

*Суббота, 21 августа 1830 г. \**

Я рекомендовал Гете некоего подающего надежды юношу. Он обещал ему содействовать, но все же к моей рекомендации отнесся недоверчиво.

— Кто всю жизнь, — сказал он, — как я, тратил драгоценное время и деньги на покровительство молодым талантам, которые поначалу внушали самые радужные надежды, а потом из них ровно ничего не выходило, у того, конечно же, мало-помалу отпадает охота этим заниматься. Пора уж вам, молодым людям, входить в роль меценатов, а меня увольте.

Это высказыванье Гете заставило меня сравнить обманчивые обещания юности с деревьями, которые цветут дважды, но плодов не приносят.

*Среда, 13 октября 1830 г. \**

Гете показал мне таблицы, в которые он по-латыни и по-немецки вписал множество наименований растений, чтобы затвердить их наизусть. И добавил, что некогда у него была комната, стены которой вместо обоев были оклеены такого рода таблицами, и он, шагая по ней, изучал и затверживал их.

— Мне жаль, — добавил он, — что я потом велел ее побелить. Была у меня и еще одна, — со стенами, которые я в течение многих лет исписывал отметками о своих работах в хронологическом порядке, спеша занести в этот список каждую новинку. К сожалению, и эту комнату я вздумал побелить, а как бы мне теперь все это пригодилось!

*Среда, 20 октября 1830 г. \**

Провел часок у Гете, по поручению великой герцогини, обсуждая вместе с ним набросок серебряного герба, которым принц намеревался почтить здешнее Общество арбалетчиков, принявшее его в свои ряды.

Разговор наш вскоре коснулся совсем других тем, и Гете спросил, какого я мнения о сенсимонистах.

— Основная мысль их учения, — сказал я, — видимо, сводится к тому, что каждый должен трудиться для общего счастья, ибо такова необходимая предпосылка счастья личного.

— Я всегда считал, — ответил Гете, — что каждому следует начать с себя и прежде всего устроить свое счастье, а это уж, несомненно, приведет к счастью общему. Вообще же учение Сен-Симона представляется мне абсолютно нежизненным и несостоятельным. Оно идет вразрез с природой, с человеческим опытом, со всем ходом

вещей на протяжении тысячелетий. Если каждый будет выполнять свой долг, усердно и добросовестно трудясь в сфере своей непосредственной деятельности, то и всеобщее благо будет достигнуто. Памятуя о своем призвании писателя, я никогда не задавался вопросом: чего ждут от меня широкие массы и много ли я делаю для пользы всеобщего блага; я только всегда старался глубже во все вникать, совершенствуя себя, повышать свою собственную содержательность и высказывать лишь то, что я сам признал за истинное и доброе. Не буду отрицать, что это возымело свое благотворное действие в достаточно широком кругу, но то была не цель, а неизбежный *результат* работы природных сил. Если бы я, как писатель, задался целью ублажать толпу, мне пришлось бы рассказывать ей всевозможные истории в духе покойного Коцебу.

— Тут, конечно, ничего не скажешь, — отвечал я, — но существует ведь не только счастье, которым наслаждается отдельный индивидуум, но и счастье, испытываемое гражданином, членом большого сообщества. Ежели достижение мыслимого для народа счастья не возведено в принцип, то из чего, собственно, должно исходить законодательство?

— Ишь вы куда хва тили, — заметил Г е т е , — в таком случае мне, конечно, возражать не приходится. Однако применить ваш принцип на практике могли бы лишь немногие избранные. Это ведь рецепт для власть имущих и для законодателей, мне же думается, что законы должны печься о том, чтобы уменьшить огромность зла, а не дерзостно стремиться одарить народ огромностью счастья.

— По существу, это едва ли не одно и то же , — отвечал я. — Плохие дороги, например, представляются мне немалым злом. Если владетельный князь на своей земле сумел бы проложить хорошие дороги везде, вплоть до самой заброшенной деревушки, это значило бы не только побороть зло, но и осчастливить свой народ. И еще — великое несчастье наше медленное судопроизводство. Но если владетельный князь заменит его открытым судоговорением и тем самым даст своему народу суд правый и скорый, это опять-таки будет значить, что не только устранено великое зло, но взамен ему даровано истинное счастье.

— На этот мотив я мог бы пропеть вам еще и другие песни, — перебил меня Г е т е . — Но искоренять все зло, право же, не стоит, пусть уж человечеству кое-что оста-

нется, дабы ему было на чем и впредь развивать свои силы. Я до поры до времени полагаю, что отец должен заботиться о своем семействе, ремесленник — о своих клиентах, духовное лицо — о любви к ближнему, а полиция пусть уж не отравляет нам радостей жизни.

*Вторник, 4 января 1831 г. \**

Вместе с Гете перелистал несколько тетрадей с рисунками моего друга Тёпфера из Женевы. В равной мере одаренный и как писатель, и как художник, он, однако, до сих пор предпочитает видения своего духа воплощать в зримые образы, а не в мимолетное слово. Тетрадь, в которой легкие рисунки пером воспроизводят «Приключения доктора Фестуса», поистине производит впечатление комического романа. Она очень понравилась Гете.

— До чего же здорово! — то и дело восклицал он, переворачивая листы. — Все здесь пронизано талантом и остроумием! Отдельные рисунки таковы, что лучшего себе и представить невозможно! Если впредь он обратится к сюжетам менее фривольным и не будет давать себе такой воли, то создаст вещи, действительно непревзойденные.

— Его сравнивают с *Рабле*, — сказал я, — да еще ставят ему в упрек, что он ему подражает и заимствует у него идеи.

— Люди сами не знают, чего хотят, — отвечал Гете. — Я, например, ничего этого не нахожу. По-моему, Тёпфер крепко стоит на собственных ногах, — более своеобразного таланта я, пожалуй, не встречал.

*Понедельник, 17 января 1831 г. \**

Застал Гете и Кудрэ за рассматриванием архитектурных чертежей. У меня с собой была пятифранковая монета с изображением Карла X, которую я не замедлил показать им. Гете рассмешила заостренная форма головы на монете.

— Шишка религиозности у него, как видно, очень развита, — заметил он, — надо думать, из-за чрезмерного благочестия он считал излишним соблюдать свои обязательства, нас же своей гениальной выходкой запутал так, что Европа теперь еще нескоро обретет умиротворение.

Засим мы говорили о «Rouge et Noir»<sup>1</sup>, — по мнению Гете, лучшем произведении *Стендаля*.

— Правда, нельзя не признать, — сказал он, — что некоторые его женские образы слишком романтичны, но все они свидетельствуют о наблюдательности и глубоком проникновении автора в женскую психологию, так что мы охотно прощаем ему некоторое неправдоподобие деталей.

*Воскресенье, 23 января 1831 г. \**

Вместе с принцем посетил Гете. Его внуки развлекались показом разных фокусов, в которых особенно искусен был Вальтер.

— Я не против того, — сказал Гете, — что мальчики в часы досуга занимаются такими пустяками. Это отличное упражнение для развития свободы речи, — особенно в присутствии нескольких зрителей, — а также большей физической и умственной подвижности, которой, скажем прямо, недостает нам, немцам. Поэтому вред от таких забав, то есть известное поощрение суетности, по-моему, здесь с лихвой перекрывается пользой.

— Зрители сами заботятся о том, чтобы маленькие актеры не возгордились: они пристально следят за ними, злорадствуют и насмешничают, когда тем что-нибудь не удастся и они могут, к вящей досаде последних, изобличить их, — сказала.

— Тут дело обстоит так же, как с настоящими актерами, — отвечал Гете, — сегодня их бурно вызывают, а завтра освистывают, в результате же все оказывается в полном порядке.

*Четверг, 10 марта 1831 г. \**

Сегодня днем провел полчаса с Гете. Я должен был сообщить ему о решении великой герцогини презентовать дирекции театра тысячу талеров на предмет поощрения молодых талантов. Эта весть явно порадовала Гете, которого неизменно заботит будущее театра.

Я имел поручение обсудить с ним и еще одно дело, а именно следующее: великая герцогиня намеревалась пригласить в Веймар лучшего из тех современных писателей, кто, не имея ни должности, ни состояния, вынужден жить

---

<sup>1</sup> «Красное и черное» (фр.).

лишь на доходы, приносимые ему литературным талантом, дабы предоставить ему здесь обеспеченное положение и достаточный досуг для работы над своими произведениями, тем самым избавив его от жестокой необходимости из-за куска хлеба работать поспешно и небрежно.

— Мысль нашей государыни — истинно царственная мысль, мне остается лишь склонить голову перед величием ее убеждений, — сказал Гете. — Но сделать выбор в этом случае, право же, очень нелегко. Лучшие из нынешних наших писателей либо находятся на государственной службе, либо обеспечены пенсией, а не то и собственным состоянием. К тому же не каждый приживется в Веймаре и не каждому пойдет впрок это переселение. Но я, разумеется, буду помнить о благородном желании государыни и посмотрю, не подскажут ли нам что-нибудь толковое ближайшие годы.

*Четверг, 31 марта 1831 г. \**

В последнее время Гете опять очень нездоровилось и он принимал у себя только самых близких друзей. Приблизительно месяц назад ему сделали кровопусканье, следствием явились боли в правой ноге, покуда это внутреннее недомоганье не прорвалось наружу в виде открытой раны, после чего быстро наступило улучшение. Вот уже несколько дней, как рана зажила, и Гете снова весел и подвижен, как прежде.

Сегодня Гете нанесла визит великая герцогиня и вернулась от него очень довольная. Она спросила его о здоровье, на что он весьма галантно ответил, что до сегодняшнего дня не ощущал своего выздоровления, но сейчас ее присутствие заставляет его с радостью почувствовать, что здоровье к нему вернулось.

*Четверг, 14 апреля 1831 г. \**

Soirée у принца. Один из присутствующих, престарелый господин, помнивший еще первые годы пребывания Гете в Веймаре, рассказал нам следующую весьма характерную историю.

— Я был при том, как Гете в тысяча семьсот восемьдесят четвертом году произносил свою знаменитую речь на торжественном открытии Ильменауских рудников, куда он пригласил всех чиновников и множество других заинтересованных в этом деле людей из Веймара и его

окрестностей. Речь свою он, видимо, помнил наизусть, так как некоторое время говорил, что называется, без сучка и задоринки. Но вдруг добрый гений словно бы покинул его, нить его мысли порвалась, он начисто забыл все, что должен был сказать еще. Любой другой окончательно бы смешался, но не Гете. По меньшей мере десять минут он твердо и спокойно смотрел на своих многочисленных слушателей. Завороженные его мощной личностью, они сидели не шевелясь в продолжение всей этой нескончаемой, едва ли не комической паузы. Наконец он снова овладел предметом, продолжил свою речь и без единой запинки договорил ее до конца так легко и свободно, как будто ничего не произошло.

*Понедельник, 20 июня 1831 г.*

Днем провел полчаса у Гете, которого застал еще за обедом.

Мы говорили о естествознании, но прежде всего о несовершенстве и несостоятельности языка, вследствие чего возникают ошибки и заблуждения, которые потом не так-то легко преодолеть.

— Объясняется это очень просто, — сказал Гете, — все языки возникли из насущных человеческих потребностей, занятий, а также из общечеловеческих чувств и воззрений. Когда человеку, одаренному больше, чем другие, удастся получить некоторое представление о таинственно взаимодействующих силах природы, ему своего родного языка уже недостаточно, чтобы выразить понятия, столь далекие от житейской суеты. Лишь на языке духов он мог бы возвестить о том удивительном, что открылось ему. Но поскольку такового не существует, он поневоле прибегает к общепринятым речевым оборотам для рассказа о необычных явлениях природы, которые ему удалось подметить и обосновать, но, всякий раз наталкиваясь на недостаток слов, снижает уровень своего рассказа, а не то и вовсе калечит или изничтожает его.

— Если уж *вы* это говорите, — отвечал я, — вы, всегда так энергично и так остро характеризующий предметы своего исследования и, будучи врагом всякой фразы, умеющий найти наиболее характерное обозначение для своих великих открытий, то это уже дело серьезное. Мне казалось, что нам, немцам, еще не так туго приходится. Ведь наш язык настолько богат, разработан и приспособлен к дальнейшему развитию, что мы, даже вынужденные

прибегать к тропам, все же достаточно приближаемся к тому, что хотим сказать. Французы в этом отношении изрядно от нас отстают. Когда им надо определить свое наблюдение, относящееся к высшим явлениям природы, они обращаются к тропам, заимствованным из техники, и сразу принимают эти явления, делают их грубо-материальными, словом, от высоких представлений мало что остается.

— Вы совершенно правы, — сказал Гете, — я недавно сызнав в этом убедился на основании спора Кювье с Жоффруа де Сент-Илером. Последний действительно сумел глубоко заглянуть в действующие и созидательные силы природы. Но французский язык вынуждает его пользоваться давно укоренившимися выражениями, а следовательно, то и дело его подводит. И не только там, где речь идет о труднодостижимых духовных свершениях, но даже о зримом и несложном. Так, для обозначения отдельных частей органического существа он не может подыскать иного слова, кроме «материалы», отчего кости, к примеру, которые образуют органическое целое, ну, скажем, руку, попадают на одну словесную ступень с камнями, балками и досками, то есть строительным материалом.

Столь же неподобающим образом употребляют французы выражение «композиция», говоря о созданиях природы. Можно, конечно, собрать машину из отдельно изготовленных частей, и тут слово «композиция» будет вполне уместно, но, конечно же, не в применении к органически формирующимся и проникнутым общей душой частям единого природного целого.

— Мне иной раз кажется, — сказал я, — что слово «композиция» звучит уничижительно даже тогда, когда речь идет о подлинных произведениях пластического искусства или поэзии.

— Это и вправду гнусное слово, — ответил Гете, — им мы обязаны французам, и надо приложить все усилия, чтобы поскорей от него избавиться. Ну разве же можно сказать, что Моцарт «скомпоновал» своего «Дон-Жуана». *Композиция!* Слово это пирожное или печенье, замешанное из яиц, муки и сахара. В духовном творении детали и целое слиты воедино, пронизаны дыханьем единой жизни, и тот, кто его создавал, никаких опытов не предельвал, ничего произвольно не раздроблял и не склеивал, но, покорный демонической власти своего гения, все делал согласно его велениям.

Понедельник, 27 июня 1831 г. \*

Говорили о *Викторе Гюго*.

— Это прекрасный талант, — сказал Гете, — но он по горло увяз в злосчастной романтической трясине своего времени, соблазняющей наряду с прекрасным изображать нестерпимое и уродливое. На днях я читал его «*Notre-Dame de Paris*»<sup>1</sup>, и сколько же потребовалось долготерпения, чтобы выдержать муки, которые мне причинял этот роман. Омерзительнейшая книга из всех, что когда-либо были написаны! И за всю эту пытку читатель даже не вознаграждается радостью, которую нас дарит правдивое воспроизведение человеческой природы и человеческого характера. В книге Гюго нет ни человека, ни правды! Так называемые действующие лица романа не люди из плоти и крови, но убогие деревянные куклы, которыми он вертит, как ему вздумается, заставляя их гримасничать и ломаться для достижения нужного ему эффекта. Что ж это за время, которое не только облегчает, но более того — требует возникновения подобной книги, да еще восхищается ею!

Четверг, 14 июля 1831 г. \*

Вместе с принцем я сопровождал к Гете его величество короля Вюртембергского. На обратном пути король выглядел очень довольным и поручил мне благодарить Гете за удовольствие, полученное от этого визита.

Пятница, 15 июля 1831 г. \*

Зашел на несколько минут к Гете, выполняя вчерашние поручения короля, и застал его погруженным в изучение спиральной тенденции растений. Новое это открытие, как считает Гете, будет иметь весьма важные последствия и подвинет вперед науку.

— Нет большей радости, — добавил он, — чем та, которую нам дарит изучение природы. Глубина ее тайн непостижима, но нам, людям, дано и дозволено все глубже заглядывать в них. То же, что в конце концов они все равно остаются непостижимыми, вечно манит нас вновь к ним подступаться, вновь и вновь заглядывать в них и делать новые открытия.

---

<sup>1</sup> «Собор Парижской богородицы» (фр.).

После обеда был с полчаса у Гете, который пребывал в веселом и кротком настроении. О чем только мы не говорили; наконец, дошли до Карлсбада, и он шутил, вспоминая некоторые сердечные увлечения, которые ему довелось там пережить.

— Легкая любовная интрижка, — сказал он, — единственное, что скрашивает пребывание на водах, иначе там можно умереть со скуки. К тому же мне везло, я почти всякий раз находил милую родственную душу, которая служила мне утешением в течение немногих недель тамошней жизни. Один случай я и доныне вспоминаю с удовольствием.

Как-то раз я посетил *госпожу фон Рек*. Беседа наша не была особенно занимательной, и я поспешил откланяться. У самого ее дома мне навстречу попала дама с двумя прехорошенькими молодыми девушками. «Что это за господин, который только что вышел от вас?» — полюбопытствовала дама. «Это Гете», — отвечала *госпожа фон Рек*. «О, как жаль, — воскликнула дама, — что он ушел и я не имела счастья познакомиться с ним!» — «Вы ничего не потеряли, дорогая моя! — сказала *госпожа фон Рек*. — В дамском обществе он скучает, надо быть очень красивой, чтобы пробудить в нем некоторый интерес. Женщинам нашего возраста и думать не приходится о том, чтобы сделать его красноречивым и любезным».

По пути домой обе молодые девушки, возвращавшиеся с матерью, припомнили слова *госпожи фон Рек*. «Мы малы и хороши собой, — решили они, — посмотрим, не удастся ли нам поймать и приручить этого знаменитого дикаря!» На следующее утро на аллее у источника обе девицы, проходя мимо, приветствовали меня столь грациозными и милыми реверансами, что я не мог не подойти и не заговорить с ними. Право же, они были очаровательны! Мы перекинулись несколькими словами, они подвели меня к своей матери, и... я был пойман. С этой минуты мы уже встречались ежедневно и все время проводили вместе. Я и с матерью, как вы легко можете себе представить, был очень любезен. Тут, словно для того, чтобы сделать нашу дружбу еще задушевнее, прибыл нареченный одной из двух девиц, и я с того дня нераздельно завладел вниманием другой. Словом, все мы были довольны друг другом, и я провел с этим семейством такие счастливые дни, что и доныне сохраняю о них радостное воспо-

минание. Обе сестры вскоре поведали мне о беседе их матери с госпожою фон Рек и о заговоре, который они составили для уловления меня в свои сети и который так удачно привели в исполнение.

При этом мне вспомнилась другая забавная история, ранее рассказанная мне Гете, и я подумал, что здесь уместно будет ее привести.

— Однажды под вечер, — начал он, — я прогуливался в дворцовом парке с добрым своим приятелем, как вдруг в конце аллеи мы заметили еще двоих из нашего круга; они шли и спокойно беседовали. Я не вправе назвать вам ни даму, ни кавалера, — впрочем, это дела не меняет. Итак, они шли и беспечно разговаривали, потом неожиданно склонились друг к другу и от всего сердца поцеловались, затем пошли дальше своей дорогой, продолжая беседовать как ни в чем не бывало. «Вы видели? — воскликнул мой друг. — Уж не обманули ли меня мои глаза?» — «Да, я видел, — спокойно отвечал я, — но все равно не верю».

*Вторник, 2 августа 1831 г. \**

Говорили о метаморфозе растения, точнее — об учении Декандоля о симметрии, которое Гете считает иллюзией.

— Природа, — сказал он, — не всякому дается. С большинством она обходится как лукавая девчонка, — привлекает нас всеми своими прелестями, но в минуту, когда мы хотим заключить ее в объятия и овладеть ею, ускользает из наших рук.

*Среда, 19 октября 1831 г. \**

Сегодня в Бельведере состоялось собрание Общества поощрения земледелия, а также первая выставка плодов и промышленных изделий, оказавшаяся богаче, чем можно было предположить. Засим для многочисленных членов Общества был дан торжественный обед. И вдруг, к радостному удивлению всех собравшихся, вошел Гете. Пробыв некоторое время среди гостей, он стал с видимым интересом рассматривать выставку. Его приход произвел наилучшее впечатление, в первую очередь на тех, кто никогда его не видел.

Четверг, 1 декабря 1831 г.

Провел часок с Гете в самых разнообразных разговорах, коснувшихся, наконец, *Сорэ*.

— На этих днях, — сказал Гете, — я прочитал премилое его стихотворение, вернее, *трилогию*, первые две части которой носят радостный сельский характер, последняя же, названная им «Полночь», болезненно-сумрачный. «Полночь» превосходно удалась ему. В ней доподлинно ощущаешь веяние ночи, почти как у Рембрандта, в чьих картинах ты словно бы вдыхаешь ночной воздух. Виктор Гюго тоже разрабатывал сходные сюжеты, но далеко не так удачно. В ночных сценах этого, бесспорно, значительного писателя ночная тьма отсутствует, скорее наоборот, все видно отчетливо и ясно, как днем, а ночь кажется выдуманной. Сорэ в своей «Полночи», конечно, превзошел прославленного Виктора Гюго.

Мне было приятно слышать эту похвалу Сорэ, и я решил как можно скорее прочитать трилогию.

— Наша литература, — сказал я, — почему-то бедна трилогиями.

— Этой формой, — отвечал Гете, — наши современники пользуются очень редко. Дело в том, что для трилогии надо подыскать сюжет, естественно разделяющийся на три части, и притом так, чтобы первая являлась своего рода экспозицией, во второй происходила бы катастрофа, а в третьей наступала примиряющая развязка. Мои стихотворения о *юноше* и *мельничихе* удовлетворяют всем этим требованиям, однако когда я писал их, я и не помышлял о трилогии. «*Пария*» — тоже законченная трилогия, но этот цикл был уже и задуман, и обработан как трилогия. И напротив, моя так называемая «*Трилогия страсти*» поначалу вовсе не должна была стать трилогией, но мало-помалу — и, я бы сказал, случайно — сделалась ею. Вы ведь знаете, что я написал «*Элегию*» как самостоятельное стихотворение. Затем меня посетила Шимановская, которая в то же самое лето была в Мариенбаде, и обворожительной своей игрой воскресила во мне те юношеские блаженные дни. Потому и строфы, посвященные этой моей подруге, выдержаны в размере и ритме «*Элегии*» и, сливаясь с нею, как бы образуют ее примиряющую развязку. Позднее Вейганд затеял новое издание моего «*Вертера*» и попросил у меня предисловие, что и дало мне повод написать стихотворение «*К Вертеру*». А так как в сердце у меня еще тлели угольки былой страсти, то оно, как бы

само собой, сложилось в интродукцию к «Элегии». Вот оно и вышло, что все три стихотворения, ныне соединенные в одно и пронизанные той же любовью и болью, не преднамеренно сложились в «Трилогию страсти».

Я советовал Сорэ писать еще трилогии, и лучше всего таким образом, как я вам только что рассказал. Не надо ему подыскивать особый материал для трилогии; лучше выбрать из своего солидного запаса неопубликованных стихотворений какую-нибудь вещьцу позначительнее и присочинить к ней своего рода интродукцию и примиряющую развязку, но непременно сохраняя очевидные пробелы между всеми тремя частями. Таким образом он куда легче достигнет цели, и ему не придется слишком много думать, что, как известно и как утверждает Мейер, дело очень нелегкое.

Далее мы заговорили о Гюго, решив, что чрезмерная плодovitость наносит серьезный ущерб его таланту.

— Невозможно, чтобы человек не стал писать хуже и не загубил бы даже прекраснейший талант, — сказал Гете, — если у него хватает удали за один год сочинить две трагедии и большой роман, к тому же он работает, видимо, лишь из желания сколотить себе огромный капитал. Я не браню его ни за стремление разбогатеть, ни за старанье немедленно стяжать себе славу. Но если он уповает на прочную жизнь в грядущих поколениях, то ему следует подумать о том, чтобы меньше писать и больше трудиться.

Засим Гете стал подробно разбирать «Марион де Лорм», сиюсь объяснить мне, что сюжет здесь дает материал разве что на один, правда, интересный и подлинно трагический акт, но автор из второстепенных соображений не устоял против искушения растянуть пьесу на пять длиннейших актов.

— Из всего этого мы все же извлекли некоторую пользу, — добавил Гете, — убедились, как он талантлив и в воссоздании деталей, а это уже, конечно, немало.

*Четверг, 5 января 1832 г.\**

Мой друг Тёпфер из Женевы прислал несколько новых тетрадей с рисунками пером и акварелями. В большинстве это виды Италии и Швейцарии, запечатленные им во время пешего странствия по этим странам. Гете был так поражен красотой этих зарисовок, и в первую очередь акварелей, что сказал:

— Я словно бы вижу творения прославленного Лори. Я заметил, что это отнюдь не лучшее из того, что сделал Тёпфер, и что он, конечно, пришлет вещи, еще более совершенные.

— Не знаю, чего вам еще надо, — отвечал Гете, — что может быть лучше! И какое имеет значение, если это даже окажется так. Когда художник достиг определенного уровня совершенства, то довольно безразлично, удалось ли ему одно произведение несколько лучше, чем другое. Знарок в каждом из них увидит руку мастера, всю полноту его дарования и средства, им применяемые.

*Пятница, 17 февраля 1832 г. \**

Я послал Гете портрет Дюмона, гравированный в Англии, который, по-видимому, очень его заинтересовал.

— Я не раз рассматривал портрет этого почтенного человека, — сказал Гете, когда я вечером зашел к нему. — Сначала Дюмон показался мне неприятным, — впрочем, я приписал это особенностям работы художника, который, пожалуй, слишком уж резко и жестко выгравировал его черты. Но чем дольше я вглядывался в это в высшей степени оригинальное лицо, тем вернее исчезала всякая жесткость — и из темноты фона проглядывало прекрасное выражение спокойствия, доброты и одухотворенной мягкости, характерное для человека умного, благожелательного, пекущегося о всеобщем благе и потому умиротворяюще действующего на тех, кто созерцает его.

Продолжили разговор о Дюмоне и его *мемуарах*, главным образом касающихся *Мирабо*, где он открывает нам различные источники, которыми тот столь умело пользовался, и называет множество высокоодаренных людей, которых он сумел заставить служить своим целям и отдавать силы его делу.

— Я не знаю книги более поучительной, чем эти «Мемуары», — сказал Гете, — они дают нам возможность заглянуть в самые потайные уголки той эпохи, и «чудо Мирабо» становится естественным, причем герой не утрачивает ни единой черточки своего величия. Но тут на сцену выступают новейшие рецензенты французских журналов, которые на этот счет придерживаются несколько иной точки зрения. Эти славные ребята полагают, что автор мемуаров задумал очернить их Мирабо, разоблачая

тайну его сверхчеловеческой деятельности и пытаюсь приписать другим людям часть великих заслуг, до сих пор числившихся за одним Мирабо.

В Мирабо французы видят своего Геркулеса, и по праву. Но, увы, они забывают, что и этот колосс состоит из отдельных частей и что Геркулес античных времен — существо собирательное, великий носитель своих собственных подвигов и подвигов других людей.

По сути дела, мы все существа коллективные, что бы мы там ни думали, что бы о себе ни воображали. Да и правда, много ли мы собой представляем в одиночку и что есть в нас такого, что мы могли бы считать полной своей собственностью? Все мы должны прилежно учиться у тех, кто жил до нас, равно как и у тех, что живут вместе с нами. Даже величайший гений немногого добьется, полагаясь лишь на себя самого. Но этого иногда не понимают даже очень умные люди и, гонясь за оригинальностью, полжизни ощупью пробираются в темноте. Я знавал художников, которые похвалялись тем, что не шли по стопам какого-либо мастера и всем решительно обязаны лишь собственному гению. Дурачье! Да разве такое возможно? Разве окружающий мир на каждом шагу не навязывает себя человеку, не формирует его вопреки его глупости? Я, например, убежден, что если такой самоуверенный художник хотя бы пройдет вдоль стен этой комнаты и, пусть мельком, взглянет на рисунки больших мастеров, здесь развешанные, то, не будучи бездарью, он выйдет отсюда уже преображенным.

Да что говорить, — чего бы мы стоили, не будь у нас силы и охоты использовать силы внешнего мира и поставить их на службу нашим высоким целям. Конечно, я говорю здесь о себе и о своих чувствах. За долгую жизнь я, правда, кое-что создал и завершил, чем можно было бы похвалиться. Но, говоря по чести, что тут было, собственно, моим, кроме желания и способности видеть и слышать, избирать и различать, вдыхая жизнь в услышанное и увиденное и с известной сноровкой все это воссоздавая... Своими произведениями я обязан никак не собственной мудрости, но тысячам предметов, тысячам людей, которые сужали меня материалом. Были среди них дураки и мудрецы, умы светлые и ограниченные, дети, и юноши, и зрелые мужчины. Все они рассказывали, что у них на сердце, что они думают, как живут и трудятся, какой опыт приобрели; мне же оставалось только взяться за дело и пожать то, что другие для меня посеяли.

Собственно говоря, никакой роли не играет, выжал ли человек что-либо из себя или приобрел от других и непосредственно ли он воздействует на людей или посредством других. Главное — *иметь волю, профессиональную сноровку и довольно настойчивости для выполнения задуманного*. Вот почему Мирабо имел право сколько душе угодно пользоваться тем, что предоставлял ему внешний мир, все его силы. Он обладал даром распознавать талант, людей же, одаренных таковым, привлекал к себе демон его могучей натуры, и они по доброй воле предавались ему во власть. Вот отчего его окружало множество превосходных людей, которых он зажег своим огнем и заставил служить своим высоким целям. В том, что он умел действовать совместно с другими и через других, и состоял его гений, его оригинальность и его величие.

*Воскресенье, 11 марта 1832 г.*

Вечером провел часок с Гете в интересных и приятных разговорах. Я приобрел английскую Библию, в которой, что очень меня огорчило, не обнаружил апокрифических книг. Они не были включены в нее, поскольку их подлинность подвергается сомнению, равно как и их божественное происхождение. Итак, я лишился благороднейшего Товия, этого образца благочестивой жизни, далее — «Мудрости Соломоновой» и «Речений Иисуса, сына Ширахова», писаний недосыгаемой духовной и нравственной красоты. Я посетовал на чрезвычайную узость воззрения, выражающегося в том, что одни писания Ветхого завета считаются исходящими непосредственно от бога, другие же нет. Словно благородное и великое может возникнуть вне господина и не быть плодом его попечения.

— Я, безусловно, с вами согласен, — отвечал Гете. — Но на Библию существуют две точки зрения. На нее смотрят как на своего рода прарелигию, исповедующую природу и разум в их божественной и первозданной чистоте. Эта точка зрения останется неизменной навеки, то есть доколе живут на земле люди, взысканные всевышним. Но она пригодна только для избранных и слишком возвышена и благородна, чтобы стать всеобщей. Далее, имеется точка зрения церкви, более близкая людскому разумению, она немощна, изменчива и продолжает меняться. Но и она не иссякнет в вечных своих превращениях, покуда немощны и слабы люди. Незамутненный свет божественного от-

кровения слишком чист и ослепителен и потому невыносим для простых смертных. Церковь же выступает благодетельной посредницей: она смягчает и умеряет, стремясь всем прийти на помощь и сотворить благо для многих. Христианская церковь, преисполненная веры в то, что она, как наследница Христова, освобождает человечество от тяжести греха, является великой силой. Сохранить эту силу, это значение и тем самым упрочить здание церкви — первостепенная забота христианского духовенства.

Посему оно не столь уж задается вопросами, просветляет ли дух человеческий та или иная книга Библии и содержится ли в ней учение о высокой нравственности и благородстве человеческой природы; гораздо большее значение оно придает Книгам Моисея, трактующим историю грехопадения и зарождение потребности в Искупителе, и Пророкам, неоднократно указующим на него — грядущего, и особое внимание, конечно, уделяет Евангелию, повествующему о появлении Спасителя и о его смерти на кресте во искупление грехов человеческих. Из этого вы можете усмотреть, что для подобных целей, да еще взвешенные на таких весах, ни благородный Товий, ни «Мудрость Соломонова», ни «Речения Иисуса, сына Ширахова», большого веса иметь не могут.

Вообще же нелепо задаваться вопросом, *подлинно* или *не подлинно* то или иное в библейских книгах. Что может быть подлиннее, нежели то совершенно-прекрасное, что пребывает в гармонии с чистейшей природой и разумом, донныне способствуя нашему высшему развитию! И что на свете менее подлинно, чем абсурдное, пустое и глупое, а следовательно, бесплодное или не приносящее добрых плодов. Если бы на вопрос о подлинности отдельных глав Библии можно было ответить утвердительно, потому что они-де говорят о событиях, действительно имевших место, то ведь даже в Евангелиях ряд пунктов пришлось бы подвергнуть сомнению, ибо в Евангелии от Марка и от Луки говорится не о том, что они сами пережили или чему были очевидцами, — нет, они были созданы много позднее, на основании устных преданий, записанных апостолом Иоанном уже в глубокой старости. Тем не менее я все Четыре Евангелия считаю подлинными, ибо в них нас поражает отблеск той высокой духовности, которая исходила от личности Христа и была такой божественной, что божественнее ее ничего и никогда на земле не бывало. Если меня спросят, способен ли я, по своей природе, благоговейно перед ним преклониться, я отвечу: несомненно.

Я преклоняюсь перед ним, как перед божественным откровением высшего принципа нравственности. Если спросят, способен ли я, по своей природе, поклоняться солнцу, я тоже отвечу: несомненно! Ибо и оно — откровение наивысшего, самое могучее из всех явленных земнородным. Я поклоняюсь в нем свету и творящей силе господа, которая одна дарит нас жизнью, и заодно с нами всех зверей и все растения. Но если меня спросят, готов ли я преклонить колена перед костью апостола Петра или Павла, я отвечу: пощадите меня, весь этот абсурд для меня нестерпим!

«Духа не угашайте», — говорит апостол.

Очень уж много глупостей в установлениях церкви. Но она жаждет властвовать, а значит, нуждается в тупой, покорной толпе, которая хочет, чтобы над нею властвовали. Щедро оплачиваемое высшее духовенство ничего не страшится более, чем просвещения широких масс. Оно долгое, очень долгое время утаивало от них Библию. И правда, что должен был подумать бедный человек, принадлежащий к христианской общине, о царственной роскоши богато оплачиваемого епископа, прочитав в Евангелии о бедной и скудной жизни Христа, который ходит пешком со своими апостолами, тогда как князь церкви разъезжает в карете шестериком.

— Нам даже не до конца понятно, — продолжал Гете, — сколь многим мы обязаны *Лютеру* и реформации. Мы сбросили оковы духовной ограниченности, благодаря нашей все растущей культуре смогли вернуться к первоисточкам и постигнуть христианство во всей его чистоте, Мы снова обрели мужество твердо стоять на божьей земле и чувствовать себя людьми, взысканными господом. Но сколько бы ни развивалась наша духовная культура, как бы ни углублялись и ни ширились наши познания в естественных науках, просветляя человеческий разум, — никогда нам не превзойти той высоты и нравственной культуры, что озаряет нас благим своим светом со страниц Евангелий!

И чем решительнее мы, протестанты, будем продвигаться по пути благородного развития, тем быстрее последуют за нами католики. Как только они почувствуют себя во власти охватывающего все более широкие круги великого просветительского движения, движения времени, они, как ни вертись, должны будут подчиниться ему, и тогда наконец все станет едино.

Не будет долее существовать и убогое протестантское

сектантство, а вместе с ним — вражда и ненависть отца к сыну, брата к сестре. Ибо когда человек усвоит и постигнет чистоту учения и любви Христовой, он почувствует себя сильным и раскрепощенным и мелкие различия внешнего богопочитания перестанут его волновать.

Да и все мы мало-помалу от христианства слова и вероучения перейдем к христианству убеждений и поступков.

Теперь уже разговор коснулся великих людей, живших до рождества Христова среди китайцев, индусов, персов и греков, в которых божественное начало проявлялось с не меньшей силой, чем в великих иудеях Ветхого завета. Из этого разговора возник вопрос, как являет себя божественная сила в великих того мира, в котором мы сейчас живем.

— Если послушать людей, — сказал Гете, — то, право же, начинает казаться, будто бог давным-давно ушел на покой, человек целиком предоставлен самому себе и должен управляться без помощи бога, без его незримого, но вечного присутствия. В вопросах религии и нравственности вероятность вмешательства господня еще допускается, но никак не в искусстве и науке, — это, мол, дела земные, продукт чисто человеческих сил, и только.

Но пусть кто-нибудь попытается с помощью человеческой воли и силы создать что-либо, подобное тем творениям, над которыми стоят имена Моцарта, Рафаэля или Шекспира. Я отлично знаю, что, кроме этих троих великих, во всех областях искусства действовало множество высокодаренных людей, которые создали произведения, не менее великие. Но, не уступая им в величии, они, следовательно, превосходят заурядную человеческую натуру и так же боговдохновенны, как те трое.

Да и повсюду что мы видим? И что все это должно значить? А то, что по истечении шести воображаемых дней творения бог отнюдь не ушел от дел, напротив, он неутомим, как в первый день. Сотворить из простейших элементов нашу пошлую планету и из года в год заставлять ее кружиться в солнечных лучах, — вряд ли бы это доставило ему радость, не задумай он на сей материальной основе устроить питомник для великого мира духа. Так этот дух и донныне действует в высоких натурах, дабы возвышать до себя натуры заурядные.

Гете умолк. Я же сохранил в сердце его великие и добрые слова.



КОММЕНТАРИИ





Стр. 66 (19.VI.1823). ...*рекомендательные письма и среди них одно к семейству Фроман*. — Карл Фридрих Эрнст Фроман (1765—1837) — книгоиздатель и книгопродавец в Иене, с которым Гете был в хороших отношениях. Приемная дочь Фромана Минна Херцлиб воспета Гете в его «Сонетах»; она послужила также прообразом Оттилии в «Избирательном средстве».

Стр. 68 (15.IX.1823). ...*загородное жилье не слишком удобно...* — Тяжело переживая невозможность брака с юной Ульрикой фон Левецов, Гете по возвращении из Мариенбада остановился на некоторое время в Иене, где, прежде чем вернуться в Веймар, поселился в ветхом домике в ботаническом саду. Эккерман об этом ничего не знал.

Стр. 75 (14.X.1823). «*Альдобрандинская свадьба*» — античная фреска, изображающая приготовление к венчанию, найденная в 1606 г. Ее копию сделал друг Гете, живописец Мейер (1797), и она до сих пор висит в одной из комнат дома Гете в Веймаре.

Стр. 76 (14.X.1823). *Остроумная дама* — Кунигунда фон Савиньи (1780—1863), жена историка права, сестра Беттины Brentano, в замужестве Арним. Она много рассказывала о странностях в характере Бетховена, в частности о его презрении к деньгам.

(19.X.1823). *Фрейлейн Ульрика* — Ульрика фон Погвиш (1804—1875), сестра Оттилии, невестки Гете.

Стр. 77 (21.X.1823). *Шубарт* Карл Эрнст (1796—1861) — филолог; испортил отношения с частью коллег из-за своего сочинения «Идеи о Гомере и его веке». Он написал книгу «К оценке Гете в связи с родственными литературой и искусством», ко второму тому которого в 1820 г. было приложено письмо Гете к автору.

Стр. 81 (27.X.1823). «*Мариенбадская элегия*» — стихотворение, посвященное последнему увлечению Гете, Ульрике фон Левецов

(1804—1899); Эккерман называет историю любви Гете к этой девушке легендой, но это не так. В 1822—1823 гг. на водах в Карлсбаде и Мариенбаде Гете действительно увлекся юной Ульрикой, сделал ей предложение, но получил отказ. Расставание с Ульрикой отражено в «Мариенбадской элегии». Позднее Гете написал ещё два стихотворения («Вертеру» и «Умиротворение»), в которых он запечатлел свои переживания, и объединил их вместе с «Элегией» в один цикл «Трилогия страсти». (см.: Гете И.-В. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 1. М., ИХЛ, 1975, с. 444—448).

Стр. 84 (3.XI.1823). *Молодая дама из Польши* — прославленная пианистка и композитор Мария Шимановская (1795—1831), которой Гете посвятил третью часть «Трилогии страсти» — «Умиротворение». Приезд Шимановской благотворно подействовал на Гете, расстроенного расставанием с Ульрикой фон Левецов.

Стр. 85 (3.XI.1823). *...изображают моего «Рыбака»*. — Имеется в виду баллада Гете «Рыбак» (см.: Собр. соч. в 10-ти томах, т. 1, с. 172).

Стр. 89 (13.XI.1823). *Пожилый господин* — Кристоф Сутор, камердинер Гете с 1776 по 1795 г.

Стр. 90 (13.XI.1823). *...в ту ночь чуть ли не половина Мессины была разрушена землетрясением*. — Гете писал Шарлотте фон Штейн, что в ночь с 5 на 6 апреля увидел на юго-востоке северное сияние, и это вызвало его предположение, что где-то произошло землетрясение, подобное тому, которое случилось в Мессине (Сицилия) 5—7 февраля 1783 г.

Стр. 91 (14.XI.1823). *...а молча их вынашивал (замыслы)...* — Высказывание Гете не точно. Он читал «Германа и Доротею» Шиллеру и его жене по мере того, как были готовы отдельные части поэмы. Кроме того, в период создания «Годов учения Вильгельма Мейстера» Гете вел обширную переписку с Шиллером, в которой они обсуждали как написанные, так и планируемые главы. Но это скорее исключения, так как вообще Гете действительно предпочитал вынашивать планы своих произведений, не делаясь ими ни с кем.

Стр. 98 (4.XII.1823). *...он пошел... к госпоже фон Гете...* — Имеется в виду не жена Гете, скончавшаяся в 1816 г., а жена его сына Августа — Оттилия.

*...говорилось... о лорде Байроне и его предположительном приезде в Веймар...* — Английский поэт действительно собирался навестить Гете в Веймаре, но отложил поездку из-за того, что отправился в Грецию для участия в освободительной войне против турок.

Стр. 102 (22.II.1824). *...выполненную Раухом модель статуи Гете*. — Раух сделал проект статуи Гете для г. Франкфурта. Статуя, однако, не была воздвигнута.

Стр. 104 (25.II.1824). *Гете показал... два странных диковинных стихотворения...* — Имеются в виду один из стихов «Римских элегий» (см.: Собр. соч. в 10-ти томах, т. 1, с. 183—196) и «Дневник» (см.: Гете И.-В. Собр. соч. в 13-ти томах, т. II. М., Гослитиздат, 1932).

Стр. 105 (25.II.1824). *«Шекспир для семейного чтения».* — Имеется в виду издание сочинений Шекспира под редакцией Т. Баудлера, в котором, как сказано на титульном листе, «опущены такие слова и выражения, которые по соображениям благопристойности не могут быть прочтены вслух в семейном кругу».

Стр. 113 (29.II.1824). *...вся Французская революция держалась на подкупе.* — Гете имеет в виду, что один из виднейших деятелей в период начала революции, граф Оноре Габриель Рикети Мирабо (1749—1791), вступил в тайную сделку с правительством Людовика XVI, которое обязалось уплатить его долги в компенсацию за помощь в политических вопросах. Это не помешало, однако, Мирабо действовать независимо.

Стр. 124 (2.V.1824). *Рюисдаль.* — Гете имеет в виду Якоба ван Рюисдаля (1628—1682), нидерландского живописца.

Стр. 125 (2.V.1824). *...И при закате своем это все то же светило.* — Строка принадлежит греческому поэту-эпику Нонну из Панополя.

Стр. 131 (9.XI.1824). *...он ударился в негативизм и тут уж никому больше не доставлял радости.* — В молодости Гете разделял революционные настроения Иоганна Готфрида Гердера (1744—1803), немецкого писателя-просветителя, философа, теоретика передового движения «Бури и натиска». После переезда в Веймар и отхода от движения «Бури и натиска» Гете отказался от революционных методов борьбы против феодализма. Гердер остался приверженцем французской революции, и на этой почве между ними произошло решительное расхождение во взглядах.

*...не прощаю ему, что... он вернул рукопись «Геца фон Берлихингена» испещренной язвительными замечаниями...* — Гете не точен в характеристике оценки «Геца фон Берлихингена» Гердером. Последний действительно считал композицию произведения слишком хаотичной и написал Гете: «Шекспир Вас совсем погубил». Но как в письмах к близким, так и в печатных трудах Гердер с похвалой отзывался о драме молодого Гете.

Напечатать «Геца» Гете побудил друг молодости, писатель Иоганн Генрих Мерк (1741—1791), о чем свидетельствуют строки, приведенные Гете в его автобиографии «Из моей жизни. Поэзия и правда» (см.: Собр. соч. в 10-ти томах, т. 3, с. 483—484). Отрицательный отзыв Мерк дал о «Клавиге».

Стр. 137 (10.I.1825). *Господин X.* — Хаттон, английский военный инженер.

Стр. 140 (10.I.1825). *Я написал «Эгмонта» в тысяча семьсот семьдесят пятом году...* — В действительности «Эгмонт» был лишь вчерне написан в 1775 г., но окончательно завершён только во время пребывания Гете в Италии, в 1787 г., а впервые напечатан — в 1788 г.

(18.I.1825). *...о своем знакомстве с некоей поэтессой...* — По мнению Дюнцера, речь идет об Агнессе Франц (1794—1843), которую Гете не знал лично, но ему были знакомы ее стихи.

Стр. 141 (18.I.1825). *...порадуюсь... славной девушке из Галле...* — Речь идет о писательнице Терезе Альбертине Луизе Робинсон (1797—1870), писавшей под псевдонимом Тальви. Она послала Гете свой перевод сербских народных песен. Гете написал рецензию «Сербские стихотворения» (1827) для журнала «Об искусстве и древности» (см.: Собр. соч. в 10-ти томах, т. 10, с. 406).

Стр. 144 (18.I.1825). *...Шекспир поживился им у Гомера!* — Гете имеет в виду слова Одиссея:

...несказанно блаженны отец твой и мать, и блаженны  
Братья твои, с наслаждением видя, как ты перед ними  
В доме семейном столь мирно цветешь.

(Гомер. *Одиссея. Песнь VI.*  
Перевод В. Жуковского)

У Шекспира в «Укрощении строптивой»:

Как счастливы родители, имея  
Такое дивное дитя.

(Д. IV, сц. 5, перевод  
П. Мелковой)

*...лорд Байрон... расчленил вашего Фауста...* — Байрон выразил недовольство по поводу замечания Гете, что его драматическая поэма «Манфред» (1816) содержит заимствования из «Фауста» (первая часть; 1808). Английский поэт заявил, что и Гете использовал для пролога мотивы из Книги Иова (Библия). На это и отвечает Гете в приводимых Эккерманом словах.

Заимствования Вальтера Скотта у Гете: в романе «Кенильворт» Эми Робсарт любит нарядом и орденом возлюбленного, подобно Клерхен в «Эгмонте»; в романе «Певериль Пик» есть подражание образу Миньоны из «Годов учения Вильгельма Мейстера».

Стр. 145 (18.I.1825). *Мой Мефистофель поет песню, взятую мною из Шекспира...* — В «Фаусте», в сцене перед домом Гретхен, Мефистофель поет:

Ты девушкой к нему войдешь,  
Но девушкой не выйдешь.

(Собр. соч. в 10-ти томах, т. 2, с. 142)

В «Гамлете» Шекспира песенка Офелии:

Впускал к себе он деву в дом,  
Не деву отпускал.

(Д. IV, сц. 5)

Стр. 146 (18.I.1825). *Но всего больше я люблю его в латинском переводе...* — «Герман и Доротей» была переведена на латинский язык в 1822 г. профессором Б.-Г. Фишером под названием «Арманий и Теодора».

*Шиллер порицал меня...* — См. письмо Шиллера Гете от 20 октября 1797 г. (Шиллер Ф. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 7, с. 477).

*...он назвал некоего журналиста...* — Точно не установлено, кого имеет в виду Гете: либо Кристофа Фридриха Николаи, либо Фридриха Шлегеля.

Стр. 148 (18.I.1825). *Последнее его письмо я как святыню храню...* — Маленькая неточность; имеется в виду письмо от 24 апреля 1805 г, которое было предпоследним письмом Шиллера к Гете.

Стр. 150 (24.II.1825). *В «Фазтоне» Еврипида и в других пьесах место действия меняется...* — Эта пьеса не сохранилась, но, судя по дошедшим отрывкам, Гете предположил, что в ней дважды происходит перемена места действия. Нарушение единства места действия встречается также в «Евменидах» Эсхила, в «Аяксе» Софокла и некоторых других греческих драмах.

Стр. 153 (24.II.1825). *...его отец похитил трех женщин.* — О Байроне и его отце Джоне Байроне ходило много легенд, которые дошли до Гете. Впоследствии научная биография английского поэта внесла коррективы в выдумки современников. У отца Байрона было две жены, похитил он первую жену, вторая жена — шотландка Екатерина Гордон — мать поэта.

*...стихотворение на смерть генерала Мура...* — Быстро ставшее популярным, это стихотворение, написанное в 1816 г., принадлежало перу мало известного Чарльза Вульфа (1791—1823), и авторство сначала приписывалось разным поэтам, в том числе Байрону.

(20.IV.1825). *...просит сообщить ему план второй части «Фауста»...* — Так как Гете издал первую часть «Фауста» в 1808 г. и долго не заканчивал вторую, возникли попытки сделать это за него. Студент Карл Кристоф Людвиг Шёне сообщил Гете о своем намерении закончить «Фауста» в письме от 22 июля 1821 г. и уже в 1823 г. напечатал написанную им вторую часть.

Стр. 158 (20.IV.1825). *...и об его учении о метаморфозах...* — Имеются в виду естественнонаучные исследования Гете, которого интересовал вопрос о развитии в природе от простейших видов к сложнейшим. В стихотворной форме Гете изложил свои взгляды

в «Метаморфозе растений» и «Метаморфозе животных» (см.: Собр. соч. в 10-ти томах, т. 1, с. 458—462). В научных работах Гете писал о морфологии растений и животных.

Стр. 161 (11.VI.1825). *...обсуждал книгу майора Пэрри...* — Книга «Последние дни лорда Байрона» майора Уильяма Пэрри вышла в 1828 г. Гете был о ней высокого мнения. Он считал, что это самое интересное из того, что было написано о Байроне.

Стр. 165 (25.XII.1825). *...во время переговоров с книгопродавцами, я совершил ошибку...* — Если в молодости Гете издавал свои сочинения на собственный счет, то после успеха «Вертера» он мог рассчитывать на гонорары и заботился о том, чтобы они были высокими. Его постоянным издателем стал Котта в Штутгарте. Однако новое издание Гете хотел продать подороже и вступил в переговоры с несколькими издателями. Бреннер из Франкфурта предложил особенно высокую плату. Гете рассчитывал, что это даст возможность получить высокую ставку и от Котта, но тот отказался, и только благодаря помощи друзей Гете удалось восстановить с ним отношения, причем Котта принял условия Гете.

Стр. 174 (25.III.1826). *...здесь — мое стихотворение...* — Речь идет о стихах «Лорду Байрону» (см.: Собр. соч. в 10-ти томах, т. 1, с. 436).

Стр. 175 (1.VI.1826). *Гете говорил о газете «Глоб».* — Парижская газета «Le Globe» («Земной шар») была органом французских либералов и писателей-романтиков. В 1826 г. в ней была напечатана статья о Гете критика Ж.-Ж. Ампера (1800—1864), которую Гете в сокращенном виде поместил в своем журнале «Об искусстве и древности» (см.: Собр. соч. в 10-ти томах, т. 10, с. 375—387).

Стр. 181 (13.XII.1826). *...письмо Моцарта некоему барону...* — Композитор Цельтер обратил внимание Гете на письмо Моцарта барону П., опубликованное в 1824 г., где композитор с осуждением писал о дилетантах. Впоследствии было установлено, что Моцарт мог лишь частично быть автором этого письма, а может быть, оно и вообще не было подлинным.

Стр. 189 (4.I.1827). *Разве его образы не превосходны?* — Гете имеет в виду стихотворение Гюго «Два острова» из сборника «Оды и баллады» (1826).

Стр. 191 (12.I.1827). *...квартет прославленного молодого композитора...* — Феликса Мендельсона-Бартольди (1809—1847), очень рано проявившего свое дарование

Стр. 192 (12.I.1827). *«Ich hab's gesagt der guten Mutter».* — Ошибка Эккермана. Приведенная строка взята из водевиля с пением «Рыбачка» и звучит так: «Ich hab gesagt schon meiner Mutter» («Я все поведала мамаше»).

(12.I.1827). *«Jussufs Reize möcht' ich borgen...»* — «Что Зулейка в Юсуфа влюбилась...» (Перевод В. Левика), «Западно-восточный диван», Книга Зулейки: «Ach, um deine feuchten Schwingen...» — «Ветер влажный, легкокрылый...» (Перевод В. Левика), «Западно-восточный диван», Книга Зулейки. Стихотворение написано Марианной фон Виллемер.

Стр. 193 (15.I.1827). *...слышал от его секретаря...* — С 1814 по 1829 г. секретарем Гете был Иоганн Август Ион (1794—1856).

Стр. 196 (17.I.1827). *...письмо... от одного выдающегося государственного деятеля...* — Речь идет о письме от Этьена Сент-Эньяна, французского посла при веймарском дворе.

Стр. 197 (17.I.1827). *...книга Цезаря была... предметом дискуссий разных научно-исторических школ.* — Высказывание Гете неточно. «Записки о галльской войне» Юлия Цезаря привлекли внимание военных деятелей и ученых.

Стр. 199 (17.I.1827). *Навстречу мне попался князь \*\*\*...* — Имеется в виду русский князь Путятин (1745—1830), который, после того как он попал в опалу, эмигрировал в Германию, где и приобрел имение. Его отзыв о «Разбойниках» Шиллера был записан Гете в дневнике от 5 июля 1806 г.

Стр. 205 (18.I.1827). *...герцог назначил ему содержание в тысячу талеров ежегодно...* — Сведения Гете не вполне точны. В 1789 г. Шиллер был приглашен в Иенский университет профессором истории без жалованья (платили студенты, посещавшие лекции). Вскоре после переезда в Веймар герцог назначил ему жалованье в 200 талеров, по прошествии нескольких лет — 400 талеров, в 1799 г. — 600 талеров. После того как Шиллера пригласили в Берлин, то есть с 1804 г., герцог увеличил ему жалованье до 1000 талеров в год. Гете ошибался, утверждая, будто Шиллер отклонил предложение герцога об удвоении суммы жалованья на случай болезни Шиллера. К тому же последний писал не две, а одну пьесу в год, что приносило 1000 талеров, этих денег ему хватало на год.

К алкоголю Шиллер не питал особого пристрастия и во время работы взбадривал себя лишь крепким кофе.

Стр. 206 (18.I.1827). *...и о прославленных немецких литераторах...* — Имеются в виду братья Август Вильгельм (1767—1845) и Фридрих (1772—1829) Шлегели.

Стр. 220 (1.II.1827). *...эта самоделка была лучше всех существующих телескопов...* — На самом деле астроном Гершель был искусным шлифовальщиком стекол, делал телескопы на продажу. С помощью маленького телескопа открыл планету Уран. Впоследствии пользовался самым большим телескопом того времени (диаметр зеркала — 147 см).

Стр. 221 (1.II.1827). *...надежду мне внушило учение Вернера.* —

По теории минералога Вернера все горные породы возникли как осадки исчезнувшего мирового океана. Гете приветствовал эту теорию, названную «нептунической», и противопоставлял ее отрицаемой им «вулканической» теории, по которой начало было положено катастрофами, извержениями вулканов и т. д.

(1.II.1827). *...я никогда не занимался астрономией...* — Гете имел в виду, что он не был профессиональным астрономом, но с помощью телескопов занимался разглядыванием небесных светил.

Стр. 225 (11.IV.1827). *...перемена погоды...* — Гете написал «Опыт метеорологии», разработал систему наблюдений над изменениями погоды и способствовал созданию метеорологических станций в Германии.

Стр. 233 (5.V.1827). *...рисунок итальянского мастера...* — Автор рисунка итальянский художник Джузеппе Мария Креспи (1665—1747). Автором гравюры на меди является великий голландский живописец ван Рейн Рембрандт (1606—1669).

Стр. 239 (15.VII.1827). *...лежит... роман в трех томах...* — Речь идет о романе Алессандро Мандзони «Обрученные».

Стр. 245 (24.IX.1827). *Известный немецкий писатель был на днях проездом в Веймаре...* — Имеется в виду немецкий поэт Вильгельм Мюллер (1794—1827).

Стр. 255 (3.X.1828). *...статью одного английского критика...* — Имеется в виду Томас Карлейль (1795—1881).

Стр. 263 (11.X.1828). *...как эдинбургцы еще несколько лет назад относились к моим произведениям...* — Влиятельный литературный журнал, издававшийся в Шотландии, «Эдинбургское обозрение», сохранявший приверженность рационализму, критически относился ко всему, что было связано с культом чувств, фантазией и т. п. Он встретил враждебно английскую романтическую поэзию Вордсворта и Колриджа, а также стихи молодого Байрона. К Гете журнал также сначала отнесся отрицательно. Перелом наступил после статей Карлейля о Гете.

Стр. 271 (16.XII.1828). *Спасительная голословность* и далее. — «Фауст» («Рабочая комната Фауста». — Собр. соч. в 10-ти томах, т. 2, с. 70).

Стр. 272 (16.XII.1828). *А шутка насчет двойных крестин...* — Речь идет о стихотворении Гете «Счастливые супруги», в последних строках которого сказано:

И чувствую я — скоро  
С тобою мы вдвоем  
Внучонка в сень собора  
И сына понесем.

(Перевод Вс. Рождественского)

Стр. 273 (16.XII.1828). *Это одно из самых прелестных его стихотворений...* — Стихотворение Вольтера перевел А. Пушкин под названием «Сновидение». Цитируемые Гете строки у Пушкина звучат так:

Я страсть у ног твоих в восторгах изъяснял.  
Мечты! ах! отчего вы счастья не продлили?  
Но боги не всего теперь меня лишили:  
Я только — царство потерял.

Стр. 276—277 (4.II.1829). *...другую — жестокую с душераздирающей развязкой...* — Такой сцены в бумагах Шиллера не найдено.

Стр. 278 (10.II.1829). *...переоценил в своей чрезмерно благоклонной рецензии в «Меркурии»...* — Неточно: отзыв Виланда был не в редактируемом им журнале «Немецкий Меркурий», а в частном письме.

(10.II.1829). *В тысяча семьсот семьдесят пятом году я привез его с собой в Веймар.* — «Страдания юного Вертера» написаны раньше, в феврале — марте 1774 г.

Стр. 279 (12.II.1829). *«Кто жил, в ничто не обратится...»* — Строка из стихотворения Гете «Завет» (перевод Н. Вильмонта).

*...«и все к небытию стремится. // Чтоб бытию причастным быть»* (перевод Н. Вильмонта). — Заключительная строка стихотворения Гете «Одно и все» (см.: Собр. соч. в 10-ти томах, т. 1, с. 464—465).

Стр. 281 (13.II.1829). *Господин фон Бух... выпустил в свет свой новый труд...* — У Буха нет такой книги. Видимо, Гете имел в виду кого-то другого.

Стр. 291 (19.II.1829). *...Гете нетерпимо относился к любой критике своего «Учения о цвете»...* — «Учение о цвете», разработанное Гете, было направлено против теории цвета Ньютона. Оно не встретило сочувствия в научной среде, тем не менее Гете утверждает дальше в этой беседе (с. 298): «Мне одному известна истина...»

Стр. 295 (2.IV.1829). *Разговор зашел об аресте Беранже.* — Французский поэт-песенник за свою книгу «Неизданные песни» (1828), выразившую бонапартистские симпатии автора, был приговорен к девяти месяцам тюрьмы и штрафу в тысячу франков.

Стр. 298 (3.IV.1829). *...с сигарой в зубах, на обшарпанных дрожках...* — Подразумевается герцог Саксен-Веймарский Карл-Август.

Стр. 300 (5.IV.1829). *Купидо, шалый и настойчивый мальчик...* — Цитируемое стихотворение было послано в письме из Италии Гердеру в ноябре 1787 г.

...эту песню, так же как и другие из моих опер, следовало бы поместить в разделе «Стихи». — Пожелание Гете было выполнено при издании посмертных томов его Собрания сочинений.

...стал рассказывать... о вышедшей книге о Наполеоне... — Имеются в виду «Записки о Наполеоне» его секретаря Луи-Антуана де Бурьенна (1769—1834), вышедшие (1828—1830 г.) в десяти томах.

Стр. 301 (6.IV.1829). ...Гете упомянул о последнем эпическом стихотворении Эгона Эберта... — «Эпическое стихотворение Эгона Эберта» — неточность Эккермана. Речь идет о поэме «Битва народов» Карла Готлиба Эрнста Вебера (1782—1865).

Стр. 305 (6.IV.1829). Реформация и вартбургский заговор студентов... — В честь празднования трехсотлетия Реформации в Германии осенью 1817 г. студенты Иенского университета устроили демонстрацию под лозунгом объединения всей Германии; это вызвало осуждение реакционной печати и репрессии некоторых германских правительств против студенческих обществ.

Стр. 308 (7.IV.1829). Если судить по его lever... в Эрфурте... — 2 октября 1808 г. Наполеон, находясь в Эрфурте, пригласил для беседы Гете, который писал об этой встрече своему издателю Котта: «Никогда еще лицо выше меня по положению не принимало меня подобным образом: он с особенным доверием приблизил меня к себе и, если можно так выразиться, достаточно ясно дал мне понять, что по натуре своей я ему по плечу» (2 декабря 1808 г.).

Стр. 318 (10.IV.1829). ...ученик лучшего декоратора Милана... — Имеется в виду Сан-Квирико в миланском театре «Ла Скала».

Стр. 319 (11.IV.1829). ...господин фон Д. . . . — фон Димар, тесть графа Рейнхарда.

Стр. 323 (13.IV.1829). У одного лишь Гвидо Рени был ученик... — Имеется в виду итальянский живописец Симоне Кантарини (1612—1648).

Стр. 327 (1.IX.1829). Английский посланник. — Имеется в виду лорд Каслри. Португалию представлял граф Палмелла. Португалия и Испания противились отмене торговли рабами.

Стр. 332 (20.XII.1829). ...мне казалось, что он и месяца не протянет. — В памяти Гете смешались две встречи с Шиллером: более раннее знакомство с ним и беседа в Иене в 1794 г., когда Гете и увидел Шиллера таким, каким он его описывает в этом разговоре.

...один из последних спектаклей. — По-видимому, речь идет о постановке пьесы А. Коцебу «Ревнивая жена».

Стр. 343 (10.II.1830). Празднование 2 февраля — день рождения герцога Карла-Фридриха.

Стр. 346 (17.II.1830). «Уголок гавани». — Речь идет о картине живописца Лингельбаха Яна (1623—1674).

Стр. 355 (24.III.1830). *«Le rire de Mirabeau»* — «Смех Мирабо», стихотворение Корделье-Делану. В печати оно появилось год спустя после смерти автора, в 1855 г.

Стр. 365 (12.IX.1830). *Великий переворот*. — Июльская революция 1830 г. во Франции, поставившая у власти короля Луи-Филиппа.

Стр. 379 (25.XI.1830). *...подробности жителя-бытия тамошнего английского консула*. — Имеется в виду Чарльз Джеймс Стерлинг (1804—1880), английский консул в Генуе.

Стр. 381 (1.I.1831). *...письмо от 1807 года к одному другу...* — Вернее, случайному знакомому, советнику Шмалингу, с которым Гете встретился в 1801 г. на курорте Пирмонт.

Стр. 385 (12.II.1831). *Христос идет по морю...* — В коллекции Гете были две гравюры на этот сюжет: с картины Джованни Ланфранко и Джироламо Муциано.

Стр. 390 (15.II.1831). *«Стойкий принц»* — пьеса испанского драматурга Кальдерона де ла Барка (1600—1681).

*«Великий Кофта»* — пьеса Гете о так называемом «деле об ожерелье» и об авантюристе графе Калиостро (см.: Собр. соч. в 10-ти томах, т. 4).

*«Театр Клары Газуль»* — собрание пьес несуществовавшей испанской актрисы, под именем которой опубликовал свои сочинения Проспер Мериме.

Стр. 397 (21.II.1831). *«Кабиры» Шеллинга*, — Философ Шеллинг описывает в сочинении «О самофракийских божествах» (1815) группу древнегреческих божеств — кабиров. Гете ввел их также во вторую часть «Фауста» (см.: «Классическая Вальпургиева ночь». — Собр. соч. в 10-ти томах, т. 2, с. 202, и дальше).

Стр. 410 (14.III.1831). *«Немая из Портичи»* («Фенелла») — опера французского композитора Даниеля-Франсуа-Эспри Обера (1782—1871), созданная в 1828 г. Ее постановка в Брюсселе 25 августа 1830 г. вызвала народные волнения, приведшие вскоре к разделению Бельгии от Голландии.

(14.III.1831). *...показал мне рисунки, иллюстрирующие берлинские поговорки*. — Автором этих иллюстраций является рисовальщик Франц Бурхард Дербек (1799—1835).

Стр. 414 (20.III.1831). *Геркуланумская живопись*. — Геркуланум, древний город в Италии, расположенный неподалеку от Неаполя, был разрушен и засыпан пеплом во время извержения Везувия 24 августа 79 г. н. э. Раскопки Геркуланума начались в 1738 г. При раскопках было извлечено большое количество памятников скульптуры и живописи.

Стр. 417 (21.III.1831). *...о произведениях Курье... как он защищался от обвинений по поводу пресловутого чернильного пятна...* — Изучая старинную греческую рукопись «Дафниса и Хлои», Курье

нечаянно вложил между страницами бумагу с чернильным пятном, что испортило старинный манускрипт. Это вызвало полемику в печати, в которой Курье использовал свой дар публициста и полемиста.

(21.III.1831). ...о некоем молодом профессоре восточных языков и литератур в Лене... — Имеется в виду Иоганн Штикель (1805—1896), приват-доцент в Иене с 1827 г.

Стр. 418 (22.III.1831). ...из письма своего молодого друга в Риме. — Речь идет о письме композитора Феликса Мендельсона-Бартольди от 5 марта 1831 г.

Стр. 420 (27.III.1831). ...а также о \*\*\*... — Исследователи называют разных лиц, которые могут подразумеваться под этой характеристикой В берлинском издании 1956 г. редакторы К. Ритшер и Г. Зайдель вместо звездочек ставят имя чиновника Гилле.

Стр. 425 (5.IV.1831). *Нейрейтер* Эжен-Наполеон (1806—1882) — художник, создавший гравюры в виде рамки для баллад и песен Гете.

Стр. 426 (2.V.1831). *Гете заговорил об одном известном писателе*. — Принято было считать, что речь шла о пресловутом Вольфганге Менцеле, открыто выразившем в своей «Истории немецкой литературы» враждебное отношение к Гете. Впоследствии возникло предположение, что Гете имел в виду радикально-демократического публициста Людвиг Бёрне, критиковавшего Гете за «олимпийство» и безразличие к социально-политическим проблемам. По сведениям Бергемана, изучавшего рукописи Эккермана, последний остерегался называть имя Бёрне, умершего как раз в год выхода первых двух томов «Разговоров с Гете» (1837).

Стр. 428 (15.V.1831). ...Гете к этому времени закончил два замечательных стихотворения... — Эккерман ошибается. «При созерцании черепа Шиллера» написано в 1826 г., «Кто жил, в ничто не обратится...» («Завет») — 1829 г.

Стр. 436 (Начало марта 1832 г.). ...старший сын госпожи фон Арним... — Эккерман заблуждается. Не старший сын Фраймунд, а второй, Зигмунд, был последним гостем Гете. Стихотворение, написанное для него Гете:

Ein jeder kehre vor seinen Tür,  
Und rein ist jeder Stadtquartier!  
Ein jeder übe sein' Lektion,  
So wird es gut im Rate stohn! —

означает в переводе: «Пусть каждый убирает перед своей дверью, тогда все городские квартиры будут чисты! Пусть каждый выполняет свой урок, тогда в ратуше все будет в порядке!»

Стр. 453 (30.XII.1823). *Некий француз сказал одному из моих*

*друзей...* — То есть французский астроном Деламбр графу Рейнхарду.

*Как-то раз мне попала в руки брошюра...* — Гете имеет в виду брошюру «О зрении и цветах» Артура Шопенгауэра.

Стр. 457 (2.I.1824). *Наполеон... указал вал на одно место в «Вертере»...* — Наполеон считал нарушением единства сюжета то, что герой романа кончает самоубийством не только из-за несчастной любви, но также из-за того, что высокомерные аристократы оскорбили достоинство молодого бюргера.

Стр. 463 (18.V.1824). *...об одном английском стихотворении на геологический сюжет.* — Имеется в виду стихотворение Джона Скефа «На приеме у короля Угля, или Геологический этикет» (1819).

Стр. 465 (18.V.1824). *В непостижимо прекрасном стихотворении о Страшном суде...* — По-видимому, Эккерман был незнаком с этим произведением Байрона — сатирической поэмой «Видение Страшного суда» (1821).

(26.V.1824). *Шарлотта Кестнер* (урожденная Буфф) — прототип Лотты в «Страданиях юного Вертера».

Стр. 472 (24.III.1825). *...представители среднего сословия нередко оказывались в затруднении...* — До революции 1848 г. в Германии партер и ложи в театре предназначались для дворянской публики, «среднее сословие», бюргеры, должны были занимать места менее удобные.

Стр. 475 (6.IV.1825). *Вечером ... у Гете, кроме здешних молодых англичан...* — В гостях у Гете бывало много молодых англичан, живших в Веймаре. В 1831 г. у него побывал и У. Теккерей, о чем свидетельствует письмо последнего Льюису, датированное 1855 г.

Стр. 485 (1.V.1825). *...властям предрержащим пришлось сократить число этих заведений...* — Гете имеет в виду, что после убийства А. Коцебу студентом Зандом (1819 г.) феодальные правители немецких государств запретили деятельность студенческих обществ и закрыли гимнастические объединения.

Стр. 504 (28.III.1827). *Писания Шлегеля о французском театре...* — В своих «Чтениях о драматической литературе и искусстве» А.-В. Шлегель с позиций романтизма подверг резкой критике всю французскую классику XVII в. — Корнеля, Расина и Мольера, Гете был решительно несогласен с этим.

Стр. 519 (3.V.1827). *...итальянские рыбаки пели мне места из Тассо!* — Речь идет о том, что в Италии простые люди пели красивые места из поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» и «Неистового Роланда» Ариосто (см.: «Итальянское путешествие», 6 октября 1786 г. — Собр. соч. в 10-ти томах, т. 9, с. 47).

Стр. 520 (4.V.1827). *Званный обед... в честь Ампера и его друга Штапфера,* — Имеется в виду не Филипп Альберт Штапфер, пере-

водчик произведений Гете на французский язык, а его родственник, который также пользовался дружеским расположением Гете.

Стр. 524 (25.VII.1827). ...*Гете первый написал прославленному англичанину...* — Гете написал Вальтеру Скотту 12 января 1827 г.

Стр. 537 (7.X.1827). *Мне сейчас пришел на память случай... когда мною снова овладела страсть.* — Предметом этой «страсти» была Шарлотта фон Штейн.

Стр. 552 (11.III.1828). *Я возлагаю немалые надежды на нынешнего прусского кронпринца.* — Речь идет о наследном принце Фридрихе-Вильгельме IV (1796—1861).

Стр. 567 (23.X.1828). ...*когда вы приедете с королем...* — Имеется в виду прусский король Фридрих-Вильгельм III (1770—1840).

Стр. 580 (31.I.1830). ...*оригинал... «Итальянского путешествия».* — Эта книга составлена Гете из писем, отправленных друзьям в Веймар, писем и дневника для Шарлотты фон Штейн и дополнений в виде «рассказов». Сохранился только дневник для Ш. фон Штейн, и именно его Гете показывал собеседникам.

Стр. 584 (14.II.1830). ...*упомянул о пресловутой Нинон.* — Имеется в виду Нинон де Ланкло (1616—1706), красавица, чей салон в Париже посещался многими выдающимися людьми.

Стр. 585 (14.II.1830). ...*в первую очередь назову Бригелла...* — По-видимому, ошибка Эккермана. Бригелла — постоянная маска мужского персонажа народной импровизационной комедии. Вероятно, Эккерман спутал фамилии актера и актрисы. В «Итальянском путешествии» Гете пишет о том, что видел «Смеральдину и актера, игравшего Бригеллу» (10 октября 1786 г. — Собр. соч. в 10-ти томах, т. 9, с. 54).

Стр. 599 (17.III.1830). *«Гемма из Арта».* — Автор пьесы неизвестен.

Стр. 600 (17.III.1830). ...*хвалю моего друга Бентама...* — Сказано иронически: Гете не был лично знаком с английским философом и никаких отношений с ним не имел.

(17.III.1830). ...*стал бы ревностным защитником тридцати девяти статей... боролся бы... за статью девятую...* — Речь идет о законах англиканской церкви, принятых в 1563 г. и регулирующих все религиозные установления; статья девятая касается доходов епископов.

Стр. 601—602 (17.III.1830). ...*я написал дифирамбическое стихотворение о сошествии Христа в ад.* — Стихотворение включается во все полные собрания сочинений Гете под названием «Poetische Gedanken über die Höllenfahrt Jesus Christi». Русского перевода нет.

Стр. 604 (17.III.1830). *Талейран.* — Министр иностранных дел Наполеона присутствовал при беседе императора с Гете и оставил неполный рассказ об этом.

Стр. 605 (29.III.1830). *...застал... графиню Каролину Эглофштейн...* — Описка Эккермана; другом Гете была ее сестра Юлия.

(29.III.1830). *Он (Кампе) меня не терпел.* — Гете забыл или намеренно не упоминает, что он осмелел строгий пуризм Кампе в одной из своих ксений.

Стр. 607 (5.IV.1830). *...о «Хаосе», веймарском журнале, которым руководила госпожа фон Гете...* — «Хаос» был журналом для узкого круга знакомых, в нем играла большую роль невестка писателя Оттилия фон Гете. Журнал создавался в последние годы жизни Гете, и в нем участвовали люди из окружения великого писателя. Он сам иногда редактировал стихи, написанные для «Хаоса».

Стр. 608 (19.IV.1830). *...его посетили двое русских.* — Имена их не установлены.

Стр. 609 (2.VIII.1830). *Я вовсе не об этих людях говорю, меня совсем не они занимают.* — Это заявление Гете, что его будто бы не интересуют события Июльской революции во Франции, опровергаются записями в дневнике, свидетельствами очевидцев о том, что Гете читал все газетные сообщения о событиях во Франции, дипломатические реляции, листовки, интересовался политическими карикатурами.

*...спор между Кювье и Жоффруа де Сент-Илером!* — Кювье был сторонником неизменности животных видов, тогда как Жоффруа Сент-Илер и Ламарк утверждали, что они меняются.

Стр. 610 (2.VIII.1830). *...относительно межчелюстной кости...* — Межчелюстная кость находится над верхней челюстью, составляя переднюю часть черепа; ясно выраженная у животных и рыб, у человека незаметна. Гете специально занимался изучением вопроса и развивал идею, что у позвоночных она тоже существовала, но с течением времени почти исчезла.

(21.VIII.1830). *...рекомендовал некоего подающего надежды юношу.* — Имеется в виду К.-М.-Л. Этмюллер, будущий филолог.

Стр. 611 (20.X.1830). *...учение Сен-Симона представляется мне абсолютно нежизненным и несостоятельным.* — Вопреки этому заявлению, Гете в романе «Годы учения Вильгельма Мейстера» искал путей для сочетания индивидуальных стремлений с такими формами социальной организации, которые препятствовали бы развитию буржуазных эгоистических стремлений.

Стр. 615 (14.IV.1831). *...на торжественном открытии Ильменауских рудников...* — Рудники в Ильменау (вблизи Веймара) были много лет заброшены. Благодаря стараниям Гете их восстановили, что дало работу местным жителям, жившим в страшной нужде.

Стр. 616 (14.IV.1831). *По меньшей мере десять минут...* — Фридрих Якоб Сорэ в своих воспоминаниях о Гете указывает, что дли-

тельность паузы была двадцать минут. Некоторые исследователи полагают, что речь прервалась едва ли дольше, чем на двадцать секунд.

Стр. 617 (20.VI.1831). *Композиция!* — Гете возражал против представления о том, что произведения создаются посредством механического соединения отдельных частей. Он утверждал органический характер художественного творчества, что не мешало ему составлять планы своих произведений, например, «Фауста», «Поэзии и правды» и др.

Стр. 627 (11.III.1832). *«Духа не угашайте»...* — Цитата из Библии: Первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла.

*А. Аникст*

---

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

- Абекен* Бернгард Рудольф (1780—1866), профессор — 252.  
*Абрагам а Санта-Клара* (Ганс Ульрих Мегерле; 1644—1709), популярный сатирический писатель и проповедник — 429.  
*«Агнесса Бернауэр»* — пьеса драматурга И.-А. Тёрринга (1751—1836) — 408.  
*Адам* — библейский персонаж — 258, 352, 355.  
*Александра* (Александра Федоровна; 1798—1860), принцесса Прусская, жена Николая I — 446.  
*«Алексис и Дора»* — см. Гете.  
*Альбертини*, певица — 360.  
*«Альманах муз»* — журнал, издаваемый Шиллером — 135, 145.  
*Амалия*, герцогиня Саксен-Веймарская (1739—1807), мать Карла-Августа — 278, 324.  
*Ампер* Жан-Жак (1800—1864), французский литератор — 517, 520, 523.  
*Амье* Жак (1513—1593), французский писатель — 416.  
*Ангулемский*, герцог Луи-Антуан де Бурбон (1775—1884) — 105.  
*Анна-Амалия*, герцогиня — см. Амалия.  
*Ариосто* Лудовико (1474—1533), итальянский поэт — 105.  
*Аристотель* (384—322 гг. до н. э.), греческий философ — 242, 253, 504.  
*Ардт* Эрнст Мориц (1769—1860), немецкий поэт — 595.  
*Арним* Беттина фон, урожденная Брентано (1785—1869), писательница, приятельница Гете — 436.  
*Арно* Эмиль-Люсьен (1787—1863), драматург — 584, 585.  
*«Густав Ваза»* — 584.  
*Артария*, мангеймский торговец произведениями искусства — 285.  
*Ахав*, иудейский царь — 431.
- Баварский король** (Людвиг I; 1786—1848) — 308, 309, 310, 311, 315, 320, 324, 345, 349, 564, 584.  
**Базедов** Иоганн Бернгард (1723—1790), педагог — 423.  
**Байрон** Джордж Гордон (1788—1824), английский поэт — 77, 93, 98, 103, 105, 111, 135, 144, 149, 150, 152, 153, 161, 167, 174, 175, 177—179, 204, 206, 231, 234—236, 274, 336, 349, 371, 372, 385, 407, 417, 447, 465, 524, 556, 592, 593, 596.
- Драмы:  
*«Венецианский дождь»* — 149.  
*«Вернер»* — 447.

«Двое Фоскари» — 235.

«Каин» — 103, 231.

«Манфред» — 447.

«Марино Фальеро» — 592.

«Преображенный урод» — 144, 177, 179.

«Сарданапал» — 174, 447.

Поэмы:

«Английские барды и шотландские обозреватели» — 151.

«Беппо» — 178.

«Дон-Жуан» — 105, 234, 465.

«Чайльд Гарольд» — 371.

*Баллани* Пьер-Симон (1776—1850), французский писатель — 590.

*Бальзак* Оноре де (1799—1850), французский писатель — 590.

*Бейль* Мари-Анри (Стендаль; 1783—1842), французский писатель — 614.

«Красное и черное» — 614.

*Бейльвиц* Фридрих Август фон, полковник — 408.

*Беккер* Генрих (фон Блюменталь; 1764—1822), актер — 108.

*Бентам* Иеремия (1748—1832), английский правовед — 581, 600.

*Беранже* Пьер-Жан (1780—1857), французский поэт — 190, 206, 209, 214, 295, 320, 426, 518, 520, 593, 594.

*Берши* Эрнст Вольфганг (1738—1809), друг молодости Гете — 339, 340, 382.

*Бернарден* де Сен-Пьер (1737—1814), французский писатель — 372.

«Павел и Виргиния», роман-идиллия — 372.

«La Chaumière indienne» («Индийская хижина»), повесть — 372.

*Бернс* Роберт (1759—1796), шотландский народный поэт — 519.

*Бетман* Симон Мориц фон (1768—1826), банкир — 319.

*Бетховен* Людвиг ван (1770—1827), композитор — 76, 389, 442.

*Бехтольсгейм* Юлия (урожденная графиня фон Келлер; 1751—1847) — 608.

*Биньон* Луи-Пьер-Эдуард (1771—1841), французский барон, историк — 577.

*Блуменбах* Иоганн Фридрих (1752—1840), анатом — 442, 610.

*Блюхер* Гебгард Леберехт фон, князь (1742—1819), прусский фельдмаршал — 132, 311.

*Бомарше* Пьер-Огюстен-Карон (1732—1799), французский драматург и публицист — 316, 417.

*Бомонт* Френсис (1584—1616), английский драматург — 456.

*Бонапарт* Жером (1784—1860), брат Наполеона — 389.

*Бонапарт* Люсьен (1775—1840), брат Наполеона — 552.

*Бонапарт* Мария-Летиция (урожденная Рамолино; 1750—1836), мать Наполеона — 389.

*Бонапарт* Наполеон — см. Наполеон.

*Бонитеттен* Карл Виктор фон (1745—1832), швейцарский писатель — 379.

*Брандт* Генрих Франц (1789—1845), гравер — 103.

*Брилль* Пауль (1554—1626), фламандский живописец — 323.

*Брион* Фридерика (1752—1813), возлюбленная Гете в молодости — 588.

*Бристоль* лорд Лоцелль (1730—1803), епископ Дерби — 602, 603.

*Буассерэ* Сульпиций (1782—1854), архитектор, хранитель памятников Баварии — 347, 433.

*Бурбоны*, французская королевская династия (1589—1792 гг. и 1815—1830 гг.) — 105, 520.

*Бури* Фридрих (1763—1835), художник, друг Гете — 325.  
*Бурьенн* Луи-Антуан де (1769—1834), секретарь Наполеона — 306, 308.  
*Бух* Леопольд фон (1774—1853), геолог — 281, 299.  
*Бюргер* Готфрид Август (1747—1794), немецкий писатель — 160.  
«Фрау Шниппс» — 160.

«*Валленштейн*» — см. Шиллер.

*Вальднер-Фрейндштейн* Луиза Аделаида фон (1746—?), придворная дама Веймарского двора — 583.

*Ванлоо* Шарль-Амедей (1719—1795), французский художник — 109.

*Вебер* Карл Мария (1786—1826), немецкий композитор — 157.

*Вейганд*, книгоиздатель — 621.

*Вейсентурн* Иоганна фон (1773—1847), актриса, писательница — 84.

«*Иоганн из Финляндии*» — 84.

«*Векфилдский священник*» — см. Голдсмит.

*Великая герцогиня* — см. Луиза (до 14 февраля 1830 г.), Мария Павловна (после 14 февраля 1830 г.).

*Великая княгиня* — см. Мария Павловна.

*Великий герцог* — см. Карл-Август.

*Великий герцог-наследник* — см. Карл-Фридрих.

*Веллингтон* Артур Уэлсли, герцог (1769—1852), английский фельд-маршал — 132, 172, 232, 560.

*Вергилий* (70—19 г. до н. э.), римский поэт — 408.

*Верне* Орас (1789—1863), французский парадный живописец — 418.

*Вернер* Абрагам (1750—1817), минералог из Фрайберга — 221.

*Веронезе* Паоло (1528—1588), итальянский художник — 388.

*Виланд* Кристоф Мартин (1733—1813), немецкий писатель — 97, 146, 224, 225, 233, 246, 278, 349, 589.

«*Оберон*» — 248, 349.

*Виллемен* Абель-Франсуа (1790—1870), французский литератор и общественный деятель — 283, 284, 294, 298, 581.

*Виллемер* Иоганн Якоб фон, тайный советник, и его жена Марианна (1760—1838), друзья Гете — 374, 465.

*Вильгельм* (1797—1888), король Прусский, впоследствии император Вильгельм I — 217.

*Вильгельм I* (1781—1864), король Вюртембергский — 318, 618.

*Винкельман* Иоганн Иоахим (1717—1768), немецкий археолог и историк искусства — 160, 223, 236.

*Винтербергер* Георг (1804—1860), актер Веймарского театра — 277.

*Виньи* Альфред де (1797—1863), французский поэт-романтик — 350, 590.

«*Водовоз*», опера итальянского композитора Луиджи Керубини (1760—1842) — 260.

«*Волшебная флейта*» — см. Моцарт.

*Вольтер* Франсуа-Аруэ (1694—1778), французский философ и поэт — 164, 240, 254, 273, 274, 281, 284, 298, 332, 336, 349, 351, 417, 517, 596.

«*Les systèmes*», стихотворение — 336.

*Вольф*, внук Гете — см. Гете Вольфганг Максимилиан.

*Вольф* Анна Амалия (1781—1851), актриса Веймарского театра — 338, 461.

*Вольф* Оскар Людвиг Бернгард (1799—1851), импровизатор из Гамбурга, издатель поэтических антологий — 168, 169.

- Вольф* Пий Александр (1782—1828), актер Веймарского театра — 125, 266, 267, 470.
- Вольф* Фридрих Август (1759—1824), филолог — 98, 122, 222.
- Вюртембергский король* — см. Вильгельм I.
- Вюрц*, книготорговец в Париже — 525.
- Гаманн* Иоганн Георг (1730—1788), философ, литератор — 224, 284, 547.
- Гаугвиц* Генрих Кристиан Карл фон, граф (1752—1831), прусский министр — 129.
- Гафиз*, или Хафиз, Шамседдин Мохаммед (ок. 1325—1389), персидский поэт — 209.
- Гегель* Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831), философ — 275, 284, 326, 497, 547, 548.
- Геерен* Арнольд Герман Людвиг (1760—1842), профессор истории — 102.
- Гейгендорф* фон (Каролина Ягеман; 1777—1848), актриса Веймарского театра — 126, 446.
- Гейне* Генрих (1797—1856), знаменитый немецкий поэт — 596.
- «Гемма из Арта»*, трагедия швейцарского писателя и священника Томаса Борнгаузена (1795—1856) — 599.
- Генаст* Каролина Кристина (1800—1860), актриса Веймарского театра — 277.
- Генаст* Эдуард (1797—1866), актер Веймарского театра — 277, 310.
- Гендель* Георг Фридрих (1685—1759), немецкий композитор и органист — 122.
- «Мессия»*, оратория — 122, 280.
- Генинхгаузен* Фридрих Вильгельм, коммерсант — 253.
- Генрих IV* (1553—1610), французский король — 376.
- Гердер* Иоганн Готфрид (1744—1803), немецкий философ, идеолог движения «Бури и натиска» — 97, 131, 132, 146, 224, 225, 324.
- «Идеи к философии истории человечества»* — 132.
- Герхард* Вильгельм Кристиан Бернгард (1780—1858), советник посольства в Лейпциге — 212.
- Переводы сербских стихотворений:  
*«Тюремные ключи»* — 212.  
*«Спляши нам, Теодор»* — 212.
- Гершель* Уильям (1738—1822), астроном — 220.
- Гете* Альма (1827—1844), внучка Гете — 373.
- Гете* Вальтер Вольфганг (1818—1885), внук Гете — 76, 96, 232, 342, 345, 373, 614.
- Гете* Вольфганг Максимилиан (1820—1883), внук Гете — 232, 243, 342, 345, 373, 463, 605, 614.
- Гете* Иоганн Вольфганг (1749—1832).
- Эпические произведения:  
*«Ахиллеида»* — 350.  
*«Герман и Доротея»* — 91, 145, 188, 193, 213, 277, 293.  
*«Телль»* — 521.
- Драматические произведения:  
*«Боги, герои и Виланд»* — 113.  
*«Брат и сестра»* — 553, 579.  
*«Великий Кофта»* — 390.  
*«Внебрачная дочь»* («Евгения») — 148.

- «Возмущенные» — 459.  
 «Волшебная флейта» — 210, 447.  
 «Гец фон Берлихинген» — 100, 110, 131, 150, 173, 176, 408, 464, 524, 575, 579, 580, 589.  
 «Гражданин генерал» — 273.  
 «Евгения» — см. «Внебрачная дочь».  
 «Елена» — 193, 195, 235, 511, 521.  
 «Ифигения» — 215, 276, 354, 475, 505, 506.  
 «Клавиго» — 262, 316, 553.  
 «Клаудина де Вилла Белла» — 300, 310.  
 «Пандора» — 77.  
 «Рыбачка» — 192.  
 «Свадьба Гансвурста» — 405, 411.  
 «Торквато Тассо» — 139, 140, 276, 446, 475, 516, 519, 520, 522.  
 «Фауст» (часть первая) — 77, 111, 139, 144, 145, 173, 179, 180, 278, 280, 293, 319, 336, 337, 356, 405, 447, 498, 516, 522.  
 «Фауст» (часть вторая) — 129, 154, 195, 247, 262, 327—332, 341, 343, 350, 380, 384, 426, 522, 523, 532, 554, 589.  
 «Фэтон» — опыт реставрации трагедии Еврипида — 216, 443.  
 «Эгмонт» — 139, 140, 144, 148, 285, 460.  
 Искусство:  
 «Бенвенуто Челлини» — 141, 145.  
 «О дилетантизме» — 126.  
 «Об искусстве и древности», журнал Гете — 62, 66, 68, 71, 87, 88, 95, 102, 141, 212, 532.  
 «Правила для актеров» — 125, 461, 462.  
 Автобиографические произведения:  
 «Итальянское путешествие» — 182, 292, 317, 320, 347, 580.  
 «Поэзия и правда» — 99, 128, 380, 401, 410, 423, 587, 588.  
 «Римский карнавал», раздел из «Итальянского путешествия» — 579.  
 Повести, романы, рассказы:  
 «Годы странствий Вильгельма Мейстера» — 77, 145, 146, 159, 166, 230, 251, 252, 277, 280, 283, 292, 427, 428.  
 «Годы учения Вильгельма Мейстера» — 77, 145, 146, 159, 166, 264, 293.  
 «Избирательное сродство» — 77, 118, 207, 242, 277, 346, 523.  
 «Новелла» («Дитя и лев») — 193, 200, 201, 206, 211, 217, 409, 411, 412.  
 «Письма из Швейцарии» — 452.  
 «Страдания юного Вертера» — 77, 100, 173, 299, 308, 452, 457, 458, 516, 550, 580, 602—604, 621.  
 Разное:  
 «Заметки об издании произведений» — 427.  
 «Письма пастора» — 113.  
 «Рецензии во «Франкфуртском ученом вестнике» — см. «Франкфуртский ученый вестник».  
 «Речь на открытии рудников Ильменау» — 615.  
 «Сербские стихотворения» — 141.  
 Естествознание:  
 «Метаморфоза растений» — 220, 229, 321, 376, 393, 400, 414, 421, 440.  
 Метеорология — 449.  
 О межчелюстной кости — 610.

- «Опыт как посредник между субъектом и объектом» — 229.
- «Опыт учения о погоде» — см. «Метеорология».
- «Учение о цветке» — 183, 217, 220, 221, 286, 287, 291, 292, 371, 400, 414, 427, 432, 433, 441, 448, 453, 496, 583.
- «Учение об эксперименте» — см. «Опыт как посредник между субъектом и объектом».
- Стихотворения:
- «Алексис и Дора» — 165, 166.
- «Баллада о детях и старике» — 271.
- «Бог и баядера» — 242.
- «Бодро и смело вверх» — см. «Бравому Хроносу».
- «Бравому Хроносу» — 530.
- «В альбом Арниму» — 436.
- «В альбом г-же фон Шпигель» — 107.
- «В полночный час» — 192.
- «Ветер влажный, легкокрылый...» — 192.
- «Г-жам Дюваль из Картины в Женевском кантоне» — 574.
- «Гораций, второй жрец, полон восторга, предрек...» — 353.
- «Двустишие» — см. «Ксении».
- «Ему под стать, изыдя в мрак священный...» — 430.
- «Завет» — 279, 428, 523.
- «Западно-восточный диван» — 192, 458, 554, 555.
- «И все к небытию стремится...» — см. «Одно и все».
- «Избранный утес» — 116.
- «Иль старость уходит...» — см. «Кроткие Ксении».
- «Ильменау» — 570.
- «К Вертеру» — 621.
- «Коринфская невеста» — 590.
- «Крадусь в степи, угрюм и дик...» — 259.
- «Кроткие Ксении» — 491.
- «Ксении» — 145—147.
- «Кто жил, в ничто не обратится...» — см. «Завет».
- «Купидо, шалый и настойчивый мальчик...» — 300.
- «Легенда о подкове» — 355.
- «Лесной царь» — 192.
- «Лорду Байрону» — 174.
- «Любящий тут вспоминал...» — см. «Избранный утес».
- «Мариенбадская элегия» — 81, 92, 621.
- «Метаморфоза животных» — 523.
- «Метаморфоза растений» — 523.
- «Надовесский плач» — 293.
- «Огнями Ивановой ночи» — 200.
- «Он рвется вдаль мечтой могучей...» — см. «Ильменау».
- «Пария» — 88, 102, 621.
- «При созерцании черепа Шиллера» — 428.
- «Римские элегии» — 105, 309.
- «Рыбак» — 85.
- «Рыбачка» — 192.
- «Солдатское счастье» — 98.
- «Сошествие Христа в ад» — 173, 602.
- «Счастлив край, где фрукты зреют...» — см. «Г-жам Дюваль из Картины в Женевском кантоне».
- «Счастливые супруги» — 272.
- «Трилогия страсти» — 621.
- «Уж вечер плыл...» — 562.

- «Харон» — 443.  
 «Хвали творца, коль он гнетет...» — 366.  
 «Юноша и мельничиха» — 621.  
 «Эпиграммы» — см. «Ксении».  
 «Я все поведала мамаше...» — см. «Рыбачка».
- Гете* Иоганн Каспар (1710—1782), отец Гете — 278, 283, 420.  
*Гете* Катарина Элизабет (урожденная Текстор; 1731—1808), мать Гете — 122, 278, 582.  
*Гете* Корнелия (1750—1777), сестра Гете — 421.  
*Гете* Оттилия Вильгельмина Эрнестина Генриетта (урожденная Погвиш; 1796—1872), невестка Гете — 75, 97, 98, 121, 122, 196, 197, 227, 230, 231, 250, 254, 256, 259, 260, 262, 263, 319, 344, 345, 373, 378, 379, 441, 442, 444—446, 451, 471, 483, 582, 608.  
*Гете* Юлий Август Вальтер (1789—1830), сын Гете — 75, 97, 98, 101, 122, 196, 197, 225, 227, 230, 248, 342, 351, 356, 362, 364, 365, 377, 441, 442, 445, 511, 582.  
*Гёттлинг* Карл Вильгельм (1793—1869), филолог, профессор и библиотекарь в Иене — 259, 260, 292, 353.  
*Гизо* Франсуа-Пьер-Гильом (1787—1874), французский историк и общественный деятель — 283, 294, 298, 304, 305, 320.  
*Голдсмит* Оливер (1728—1774), английский писатель — 135, 270, 551.  
 «Векфилдский священник» — 384.  
*Гольбейн* Ганс, младший (1497—1543), живописец — 550.  
*Гомер*, легендарный древнегреческий эпический поэт — 144, 235, 295, 312, 347, 491, 492.  
 «Илиада» — 167, 346.  
 «Одиссея» — 386, 491.
- Гор* Элиза, дочь богатого англичанина, проживавшего в Веймаре с 1731 г. — 342.
- Гораций* (Квинт Гораций Флакк; 65—8 гг. до н. э.), римский поэт — 209.
- Горн* Иоганн Адам (1750—1806), друг юности Гете — 320.  
*Горн* Франц (1781—1837), литератор — 134.  
*Гофман* Эрнст Теодор Амадей (1776—1822), немецкий писатель — 134.  
*Гоцци* Карло (1720—1806), граф; итальянский драматург — 345, 584, 585.
- Графф* Иоганн Якоб (1768—1848), актер — 311, 470.  
*Гретхен*, предмет юношеской любви Гете — 588.  
*Григорий IX* (1170—1241), папа римский — 163.  
*Григорий XVI* (1765—1846), папа римский — 418.  
*Гримм*, Фридрих Мельхиор (1723—1807), барон, французский писатель — 345, 588.  
*Грюнер* Карл Франц (1780—1845), актер — 125, 461.  
 «Гузла» — см. Мериме.
- Гумбольдт* Александр фон (1769—1859), немецкий ученый — 160, 181, 495, 517, 551, 565—567.  
 «Через Кубу в Колумбию» — 495.
- Гумбольдт* Вильгельм фон (1767—1835), немецкий ученый и государственный деятель — 88, 91, 160, 293, 450.  
*Гушке* Вильгельм Эрнст (1760—1828), врач в Веймаре — 444.  
*Гэ* Дельфина (по мужу Жирарден; 1804—1855), французская поэтесса — 206, 350.  
*Гюго* Виктор (1802—1885), французский поэт — 189, 350, 590, 618, 621, 622.

- «*Два острова*» («*Le deux isles*»), стихотворение — 189.  
 «*Марион де Лорм*», трагедия — 622.  
 «*Собор Парижской богородицы*», роман — 618.
- Давид*, царь Иудейский — 352.  
*Давид д'Анже* Пьер-Жан (1789—1856), французский скульптор — 350, 351, 355, 590.  
*Д'Аламбер* Жан-Лерон (1717—1783), французский математик, философ — 417.  
*Дальберг* Карл фон (1744—1817), князь-примас Рейнского союза — 583.  
*Д'Альтон* Иозеф Вильгельм Эдуард (1772—1840), немецкий ученый — 478, 610.  
*Даниил*, пророк, библейский персонаж — 352.  
*Данте* Алигьери (1265—1321), итальянский поэт — 133—135, 268.  
 «*Дафнис и Хлоя*», пастораль древнегреческого писателя Лонга (ок. II—III вв.) — 408, 412—414, 416.  
*Деберейнер* Иоганн Вольфганг (1780—1849), профессор химии — 540.  
*Декандоль* Огюстен Пирам (1778—1841), швейцарский ботаник — 620.  
*Делавинь* Казимир (1793—1843), французский поэт — 189.  
*Делакруа* Эжен (1798—1863), французский живописец и график, глава французского романтизма — 180.  
*Делану* — см. «Смех Мирабо» Корделье-Делану.  
*Делиль* Жак (1738—1813), французский поэт — 209.  
*Дешан*, естествоиспытатель, друг Сорэ — 450.  
*Дешан* Эмиль (1791—1871), французский поэт — 350, 351, 590.  
 «*Этюды*» — 590.  
*Джонсон* Бенджамин (1573—1637), английский драматург — 456.  
*Джонсон* Самюэл (1709—1784), английский писатель — 234.  
 «*Расселас*», повесть — 234.  
*Джулио* Романо — см. Романо.  
*Дидро* Дени (1713—1784), французский философ, энциклопедист — 190, 417, 447, 517.  
 «*Племянник Рамо*» — 148, 447, 452.  
*Доминикино* (Доминико) Цампери (1581—1641), итальянский живописец и архитектор — 312.  
*Дулэн* Роберт, англичанин, друг Эккермана — 132, 472, 484.  
*Дюваль* де Картины, тетка Сорэ — 574.  
*Дюма* Александр — отец (1802—1870), французский писатель — 390.  
 «*Генрих III*» — 390.  
*Дюмон* Пьер-Этьен-Луи (1759—1829), родственник Сорэ — 577, 581, 582, 623.  
 «*Мемуары*» — 623.  
 «*Путешествие в Париж*» — 578.  
*Дюпен* Франсуа-Пьер (1784—1873), французский политический деятель — 573.  
*Дюпре* Гильом и Антуан, ваятели, мастера медалей во Франции — 376.  
*Дюран* Фридрих Август (1787—1852), актер Веймарского театра — 470.  
*Дюрер* Альбрехт (1471—1528), немецкий живописец и гравер, основоположник искусства немецкого Возрождения — 426, 550.  
*Дю Шателе* Габриель-Эмили (1706—1749), французская писательница — 274.

*Ева*, библейский персонаж — 258.  
*Евгений-Наполеон* — см. Лейхтенбергский герцог.  
*Еврипид* (485—407 гг. до н. э.), древнегреческий трагик — 150, 185, 216, 384, 389, 443, 491, 492, 504.  
«*Фазтон*» — 150, 216, 443.

*Жан-Поль*, псевдоним немецкого писателя Иоганна Пауля Рихтера (1763—1825) — 423.

*Жанен Жюль* (1804—1874), французский писатель, критик — 590.  
*Жанлис Стефани Фелисите* (1746—1830), графиня; писательница — 164.

*Жерар* — см. Нерваль.

*Жерар Франсуа*, барон (1770—1837), французский живописец, придворный живописец Наполеона I — 196.

«*Жиль Блаз*», произведение французского писателя Лесажа Алена-Рене (1668—1747) — 386.

*Жоффруа Сент-Илер* Этьен (1772—1844), французский зоолог — 433, 609, 610, 617.

«*Заметки о поэзии*» — см. Эккерман.

«*Звезда Севильи*», пьеса австрийского писателя Цедлица Йозефа Христиана (1790—1862) — 344.

*Зейдель Макс Иоганн* (1795—1855), актер Веймарского театра — 248, 466.

*Зейдель Филипп* (1755—1820), «старый слуга» Гете (до 1785 г.) — 173.

*Зекендорф Карл Сигизмунд фон* (1744—1785), камергер — 571.

*Земмеринг Самюэль Томас фон* (1755—1830), немецкий анатом и физиолог — 600, 610.

*Зольгер Карл Вильгельм Фердинанд* (1780—1819), немецкий эстетик и философ-идеалист — 206—208.

Перевод трагедий Софокла — 206.

*Зутор Кристоф* (1754—1838), камердинер Гете (1776—1795 гг.) — 89.

«*И при закате своем это все то же светило...*», строка из произведения греческого поэта Нонна из Панополя (V в.) — 125.

*Иаков* — апостол, библейский персонаж — 352.

«*Избирательное сродство*» — см. Гете.

*Иммерман Карл Лебрехт* (1796—1840), немецкий поэт, драматург и романист — 96, 97.

*Императрица Австрийская Мария-Людовика-Беатриса* (1787—1816) — 273, 342.

*Иоанн*, библейский персонаж — 352.

*Иордан Иоганн Людвиг фон* (1773—1848), прусский министр — 258.

*Исайя* — пророк, библейский персонаж — 352.

*Иффланд Август Вильгельм* (1759—1814), известный немецкий актер и драматург — 118, 133, 171.

«*Холостяки*» — 118.

- Калиостро*, граф (Александр Джузеппе Бальзамо; 1743—1795), известный авантюрист и шарлатан — 283.
- Кальдерон* де ла Барка, дон Педро (1600—1681), испанский драматург — 109, 118, 159, 176, 215, 504.  
«*Стойкий принц*» — 390.
- Кампе* Иоахим Генрих (1746—1818), писатель, педагог — 605.
- Кампер* Петер (1722—1798), голландский анатом — 610.
- Каннинг* Джордж (1770—1827), английский государственный деятель — 188, 189, 239.
- Канова* Антонио (1757—1822), итальянский скульптор — 463.
- Кант* Иммануил (1724—1804), философ, родоначальник немецкой классической философии — 160, 229, 284, 326.  
«*Критика способности суждения*» — 229.  
«*Критика чистого разума*» — 284.
- Канцлер* — см. Мюллер Фридрих фон.
- Каподистрия* Иоаннис, граф (1776—1831), президент греческого государства — 232, 294.
- Карл* (1801—1883), принц Прусский — 217.
- Карл V* (1500—1558), германский император — 448.
- Карл X Филипп* (1757—1836 гг.), французский император (1824—1830 гг.) — 613.
- Карл-Август*, великий герцог Саксен-Веймарский (1757—1828) — 89, 90, 92, 122, 205, 249, 251, 252, 279, 312, 340, 343, 387, 404, 407, 408, 420, 422, 445, 448, 467, 469, 472, 480, 481, 565, 567—572, 597, 599, 601.
- Карл-Александр* (1818—1901), наследный принц, впоследствии великий герцог Саксен-Веймарский — 368, 378, 384, 409, 411, 419, 423, 440, 572, 579, 611, 614, 615, 618.
- Карл Великий* (742—814), король франков, впоследствии римский император — 113.
- Карл-Фридрих* (1783—1853), великий герцог, преемник Карла-Августа, отец Карла-Александра — 195, 217, 440, 572.
- Карлейль* Томас (1795—1881), английский публицист, историк, критик и философ — 239, 240, 241, 263, 264, 426, 526.  
«*Жизнь Шиллера*» — 241.
- Карраччи*, семья итальянских художников: Лодовико (1555—1619) и его двоюродные братья — Агостино (1557—1602) и Аннибале (1560—1609) — 323.
- Карус* Карл Густав (1789—1869), королевский лейб-медик — 222, 610.
- Кастильоне* — см. Пий VIII.
- Кауфман* Анжелика (1741—1807), художница — 451.
- Кёerner* Карл Теодор (1791—1813), поэт периода освободительных войн против Наполеона — 595, 596.
- Кестнер* Шарлотта, урожденная Буфф (1753—1828), прототип Лотты в «Страданиях юного Вертера» — 465.
- Кете* Фридрих Август, профессор теологии и архиепископ в Иене — 463.
- Кинд* Фридрих (1768—1843), автор либретто «Вольного стрелка» — 260.  
«*Клара Газуль*» — см. Мериме.
- «*Классическая Вальпургиева ночь*» — см. Гете «Фауст», часть вторая.
- Клетенберг* Сузанна Катарина фон (1723—1773), приятельница матери Гете — 173.
- Клопшток* Фридрих Готтлиб (1724—1803), немецкий поэт — 131, 173.

- «Мессия» — 131.  
 Оды — 131.  
 «Герман» — 173.
- Клорен* (псевдоним Карла Гейна; 1771—1854), писатель, сотрудник иенской литературной газеты — 134.
- Кнебель* Карл Людвиг фон (1744—1834), немецкий писатель — 64, 67, 533, 571.
- Князь-примас* — см. Дальберг.
- Колумб* Христофор (1451—1506), мореплавателъ — 223.
- Кольбе* Генрих (1771—1836), художник — 442.
- Корнелиус* Петер фон (1783—1867), немецкий живописец — 347, 348.  
 «*Орфей перед тронем Плутона молит об освобождении. Эвридики*» — 348
- Корнель* Пьер (1606—1684), французский драматург — 118, 508.
- Король* Вюртембергский (1781—1864) — 618.
- Корради-Пантанелли*, певица — 360.
- Корреджо* (Аллегри) Антонио (1494—1534), итальянский живописец, представитель Высокого Возрождения — 182.
- Котта* Иоганн Фридрих фон (1764—1832), книгоиздатель — 63, 67.
- Коцебу* Август фон (1761—1819), немецкий писатель и публицист — 79, 118, 133, 171, 206, 391, 534, 563, 612.  
 «*Два Клингсберга*» — 79.  
 «*Примирение*» — 79.  
 «*Родственники*» — 79.
- Краузе* Готтлиб Фридрих (1805—1860; «Фридрих»), слуга Гете — 84, 137, 240, 246, 310, 311, 318, 342, 344, 350, 436, 467, 530.
- Крейтер* Фридрих Теодор (1790—1856), личный секретарь Гете и библиотекарь в Веймаре — 85, 97.
- Крюгер* Вильгельм (1791 — 1841), берлинский актер — 505, 506.  
 «*Ксениш*» — см. Гете и Шиллер, произведения.
- Кудрэ* Клеменс Венцеслав (1775—1845), архитектор — 122, 137, 179, 232, 233, 279, 296—299, 318, 369, 408, 442, 447, 448, 471, 481, 613.
- Кузен* Виктор (1792—1867), французский философ — 283, 284, 294, 298, 565, 581.
- Кумберландская герцогиня* Фридерика (1778—1841 или 1848), сестра прусской императрицы Луизы — 122.
- Кумберленд* Ричард (1732—1811), английский драматург — 466.  
 «*Еврей*» — 466.
- Купер* Джеймс Фенимор (1789—1851), американский писатель — 334.
- Курье* Поль-Луи (1772—1825), французский ученый-эллинист и литератор — 408, 411, 416, 417.
- Кювье* Жорж (1769—1832), французский зоолог — 433, 581, 609, 617.
- Лагранж* Жозеф-Луи (1736—1813), французский математик — 279.
- Ламартин* Альфонс де (1790—1869), французский писатель-романтик и государственный деятель — 189.
- Ланкло* Нинон де (1616—1706) — 345, 584.  
 «*Лаокоон*» — см. Лессинг.
- Ларош* Карл Август (1794—1884), актер — 277, 310, 466.
- Лассен* Христиан (1800—1876), норвежский ученый-санскритолог — 515.
- Лафатер* Иоганн Каспар (1741—1801), швейцарский писатель, богослов — 283, 382, 576.  
 «*Физиогномика*» — 283.

- Лафонтен Жан де* (1621—1695), французский писатель, баснописец — 118.
- Левецов Ульрика фон* (1804—1899), последнее увлечение Гете — 450.
- Лейбниц Готфрид Вильгельм фон* (1646—1716), немецкий философ-идеалист — 349.
- Лейхтенбергский герцог Евгений Богарне* (1781—1824), пасынок Наполеона — 113.
- Лео Генрих* (1799—1878), историк — 240.
- Леонардо да Винчи* (1452—1519) итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер — 181, 270.
- Лессинг Готхольд Эфраим* (1729—1781), писатель немецкого Просвещения, основоположник немецкой классической литературы — 146, 160, 163, 176, 222, 224, 228, 419, 492.  
 «*Минна фон Бархельм*» — 176, 222, 419.  
 «*Натан Мудрый*» — 223.  
 «*Эмилия Галотти*» — 223.  
 «*Лаокоон*» — 228.
- Летиция* — см. Бонапарт.
- Ливий Тит* (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.), римский историк — 220.
- Лигницкий, герцог Генрих*; пал в битве с монголами в 1241 г. под Лигницем — 163.
- Лили* — см. Шёнemann.
- Липс Иоганн Генрих* (1758—1817), немецкий живописец, график — 325.
- Локхарт Джон Джибсон* (1794—1854), английский писатель — 524, 526.
- Лопе де Вега* (1562—1635), испанский драматург эпохи Возрождения — 157.
- Лори Габриель* (1760—1836), живописец — 623.
- Лоррен Клод* (1600—1682), французский художник-пейзажист и график — 305, 313—315, 319, 322—324, 433, 493, 513.
- Лоу, сэр Гудзон* (1769—1844), английский генерал — 343.
- Луден Генрих* (1780—1847), немецкий историк, издатель журнала «*Немезида*» — 197.  
 «*История немцев*» — 197.
- Луиза* (1757—1830), великая герцогиня Саксен-Веймарская — 195, 249, 251, 343, 344, 450, 586, 607, 614.
- Лукреция, жена Люция Тарквиния* — 162.
- Людовик XV* (1710—1774), французский король — 480.
- Лютер Мартин* (1483—1546), инициатор Реформации в Германии — 125, 191, 444, 461, 627.
- Макиавелли* Никколо** (1469—1527), итальянский политический деятель, писатель — 286.
- Малькольми* (ум. в 1819 г.), актер — 272.
- Мандзони Алессандро* (1785—1873), итальянский поэт и писатель, глава романтической школы — 189, 215, 239, 241—244, 331.  
 «*Ода в честь Наполеона*» — 239.
- Мария*, в христианской мифологии мать Иисуса Христа — 182.
- Мария-Луиза* (1791—1847), французская императрица, жена Наполеона I — 197.
- Мария Магдалина*, библейский персонаж — 352.
- Мария Павловна* (1786—1859), наследная принцесса (великая княгиня), затем великая герцогиня — 279, 318, 345, 368, 377, 379, 399, 419, 440, 446, 447, 450, 572, 574, 583, 586, 611, 614, 615.

- Марк*, евангелист — 626.
- Марло Кристофер* (1564—1593), английский драматург — 456.
- Мармонтель Жан-Франсуа* (1723—1799), французский писатель — 439.
- Маро Клеман* (1495—1544), французский поэт — 447.
- Мартиус Карл Фридрих Филипп фон* (1794—1868), немецкий естествоиспытатель и путешественник — 256—258, 421, 564, 578, 579.
- Массо Фирмини* (1766—1827), женеvский художник — 450.
- Матиссон Фридрих фон* (1761—1831), немецкий поэт — 214.
- Медвин Томас* (1788—1869), английский писатель, друг Байрона — 149, 174.
- Медем*, граф и графиня — 262.
- Медичи Лоренцо* (1449—1492), по прозвищу «Великолепный», итальянский поэт — 107.
- Мейер Иоганн Генрих* (1769—1832), живописец, придворный советник — 75, 76, 85, 115, 158, 223, 305, 306, 312, 324—326, 369, 424, 441, 442, 444, 445; 448—450, 622.
- Мейер Фридрих Адольф Карл* (1805—1884), советник прусского посольства — 100, 104.
- Мейер Эрнст Фридрих Генрих* (1791—1858), профессор ботаники — 222.
- Мейербер Джакомо* (1791—1864), композитор — 210, 280.
- Менандр* (ок. 342 — ок. 290 гг. до н. э.), древнегреческий писатель — 159, 504.
- Мендельсон-Бартольди Феликс* (1809—1847), немецкий композитор — 191.
- Мериме Проспер* (1803—1870), французский писатель — 206, 320, 350, 390, 517, 518, 592.  
«Гузла» — 592.  
«Театр Клары Газуль» — 206, 390, 518.
- Мерк Иоганн Генрих* (1741—1791), друг Гете в молодости — 132, 278, 285, 296, 420, 422.
- Мессинджер Филипп* (1583—1640), английский драматург — 456.  
«Мессия» — см. Гендель.
- Метастазιο Пьетро* (1698—1782), итальянский поэт и драматург — 472.
- Микеланджело Буонарроти* (1475—1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт — 325, 609.  
«Моисей», статуя — 609.
- Мильтон Джон* (1608—1674), английский поэт, политический деятель — 342.  
«Самсон» — 342.
- Мирабо Оноре-Габриель Рикети, граф* (1749—1791), деятель Великой французской революции — 623—625.
- Моисей*, библейский персонаж — 222, 257, 547, 609, 626.
- Мольер (Жан-Батист Поклен; 1622—1673)*, французский драматург — 159, 160, 170, 171, 176, 482, 502, 503, 508, 517, 596.  
«Лекарь поневоле» — 170.  
«*Malade imaginaire*» («Мнимый больной») — 502.  
«Мизантроп» — 503.  
«Скупой» — 159, 170.  
«Гартюф» — 176, 482, 503.
- Мольке Якоб* (1783—1831), певец, актер Веймарского театра — 475.
- Монтескье Шарль-Луи де* (1689—1755), французский просветитель — 372.

- Мосгейм* Иоганн Лоренц фон (1694—1755), лютеранский теолог — 444.
- Моцарт* Вольфганг Амадей (1756—1791), австрийский композитор — 181, 265, 280, 329, 342, 361, 389, 390, 469, 550, 556, 617, 628.  
«*Волшебная флейта*» — 117, 122, 475.  
«*Дон-Жуан*» — 280, 358, 475—476, 617.
- Музеус* Иоганн Карл Август (1735—1787), немецкий писатель, сочинитель сказок — 239.
- Мур* Джон (1761—1809), генерал — 153.
- Мур* Томас (1779—1852), английский поэт-романтик — 135.
- Мюллер* Фридрих фон (1779—1849), канцлер Саксен-Веймара — 75, 86, 90, 91, 122, 135, 196, 197, 200, 231, 232, 237—239, 244, 311, 315—317, 369, 441, 449, 532, 565.
- Мюнстер*, граф (1766—1839), ганноверский государственный деятель — 324.
- Наполеон I* (1769—1821), французский император — 105, 113, 118, 125, 153, 172, 188—190, 197, 232, 239, 294, 299, 300, 302, 306—308, 311, 329, 343, 344, 351, 373, 389, 404, 416, 434, 457, 508, 526, 549—552, 556, 577, 593, 604.  
«*Натан Мудрый*» — см. Лессинг.
- Неггерат* Якоб (1788—1877), минералог — 267.
- Нейрейтер* Эжен-Наполеон (1806—1882), художник — 353, 355, 425.
- «*Немая из Портичи*», опера французского композитора Франсуа Обера (1782—1871) — 410.
- Нерваль* Жерар де (Жерар Лабрюни; 1808—1855), французский поэт-романтик — 336, 337.
- «*Нибелунги*». «*Песнь о Нибелунгах*», германский народный эпос — 98, 215, 295.
- Нибур* Бартольд Георг (1776—1831), немецкий историк — 220, 418.
- Нинон* — см. Ланкло.
- Нис* фон Эзенбек Христиан Готфрид (1776—1858), ботаник — 136.  
«*Новый счастливчик*», опера композитора Мюллера Венцеля (1767—1835) — 117.
- Ной*, библейский персонаж — 352, 355.
- Ньютон* Исаак (1642—1727), физик и математик — 125, 158, 184, 219, 270, 370, 427, 453.
- «*Оберон*», опера Вебера или эпическая поэма Виланда — см. Виланд.
- Окен* Лоренц (1779—1851), немецкий естествоиспытатель и натуралист-философ — 551, 610.
- Ольденбургские принцы*, Петер-Георг-Пауль-Александр (1810—?) и Константин-Фридрих-Петер (1812—?) — 259.
- «*Оры*» — журнал, издаваемый Шиллером — 135.
- «*Освобожденный Иерусалим*» — см. Тассо Торквато.
- Остаде* Адриан ван (1610—1685), голландский живописец — 276, 303.  
*Гравюра картины* «*Good man and good wife*» («*Добрый муж и добрая жена*») — 276, 303.
- «*Отто фон Виттельсбах*», пьеса немецкого писателя Фрица Мариуса фон Бабо (1756—1822) — 408.

- Павел**, апостол — 352, 627.
- Павзаний**, греческий путешественник и писатель II в. — 532.
- Панкук Эрнестина** (Панкук — семья книгопродавцев в Париже) — 198.
- Паганини** Никколо (1782—1840), итальянский скрипач-виртуоз и композитор — 405.
- Папа** — 163 (см. Григорий IX); 320 (см. Пий VIII); 418 (см. Григорий XVI).
- «Пария»**, трагедия немецкого драматурга Михаила Бера (1800—1833) — 102, 136.
- Пейкер** Генри Карл Фридрих (1779—1849) — 441.
- «Переписка Якоби с друзьями»** — см. Якоби.
- «Пертская красавица»** — см. Скотт Вальтер.
- Петр**, в христианских преданиях один из двенадцати апостолов — 352, 385, 387, 627.
- Петр Великий** (1672—1725), русский император — 322, 407, 551.
- Пий VIII** Франческо Саверио, граф Кастильоне (1761—1830) — 320.
- Пиль** Роберт (1788—1850), английский государственный деятель — 305, 324.
- Платен** Август фон, граф (1796—1835), поэт — 94, 116, 118, 168, 385, 596.
- «Газеллы»**, стихотворения — 95.
- «Эдип»**, трагедия — 385.
- Платон** (427—347 гг. до н. э.), древнегреческий философ-идеалист — 207, 270, 412.
- «Племянник Рамо»** — см. Дидро.
- Плутарх** (ок. 45 — ок. 127), греческий писатель и историк — 132, 161, 337.
- Погвиш** Генриетта Оттилия Ульрика (1776—1851), мать Оттилии Гете — 122, 451.
- Погвиш** Ульрика фон (1804—1875), сестра Оттилии Гете — 76, 97, 98, 230, 248, 249, 319, 373, 471, 483.
- Полигнот**, древнегреческий живописец и скульптор V в. до н. э. — 532.
- Поль** — см. Жан-Поль (Рихтер).
- Поп** Александр (1688—1744), английский поэт — 152.
- Преллер** Фридрих (1804—1878), художник — 493, 495.
- Прусский кронпринц** — см. Фридрих-Вильгельм IV.
- Пуссен** Никола (1594—1665), французский живописец — 102, 408, 432, 493, 513.
- Пэрри** Уильям, майор, друг лорда Байрона — 161.
- Рабле** Франсуа (1494—1553), французский писатель-гуманист — 613.
- «Разговоры с Гете»** — см. Эккерман.
- Рамберг** Иоганн Генрих (1763—1840), живописец — 112.
- Рапп** Жан, граф (1771—1821), французский генерал — 389.
- Расин** Жан-Батист (1639—1699), французский драматург — 118.
- Раунах** Эрнст (1784—1825), драматург — 78.
- «Земная ночь»** — 78.
- Раух** Христиан Даниэль (1771—1857), скульптор — 102, 532.
- Рафаэль** Санти (1483—1520), итальянский живописец и архитектор — 155, 190, 265, 312, 323, 325, 418, 458, 550, 628.
- Ребейн** Вильгельм, лейб-медик великого герцога — 90, 91, 93, 122, 140, 141, 143, 441, 444, 445.

- Рейберг* Август Вильгельм (1757—1836), ганноверский советник — 465.
- Рейнхард* Карл Фридрих, граф (1761—1837), французский дипломат — 74, 215, 465.
- Рейнхард* (*молодой граф*), сын Карла Фридриха Рейнхарда — 319, 320.
- Рейнхард* Франц Фолькмар (1753—1812), главный придворный проповедник — 119.
- Рейтерн* Гергард фон, барон (1784—1865), художник — 279, 424, 425.
- Рейхардт* Иоганн Фридрих (1752—1814), композитор и писатель — 311.
- Рек* Элиза фон (1756—1833), немецкая писательница — 619, 620.
- Рембрандт* ван Рейн (1606—1669), голландский художник — 621.
- Рени* Гвидо (1575—1642), итальянский художник — 323.
- Рёр* Иоганн Фридрих (1777—1848), главный суперинтендент в Веймаре — 122, 191.
- Ример* Фридрих Вильгельм (1774—1845), филолог — 75, 76, 122, 127, 137, 143, 144, 145, 147, 148, 232, 343, 369, 442, 446, 449, 463, 465, 599.
- Рипенсаузен* Иоганн (1789—1860) и Франц (1786—1831), немецкие художники — 532.
- Ричардсон* Самюэл (1689—1761), английский писатель — 213.
- Роман* Джулио (Джулио Романо; 1492—1546), итальянский живописец — 323.
- Роос* Иоганн Генрих (1631—1685), анималист — 109, 112.
- Россини* Джоаккино (1792—1868), итальянский композитор — 257, 260, 352, 361.
- «*Граф Ори*» — 359, 361.
- «*Моисей*» — 257, 260.
- «*Севильский цирюльник*» — 373.
- Ротшильдов* *банкирский дом* — 268, 319.
- Рубенс* Питер Пауэл (1577—1640), фламандский живописец — 226, 236, 388, 512, 513.
- Руссо* Жан-Жак (1712—1778), французский писатель и философ — 136, 372, 596.
- Рюйсдаль* Якоб ван (1628—1682), нидерландский живописец — 124, 346.
- Рюккерт* Фридрих (1788—1866), поэт — 88, 595.
- «*Восточные розы*» — 88.
- Савиньи* Фридрих Карл фон (1799—1861), немецкий юрист, глава исторической школы права — 304.
- Сальвандри* Нарсис Ашиль де (1795—1856), государственный деятель и публицист — 320.
- Сан-Квирико*, декоратор в Милане — 359.
- «*Севильский цирюльник*» — см. Россини.
- Сегюр* Филипп-Поль фон (1780—1873), французский генерал, писатель и историк — 322.
- «*История России и Петра Великого*» — 322.
- «*Семь девушек в мундирах*», пьеса актера и драматурга Ангели Луи (1787—1835) — 242.
- Сен-Симон* Луи де Рувруа, герцог (1675—1755), писатель и государственный деятель — 588.
- Сен-Симон* Клод-Анри, граф (1760—1825), социалист-утопист — 611.
- Сенсимонисты*, приверженцы социалиста-утописта Сен-Симона Клода-Анри — 611.

*Сент-Бёв* Шарль-Огюстен (1804—1869), французский критик и поэт — 590.

*Сент-Илер* — см. Жоффруа.

«*Сестры из Праги*», комическая опера Мюллера Венцеля (1767—1835) — 88.

*Сильвестра*, приятельница Эккермана в Женеве — 365, 371.

«*Симеон*» — см. Мильтон.

*Скотт* Вальтер (1771—1832), английский писатель — 135, 144, 217, 241, 254—256, 259, 261, 263, 406, 407, 409, 410, 524—526, 577.

«*Айвенго*» — 406, 409.

«*Веверлей*» — 241, 261, 263.

«*История Наполеона*» — 577.

«*Пертская красавица*» — 254, 255, 260, 261.

«*Роб Рой*» — 407.

*Слуги Гете*: до 1 апреля 1824 г. — Штадельман; с 1 декабря 1824 г. — Краузе («Фридрих»); «старый слуга» Зейдель — 173; камердинер Зутор — 89.

«*Смех Мирабо*» («*Le rire de Mirabeau*»), стихотворение поэта Корделье-Делану (1806—1854) — 355.

*Смоллет* Тобайас Джордж (1721—1771), английский романист — 234.

«*Родерик Рэндом*» — 234.

*Сократ* (470/469—399 гг. до н. э.), древнегреческий философ — 504.

*Сорэ* Фридрих Якоб (1795—1863), воспитатель наследных принцев великого герцога, переводчик — 92, 209, 279, 280, 345, 365, 376, 377, 379, 393, 400, 411, 414, 423, 440, 621, 622.

«*Полночь*», стихотворение — 621.

«*Состязание певцов в Вартбурге*» — см. Фуке.

*Соссюр* Орас-Бенедикт де (1740—1799), швейцарский естествоиспытатель — 287.

*Софокл* (496—406 гг. до н. э.), древнегреческий поэт — 159, 185, 206, 215, 216, 240, 492, 496—502, 504, 508.

«*Антигона*» — 496, 500, 507.

«*Аякс*» — 499.

«*Эдип*» — 496, 501.

«*Филоклет*» — 216, 501.

*Спиноза* Бенедикт (Барух; 1632—1677), нидерландский философ-материалист — 403.

*Сталь* Анна-Луиза-Жермена (1766—1817), французская писательница — 443.

*Стендаль* — см. Бейль.

*Стерлинг* Чарльз Джеймс (1804—1880), английский консул в Генуе — 365, 370, 373.

*Стерн* Лоренс (1713—1768), английский поэт, юморист — 270, 339.

*Суссекский герцог* Август-Фридрих (1773—1843) — 324.

*Сцевола* Гай Муций (VI в. до н. э.) — по античному преданию, римский патриот — 162.

*Талеيران* (Талейран-Перигор) Шарль-Морис, князь (1754—1838), французский дипломат — 604.

*Тассо* Антонио (Агостино Тасси; 1566—1642), итальянский художник, учитель Клода Лоррена — 323.

*Тассо* Торквато (1544—1595), итальянский поэт — 465.

«*Освобожденный Иерусалим*» — 465.

*Тасту* Амабль (1798—1885), французская поэтесса — 350, 512.

*Теньер* Давид (1610—1690), фламандский живописец — 255.  
*Тёнфер* Карл (1792—1871), немецкий писатель — 277.  
*Тёнфер* Рудольф (1799—1846), швейцарский живописец и новеллист — 613, 622.  
    «*Приключения доктора Фестуса*», рисунки — 613.  
*Тидге* Кристоф Август (1752—1841), писатель — 107, 108.  
    «*Уrania*» — 107.  
*Тик* Агнесса (1805—?), дочь Тика — 259, 263.  
*Тик* Доротея (1799—1841), дочь Тика — 263, 259.  
*Тик* Людвиг (1773—1853), писатель романтической школы — 67, 119, 207, 259, 262, 263.  
*Тициан* (Тициано Вечеллио; 1476 или 1490—1576), итальянский живописец эпохи Возрождения — 388, 418, 442.  
*Томсон* Джеймс (1700—1748), английский поэт — 434.  
*Трейтель*, книготорговец в Париже — 525.  
    «*Гридцать лет из жизни игрока*», произведение писателя Гелля Теодора (псевдоним Теодора Винклера; 1775—1857) — 313.  
*Тюркгейм* Фридерика Элизабет Цецилия фон (1808—?), внучка Лили Шёнеман — 587.

*Уланд* Людвиг (1787—1862), немецкий поэт-романтик, историк литературы — 77, 435.  
*Ульрика*, фрейлейн — см. Погвиш Ульрика.  
    «*Ундина*» — см. Фукс.  
*Унцельман* Карл Вольфганг (1786—1843), актер — 332.

*Фабвье* Шарль-Никола (1783—1855), французский генерал, участник борьбы за свободу Греции — 350.  
*Фацус* Фридрих Вильгельм (1764—1843), придворный резчик печатей и медалей — 303.  
*Фидий* (нач. V в. до н. э. — ок. 432/431 г. до н. э.), скульптор Древней Греции — 182, 491, 550.  
    «*Физиогномика*» — см. Лафатер.  
*Филдинг* Генри (1707—1754), английский писатель, классик литературы Просвещения — 135.  
*Финкенштейн* Генриетта фон, графиня (ум. в 1847 г.), приятельница Тика — 259.  
*Фихте* Иоганн Готлиб (1762—1814), немецкий философ — 326.  
*Флеминг* Пауль (1609—1640), немецкий поэт — 191.  
*Флетчер* Джон (1579—1625), английский драматург — 456.  
*Фогель* Карл (1798—1864), веймарский надворный советник, врач — 191, 319, 341, 344, 379, 394, 420.  
*Фойт* Фридрих Сигизмунд (1781—1850), иенский зоолог — 348.  
*Фосс* Иоганн Генрих (1751—1826), писатель и переводчик — 312, 384, 533, 534.  
    «*Луиза*» — 384.  
*Фосс* Эрнестина (1756—1834), жена Иоганна Фосса — 534.  
*Франке* Генрих (1807—?), актер Веймарского театра — 310.  
*Франклин* Бенджамин (Вениамин; 1706—1790), американский просветитель, государственный деятель, ученый — 221.  
    «*Франкфуртский ученый вестник за 1772—1773 годы*», где помещены рецензии Гете — 65, 68.  
*Фрезер* Уильям, издатель журнал «*Foreign Review*» — 263.  
*Фридрих*, слуга Гете — см. Краузе.

*Фридрих II Великий* (1194—1250), германский король и император Священной Римской империи — 163.  
*Фридрих II Великий* (1712—1786), прусский король с 1740 г. — 105, 125, 138, 407, 551.  
*Фридрих Вильгельм IV* (1795—1861), наследный принц Прусский — 217.  
*Фроман Карл Фридрих Эрнст* (1765—1837), книгопродавец в Иене — 67, 547.  
*Фрориеп Эмма*, фрейлейн, дочь старшего медицинского советника Людвига Фридриха Фрориепа (1779—1847) — 122.  
*Фуке де ла Мотт Фридрих*, барон (1777—1843), немецкий поэт — 239, 240, 254.  
    «*Состязание певцов в Вартбурге*» — 254.  
    «*Ундина*» — 254.  
*Фюрнштейн Антон* (1783—1841) — 72.  
*Фюсли Иоганн Генрих* (1742—1825), рисовальщик — 454.

*Хаген Август* (1797—1880), поэт и искусствовед — 71.  
*Хагн Шарлотта фон* (1809—1891), актриса из Мюнхена — 564.  
*Хаккерт Филипп* (1737—1807), пейзажист — 318, 382—383.  
*Хаттон*, английский военный инженер (господин Х.) — 137, 139, 141.  
*Хеннинг*, по всей вероятности, сын немецкого философа Леопольда фон Хеннинга (1791—1866) — 609.  
*Хинрихс Герман Фридрих Вильгельм* (1794—1861) — литератор, гегельянец — 496—499.  
*Хирт Алоиз* (1759—1836), археолог из Берлина — 325.  
*Ходовицкий Даниэль* (1726—1801), гравёр по меди, иллюстратор немецкой классической литературы — 79.  
    «*Холостяки*» — см. Иффланд.  
*Хольтей Карл фон* (1798—1880), немецкий писатель — 523.  
*Хоп фон Пинки* — 524.  
*Хувальд Эрнст* (1778—1845), драматург — 75, 149, 150, 532.  
    «*Портрет*» — 75, 149, 532.  
    «*Враги*» — 150.  
*Хуммель Иоганн Непомук* (1778—1837), виртуоз-пианист, капельмейстер Веймарского двора — 85, 306, 307, 389, 442.

*Цан Иоганн Карл Вильгельм* (1800—1876), живописец и архитектор — 400.  
*Цаупер Иозеф Станислав* (1784—1850), профессор, литератор — 82.  
    «*Этюды о Гете*» — 82.  
*Цезарь Гай Юлий* (102 или 100—44 г. до н. э.) — 132, 197.  
*Цельтер Карл Фридрих* (1758—1832), профессор музыки и композитор — 96—98, 167, 192, 232, 280, 296, 300, 302, 303, 360, 478, 479, 506, 547, 548, 606.  
*Цицерон Марк Туллий* (106—43 г. до н. э.), римский политический деятель — 138.

«*Челядинцы*», опера композитора Антона Фишера (1777—1808), либретто Келлера — 475.

- Шатобриан** Франсуа-Рене де (1768—1848), французский писатель-романтик — 189, 320.
- «**Шахматы**» — пьеса Генриха Бекка (1760—1803), актера и драматурга — 80, 82.
- Швабе** Иоганн Фридрих (1779—1834), старший советник консистории — 398.
- Швабский герцог** (Иоанн Паррицида) — 413.
- Шванефельд** Герман ван (ок. 1600—1655), нидерландский живописец — 433.
- Швейцер** Христиан Вильгельм (1781—1856), тайный советник в Веймаре — 476.
- Шекспир** Уильям (1564—1616), крупнейший английский драматург и поэт — 102, 104, 119, 135, 144, 145, 150, 152, 166, 167, 176, 178, 216, 218, 241, 270, 289, 316, 329, 455, 456, 469, 482, 504, 508, 514, 554, 555, 628.
- Произведения:  
 «**Гамлет**» — 117, 554.  
 «**Генрих IV**» (Фальстаф) — 149.  
 «**Макбет**» — 167, 178, 514.  
 «**Ромео и Джульетта**» — 289.  
 «**Троил и Крессида**» — 167.
- Шелгорн** Франц Вильгельм, архивариус — 136.
- Шеллинг** Фридрих Вильгельм Иозеф фон (1775—1854), немецкий философ — 116, 292, 397.  
 «**Кабиры**» — 392, 397.
- Шёне** Фридрих Готхольд (1806—1857; а не Карл, как у Эккермана), филолог — 384.
- Шёнemann** Анна Элизабет (1758—1817), «Лили» Гете — 128, 129, 421, 587, 588.
- Шиллер** Фридрих фон (1759—1805), немецкий писатель — 91, 97, 117, 120—121, 135, 145—148, 159—161, 177, 198, 199, 202—206, 224, 229, 244, 252, 269, 285, 286, 293, 294, 310, 316, 332, 345, 350, 354, 390, 413, 423, 429, 460, 467, 469, 470, 492, 505, 518, 521, 522, 531, 534, 535, 538—540, 584, 590, 599, 608.
- Драмы:  
 «**Валленштейн**» — 91, 92, 108, 176, 244, 429.  
 «**Вильгельм Тель**» — 147, 203, 316, 413, 521.  
 «**Дон Карлос**» — 423.  
 «**Заговор Фиеско**» — 198, 199, 518.  
 «**Коварство и любовь**» — 518.  
 «**Пикколомини**» (первая часть «Валленштейна») — 176.  
 «**Разбойники**» — 148, 199, 518.  
 «**Смерть Валленштейна**» — 176.  
 «**Эмонт**» Гете в переработке Шиллера — 285.
- Стихотворения:  
 «**Альманах муз**» — 135, 145, 608.  
 «**Двустышия**» — см. «Ксении».  
 «**Ксении**» — 145—147.  
 «**Надовесский плач**» — 293.
- Шиллер** Шарлотта (урожденная фон Ленгефельд; 1766—1826), жена поэта — 535.
- Шимановская** Мария (1795—1831), первая пианистка русской царицы — 82, 85, 449, 621.
- Шинкель** Карл Фридрих (1781—1841), архитектор и художник — 298.
- Шлегели:** Август Вильгельм и его брат Фридрих (1772—1829), литераторы, теоретики романтической школы — 67, 119.

- Шлегель* Август Вильгельм фон (1767—1845), немецкий историк литературы, критик, переводчик и поэт — 423, 504, 515.
- Шлоссер* Иоганн Георг (1739—1799), писатель, шурин Гете, муж Корнелии — 421.
- Шлоссер* Иоганн Фридрих Генрих (1780—1851), племянник Иоганна Георга Шлоссера и сын Иеронима Петера Шлоссера, друга юности Гете, писатель клерикального направления — 465.
- Шлоссер* Фридрих Кристоф (1776—1861), историк — 240.
- Шмидт* Мария, певица — 310.
- Шмидт* Фридрих Христиан, веймарский советник — 76, 441.
- Шопенгауэр* Артур (1788—1860), немецкий философ — 319.
- Шпигель* Карл Эмиль фон, обергофмаршал — 318.
- Жена* Эмилия, урожденная фон Штольберг — 107.
- Сын* Карл — 434.
- Шрён* Людвиг Генрих (1799—1875), ботаник, профессор в Иене — 418, 539, 540.
- Штаберле* — популярный комический персонаж венских фарсов — 117.
- Штадельман* Иоганн, слуга Гете (1814—1824 гг.) — 78, 81, 93, 94, 104, 108.
- Штапфер*, родственник Фридриха Штапфера — 520.
- Штапфер* Фридрих Альберт Александр (1802—1892), писатель — 516.
- Штернберг* Каспар фон, граф (1761—1838), ботаник — 163, 230, 232, 496.
- Штилер* Карл Иозеф (1781—1858), придворный портретист баварского короля — 564.
- Штиллинг* — см. Юнг.
- Штольберги*: Франц Леопольд фон (1750—1819) и его брат Христиан (1748—1821), друзья молодости Гете — 129.
- Штош* Филипп (1691—1757), барон, собиратель произведений искусства — 236.
- Штрекфус* Карл (1778—1844), писатель, переводчик, тайный советник — 532.
- Шубарт* Карл Эрнст (1796—1861), филолог, писатель — 77, 96, 275.
- Шуленбург* Фридрих Альбрехт, граф (1772—1853), саксонский посол в Вене — 523.
- Шульц* Кристоф Людвиг Фридрих (1781—1834), прусский государственный советник — 74.
- Шютце* Стефан (1771—1834 или 1839), писатель — 175, 246, 441.
- «*Веселые часы*» — 175.
- Эбервейн* Генриетта (1790—1849), жена Франца Эбервейна — 191, 192, 310.
- Эбервейн* Макс (1775—1831), брат Франца Эбервейна, композитор — 192, 443, 475.
- «*Граф фон Глейхен*», опера — 443, 475.
- Эбервейн* Франц Карл (1786—1868), веймарский музыкант — 122, 191.
- Сын* Карл — 191.
- Эберт* Карл Эгон (1801—1882), литератор — 254, 301, 316.
- Эглофштейн* Каролина фон, графиня (1789—1868), сестра Юлии Эглофштейн — 122, 448, 605.
- Эглофштейн* Юлия фон, графиня (1792—1869), художница, приятельница Гете — 475.

- Эккерман* Иоганн Петер (1792—1854) — 145, 249, 266, 483, 484.  
    «Заметки о поэзии» — 63, 67, 97.  
    «Разговоры с Гете» — 376, 379, 437, 439, 440.
- Эльс* Карл Людвиг (1780-1833), актер — 311, 470.  
«*Эмилия Галотти*» — см. Лессинг.
- Энгиенский герцог* Луи-Антуан-Анри де Бурбон (1772—1804), эмигрант французской революции — 232.
- Эразм* Роттердамский (1467—1536), гуманист — 444.
- Эсхил* (525—456 гг. до н. э.), поэт-драматург Древней Греции, «отец трагедии» — 185, 216, 492, 504.
- Эшвеге* Вильгельм Людвиг (1777—1855), инженер, генеральный директор бразильских золотых рудников — 442.
- Юнг** Генрих, прозванный Штиллингом (1740—1817), немецкий писатель — 129, 382, 410.
- Якоби** Фридрих Генрих (1743—1819), немецкий писатель, философ — 224, 278.

А. Аникст

---

## СОДЕРЖАНИЕ

*Н. Вильмонт.* О книге «Разговоры с Гете» и ее авторе . . . 3

### РАЗГОВОРЫ С ГЕТЕ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЕГО ЖИЗНИ

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Часть первая . . . . .                         | 43  |
| Часть вторая . . . . .                         | 248 |
| Часть третья . . . . .                         | 437 |
| Комментарии А. Аникста . . . . .               | 629 |
| Указатель имен и названий А. Аникста . . . . . | 647 |

**Эккерман И.-П.**

- Э 38      Разговоры с Гете в последние годы его жизни /  
Пер. с нем. Н. Ман; Вступ. статья Н. Вильмонта;  
Коммент. и указатель А. Аникста. — М.: Худож.  
лит., 1986. — 669 с. (Лит. мемуары)

«Разговоры с Гете» Иоганна Петера Эккермана, долголетнего секретаря Иоганна Вольфганга Гете, представляют собой один из ценнейших источников для изучения личности великого немецкого писателя, его взглядов на литературу, искусство, историю, философию, естествознание и пр.

Э  $\frac{4703000000-367}{028(01)-86}$  КБ-16-30-86

ББК 84.4Г

**Иоганн Петер Эккерман**  
**РАЗГОВОРЫ С ГЕТЕ**  
**В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЕГО ЖИЗНИ**

Редактор  
*И. Солодунина*  
Художественный редактор  
*Л. Калитовская*  
Технические редакторы  
*Л. Зайцева, В. Кулагина*  
Корректоры  
*Г. Асланяц и Л. Овчинникова*

ИБ № 4330  
Сдано в набор 10.04.86. Подписано в  
печать 10.10.80. Формат 84x108<sup>1/32</sup>.  
Бумага типограф. № 1. Гарнитура  
«Обыкновенная новая». Печать высо-  
кая. Усл. печ. л. 35,28 + 1 вкл. + альб. =  
36,17. Усл. кр.-отг. 37,48. Уч.-изд.  
л. 39,48 + 1 вкл. + альб. = 40,12. Тираж  
50 000 экз. Изд. № VI-2084. Заказ  
№ 2471. Цена 2 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени  
издательство «Художественная литера-  
тура». 107882, ГСП, Москва, Б-78,  
Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и  
ордена Трудового Красного Знамени  
МПО «Первая Образцовая типография»  
имени А. А. Жданова Союзполиграф-  
прома при Государственном комитете  
СССР по делам издательств, полиграф-  
фии и книжной торговли,  
113054, Москва, Валуевая, 28